

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ



СЕЛЬМА ЛАГЕРЛЁФ

Перстень Лёвеншёльдов. Новеллы



БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ



БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ



Серия основана издательством
ЭКМО в 2002 году

Сельма Лагерлёф
Перстень Лёвеншёльдов
Новеллы

Перевод с шведского

Москва



2008

Перевод с шведского

Предисловие *Л. Брауде*

Примечания *Н. Беляковой, Ф. Золотаревской*

Оформление серии *А. Бондаренко*

Лагерлёф С.
Л 14 Перстень Лёвеншёльд. Новеллы: Роман. Повесть. Новеллы / Сельма Лагерлёф; [пер. с швед.; предисл. Л. Брауде; примеч. Н. Беляковой, Ф. Золотаревской]. – М.: Эксмо, 2008. – 864 с. – (Библиотека Всемирной Литературы).

ISBN 978-5-699-25791-1

Шведская писательница Сельма Лагерлёф стала первой женщиной, получившей в 1909 году Нобелевскую премию по литературе. В речи, произнесенной по поводу вручения премии, прозвучали слова о том, что Лагерлёф соединяет в своем творчестве «чистоту и простоту языка, красоту стиля и богатство воображения с этической силой и глубиной религиозных чувств».

Трилогия о семье Лёвеншёльд повествует о судьбе пяти поколений. Над представителями рода довлеют тайные предсказания и проклятия, противостоять которым могут лишь любовь и добрая воля. В однотомник вошли также новеллы, во многом основанные на скандинавском фольклоре, и повесть «Деньги господина Арне».

УДК 82(1-87)
ББК 84(4Шве)

ISBN 978-5-699-25791-1

© Предисловие, перевод Л. Брауде, 2008
© Перевод, примеч. Н. Белякова, 2008
© Перевод, примеч. Ф. Золотаревской.
Наследники, 2008
© Перевод. А. Савицкая, 2008
© Перевод. И. Стреблова, 2008
© Перевод. М. Тевелев, 2008
© Издание на русском языке.
ООО «Издательство «Эксмо», 2008

Содержание

Людмила Брауде
Сельма Лагерлёф и мир ее творчества
7

ПЕРСТЕНЬ ЛЁВЕНШЁЛЬДОВ. Роман
Перевод Л. Брауде
33

ШАРЛОТТА ЛЁВЕНШЁЛЬД. Роман
Перевод Ф. Золотаревской
125

АННА СВЕРД. Роман
Перевод Н. Беляковой и Л. Брауде
375

ДЕНЬГИ ГОСПОДИНА АРНЕ. Повесть
Перевод М. Тевелева
657

НОВЕЛЛЫ

Из цикла «НЕВИДИМЫЕ УЗЫ»
Перевод И. Стребловой
729

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ГОСТЬ
729

ИСТОРИЯ, КОТОРАЯ ПРОИЗОШЛА В ХАЛЬСТАНЕСЕ
737

ИЗГОИ

747

КУРГАН

768

САГА О РЕОРЕ

789

МИР НА ЗЕМЛЕ...

795

НАДПИСЬ НА МОГИЛЕ

807

БРАТЬЯ

817

Из цикла «КОРОЛЕВЫ ИЗ КУНГАХЭЛЛЫ»

Перевод А. Савицкой

824

НА ЗЕМЛЕ ВЕЛИКОЙ КУНГАХЭЛЛЫ

824

СИГРИД СТУРРОДА

827

ЛЕСНАЯ КОРОЛЕВА

838

ПРИМЕЧАНИЯ

Ф. Золотаревской и Н. Беляковой

851

Сельма Лагерлёф и мир ее творчества

- Ваша излюбленная добродетель?
 - Милосердие.
- Ваше излюбленное качество у мужчин?
 - Серьезность и глубина.
- Ваше излюбленное качество у женщин?
 - То же самое.
- Ваше излюбленное занятие?
 - Изучение характеров людей.
- Что вы считаете величайшим счастьем?
 - Верить в самое себя.
- Что вы считаете величайшим несчастьем?
 - Ранить чувства других людей.
 - Ваш любимый цвет?
 - Цвет солнечного заката.

Из интервью Сельмы Лагерлёф (1890-е гг.)

Поразительно сложилась судьба замечательной шведской писательницы Сельмы Оттилии Лувисы Лагерлёф (1858–1940), самой знаменитой женщины Швеции конца XIX – начала XX века. Она прожила восемьдесят два года, из них пятьдесят отдала творчеству. Лагерлёф стала автором двадцати семи крупных произведений. И любая из самых знаменитых ее книг могла бы обессмертить ее имя. В молодости Лагерлёф создала уникальный в своем роде роман «Сага о Йёсте Берлинге» (1881–1891). В годы зрелости – замечательную сказочную эпопею «Удивительное путешествие Нильса Хольгерссона с дикими гусями по Швеции» (1906–1907). В старости – трилогию о Лёвеншёльдах: романы

«Перстень Лёвеншёльд» (1925), «Шарлотта Лёвеншёльд» (1925) и «Анна Сврд» (1928). Перу Лагерлёф принадлежат также многочисленные повести, новеллы, предания, литературные сказки, эссе и т. д.

Уже «Сага о Йёсте Берлинге» и «Удивительное путешествие Нильса...» (в дальнейшем мы будем его так называть) принесли писательнице славу. В 1907 году она стала почетным доктором Упсальского университета, в 1909 году — лауреатом Нобелевской премии, а в 1914 году — одним из восемнадцати «бессмертных» — одним из восемнадцати членов Шведской Академии.

Пятидесятилетие сказочницы отмечалось в 1908 году в Швеции как народный праздник. Ее буквально засыпали цветами и подношениями.

Куда девались все цветы?
Кто разорил оранжереи?
Во всей стране не сыщешь ты
Ни лилии, ни орхидеи, —

писал анонимный автор стихотворения, напечатанного в одной из шведских газет.

Любопытно, что вокруг имени Лагерлёф уже в начале XX века начала складываться легенда. Ее называли самой счастливой женщиной в мире. Ее жизнь сравнивали с триумфальным шествием. Были и попытки превратить писательницу в несложную, добрую сказочницу с общепризнанным христианским образом мыслей. «И эти попытки нанесли ей вред значительно больший, нежели критическое доброжелательство. Из нее хотели сделать гипсовый бюст», — писал Н. Афселиус. «Горечь и отрицание ей абсолютно чужды», — сказал о писательнице шведский литературовед Ф. Бёек. Между тем даже «Сага о Йёсте Берлинге» — тот же Афселиус называл ее «самой примечательной книгой дебютантки», которая когда-либо издавалась в Швеции, — пробудив интерес и восторг одних, вызвала сопротивление других.

Многие критики, единодушно признавая своеобразие историй, включенных в роман, сомневались в их правдивости. Известный критик литературы К. Варбург

писал, что книга эта — «неудавшееся попури из фантастических мечтаний, талантливых, подчас почти гениальных описаний, с одной стороны, неестественностей в действии, в стиле и ужасающей наивности — с другой».

Трудная судьба выпала и на долю книги «Удивительное путешествие Нильса...». Тем не менее критические отзывы на нее также развенчивают миф о Лагерлёф — миф о безобидной и доброй сказочнице.

Одновременно книга подверглась мелочной критике. Одни находили у писательницы чересчур много сказочного, фантастического. Других раздражал язык Лагерлёф, его зачастую разговорная форма.

Однако «Удивительное путешествие Нильса...» подверглось и более серьезной критике. Первый том книги вызвал резкие нападки зоологов и орнитологов. Специалисты в разных отраслях науки и патриоты отдельных шведских провинций осыпали писательницу упреками. Как же! Ведь ей не удалось описания Смоланда, Вестеръётланда и Халланда! Ведь она забыла озеро Венерн и город Гётеборг! Даже в 1954 году шведский географ Г. Йонссон обвинил «Удивительное путешествие Нильса...» в «весьма слабом контакте с научным исследованием» и в необычайной наивности с точки зрения географической.

Особенно враждебно встретили книгу официальные церковники, реакционные педагоги и так называемые «патриоты Смоланда». Церковник Габриельссон напал на «Удивительное путешествие Нильса...» за то, что оно написано «без цели и без плана». Ужасным нашел он рассказ о Боге и святом Петре, рассказ, где «грешный человек был посажен рядом с Богом». И безапелляционно решил: «Книги Сельмы Лагерлёф не следует рекомендовать для чтения детям». Церковник У. Пфафф, собрав школьный совет, доложил: «Некая учительница младшего отделения народной школы позволила себе читать детям вслух из этой книги, которую следует заклеить как вредную и пагубную».

Епископ Эклунд из Карлстада объявил: «Популярность Сельмы Лагерлёф можно расценивать как деградацию педагогов вообще и шведских читателей в частности».

Х. Берг усмотрел в книге лишь «странное смешение историй о домовых и описаний ландшафта»: «Будь у меня власть, а желание у меня есть, «Удивительное путешествие Нильса Хольгерссона» ни одного дня не использовалось бы как учебник, прежде чем «Сказка о Смоланде» не была бы удалена из этой работы либо не была бы полностью переработана». Многие консервативные школьные деятели были возмущены тем, что Лагерлёф нарисовала Смоланд бедным и убогим.

С годами, по мере того как творчество Лагерлёф подвергалось тщательному изучению в трудах таких шведских исследователей, как Г. Альстрём, Э. Лагтеррот, Н. Афселиус, В. Эдстрём и др., в стране сложилась объективная оценка творчества писательницы. В Германии замечательный талант Лагерлёф высоко оценил Томас Манн, написав: «Лагерлёф — подлинная и великая рассказчица с эпическими первозданными инстинктами, несомненная личность».

Книги Лагерлёф, как и многих других скандинавских авторов, стали известны в России в самом начале XX века. Это было связано, как отмечал и известный русский критик Ю. Веселовский, с возросшей ролью скандинавской и особенно норвежской литературы во всем мире¹. «Вот уже более 50 лет, — говорилось в 1909 году в журнале «Нива», — как новые викинги Ганс Андерсен, Генрик Ибсен и их собратья: датские, норвежские и шведские писатели завоевывают все более и более широкий круг читателей»². Популярность скандинавской литературы в России была связана также с деятельностью таких замечательных переводчиков, как А. и П. Ганзен, М. Благовещенская и В. Спасская. В 1903 году критик Л. Уманец написал, что шведская литература в настоящее время — лучшая из скандинавских литератур, а Лагерлёф — одна из выдающихся шведских писателей. По его мнению, роман «Сага о Йёсте Берлинге» обладает неизъяснимой

¹ Веселовский Ю. А. Литературные очерки. М., 1910. Т. 2. С. 365, 369.

² *Фиорды*: Художественная литературная Скандинавия // Нива, 1909. № 13. С. 260.

прелестью, «хотя талант Лагерлёф наиболее ярко проявляется в мелких произведениях, а не в крупных»¹.

«Неясно, к какой школе она принадлежит, — заметил критик О. Петерсон. — Это талант оригинальный и яркий и притом вполне национальный и самобытный... Среда Лагерлёф проста и ясна... Искони укоренившиеся устои и традиции, тишина и неподвижность жизни, свойственные местечкам, удаленным от больших и шумных центров, создают среду, в которой долго сохраняются простота и чистота нравов». Однако Петерсон тут же делает выводы, что писательница эта весьма характерна для своего времени.

«Воспитанная в строгой школе реализма последнего периода европейской литературы вообще и скандинавской в особенности, Сельма Лагерлёф... обнаруживает большую склонность в сторону вновь нарождающегося романтизма. Реальной школе она, несомненно, обязана своей строгой правдивостью и верностью изображения характеров и бытовой жизни, хотя при этом она и остается совершенно чужда крайностей так называемого натурализма. Романтизм же ее литературного темперамента ясно сказывается в ее несомненном стремлении в область легенды и предания»².

В начале XX века Лагерлёф оставалась для русских читателей известной шведской писательницей, чьи портреты печатались во многих журналах. А подписи к этим портретам рекомендовали ее даже не столько как автора «Саги о Йёсте Берлинге», сколько романов «Чудеса антихриста», «Иерусалим» и многочисленных новелл. Литератор К. Норов отметил в 1905 году, что имя Лагерлёф все чаще и чаще мелькает среди имен иностранных авторов, чьи произведения усердно переводятся на русский язык и столь же усердно читаются публикою. Тем не менее это казалось ему несколько странным. Ведь шведская писательница «рисует мало,

¹ Уманец Л. Скандинавские мистики // Рус. мысль. 1903. Июль. С. 133.

² Петерсон О. Сельма Лагерлёф // К свету. СПб., 1904. С. 183, 186, 189, 201.

кажется, понятный нам мир шведского крестьянства». Однако, пытаясь честно разобраться в причинах ее популярности, критик приходит к выводу: «Талант писательницы сумел в этом маленьком мирке найти и изобразить такие черты, которые глубоко интересуют всякого интеллигентного читателя, будь он швед, русский, поляк, немец»¹.

Интересна небольшая заметка «Сельма Лагерлёф и сага». Анонимный автор заметки отмечает три основных качества шведской сказочницы: необыкновенную силу воображения, дар плавного изложения и богатство чувств, любовь ко всему живущему на земле².

Книга «Удивительное путешествие Нильса...» большого впечатления, если судить по прессе того времени, не произвела. По-прежнему говорились какие-то общие фразы о том, что в романе «Сага о Йёсте Берлинге» реализм переплетается с фантастикой, что от произведений шведской писательницы веет чем-то «радостным и светлым»³. О книге же «Удивительное путешествие Нильса...», как, впрочем, и много позднее, не говорилось ни слова или говорилось очень мало. Перевод 1908–1909 годов удостоился лишь одной рецензии В. Величкиной, рассматривавшей только географические вопросы, затронутые в книге⁴.

Тем не менее Лагерлёф в начале XX века была одной из самых известных в России зарубежных писательниц. Именем «Сельма» называли новорожденных девочек. Издавались ее собрания сочинений и отдельные произведения. Публиковались они часто, к сожалению, в переводе с языка-посредника — немецкого, с неточностями, купюрами, элементами контаминации, а иногда и просто с описаниями вместо перевода.

¹ *Норов К.* Сельма Лагерлёф и сага // Вестник литературы. 1905. № 13. С. 298–299.

² Сельма Лагерлёф и сага // Вестник иностранной литературы. 1906, янв. С. 283.

³ Сельма Лагерлёф // Оскар Норвежский: Литературные силуэты. СПб., 1909. С. 124.

⁴ *Величкина В.* Сельма Лагерлёф. Чудесное путешествие мальчика по Швеции // Современный мир. 1909. № 8.

Приходится согласиться с критиком Л. Уманцем, который еще в 1903 году писал: «Чтобы находить удовольствие в произведениях Лагерлёф, их надо читать в полном виде, без пропусков; они значительно теряют в кратких извлечениях, и самая фабула настолько фантастична, что не поддается пересказу»¹.

Литературный талант шведской писательницы рано отметил М. Горький. Сравнивая Сельму Лагерлёф с итальянской писательницей Грацией Деледда, Горький сказал в 1910 году: «Смотрите, какие сильные перья, сильные голоса! У них можно кое-чему поучиться нашему брату-мужику!»² В 1912 году С. Груздев в статье «Что читать детям рабочих», напечатанной в газете «Правда», рекомендовал им произведения шведской писательницы³.

После 1917 года были опубликованы лишь самые известные произведения писательницы (в переводах со шведского языка): «Сага о Йёсте Берлинге», «Удивительное путешествие Нильса...», трилогия о Лёвеншёльдах, некоторые новеллы и литературные сказки. Правда, критика и литературоведение ограничивались лишь отдельными заметками о писательнице, в частности, в 1940 году, после ее смерти, был опубликован некролог. После 1958 года, когда по призыву Всемирного Совета Мира народы земного шара отмечали столетие со дня рождения Лагерлёф, появились более крупные работы о ней (главы книг, диссертации, статьи, предисловия и т. д.), написанные В. Неустроевым, Д. Шарыпкиным, Л. Брауде.

Сельма Оттилия Лувиса Лагерлёф родилась в 1858 году в родовой усадьбе своих родителей Морбакка. Отец ее был отставной военный, лейтенант. Мать — учительница. Величайшее влияние на развитие поэтического дарования Лагерлёф оказала среда ее детства, проведенного в одной из самых живописных областей Центральной

¹ Уманец Л. Скандинавские мистики. С. 135.

² Цит. по ст.: Дейч А. Сельма Лагерлёф // Лагерлёф С. Сага о Йёсте Берлинге. М., 1958. С. 400.

³ Груздев С. Что читать детям рабочих // Правда, 1912. 25 дек.

Швеции – Вермланде, посреди плодородной, богатой и щедрой долины, окруженной гранитными лесистыми горами. Сама же Морбакка, расположенная на краю дороги, – одно из ярких воспоминаний детства писательницы: она не уставала описывать ее в своих произведениях, особенно в книжках «Морбакка» (1922), «Мемуары ребенка» (1930) и «Дневник» (1932).

Но больше всего она любила живших в усадьбе людей, которые в ее глазах навсегда остались сильными, мужественными и талантливыми. Лагерлёф обожала отца и впоследствии наделяла его портретными чертами своих героев, и в первую очередь Йёсту Берлинга. Некоторые биографы писательницы ошибочно приписывали ему большое литературное дарование. Но тем не менее он питал сильную любовь к шведской литературе и фольклору Вермланда. Девочка была очень привязана к бабушке и тетушке Нане. Они знали множество сказок, местных преданий и родовых хроник, которые рассказывали маленькой Сельме, ее братьям и сестрам. «Я вспоминаю, что бабушка с утра до вечера сидела с нами и без конца рассказывала, а мы, дети, тихонько жались друг к другу и слушали. Вот была чудесная жизнь! Нет детей, которым бы жилось так, как нам», – писала впоследствии Лагерлёф. Вспоминая уже в старости тетушку Нану, она говорила, что в ее ушах до сих пор звучит уверенный голос рассказчицы и она чувствует, как мороз пробегает по коже: это трепет ужаса, который бывает не только от боязни привидений, но и от предвкушения того, что произойдет.

Каких только историй не рассказывали бабушка и тетушка о минувших временах! О прекрасных дамах и кавалерах Вермланда, о злом заводчике, который водился с нечистым, о злых сороках, преследовавших хозяйку дома так настойчиво, что она боялась переступить порог, о привидениях, обитавших почти во всех усадьбах! Особенно жадно прислушивалась ко всем этим историям маленькая Сельма, которую в трехлетнем возрасте разбил паралич. С тех пор мир девочки стал очень ограниченным. Потому-то смерть бабушки-сказочницы пятилетней Сельма восприняла как величайшую трагедию: ей каза-

лось, будто что-то ушло из жизни, будто захлопнулась дверь в целый мир, прекрасный заколдованный мир, и теперь не было больше никого, кто бы мог отворить эту дверь. Быть может, поэтому, поздравляя много лет спустя М. Горького с днем рождения, Лагерлёф писала: «В день пятидесятилетия М. Горького я хочу прежде всего поблагодарить писателя за изображение его бабушки, старой женщины с пышными волосами и кротким сердцем, рассказчицы прекрасных легенд, — за самый очаровательный из многих чудесных образов русских женщин, какие я встречала в мировой литературе»¹. Когда Лагерлёф читала «Детство» Горького, перед ней, несомненно, вставал образ сказочницы ее детства.

Величайшим откровением для будущей писательницы было знакомство с творчеством шведских и зарубежных поэтов и писателей — Э. Тегнером, К. М. Бельманом, Х. К. Андерсеном, В. Скоттом, Т. М. Ридом. «Предо мной опять новый пестрый мир...» — в восторге писала она после чтения романа Скотта и посещения театра в Стокгольме, куда приехала в 1867 году лечиться в специальной больнице и где ей вернули способность двигаться.

В то время Лагерлёф уже лелеяла мысль о собственном литературном творчестве. «С семи лет мечтала я стать писательницей», — признавалась она позднее. В десять лет, наблюдая традиционный парад во дворе королевского замка в Стокгольме, она сосчитала, сколько окон в этом замке. Может статься, когда-нибудь она напишет роман о королевском замке! Но начала девочка с поэтических опытов, со стихотворений «на случай», со сказочных пьес, баллад, произведений на древнескандинавские мотивы и сонетов. «Представь себе, что ты слеп и неожиданно прозрел, что ты был нищ и быстро разбогател, что ты был отвержен и лишен друзей и нечаянно встретил большую горячую любовь! Представь себе сколь угодно большое счастье, и все равно больше того, чем я испытала в тот миг, пережить невозможно...» — писала Лагерлёф одному

¹ *Горький М.* Летопись жизни и творчества. М., 1959. Вып. 3. С. 596.

из своих почитателей о той минуте, когда открыла в себе способность писать стихи.

В автобиографической новелле «Сказка о сказке» (1908), название которой, вероятно, связано с заглавием мемуаров Андерсена «Сказка моей жизни», писательница поэтично рассказала о своих детских попытках творчества. Она исписывала огромное количество бумаги стихами, прозой, пьесами и романами. А когда не писала, ждала: кто-то очень образованный и могущественный узнает, что она написала, и найдет это достойным публикации. Любопытно, что во времена детства Лагерлёф, даже когда она писала стихи и романы, в душе ее жила сказка. Сказка, которой напоены были воздух Вермланда и усадьба Морбакка. «Сказку о сказке» она начинает словами о жившей на свете сказке, которой хотелось, чтобы ее рассказали и вывели в свет.

Но будущей писательнице надо было учиться, так как она получила только домашнее образование; надо было зарабатывать на хлеб, потому что небогатая ее семья к тому времени окончательно разорилась. В 1881 году двадцатитрехлетняя Сельма поступила в лицей в Стокгольме и подготовилась там к поступлению в Высшую учительскую семинарию. В 1882 году ее приняли в эту семинарию, а закончила она ее в 1884 году. В том же году Лагерлёф стала учительницей в школе для девочек в маленьком провинциальном городке на юге Швеции — Ландскруне. Там на одном из небольших серых домов и сейчас висит мемориальная доска; она свидетельствует о том, что в этом доме Лагерлёф писала свою знаменитую книгу «Сага о Йёсте Берлинге».

В годы учебы сказка, по ее словам, «словно бы совсем покинула ее». Однако в Ландскруне, когда она читала и перечитывала книги любимых авторов — шведского поэта К. М. Бельмана и финляндского Й. Л. Рунеберга, ей пришло в голову, что мир преданий и легенд ее родного Вермланда ничуть не менее оригинален, чем мир героев этих писателей. Лагерлёф решила пересказать известные ей с детства предания о приключениях кавалеров из Вермланда. Но вначале работа двигалась медленно. А главное, не приходило вдохновение.

Когда в начале 1880-х годов Лагерлёф всерьез обратилась к литературному творчеству, в Швеции, по ее словам, было лучшее время строгой поэзии действительности. В последней четверти XIX века в стране шел бурный процесс роста промышленности и промышленных городов. Шведский город приобрел новые черты, наполнился дымом фабричных труб и звоном трамваев. Тогда впервые перед писателями встали проблемы, связанные с жизнью капиталистического города, с реалистическим описанием шведской действительности. Зарисовки Стокгольма того времени появились в творчестве крупного писателя А. Стриндберга, а вслед за ним ряд картин шведской столицы воспроизвел в своих произведениях Я. Сёдерберг. Однако уже тогда существовали художники, стремившиеся освободиться от точного, «фотографического», как они его называли, изображения действительности. Реализм сменился неоромантическим направлением, отмеченным чертами буйной фантазии и эстетизма в творчестве таких писателей, как В. фон Хейденстам и О. Левертин. В произведениях этих художников воспевалась жизнь дворянских усадеб, патриархальная старина, шведская помещицья и крестьянская культура, которая постепенно исчезала в процессе развития промышленности. Но был в их творчестве и элемент патриотический, отмеченный шведским историком И. Андерсоном. Этот патриотизм был конкретным и крепко держался родной земли и ее живых традиций¹.

Лагерлёф, к которой также относятся эти строки и которую причисляют к неоромантикам, воспевала патриархальную старину, жизнь дворянских гнезд и свой любимый Верmland. Вместе с тем первое же ее произведение «Сага о Йёсте Берлинге» — явление оригинальное и совсем не однозначное. Благодаря этой книге молодая писательница, по словам известного датского критика Г. Брандеса, «заняла видное место в шведской литературе, взяла новый самостоятельный тон». Лагерлёф восхищалась великими мастерами-реалистами эпохи

¹ Андерсон И. История Швеции. М., 1951. С. 373.

и считала, что писать можно только их языком. Но когда она, считая, что романтизм мертв, пыталась писать о своих героях спокойной прозой, у нее ничего не получалось. Однажды она все-таки написала иначе, в романтической манере, ритмической прозой со множеством восклицаний. *И почувствовала, что к ней пришло вдохновение!* Потом писательница уже не боялась быть самой собой, и тогда начало рождаться великолепное произведение — «Сага о Йёсте Берлинге». В 1885 году умер отец Лагерлёф, а три года спустя была продана за долги Морбакка; молодая учительница еще интенсивней взялась за работу, желая написать книгу и спасти то, что еще осталось от любимого дома: «драгоценные старые истории, веселый покой беззаботных дней и прекрасный ландшафт».

Весной 1890 года газета «Идун» объявила конкурс на произведение, которое усилило бы интерес читателей к газете и придало бы ей большую солидность. Лагерлёф решила принять участие в конкурсе. В августе 1890 года она отослала пять глав книги «Сага о Йёсте Берлинге» в газету «Идун». И случилось чудо! Молодая скромная учительница получила первую премию. Жюри выразило ей «признание по поводу необычайной художественности этого произведения, которое оставило далеко позади не только всех других участников конкурса, но и большинство из того, что давным-давно могла предложить наша отечественная литература». Подучив премию, писательница оставила службу в школе. Теперь она могла спокойно заняться творческой работой. Прожив пять месяцев у друзей, Лагерлёф закончила книгу, изданную в 1891 году. Признание пришло совсем из другой страны. Брандес, рецензируя перевод книги, появившийся в 1893 году в Дании, с похвалой отозвался о замечательном своеобразии ее сюжета и оригинальности способа изложения.

Зимой 1929 года в беседе с Томасом Манном Лагерлёф подтвердила, что первоначально не предназначала эту свою книгу для печати. «Я писала ее, — рассказывала она, — для моих маленьких племянниц и племянников. Это было своего рода развлечение. Я думала, что книга заставит их смеяться». Однако «Сага о Йёсте Берлинге»

стала одной из знаменитейших книг конца XIX века. Роман состоит из тридцати шести неравноценных по своей художественной силе глав и вступления (из двух частей). Почти каждая из глав является как бы мини-романом, самостоятельной новеллой, глубоко содержательной, написанной в особом стиле, в своем собственном ключе. Это скорее всего собрание народных преданий и легенд Вермланда. Двойственность Лагерлёф, преклонявшейся перед современными ей «реалистами» с их благоговейным отношением к природе и вместе с тем отдававшей дань романтическому стилю, ощущается во всей книге. Сохраняя реальные, естественные особенности прекрасной природы Вермланда — озер, гор, долин и рек, писательница одушевляет и персонифицирует их. Равнина разговаривает с горами, иногда жалуется и даже перебранивается с ними. Гребни волн Лагерлёф сравнивает с белокурыми кудрявыми головами, она наделяет их настойчивостью людей, а солнечный луч — хитростью. Пчелы и птицы тоже разговаривают, озабоченно пекутся о своих и чужих делах. Лагерлёф поэтизирует живой мир, не сохраняя, впрочем, никаких иллюзий у читателя относительно его суровости. Так, медведя, которому сладко спалось в его берлоге, она сравнивает со спящей принцессой из сказки. Ее разбудит любовь, а его — весна. Но Лагерлёф тут же безжалостно правдиво разрушает созданную ею идиллическую картину, дав понять, что, когда медведь спит, на него может обрушиться целый град дроби. Как и Андерсен, Лагерлёф заставляет жить, говорить и думать не только явления природы, но и различные предметы. Старые сани и кареты в сарае вспоминают веселые поездки, которые они совершали в дни юности. Молоты в темных кузницах презрительно улыбаются, а пюпитры в конторе корчатся от смеха. Лагерлёф одушевляет и сложные сооружения и технические конструкции своего времени. Шхуны и паромы, гавани и шлюзы в ее книге удивляются и спрашивают, не привезут ли железо из Экебю? А шахты разевают свои широкие пасти и громко хохочут.

Отказавшись от точного копирования действительности и природы, Лагерлёф отдала дань фантазии, ска-

зочности и обратилась к прошлому. Она создала мир, полный празднеств, романтики и красочных приключений. Многие из глав, построенные на легендах Вермланда, изобилуют порождениями народной фантазии («Рождественская ночь», «Доврская ведьма»). Вот злой заводчик Синтрам. Он иногда является людям в образе нечистого с рогами и хвостом, лошадиными копытами и косматым телом. Имя Синтрама — синоним зла. Он превращает старую долголетнюю дружбу во вражду. Вот доврская ведьма. Несмотря на свое богатство, она не гнушается просить подаяние у бедняков. Она приносит мор, она распоряжается силами природы. Ей нельзя ни в чем отказать, иначе будет беда. Эти злобные существа играют судьбами людей. Синтрам добивается изгнания майорши из Экебю, которая приносит добро всей округе. Доврская ведьма насылает тучи сорок на графиню Мэрту. Причем, описывая все эти фантастические сказочные ситуации, смысл которых, как в народных сказках, — борьба добра со злом, Лагерлёф не лишает их черт достоверности. О доврской ведьме она, например, говорит, что видела ее собственными глазами. Как и у Андерсена, голос Лагерлёф часто звучит в повествовании, выражая гнев, ненависть, одобрение, радость, иронию и юмор.

Многие главы книги — жизнеописание главных героев старинных вермландских преданий, двенадцати кавалеров, обитающих в усадьбе майорши из Экебю. Кавалеры эти — и кузен Кристофер, и музыкант Лильекруна, и патрон Юлиус — сильные и мужественные люди, люди без денег и без забот, веселые странствующие рыцари, герои многочисленных приключений, кавалеры до мозга костей. Они — не то что окружающие их туго набитые денежные мешки, сонные владельцы имений или злые стяжатели. У кавалеров нет никаких обязательств в жизни, нет уз, связывающих их с близкими людьми. Их привлекает лишь неотразимое многообразие жизни, ее сладость, ее горечь, ее богатство. Они — сложны и противоречивы. Рыцари и кавалеры — они в то же время могут совершить подлость, они — чума всей округи. Самый прекрасный и вдохновенный из кавалеров — герой книги Йёста Берлинг, отрешенный от сана и должности пас-

тор. Йёста еще более сложен и противоречив, чем другие кавалеры. Он вдохновенно вещает слово Божье — и пропивает мешок с мукой, принадлежавший нищему ребенку. Он едет, чтобы привезти другу невесту, — и сам влюбляется в нее. Йёста — бесстрашен, он не боится ни волков, ни медведей, но на охоте не может поднять руку на затравленного медведя с горы Гурлита. Мужественно борется он с волнами восставшей реки, грозящей разбить плотину, но появление одной из его возлюбленных Элисабет отвлекает его. Йёста полон огня и жизни, он заражает всех весельем, никогда не чувствует ни холода, ни усталости. Он любит жизнь, но находит силы приговорить самого себя к смерти в сутробе за то, что обездолил голодного ребенка, и, если бы Йёсту не спасла майорша из Экебю, он бы замерз. Но он снова находит силы жить.

Под стать благородным кавалерам прекрасные вермландские дамы — графиня Элисабет, Эбба Дона, Марианна Синклер и Маргарета Сельсинг — «майорша из Экебю». Это им, женщинам минувших лет, поет гимн, поэтизируя их, Лагерлёф.

Критики, и в первую очередь Брандес, отмечали особенность мира, изображенного в романе «Сага о Йёсте Берлинге»: «Все люди здесь заняты исключительно крупными переменами в их собственной жизни, своими страстями и раскаянием, своими пиршествами и балами, своею честью и позором, своими забавами и трудами, своею гордостью и искуплением, унижением и возрождением». Для Томаса Манна «Великая шведка» Лагерлёф была прежде всего автором, подарившим миру «Сагу о Йёсте Берлинге». Однако после статьи Брандеса многие рецензенты в Швеции признали литературный талант Лагерлёф, и она снова взялась за перо.

Период 1891–1897 годов для Лагерлёф — период колебаний, поисков и стилистических экспериментов. Она переживает сомнения, сможет ли она писать: «Я слишком быстро двинулась вперед. Не знаю, в состоянии ли буду сохранить мое место (в литературе. — Л. Б.), не говоря уж о том, чтобы двинуться дальше». Писательница продолжала работать в сказочной манере, публикуя

основанные на фольклорном материале, главным образом на народных легендах, сборники новелл и отдельные фантастические повести. Она еще не может отойти окончательно от романа «Сага о Йёсте Берлинге» и в новеллах «Рождественский гость», «История, которая произошла в Хальстанесе» из сборника «Невидимые узы» (1894) прослеживает дальнейшую судьбу ее героев: флейтиста Рустера, музыканта Лильекруны, прапорщика Эрнеклу. В 1899 году писательница выпустила сборник исторических легенд «Королевы из Кунгахэллы», основанных не только на исторических преданиях («Сигрид Стуррода», «Маргарета Миротворица») и т. д., но и на скандинавских сагах, легендах и песнях. Среди новелл сборника особое место занимает поэма «Маргарета Миротворица». Лагерлёф редко выступала как поэт (поэтические вкрапления в роман «Сага о Йёсте Берлинге»). Но для столь волнующей ее темы — мира на земле — она сочла наиболее приемлемой именно форму поэтическую. Дочь шведского короля Инге Старшего преступает свою гордость и соглашается стать женой норвежского короля Магнуса Босого ради мира в Скандинавии.

В том же 1899 году выходит фантастическая повесть «Предание одной господской усадьбы», а в 1904 году повесть «Деньги господина Арне». Из этих книг, по словам Т. Манна, струился «возвещающий, поющий, льющийся поток древних преданий». «Предание одной господской усадьбы» — одно из самых прекрасных в художественном отношении произведений писательницы. Фантастическая история душевнобольного Гуннара Хеде, игра которого на скрипке возвращает к жизни Ингрид (а в свою очередь, ее любовь возвращает ему разум) написана с потрясающей силой. Точно так же, как и повесть «Возница» (1912), героя которой, обитающего в царстве мертвецов, спасает и возвращает к жизни любовь.

«Деньги господина Арне» — великолепная трагическая повесть, написанная, по словам Лагерлёф, на основе «старой истинной истории 1856 года» и скандинавских саг с их темой мести и проклятия. Эта повесть — лишь своеобразное зерно трилогии о Лёвеншёльдах, где похищенный перстень приносит несчастье нескольким поко-

лениям славного рода. «Деньги господина Арне» — в каком-то плане и подготовка антимилитаристского романа «Изгнанник» (1918), где проклятие также тяготее над старинным родом. Лагерлёф пока еще не создает фундаментальное полотно целостного романа, она еще не отрывается в достаточной степени от предания, где соседствуют живые и мертвые. Основа сюжета у нее — пока лишь цепочка мщения за совершенное преступление. Но уже здесь читатель видит широкую картину народной жизни и множество героев — бедных рыбаков и чистильщиц рыбы. А основная сила, движущая действием, — доброта и любовь, которые побеждают благодаря вмешательству высшей силы, откровения или даже чуда, что особенно проявляется в «Легендах о Христе» (1904).

Основная среда обитания произведений Лагерлёф — Швеция и очень часто Верmland. «В душе своей она никогда не оставляла Морбакку, — писал историк литературы А. Верин. — Для нее в самом деле не было пути от дверей родного дома».

Однако некоторые философские, религиозные, моральные и этические проблемы писательница рассматривает на ином материале. В 1895 году, оставив службу, она всецело посвятила себя литературному творчеству. В 1895–1896 годах Лагерлёф посетила Италию, после чего в 1897 году появился ее новый роман «Чудеса антихриста», который не завоевал широкого круга читателей, если не считать России. Это — единственный роман Лагерлёф, действие которого происходит не в шведской среде, а в Италии. Основной вопрос, волнующий здесь гуманистку Лагерлёф, — как улучшить существование человека. Однако роман подвергся нападкам за попытки соединить друг с другом христианство и социализм. В романе «Иерусалим» (1901–1902) на переднем плане уже не Верmland, а другая живописная и своеобразная провинция Швеции — Далекарлия. В первой части романа — «В Далекарлии» — она описывает столкновение старой консервативной крестьянской традиции с религиозными сектами. Сначала она ведет читателя в трезвый, глубоко религиозный мир, описывая жизнь деятельного крестьянского рода; затем рассказывает, как

этот спокойный, замкнутый мир уничтожается, когда члены секты вынуждают крестьян эмигрировать в Иерусалим, чтобы там ожидать якобы предстоящего пришествия Бога. Во второй части романа — «Иерусалим» — она прослеживает дальнейшую судьбу этих крестьян. Национальным эпосом называет этот роман шведская исследовательница В. Эдстрём.

Трудно представить себе, что сказочная книга «Удивительное путешествие Нильса...» сначала мыслилась как учебник для первого класса. Книга, написанная бывшей учительницей в духе демократической педагогики, должна была ярко и образно рассказать школьникам об их родной стране.

«Удивительное путешествие Нильса...» — книга для чтения, учебник, популярная география Швеции. Причем не только география, но и геология, и ботаника, и зоология. Однако, как писал шведский поэт Карл Снойльский, «Лагерлёф удалось оживить и ярко раскрасить сухой песок пустыни — школьный урок, одухотворить и заставить разговаривать леса, скалы, реки родины и даже мертвые залежи руды». Писательница оживила карту Швеции, преподнесла ее как удивительную сказку. Вот рассказ о провинции Упланд, о ее рельефе и достопримечательностях. Он так и называется: «Сага об Упланде», где Упланд предстает в образе бедной странницы. А вот «Сага о Смоланде». Дети никогда не забудут бесплодную, бедную почву, скалистый рельеф Смоланда, потому что сказочница поведала им о судьбе смоландских гусопасов Осы и Матса. История освоения полезных ископаемых также звучит в книге «Сага о Фалунском руднике». Внутренняя жизнь природы открывается в книге благодаря истории селезня Ярро, истории трогательной дружбы лося Серошкурого и пса Карра.

«Удивительное путешествие Нильса...» построено на народных шведских сказках и легендах. Географические и исторические материалы скреплены здесь сказочной фабулой. Вместе со стаей мудрой гусыни Акки с Кебнекайсе, на спине гуся Мортена Нильс путешествует по

всей Швеции. В книге встречается множество животных и птиц, сохранивших, как и в сказках Андерсена, свои естественные, природные особенности и наделенных в то же время многими человеческими чертами. Животные и птицы у Лагерлёф — своего рода «воспитатели». Благодаря им в Нильсе просыпается доброта, он начинает «волноваться чужими несчастьями, радоваться радостями другого, переживать чужую судьбу как свою». В мальчике обнаруживается способность «сопереживать, сострадать и сорадоваться, без которой человек не человек»¹. Полюбив птиц и животных, став их защитником и спасителем, Нильс полюбил и людей. Он понял горе своих родителей, страдания сирот Осы и Матса, трудную жизнь бедняков. Он хочет помочь им, облегчить их участь. Несмотря на увлекательное путешествие, мальчик мечтает вернуться к людям. Это сближает его с Маугли, героем «Книги джунглей» Кипплинга, которая помогла Лагерлёф найти решение ее книги в плане анималистском.

У Лагерлёф встречаются эпизоды знакомства Нильса с индустриальной Швецией, хотя она знала ее недостаточно хорошо. Поэтому рудокопы у нее — абстрактные фигуры. И все же писательница видела, что жизнь этих людей тяжела. Не случайно они мечтают унести с гусиной стаей туда, где нет «ни кирки, ни молота», «ни машин, ни паровых котлов», туда, где не нужны «ни свечки, ни спички».

Книга «Удивительное путешествие Нильса...» вызвала, как уже говорилось, противоречивые отзывы. Некоторые критики называли ее «революцией в нашей педагогике». Однако писательницу больше всего интересовало мнение маленьких читателей, полюбивших ее произведение. «Пока детям весело читать эту книгу, она будет побеждать», — повторяла рассказчица. Когда Лагерлёф спросили, какие из почестей, выпавших ей на долю, она ценит выше всего, она ответила: «Возможность участвовать в жизни моих читателей, помогать им». Время подтвердило высокие достоинства этого произведения, ставшего

¹ Чуковский К. От двух до пяти. М., 1963. С. 226.

настойной книгой детей и взрослых не только в Швеции, но и в других странах. В 1909 году писательнице была присуждена Нобелевская премия за благородный идеализм и богатство фантазии.

За читательским признанием последовало признание официальное. В 1907 году Лагерлёф была избрана почетным доктором Упсальского университета. Книги писательницы выходили большими тиражами и мгновенно раскупались. Лагерлёф, мечтавшая стать «поэтом народа», была сторонницей эмансипации женщин, поддерживала их борьбу за избирательные права, за признание личной свободы и независимости. В 1911 году в Стокгольме, на Конгрессе женщин мира, она произнесла речь, в которой призывала женщин к участию в общественной жизни. Успехи движения за эмансипацию в Швеции привели к тому, что в 1914 году членом Шведской Академии впервые была избрана женщина. И звали ее Сельмой Лагерлёф. Вскоре разразилась Первая мировая война. Для писательницы, верившей в то, что народы должны жить в мире и взаимопонимании, война была тяжелым ударом. Лагерлёф неоднократно публично выступала в защиту мира. «Доколе слова слетают с моего языка, доколе бьется мое сердце, буду я защищать дело мира», — торжественно поклялась она. Откликом на события Первой мировой войны явился ее антимилитаристский роман «Изгнанник» (1918).

Нобелевская премия позволяет выкупить Морбакку, и рождаются новый роман о столь любимом Вермланде «Дом Лильекруны» (1911), а также множество воспоминаний, новелл и сказок, собранных в сборнике «Тролли и люди» (1915, 1921), среди них литературные сказки «Подменьш» и «Черстин Старшая и Черстин Меньшая». Народный мотив, использованный в сказке «Подменьш», был известен писательнице с детства, из устной традиции и из сборника преданий Х. Хофберга. Но Лагерлёф подвергает этот мотив глубокой трансформации. Только любовь и жертвенность матери может вернуть ей ребенка, плененного троллями.

Но еще раньше был написан самый значительный роман писательницы 1910-х годов «Король Порту-

галии» (1914). Некоторые исследователи сравнивают его с лучшими книгами Достоевского. В романе сделана попытка, с точки зрения социальной и психологической, воспроизвести жизнь бедного торпаря. Лагерлёф показывает его бесправие, когда новый хозяин, пользуясь тем, что у Яна нет формальных прав на лачугу, в которой он живет, собирается ее отнять. Однако нищенское существование торпаря освящено его любовью к дочери, любовью, заполнившей все его существо. Эта любовь помогает впоследствии спастись заблудшей дочери нищего торпаря, возомнившего себя королем Португалии.

Историей безграничной любви называли роман «Король Португалии» исследователи. Некоторые писали, что литература раньше знала только одного короля — Лира. Теперь появился ему подобный, но он совершенно не похож на первого: и это — «Король Португалии».

В 1920 году в записных книжках Лагерлёф появились наброски первой части трилогии о Лёвеншёльдах. В том же году вышла и вторая часть трилогии. А 28 ноября 1928 года, в день семидесятилетия писательницы, была опубликована последняя часть — «Анна Сверд».

Трилогия о Лёвеншёльдах — роман, посвященный истории этой семьи на протяжении пяти поколений. Действие начинается около 1730-го и заканчивается в 1860 году. Семейный роман-хроника не был новостью для европейской литературы. Книги о Ругон-Маккарах Золя, «Будденброки» Томаса Манна становятся широко известными в Швеции начала XX века и способствуют возникновению подобного рода романов в творчестве таких крупных писателей, как Яльмар Бергман, Сигфрид Сивертц, Густав Хельстрём и Свен Лидман. Однако не следует забывать и о том, что семейный роман-хроника появился в Европе в известной степени под влиянием норвежских писателей Александра Хьеллана и Юнаса Ли. Томас Манн, вспоминая о том, как он «глотал» скандинавскую и русскую литературу, писал, что источником романа «Будденброки» были не книги Золя, а скандинавские семейные романы Хьеллана и Ли.

Нельзя сказать, что трилогия Лагерлёф написана в традициях европейского или конкретно шведского

семейного романа. Несмотря на отдельные соответствия, ее книги достаточно своеобразны. В плане непосредственных литературных источников писательница ближе к «Старшей Эдде», к книге С. Топелиуса «Рассказы фельдшера», к норвежской традиции, но не традиции Хьеллана и Ли, а скорее С. Унсет.

Унсет — сильная и могучая, чуждая женской мелочности, заставила читателей, по мнению Лагерлёф, по-новому заинтересоваться историческим романом. «Исторический роман умер, — писала Лагерлёф в 1926 году, — но когда гений (Унсет. — Л. Б.) прикладывает к нему руку, роман возрождается к новой жизни».

Трилогия Лагерлёф основана не только на народных и литературных, но и, как у Золя, на документальных источниках. О романе «Шарлотта Лёвеншёльд» писательница сказала: «История, которую я здесь описываю, — истинная». В 1920 году в руки Лагерлёф попали письма и дневники пастора Карла Кристиана Эстенберга (1807–1868). Они-то и послужили основой романов «Шарлотта Лёвеншёльд» и «Анна Сверд», которые Лагерлёф изменила и переосмыслила.

Большинство европейских семейных романов давало широкую картину эпохи. Трилогия о Лёвеншёльдах — картина жизни Швеции XVIII — XIX веков, но в более узком смысле этого слова. Как и у С. Унсет в книгах о Кристин, дочери Лавранса (1920–1922), и Улаве, сыне Аудуна из Хествикена (1925–1927), так и у Лагерлёф, история — фон, на котором разворачиваются события романов. Лагерлёф, бегло касаясь проблем, имеющих значение для всей страны (деятельность Карла XII, вопросы войны и мира, пиетизм), описывает лишь отдельные провинции — Верmland и Далекарлию. Там люди живут во власти семейных событий и преданий. Размеренный и неторопливый ритм жизни в деревне Медстубюн нарушают лишь помолвки, свадьбы и поминки, описываемые со всеми этнографическими подробностями. Вместе с тем трилогия — нечто совсем иное, нежели «Сага о Йёсте Берлинге» и «Удивительное путешествие Нильса...».

В трактовке главных героев отчетливей всего проявилась эволюция творчества Лагерлёф. 9 февраля 1925 года

она писала, что в романе «Шарлотта Лёвеншёльд» множество точек соприкосновения с книгами, которые она создала раньше. Не только сюжетные, идейные моменты и художественные приемы, но и образы отдельных героев связывают трилогию с книгами «Сага о Йёсте Берлинге» и «Удивительное путешествие Нильса...». Вместе с тем они глубоко отличаются от них. Герой романов «Шарлотта Лёвеншёльд» и «Анна Сверд» пастор Карл-Артур Экенстедт похож на Йёсту Берлинга. Йёста хотел жениться на бедной девушке. Карл-Артур женился на далекарлийской крестьянке, коробейнице Анне Сверд. Йёсту погубило пьянство, Карла-Артура – то, что он был священником, не любившим людей. Он еще более противоречив, чем Йёста. Проповедуя аскетизм, Карл-Артур не отрекается от земной любви к жене Анне. Восхваляя бедность, не отказывается от привычных удобств. Ненавидя деньги, поносит отца и сестер, лишивших его материнского наследства. Презрев своих близких, Карл-Артур всецело доверился льстивой и неискренней Тее Сундлер. Как и Нильс Хольгерссон, Карл-Артур в конце концов научился любить людей. Но если мальчик помещен в среду, где в основном действуют сказочные законы, то образ Карла-Артура дан целиком на фоне реальной Швеции XIX века. Обостренный Первой мировой войной гуманизм писательницы помог ей провести своего героя через все заблуждения его времени, перенести горькие страдания на пути к людям. В Карле-Артуре есть нечто общее с Брандом Ибсена. Антиподом Карла-Артура является муж Шарлотты – заводчик Шагерстрём. На смену дворянскому сословию Лёвеншёльдов пришел человек новой, капиталистической формации, предприимчивый, энергичный, деловой. Шагерстрём – новый герой Лагерлёф, в котором она видит романтичность, цельность натуры и способность к настоящей любви.

В трактовке героинь не могли не сказаться взгляды Лагерлёф, сторонницы женской эмансипации. Все они, начиная с Шарлотты и кончая баронессой Амелией, восставшей против мужа, личности с ясно обозначенными характерами.

В своей трилогии Лагерлёф отобразила и жизнь крестьянства. Рабочих она не знала: в трилогии они — эпизодические персонажи. В крестьянах же писательница видит честность, мужество, верность, достоинство и трудолюбие.

В отличие от других произведений Лагерлёф, в трилогии сравнительно мало внимания уделяется природе. Но все пейзажные зарисовки чрезвычайно поэтичны, природа созвучна настроению героев. Драматично-напряженное действие романа «Перстень Лёвеншёльд» и последней части романа «Анна Сверд» изобилует увлекательными событиями. Размеренно-неторопливо, порой приближаясь к стилю исландского эпоса, использованного и в романах С. Унсет, движется действие в книге «Шарлотта Лёвеншёльд» и в двух первых частях романа «Анна Сверд». Стиль Лагерлёф диктуется содержанием ее произведений. В романе «Перстень Лёвеншёльд» встречается высокая патетика наряду с простотой изложения. Лиризмом и юмором, напоминающим порой диккенсовский, проникнуты многие страницы психологического романа «Шарлотта Лёвеншёльд» и отдельные главы романа «Анна Сверд». Некоторые главы воспринимаются как юмористические новеллы. Каждый из романов Лагерлёф отличается своеобразным языком. Слегка архаизован язык в романе «Перстень Лёвеншёльд». В последующих частях архаизация постепенно исчезает, уступая место более современному языку. Лагерлёф свойственно строгое разграничение речи действующих лиц в зависимости от их общественного положения и образования: церковная лексика в разговорах людей духовного звания, просторечие у крестьян. Диалоги образованных людей отличаются обилием галлицизмов, типичных для XVIII века. Анна Сверд, матушка Сверд, сестра Рис Карин, Ансту Лиза и другие коробейники говорят на далекарлийском диалекте. В трилогии постоянно ощущается присутствие рассказчика, который порой комментирует происходящее, порой вмешивается в ход событий и всегда горячо переживает все события.

В последнем своем крупном произведении Лагерлёф создала не только цельные романы с единством действия, но и законченную историческую эпопею.

Известный шведский писатель Свен Дельбланк как-то сказал, что Швеции было суждено подарить миру Сельму Лагерлёф. И шведы надеются, что читатели еще долго будут отдавать должное этому подарку.

Разделяя надежды соотечественников замечательной писательницы, остается добавить, что залогом их надежд является неоспоримая художественность произведений Лагерлёф, их актуальность для современного читателя. Они ярко освещают историю Швеции, ее фольклор, глубоко раскрывают психологию людей минувших эпох, их непреходящие чувства. Не случайно С. Льюис назвал в 1930 году имя Сельмы Лагерлёф среди имен крупнейших писателей современной ему Европы — Томаса Манна, Герберта Уэллса, Леона Фейхтвангера, Сигрид Унсет, Ромена Роллана.

Людмила Брауде

ПЕРСТЕНЬ ЛЁВЕНШЁЛЬДОВ

I

Знаю я, бывали в старину на свете люди, не ведавшие, что такое страх. Слыхивала я и о таких, которые за удовольствие почитали пройтись по первому тонкому льду. И не было для них большей отрады, чем скакать на необъезженных конях. Да, были среди них и такие, что не погнушались бы сразиться в карты с самим юнкером Алегордом, хотя заведомо знали, что играет он краплеными картами и оттого всегда выигрывает. Знала я и несколько бесстрашных душ, что не побоялись бы пуститься в путь в пятницу или же сесть за обеденный стол, накрытый на тринадцать персон. И все же сомневаюсь, хватило бы у кого-нибудь из них духу надеть на палец ужасный перстень, принадлежавший старому генералу из поместья Хедебю.

Это был тот самый старый генерал, который добыл Лёвеншёльдам и имя, и поместье, и дворянское достоинство. И до тех пор, пока поместье Хедебю оставалось в руках у Лёвеншёльдов, его портрет висел в парадной гостиной на верхнем этаже меж окнами. То была большая картина, занимавшая весь простенок от пола до потолка. Издали казалось, будто это Карл XII* собственной персоной, будто это он стоит здесь в синем мундире, в больших замшевой кожи перчатках, упрямо попирая огромными ботфортами пестрый, в шахматную клетку, пол. Но, подойдя поближе, вы видели, что изображен был человек совсем иного рода.

Над воротом мундира возвышалась могучая и грубая мужичья голова; казалось, человек на портрете рожден, чтобы пахать землю до конца дней своих. Но при всем своем безобразии малый этот был с виду и умен, и верен, и славен. Явись он на свет в наши дни,

он мог бы стать, по меньшей мере, присяжным заседателем в уездном суде, а то и председателем муниципалитета. Да, кто знает, может статься, он и в риксдаге бы заседал*. Но поскольку жил он во времена великого доблестями короля, он отправился на войну; туда пошел бедным солдатом, а вернулся домой прославленным генералом Лёвеншёльдом; и в награду за верную службу жалован был от казны имением Хедебю в приходе Бру.

Словом, чем дольше вы разглядывали портрет, тем больше примирялись с обликом генерала. Казалось, вы начинали понимать — да, таковы и были они, те самые воины, что под началом короля Карла XII проложили ему путь в Польшу и Россию*. Его сопровождали не только искатели приключений и придворные кавалеры, но и такие простые и преданные люди, как этот вот на портрете. Они любили его, полагая, что ради такого короля стоит и жить, и умереть.

Когда вы рассматривали изображение старого генерала, рядом всегда оказывался кто-нибудь из Лёвеншёльдов, чтобы заметить невзначай: это-де вовсе не признак тщеславия у генерала, что он стянул перчатку с левой руки, дабы художник запечатлел на портрете большой перстень с печаткой, который старый Лёвеншёльд носил на указательном пальце. Перстень этот жалован был ему королем, а для него на свете существовал лишь один-единственный король. И перстень был изображен вместе с генералом на портрете, дабы засвидетельствовать, что Бенгт Лёвеншёльд остался верен Карлу XII. Ведь немало довелось ему выслушать злых наветов на своего повелителя!* Осмеливались даже уверять, будто неразумием своим и своевольством он довел державу чуть не до гибели; но генерал все равно оставался ярким приверженцем короля. Ибо король Карл был для него человеком, равного которому не знал мир! И тому, кто был близок к нему, довелось узнать, что есть на свете нечто такое, что прекраснее и возвышеннее славы мирской и успехов и за что стоит сражаться.

Точно так же как Бенгт Лёвеншёльд пожелал, чтобы перстень был запечатлен вместе с ним на портрете, по-

желал он взять его с собой и в могилу. И тут дело было вовсе не в тщеславии. У него и в мыслях не было похвастаться тем, что он носит на пальце перстень великого короля, когда он предстанет пред Господом Богом и сонмом Его архангелов. Скорее всего, он надеялся, что лишь только он вступит в ту залу, где восседает окруженный своими лихими рубаками Карл XII, перстень послужит ему опознавательным знаком. Так что и после смерти ему доведется быть вблизи того человека, которому он служил и поклонялся всю свою жизнь.

Итак, когда гроб генерала опустили в каменный склеп, который он приказал воздвигнуть для себя на кладбище в Бру, перстень все еще красовался на указательном пальце его левой руки. Среди провожавших генерала в последний путь нашлось немало таких, кто посетовал, что подобное сокровище последует за покойником в могилу, ибо перстень генерала был почти столь же славен и знаменит, как он сам. Толковали, будто золота в нем столько, что хватило бы на покупку целого имения и что алый сердолик с выгравированными на нем королевскими инициалами стоил ничуть не меньше. И все полагали, что сыновья генерала достойны всяческого уважения за то, что не противились отцовской воле и оставили эту драгоценность при нем.

Если перстень генерала и в самом деле был таков, каким он изображен на портрете, то это была преуродливая и грубая вещица, которую в нынешние времена вряд ли кто пожелал бы носить на пальце. Однако перстень Лёвеншёльдтов необычайно ценился двести лет тому назад. Нельзя забывать, что все украшения и сосуды из благородного металла надлежало тогда за редким исключением сдавать в казну, что приходилось бороться с Гёртцовыми далерами и с государственным банкротством* и что для многих золото было чем-то таким, о чем они знали только понаслышке и чего никогда в глаза не видывали. Так и случилось, что в народе не могли забыть про золотой перстень, который был положен в гроб без всякой пользы для людей. Многие были готовы считать даже несправедливым, что он лежал там. Ведь его можно

было продать за большие деньги в чужие страны и добыть хлеб тому, кому нечем было кормиться, кроме как сечкой и древесной корой.

Но хотя многие и желали завладеть этой великой драгоценностью, не нашлось никого, кто бы вправду помышлял присвоить ее. Перстень так и лежал в гробу с привинченной крышкой, в замурованном склепе, под тяжелыми каменными плитами, недоступный даже самому дерзкому вору; и думали, что так он и останется там до скончания веков.

II

В марте месяце года 1741-го почил в бозе генерал-майор Бенгт Лёвеншёльд, а спустя несколько месяцев того же года случилось так, что маленькая дочка ротмистра Йёрана Лёвеншёльда, старшего сына генерала, жившего в ту пору в Хедебю, умерла от кровавого поноса. Хоронили ее в воскресенье, тотчас после службы, и все молещичики прямо из церкви последовали за погребальным шествием и проводили покойницу к Лёвеншёльдовой фамильной гробнице, где обе огромных могильных плиты были сдвинуты на самый край. В своде склепа под плитами каменщик сделал пролом, дабы гробик мертвого дитяти можно было поставить рядом с дедушкиным.

Покуда прихожане, собравшиеся у склепа, внимали надгробному слову, может статься, кое-кто и вспомнил о королевском перстне и посетовал на то, что вот лежит он, дескать, сокрытый в могиле без всякой пользы и радости.

А может, кое-кто и шепнул соседу, что теперь не так уж и трудно добраться до перстня: ведь до завтрашнего дня склеп вряд ли замуруют.

Среди тех, кого тревожили подобные мысли, был и некий крестьянин из усадьбы Мелломстуга в Ольсбю; звали его Борд Бордссон. Он был вовсе не из тех, кто стал бы горевать до седых волос из-за перстня. Напротив того, когда кто-нибудь заводил речь про перстень, Борд обычно говорил, что у него-де и так хорошая

усадебна и ему незачем завидовать генералу, унеси он с собой в могилу хоть целый шеффель* золота.

И вот теперь, стоя на кладбище, Борд Бордссон, как и многие другие, подумал: «Чудно, что склеп останется открытым». Но не обрадовался этому, а обеспокоился. «Ротмистру, пожалуй, надо бы приказать, чтобы склеп замуровали нынче же после полудня, — подумал он. — Найдутся такие, кому приглянется этот перстень».

Дело это его вовсе и не касалось, но как бы то ни было, а он все больше и больше свикался с мыслью, что опасно оставлять склеп открытым на ночь. Стоял август, ночи были темные, и если склеп не замуруют нынче же, то туда может пробраться вор и завладеть сокровищем.

Его охватил такой страх, что он уже начал было подумывать, не пойти ли ему к ротмистру, чтобы предупредить его. Но Борд твердо знал, что в народе он слывет простофилей, и ему не хотелось выставлять себя на посмешище. «В этом деле ты прав, это уж точно, — подумал он, — но ежели выказать излишнее усердие, тебя поднимут на смех. Ротмистр — малый не промах и уж непременно распорядится, чтобы заделали пролом».

Он так углубился в свои думы, что даже не заметил, как погребальный обряд окончился, и продолжал стоять у могилы. И простоял бы еще долго, если бы жена не подошла к нему и не дернула за рукав кафтана.

— Что это на тебя нашло? — спросила она. — Стоишь тут и глаз не сводишь, будто кот у мышиною норки.

Крестьянин вздрогнул, поднял глаза и увидел, что, кроме них с женой, никого на кладбище уже нет.

— Да ничего, — ответил он. — Стоял я тут, и взбрело мне на ум...

Он охотно поведал бы жене, что именно ему взбрело на ум, но он знал, что она куда смекалистей его. И сочла бы лишь, что тревожится он зря. Сказала бы, что замурован склеп или нет — никого это дело не касается, кроме ротмистра Лёвеншёльда.

Они отправились домой, и вот тут-то, на дороге, повернувшись спиной к кладбищу, Борду Бордссону

и выкинуть бы из головы мысли о генеральской гробнице, да где уж там. Жена все толковала о похоронах: о гробе и о гробоносцах, о похоронной процессии и о надгробных речах. А он время от времени вставлял словечко, чтобы не заметила она, что он ничего не видит и не слышит. Женин голос звучал уже где-то вдалеке. А в мозгу у Борда все вертелись одни и те же мысли. «Нынче у нас воскресенье, и, может статься, каменщик не пожелает заделать склеп в свой свободный день. Но коли так, ротмистр мог бы дать могильщику далер, чтобы тот покараулил могилу ночью. Эх, кабы он догадался это сделать!»

Неожиданно Борд Бордссон заговорил вслух сам с собой:

— Что ни говори, а надо было мне пойти к ротмистру! Да, надо было! Эка важность, коли люди и подняли бы меня на смех!

Он совсем забыл, что рядом с ним шла жена, и очнулся, лишь когда она вдруг остановилась и уставилась на него.

— Да ничего, — сказал он. — Это я все над тем делом голову ломаю.

Они снова зашагали к дому и вскоре очутились у себя в Мелломстуге.

Он надеялся, что хоть здесь-то уж избавится от тревожных мыслей, и так оно, может, и случилось бы, примись он за какую-нибудь работу; но день-то был воскресный. Пообедав, жители Мелломстуги разбрелись кто куда. Он один остался сидеть в горнице, и на него снова напало прежнее раздумье.

Немного погодя он поднялся с лавки, вышел во двор и почистил коня скребницей, намереваясь съездить в Хедебю и потолковать с ротмистром. «А не то перстень ukradут нынче же ночью», — подумал он.

Однако выполнить свое намерение ему не пришлось. Он был человек робкий. Вместо того он пошел к соседу на двор потолковать о том, что его беспокоило, но сосед был дома не один, и Борд по своей чрезмерной робости снова не осмелился заговорить. Он вернулся домой, так и не вымолвив ни слова.

Лишь только солнце село, он улегся в постель, собираясь тут же заснуть. Но сон не шел к нему. Снова вернулось беспокойство, и он все вертелся да ворочался в постели.

Жене, разумеется, тоже было не уснуть, и вскоре она стала расспрашивать, что с ним такое.

— Да ничего, — по своему обыкновению, отвечал он. — Вот только дело одно у меня все из головы нейдет.

— Да, слыхала я нынче про это не раз, — молвила жена, — теперь давай выкладывай, что задумал. Уж не такие, верно, опасные дела у тебя на уме, чтобы нельзя было про них мне рассказать.

Услыхав эти слова, Борд вообразил, что он тут же уснет, если послушается жены.

— Да вот лежу я и все думаю, — сказал он, — замуровали ли генералов склеп, или же он всю ночь простоит открытый.

Жена засмеялась.

— И я про то думала, — сказала она, — и сдается мне, что всякий, кто был нынче в церкви, об этом же думает. Но чего тебе-то из-за этакого дела без сна ворочаться?

Борд обрадовался, что жена не приняла его слова близко к сердцу. У него стало на душе спокойнее, и он решил было, что теперь-то уж непременно уснет.

Но как только он улегся поудобней, беспокойство вернулось к нему. Ему чудилось, будто со всех сторон, изо всех лачуг подкрадываются к нему человеческие тени. Все они вышли с одним и тем же тайным умыслом, все направляются к кладбищу и к тому самому открытому склепу.

Он попытался было лежать не двигаясь, чтобы дать жене уснуть, но у него заболела голова и пот прошиб. И поневоле он стал снова вертеться да ворочаться в постели.

Под конец у жены лопнуло терпение, и она как бы в шутку бросила ему:

— Ей-богу, муженек, по мне, так уж лучше бы тебе самому сходить на кладбище да поглядеть, все ли ладно с могилой, чем лежать тут да ворочаться с боку на бок, глаз не смыкая.

Не успела она выговорить эти слова, как муж ее выскочил из постели и стал натягивать на себя кафтан. Он решил, что жена права. От Ольсбю до церкви в Брухольм было не более получаса. Через час он вернется домой и спокойно проспит всю ночь напролет.

Но не успел он выйти за порог, как жене подумалось, что мужу будет, верно, не по себе на кладбище, коли он пойдет туда один-одинешенек. Она быстро вскочила и так же быстро набросила на себя платье.

Мужа она нагнала на холме близ Ольсбю. Услыхав ее шаги, Борд расхохотался.

— За мной пошла, проведать, не стяну ли я генералов перстень? — спросил он.

— Ах ты, мой сердечный! Уж я-то знаю, что ничего такого у тебя и в мыслях нет. Я пошла, только чтобы быть с тобой, коли тебе явится дух кладбищенский либо лошадь-мертвяк*.

Они прибавили шаг. Настала ночь, и в непроглядной тьме виднелась на западе лишь узенькая светлая кромка. Муж с женой хорошо знали дорогу. Они разговаривали и были в веселом расположении духа. Ведь на кладбище они шли только для того, чтобы взглянуть, открыт ли склеп, и чтобы Борду не мучиться без сна, ломая себе над этим голову.

— Нет, никак не поверить, будто они там в Хедебю такие растяпы, что не замуруют перстень сызнава!

— Да уж вскорости все узнаем, — молвила жена. — А вот, кажись, и кладбищенская ограда!

Крестьянин остановился, подивившись веселому голосу жены. Нет, быть того не может, чтобы она отправилась на кладбище с иными помыслами, чем он.

— Прежде чем войти на кладбище, — сказал Борд, — нам, поди, надо бы уговориться, что станем делать, ежели могила открыта.

— Уж и не знаю, закрыта ли, открыта ли, а только наше дело вернуться домой да лечь спать!

— И то верно, твоя правда! — сказал, снова зашагав, Борд. — И не жди, чтобы кладбищенские ворота были об эту пору не заперты, — добавил он.

— Пожалуй, что так, — подхватила жена. — Придется нам перелезть через стену, ежели захотим навесить генерала да поглядеть, каково ему там.

Муж снова удивился. Он услышал, как с легким шумом посыпались вниз мелкие камешки, и тут же увидел, как на фоне светлой полосы на западе вырисовывается фигура жены. Она влезла уже наверх, на стену, и ничего мудреного в том не было, потому что стена была невысока — всего несколько футов. Диковинным показалось ему только то, что жена выказала такую решительность, взобравшись наверх прежде его.

— Ну вот, — сказала она. — Давай руку, я пособлю тебе взобраться!

Вскоре стена осталась позади, и теперь они молча и осторожно пробирались среди невысоких могильных холмиков.

Один раз Борд споткнулся о такой холмик и чуть было не упал. Ему почудилось, будто кто-то подставил ему ножку. Он так испугался, что весь задрожал и заговорил громко, во весь голос, чтоб мертвецы поняли, с какими намерениями он пришел на кладбище.

— Не хотел бы я прийти сюда, будь дело мое неправое.

— Еще чего скажешь, — возразила жена. — Уж тут-то ты прав. А вон уж и могила виднеется!

Под темным ночным небом он разглядел вывороченные из земли могильные плиты.

Вскоре они были уже у самой могилы и увидели, что она открыта. Пролом в склепе не был заделан.

— Ну и недотепы же они, — выругался Борд. — Будто нарочно хотят ввести в тяжкое искушение тех, кто знает, какая драгоценность там упрятана.

— Верно, надеются, что никто не посмеет тронуть покойника, — сказала жена.

— Да и вообще-то мало радости лезть в такую могилу, — молвил муж. — Спрыгнуть-то вниз, пожалуй, не трудно, только потом сиди там, как лиса в норе.

— Нынче утром я видала, как они опустили в склеп лесенку, — сказала жена. — Но ее уж, поди, убрали.

— А погляжу-ка я и в самом деле, — сказал муж и стал шарить руками в могильном проломе. — Нет, гляди-ка ты! — воскликнул он. — Слыхано ли дело! Лесенка-то еще тут!

— Ну и растяпы! — поддакнула жена. — Только, по мне, тут ли лесенка или нет — разница невелика. Ведь тот, кто там внизу, и сам сможет за свое добро постоять.

— Кабы знать это дело! — подхватил муж. — Может, хоть лесенку убрать?

— Ничего в могиле трогать не станем, — сказала жена. — Лучше будет, коли могильщик поутру увидит могилу точь-в-точь такой же, какой оставил ее накануне.

Растерянные и нерешительные, стояли они, уставившись на черный, зияющий пролом. Им бы пойти теперь домой, но нечто таинственное, нечто такое, чего никто из них не осмеливался назвать своим именем, удерживало их на кладбище.

— Да можно бы оставить лесенку и на месте, — произнес наконец Борд, — будь я уверен, что у генерала есть сила удержать воров.

— Ты ведь можешь спуститься вниз, в склеп, — посоветовала жена, — вот тогда сам увидишь, какая у него сила.

Казалось, будто Борд только и дожидался от жены этих слов. Мигом очутился он подле лесенки и стал спускаться в пролом.

Но только ступил он на каменный пол подземелья, как услышал поскрипыванье лесенки и увидел, что следом за ним лезет и жена.

— Вон что, ты и сюда за мной тащишься, — молвил он.

— Боязно мне оставить тебя один на один с покойником.

— А не так уж он и страшен, — возразил муж. — И не чую, что холодная рука хочет меня удушить.

— Да уж ничего он нам, поди, не сделает, — молвила жена. — Он-то знает, что у нас и в мыслях не было украсть перстень. Вот кабы мы потехи ради стали отвинчивать крышку гроба, тогда другое дело.

Муж ощупью пробрался к гробу генерала и принялся шарить рукой вдоль крышки. Он отыскал винт с небольшим крестиком на шляпке.

— Тут будто бы нарочно все так и прилажено для вора, — сказал Борд, принимаясь ловко и осторожно отворачивать винты гроба.

— Слышишь что-нибудь? — спросила жена. — Не шевелится ли он в гробу?

— Тут тихо, как в могиле, — ответил муж.

— Он ведь, поди, не думает, что мы замыслили отнять у него, что ему всего дороже, — молвила жена. — Вот кабы мы крышку гроба подняли, тогда другое дело.

— Да, ну тут уж придется тебе мне пособить, — сказал муж.

Они подняли крышку и теперь уже не в силах были сдерживать алчность. Им не терпелось овладеть сокровищем. Они сорвали перстень с истлевшей руки, опустили крышку и, не проронив ни единого слова, потихоньку выбрались из могилы. Проходя через кладбище, они взялись за руки и, только оказавшись по другую сторону низкой серокаменной кладбищенской стены и спустившись на проселок, осмелились заговорить.

— Думается мне, — сказала жена, — что он сам этого хотел. Понял, что негоже покойнику беречь такое сокровище, вот и отдал его нам по доброй воле.

Муж расхохотался.

— Да, хороша ты, нечего сказать, — вымолвил он. — Нет уж, не заставишь ты меня поверить небылице, будто он отдал нам перстень по доброй воле; просто у него силы не было нам помешать.

— Знаешь что, — молвила жена, — нынче ночью ты был страсть какой храбрый. Мало таких, кто осмелится спуститься в могилу.

— А я вовсе и не думаю, что поступил неладно. У живого я бы никогда и далера не взял, ну а что за беда взять у мертвого то, что ему вовсе не нужно.

Шли они гордые и довольные собой и только диву давались, что никому, кроме них, не взбрело в голову прибрать к рукам перстень. Борд сказал, что съездит в Норвегию и продаст там перстень, как только предоставится какая-нибудь оказия. Им казалось, что за перстень удастся выручить столько денег, что им никогда больше не придется испытывать страх за завтрашний день.

— А это что? — внезапно остановившись, спросила жена. — Что я вижу? Неужто заря занимается? На востоке-то вроде светает!

— Нет, солнцу еще рано вставать, — сказал крестьянин. — Видать — пожар. И вроде бы где-то в стороне Ольсбю. Уж не...

Его прервал громкий крик жены.

— Это у нас горит! — кричала она. — Мелломстуга горит! Генерал поджег ее!

В понедельник утром в усадьбу Хедебю, расположенную совсем близко от церкви, ворвался могильщик и, едва переводя дух, выпалил: им с каменщиком, который собирался вновь замуровать склеп, показалось, будто крышка генеральского гроба съехала набок и что щиты с гербами и орденские ленты, которыми она убрана, сдвинуты с места.

Немедля люди спустились в склеп и обнаружили, что там царил страшный беспорядок и что винты гроба сорваны. Когда сняли крышку, то сразу же увидели, что на указательном пальце левой руки генерала перстня нет.

III

Я думаю о короле Карле XII и пытаюсь представить себе, как люди любили его и как боялись.

Ибо я знаю, что незадолго перед смертью королю случилось однажды зайти в карлстадскую церковь во время богослужения. Он приехал в город верхом, один и неожиданно; зная, что в церкви идет служба, он оставил коня у церковных ворот и вошел не через главный вход, а через притвор, как обычный прихожанин.

Но уже в дверях он увидел, что пастор поднялся на кафедру, и, не желая мешать ему, остался стоять там, где стоял. Не отыскав себе даже место на скамье, а прислонясь спиной к дверному косяку, он стал слушать проповедь.

Но хотя он и вошел незаметно и молча стоял в сумраке под церковными хорами, с самой задней скамьи кто-то узнал его. Быть может, то был старый солдат, потерявший руку или ногу в походах и отосланный до-

мой еще до Полтавы. И солдату подумалось, что этот человек с зачесанными назад волосами и орлиным носом, должно быть, и есть сам король. И, узнав его, он в тот же миг поднялся со скамьи.

Соседи по скамье, верно, подивились, зачем он поднялся, и тогда он шепнул им, что сам король здесь, в церкви. И вслед за ним невольно поднялись все, кто сидел на этой скамье, как это бывало всегда, когда с алтаря или с кафедры возвещались слова самого Господа Бога.

Весть о том, что король в церкви, мигом разнеслась с одной скамьи на другую, и все как один — и стар и млад, и богатые и бедные, и больные и здоровые — все поднялись с места.

Случилось это, как уже сказано, незадолго до смерти короля Карла, когда начались его горести и невзгоды. Пожалуй, во всей церкви не нашлось бы тогда человека, который не лишился бы дорогих его сердцу родичей либо не потерял всего своего состояния, и всё по вине этого короля. И если кому-нибудь даже и не приходилось роптать на собственную долю, ему стоило бы подумать о том, как разорена страна, сколько потеряно из завоеванных земель, и о том, что все королевство окружено врагами.

И тем не менее, тем не менее... Стоило людям услышать разнесенную шепотом молву о том, что здесь, в храме Божьем, находится тот самый человек, которого столько раз проклинали, как все разом поднялись с места.

Поднялись и остались стоять. Никто и не подумал сесть снова. Это было попросту невозможно. Там у бокового входа стоял сам король, и покуда он стоял, нужно было стоять всем. Если б кто-нибудь сел, он нанес бы королю бесчестье.

Может статься, проповедь продлится долго, но ничего не поделаешь, придется потерпеть. Никто не хотел оскорбить его, стоявшего у боковых дверей.

Он был солдатским королем и привык к тому, что солдаты охотно шли за него на смерть.* Но здесь, в церкви, вокруг него были простые горожане и ремесленники,

простые шведские мужчины и женщины, никогда в жизни не слышавшие команду: «Взять на караул!» Однако стоило ему только показаться среди них, и они уже попадали под его власть. Они пошли бы за ним в огонь и в воду, отдали бы ему все, чего он пожелает, они верили в него, боготворили его. Во всей церкви прихожане молились за этого необыкновенного человека, который был королем Швеции.

Я пытаюсь вдуматься во все это, я пытаюсь понять, почему любовь к королю Карлу могла безраздельно завладеть человеческой душой и так глубоко укорениться даже в самом угрюмом и суровом старом сердце, что все люди думали — любовь эта будет сопутствовать ему и после смерти.

И потому, после того как обнаружилась кража перстня Лёвеншёльдов, в приходе Бру больше всего удивились, что у кого-то хватило духа на такое недоброе дело. А вот любящих женщин, погребенных с обручальным кольцом на пальце, — тех, по мнению прихожан, воры могли грабить без опаски. Или же если какая-нибудь нежная мать уснула вечным сном, держа локон своего ребенка, то и его безбоязненно могли бы вырвать у нее из рук. И если какого-нибудь пастора уложили в гроб с Библией в головах, то и Библию эту, верно, можно было бы похитить у него без всякого вреда для лиходея. Но похитить перстень Карла XII с пальца мертвого генерала из поместья Хедебю! Невозможно представить себе, чтобы человек, рожденный женщиной, решился на такое отчаянное святотатство!

Разумеется, не раз учиняли розыск, но это ни к чему не привело — лиходея так и не нашли. Вор пришел и ушел во мраке ночи, не оставив ни малейших улик, которые могли бы навести на след.

И этому опять-таки удивились. Ведь ходило немало толков о призраках, которые являлись по ночам, чтоб обличить преступника, свершившего куда меньшее злодеяние.

Но в конце концов, когда стало известно, что генерал отнюдь не бросил перстень на произвол судьбы, а, напротив, боролся за то, чтобы вернуть его назад,

боролся с той самой грозной неумолимостью, какую выказал бы, будь перстень украден у него при жизни, ни один человек ничуть тому не изумился. Никто не выразил сомнения в том, что так оно все и было, ибо ничего иного от генерала и не ждали.

IV

Это случилось много лет спустя после того, как бесследно исчез перстень генерала. В один прекрасный день пастора из Бру призвали к бедному крестьянину Борду Бордссону с отдаленного сэттера* в лесах Ольсбю. Борд Бордссон лежал на смертном одре и непременно желал перед смертью поговорить с самим пастором*. Пастор был человек пожилой и, услышав, что надобно навеститься к больному, жившему за много миль от Бру в непроходимой чаще, решил — пусть вместо него поедет пастор-адъюнкт. Но дочь умирающего, которая принесла пастору эту весть, отказалась наотрез. Пусть едет сам пастор, или вообще никого не надо. Отец-де кланялся и наказал передать: ему надо рассказать что-то, о чем можно знать одному только пастору, а больше никому на свете.

Услышав это, пастор порылся в своей памяти. Борд Бордссон был славный малый. Правда, чуть простоватый, но не из-за этого же ему тревожиться на смертном одре. Ну, а ежели рассудить по-человечески, то священник сказал бы, что Борд Бордссон был один из тех, кто обижен Богом. Последние семь лет крестьянина преследовали всяческие беды и напасти. Усадьба сгорела, а скотина либо пала от повального мора, либо ее задрали дикие звери. Мороз опустошил пашни, так что Борд обнищал, как Иов. Под конец жена его пришла в такое отчаяние от всех этих напастей, что бросилась в озеро. А сам Борд перебрался в пастушью хижину в глухом лесу; то было единственное, чем он еще владел. С той поры ни сам он, ни дети его не показывались в церкви. Об этом не раз толковали в пасторской усадьбе, недоумевая, живут ли еще Бордссоны в их приходе или нет.

— Насколько я знаю твоего отца, он не совершал такого тяжкого греха, в котором не мог бы исповедаться адьюнкту, — сказал пастор, глядя с благосклонной улыбкой на дочь Борда Бордссона.

Для своих четырнадцати лет она была не по возрасту рослая и сильная девчонка. Лицо у нее было широкое, черты лица грубые. Вид у нее был чуточку простоватый, как и у отца, но выражение детской невинности и прямодушия скрашивало ее лицо.

— А вы, досточтимый господин пастор, верно, не боитесь Бенгт-силача? Ведь не из-за него вы не отказываетесь поехать к нам? — спросила девочка.

— Что такое ты говоришь, детка? — удивился пастор. — Что это за Бенгт-силач, о котором ты толкуешь?

— А тот самый, кто подстраивает так, что все у нас не ладится.

— Вот как, — протянул пастор, — вот как. Стало быть, это тот, кого зовут Бенгт-силач?

— А разве вы, досточтимый господин пастор, не знаете, что это он поджег Мелломстугу?

— Нет, об этом мне слышать не приходилось, — ответил пастор, но сразу же поднялся с места и взял свой тревник и небольшой деревянный потир, которые всегда возил с собой, когда ездил по приходу.

— Это он загнал матушку в озеро, — продолжала девочка.

— Худшей беды быть не может! — воскликнул пастор. — А он жив еще, этот Бенгт-силач? Ты видала его?

— Нет, видать-то я его не видала, — отвечала она, — но, ясное дело, жив. Это из-за него нам пришлось перебраться в лес и жить среди диких скал. Там он оставил нас в покое до прошлой недели, когда батюшка рубанул себе по ноге топором.

— И в этом тоже, по-твоему, виноват Бенгт-силач? — совершенно спокойно спросил пастор, но сразу же отворил дверь и крикнул работнику, чтобы тот седлал коня.

— Батюшка сказал, что Бенгт-силач заговорил топор, а не то бы ему ни в жисть не повредить ногу. Да и рана-то была вовсе не опасная; а нынче батюшка увидал, что у него антонов огонь в ноге. Он сказал, что те-

перь-то уж непременно помрет, потому как Бенгт-силач доконал его. Вот батюшка и послал меня сюда и наказал передать, чтобы вы сами к нему приехали, и как можно скорее.

— Ладно, поеду, — сказал пастор.

Пока девочка рассказывала, он набросил на себя дорожный плащ и надел шляпу.

— Одного я не могу понять, — сказал он, — с чего бы этому самому Бенгту-силачу так донимать твоего отца? Уж не задел ли его когда-нибудь Борд за живое?

— Да, от этого батюшка не отпирается, — подтвердила девочка. — Только чем он обидел его, о том батюшка ни мне, ни брату не сказывал. Сдается мне, что об этом-то он и хотел поведать вам, досточтимый господин пастор.

— Ну, коли так, — сказал пастор, — надо поторопиться.

Натянув перчатки с отворотами, он вышел вместе с девочкой из дому и сел на лошадь.

За все время, пока они ехали к пастушьей хижине в лесу, пастор не проронил ни слова. Он сидел, раздумывая о всех тех диковинах, о которых порассказала ему девочка. Сам он на своем веку встречал лишь одного человека, прозванного в народе Бенгтом-силачом. Но ведь может статься, что девочка говорила не о нем, а совсем о другом Бенгте.

Когда пастор въехал на сэттер, ему навстречу выскочил молодой парень. То был сын Борда Бордссона — Ингильберт. Он был несколькими годами старше сестры, такой же рослый и крупный, как она, и схож с ней лицом. Но глаза у него были посажены глубже, а вид — во все не такой прямодушный и добросердечный, как у нее.

— Далеконько вам было ехать, господин пастор, — сказал Ингильберт, помогая пастору спешиться.

— О да, — сказал старик, — но я приехал быстрее, чем полагал.

— Мне самому бы надо было привезти вас сюда, господин пастор, — сказал Ингильберт, — но я рыбачил вчера вечером допоздна. Лишь вернувшись домой, я узнал, что у отца в ноге антонов огонь и что сестру послали за вами, господин пастор.

— Мэрта не уступит любому парню, — сказал пастор. — Все сошло как нельзя лучше. Ну, а как Борд сейчас?

— По правде говоря, он совсем плох, но еще в уме. Обрадовался, когда я сказал ему, что вы уже выехали из лесу.

Пастор вошел к Борду, а брат с сестрой уселись на широкие каменные плиты возле лачуги и стали ждать. Настроены они были торжественно и разговаривали об отце, который был при смерти. Говорили, что он всегда был добр к ним. Но счастлив не был никогда с того самого дня, как сгорела Мелломстуга, так что, пожалуй, для него лучше будет расстаться с такой злосчастной жизнью.

Вдруг сестра сказала:

— У батюшки, видно, было что-то на совести!

— У батюшки? — удивился брат. — Уж у него-то что могло быть на совести? Да я ни разу не видал, чтобы он замахнулся на скотину или на человека.

— Но ведь в чем-то он собирался исповедаться пастору, и никому больше.

— Он так сказал? — спросил Ингильберт. — Сказал, что перед смертью хочет в чем-то исповедаться пастору? Я-то думал, он позвал его сюда только для того, чтобы причаститься.

— Когда он нынче посылал меня за пастором, он сказал, чтоб я упростила его приехать. Ведь пастор — единственный человек на свете, кому он может покаяться в великом и тяжком грехе.

Немного подумав, Ингильберт воскликнул:

— Чудно! Уж не придумал ли он все это, пока слонялся тут один? Как и небылицы, которые он, бывало, рассказывал про Бенгта-силача. Все это не иначе как пустые бредни, и ничего больше.

— Про Бенгта-силача он как раз и хотел поговорить с пастором, — сказала девочка.

— Тогда можешь побиться об заклад, что это одни бредни, — сказал Ингильберт.

С этими словами он поднялся с места и подошел к оконцу в стене хижины, которое было отворено, что-

бы немного света и воздуха могло проникнуть внутрь. Постель больного стояла так близко от оконца, что Ингильберт мог слышать каждое слово. И сын стал прислушиваться, ничуть не мучаясь угрызениями совести. Быть может, никто ему никогда прежде не говорил, что подслушивать исповедь грешно. Во всяком случае, он был уверен, что у отца нет никаких страшных тайн, которые он мог бы выдать.

Постояв немного у оконца, Ингильберт снова подошел к сестре.

— Ну, что я говорил? — начал он. — Отец рассказывает пастору, что это они вместе с матушкой украли королевский перстень у старого генерала Лёвеншёльда.

— Господи помилуй! — воскликнула сестра. — Уж не сказать ли нам пастору, что все это небылицы, что он сам на себя напраслину возводит?

— Сейчас мы ничего не можем сделать, — возразил Ингильберт. — Пусть теперь говорит что хочет. А с пастором мы после потолкуем.

Он снова подкрался к оконцу и стал подслушивать. На сей раз он не заставил сестру долго ждать и вскоре снова подошел к ней.

— Теперь он говорит, что той же ночью, когда они с матушкой побывали в склепе и взяли перстень, сгорела Мелломстуга. Он думает, будто сам генерал поджег двор.

— По всему видать, что это одна блажь, — сказала сестра. — Нам-то он не меньше сотни раз говорил, что Мелломстугу подпалил Бенгт-силач.

Не успела она договорить эти слова, как Ингильберт снова вернулся на свое место у оконца. На сей раз он долго стоял там, прислушиваясь, а когда снова подошел к сестре, лицо у него потемнело.

— Отец говорит, что это генерал наслал на него все беды, чтоб заставить вернуть перстень. Он говорит, что матушка испугалась и захотела пойти вместе с ним к ротмистру в Хедебю и отдать перстень. Батюшка и рад бы был послушаться ее, да не посмел, думал, что их обоих повесят, коли они повинятся, что обокрали покойника. Но уж тут матушка не могла снести этого, пошла и утопилась.

Тут и лицо сестры потемнело от ужаса.

— Но батюшка всегда говорил, — начала было она, — что это был...

— Ну да! Он только что толковал пастору, будто не смел сказать ни одной живой душе, кто напустил на него все эти беды. Только нам он говорил, что его донимает человек по прозвищу Бенгт-силач. Он сказал, что крестьяне называли генерала Бенгт-силач.

Мэрта Бордссон так и обмерла.

— Стало быть, это правда, — прошептала она тихо — так тихо, словно то были ее предсмертные слова.

Она огляделась по сторонам. Хижина стояла на берегу лесного озера, а вокруг высились мрачные, одетые лесом гребни гор. Насколько хватал глаз, не видно было человеческого жилья, не было никого, к кому она могла бы обратиться. Повсюду царило одиночество.

И ей почудилось, что в тени деревьев, во мраке караулит покойник, готовясь наслать на них новые беды.

Она была еще таким ребенком, что не могла понастоящему осознать, какой позор и бесчестье навлекли на себя ее родители. Она понимала одно — что их преследует какой-то призрак, какое-то беспощадное, всемогущее существо из загробного царства. Она ждала, что этот пришелец в любое время явится и она увидит его; Мэрте стало так страшно, что у нее зуб на зуб не попадал.

Она подумала об отце, который вот уже целых семь лет таил в душе такой же ужас. Ей минуло недавно четырнадцать, и она помнила, что ей было всего семь, когда сгорела Мелломстуга. И все это время отец знал, что мертвец охотится за ним. Да, лучше ему умереть.

Ингильберт снова подслушивал у оконца хижины, а потом вернулся к сестре.

— Ты ведь не веришь этому, Ингильберт? — спросила она, как бы в последний раз пытаясь избавиться от страха. Но тут она увидела, как у Ингильберта дрожат руки, а глаза застыли от ужаса. Ему тоже было страшно, ничуть не меньше, нежели ей.

— Чему же мне тогда верить? — прошептал Ингильберт. — Батюшка говорит, что много раз пытался

уехать в Норвегию — хотел продать там перстень, но ему никак не удавалось с места тронуться. То сам захво-
рает, то конь сломает ногу, как раз когда надо съезжать
со двора.

— А что сказал пастор? — спросила девочка.

— Он спросил отца, зачем он держал у себя пер-
стень все эти годы, ежели так опасно было владеть
им. Но батюшка ответил: он-де думал, что ротмистр
велит его повесить, ежели он признается в своем зло-
действе. Выбирать было не из чего, вот и пришлось
ему хранить перстень. Но теперь батюшка знает, что
помрет, и хочет отдать перстень пастору, чтобы его
положили генералу в могилу, а мы бы, дети, избави-
лись от проклятия и смогли бы снова перебраться в
приход к людям.

— Я рада, что пастор здесь, — сказала девочка. — Не
знаю, что и делать, когда он уедет. Я так боюсь. Мне чу-
дится, будто генерал стоит вон там, под елками. Поду-
мать страшно, что он бродил тут каждый день и под-
стерегал нас! А отец, может, даже видел его!

— Я думаю, что отец и вправду видел его, — согла-
сился Ингильберт.

Он снова подошел к хижине и стал прислушивать-
ся. Когда же он вернулся назад к сестре, в глазах его
уже было иное выражение.

— Я видел перстень, — сказал он. — Батюшка отдал
его пастору. Перстень так и горит! Алый с золотом!
Так и переливается. Пастор взглянул на перстень и ска-
зал, что признал его, что перстень этот — генерала.
Подойди к оконцу, и ты увидишь его!

— Лучше гадюку в руки возьму, чем стану глядеть на
этот перстень, — сказала девочка. — Неужто ты в самом
деле думаешь, что на него любо глядеть?

Ингильберт отвернулся.

— Знаю, что он — наш погубитель, но все равно мне
он по душе.

Только он произнес эти слова, как до брата и сест-
ры донесся сильный и громкий голос пастора. До сих
пор он давал говорить больному. Теперь настал его
черед.

Само собой разумеется, что пастор не мог примириться со всеми этими безумными речами о кознях мертвеца. Он пытался доказать крестьянину, что его постигла Божья кара за столь чудовищное злодеяние, как кража у покойника. Пастор вообще не желал согласиться с тем, будто генерал способен учинять пожары либо насылать хворь на людей и на скот. Нет, беды, разившие Борда, — это кара Божья, избранная, дабы принудить его раскаяться и вернуть краденое еще при жизни, после чего грех ему будет отпущен, и он сможет принять блаженную кончину.

Старый Борд Бордссон тихо лежал в постели и слушал пастора, ни словом ему не прекословя. Но, должно быть, тот так и не убедил его. Слишком много ужасов пришлось ему пережить, и не мог он поверить, что все они ниспосланы Богом.

Но брат с сестрой, дрожавшие от ужаса перед наваждениями и призраками, тут же воспрянули духом.

— Слышишь? — спросил Ингильберт, схватив за руку сестру. — Слышишь, пастор говорит, что то был все не генерал.

— Да, — ответила сестра.

Она сидела, сжав руки. Каждое слово, сказанное пастором, глубоко западало ей в душу.

Ингильберт встал. Порывисто вздохнув, он выпрямился. Он был теперь свободен от снедавшего его страха. Он стал с виду совсем другим человеком. Быстрым шагом подошел он к хижине, отворил дверь и вошел.

— Что такое? — спросил пастор.

— Я хочу поговорить с отцом!

— Ступай отсюда! С твоим отцом теперь говорю я! — строго сказал пастор.

Обернувшись к Борду Бордссону, он снова стал говорить с ним то ласково-властным тоном, то ласково-участливым.

Ингильберт, закрыв лицо руками, уселся на каменные плиты. Им овладело сильное беспокойство. Он снова вошел в лачугу, но его снова выставили за дверь.

Когда все было кончено, настал черед Ингильберта проводить пастора в обратный путь через лес. Вначале все шло хорошо, но вскоре им пришлось ехать гатью через болото. Пастор не мог припомнить, чтобы он утром переезжал такое болото, и спросил, не сбился ли Ингильберт с дороги. Но тот ответил, что гатью будет короче всего миновать болото и что она выведет их из лесу напрямик.

Пастор пристально взглянул на Ингильберта. Он уже заметил, что сын, подобно отцу, одержим жадной золотом. Ведь Ингильберт не раз входил в хижину, словно хотел помешать отцу отдать перстень.

— Эх, Ингильберт! Это узкая и опасная дорожка, — сказал пастор. — Боюсь, как бы конь не споткнулся на скользких бревнах.

— А я поведу коня, и вам, досточтимый господин пастор, нечего будет бояться, — сказал Ингильберт и в тот же миг схватил пасторского коня за поводья.

Когда же они очутились посреди болота, где со всех сторон их окружала лишь зыбкая трясины, Ингильберт стал пятить пасторского коня назад. Казалось, он хотел заставить его свалиться с узкой гати.

Конь встал на дыбы, а пастор, который с трудом держался в седле, закричал провожатому, чтобы тот, бога ради, отпустил поводья. Но Ингильберт, казалось, ничего не слышал, и пастор увидел, как он, потемнев лицом, стиснув зубы, одолевает коня, чтобы столкнуть его вниз, в вязкую топь. И животное, и всадника ждала верная смерть.

Тогда пастор вытащил из кармана сафьяновый мешочек и швырнул его прямо в лицо Ингильберту.

Тот отпустил поводья, чтобы поймать мешочек, и отпустил пасторского коня, и конь в бешеном испуге рванулся вперед по узкой гати. Ингильберт застыл на месте, не сделав ни малейшей попытки догнать пастора.

V

Не приходится удивляться, что после такого поступка Ингильберта у пастора помутилось в голове.

День уже клонился к вечеру, когда ему удалось добраться до жилья. Ничего мудреного не было и в том, что из лесу он попал не на дорогу в Ольсбю, которая была и лучше, и короче прочих, а пустился в объезд к югу, так что вскоре очутился у самых ворот Хедебю.

Плутая на коне в лесной чащобе, он только и помышлял о том, чтобы, вернувшись благополучно домой, первым делом послать за ленсманом и попросить его отправиться в лес и отобрать у Ингильберта перстень. Но, проезжая мимо Хедебю, он стал раздумывать, не свернуть ли ему туда по пути и не рассказать ли ротмистру Лёвеншёльду, кто дерзнул спуститься в склеп и украсть королевский перстень.

Казалось бы, над таким ясным делом голову долго ломать не приходилось. Но пастор все же колебался, зная, что ротмистр и его отец не очень ладили между собой. Ротмистр был столь же миролюбив, сколь отец его — воинствен. Он поспешил выйти в отставку, лишь только мы замирились с русскими*, и с тех пор все свои силы отдавал восстановлению благоденствия в стране, совершенно разоренной за годы войны. Он был против единовластия и воинских почестей и даже имел обыкновение дурно отзываться о самом Карле XII, о его высокой персоне, как впрочем, и о многом другом, что так высоко ценил его старик отец. Для вящей верности надобно сказать, что сын ревностно участвовал в риксдаговских распрях, причем всегда как сторонник партии приверженцев мира*. Да, у сына с отцом немало было поводов для раздоров.

Когда семь лет тому назад был украден генеральский перстень, пастор, да и многие другие сочли, что ротмистр не слишком старался получить его обратно. Все это заставило теперь пастора подумать: «Что пользы, ежели я возьму на себя труд спешиться здесь, в Хедебю? Ротмистр все равно не спросит, кто нынче носит королевский перстень на пальце — отец или Ингильберт. Лучше всего мне тотчас уведомить о краже ленсмана* Карелиуса».

Но пока пастор таким путем держал совет с самим собой, он увидел, что ворота, преграждавшие путь в

Хедебю, тихонько распахнулись, да так и остались отворенными настезь.

Это было поистине чудо, но мало ли на свете разных ворот, которые таким же манером распахиваются сами по себе, если они плохо затворены. И пастор не стал больше ломать голову над этим обстоятельством, но счел его знаком того, что ему надобно въехать в Хедебю.

Ротмистр принял его радушно, куда приветливее, чем обычно.

— Какая честь для нас, что вы, достопочтенный брат, заглянули к нам. Я как раз жаждал встречи с вами и сегодня не раз намеревался пойти к вам в усадьбу и поговорить об одном весьма необычном деле!

— Понапрасну бы только прошлись, брат Лёвеншёльд, — сказал пастор. — Еще рано поутру я поехал верхом по приходским делам на сэттер в Ольсбю и вот только сейчас возвращаюсь назад. Ну и денек выдался для меня, старика! Столько приключений!

— То же и со мной было, хотя я вряд ли вставал нынче с кресла. Уверяю вас, достопочтенный брат, что хотя мне скоро минет пятьдесят и я бывал в разных переделках, как в суровые военные годы, так и потом, чудес, подобных нынешним, мне переживать не приходилось.

— А раз так, — молвил пастор, — первое слово я уступаю вам, брат Лёвеншёльд. Я тоже могу поведать вам, высокочтимый брат, весьма примечательную историю. Но не стану утверждать, что она удивительнее всех, что приключались со мной на веку.

— Но может статья, — возразил ротмистр, — что вам, достопочтенный брат, моя история вовсе не покажется такой уж необыкновенной. Поэтому-то я и хочу спросить: вы слышали, верно, что рассказывают о Гаттёйельме*?

— Об этом чудовищном пирате и отчаянном капере*, которого король Карл произвел в адмиралы? Кто же не слыхивал, что о нем рассказывают!

— Так вот, — продолжал ротмистр, — нынче за обедом речь зашла о давних военных годах. Мои сыновья и их

гувернер принялись расспрашивать меня, как и что было в старину; ведь молодые любят слушать про былое. И заметьте себе, брат мой, что они никогда не спрашивают о той страдной и суровой поре, которую пришлось пережить нам, шведам, после смерти Карла, когда мы из-за войны да безденежья отстали во всем. Нет, им интересны лишь пагубные военные лета! Ей-богу, и не поверишь: ведь они ни во что не ставят то, что отстраиваешь заново сгоревшие дотла города, закладываешь заводы и мануфактуры, выкорчевываешь леса и поднимаешь новь. Думается, брат мой, сыновья мои стыдятся меня и моих современников за то, что мы покончили с военными походами и перестали опустошать чужие земли. Видно, они думают, что мы куда хуже наших отцов и что нам изменило былое могущество шведов!

— Вы, брат Лёвеншёльд, совершенно правы, — сказал пастор. — Такая любовь молодых людей к ратному делу заслуживает всяческого сожаления.

— Ну вот, я и исполнил их желание, — продолжал ротмистр, — и раз они хотели услышать о каком-нибудь великом герое войны, я и рассказал им о Гатенйельме и о его жестоком обхождении с купцами и мирными путешественниками, желая вызвать своим рассказом ужас и презрение. И когда мне это удалось, я попросил своих домочадцев поразмыслить над тем, что этот Гатенйельм был истый сын военного времени, и поинтересовался, хотелось бы им, чтобы землю населяли подобные исчадия ада?

Но не успели сыновья мои ответить, как слово взял их гувернер и попросил разрешения рассказать еще одну историю о Гатенйельме. И поскольку он заверил меня, что это приключение капера лишь подкрепит мои прежние высказывания об ужасающих зверствах и бесчинствах Гатенйельма, я дал свое согласие.

Он начал свой рассказ с того, что Гатенйельм погиб в молодые лета и тело его было погребено в онсальской церкви* в мраморном саркофаге, который он похитил у датского короля*. После этого в церкви стали появляться такие страшные привидения, что онсальским прихожанам стало невмоготу. Они не нашли ино-

го средства, кроме как вытащить тело из гроба и предать его земле на пустынной шхере далеко-далеко в море. Отныне церковь обрела мир и покой. Но рыбаки, которым случалось заплывать в воды, близкие к новому месту упокоения Гатенйельма, рассказывали, что оттуда всегда были слышны шум и возня и в любую погоду морская пена бурно вскипала над злосчастной шхерой. Рыбаки полагали, что все это было дело рук корабельщиков и торговых людей, которых Гатенйельм приказывал бросать за борт с захваченных им судов. И теперь они подымались из своих сырых морских могил, чтобы подвергнуть пирата экзекуции и пытке. А рыбаки всячески остерегались заплывать в ту сторону. Но однажды темной ночью одного из них угораздило оказаться слишком близко от страшного места. Он почувствовал, что его вдруг затянуло в водоворот, в лицо ему хлестнула морская пена, и чей-то громовой голос воззвал к нему:

«Ступай в усадьбу Гата в Онсале и скажи жене моей: пусть пришлет мне семь охапок ореховых прутьев да две можжевеловых палицы!»

Пастор, молча и терпеливо слушавший рассказ собеседника, уловил теперь, что это — обычная история о привидениях, и с трудом удержался от нетерпеливого жеста. Однако ротмистр не обратил на это ни малейшего внимания.

— Вы понимаете, достопочтенный брат мой, что рыбаку ничего не оставалось, как повиноваться этому наказу. Послушалась его и она, жена Гатенйельма. Были собраны самые гибкие ореховые прутья и самые здоровенные можжевеловые палицы, и работник из Онсалы поплыл с ними в море.

Тут пастор сделал столь явную попытку прервать своего собеседника, что ротмистр наконец заметил его нетерпение.

— Знаю, о чем вы думаете, брат мой, — молвил он, — то же думал и я, услышав за обедом эту историю, но сейчас, во всяком случае, попрошу вас, достопочтенный брат мой, выслушать меня до конца. Итак, я хотел сказать, что этот работник из Онсалы, должно быть, был

человек бесстрашный, да к тому же весьма преданный своему покойному хозяину. Иначе он вряд ли отважился бы выполнить такой наказ. Когда он подплыл ближе к месту погребения Гатенйельма, шхеру пирата захлестывали такие высокие волны, будто разыгралась страшная буря, а бряцание оружия и шум битвы слышны были далеко вокруг. Однако работник подошел на веслах как можно ближе, и ему удалось забросить на шхеру и можжевеловые палицы, и охапки прутьев. Несколько быстрых ударов веслами — и он удалился от страшного места.

— Высокочитимый брат мой... — начал было пастор, но ротмистр был непоколебим.

— Однако дальше плыть он не стал, а перестал грести, решив поглядеть, не случится ли что-нибудь примечательное. И ждать ему понапрасну не пришлось. Ибо над шхерой вздыбилась вдруг до облаков морская пена, шум сменился страшным грохотом, точно на поле битвы, и ужасающие стоны разнеслись над морем. Так продолжалось некоторое время, но с убывающей силой, а под конец волны и вовсе прекратили брать штурмом Гатенйельмову могилу. Вскоре здесь стало так же тихо и спокойно, как и на всякой другой шхере. Работник поднял было весла, чтобы отправиться в обратный путь, но в тот же миг к нему воззвал громовой и торжествующий голос:

«Ступай в усадьбу Гата в Онсале, поклонись моей жене и передай: живой ли, мертвый ли, Лассе Гатенйельм всегда побеждает своих врагов!»

Опустив голову, пастор слушал рассказ. Теперь, когда история подошла к концу, он поднял голову и вопрошающе взглянул на ротмистра.

— Когда гувернер произнес эти последние слова, — продолжал ротмистр, — я заметил, что сыновья мои сочувствуют этому презренному негодяю Гатенйельму и что им по душе пришелся рассказ о его удали. Поэтому я и поспешил заметить — дескать, история эта придумана складно, но что все это вряд ли нечто большее, нежели обыкновеннейшая небылица. Ибо если, — сказал я, — такой грубый пират, как Гатенйельм, в силах

был постоять за себя даже после смерти, то как же объяснить, что мой отец, столь же отчаянный рубака, как и Гатенйельм, но не в пример ему добрый и честный человек, допустил вора проникнуть в гробницу и похитить у него самое драгоценное его достояние? А у него не было силы воспрепятствовать этому или, по крайней мере, хоть потом нанести виновному афронт.

При этих словах пастор поднялся с несвойственным ему проворством.

— И я держусь того же мнения! — воскликнул он.

— Послушайте, однако, что случилось дальше, — продолжал ротмистр. — Не успел я выговорить эти слова, как за спинкой моего кресла послышались громкие вздохи. И вздохи эти столь походили на те, которые испускал, бывало, мой покойный отец, когда его терзали старческие немощи, что мне показалось, будто он стоит у меня за спиной. И я вскочил с места. Разумеется, никого и ничего я не увидел, но был убежден, что слышал моего отца. Мне не захотелось больше садиться за стол, и я просидел здесь все это время в одиночестве, размышляя об этом деле. И мне очень хотелось бы услышать, что думаете по этому поводу вы, мой достопочтенный брат. Те жалостные вздохи об исчезнувшем сокровище, которые я слышал... Был ли это мой покойный отец? Будь я уверен, что он все еще томится тоской по этому перстню! Да я лучше бы ходил по дворам, чиня дознание, нежели допустил, чтоб он хоть единый миг терзался жестокой скорбью, как о том свидетельствуют его жалобные вздохи.

— Второй раз приходится мне нынче отвечать на вопрос, скорбит ли еще покойный генерал о своем утраченном перстне и жаждет ли получить его обратно, — сказал пастор. — Но прежде чем ответить, я, с вашего позволения, высокочтимый брат мой, расскажу свою историю, а потом мы вместе потолкуем об этом.

Рассказав, что с ним произошло, пастор понял, что ему нечего было бояться, что ротмистр с недостаточным рвением станет блюсти интересы своего отца. Пастор не подумал о том, что в характере даже самого миролюбиво настроенного человека есть нечто от сыновей

Лодброка*. Ведь нередко бывает и так: поросята начинают визжать, узнав, какие муки вытерпел старый боров. И пастор увидел, как на лбу у ротмистра вздулись жилы, а кулаки так сильно сжались, что даже побелели в суставах. Неистовый гнев овладел ротмистром.

Естественно, пастор представил все это дело по-своему. Он рассказал, как гнев Божий покарал злодеев, но никоим образом не пожелал признать, что тут, должно быть, замешан мертвец.

Ротмистр же истолковал все это совсем по-иному. Он вывел отсюда, что отец его не обрел вечного покоя в могиле, ибо перстень с его указательного пальца был снят. Ротмистра терзали страх и угрызения совести, поскольку до сих пор он слишком беззаботно относился к этому делу. Казалось, в сердце у него ныла рана.

Пастор, заметив, как взволновался ротмистр, от страха еле решился рассказать ему, что перстень у него отняли снова. Но это было воспринято с каким-то мрачным удовлетворением.

— Хорошо, что хоть один из этого воровского сброда уцелел и что он такой же мерзавец, как и другие, — сказал ротмистр Лёвеншёльд. — Генерал расправился с родителями Ингильберта, и расправился сурово. Теперь настал мой черед!

Пастор уловил жестокую решимость в голосе ротмистра. Он волновался все сильнее и сильнее. Он начал опасаться, как бы ротмистр не удушил Ингильберта собственными руками или не засек бы его до смерти.

— Я счел своим долгом быть посланцем от покойного Борда к вам, брат Лёвеншёльд, — сказал пастор, — но я надеюсь, что вы не предпримете никаких опрометчивых действий. Я же намерен теперь уведомить ленсмана о том, что меня обокрали.

— Вы, брат мой, вольны поступать, как вам заблагорассудится, — заметил ротмистр. — Я хотел только сказать, что все это — лишь напрасные хлопоты, поскольку дело я беру на себя.

Пастор убедился, что в Хедебю он больше ничего не добьется. Он поспешил уехать из усадьбы, чтобы успеть засветло известить обо всем ленсмана.

А ротмистр Лёвеншёльд созвал всех своих челядинцев, рассказал, что приключилось, и спросил, хотят ли они завтра поутру отправиться вместе с ним в погоню за вором. Никто не отказался от такой услуги своему хозяину и покойному генералу. Конец вечера ушел на поиски всевозможного оружия — старинных мушкетов, коротких медвежьих рогатин, длинных шпаг, а также палиц и кос.

VI

Не менее пятнадцати человек сопровождали ротмистра, когда на другой день в четыре часа утра он вышел из дому охотиться на вора. И все они были в самом воинственном расположении духа. Правда была на их стороне, да к тому же они уповали на генерала. Раз уж покойник вмешался в это дело, так наверняка доведет его до конца.

Однако подходящая для облавы дикая чаща началась лишь за милю от Хедебю. В начале пути ротмистру с челядинцами пришлось пересечь логовину: кое-где она была возделана и усеяна мелкими постройками. То тут, то там на холмах виднелись довольно большие деревни. Одна из них и была Ольсбю, где прежде находилась усадьба Борда Бордссона — пока ее не сжег генерал.

За всем этим, словно разостланная по земле толстая звериная шкура, тянулся дремучий бор, одно дерево к другому. Но даже и здесь не кончалась власть человека: в лесу виднелись узкие тропки, которые вели к летним сэттерам и угольным ямам.

Когда ротмистр с челядинцами вошел в дремучий лес, всех их словно подменили: они обрели совсем иной вид, иную осанку. Им и прежде случалось приходить сюда на охоту за крупной дичью, и их обуял охотничий пыл. Зорко всматриваясь в густой кустарник, они и передвигаться стали совсем по-иному — легко ступая и будто крадучись.

— Давайте уговоримся наперед, ребята, — сказал ротмистр. — Никто из вас не должен накликать на себя

беду из-за этого вора, и потому предоставьте его мне. Смотрите только, чтобы его не упустить!

Но челядинцы и не думали повиноваться этому приказу. Все те, кто еще накануне мирно расхаживал, развешивая сено на сушила, горели теперь желанием как следует проучить этого ворюгу Ингильберта.

Едва они углубились в лес, как вековые сосны, стоявшие здесь со стародавних времен, стали такими частыми, что простерли над ними сплошной свод; подлесок кончился, и лишь мхи покрывали землю. И тут они увидели, что навстречу им идут трое с носилками из ветвей, на которых покоится четвертый.

Ротмистр со своим дозором поспешил им навстречу, но, увидев столько народу, носильщики остановились. Лицо человека, лежавшего на носилках, было прикрыто огромными листьями папоротника, так что нельзя было разглядеть, кто это. Но жители Хедебю, казалось, все же узнали его, и мороз пробежал у них по коже.

Им не привиделся рядом с носилками старый генерал. Вовсе нет. Им не привиделась даже его тень. Но все равно, они знали: он — здесь. Он вышел из леса вместе с мертвецом. Он стоял, указывая на него пальцем.

Трое, что несли носилки, были люди хорошо известные в округе и почтенные. То был Эрик Иварссон, хозяин большого хутора в Ольсбю, и его брат Ивар Иварссон, который так никогда и не женился и остался доживать у брата на отцовском хуторе. Оба они были уже в летах; зато третий в их компании был человек молодой. Он тоже был всем известен. Звали его Пауль Элиассон, и был он приемыш братьев Иварссонов.

Ротмистр подошел прямо к Иварссонам, а те опустили на землю носилки, чтобы поздороваться с ним за руку. Но ротмистр, казалось, не видел протянутых ему рук. Он не мог оторвать глаз от листьев папоротника, прикрывавших лицо того, кто лежал на носилках.

— Кто это тут лежит? Уж не Ингильберт ли Бордссон? — спросил он каким-то удивительно суровым голосом. Казалось, будто он говорит против своей воли.

— Он самый, — ответил Эрик Иварссон. — Но откуда вы это знаете, господин ротмистр? По платью признали?

— Нет, — ответил ротмистр, — я признал его не по платью. Я не видал его целых пять лет.

И его собственная челядь, и пришельцы удивленно глядели на ротмистра. Им всем подумалось, что нынче утром в нем появилось нечто непохожее на него, нечто зловещее. Он не был самим собой. Он уже не был уттив и обходителен, как прежде.

Ротмистр принялся расспрашивать крестьян, что они делали в лесу в такую рань и где нашли Ингильберта. Иварссоны были крестьяне зажиточные, и им было не по душе, что у них так это выпытывают, но самое главное ротмистру все же удалось выведать.

За день до этого с мукой и съестным для работников они поднялись на свой сэттер, расположенный в нескольких милях отсюда, в глубине леса, да там и заночевали. Рано поутру пустились они в обратный путь, и Ивар Иварссон вскоре обогнал своих спутников. Ведь Ивар Иварссон был солдат, мастер шагать, и не легко было поспевать за ним.

Намного опередив своих спутников, Ивар Иварссон вдруг увидел, что навстречу ему по тропинке идет какой-то человек. А лес там был довольно редкий. Никаких кустарников, одни лишь могучие стволы, и Ивар уже издали увидел этого человека. Но признать сразу — не признал. Меж деревьями колыхались клочья тумана, и когда их озаряли солнечные лучи, они превращались в золотистую дымку. Кое-что можно было разглядеть сквозь это туманное марево, но не очень отчетливо.

Ивар Иварссон заметил, что как только встречный завидел его в тумане, он тотчас же остановился и в величайшем ужасе, словно защищаясь, простер перед собой руки. Когда же Ивар сделал еще несколько шагов вперед, тот упал на колени и закричал, чтобы Ивар не смел приближаться к нему. Казалось, что человек этот не в своем уме. Ивар Иварссон хотел было поспешить к нему, чтобы успокоить, однако тот уже вскочил на ноги и бросился бежать в глубь леса. Но пробежал он

всего лишь несколько шагов. Почти в тот же миг он рухнул на землю и остался лежать недвижим. Когда Ивар Иварссон подошел к нему, он был мертв.

Теперь Ивар Иварссон тут же признал этого человека: то был не кто иной, как Ингильберт Бордссон, сын того самого Борда, который прежде жил в Ольсбю, но потом, когда двор его сгорел, а жена утопилась, перебрался на летний сэттер. Ивар никак не мог понять, отчего Ингильберт упал и умер: ведь ничья рука не коснулась его. Он пытался вернуть его к жизни, но это не удалось. Когда подоспели другие, они тоже увидели, что Ингильберт мертв. Но Бордссоны были когда-то соседями Иварссонов в Ольсбю, и им не захотелось оставлять Ингильберта в лесу; и вот они сделали носилки и унесли его с собой.

Ротмистр с мрачным видом слушал этот рассказ. Он показался ему вполне правдоподобным. Ингильберт лежал на носилках, словно снаряжился в дальнюю дорогу: за спиною — котомка, а на ногах — башмаки. Медвежья рогатина, лежавшая рядом, пожалуй, тоже принадлежала ему. Не иначе как Ингильберт хотел отправиться на чужбину, чтобы продать там перстень; но когда в лесном тумане ему повстречался Ивар Иварссон, ему почудилось, что он увидел призрак генерала. Ну, конечно! Так оно и было! Ивар Иварссон был одет в старый солдатский мундир, а поля его шляпы были загнуты на Каролинский манер*. То, что Ингильберт обозначился, легко объяснялось дальностью, туманом и тем, что совесть его была нечиста.

Тем не менее ротмистр все еще был недоволен. Он распалял в себе гнев и жажду крови. Ему хотелось бы задушить Ингильберта своими руками. Ему нужно было найти выход своей жажде мести, а выхода не было.

Однако мало-помалу ротмистр понял, как он несправедлив, и настолько совладал с собой, что даже рассказал Иварссонам, для чего он с челядинцами вышел нынче поутру в лес. И добавил, что хочет дознаться, при мертвецe ли еще перстень.

Ротмистру даже хотелось бы, чтобы крестьяне из Ольсбю ответили бы «нет»; тогда он мог бы с оружием

в руках постоять за свои права. Но они сочли его требование вполне естественным и чуть отошли в сторону, покуда несколько челядинцев обыскивали карманы мертвеца, его башмаки, котомку, каждый шов его одежды.

Вначале ротмистр с величайшим вниманием следил за обыском, но вдруг он нечаянно взглянул на крестьян, и ему показалось, будто те обменялись насмешливыми взглядами, словно были уверены, что он все равно ничего не найдет.

Так оно и вышло. Поиски пришлось прекратить, а перстень так и не отыскался. Тогда подозрения ротмистра вполне справедливо пали на крестьян. То же самое подумали и челядинцы. Куда девался перстень? Когда Ингильберт решился бежать, он наверняка взял его с собой. Где же он?

Хотя и теперь никто из них не видел генерала, но все ощущали его незримое присутствие. Стоя в толпе, он указывал на всю троицу из Ольсбю. Перстень у них!

Верно, это они обшарили карманы мертвеца и нашли перстень.

Скорее всего, история, которую они только что сочинили, — небылица, а на самом деле все произошло совершенно иначе. Может статься, Иварссоны, которые были односельчанами Бордссонов, знали, что те завладели королевским перстнем. Может статься, они узнали, что Борд умер, а повстречавшись с его сыном в лесу, тотчас смекнули, что он собрался бежать с этим перстнем; вот они и напали на Ингильберта и убили его, чтобы присвоить перстень.

На теле Ингильберта не было никаких следов увечья, кроме кровоподтека на лбу. Иварссоны сказали, что он ударился головой о камень, когда падал. Но разве этот кровавый желвак не мог быть нанесен толстой суковатой палицей, которую держал в руках Пауль Элиассон?

Ротмистр стоял, опустив глаза. Он мучительно боролся с самим собой. Никогда не слышал он об этих троих ничего, кроме хорошего, и ему никак не думалось, что они убийцы и воры.

Челядинцы окружили ротмистра. Кое-кто из них уже бряцал оружием, и все до единого считали, что без драки им отсюда не уйти.

Тогда к ротмистру подошел Эрик Иварссон.

— Мы, братья, — молвил он, — да и приемыш наш Пауль Элиассон, который вскоре станет мне зятем, понимаем, что думаете про нас вы, господин ротмистр, и ваши люди. Так вот, по-нашему, не след нам расходиться, пока вы не прикажете обыскать наши карманы и одежду.

От такого предложения у помрачневшего было ротмистра стало полегче на сердце. Он начал отговариваться. Иварссоны, да и их приемный сын такие люди, что на них и тень подозрения пасть не может.

Но крестьяне хотели покончить с этим делом. Они сами принялись выворачивать свои карманы и разувать башмаки. Тогда ротмистр махнул рукой челядинцам, чтобы те исполнили их волю и обыскали их.

Перстень так и не обнаружился, но в берестяном коробе, который Ивар Иварссон носил за спиной, нашли сафьяновый мешочек.

— Это ваш мешочек? — спросил ротмистр, после того как, порывшись в мешочке, увидел, что он пуст.

Ответь Ивар Иварссон — да и делу, может статься, был бы конец, но вместо этого он спокойно признался:

— Нет, не наш; он валялся на тропке, неподалеку от того места, где упал Ингильберт. Я поднял мешочек и бросил его в короб, он показался мне новехоньким.

— Но в таком вот мешочке и лежал перстень, когда пастор швырнул его Ингильберту, — сказал ротмистр; и лицо его и голос снова омрачились. — Теперь же вам, Иварссонам, ничего не остается, как отправиться со мной к ленсману, если вы не предпочитаете добровольно вернуть мне перстень.

Терпение крестьян из Ольсбю лопнуло.

— Нет у вас, господин ротмистр, таких прав, чтобы заставить нас идти в темницу, — молвил Эрик Иварссон.

Он схватился за рогатину, лежавшую рядом с Ингильбертом, чтобы проложить себе путь, а брат его с будущим зятем присоединились к нему.

В первый миг остолбеневшие жители Хедебю подались было назад, чуть не оттолкнув ротмистра, который засмеялся от радости, что наконец-то даст долгожданный выход своему гневу, употребив силу. Выхватив саблю, он рубанул по рогатине.

Но то был единственный ратный подвиг, совершенный в этой войне. Челядинцы оттащили его и вырвали у него саблю из рук.

Случилось так, что и ленсман Карелиус вздумал отправиться в то утро в лес. В ту самую минуту он в сопровождении стражника показался на тропинке. Снова начались поиски и снова дознание, но дело все же кончилось тем, что Эрик Иварссон, его брат Ивар и их приемный сын Пауль Элиассон были взяты под стражу и отведены в темницу по подозрению в убийстве и разбое.

VII

Нельзя не признать, что леса у нас в Вермланде были в ту пору обширны, а пашни малы, дворы велики, зато дома тесны, дороги узки, зато холмы круты, двери низки, зато пороги высоки, церкви неприглядны, зато службы долги, дни жизни коротки, зато горести бессчетны. Но из-за этого вермландцы вовсе не вешали голову и никогда не плакались.

Бывало, мороз бил посевы, бывало, хищные звери губили стада, а кровавый понос — детей: вермландцы все равно почти всегда сохраняли бодрость духа. А иначе что бы с ними случилось?

Но, быть может, причиной тому было утешение, обитавшее в каждой усадьбе. Утешение, которое служило как богатым, так и бедным, утешение, которое никогда не изменяло людям и никогда не знало усталости.

Но не думайте, право, что утешение это было нечто возвышенное или нечто торжественное, вроде слова Божьего, чистой совести или счастья любви! И уж вовсе не думайте, что было оно нечто низменное или опасное, вроде бражничанья или игры в кости! А было оно нечто совсем невинное и будничное: то было не

что иное, как пламя, неустанно пылавшее в очаге зимними вечерами.

Господи боже, какую красоту и уют наводил огонь в самой жалкой лачуге! А как шутил он там со всеми домочадцами вечера напролет! Он трещал и искрился, и тогда казалось, будто он потешается над ними. Он плевался и шипел, и казалось, будто он передразнивает кого-то брюзгливого и злого. Подчас он никак не мог сладить с каким-нибудь суковатым поленом. Тогда в горнице становилось дымно и угарно, словно огонь хотел втолковать людям, что его кормят слишком скудно. Подчас он ухитрялся обернуться раскаленной грудой угля, как раз когда в доме кипела работа, так что оставалось только сложить руки на коленях да громко смеяться, покуда он не вспыхнет вновь. Но хуже всего огонь проказничал, когда хозяйка приходила с треногим чугуном и требовала, чтобы он поварничал. Изредка огонь бывал послушен и услужлив и дело свое справлял быстро и умело. Но нередко он часами легко и игриво плясал вокруг котла с кашей, не давая ей закипеть.

Зато как весело, бывало, блестели глаза хозяина, когда, насквозь вымокший и замерзший, он возвращался в ненастье домой, а огонь встречал его теплом и уютом! Зато как чудесно бывало думать об огне, который бодрствует, излучая яркий свет в темную зимнюю ночь, словно путеводная звезда бедного странника и словно грозное предостережение рыси и волку!

Но огонь в очаге умел не только согреть, светить и поварничать. Он способен был не только сверкать, трещать, дымить и чадить. В его власти было пробудить в человеческой душе желание резвиться.

Ибо что такое человеческая душа, как не резвящееся пламя? Да, да, она и есть огонь! Она вспыхивает в самом человеке, охватывает его и кружится над ним, точь-в-точь как огонь вспыхивает в сырых поленьях, охватывает их и кружится над ними. Когда те, кто собирался зимними вечерами вокруг полыхающего огня, молча сидели часок-другой, глядя в очаг, огонь заговаривал с каждым из них на своем собственном языке.

— Сестрица Душа, — говорило пламя, — разве ты не такое же пламя, как я? Почему же ты так мрачна, так удручена?

— Братец Огонь, — отвечала человеческая душа, — я колола дрова и хозяйничала целый день. У меня только и осталось сил, что молча сидеть да глядеть на тебя.

— Знаю, — говорил огонь, — но настал вечерний час. Делай как я! Пылай и свети! Резвись и согревай!

И души слушались огня и начинали резвиться. Они сказывали сказки, загадывали загадки, пиликали на скрипке, вырезали завитки и розочки на домашней утвари и земледельческих орудиях. Они играли в разные игры и пели песни, они выкупали фанты и вспоминали старинные поговорки. И мало-помалу оледенелое тело оттаивало, оттаивало и угрюмое сердце. Люди оживали и веселели. Огонь и игры у очага давали им силы вновь жить их бедной и трудной жизнью.

Но вот без чего не обходилось веселье у очага, так это уж без рассказов о всякого рода геройских подвигах и приключениях! Рассказами этими тешился стар и млад, рассказам этим никогда не бывало конца. Ведь в подвигах и приключениях в этом мире, слава богу, никогда недостатка не было.

Но никогда не бывало их в таком изобилии, как во времена короля Карла. Он был всем героям герой, и рассказов о нем и его воинах была уйма! Историям этим не пришел конец вместе с ним и с его властью, они продолжали жить и после его смерти, они были лучшим его наследием.

Ни о ком не любили так рассказывать, как о самом короле; ну, а после него любили еще потолковать о старом генерале из Хедебю. Его знали в лицо, с ним не раз говорили и могли описать его с головы до ног.

Генерал был такой сильный, что сгибал подковы, как другие сгибали обыкновенные стружки. Однажды он узнал, что в Смедсбю в долине Свартшё живет кузнец, который лучше всех в округе кует подковы. Генерал поехал к нему в долину и попросил Миккеля из Смедсбю подковать ему коня. А когда кузнец вынес из кузни готовую подкову, генерал спросил, нельзя ли

сперва взглянуть на нее. Подкова была крепкая и сделана на совесть, но, разглядев ее, генерал расхохотался.

— Это, по-твоему, подкова? — спросил он и, согнув ее, переломил надвое.

Кузнец испугался, решив, что сделал плохо работу.

— В подкове, верно, была трещина, — сказал он и поспешил назад в кузню за другой подковой.

Но и с ней вышло как с первой, с той только разницей, что ее сжали, будто клещами, пока и она не переломилась пополам; ей-ей, так оно и было. Но тут Миккель заподозрил неладное.

— Уж не сам ли ты король Карл, а может, Бенгт из Хедебю? — сказал он генералу.

— Молодец, Миккель, ловко отгадал, — похвалил кузнеца генерал и тут же заплатил Миккелю сполна и за четыре новых подковы, и за те две, что сломал.

Немало и других рассказов ходило про генерала, их рассказывали без конца, и во всем уезде не нашлось бы человека, который не знал бы о старом Лёвеншёлде, не почитал его и не благоговел бы перед ним. Известно было и про генеральский перстень, и все знали про то, как вместе с генералом его положили в могилу; но человеческая алчность была так велика, что перстень у генерала украли.

Теперь вы можете представить себе! Уж если что и могло пробудить в людях интерес, любопытство и волнение, так это весть о том, что перстень обнаружен и утерян вновь, что Ингильберта нашли в лесу мертвым, а на крестьян из Ольсбю пало подозрение в краже перстня и они сидели под стражей.

Когда прихожане возвращались в воскресенье после полудня из церкви домой, там едва могли дожждаться, когда они снимут с себя праздничное платье и немного поедят; им приходилось немедля выкладывать все, что показали на суде свидетели, и все, в чем сознались обвиняемые, а также каков, по мнению людей, будет приговор.

Ни о чем другом и речи не было. Всякий вечер в больших домах и малых лачугах, как у торпарей*, так и у богатых крестьян, у очага вершили суд.

Ужасное то было дело, да и диковинное, потому и мудрено было разобраться в нем по справедливости. Нелегко было вынести окончательное решение, ибо трудно, да и почти невозможно было поверить, что Иварссоны и их приемный сын якобы убили человека из-за перстня, как бы драгоценен он ни был.

Взять хотя бы Эрика Иварссона. Был он человек богатый, владевший обширными угодьями и множеством домов. Ежели и водился за ним какой грех, так только тот, что был он горд и чрезмерно пекся о своей чести. Но потому и трудно было понять, что какое-нибудь сокровище в мире могло заставить его совершить бесчестный поступок.

Еще менее можно было заподозрить его брата Ивара. Верно, он был беден, зато жил у своего брата на хлебах, получая от него чего только пожелает. Он был так добросердечен и раздавал все, что у него было! Неужто такому человеку могло взбрести на ум пойти на убийство и разбой?

Что касается Пауля Элиассона, то о нем было известно, что он в большой милости у Иварссонов и должен жениться на Марит Эриксдоттер, единственной отцовской наследнице. Впрочем, он-то был из тех, кого можно было заподозрить скорее всего: ведь он по рождению иноземец, а об иноземцах известно, что кражу они не считают за грех. Ивар Иварссон привел Пауля с собой, когда вернулся домой из плена. Мальчик был сиротой трех лет от роду и, если бы не Ивар, умер бы с голоду в родной стране. Правда, воспитали его Иварссоны в правилах честности и справедливости, да и вел он себя всегда как подобало. Вырос он вместе с Марит Эриксдоттер, они полюбили друг друга, и как-то не верилось, что человек, которого ожидают счастье и богатство, вдруг возьмет да и поставит все это на карту, похитив перстень.

Но, с другой стороны, не следовало забывать и генерала, о котором люди сызмальства слышали столько разных легенд и историй, генерала, которого знали, пожалуй, не хуже родного отца, генерала, который был высок ростом, могуч и достоин доверия. А теперь

он умер, и у него похитили самое дорогое из его имущества.

Генерал знал, что, когда Ингильберт Бордссон бежал из дому, перстень был при нем, а не то Ингильберт спокойно отправился бы своей дорогой и не был бы мертв. Генералу, видно, было также известно, что крестьяне из Ольсбю украли перстень, иначе бы им никак не повстречался по дороге ротмистр, их не взяли бы под стражу и не держали бы под арестом.

Да, мудрено было разобраться по справедливости в таком деле, но на генерала уповали даже больше, чем на самого короля Карла. И почти на всех судебных разбирательствах, которые велись в бедных лачугах, был вынесен обвинительный приговор.

Большое удивление, конечно, вызвало то, что уездный суд, заседавший в судебной палате на холме в Брубю, учинив обвиняемым строжайшее дознание, но так и не изобличив их и не склонив к признанию вины, вынужден был оправдать крестьян, обвиняемых в убийстве и разбое.

Однако на волю их не выпустили, ибо приговор уездного суда должен был еще утвердить коронный суд, а коронный суд счел крестьян из Ольсбю виновными и приговорил их к повешению.

Но и этот приговор не был приведен в исполнение, поскольку ему надлежало сперва быть утвержденным самим королем.

После того как был вынесен и оглашен королевский приговор, прихожане, вернувшись из церкви, отложили свой обед; им не терпелось рассказать тем, кто оставался дома, что гласил приговор.

А он гласил: вполне очевидно, что кто-то из обвиняемых — убийца и вор, но поскольку ни один из них не признал себя виновным, то пусть их рассудит Божий суд.

На ближайшем тинге им надлежит в присутствии судьи, заседателей и всех прихожан сыграть друг с другом в кости. Того, кто выкинет меньше всего очков, следует признать виновным и покарать за содеянное преступление, подвергнув смертной казни через пове-

шение, а двух других немедленно освободить, дабы они вернулись к своей обычной жизни.

Мудрый был тот приговор, справедливый. Все жители долин Вермланда были им довольны. Разве не прекрасно со стороны старого короля, что в этом темном деле он не возомнил, будто видит яснее, нежели другие, а воззвал к Всеведущему? Теперь-то уж наконец можно поверить в то, что правда выйдет наружу.

К тому же в этом судебном деле было нечто совершенно особое. Оно велось не человеком против человека; истцом в этой тяжбе был покойник — покойник, требовавший вернуть ему его достоинство. В любых других случаях можно было еще колебаться, стоит ли прибегать к игральным костям, но только не в этом. Уж покойный-то генерал наверняка знал, кто утаил его добро. Вот и в королевском приговоре самым большим достоинством было то, что он давал старому генералу возможность казнить или миловать.

Могло даже показаться, будто король Фредрик* хотел предоставить окончательное решение генералу. Может статься, он знал его в старые военные годы и ему было известно, что на этого человека можно положиться. Вполне вероятно, что как раз это и имелось в виду. А так или не так, сказать трудно!

Как бы там ни было, все во что бы то ни стало хотели присутствовать на тинге* в тот день, когда будет оглашен Божий приговор. Каждый, кто не был слишком стар, чтобы идти, либо слишком мал, чтобы ползти, отправился в путь. Столь знаменательного события, как это, не случалось уже много лет. Тут нельзя было довольствоваться тем, чтобы потом, да еще от других, услышать, как все кончилось. Нет, тут непременно надо было присутствовать самому.

Верно, что усадьбы были прежде рассеяны по всей округе, верно и то, что тогда, бывало, целую милю проедешь, да так и не встретишь ни души. Но когда люди со всего уезда сошлись на одной и той же площади, все так и ахнули — сколько их тут! Тесно прижатые друг к другу, несчетными рядами стояли они перед судебной палатой. Казалось, будто пчелиный рой, черный

и отяжелевший, нависает перед ульем в летний день. Люди напоминали роящихся пчел еще и тем, что были не в своем обычном расположении духа. Они не были безмолвны и торжественны, как всегда бывали в церкви; не были они веселы и добродушны, как всегда на ярмарках: они были свирепы и раздражительны, были одержимы ненавистью и жаждой мести.

Что ж тут мудреного? С молоком матери впитали они ужас перед лиходеями. Их убаюкивали колыбельными песнями о бродягах, объявленных вне закона. В их представлении все воры и убийцы были вырожденками, чертовым отродьем, они их и за людей-то не считали. Мысль о милосердии к таким нелюдям им и в голову не приходила. Они знали, что такой вот страшной и подлой твари ныне будет вынесен приговор, и радовались этому. «Слава тебе, Господи, теперь-то уж этому кровожадному дьяволу придет конец, — думали они. — Теперь-то уж, по крайней мере, ему не удастся больше вредить нам».

Хорошо, что Божий суд должен был отправляться не в судебной палате, а на воле. Но плохо, конечно, что рота солдат частоколом стала на площади перед судебной палатой, и близко подойти было нельзя; люди же без конца поносили грубой бранью солдат за то, что те преграждали им путь. Прежде никто бы себе этого не позволил, но ныне все были дерзостны и наглы.

Ведь людям пришлось заблаговременно, с самого раннего утра выйти из дому, чтобы занять место поближе к частоколу из солдат, и на их долю выпало много долгих часов томительного ожидания. А за все это время развлечься было нечем. Разве что из судебной палаты вышел судебный пристав и поставил посреди площади огромный барабан. Все-таки стало повеселее, ибо люди увидели, что судейские там, в палате, намереваются дать делу ход еще до вечера. Судебный пристав вынес также стол со стулом да еще перо с чернильницей для писаря. Под конец он появился, держа в руках небольшой кубок, в котором звонко перекатывались игральные кости. Пристав несколько раз выкинул их на барабанную шкуру. Видно, хотел убедиться в том,

что они не фальшивые и падают то так, то этак, как игральным костям и положено.

Затем он быстро ушел назад в палату, и ничего удивительного в том тоже не было: ведь стоило ему только показаться на крыльце, как люди тотчас же начинали осыпать его бранью и насмешками. Прежде никто бы себе этого не позволил, но в тот день толпа просто обезумела.

Судью с заседателями пропустили сквозь заслон, и к судебной палате одни из них прошествовали пешком, другие же подъехали верхом. Лишь только появлялся кто-нибудь из них, как толпа сразу оживлялась. Но опять-таки никто не шептался и не шушукался, как бывало прежде. Вовсе нет! И лестные, и поносные слова выкрикивались во весь голос. И ничем нельзя было этому помешать. Ожидавших тинга было немало, и не такие они были, чтобы с ними шутить. Важных господ, которые прибыли на тинг, тоже впустили в судебную палату. Были там и Лёвеншёльд из Хедебю, и пастор из Бру, и заводчик из Экебю, и капитан из Хельгесэттера, и многие, многие другие. И пока они проходили, всем им пришлось выслушать множество замечаний вроде того, что есть, мол, счастливики, которым не приходится стоять сзади и драться за место поближе, да и еще много всякого другого.

Когда уже больше некого было поносить, толпа стала осыпать колкими насмешками молодую девушку, которая изо всех сил старалась держаться как можно ближе к частоколу из солдат. Она была маленькая и хрупкая, и мужчины — то один, то другой — не раз пытались пробиться сквозь толпу и захватить ее место; но всякий раз кто-либо из стоявших поблизости кричал, что она дочка Эрика Иварссона из Ольсбю, и после подобного вразумления девушку больше не пытались согнать с места.

Но зато на нее градом сыпались насмешки. Девушку спрашивали, кого ей больше хочется видеть на виселице — отца или жениха. И удивлялись: с какой это стати дочка вора должна занимать лучшее место.

Те же, что пришли из дальних лесов, только диву давались, как у нее хватает духу оставаться на площади. Но им тут же рассказали про нее и немало других

диковинных вещей. Она была не робкого десятка, эта девчонка, она присутствовала на всех судебных разбирательствах, она не проронила ни единой слезинки и все время сохраняла спокойствие. То и дело кивала она головой обвиняемым и улыбалась им так, словно была уверена в том, что на другой день их освободят. И когда обвиняемые видели ее, они снова обретали мужество. Они думали про себя, что есть на свете хоть один человек, который уверен в их невинности. Хоть один, кто не верит в то, что какой-то жалкий золотой перстень мог соблазнить их и толкнуть на преступление.

Красивая, кроткая и терпеливая, сидела она в судебной зале. Ни разу не вызвала она ни у кого гнева. Отнюдь, даже судью с заседателями, да и ленсмана она расположила в свою пользу. Сами бы они, положим, в этом не признались, но ходила молва, будто уездный суд ни за что не оправдал бы обвиняемых, не будь там ее. Невозможно было поверить, что кто-либо из тех, кого любит Марит Эрикسدоттер, может быть повинен в лиходействе.

И вот теперь она снова была здесь, чтобы арестанты могли видеть ее. Она стояла здесь, чтобы быть им опорой и утешением. Она хотела молиться за них в час их тяжкого испытания, хотела вверить их души милости Божьей.

Как знать! Говорят же в народе, что яблоко от яблони недалеко падает. Но ничего не скажешь, с виду она была добра и невинна. Да и сердце было у нее любящее, раз она могла оставаться здесь, на площади.

Ведь она, наверно, слышала все, что ей кричали, но не отвечала, и не плакала, и не пыталась спастись бегством. Она знала, что несчастные узники будут рады видеть ее. Ведь во всей огромной толпе она была единственная, кто всем сердцем по-человечески сочувствовал им.

Но что ни говори, а стояла она тут вовсе не зря. Нашлись в толпе один-два человека, у которых были свои дочери, такие же тихие, милосердные и невинные, как Марит. И в глубине души эти люди чувствовали, что им не хотелось бы видеть своих дочерей на ее месте.

Послышались в толпе и один-два голоса, которые защищали ее или пытались хотя бы унять разошедшихся остроловов и горланов.

Не только потому, что настал конец томительному ожиданию, но и из сочувствия к Марит Эриксдоттер все обрадовались, когда двери судебной палаты распахнулись и суд начался. Сперва торжественно прошествовали судебный пристав, ленсман и арестанты, с которых сняли кандалы, хотя каждого из них стерегли два солдата. Затем появились пономарь, пастор, заседатели, писец и судья. Замыкали шествие важные господа и несколько крестьян, которые были в такой чести, что и им дозволили находиться за оцеплением.

Ленсман с арестантами стали по левую сторону судебной палаты, судья с заседателями свернули направо, а господа разместились посредине. Писец со своими бумагами занял место за столом. Большой барабан по-прежнему стоял посреди площади у всех на виду.

Лишь только показалось шествие, в толпе началась толкотня и давка. Немало рослых и дюжих мужчин так и норовили протиснуться в первый ряд, метя прежде всего согнать с места Марит Эриксдоттер. Но, боясь, как бы ее не оттеснили, она, маленькая и тоненькая, нагнувшись, проскользнула мимо солдат и оказалась по другую сторону частокола.

Это было противно всем правилам порядка, и ленсман дал знак судебному приставу убрать Марит Эриксдоттер. Пристав тотчас же подошел к ней, положил руку ей на плечо, будто намереваясь ее арестовать, и повел к судебной палате. Но как только они смешались с толпой стоявших там людей, он отпустил ее. Пристав уже насмотрелся на девушку и знал — лишь бы ей дозволили стоять поблизости от арестантов, а она даже не попытается бежать. Если же ленсман захочет ее проучить, найти Марит будет легко.

Впрочем, разве было теперь у кого-нибудь время думать о Марит Эриксдоттер? Пастор с пономарем вышли вперед и встали посреди площади. Оба сняли шляпы, а пономарь затыкнул псалом. И когда те, кто стоял перед цепью солдат, услышали это пение, они начали

понимать, что сейчас свершится нечто великое и торжественное, самое торжественное из всего, чему им когда-либо приходилось быть свидетелями на своем веку: призыв к всемогущему, всеведущему божеству, дабы узнать его волю.

Когда же заговорил пастор, люди преисполнились еще большим благоговением. Он молил Христа, Сына Божьего, который некогда Сам предстал пред судилищем Пилата, смилостивиться над этими обвиняемыми, дабы не претерпели они суда несправедливого. Он молил Его также смилостивиться над судьями, дабы не были они вынуждены приговорить к смерти невинного.

Под конец он молил Его смилостивиться над прихожанами, дабы не пришлось им быть свидетелями великой несправедливости, как некогда евреям у Голгофы.

Все слушали пастора, обнажив головы, они не думали больше о своих жалких мирских делах. Они были настроены совсем иначе. Им чудилось, будто пастор призывает на землю самого Господа Бога, они ощущали Его незримое присутствие.

Стоял прекрасный осенний день: синее небо, усеянное белыми тучками, деревья с зеленой, чуть тронутой желтизной листвой. Над головами людей непрерывно проносились к югу стаи перелетных птиц. Непривычно было видеть такую уйму птиц сразу в один день. Людям казалось, что это, должно быть, неспроста. Не было ли то знамением, что Господь одобряет помыслы человеческие?

Когда пастор замолк, выступил вперед председатель уездного суда и огласил королевский приговор. Приговор был пространный, со множеством замысловатых оборотов речи, которые с трудом доходили до собравшихся. Но они поняли, что светская власть как бы сложила скипетр свой и меч, отрелась от мудрости своей и знания и уповала в своих надеждах всецело на волю Божью. И они стали молиться, молиться все как один, чтобы Господь помог им и вразумил их.

Затем ленсман взял в руки игральные кости и попросил судью и кое-кого из присутствующих бросить эти кости, чтобы проверить, не фальшивые ли они.

С каким-то странным трепетом прислушивался народ к стуку игральных костей, ударявшихся о барабанную шкуру. Эти кубики, сгубившие стольких людей, неужто теперь их сочли достойными возвещать волю Божью?!

Как только кости были испробованы, арестантов вывели вперед. Сперва кубок передали Эрику Иварссону, самому старшему из всех. Но ленсман тут же объяснил ему, что сейчас решение будет еще не окончательным. Сейчас им нужно бросить жребий лишь для того, чтобы каждому определить свой черед играть.

В первый раз Паулю Элиассону выпало меньше всего, а Ивару Иварссону больше всего очков. Стало быть, ему первому и надо было начинать.

Трое обвиняемых были одеты в ту же самую одежду, что была на них, когда они, спускаясь с гор, со своего летнего сэттера, повстречали ротмистра. Теперь эта одежда была в грязи и вся драная. Такой же изношенный вид, как у кафтанов, был и у их хозяев. Однако всем показалось, будто Ивар Иварссон держался из троих вроде бы лучше всех. Верно, потому, что он был солдат, закаленный бесчисленными муками боев и плена. Держался он все еще прямо, и вид у него был мужественный и бесстрашный.

Когда Ивар вышел вперед к барабану и принял кубок с костями из рук ленсмана, тот хотел было показать ему, как следует держать кубок и как играть в кости. На губах старика проскользнула усмешка.

— Не впервой играть мне в кости, ленсман, — сказал он таким громким голосом, что все услышали. — Бенгтсилач из Хедебю да я не раз, бывало, баловались вечером этой игрой там, в степных краях. Но не чаял я, что мне доведется сыграть с ним еще раз.

Ленсман хотел было поторопить его, но толпе понравилось слушать Ивара. Вот храбрец! Он еще мог шутить пред таким решающим испытанием!

Ивар обхватил кубок обеими руками, и все увидели, что он молится. Прочитав «Отче наш», он громко воскликнул:

— А теперь молю тебя, Господи Иисусе Христе, кому ведомо, что я невинен, да смилуешься надо мной и даруешь

мне меньше всего очков: ведь у меня нет ни детей, ни возлюбленной, которые станут плакать по мне!

Вымолвив эти слова, он с такой силой швырнул кости на барабанную шкуру, что те загрохотали.

И все стоявшие перед частоколом пожелали в тот миг, чтобы Ивара Иварссона освободили. Они полюбили его за храбрость и доброту и никак не могли взять в толк, как же это они считали его злодеем.

Почти невыносимо было стоять так далеко, не зная, что выпало на костях. Судья с ленсманом нагнулись над барабаном, чтобы поглядеть, заседатели и присутствовавшие при сем лица знатного сословия подошли поближе и тоже стали глядеть, каков исход. Казалось, все пришли в замешательство, некоторые кивали Ивару Иварссону, кое-кто пожимал ему руку, а толпа так ничего и не знала. По рядам пробежал негодующий ропот.

Тогда судья сделал знак ленсману, и тот поднялся на крыльцо судебной палаты, где его лучше видели и слышали:

— Ивар Иварссон выкинул на обеих костях по шестерке, больше очков набрать нельзя!

Люди поняли, что Ивар Иварссон признан невиновным, и обрадовались. А многие стали кричать:

— Будь здрав, Ивар Иварссон!

Но тут случилось такое, что повергло всех в изумление. Пауль Элиассон разразился громкими криками радости и, сорвав с головы свою вязаную шапочку с кисточкой, подбросил ее в воздух. Это произошло так неожиданно, что стражники не успели помешать ему. Все только ахнули. Правда, Ивар Иварссон был Паулю Элиассону все равно что отец, но теперь, когда дело шло о его жизни, неужто он и вправду радовался тому, что другого признали невиновным?

Вскоре был восстановлен порядок: начальство отошло направо, арестанты со стражниками налево, другие зрители придвинулись поближе к судебной палате, так что барабан снова остался посредине, ничем не заслоненный, и его было видно со всех сторон. Теперь настал черед Эрика Иварссона подвергнуться смертельному испытанию.

Вперед нетвердой и спотыкающейся походкой вышел надломленный и старый человек. Его едва можно было узнать. Неужто это Эрик Иварссон, который всегда размашисто и властно ступал по земле? Взгляд его потускнел, и кое-кто подумал, что он едва ли сознает до конца, какое ему предстоит испытание. Но, приняв в руки кубок с костями, он попытался выпрямить согнутую спину и произнес:

— Благодарение Богу, что брат мой Ивар оправдан, потому что хоть в этом деле я так же невинен, как и он, он всегда был лучше меня. И молю Господа нашего Иисуса Христа, дабы Он сподобил меня выкинуть меньше всего очков, дабы дочь моя могла обвенчаться с тем, кого она любит, и жить с ним счастливо до конца дней своих!

С Эриком Иварссоном случилось то, что часто бывает со стариками: вся его былая сила, казалось, ушла в голос. Его слова были услышаны всеми и всколыхнули народ. Уж очень непохоже на Эрика Иварссона было признать, что кто-то много достойнее его, да еще желать себе смерти ради чужого счастья. Во всей толпе не нашлось бы теперь ни единого человека, кто по-прежнему считал бы его разбойником и вором. Со слезами на глазах молились люди Богу, чтобы Эрик выкинул побольше очков.

Он и не потрудился потрясти в кубке кости, а лишь подняв кубок вверх и опустив его вниз, выбросил кости на барабанную шкуру. Глаза его были слишком стары для того, чтобы он мог различить очки на кубиках, и он, даже не удостоив их взглядом, стоял, вперив взор в пространство.

Но судья и другие поспешили к барабану. И все прочли на их лицах то же удивление, что и в прошлый раз.

А толпа, стоявшая перед частоколом, будто поняла все, что произошло, еще задолго до того, как ленсман огласил исход дела. Какая-то женщина воскликнула:

— Спаси тебя Господь, Эрик Иварссон!

И вслед послышался многоголосый крик:

— Благодарение и хвала Господу за то, что Он помог тебе, Эрик Иварссон!

Вязаная шапочка Пауля Элиассона взлетела в воздух, как и в первый раз, и все снова ахнули. Неужто он не думает, чем это грозит ему самому?

Эрик Иварссон стоял безгласный и равнодушный, лицо его ничуть не просветлело. Думали — быть может, он ждет, когда ленсман огласит исход дела, но даже когда это свершилось и Эрик узнал, что он тоже, как и брат его, выкинул на обеих костях по шестерке, он остался безучастен. Он хотел было добраться до своего прежнего места, но так обессилел, что судебному приставу пришлось подхватить его, а то бы не удержаться ему на ногах.

Настал черед Паулю Элиассону подойти к барабану, чтобы попытать свое счастье, и все взоры обратились к нему. Еще задолго до испытания все сочли, что он-то, должно быть, и есть истинный преступник; теперь он был, можно сказать, приговорен. Ведь больше очков, чем братья Иварссоны, выкинуть было невозможно.

Такой исход никого бы прежде не огорчил, но тут все увидали, что Марит Эриксдоттер украдкой пробралась к Паулю Элиассону.

Он не держал ее в своих объятиях, ни поцелуя, ни ласки не было меж ними. Она лишь стояла рядом, крепко-крепко прижавшись к нему, а он обнял ее стан рукой. Никто не мог бы с точностью сказать, долго ли они так простояли, потому что внимание всех поглотила игра в кости.

Как бы то ни было, они стояли бок о бок, соединенные неисповедимой судьбой вопреки страже и грозному начальству, вопреки тысячам зрителей, вопреки ужасной игре со смертью, в которую были вовлечены.

Их свела вместе любовь, но любовь более возвышенная, нежели земная. Они могли бы стоять так летним утром у лаза в плетне, проплясав всю ночь напролет и впервые признавшись друг другу в том, что хотят стать мужем и женой. Они могли бы стоять так после первого причастия, чувствуя, что все грехи сняты с души. Они могли бы стоять так, если бы обоим довелось претерпеть ужас смерти, и перейти в потусторонний мир, и встретиться вновь, и постигнуть, что они на веки вечные принадлежат друг другу.

Она стояла, глядя на него с такой нежной любовью! И что-то шевельнулось в людских душах и подсказало им — вот над Паулем Элиассоном и следовало бы сжалиться. Ведь он был юным деревцом, которому не суждено цвести и плодоносить, он был ржаным полем, которому суждено быть вытоптаным, прежде чем ему доведется одарить кого-либо от щедрот своих.

Он молча опустил руку, обвивавшую стан Марит, и вслед за ленсманом подошел к барабану. По его лицу незаметно было, чтоб он хоть сколько-нибудь тревожился, когда принял в руки кубок. Он не держал речь перед народом, как другие, а повернулся к Марит.

— Не бойся! — сказал он. — Богу ведомо, что я так же невинен, как и другие.

После этого он, будто играючи, перетряхнул несколько раз кости в кубке, не останавливая их, покуда они не перекатились через край и не упали на барабанную шкуру.

— Я выкинул на обеих по шестерке, Марит! Я выкинул по шестерке, и я тоже!

Он будет оправдан — иное ему и в голову не приходило, и от радости он не мог устоять на месте. Высоко подпрыгнув, он подбросил шалочку ввысь, схватил стоявшего рядом с ним стражника в объятия и поцеловал.

Тут многие подумали: «Видать сразу, что он иноземец. Будь он швед, не стал бы торжествовать до времени».

Судья, ленсман, заседатели и знатные господа степенно и не торопясь подошли к барабану и стали разглядывать кости. Но на этот раз вид их был нерадостен. Они лишь покачали головой, и ни один из них не поздравил Пауля Элиассона с выпавшим ему на долю счастливым жребием.

Взойдя в третий раз на крыльцо судебной палаты, ленсман возвестил:

— Пауль Элиассон выкинул на обеих костях по шестерке, больше очков набрать нельзя!

Толпа заволновалась, но никто не ликовал. Никому и в голову не пришло, что тут есть какой-то подвох. Этого быть не может! Но всем было боязно и как-то не по себе, поскольку Божий суд ничуть не прояснил суть дела.

Значило ли это, что все трое были одинаково невиновны, или это значило, что все они были одинаково виновны?

Люди увидели, как ротмистр Лёвеншёльд поспешно подошел к судье. Вероятно, хотел сказать, что Божий суд так ничего и не решил, но судья угрюмо отвернулся от него.

Судья с заседателями направились в судебную палату и стали держать совет, а тем временем никто не осмелился ни пошевелинуться, ни даже прошептать хоть слово. Даже Пауль Элиассон и тот держался смирно. Казалось, он понял наконец, что Божий суд можно истолковать и так, и этак.

Суд снова появился после краткого совещания, и судья возвестил, что уездный суд склонен толковать Божий приговор таким образом, что всех трех обвиняемых следует признать невиновными.

Вырвавшись из рук стражей, Пауль Элиассон в величайшем восторге опять подбросил свою шапочку, но и это было несколько преждевременно, так как судья еще не кончил речь:

— Но это решение суда надлежит представить королю через гонца, которого нынче же должно снарядить в Стокгольм. Обвиняемым же следует пребывать в темнице, покуда его королевское величество не утвердит приговор суда.

VIII

Однажды осенью, лет тридцать спустя после той достопамятной игры в кости на площади перед судебной палатой в Брубю, Марит Эриксдоттер сидела на крыльце небольшой свайной клетки в усадьбе Стургорден, где она жила, и вязала детские рукавички. Ей хотелось связать их красивым узором в полоску и в клетку, чтобы они доставили радость ребенку, которому она собиралась их подарить. Но она не могла припомнить какой-нибудь узор.

После того как она долгое время просидела на крыльце, рисуя спицей на ступеньке узоры, она пошла

в клеть и открыла сундук с платьем, чтобы найти какой-нибудь образчик, по которому могла бы связать рукавички. На самом дне сундука она наткнулась на искусно связанную шапочку с кисточкой, узорную — со множеством всякого рода квадратиков и полосок; после некоторого колебания она взяла шапочку с собой на крыльцо.

Вертя шапочку во все стороны, чтобы разобраться в узорном вязании, она заметила, что шапочка кое-где трачена молью. «Господи боже, немудрено, что шапочка испорчена, — подумала она. — Прошло, верно, самое малое тридцать лет с той поры, как ее носили. Ладно, что я хоть удосужилась вытащить ее из сундука и вижу теперь, что с нею случилось».

Шапочка была украшена большой и пышной разноцветной кисточкой, и в ней-то моли, видимо, и было раздолье. Стоило Марит встряхнуть шапочку, как нитки полетели во все стороны. А кисточка, так та даже оторвалась и упала к ней на колени. Она подняла кисточку и стала разглядывать, сильно ли она попорчена и нельзя ли ее снова прикрепить, однако при этом она вдруг заметила, что среди нитей что-то сверкнуло. Нетерпеливо раздвинув их, она обнаружила большой золотой перстень с печаткой и с алым камнем, накрепко вшитый в кисточку грубыми холщовыми нитками.

Кисточка с шапочкой выпали у нее из рук. Никогда прежде не доводилось ей видеть этот перстень, но ей вовсе не было нужды разглядывать королевские инициалы на камне или читать надпись на перстне, чтобы узнать, что это за перстень и кто был его владелец. Опершись о перила крыльца, она закрыла глаза и так и сидела, тихая и бледная, словно была при смерти. Ей казалось, что сердце у нее вот-вот разорвется от муки.

Из-за этого перстня отцу ее Эрику Иварссону, дяде ее Ивару Иварссону и жениху ее Паулю Элиассону пришлось расстаться с жизнью, а теперь ей суждено найти тот перстень, накрепко вшитый в кисточку Паулевой шапочки!

Как же он туда попал? Когда же он туда попал? Знали ли Пауль о том, что перстень зашит в кисточку?

Нет! Она тотчас же заверила самое себя, что он никак не мог знать об этом.

Она вспомнила, как он размахивал этой шапочкой и подбрасывал ее ввысь, думая, что и его, и стариков Иварссонов оправдают.

Картина эта стояла перед ее глазами, словно все случилось только вчера: огромная толпа людей, сначала исполненная ненависти и вражды к ней и к ее близким, а под конец поверившая в их невиновность. Ей вспомнилось великолепное темно-синее осеннее небо и перелетные птицы, которые сбились с пути и беспокойно металась над площадью, где шел тинг. Пауль видел их и в тот миг, когда она прижалась к нему, он шепнул ей, что скоро его душа будет метаться в небесах, словно маленькая сбившаяся с пути птичка. И он спросил ее, позволит ли она ему прилетать и гнездиться под кровельным желобом усадьбы в Ольсбю.

Нет, Пауль не мог знать, что воровское добро спрятано в шапочке, которую он бросал ввысь, глядя на великолепное осеннее небо.

То было на другой день. Сердце ее судорожно сжималось всякий раз, когда она вспоминала о нем, но теперь ей во что бы то ни стало нужно было вспомнить все до конца. Из Стокгольма пришел указ, что Божий суд следует истолковать так: все трое обвиняемых равно виновны, и их надлежит казнить через повешение.

Она была там, когда приговор приводили в исполнение, была ради того, чтобы люди, которых она любила, знали, что есть на свете человек, который верит в них и скорбит о них. Но ради этого едва ли было надобно идти на холм висельников. После Божьего суда расположение духа у людей стало иным. Все те, кто окружали ее перед солдатским частоколом, были теперь добры к ней. Люди судили да рядили меж собой, а потом решили, что Божий суд следует истолковать так: все трое обвиняемых невиновны. Ведь старый генерал дозволил всем троем выкинуть по две шестерки. Стало быть, и толковать тут больше нечего. Генеральского перстня никто из них не брал.

Когда вывели троих крестьян, раздался всеобщий страшный вопль. Женщины плакали, мужчины стояли, сжав кулаки и стиснув зубы. Говорили, что быть, мол, приходу Бру разоренным, как Иерусалиму, потому что там лишили жизни трех безвинных мужей. Люди выкрикивали слова утешения приговоренным к казни и глумились над палачами. Множество проклятий призывалось на голову ротмистра Лёвеншёльда. Говорили, будто он побывал в Стокгольме и по его вине приговор Божьего суда истолковали в ущерб обвиняемым.

Но, во всяком случае, все люди вместе с Марит считали подсудимых невиновными и верили им, и это помогло девушке пережить тот день. И не только тот день, но и все остальные дни — доныне. Если бы люди, с которыми ей доводилось встречаться, считали ее дочкой убийцы, она не в силах была бы вынести тяготы жизни.

Пауль Элиассон первым взошел на маленький дощатый помост под виселицей. Сперва он бросился на колени и стал молиться Богу; потом, обратившись к стоявшему рядом с ним священнику, стал о чем-то молить его. Затем Марит увидела, как пастор снял с его головы шапочку. Когда все было кончено, пастор передал Марит шапочку и последний привет Пауля. Он послал ей шапочку в знак того, что думал о ней в свой предсмертный час.

Как ей могло даже взбрести на ум, что Пауль подарил бы ей на память шапочку, если бы знал, что в ней спрятано воровское добро? Нет, уж коли было что надежное на свете, так только одно: Пауль не знал, что перстень, который был надет на пальце у покойника, — в шапочке.

Быстро нагнувшись, Марит Эрикسدоттер взяла шапочку, поднесла ее к глазам и стала внимательно разглядывать. «Откуда могла взяться у Пауля эта шапочка? — подумала она. — Ни я, да и никто другой в усадьбе не вязал ее ему. Должно быть, он купил ее на ярмарке, а может статься, сменялся с кем-нибудь».

Она еще раз перевернула шапочку, рассматривая узор со всех сторон. «Когда-то эта шапочка была, верно, красивая и нарядная, — подумала она. — Пауль любил всякие нарядные уборы. Он всегда бывал недоволен,

когда мы ткали ему серые сермяжные кафтаны. Он хотел, чтобы сермягу ему всегда красили. А шапочки он любил чаще красные, с большой кисточкой. Эта наверняка пришлась ему по вкусу».

Отложив шапочку, она вновь оперлась о перила, стремясь перенестись в прошлое.

Она была в лесу в то самое утро, когда Ингильберта испугали насмерть. И видела, как Пауль вместе с ее отцом и дядей стоял, склонившись над трупом. Оба старика решили, что Ингильберта нужно перенести вниз, в долину, и отправились нарубить ветвей для носилок. А Пауль на миг замешкался, чтобы рассмотреть Ингильбертову шапочку. У него разгорелись на нее глаза! Шапочка была узорчатая, связанная из красной, синей и белой пряжи, и он незаметно сменял ее на свою. Он сделал это без всякого дурного умысла. Может, он просто хотел немного покрасоваться в ней. Его собственная шапочка, оставленная им Ингильберту, уж конечно была не хуже этой, но не так пестра и не так искусно связана.

А Ингильберт зашил перстень в шапочку, прежде чем отправиться из дому. Может быть, он думал, что за ним будет погоня, и потому пытался спрятать его. Когда он упал, никому и на ум не пришло искать перстень в шапочке, а Паулю Элиассону и подавно.

Да, стало быть, так оно все и случилось. Она могла бы поклясться в этом, но нужно все же убедиться до конца.

Марит положила перстень в сундук и с шапочкой в руках пошла на скотный двор, чтобы потолковать со скотницей.

— Выйди-ка на свет, Мэрта, — крикнула она в темную глубь хлева, — да пособи мне с узором, а то одной никак не сладить!

Когда скотница вышла к ней, Марит протянула ей шапочку.

— Я знаю, что ты мастерица вязать, Мэрта, — сказала она. — Я хотела перенять этот узор, да не могу в нем разобраться. Глянь-ка сама! Ты ведь искусница в этом деле! Куда мне до тебя!

Скотница взяла шапочку и посмотрела на нее. Видно было, что она очень удивилась. Выйдя из тени, отбрасываемой стеной хлева, она вновь стала осматривать шапочку.

— Откуда она у тебя? — спросила Мэрта.

— Она пролежала у меня в сундуке много лет, — ответила Марит. — А зачем ты меня спрашиваешь?

— Затем, что эту самую шапочку я связала моему брату Ингильберту в то последнее лето, когда он еще был жив, — сказала скотница. — Я не видала ее с того самого утра, как он ушел из дому. Как могла она попасть сюда?

— Может, она свалилась у него с головы, когда он упал, — ответила Марит. — И кто-то из наших работников подобрал ее в лесу и принес сюда. Но уж коли эта шапочка растревляет тебе сердце, может, ты и не захочешь снять для меня узор?

— Давай мне шапочку, и узор будет у тебя к завтрашнему дню, — сказала скотница.

В голос ее послышались слезы, когда, взяв шапочку, она пошла назад на скотный двор.

— Нет, не надо тебе снимать узор, раз тебе это так тяжело, — сказала Марит.

— Ничуть мне не тяжело, коли я делаю это для тебя.

И в самом деле, не кто иная, как Марит, вспомнила о Мэрте Бордсдоттер, оставшейся одной в лесу после смерти отца и брата, и предложила ей пойти скотницей в свою усадьбу Стургорден в Ольсбю. И Мэрта никогда не упускала случая выказать ей благодарность за то, что Марит помогла ей вернуться к людям.

Марит снова отправилась на крыльцо свайной клетки и взяла в руки вязанье, но ей не работалось; опершись, как прежде, головой о перила, она силилась придумать — что же ей теперь делать.

Если бы кто-нибудь в ольсбюской усадьбе знал, как выглядят женщины, отказавшиеся от мирской жизни ради затворничества в монастыре, он сказал бы, что Марит походит на такую женщину. Лицо ее было изжелта-бледным и совсем без морщин. Пришлому человеку почти невозможно было б сказать — молода она или стара. Во всем ее облике было нечто умиротворенное

и кроткое, как у человека, который отрешился от всяких желаний. Ее никогда не видали беззаботно-веселой, но и очень печальной тоже никогда не видали.

После постигнутого ее тяжкого удара Марит ясно ощутила, что жизнь для нее кончена. Она унаследовала от отца усадьбу Стургорден, но ясно понимала, что если захочет сохранить ее за собой, ей придется выйти замуж: ведь усадьбе нужен хозяин. Желая избежать замужества, она уступила все свои владения одному из двоюродных братьев совершенно безвозмездно, оговорив себе лишь право жить и кормиться в усадьбе до конца дней своих.

Она была довольна тем, что так поступила, и никогда в том не раскаивалась. Опасаться, что дни потянутся для нее медленно и праздно, не приходилось. Люди уверовали в ее житейский ум и доброту, и стоило кому-нибудь захворать, как тотчас посылали за ней. Дети тоже очень льнули и ластились к ней. В клетки на сваях у нее всегда бывало полным-полно малышей. Они знали, что у Марит всегда найдется время помочь им справиться с их маленькими горестями.

И вот теперь, когда Марит сидела на крыльце, раздумывая, что ей делать с этим перстнем, на нее напал вдруг страшный гнев. Она думала о том, как легко мог бы отыскаться этот перстень. Почему генерал не позаботился о том, чтобы перстень был найден? Ведь он все время знал, где перстень, теперь-то Марит это понимала. Но отчего же он не устроил так, чтобы Ингильбертову шапочку тоже обыскали? Вместо этого он позволил казнить из-за своего перстня троих невинных людей. На то у него была власть, а вот заставить перстень выйти на свет Божий — не было!

Поначалу Марит было подумала, что ей нужно пойти к пастору, рассказать ему все и отдать перстень. Но нет, этого она ни за что не сделает!

Ведь так уж получилось: где бы ни появлялась Марит — в церкви ли, в гостях ли, с ней обходились с величайшим почтением. Ей никогда не приходилось страдать от презрения, которое обычно выпадает на долю дочери лиходея. Люди были твердо убеждены в

том, что тут совершена величайшая несправедливость, и хотели искупить ее. Даже знатные господа, встречая, бывало, Марит на церковном холме, непременно подходили к ней перемолвиться несколькими словами. Даже семейство из Хедебю — разумеется, не сам ротмистр, а его жена с невесткой — не раз пыталось сблизиться с Марит. Но она всегда упорно отвергала эти попытки. Ни единого слова не сказала она ни одному из жителей поместья со времен Божьего суда.

Неужто же теперь она выйдет на площадь и громогласно признается в том, что хозяева Хедебю отчасти были правы? Перстнем, как оказалось, все же завладели крестьяне из Ольсбю! Может, даже заговорят о том, что они-де знали, где перстень, вытерпели арест и дознание, надеясь, что будут оправданы и смогут продать перстень.

Во всяком случае, Марит понимала, что честь ротмистра, а заодно и его отца, будет спасена, если она отдаст перстень и расскажет, где его нашла. А Марит не хотела палец о палец ударить ради того, что принесло бы пользу и выгоду Лёвеншёльдам.

Ротмистр Лёвеншёльд был теперь восьмидесятилетний старик, богатый и могущественный, знатный и почитаемый. Король пожаловал ему баронский титул, и не было случая, чтобы его постигла какая-нибудь беда. Сыновья у него были отменные, жили, как и он, в достатке и удачно женились...

А человек этот отнял у Марит все, все, все, что у нее было.

Она осталась одна на свете, обездоленная, безмужная, бездетная, и все по его вине. Долгие годы ждала она и ждала, что его постигнет злая кара, но так ничего и не случилось.

Вдруг Марит вскочила, очнувшись от своего глубокого раздумья. Она услышала, как по двору быстро бегут детские ножки; наверное, это к ней.

То были двое мальчиков лет десяти-одиннадцати. Один был сын хозяина дома, Нильс, другого она не знала. И уж конечно они прибежали попросить ее в чем-то помочь.

— Марит, — сказал Нильс, — это Адриан из Хедебю. Мы с ним были вон на той дороге и гоняли обруч, а потом повздорили, и я разорвал его шапочку.

Марит молча сидела, глядя на Адриана. Красивый мальчик, в облике которого было нечто кроткое и ласковое. Она схватилась за сердце. Она всегда испытывала боль и страх, когда видела кого-нибудь из Лёвеншёльдов.

— Теперь мы снова дружим, — продолжал Нильс, — вот я и подумал: дай-ка я попрошу тебя, может, ты починишь Адриану шапочку, прежде чем он пойдет домой.

— Ладно, — сказала Марит, — починю!

Взяв в руки разорванную шапочку, она поднялась, собираясь войти в клеть.

— Должно быть, это знамение свыше, — пробормотала она. — Поиграйте-ка еще немного на дворе! — сказала Марит мальчикам. — Скоро будет готово.

Прикрыв за собой дверь в клеть, она затворилась там одна и стала штопать дырки в шапочке Адриана Лёвеншёльда.

IX

Снова прошло несколько лет, а о перстне по-прежнему не было ни слуху ни духу. Но вот случилось так, что в году 1788-м девица Мальвина Спаак поселилась в Хедебю и стала там домоправительницей. Была она бедной пасторской дочкой из Сёрмланда, никогда прежде границ Вермланда не переступала и не имела ни малейшего понятия о том, что творится в поместье, где ей предстояло служить.

В самый день приезда ее пригласили к баронессе Лёвеншёльд, чтобы доверить весьма странный секрет.

— Мне представляется самым правильным, — сказала хозяйка дома, — сразу же открыться вам, барышня. Надо сказать, у нас в Хедебю водятся привидения. Нередко случается, что на лестницах и в галереях, а иногда даже и в господских комнатах встречаешь рослого, дюжего человека, одетого примерно как старый каролинец — в высокие ботфорты и синий форменный мундир. Он предстает совершенно неожиданно, когда от-

воряешь дверь или выходишь на лестничную площадку: и не успеешь даже подумать, кто это, как он тут же исчезает. Он никого не обижает, и мы даже склонны думать, что он благоволит к нам, и я прошу вас, барышня, не пугаться, когда встретите его.

Девушке Спаак шел в ту пору двадцать второй год; была она легкая и проворная, на редкость искусная во всякого рода домашних делах и работах, расторопная и решительная, так что где бы она ни вела хозяйство, все шло у нее как по маслу. Но она безумно боялась привидений и никогда не нанялась бы в Хедебю, если бы знала, что они там водятся. Однако теперь она уже приехала, а бедной девушке, право же, не пристало быть особо разборчивой и пренебрегать таким хорошим местом. Поэтому она сделала баронессе реверанс, поблагодарила за предостережение и заверила ее, что не даст себя запугать.

— Мы даже не понимаем, зачем он здесь бродит, — продолжала хозяйка дома. — Дочери считают, что он походит на дедушку моего мужа — генерала Лёвеншёльда, которого вы видите вон на том портрете, и они обычно называют привидение Генералом. Но вы, барышня, разумеется, понимаете, что никто и не подумает сказать, что по дому бродит сам генерал — он-то, очевидно, превосходнейший был человек. По правде говоря, мы и сами не можем все это понять. И если среди прислуги пойдут какие-нибудь пересуды, у вас, барышня, надеюсь, хватит ума не прислушиваться к ним.

Девушка Спаак еще раз сделала реверанс и заверила баронессу, что никогда не допустит среди прислуги ни малейших сплетен о господах; и на сем аудиенция была окончена.

Девушка Спаак была, конечно, всего-навсего бедной экономкой, но поскольку она была не из простых, то ела за господским столом, как и управляющий с гувернанткой. Впрочем, миловидная и приятная, с миниатюрной и хрупкой фигуркой, светловолосая, с розовым, цветущим личиком, она отнюдь не портила вида за господским столом. Все считали ее добрейшим человеком,

который смог сделаться полезным во многих отношениях, и она сразу же стала всеобщей любимицей.

Вскоре она заметила, что привидение, о котором говорила баронесса, служило постоянным предметом разговора за столом. То одна из молодых баронесс, то гувернантка объявляли:

— Сегодня Генерала видела я, — и объявляли таким тоном, словно это было каким-то достоинством, которым и похвастаться не грех.

Дня не проходило без того, чтобы кто-нибудь не спросил ее, не встречался ли ей призрак, а поскольку Мальвине постоянно приходилось отвечать «нет», то она заметила, что это повлекло за собой некоторое пренебрежение к ней. Будто она была хуже гувернантки или управляющего, которые видали Генерала несчетное множество раз.

И вправду, девице Спаак никогда не доводилось так свободно и непринужденно общаться с привидением, как им. Но с самого начала она предчувствовала, что дело это добром не кончится. Их в Хедебю ожидает страшнейший испуг. Она сказала самой себе, что если этот являвшийся им призрак и в самом деле существо из другого мира, то это, бесспорно, какой-нибудь несчастный, который нуждается в помощи живущих, чтобы обрести покой в могиле. Экономка была особа весьма решительная, и будь ее воля и власть, в доме учинили бы строжайший розыск и доискались бы до самой сути этого дела, вместо того чтобы оно служило постоянным предметом беседы за обеденным столом.

Но девица Спаак знала свое место, и ни единое слово в осуждение господ никогда не сорвалось бы у нее с языка. Сама же она избегала участвовать в общем подшучивании над призраком и хранила в тайне все свои дурные предчувствия.

Целый месяц прожила девица Спаак в Хедебю, прежде чем ей довелось увидеть призрака. Но однажды утром, спускаясь с чердака, где она пересчитывала перед стиркой белье, экономка встретила на лестнице какого-то человека, который посторонился, дав ей пройти. Было это средь бела дня, и она вовсе не дума-

ла ни о каких привидениях. Она только удивилась: что делать чужому человеку на чердаке, и тут же вернулась назад, чтобы осведомиться, за какой надобностью он здесь. Но на лестнице не было видно ни души. Экономка, полная решимости схватить за шиворот вора, снова поспешно взбежала по лестнице, заглянула на чердак, обыскала все темные углы и клеть. Но нигде ни единой души не было, и она внезапно догадалась, что произошло.

— Ну и дура же я! — воскликнула она. — То был, конечно, не кто иной, как Генерал!

Ну, разумеется! Ведь тот человек был одет в синий форменный мундир, точь-в-точь как старый генерал на портрете, и на нем были такие же огромные ботфорты. Лица его она разглядеть как следует не смогла: казалось, будто серая туманная дымка окутала его черты.

Девушка Спаак еще долго оставалась на чердаке, стараясь прийти в себя. Зубы у нее стучали, ноги подкашивались. Если бы ей не надо было думать об обеде, она никогда бы и с чердака не спустилась. Она сразу же решила сохранить в тайне все, что видела, и не дать другим повод подшучивать над собой.

Меж тем Генерал у нее из головы не шел, и, должно быть, это наложило какой-то особый отпечаток на ее лицо, потому что едва все уселись за обед, как сын хозяина дома, девятнадцатилетний юноша, только что приехавший из Упсалы на рождественские каникулы, обратился к ней со словами:

— Сегодня вы, барышня Спаак, видели Генерала! — и сказал это напрямик, так что у нее не хватило духу отпереться.

Девушка Спаак разом почувствовала себя важной персоной за господским столом. Все забросали ее вопросами, на которые она, однако, отвечала как можно короче. К несчастью, ей не удалось отпереться от того, что она немного испугалась, и тут все неописуемо развеселились. Испугалась Генерала! Кому такое в голову придет!

Девушка Спаак уже не раз обращала внимание на то, что барон с баронессой никогда не принимали участия

в подшучивании над Генералом. Они только предоставляли свободу действий другим, не мешая им болтать. Теперь же она сделала новое наблюдение: молодой студент отнесся к этому гораздо серьезнее, нежели прочая молодежь в усадьбе.

— Что до меня, — сказал он, — то я завидую всем, кому довелось видеть Генерала. Я бы хотел ему помочь, но мне он никогда не являлся!

Эти слова он вымолвил с таким искренним сожалением и с таким чувством, что девица Спаак мысленно помолилась Богу о скорейшем исполнении его желания. Молодой барон наверняка сжалится над злосчастным призраком и вновь дарует ему могильный покой.

Вскоре оказалось, что девица Спаак в большей мере, чем кто-либо другой из домочадцев, сделалась предметом внимания призрака. Она видела его так часто, что почти привыкла к нему. Он являлся всегда мгновенно и неожиданно — то на лестнице, то в сенях, то в темном углу поварни.

Но причины появления призрака разгадать так и не удалось. Правда, в душе девицы Спаак таилось смутное подозрение — уж нет ли чего в усадьбе, что мог бы разыскивать призрак. Но лишь только его настигал взгляд человеческих глаз, как он тут же исчезал, и она никак не могла уяснить себе его помышлений.

Девица Спаак заметила, что, вопреки словам баронессы, вся молодежь в Хедебю была твердо уверена в том, что по усадьбе бродит не кто иной, как старый генерал Лёвеншёльд.

— Он томится в могиле, — говорили молодые барышни, — и ему интересно посмотреть, что мы затеваем здесь, в Хедебю. Нельзя же отказать ему в этом маленьком удовольствии.

А экономка, которой всякий раз после встречи с Генералом приходилось бежать в кладовую, где она вдали от докучливого зубоскальства служанок могла вволю трепетать от страха и стучать зубами, предпочла бы, чтобы призрак не так живо интересовался Хедебю. Но она понимала, что всему прочему семейству его попросту будет не доставать.

Вот, к примеру, сидели они однажды весь долгий вечер и рукодельничали — то ли пряли, то ли шили, но иной раз и чтение прерывалось, да и беседа иссякала. Тут одна из барышень внезапно вскрикнула от ужаса. Она якобы видела чье-то лицо, нет, собственно говоря, даже не лицо, а лишь два ряда сверкающих зубов, плотно прижатых к оконному стеклу. Поспешно зажгли фонарь, отворили двери в сени и все, предводительствуемые баронессой, выбежали из зала, чтобы найти нарушителя спокойствия.

Но, разумеется, так никого и не смогли найти. Все снова вернулись назад, наглухо закрыли ставни и, пожав плечами, сказали, что, верно, то был не кто иной, как Генерал. Но тем временем сонливость уже прошла. Наконец-то появилась пища для ума, колесо прялки завертелось с новой силой, снова развязались языки.

Семейство Лёвеншёльдов было убеждено в том, что стоит лишь вечером уйти из зала, как ею тотчас же завладевает Генерал и что его непременно нашли бы там, если бы кто-нибудь осмелился войти. Лёвеншёльды ничуть не возражали, чтобы он там обретался. Девушка Спаак даже полагала, что они находили немалое удовольствие, думая о том, что их бесприютный предок может спокойно побыть в теплой и уютной зале.

Когда Генерал перебирался в залу, ему нравилось, если она бывала прибрана и приведена в порядок. Всякий вечер экономка видела, как баронесса с дочерьми складывали свое рукоделие и брали его с собой; прялки и пьальцы для вышивания также выносились в другую комнату. На полу не оставляли даже обрывка нитки.

Девушка Спаак, спавшая в каморке рядом с залой, пробудилась однажды ночью оттого, что какой-то предмет гулко ударился о стенку, у которой стояла ее кровать, а потом скатился на пол. Не успела она опомниться, как снова раздался удар и снова что-то покатилося по полу, а потом все повторилось еще дважды.

— Господи боже мой, что это он там затеял? — вздохнула экономка, потому что сразу поняла, кто виновник всей этой кутерьмы.

Да, соседство с ним было совсем не из приятных. Всю ночь напролет она лежала, обливаясь холодным потом и страшась, что призрак Генерала войдет и начнет ее душить.

Когда наутро она пошла в залу посмотреть, что там стряслось, она взяла с собой и повариху, и горничную. Но ничего там не было разбито, незаметно было и какого-нибудь беспорядка, не считая того, что посреди залы на полу лежали четыре яблока. Как же это они так оплошали! Ведь накануне вечером все, сидя у камина, ели яблоки и четыре яблока забыли на каминной доске. Но это явно не понравилось Генералу. Девушке Спаак пришлось искупить свое нерадение бессонной ночью.

С другой стороны, девушка Спаак никогда не могла забыть, как однажды ей довелось столкнуться с истинной дружественностью Генерала.

В усадьбе Хедебю был званый обед со множеством гостей. Девушка Спаак совсем захлопоталась — мясо на вертелах, воздушное печенье и паштеты в духовке, котелки с бульоном и сковороды с подливкой на плите. Но и этого мало. Экономке пришлось лично присутствовать в зале и присматривать за тем, как накрывают на стол; ей пришлось принять серебро, которое собственноручно выдала ей по счету баронесса. Ей пришлось подумать и о том, чтобы вино и пиво достали из погреба и чтобы вставили свечи в люстры. Если к тому же принять во внимание, что поварня в Хедебю находилась в отдаленном флигеле и, чтобы попасть туда, нужно было бежать через весь двор и что по этому торжественному случаю поварня была битком набита пришедшей, да к тому же еще необученной прислугой, то можно себе представить, что заправлять всем этим должен был человек умелый.

Но все шло без сучка, без задоринки, как и надлежало тому быть. На бокалах не было ни малейших пятен, а в паштетах — затхлой требухи, пиво пенилось, бульон был в меру сдобрен пряностями, а кофе в меру крепкий. Девушка Спаак сумела показать, на что она способна, и сама баронесса, отпуская ей комплименты, сказала, что лучше и быть не могло.

Но тут экономку постиг ужасный и неожиданный удар. Собираясь вернуть баронессе серебро, она хватилась, что недостает двух ложек — столовой и чайной.

Все переполошились. По тем временам ничего худшего, нежели пропажа серебра, в доме случиться не могло. В Хедебю начались лихорадочное волнение и всеобщая сумятица. Все только и делали, что искали пропажу. Вспомнили, что какая-то старая цыганка была на поварне в тот самый день, когда в Хедебю пировали, и готовы были ехать в дальние финские леса*, чтобы схватить ее. Все стали подозрительны и безрассудны. Хозяйка подозревала домоправительницу, домоправительница — служанок, служанки — друг друга и весь белый свет. То одна, то другая являлась с покрасневшими от слез глазами, ибо думала, что прочие подозревают ее в краже этих двух ложек.

Так продолжалось несколько дней, однако так ничего и не нашли, и девица Спаак была близка к отчаянию. Она побывала в свинарнике и обыскала свиное корыто с пойлом, желая посмотреть, не угодили ли туда ложки. Она украдкой пробралась на чердак, где служанки держали свое платье, и тайком перерыла их маленькие укладки. Все было тщетно, и где искать еще — она не знала. Она заметила, что баронесса со всеми домочадцами подозревают ее, пришлую. Она понимала, что ей откажут от места, ежели она не откажется сама.

Девица Спаак, склонясь над плитой, стояла в поварне и плакала так горько, что слезы ее капали вниз и шипели на горячей плите; вдруг она почувствовала, что ей надобно обернуться. Так она и сделала и вдруг увидала, что у стены стоит Генерал, указывая рукой на полку, которая была прилажена так высоко и так неудобно, что никому никогда не приходило в голову класть туда что-нибудь.

Генерал исчез, по своему обыкновению, в тот самый миг, как появился, но девица Спаак послушалась его знака. Вытащив из кладовки лестницу, она приставила ее к полке, влезла на самый верх, протянула руку и нащупала старую посудную тряпку. Но в эту грязную тряпку были завернуты обе серебряные ложки.

Как они туда попали? Конечно, это случилось без чьего-либо ведома и умысла. В невероятной суматохе на таком пиру могло случиться все что угодно. Тряпку зашвырнули на полку, наверное, потому, что она попала под ноги, а серебряные ложки очутились там вместе с ней, причем никто этого не заметил.

Но теперь они снова отыскиались, и девица Спаак, сияя от счастья, отнесла их баронессе и вновь стала ее правой рукой и помощницей.

Нет худа без добра. Вернувшись домой по весне, молодой барон Адриан услышал о том, что Генерал выказал девице Спаак свое неслыханное благоволение; и Адриан тотчас же начал уделять ей особое внимание. Он стал как можно чаще навещать ее в буфетную или же в поварню. То он являлся под предлогом, что ему нужна новая леска для удочки, то говорил, что его привлек приятный запах свежее испеченных булочек. При этом он всегда переводил беседу на предметы сверхъестественные. Он склонял экономку рассказывать ему истории о привидениях, водившихся в богатых сёрмландских поместьях, таких, как Юлита и Эриксберг, желая выведать, каково ее мнение об этом.

Но чаще всего ему хотелось потолковать о Генерале. Он говорил ей, что не может рассуждать о нем с другими, поскольку они воспринимают его лишь с шутиливой стороны. А он испытывает сострадание к несчастному привидению и хотел бы помочь ему обрести вечный покой. Только бы знать, как к этому подступиться!

Тут девица Спаак заметила: по ее скромному суждению, в усадьбе есть нечто такое, что разыскивает Генерал.

Молодой барон слегка побледнел и испытующе посмотрел на экономку.

— Ma foi¹, барышня Спаак! — воскликнул он. — Это вполне возможно! Но заверяю вас, что имей мы здесь, в Хедебю, то, чего домогается Генерал, мы бы незамедлительно ему это отдали!

¹ Клянусь честью! (фр.)

Девушка Спаак, разумеется, слишком хорошо понимала, что барон Адриан навещает её ради привидения, но он был такой обходительный молодой человек и такой красивый! Да уж если говорить начистоту — даже более чем красивый! Он ходил, чуть склонив вперед голову, а во всем его облике было нечто задумчивое. Да, многие даже полагали, что он не по летам серьезен. Но полагали так лишь потому, что не знали его. Порою он вдруг вскидывал голову, шутил и придумывал разные проказы почище любого прочего. Но за что бы он ни принимался — в его движениях, голосе, улыбке было какое-то неопишное очарование.

Однажды летом, в воскресенье, девушка Спаак была в церкви. Домой она возвращалась кратчайшим путем — тропинкой, которая пробегала наискось через городьбу пасторской усадьбы. Кое-кто из прихожан, выйдя из церкви, тоже пошел по этой же тропинке, и экономка, спешившая в усадьбу, обогнала женщину, которая шла куда медленней, чем она. Вскоре девушка Спаак подошла к перелазу, по которому трудно было перебраться через изгородь, и, как всегда услужливая, она подумала о более медлительной путнице и остановилась, чтобы помочь ей. Протянув женщине руку, экономка заметила, что та вовсе не так стара, как ей было показалось издали. Кожа у нее была на редкость гладкая и белая, так что девушка Спаак решила — может статься, ей не больше пятидесяти. Хотя с виду она была всего лишь простой крестьянкой, держалась она с достоинством, словно ей довелось пережить нечто, возвысившее ее над собственным сословием.

После того как экономка помогла женщине перебраться через изгородь, они пошли рядом по узкой тропинке.

— Вы, барышня, видать, та самая, что заправляет хозяйством в Хедебю, — сказала крестьянка.

— Да, — ответила девушка Спаак.

— Я думаю, хорошо вам там живется?

— А почему бы мне жить плохо на таком хорошем месте! — сдержанно возразила экономка.

— Да в народе толкуют, будто в Хедебю нечисто.

— Не годится верить людским пересудам, — наставительно заметила экономка.

— Не годится, верно, не годится, уж я-то знаю! — согласилась собеседница.

Они помолчали. Видно, женщина эта что-то знала, и, по правде говоря, девица Спаак горела желанием по-расспросить ее. Но это было бы неладно и ей не к лицу.

Первой снова завела разговор женщина.

— Сдается мне, что вы барышня славная, — молвила она, — и потому я хочу дать вам добрый совет: не засиживайтесь долго в Хедебю. Ведь с тем, кто там бродит, шутки плохи. Он не отступится, покуда не добьется, чего ему нужно.

Поначалу девица Спаак намеревалась было чуть свысока поблагодарить за предостережение, но последние слова незнакомой женщины возбудили в ней любопытство.

— А что ж ему надо? Вы знаете, что ему надо?

— Или вам, барышня, про то неведомо? — спросила крестьянка. — Тогда я слова больше не вымолвлю. Может, так оно и лучше для вас, что вы ничего не знаете.

С этими словами она протянула девице Спаак руку, свернула на другую тропинку и вскоре скрылась из виду.

Девица Спаак поостереглась и не стала рассказывать за обеденным столом всему семейству об этой беседе. Но после обеда, когда барон Адриан наведлся к ней в молочную, она не утаила того, что сказала ей незнакомка. Адриан и вправду очень удивился.

— Должно быть, то была Марит Эрикسدоттер из Ольсбю, — сказал он. — Знаете ли, барышня, она впервые за тридцать лет перемолвилась дружеским словом с кем-то из Хедебю. Мне она однажды починила шапку, которую разорвал мальчонка из Ольсбю, а вид у нее при этом был такой, будто она хотела выцарапать мне глаза.

— Но знает ли она, что именно ищет Генерал?

— Кому же, как не ей, знать об этом, барышня Спаак. И я тоже знаю. Отец рассказал мне как-то всю историю. Но родители мои не хотят, чтоб об этом говорили при сестрах. Они станут тогда бояться привидений

и навряд ли останутся жить здесь. И я тоже не осмеливаюсь рассказать вам об этом.

— Упаси боже! — молвила экономка. — Раз барон запретил говорить...

— Я сожалею об этом, — перебил ее барон Адриан, — я думал, что вы, барышня, сможете мне помочь.

— Ах, если б я могла!

— Ибо, и я это повторяю, — продолжал барон Адриан, — я хочу помочь упокоиться бедному призраку. Я не боюсь его, я последую за ним, как только он позовет меня. Почему является он всем другим и никогда не является мне?

X

Адриан Лёвеншёльд спал у себя в мансарде, когда внезапный легкий шум заставил его пробудиться. Он открыл глаза, и так как ставни не были затворены, а на дворе стояла светлая летняя ночь, он увидел, что дверь тихо распахнулась. Он подумал было, что ее отворил порыв ветра, но увидел, как внезапно в дверном проеме выросла темная фигура, которая, наклонившись, что-то пытливо высматривала в глубине мансарды.

Адриан отчетливо разглядел какого-то старика, одетого в старинный кавалерийский мундир. Из-под чуть расстегнутого мундира белел лосиной кожи колет, ботфорты были выше колен, а руками он придерживал длинный палаш, слегка приподняв его, словно опасаясь, чтобы он не бряцал.

«Ей-богу, это Генерал! — подумал молодой барон. — Вот и хорошо. Сейчас он увидит человека, который не боится его».

Все, кому доводилось видеть Генерала, в один голос твердили, что стоило им только вперить в него взор, и он тут же исчезал. Но на сей раз такого не случилось. Еще долго после того, как Адриан обнаружил его, он оставался стоять в дверях. Через несколько минут, когда Генерал, казалось, уверился в том, что Адриан в силах вынести его вид, он, подняв руку, помянул его к себе.

Адриан тотчас же сел в кровати. «Теперь или никогда, — подумал он. — Наконец-то он попросил моей помощи, и я пойду за ним».

Ведь он ждал этого часа много лет. Он готовился к нему, мысленно закалял свой дух в предвкушении встречи с призраком. Он всегда знал, что ее не миновать.

Адриану не хотелось заставлять Генерала ждать его, и, не одеваясь, молодой барон последовал за ним. Он лишь сдернул с кровати простыню и завернулся в нее.

И только тогда, когда он стоял посреди мансарды, ему вдруг пришло в голову, что все же небезопасно вот так предаться во власть существу из другого мира, и он попятился назад. Но увидел, как Генерал простер к нему обе руки и, словно в отчаянии, умолял его о чем-то.

«Что за чепуха?! — подумал он. — Неужто я испугался, не успев еще выйти из мансарды?»

Он приблизился к двери, а Генерал тем временем был уже на чердаке, но шел, все время оглядываясь, словно желая увериться в том, что молодой человек следует за ним.

Перед тем как переступить порог и покинуть мансарду, чтобы выйти на чердак, Адриан почувствовал, как от ужаса у него защемило сердце. Что-то говорило ему: надо бы захлопнуть дверь и вернуться в постель. В нем шевельнулось смутное предчувствие того, что он не рассчитал своих сил. Он был не из тех, кому дано безнаказанно заглянуть в тайны другого мира.

Однако он сохранил еще крупицу мужества. Он сказал себе, что Генерал, наверно, не собирается заманить его в какую-нибудь западню. Он хотел лишь показать ему, где находится перстень. Только бы ему вытерпеть еще несколько минут, и он добьется того, к чему стремился столько лет, и сможет послать утомленного путника на вечный покой.

Генерал остановился посреди чердака, поджидая молодого барона. Здесь было сумрачнее, чем в мансарде, но Адриан все же явственно видел темную фигуру с простертыми в мольбе руками. Собравшись с духом, он переступил порог, и они пошли по чердаку.

Призрак направился к чердачной лестнице, а увидев, что Адриан идет следом, начал спускаться. Он по-прежнему пятился задом, останавливаясь на каждой ступеньке, и, подчиняя своей воле нерешительного юношу, как бы тащил его за собой.

Медленно, не раз останавливаясь, они все-таки шли вперед. Адриан пытался приободриться, напомнив себе, сколько раз он, бывало, похвалялся перед сестрами, говоря, что последует за Генералом, когда бы тот ни позвал его. Он припомнил также, как с самого детства горел желанием постигнуть неведомое и проникнуть в сокровище. И вот великий миг настал, он следовал за призраком в неизвестное. Неужто теперь его жалкое малодушие помешает ему узнать наконец это нечто?

Подобными рассуждениями он побуждал себя крепиться, но остерегался подходить к призраку вплотную. Их постоянно разделял промежуток в несколько аршин. Когда Адриан достиг середины лестницы, Генерал находился уже у ее подножия. Когда Адриан стоял на самой нижней ступеньке, Генерал был уже внизу в сенях.

Но тут Адриан вновь остановился. По правую руку от него, совсем рядом с лестницей, была родительская опочивальня. Он взялся за ручку двери, но не для того, чтобы отворить, а лишь для того, чтобы любовно коснуться ее. Если бы только родители его знали, с кем он стоит за дверью! Он жаждал броситься в объятия матушки. Ему думалось, что стоит ему отпустить ручку этой двери, и он всецело окажется во власти Генерала.

Пока он стоял так, держась за ручку, он увидел, как одна из дверей в сени отворилась и Генерал переступил порог, собираясь выйти из дому.

И на чердаке, и на лестнице было довольно сумеречно, но тут через проем двери хлынул сильный поток света, и Адриан впервые разглядел Генерала.

Как и ожидал Адриан, то было лицо старика. Он хорошо знал его по портрету в гостиной. Но черты этого лица не излучали вечного покоя, в чертах его проглядывала яростная алчность, а на устах призрака играла зловещая улыбка торжества и уверенности в победе.

Как ужасно было видеть, что земные страсти обуревают мертвеца! Покойных мы хотим представить себе пребывающими вдали, далекими от всех человеческих наслаждений и страстей. Отрешенными от всего мирского хотим мы видеть их, преисполненными лишь помыслов небесных. В этом же существе, которое оставалось приверженным ко всему земному, Адриану почудился искуститель, злой дух, который хочет навлечь на него погибель.

Им овладел ужас. В безотчетном страхе он с силой рванул на себя дверь в родительскую опочивальню и ринулся туда с криком:

— Батюшка! Матушка! Генерал!

И в тот же миг, лишившись чувств, рухнул на пол.

Перо выпадает из рук. Ну, не тщетны ли мои старания записать все это? Эту историю мне рассказывали в сумерках у горящего очага. В моих ушах до сих пор звучит убедительный голос рассказчицы. Я чувствую, как мороз пробегает у меня по коже, тот трепет ужаса, который бывает не только от боязни привидений, но и от предвкушения того, что произойдет!

А как внимательно слушали мы эту историю, думая, что она приподнимет краешек завесы над неведомым! И какое странное настроение оставляла она после себя, словно отворили какую-то дверь. И думалось: что-то должно наконец появиться из крошечной тьмы!

Насколько правдива эта история? Одна рассказчица унаследовала ее от другой, одна кое-что добавляла, другая — убавляла. Но не содержит ли эта история в себе небольшое зерно правды? Разве не создается впечатления, словно история эта изображает нечто такое, что происходило въявь?

Призрак, бродивший по усадьбе Хедебю, призрак, являвшийся среди бела дня, вмешивавшийся в домашние дела, призрак, отыскивавший потерянные вещи, — кем и чем он был?

Нет ли чего-нибудь необычно многозначительного и заранее предначертанного в его появлении? Не от-

личается ли он некоторым своеобразием от многих других привидений в господских усадьбах? Не выглядит ли все это так, будто девица Спаак и в самом деле слышала, как он швырял яблоки в стенку залы, а молодой барон Адриан в самом деле сопровождал его по чердаку и по чердачной лестнице?

Но в таком случае, в таком случае... Быть может, разгадать эту загадку дано одному из тех, кто уже сейчас видит явь, скрытую от той яви, в которой живем мы?

XI

Молодой барон Адриан лежал бледный и недвижный в огромной родительской кровати. Пощупав его пульс, можно было почувствовать, что кровь еще струится в его жилах, но почти неприметно. Он не очнулся после глубокого обморока, однако жизнь в нем еще теплилась.

Лекаря в приходе Бру не было, но в четыре часа утра в Карлстад поехал верхом слуга, чтобы попытаться кого-нибудь привезти. Езды туда было шесть миль, и окажись даже лекарь дома и согласись он тотчас же выехать, его можно было бы ожидать из города самое раннее через двенадцать часов. Но следовало также быть готовым к тому, что пройдет день, а то и два, покуда он явится.

Баронесса Лёвеншёльд сидела по одну сторону кровати, не отрывая глаз от лица сына. Она верила, что едва теплившаяся в нем искра жизни не угаснет, если она будет сидеть тут, неусыпно бодрствуя и оберегая его.

Барон также время от времени садился по другую сторону кровати, но был не в силах усидеть на месте. То он брал вялую руку сына, чтобы пощупать пульс, то подходил к окну и бросал взгляд на проезжую дорогу, то шел через комнаты к зале, чтобы взглянуть на часы. На вопросы, которые можно было прочесть в глазах взволнованных дочерей и гувернантки, он лишь качал головой и снова уходил в опочивальню, где лежал больной.

Туда не допускали никого, кроме девицы Спаак. Ни дочерей, ни даже кого-либо из служанок, одну лишь

девицу Спаак. У нее была подобающая походка, подобающий голос, она была на своем месте в опочивальне.

Девушка Спаак пробудилась ночью от ужасного крика Адриана. Услыхав вслед за криком тяжелый звук падения тела, она вскочила. Сама не помня как, набросила на себя платье; среди ее мудрых житейских правил было и такое, что никогда не следует появляться на людях неодетой, при любых обстоятельствах, что бы ни случилось. В зале она встретилась с баронессой, которая прибежала, чтобы позвать на помощь. После этого экономка вместе с родителями подняла Адриана и уложила его в большую двуспальную кровать. Вначале все трое думали, что он уже мертв, но потом девушка Спаак нащупала слабое биение пульса.

Несколько раз пытались они привести его обычными способами в чувство, но искорка жизни едва теплилась в Адриане, и что бы они ни делали, она, казалось, все больше угасала. Вскоре они совсем пали духом и не решались больше ничего предпринять. Им оставалось только сидеть и ждать.

Баронессу успокаивало то, что с ней в опочивальне находилась девушка Спаак, ибо та была совершенно спокойна и твердо уверена, что Адриан вскоре очнется. Баронесса позволила экономке причесать себя и надеть башмаки. Когда надо было накинуть платье, баронессе пришлось встать, но она, предоставив экономке застегнуть пуговицы и расправить складки, по-прежнему не отрывала глаз от лица сына.

Девушка Спаак принесла ей чашку кофе и с мягкой настойчивостью уговорила выпить его.

Баронессе казалось, будто экономка неотлучно была при ней, но та была еще и в поварне, где, как обычно, позаботилась об еде для прислуги. Она не забыла ни единой мелочи. Бледная как смерть, она все так же исправно делала свое дело. Завтрак был подан к господскому столу вовремя, а пастушок получил свою котомку со съестным, когда погнал коров на пастбище.

В поварне прислуга спрашивала, что стряслось с молодым бароном, и экономка отвечала:

— Известно лишь, что он ворвался к родителям и что-то выкрикнул о Генерале. Затем он упал в обморок, и теперь не удаётся привести его в чувство.

— Видать, Генерал явился ему! — сказала повариха.

— А разве не чудно, что он так грубо обходится со своей собственной родней? — подивилась горничная.

— У него, верно, всякое терпение лопнуло. Они только и знали, что насмеяться над ним. А он, видно, свой перстень искал.

— Уж не думаешь ли ты, что перстень тут, в Хедебю? — спросила горничная. — С него бы случилось тогда поджечь крышу над нашей головой и спалить весь дом, только бы заполучить свой перстень!

— Ясное дело, перстень схоронен тут в каком-нибудь углу, — молвила повариха, — а то с чего бы Генералу вечно слоняться по всей усадьбе!

В тот день девица Спаак отказалась от одного из своих прекрасных житейских правил — никогда не прислушиваться к пересудам слуг о господах.

— О каком это перстне вы толкуете? — спросила она.

— А разве вы не знаете, барышня, что Генерал бродит тут да ищет свой перстень с печаткой? — ответила обрадовавшаяся ее вопросу повариха.

И наперебой с горничной она поспешила посвятить девицу Спаак в историю ограбления могилы и Божьего суда. Когда же экономка выслушала все это, она уже ни на секунду не усомнилась в том, что перстень каким-то образом попал в Хедебю и спрятан где-то там.

От этого рассказа девицу Спаак бросило в дрожь, почти как в тот раз, когда ей впервые встретился на чердачной лестнице Генерал. Вот этого-то она все время и опасалась. А теперь она уже хорошо знала, как свиреп и беспощаден может быть этот призрак. Было ясно как божий день, что, если он не получит назад свой перстень, барон Адриан умрет.

Но едва экономка пришла к такому заключению, как она — особа весьма решительная — тотчас же поняла, что надлежит делать. Если этот проклятый перстень находился в Хедебю, то надо постараться во что бы то ни стало его отыскать.

Она ненадолго прошла в жилую половину господского дома, наведальась в опочивальню, где все было по-прежнему; взбежала по лестнице на чердак и перестлала постель в Адриановой мансарде, чтобы она была наготове на случай, если ему полегчает и его можно будет перенести наверх. Затем зашла в комнаты к барышням и к гувернантке, — смертельно напуганные, они сидели сложа руки, не в силах чем-нибудь заняться. Она рассказала им кое-что из того, что узнала сама, рассказала ровно столько, чтоб гувернантка с барышнями поняли, о чем шла речь, и спросила, не помогут ли они ей отыскать перстень.

Конечно, они тотчас же согласились. Барышни и гувернантка принялись искать в комнатах и в мансарде. Сама же девица Спаак направилась на поварню и поставила на ноги всех дворовых девушек.

«Генерал является в поварне так же часто, как и в господском доме, — подумала она. — Что-то подсказывает мне — перстень где-то тут».

В поварне и в кладовке, в хлебной и в пивоварне все было перевернуто вверх дном. Искали в стенных щелях, в печных подах, вытряхивали ящики поставца с приправами, обшарили даже мышиные норы.

При всем том девица Спаак не забывала время от времени перебежать через двор и наведаться в опочивальню. Во время одного из таких визитов она застала баронессу в слезах.

— Ему хуже, — сказала баронесса. — По-моему, он при смерти.

Склонившись над Адрианом, девица Спаак взяла его безжизненную руку в свои и проверила пульс.

— Да нет же, госпожа баронесса, — сказала она, — ему не хуже, а, пожалуй, лучше.

Ей удалось успокоить хозяйку, но саму ее охватило безумное отчаяние. А что, если молодой барон не доживет до тех пор, пока она отыщет перстень?

От волнения она, забывшись на миг, перестала владеть собой. Отпуская руку Адриана, она тихонько погладила ее. Сама она едва ли сознавала, что делает, но баронесса тотчас же заметила это.

«Mon Dieu¹, — подумала она, — бедное дитя, неужели это так? Быть может, мне нужно сказать ей... Но не все ли равно, если мы так или иначе его потеряем: Генерал гневается на него, а тот, на кого гневается Генерал, должен умереть».

Вернувшись на поварню, девица Спаак стала расспрашивать служанок, нет ли в здешних краях какого-нибудь знахаря, за которым обычно посылают в несчастных случаях. Неужто непременно надо дожидаться, покада приедет лекарь?

Да, в других местах, когда кто-нибудь занедужит, посылают за Марит Эриксдоттер из Ольсбю. Она умеет заговаривать кровь и костоправничать, и уж она-то сумела бы пробудить барона Адриана от смертного сна... Но сюда, в Хедебю, она вряд ли пожелает прийти.

Покуда служанка с экономкой говорили о Марит Эриксдоттер, повариха, взобравшись на самую верхнюю ступеньку приставной лестницы, заглянула на высокую полку, где некогда отыскиались потерянные серебряные ложки.

— Ой! — вскричала она. — Наконец-то нашла то, что давно искала. Тут лежит старая шапочка барона Адриана!

Девица Спаак ужаснулась. Нечего сказать, хорошие были, видно, порядки у них на поварне до того, как она приехала в Хедебю! Как могла шапочка барона Адриана попасть на полку?

— Эка невидаль, — сказала повариха. — Из этой шапочки он вырос, да и отдал ее мне на тряпки, горшки прихватывать. Вот хорошо-то, что я ее хоть теперь нашла!

Девица Спаак выхватила у нее шапочку из рук.

— Жаль кромсать ее, — сказала она. — Можно отдать какому-нибудь бедняку!

Она вынесла шапочку на двор и стала выбивать из нее пыль. Тем временем из дома вышел барон.

— Кажется, Адриану хуже, — сказал он.

— А разве нет кого-нибудь поблизости в округе, кто умеет пользоваться больных? — как можно простодушнее

¹ Боже мой! (*фр.*)

спросила экономка. — Служанки толковали тут про одну женщину, которую зовут Марит Эриксдоттер.

Барон оцепенел.

— Разумеется, когда речь идет о жизни Адриана, я бы не колеблясь послал за моим злейшим врагом, — сказал он. — Но толку все равно не будет. Марит Эриксдоттер никогда не придет в Хедебю.

Получив подобное разъяснение, девица Спаак не осмелилась перечить. Она продолжала искать в поварне, распорядилась насчет обеда и устроила так, что даже баронесса немного поела. Перстень не находился, а девица Спаак без конца твердила себе: «Мы должны найти перстень! Генерал лишит Адриана жизни, если мы не отыщем ему перстень».

После обеда девица Спаак отправилась в Ольсбю. Она пошла, ни у кого не спросившись. Всякий раз, когда она входила к больному, пульс его бился все слабее и слабее, а перебои наступали все чаще и чаще. Она была не в силах спокойно дожидаться карлстадского лекаря. Да, более чем вероятно, что Марит ей откажет, но экономка хотела испробовать все возможные средства.

Когда девица Спаак пришла в Стургорден, Марит Эриксдоттер сидела на своем обычном месте — на крыльце свайной клетки. В руках у нее не было никакой работы, она сидела откинувшись назад, с закрытыми глазами. Но она не спала и, когда появилась экономка, подняла глаза и тотчас признала ее.

— Вон оно что, — промолвила она, — теперь из Хедебю за мной посылают?

— Ты, Марит, уже слыхала, как плохи наши дела? — спросила девица Спаак.

— Да, слыхала, — отвечала Марит, — и не пойду!

Девица Спаак не сказала ей в ответ ни слова. Глухая безнадежность придавила ее. Все шло ей наперекор, ополчилось против нее, а уж хуже этого быть ничего не может. Она видела собственными глазами и слышала собственными ушами, как радовалась Марит. Сидела на крыльце и радовалась несчастью, радовалась, что Адриан Лёвеншёльд умрет.

До этой минуты экономка крепилась. Она не кричала, не роптала, увидев Адриана распростертым на полу. У нее была лишь одна мысль — помочь ему и его близким. Но отпор Марит сломил ее силы. Она заплакала горько и неудержимо. Нетвердыми шагами побрела она к стенке одной из пристроек и прижалась к ней лбом, горько рыдая.

Марит чуть подалась вперед. Долго-долго не отрывала она глаз от несчастной девушки. «Ах, вот оно что! Неужто так?» — подумала она.

Но пока Марит сидела, разглядывая девушку, слезами любви оплакивавшую возлюбленного, что-то первернулось в ее душе.

Несколько часов тому назад она узнала, что Генерал явился Адриану и напугал его чуть не до смерти. И она сказала себе самой, что наконец-то час отмщения настал. Много лет ждала она этого часа, но ждала тщетно. Ротмистр Лёвеншёльд сошел в могилу, так и не понеся заслуженной кары. Правда, с тех самых пор, как она переправила перстень в Хедебю, призрак Генерала бродил по всей усадьбе; однако похоже было, будто у него не хватало духу преследовать со свойственной ему лютостью свою собственную родню.

А теперь, когда к ним пришла беда, они тотчас же явились к ней за помощью! Почему не обратились они прямо к мертвецам на холме висельников? Ей доставило удовольствие сказать:

— Не пойду!

Такова была ее месть!

Но когда Марит увидела, как стоит и плачет молодая девушка, прижавшись головой к стене, в ней пробудилась память о былом. «Вот так стояла и я и плакала, прислонившись к жесткой стене. И не было у меня ни единого человека, на которого бы я могла опереться».

И в тот же миг родник девичьей любви вновь забил в душе Марит и обдал ее своими жаркими струями. И она удивленно сказала себе самой: «Так вот как томилась я тогда! Так вот что значит кого-то любить! Как сильно и сладко томилась я тогда!»

Пред ее взором предстал юный, веселый, сильный и прекрасный собой Пауль Элиассон. Она вспомнила его взгляд, его голос, каждое его движение. Сердце ее переполнилось воспоминаниями о нем.

Марит думала, что любила его все это время, и, верно, так оно и было! Но как охладилась ее чувства за эти долгие годы! Теперь же, в этот миг, душа ее снова воспылала прежним жарким огнем.

Но вместе с любовью в ней пробудились и воспоминания о той ужасной муке, которую принимает человек, теряющий того, кого он любит.

Марит кинула взгляд на девицу Спаак, которая все еще стояла и плакала. Теперь Марит знала, как тяжело томилась она. Еще совсем недавно над нею тяготел хлад прожитых лет. Она забыла тогда, как жжет огонь, теперь она вспомнила об этом. Она не хотела, чтобы по ее вине кто-нибудь страдал так же, как некогда страдала она сама; она встала и подошла к девушке.

— Идемте! Я пойду с вами, барышня! — коротко сказала она.

Итак, девица Спаак вернулась в Хедебю вместе с Марит Эрикسدоттер. За всю дорогу Марит не проронила ни слова. Уже потом экономка поняла, что по пути она, наверно, обдумывала, как ей повести себя, чтобы отыскать перстень.

Экономка прошла с Марит в дом прямо с парадного крыльца и ввела ее в опочивальню. Там все было по-прежнему. Адриан лежал прекрасный и бледный, но тихий, точно мертвец, а баронесса, не шевелясь, сидела рядом, оберегая его покой. Лишь когда Марит Эрикسدоттер подошла к кровати, она подняла глаза.

Как только она узнала женщину, которая стояла, глядя на ее сына, она опустилась перед ней на колени и прижалась лицом к подолу ее платья.

— Марит! Марит! — заговорила она. — Забудь обо всем том зле, которое причинили тебе Лёвеншёльды. Помоги ему, Марит! Помоги ему!

Крестьянка чуть отступила назад, но злосчастная мать поползла за ней на коленях.

— Ты не знаешь, как я боялась с тех самых пор, когда Генерал начал бродить по усадьбе. Я страшилась и все время ждала. Я знала, что теперь его гнев обратился против нас.

Марит стояла молча, закрыв глаза, и, казалось, целиком ушла в себя. Однако девица Спаак была уверена, что ей отрадно слушать рассказ баронессы о ее страданиях.

— Я хотела пойти к тебе, Марит, и пасть к твоим ногам, как сейчас, и молить тебя простить Лёвеншёльдов. Но я не посмела. Я думала, что тебе невозможно простить.

— Вы, сударыня, и не должны меня молить, — сказала Марит, — потому что так оно и есть: простить я не могу!

— Но ты все же здесь!

— Я пришла ради барышни, она просила меня прийти.

С этими словами Марит зашла с другого края широкой кровати. Положив больному руку на грудь, она пробормотала несколько слов. При этом она нахмурила лоб, закатила глаза и сжала губы. Девица Спаак подумала, что она ведет себя, как и все прочие знахарки.

— Будет жив, — изрекла Марит, — но запомните, госпожа баронесса, что помогаю я ему только лишь ради барышни.

— Да, Марит, — ответила баронесса, — этого я никогда не забуду.

Тут девице Спаак показалось, будто хозяйка ее хотела еще что-то добавить, но спохватилась и закусила губу.

— А теперь дайте мне, госпожа баронесса, волю.

— Ты вольна распоряжаться в усадьбе, как тебе вздумается. Барон в отъезде. Я попросила его поехать верхом навстречу доктору и поторопить его.

Девица Спаак ожидала, что Марит Эрикسدоттер как-то попытается вывести молодого барона из беспмятства, но та, к величайшему ее разочарованию, ничего подобного делать не стала.

Вместо этого она наказала собрать в кучу все платье барона Адриана: и то, которое служило ему сейчас, и то, которое он носил в прежние годы и которое можно

было еще отыскать. Она хотела видеть все, что он когда-либо надевал на себя: и чулки, и сорочки, и варежки, и шапки.

В тот день в Хедебю только и делали, что искали. Хотя девица Спаак втихомолку вздыхала о том, что Марит, пожалуй, всего лишь обыкновенная знахарка и ворожит как все они, она поспешила вытащить из разных комодов и чердачных клетей, из сундуков и шкафов все, что принадлежало больному. Молодые баронессы, прекрасно знавшие, что носил Адриан, помогали ей, и вскоре она спустилась вниз к Марит с целым ворохом одежды.

Марит разложила одежду на кухонном столе и стала рассматривать каждую вещь в отдельности. Она отложила в сторону пару старых башмаков, так же как пару маленьких варежек и сорочку. Тем временем она однозвучно и беспрестанно бормотала:

— Пару для ног, пару для рук, одну для тела, одну для головы!

— Мне нужно еще что-нибудь для головы, — внезапно сказала она уже более спокойно, — мне нужно что-нибудь теплое и мягкое.

Экономка показала ей шляпы и фуражки, которые она принесла.

— Нет, это должно быть что-нибудь теплое и мягкое, — сказала Марит. — Разве у барона Адриана не было какой-нибудь шапочки с кисточкой, как у других мальчиков?

Экономка только собралась было ответить, что ничего подобного она не видела, но повариха опередила ее:

— Я ведь нашла нынче утром вон там, на полке, его старую шапочку с кисточкой, но барышня взяла ее у меня.

Вот так и случилось, что девице Спаак пришлось отдать шапочку, с которой она намеревалась никогда не расставаться и которую желала сохранить как драгоценное воспоминание до конца дней своих.

Получив шапочку, Марит снова принялась бормотать свои заклинания. Но теперь голос ее звучал по-другому. Казалось, будто кошка мурлыкала от удовольствия.

— Теперь, — сказала Марит после того, как она долго стояла, бормоча над шапочкой и вертя ее в разные стороны, — теперь ничего больше не надо. Но все это нужно положить Генералу в могилу.

Услыхав эти слова, девица Спаак впала в совершеннейшее отчаяние.

— Неужто ты, Марит, думаешь, что барон позволит вскрыть склеп, чтобы положить туда этакую старую вещь? — спросила она.

Взглянув на нее, Марит чуть усмехнулась. Взяв за руку девицу Спаак, она потянула ее за собой к окну, так что все, кто был в поварне, оказались у них за спиной. Тогда она поднесла шапочку Адриана к глазам экономки и раздвинула нити большой кисточки.

Ни единым словом не перемолвились Марит с девицей Спаак, но когда экономка отошла от окна, лицо ее было смертельно бледным, а руки дрожали.

Связав отобранные вещи в небольшой узел, Марит передала его экономке.

— Я свое дело сделала, — сказала она, — теперь ваш черед похлопотать о том, чтобы все это попало в могилу. С тем она и ушла.

Девица Спаак побрела на кладбище немногим позднее десяти часов вечера. Узелок, который ей дала Марит, она несла с собой. Шла она, правда, наудачу. Она совершенно не представляла себе, как ей удастся опустить вещи в генеральский склеп.

Барон Лёвеншёльд приехал верхом вместе с доктором сразу же после того, как ушла Марит, и экономка надеялась, что доктору удастся вернуть Адриана к жизни и ей не придется ничего больше предпринимать. Но доктор тотчас же заявил, что ничем не может помочь. Он сказал, что молодому человеку осталось жить всего лишь несколько часов.

Тогда, сунув узелок под мышку, девица Спаак пустилась в путь. Она знала, что нет никакой возможности побудить барона Лёвеншёльда велеть снять могильные плиты и вскрыть замурованный склеп только для того, чтобы положить туда несколько старых вещей барона Адриана.

Скажи она ему, что на самом деле находится в узелке, и (она была в этом уверена) он тотчас же возвратил бы перстень его законному владельцу. Но тем самым она предала бы Марит Эрикسدоттер.

Она не сомневалась в том, что именно Марит подкинула некогда перстень в Хедебю. Барон Адриан как-то сказал, что Марит однажды чинила ему шапочку. Нет, экономка не осмелилась рассказать барону, как все было на самом деле.

Девушка Спаак сама потом удивлялась, что в тот вечер совсем не чувствовала страха. Но она перебралась через низкую кладбищенскую стену и подошла к склепу Лёвеншёльдгов, думая лишь о том, как ей опустить туда перстень.

Она села на могильную плиту и молитвенно сложила руки. «Если Бог мне не поможет, — думала она, — то могила, конечно, откроется, но не ради перстня, а для того, кого я вечно буду оплакивать».

Посреди молитвы девушка Спаак заметила легкое движение в траве, покрывавшей низкий могильный холмик, на котором покоилась плита. Маленькая головка выглянула из травы и сразу же скрылась, как только экономка вздрогнула от страха. Ибо девушка Спаак так же боялась крыс, как и они ее. Но от страха на экономку снизошло вдохновение. Проворно подошла она к большому кусту сирени, отломилла длинную сухую ветку и воткнула ее в норку.

Воткнула сначала отвесно, но ветка тотчас же натолкнулась на препятствие. Тогда она попыталась просунуть ее дальше вкось, и на сей раз ветка продвинулась довольно глубоко по направлению к могиле. Экономка даже удивилась, как далеко она проникла. Прут целиком скрылся в норе. Девушка Спаак проворно вытащила прут снова и измерила его по своей руке. Он был длиной в три локтя и ушел в землю на всю длину. Должно быть, прут этот побывал в могильном склепе.

Ни разу за всю ее жизнь ум девушки Спаак не был так трезв и ясен. Она поняла, что крысы, вероятно, прорыли себе дорогу в могилу. Может быть, в стене

была трещина, а может быть, выветрился какой-нибудь камешек.

Она легла плашмя на землю перед холмиком, вырвала клоч дерна, сгребла рыхлую землю и сунула руку в норку. Рука беспрепятственно проникла вниз, но все же не до самой стенки склепа. Туда рука не доставала.

Тогда, проворно развязав узелок, она вытащила оттуда шапочку, нацепила ее на прут и попыталась медленно протолкнуть ее в норку. Вскоре шапочка скрылась из виду. Все так же медленно и осторожно продвигала она прут все дальше и дальше вниз. И вдруг, когда прут почти целиком ушел в землю, она почувствовала, как его резким рывком выхватили у нее из рук. Проскользнув в норку, прут исчез.

Вполне возможно, что его потянула вниз собственная тяжесть, но она была совершенно уверена в том, что прут у нее вырвали.

И тут она наконец испугалась. Схватив все, что было в узелке, она засунула вещи в норку, как могла привела в порядок землю и дерн и пустилась бежать со всех ног. Всю дорогу до самого Хедебю она ни разу не перевела дух, а все бежала и бежала.

Когда она появилась в усадьбе, барон с баронессой уже стояли на парадном крыльце. Они поспешили ей навстречу.

— Где вы были, барышня? — спросили они ее. — Мы стоим тут и ожидаем вас.

— Барон Адриан умер? — спросила в ответ девица Спаак.

— Нет, не умер, — ответил барон, — но скажите нам сначала, где вы были, барышня Спаак?

Экономка так запыхалась, что едва могла говорить; но все же рассказала о поручении, которое ей дала Марит, и о том, что по крайней мере одну из вещей ей удалось просунуть в склеп через норку.

— Все это очень странно, очень, — вымолвил барон, — потому что Адриану и в самом деле лучше. Совсем недавно он пробудился, и первые его слова были: «Теперь Генерал получил свой перстень».

— Сердце снова бьется как всегда, — добавила баронесса, — и он непременно желает побеседовать с вами, барышня. Он говорит, что это вы спасли ему жизнь.

Они допустили девицу Спаак одну к Адриану. Он сидел в постели и, увидев ее, простер к ней руки.

— Я знаю, я уже знаю! — воскликнул он. — Генерал получил свой перстень, и это всецело ваша заслуга, барышня.

Девушка Спаак смеялась и плакала в его объятиях, а он поцеловал ее в лоб.

— Я обязан вам жизнью, — сказал он. — Если бы не вы, барышня Спаак, я был бы уже в этот миг трупом. Я у вас в неоплатном долгу.

Восторг, с которым молодой человек встретил ее, вероятно, и заставил злосчастную девицу Спаак слишком долго задержаться в его объятиях. И Адриан поспешил добавить:

— Не только я обязан вам, но и еще один человек.

Он показал ей медальон, который носил на шее, и девушка Спаак неясно различила в нем миниатюрный портрет молодой девушки.

— Вы, барышня, узнаете об этом первая после родителей, — сказал он. — Когда через несколько недель она придет в Хедебю, она отблагодарит вас еще лучше, нежели я.

И в благодарность за доверие девушка Спаак сделала молодому барону реверанс. Правда, ей хотелось сказать ему, что она вовсе не намерена оставаться в Хедебю, чтобы принять его невесту. Но вовремя одумалась. Бедной девушке не пристало быть особо разборчивой и пренебрегать таким хорошим местом.

ШАРЛОТТА ЛЁВЕНШЁЛЬД

Жила однажды в Карлстаде полковница по имени Беата Экенстедт.

Она происходила из семьи Лёвеншёльдов, тех, что владели поместьем Хедебю, и, следовательно, была урожденная баронесса. И была она так изящна, так мила, так образованна и умела сочинять шуточные стихи не хуже самой фру Леннгрен*.

Росту она была небольшого, но с благородной осанкой, свойственной всем Лёвеншёльдам, и с выразительным лицом. Всякому, кто бы с ней ни встречался, она всегда умела сказать что-нибудь любезное и приятное. В облике ее было что-то романтическое, и те, кто видел ее хотя бы однажды, никогда уже не могли ее забыть.

Одевалась она изысканно и всегда была искусно причесана, и где бы она ни появлялась, на ней непременно оказывалась самая красивая брошь, самый изящный браслет, самый ослепительный перстень. У нее были необычайно маленькие ножки, и при любой моде она неизменно носила крошечные башмачки на высоком каблуке, отделанные золотой парчой.

Жила она в самом красивом доме Карлстада, который не теснился в гуще других домов на узкой улочке, а высился на берегу реки Кларэльв, так что полковница могла любоваться водной гладью из окна своего уютного будуара. Она любила рассказывать, как однажды ночью, когда ясный лунный свет заливал реку, она видела водяного, который играл на золотой арфе под самым ее окном. И никому не приходило в голову усомниться в ее словах. А почему бы водяному и не

спеть, подобно многим другим, серенаду полковнице Экенстедт!

Все именитые лица, гостившие в Карлстаде, почитали своим долгом представиться полковнице. Они тотчас же бывали безмерно очарованы ею и сетовали на то, что ей пришлось похоронить себя в захолустье. Рассказывали, будто епископ Тегнер* сочинил в ее честь стихи, а кронпринц* сказал, что она обладает истинно французским шармом. И даже генерал фон Эссен* и другие сановники времен Густава III* вынуждены были признать, что обеды, которые дает полковница Экенстедт, несравненны как по части кушаний и сервировки, так и по части занимательной беседы.

У полковницы были две дочери, Ева и Жакетта. Это были прелестные и добрые девушки, которыми любовались и восхищались бы в любом другом уголке земли, но в Карлстаде никто не удостоивал их ни единым взглядом. Мать затмевала их совершенно. Когда они являлись на бал, молодые кавалеры наперебой приглашали танцевать полковницу, а Еве и Жакетте оставалось лишь подпирать стены. И, как уже упоминалось, не один только водяной пел серенады перед домом Экенстедтов, но звучали они не под окнами дочерей, а единственно лишь под окнами полковницы. Юные поэты готовы были без конца слагать стихи в честь Б. Э., но ни один из них не удосужился сочинить и двух строф в честь Е. Э. или Ж. Э.

Злые языки утверждали, что когда однажды некий подпоручик вздумал посвататься к маленькой Еве Экенстедт, то получил отказ, так как полковница сочла, что у него дурной вкус.

Был у полковницы и полковник, славный и добрый малый, которого весьма высоко ценили бы повсюду, но только не в Карлстаде. Здесь его сравнивали с женой, и когда он появлялся рядом с нею, такой блестящей, такой обворожительной, неистощимой на выдумки, полной живости и веселья, то всем казалось, что он смахивает на деревенского помещика. Гости, бывавшие у него в доме, едва давали себе труд выслушивать его; они, казалось, вовсе его не замечали. Разумеется,

не могло быть и речи о том, чтобы полковница позволила кому-либо из обожателей, увивавшихся вокруг нее, хоть малейшую вольность; в этом ее нельзя было упрекнуть. Но ей никогда не приходило в голову возражать и против того, что муж постоянно остается в тени. Должно быть, она полагала, что ему лучше не привлекать к себе особого внимания.

Но у этой очаровательной, окруженной всеобщим поклонением полковницы были не только муж и дочери. У нее был еще и сын. И сына своего она обожала, его она боготворила, его выдвигала на первое место при всяком удобном случае. Вот уж его-то не следовало третировать или не замечать тем, кто желал быть снова приглашенным в дом Экенстедтов. Впрочем, нельзя отрицать и того, что полковница вправе была гордиться сыном. Мальчик был и умен, и приветлив, и красив. Он не был ни дерзок, ни назойлив, как другие избалованные дети. Он не отлынивал от занятий в гимназии и никогда не строил каверз учителям. Он был более романтического склада, нежели его сестры. Ему не минуло и восьми лет, когда он начал сочинять премилые стихи. Он мог прийти к матери и рассказать ей, что слышал, как водяной играл на арфе, или видел, как лесные феи танцевали на лугах Вокнеса. У него были тонкие черты лица и большие темные глаза; он был во всех отношениях истинным сыном своей матери.

Хотя сердце полковницы всецело принадлежало сыну, однако никто не смог бы упрекнуть ее в материнской слабости. Во всяком случае, Карл-Артур Экенстедт должен был прилежно трудиться. Мать ценила его превыше всех других людей на земле, но именно поэтому ему пристало приносить из гимназии лишь самые лучшие отметки. И все замечали, что полковница никогда не приглашала к себе в дом учителей, в классы которых ходил Карл-Артур. Никто не должен был говорить, что Карл-Артур получает высокие отметки оттого только, что он сын полковницы Экенстедт, которая дает такие прекрасные обеды. Вот какова была эта женщина!

В аттестате, полученном Карлом-Артуром по выходе из карлстадской гимназии, стояли одни отличные отметки, совсем как в свое время у Эрика Густава* Гейера. И вступительные экзамены в Упсальский университет* были для него, так же как и для Гейера, сущим пустяком. Полковница много раз видела маленького, толстого профессора Гейера и даже бывала его дамой за столом. Спору нет, человек он даровитый и замечательный, но ей казалось, что у Карла-Артура голова устроена ничуть не хуже и что он также когда-нибудь сможет сделаться известным профессором и удостоиться того, что кронпринц Оскар, губернатор Йерта*, полковница Сильверстоल्पе* и другие упсальские знаменитости станут посещать его публичные чтения.

Карл-Артур прибыл в Упсалу к началу осеннего семестра 1826 года. И весь этот семестр, равно как и все последующие годы, что он пробыл в университете, он писал домой раз в неделю. Но ни одно письмо его не было затеряно, полковница бережно их хранила. Сама она то и дело перечитывала их, а на традиционных воскресных обедах, когда собиралась вся родня, она обыкновенно читала вслух последнее из полученных писем. Да и как же ей было не делать этого! Подобными письмами она вправе была гордиться.

У полковницы зародилось подозрение, что родня ее ожидает, будто Карл-Артур, предоставленный самому себе, делается не таким примерным. И теперь, торжествуя победу, она читала им о том, что Карл-Артур нанял дешевую меблированную квартиру, что он сам покупает на рынке сыр и масло, что он встает с рассветом и работает по двенадцати часов на дню. А все эти почтительные выражения, которые он употреблял в письмах, а слова любви и обожания, которые он обращал к своей матери! Полковница не получала никакой награды за то, что читала соборному настоятелю Шёборгу, женатому на урожденной Экенстедт, и советнику Экенстедту, дяде ее мужа, и кузенам Стаке, жившим в большом угловом доме на площади, о том, что Карл-Артур, который теперь повидал свет, все еще убежден, что его мать могла бы сделаться большой поэтессой,

не сочти она своим долгом жить только для детей и мужа. Нет, она не получала за это никакой награды. Она делала это вполне бескорыстно. Как ни привычна была полковница ко всякого рода славословиям, но, читая эти строки, она не могла сдержать слез.

Однако самый большой триумф ожидал полковницу перед Рождеством, когда Карл-Артур уведомил родителей, что не издержал всех денег, которые отец дал ему с собой в Упсалу, и почти половину их привезет назад. Тут уж и соборный настоятель, и советник пришли в совершенное изумление, а один из кузенов Стаке, тот, что повыше ростом, поклялся, что ничего подобного прежде на свете не случалось и наверняка не случится впредь. Вся родня единодушно сошлась на том, что Карл-Артур истинное чудо.

Разумеется, полковнице очень недоставало Карла-Артура, который находился в Упсале большую часть года, но письма его доставляли ей столь безмерную радость, что едва ли она могла бы желать чего-нибудь иного.

Побывав на лекции знаменитого поэта-романтика Аттербума*, он мог пуститься в увлекательные рассуждения о философии и поэзии, и, получив подобное письмо, полковница могла часами сидеть и мечтать о том величии, какого достигнет в будущем Карл-Артур. Она иначе и не мыслила, что известностью он превзойдет профессора Гейера. Быть может, он даже станет таким же великим ученым, как Карл Линней*. Отчего бы ему тоже не стать мировой знаменитостью? Или великим поэтом? Вторым Тегнером? Ах, никакие самые изысканные яства на свете не могут доставить человеку большего наслаждения, чем те, которые он предвкушает в мечтах.

На Рождество и на летние вакации Карл-Артур обыкновенно приезжал домой в Карлстад, и полковнице казалось, что он с каждым разом делается все мужественнее и красивее. В остальном же он ничуть не менялся. Он по-прежнему боготворил мать, выказывал все ту же почтительность отцу, все так же шутил и ребячился с сестрами.

Порою полковница несколько досадовала на то, что Карл-Артур столько лет обучается в Упсале и покуда ничем еще не отличился. Но все объясняли ей, что Карл-Артур готовится держать экзамен на кандидата, а это требует изрядного времени. Пусть-ка вообразит себе, что это значит — держать экзамен по всем предметам, которые читаются в университете. Тут и астрономия, и древнееврейская письменность, и геометрия. Скоро со всем этим не разделаешься. По мнению полковницы, экзамен был чрезмерно суров, и в этом все были с нею согласны, но тут уж ничего нельзя было изменить даже ради Карла-Артура!

В конце осени 1829 года, в седьмом семестре, Карл-Артур, к великой радости полковницы, сообщил, что намеревается писать сочинение по-латыни. Само по себе испытание не составит особой трудности, но оно очень важно, ибо, чтобы быть допущенным к экзамену, надо успешно написать сочинение.

Для Карла-Артура это отнюдь не было событием. Он писал лишь, что неплохо бы покончить с латинским сочинением. У него ведь никогда не было неладов с латынью, как у всех добрых людей, и он вполне мог рассчитывать, что все пройдет как нельзя лучше.

В том же письме он упоминал, что пишет своим любезным родителям последний раз в нынешнем семестре. Как только станет известен исход испытания, он тотчас же отправится в путь. И он твердо убежден, что в последний день ноября сможет заключить в объятия родителей и сестер.

Впоследствии Карл-Артур был очень рад тому, что это испытание не являлось для него событием, ибо на латыни он срезался. Упсальские профессора позволили себе срезать его, несмотря на то, что в аттестате карлстадской гимназии у него стояли лишь самые высокие отметки. Он был скорее смущен и удивлен, нежели обескуражен. Он не сомневался, что знал латынь достаточно, чтобы выдержать экзамен. Разумеется, досадно было возвращаться домой, потерпев неудачу, но он надеялся, что родители, и уж во всяком случае мать, поймут, что дело тут, должно быть, в каких-то придириках.

То ли упсальские профессора желали показать, что взыскивают более строго, нежели гимназические учителя в Карлстаде, то ли сочли его чересчур самонадеянным оттого, что он не посещал некоторых лекций.

Между Упсалой и Карлстадом было много дней пути, и можно сказать, что к тому времени, когда Карл-Артур тридцатого ноября в сумерках миновал восточную заставу, он совсем забыл о своей неудаче.

Он был доволен, что приезжает точно в день, назначенный им в письме. Он думал о том, что матушка, должно быть, стоит сейчас у окна, высматривая его, а сестры накрывают стол для кофе.

Все в том же безмятежном расположении духа проехал он весь город и выбрался наконец из узких и кривых улочек к западному протоку реки, на берегу которого находился дом Экенстедтов.

Боже, что это? Весь дом озарен огнями, он светится, точно церковь рождественским утром. И сани с закутанными в меха людьми стрелой проносятся мимо, явно направляясь к его дому.

«У нас, верно, какое-то торжество», — подумал он с легкой досадой.

Он утомился с дороги, а теперь ему не удастся отдохнуть: придется переменить платье и до полуночи быть с гостями.

Внезапно его охватило беспокойство. «Только бы матушка не вздумала затеять торжество из-за моего латинского сочинения».

Желая избежать встречи с гостями, он попросил кучера подъехать к заднему крыльцу.

Спустя несколько минут послали за полковницей. Не угодно ли ей будет пожаловать в комнату экономки? Карл-Артур желал бы поговорить с ней.

Полковница была в большом беспокойстве, опасаясь, как бы Карл-Артур не запоздал к обеду, и теперь безмерно обрадовалась, услышав о его приезде. Она поспешила к нему.

Но Карл-Артур встретил ее с самым суровым видом. Он не обратил внимания на ее протянутые руки. Он и не собирался здороваться с ней.

— Что это вы затеяли, матушка? — спросил он. — Отчего весь город зван к нам именно сегодня?

На сей раз не было и речи о «любезных родителях». Он не выказал ни малейшей радости при виде матери.

— Но я полагала, нам следует устроить небольшое торжество, — сказала полковница. — Раз ты наконец написал это ужасное сочинение.

— Вам, матушка, разумеется, и в голову не приходило, что я мог срезаться, — сказал Карл-Артур. — Тем не менее дело обстоит именно так.

У полковницы и руки опустились. Да, никогда, никогда в жизни не могло бы ей прийти в голову, что Карл-Артур способен срезаться.

— Само по себе это не так уж важно, — сказал Карл-Артур. — Но теперь об этом узнает весь город. Ведь вы, матушка, созвали сюда всех этих людей, чтобы отпраздновать мой триумф.

Полковница все еще не могла оправиться от изумления и растерянности.

Она-то ведь знала карлстадцев. Они не отрицали, что усердие и бережливость — весьма ценные качества студента, но этого им было явно недостаточно. Им подавай премии Шведской академии*, блестящие выступления на ученых диспутах, которые заставили бы побледнеть от зависти старых профессоров. Они ожидают гениальных импровизаций на национальных торжествах, приглашений в литературные салоны к профессору Гейеру, губернатору фон Кремеру* или к полковнице Сильверстоल्पе. Так, по их понятиям, должно было быть. Но пока что в ученой карьере Карла-Артура не наблюдалось подобных блестящих триумфов, которые могли бы свидетельствовать о его выдающемся даровании. Полковница понимала, что карлстадцы ждут их, и когда Карл-Артур наконец хоть чем-то отличился, она решила, что не худо будет отметить это событие с некоторой помпой. А уж то, что Карл-Артур может не выдержать испытания, ей и в голову не приходило.

— Никто ничего не знает наверное, — в раздумье сказала она. — Никто, кроме домашних. Остальные

знают лишь, что их ждет маленький приятный сюрприз.

— Вот и придумайте им, матушка, какой-нибудь приятный сюрприз, — сказал Карл-Артур. — Я же намерен отправиться в свою комнату и к обеду не выйду. Не думаю, чтобы карлстадцы столь близко к сердцу приняли мою неудачу, но быть предметом их сожаления я не желаю.

— Боже, что бы такое придумать? — жалобно произнесла полковница.

— Предоставляю это вам, матушка, — ответил Карл-Артур. — А теперь я иду к себе. Гостям вовсе незачем знать, что я вернулся.

Но нет, это было нестерпимо, это было совершенно невыносимо. Полковница будет блистать за столом, все время думая о том, что он, раздосадованный, злой, в одиночестве рассказывает у себя наверху. Она будет лишена счастья видеть его подле себя. Этого она вынести не в силах.

— Милый Карл-Артур, ты сможешь спуститься к обеду. Я что-нибудь придумаю.

— Что же вы придумаете, матушка?

— Еще не знаю. Впрочем, нет, знаю! Ты останешься доволен. Никто не догадается, что обед был затеян в твою честь. Только обещай мне переменить платье и сойти вниз.

Обед удался на славу. Из многих блестящих и великолепных празднеств в доме Экенстедтов это оказалось самым достопамятным.

За жарким, когда подали шампанское, гостям и вправду был сделан сюрприз. Полковник встал и попросил всех присутствующих выпить за благополучие его дочери Евы и поручика Стена Аркера, о помолвке которых он объявляет.

Слова его вызвали всеобщий восторг.

Поручик Аркер был небогатый малый, без всяких видов на повышение. Его знали как давнего воздыхателя Евы, а поскольку у девиц Экенстедт редко объявлялся какой-нибудь поклонник, то весь город интересовался исходом дела. Но все ожидали, что полковница откажет ему.

Впоследствии слух о том, как действительно обстояло дело с помолвкой, просочился в город. Карлстадцам стало известно, что полковница позволила обручиться Еве и Аркеру только затем, чтобы никто не заподозрил, что сюрприз, который она сначала пригостила гостям, не удался.

Но это отнюдь не умалило всеобщего восхищения полковницей. Напротив, все только и говорили, что мало кто умеет так блестяще выходить из неожиданных затруднительных положений, как полковница Беата Экенстедт.

II

Полковница Беата Экенстедт отличалась тем, что, если кто-нибудь наносил ей обиду, она ждала, чтобы провинившийся сам пришел к ней и попросил прощения. Едва этот ритуал бывал завершен, она прощала обидчику от всего сердца и обращалась с ним столь же приветливо и дружески, как и до размолвки.

Все святки она ждала, чтобы Карл-Артур попросил у нее прощения за то, что столь резко говорил с ней в день своего приезда из Упсалы. Она находила вполне объяснимым, что он забьлся в минуту горячности, но не могла попятить, отчего он молчит о своей вине после того, как у него было время одуматься.

Но святки проходили, а Карл-Артур не произносил ни слова раскаяния или сожаления. Он, как обычно, веселился на балах, участвовал в санных катаниях, был мил и внимателен к домашним, но не говорил тех слов, которых полковница ждала от него. Быть может, никто, кроме них двоих, не замечал, что между матерью и сыном возникла невидимая стена, которая мешает их подлинной близости. Хотя ни мать, ни сын отнюдь не скупилась на изъявления любви и нежности, но то, что разделяло и отдаляло их друг от друга, все еще не было устранено.

Возвратясь в Упсалу, Карл-Артур думал лишь о том, чтобы выдержать испытание по латыни. Если полковница надеялась, что он повинится перед нею в письме,

то ей пришлось разочароваться. Карл-Артур писал только о своих занятиях. Он стал посещать лекции по латинской словесности у двух приват-доцентов, прилежно ходил на занятия по латинскому языку и записался в клуб, члены которого упражнялись в диспутах и речах на латыни. Он делал все, что было в его силах, чтобы на этот раз выдержать испытание.

Домой он писал самые обнадеживающие письма, и полковница отвечала ему в том же тоне; но все же она втайне тревожилась за него. Он был дерзок со своей матерью и не попросил у нее прощения — Бог может покарать его за это.

Не то чтобы она желала этой кары своему сыну. Напротив, она молила Всевышнего пренебречь этой мелкой провинностью сына, забыть о ней. Она пыталась объяснить Богу, что во всем виновата она сама.

— Ведь это я по глупости и тщеславию вздумала похвалиться его успехами, — говорила она, — я достойна кары, а не он.

Но все же в каждом письме сына она искала слов, которых ждала, и, не находя их, все больше впадала в беспокойство.

Она чувствовала, что, не получив ее прощения, Карл-Артур не сможет успешно выдержать испытания.

В один прекрасный день, в конце семестра, полковница объявила, что намерена отправиться в Упсалу, чтобы повидаться со своим добрым другом Маллой Сильверстольпе. Они свели знакомство прошлым летом в Кавлосе у Гюлленхоллов* и так подружились, что добрейшая Малла пригласила ее зимой приехать в Упсалу, дабы она смогла познакомить ее со своими литературными друзьями.

Весь Карлстад изумился, узнав, что полковница решила на такую поездку в самую распутицу. Все ждали, что полковник воспротивится этой затее, но полковник, как всегда, согласился с женой, и она отправилась в путь. Как и предсказывали карлстадцы, путешествие было ужасным. Много раз дормез полковницы увязал в грязи, и его приходилось вытаскивать с помощью жердей. Однажды лопнула рессора, в другой раз сломалось

дышло. Но ничто не могло остановить полковницу. Маленькая и хрупкая, она держалась мужественно, никогда не падала духом, и содержатели постоялых дворов, смотрители на станциях, кузнецы и крестьяне, с которыми ей приходилось сталкиваться на Упсальском тракте, готовы были жизнь за нее положить. Они будто знали, как важно было полковнице добраться до Упсалы.

Фру Малла Сильверстолепе была, разумеется, предупреждена о ее приезде, но Карл-Артур не знал ничего, и полковница просила не говорить ему об этом. Она хотела сделать ему сюрприз.

Полковница добралась уже до Енчёпинга, но тут вышла новая задержка. До Упсалы оставалось всего несколько миль, но у колеса лопнул обод, и пока его не скрепили, ехать дальше было нельзя. Полковница была вне себя от волнения. Она ведь уже целую вечность в пути, а испытание по латыни может быть назначено в любой час. Но она только затем и отправилась в Упсалу, чтобы Карл-Артур имел случай перед испытанием попросить у нее прощения. Она знала, что, если он этого не сделает, ему не помогут ни лекции, ни занятия. Он непременно срежется.

Ей не сиделось в отведенной для нее комнате на постоялом дворе. Она поминутно вскакивала и спускалась во двор, чтобы посмотреть, не везут ли от кузнеца колесо.

И вот, выйдя как-то на крыльцо, она увидела, что на постоялый двор заворачивает двуколка, а в ней рядом с возницей сидит какой-то студент. Когда же студент выпрыгнул из двуколки, то оказалось... нет, она не могла поверить глазам... ведь это был Карл-Артур!

Он направился прямо к ней. Он не заключил ее в объятия, но схватил ее руку, прижал к своей груди и посмотрел ей в глаза своими красивыми, мечтательными детскими глазами.

— Матушка, — сказал он, — простите меня за то, что я дурно вел себя нынче зимой, когда вы затеяли праздник из-за моего латинского сочинения.

Счастье было слишком велико, чтобы в него можно было поверить. Полковница высвободила свою руку,

обняла Карла-Артура и осыпала его поцелуями. Она не понимала, как он очутился здесь, но знала, что вновь обрела сына, и чувствовала, что это самая счастливая минута в ее жизни.

Она увлекла его за собою в свою комнату, и тут все объяснилось. Нет, он не писал еще сочинения. Испытание назначено было на следующий день. Но, несмотря на это, Карл-Артур ехал теперь в Карлстад, чтобы увидеться с матерью.

— Да ты просто безумец! — воскликнула она. — Неужто ты рассчитывал обернуться за сутки?

— Нет, — ответил он. — Я бросил все на произвол судьбы. Но я знал, что должен это сделать. Иначе нечего было и пытаться. Без твоего прощения мне не было бы удачи.

— Но, мальчик мой, для этого довольно было одного слова в письме.

— Какое-то смутное, неясное чувство томило меня весь семестр. Я ощущал страх и неуверенность, но не понимал отчего. Лишь этой ночью все стало мне ясно. Я ранил сердце, которое бьется для меня с такой любовью. Я чувствовал, что не смогу добиться успеха, пока не повинюсь перед своей матерью.

Полковница сидела у стола. Одной рукой она прикрыла глаза, полные слез, другую протянула сыну.

— Это поразительно, Карл-Артур, — сказала она. — Говори, говори еще!

— Так слушайте, — начал он. — На одной квартире со мной стоит еще один студент-вермландец по имени Понтус Фриман. Он пиетист* и не водит знакомства ни с кем из студентов; и я тоже не знался с ним. Но нынче утром я пришел в его комнату и рассказал ему все. «У меня самая любящая мать на свете, — сказал я. — А я оскорбил ее и не попросил у нее прощения. Что мне делать?»

— И что же он ответил?

— Он сказал: «Поезжай к ней тотчас же!» Я объяснил, что желал бы этого больше всего на свете, но что завтра я должен писать рго ехерсити¹ и наверняка

¹ Сочинение (лат.).

вызову неудовольствие моих родителей, если пропущу это испытание. Но Фриман и слушать ничего не хотел. «Поезжай тотчас! — сказал он. — Не думай ни о чем другом, кроме примирения с матерью. Бог может тебе».

— И ты уехал?

— Да, матушка, чтобы упасть к твоим ногам. Но, едва сев в коляску, я понял все непростительное безрассудство своего поступка. У меня появилось непреодолимое желание повернуть назад. Я ведь знал, что, если даже задержусь в Упсале еще на несколько дней, все равно твоя любовь простит мне все. Тем не менее я продолжал свой путь. И Бог помог мне. Я застал тебя здесь. Не знаю, как ты попала сюда, но это, видно, промысл Божий.

Слезы струились по щекам матери и сына. Ну, не чудо ли сотворено ради них? Они знали, что благое Провидение печется о них. Сильнее, чем когда-либо, ощущали они любовь друг к другу.

Целый час пробыли они вместе на постоялом дворе. Затем полковница отослала Карла-Артура назад в Упсалу и просила передать любезной Малле Сильверстольпе, что на этот раз не приедет к ней. Стало быть, полковница вовсе не заботилась о том, чтобы попасть в Упсалу. Цель ее поездки была достигнута. Теперь она знала, что Карл-Артур выдержит испытание, и могла спокойно возвращаться домой.

III

Всему Карлстаду было известно, что полковница очень набожна. Она являлась в церковь на все воскресные службы столь же неизменно, как и сам пастор, а в будни утром и вечером устраивала молитвенный час со своими домочадцами.

У нее были свои бедняки, о которых она вспоминала не только на Рождество, но оделяла их подарками весь год. Она кормила обедами неимущих детей в гимназии, а старух богаделок не забывала побаловать праздничным кофе в день святой Беаты.

Но вряд ли кому-нибудь из карлстадцев, а всего менее полковнице, могла прийти в голову мысль о том, что Богу может быть не угодно, если она с настоятелем собора, советником и старшим из кузенов Стаке мирно посидят в воскресенье за бостоном после семейного обеда.

И столь же мало греха видели они в том, что бабышники и молодые люди, которые обычно бывали в доме Экенстедтов, немного покружатся в танце воскресным вечером.

Ни полковница, ни кто-либо другой из карлстадцев отроду не слыхивали о том, что грешно подать к праздничному обеду хорошего вина и, осушая бокал, спеть застольную, нередко сочиненную самой хозяйкой. Не ведали они и о том, что Богу не угодно, чтобы люди читали романы или посещали театр.

Полковница обожала любительские спектакли и сама участвовала в них. Отказаться от этого удовольствия было бы для нее большим лишением. Она была словно рождена для сцены, и карлстадцы говорили, что ежели фру Торслов* играет на театре хоть половину так же хорошо, как полковница Экенстедт, то немудрено, что стокгольмцы так восторгаются ею.

Но Карл-Артур целый месяц прожил в Упсале после того, как написал трудное латинское сочинение, и все это время он часто виделся с Понтусом Фриманом. А Фриман был ярким и красноречивым приверженцем пиедизма, и влияние его на Карла-Артура не могло не сказаться.

Разумеется, тут не было и речи о решительном обращении или вступлении в секту, но дело все-таки зашло столь далеко, что Карл-Артур был обеспокоен мирскими удовольствиями и развлечениями в доме родителей.

Надо ли упоминать, что именно в это время между сыном и матерью царили особенная близость и доверие, и он открыто говорил полковнице о том, что считает зазорным подобный образ жизни.

И мать уступала ему во всем. Поскольку он огорчался ее карточной игрой, она на следующем обеде,

отговорившись головной болью, вместо себя усадила за бостон полковника. Ибо о том, чтобы советник и настоятель лишились своей обычной партии в бостон, невозможно было и помыслить.

А поскольку Карлу-Артуру не по душе было то, что она танцевала, она отказалась и от этого. Когда молодые люди в воскресенье вечером явились к ним с визитом, она напомнила им, что ей уже пятьдесят лет, что она чувствует себя старухой и не хочет больше танцевать. Но, увидя их разочарованные лица, смягчилась, села за фортепьяно и до полуночи играла разные танцы.

Карл-Артур приносил ей книги, прося ее прочесть; она брала их у него с благодарностью и находила весьма возвышенными и поучительными.

Но полковница не могла довольствоваться чтением одних только религиозных книг. Она была просвещенной женщиной и следила за светской литературой; и вот однажды Карл-Артур уличил ее в том, что она читает Байронова «Дон Жуана», спрятав его под молитвенником. Он повернулся и вышел, не сказав ни слова, и полковница была тронута тем, что он не сделал ей никаких упреков. На другой день она уложила все свои книги в сундук и велела унести их на чердак.

Нельзя отрицать, что полковница старалась быть уступчивой, насколько это было для нее возможно. Она была женщина умная и проницательная и понимала, что у Карла-Артура это всего лишь преходящее увлечение, которое пройдет с течением времени, и пройдет тем скорее, чем меньше противодействия ему будут оказывать. По счастью, время было летнее. Почти все богатые карлстадские семейства были в отъезде, так что больших званых вечеров никто не давал. Общество довольствовалось невинными пикниками на лоне природы, катаньем на лодках по живописной реке Клэрэльв, прогулками в лес по ягоды и игрой в горелки.

Между тем на конец лета была назначена свадьба Евы Экенстедт с ее поручиком, и полковница чувствовала себя обязанной сыграть пышную, богатую свадьбу. Если она выдаст Еву замуж скромно и без подобаю-

щей пышности, в Карлстаде снова начнутся толки о том, что она не любит своих дочерей. Но, к счастью, ее уступчивость уже оказала, как видно, свое успокоительное действие на Карла-Артура. Он не воспротивился ни двенадцати блюдам, ни тортам и сладостям, которые будут поданы на обеде. Он не возражал даже против вина и других напитков, выписанных из Гётеборга. Он не выразил протеста ни против венчания в соборе и цветочных гирлянд на улицах, по которым проследует свадебный поезд, ни против факелов и фейерверка на берегу реки. Более того — он сам принял участие в приготовлениях и вместе с другими трудился в поте лица, плетя венки и вывешивая флаги.

Но в одном он был тверд и непреклонен. На свадьбе не должно быть танцев. И полковница обещала ему это. Ей даже доставило удовольствие уступить ему в этом, в то время как он оказался столь терпимым во всем другом.

Полковник и дочери робко пытались протестовать. Они спрашивали, чем же занять всех этих приглашенных на свадьбу молодых лейтенантов и карлстадских девиц, которые наверняка надеются, что будут танцевать всю ночь? Но полковница отвечала, что вечер с Божьей помощью пройдет хорошо, что лейтенанты и девицы отправятся в сад слушать полковную музыку и смотреть, как в небо взлетают ракеты и как пламя факелов отражается в речной воде.

Зрелище это будет столь красиво, полагала она, что никто и не станет помышлять о каких-нибудь иных развлечениях. Право же, это будет более достойным и торжественным освящением нового брачного союза, нежели скаканье галопом по танцевальной зале.

Полковник и дочери уступили, как всегда, и мир в доме не был нарушен.

Ко дню свадьбы все было устроено и подготовлено. Все шло как по маслу. Погода была на редкость удачна; венчание в церкви, речи и тосты во время обеда прошли как нельзя лучше. Полковница написала прекрасное свадебное стихотворение, которое было оглашено за столом, а в буфетной военный оркестр

Вермландского полка играл марш при каждой перемене блюд. Гости находили, что угощение было щедрым и обильным, и во все время обеда пребывали в самом приятном и веселом расположении духа.

Но когда встали из-за стола и кофе был выпит, всех обуяло непреодолимое желание танцевать.

Надо сказать, что обед начался в четыре часа, но поскольку гостям прислуживало множество лакеев и служанок, то длился он всего лишь до семи. Можно было только удивляться тому, что двенадцать блюд и все эти бесконечные речи, фанфары, застольные песни заняли не более трех часов. Полковница надеялась, что гости будут сидеть за столом хотя бы до восьми, но надежды ее не оправдались.

Итак, часы показывали всего лишь семь, а о том, чтобы разъехаться ранее полуночи, и речи быть не могло. Гостей охватил страх при мысли о тех долгих, скучных часах, которые им предстояли. «Если бы можно было потанцевать!» — втихомолку вздыхали они, ибо полковница, разумеется, была предусмотрительна и заранее уведомила всех о том, что танцев на свадьбе не будет. «Чем же нам развлечься? Это ужасно — провести в болтовне столько часов подряд и все время сидеть без движения».

Юные девицы оглядывали свои светлые кисейные платья и белые атласные башмачки. И то, и другое было предназначено для танцев. Когда на тебе такой наряд, желание танцевать рождается само собой. Они не могли думать ни о чем другом.

Молодые лейтенанты Вермландского полка, незаменимые кавалеры на балах, обычно бывали нарасхват. В зимнее время их столь часто звали на балы, что танцы приедались им и соблазнить их этим было нелегко. Но теперь, летом, больших танцевальных вечеров никто не устраивал, так что лейтенанты чувствовали себя отдохнувшими и готовы были отплясывать сутки напролет. Они говорили, что им редко случалось видеть сразу так много красивых девушек. Да и что это за праздник! Пригласить столько молодых лейтенантов и юных девиц и не позволять им танцевать друг с другом!

Но не только молодые томились без танцев. Дамы и господа постарше также сожалели, что не могут поглядеть, как танцует молодежь. Подумать только! Оркестр, равного которому нет во всем Вермланде! Великолепная танцевальная зала! Отчего же, помилуйте, нельзя покружиться в танце?

Эта Беата Экенстедт, при всей ее любезности, всегда была несколько себялюбива. Она, верно, полагает, что раз ей самой уже около пятидесяти и она не может танцевать, то, стало быть, из-за этого ее молодые гости также должны сидеть и подпирать стены.

Полковница все это видела и слышала и понимала, что гости ропщут, а для такой превосходной хозяйки, как она, привыкшей к тому, что на ее вечерах все веселились до упаду, это было невыразимо тяжким испытанием.

Она знала, что на другой день и много-много дней спустя люди станут рассказывать о свадьбе в доме Экенстедтов и говорить, что такой отчаянной скуки им не приходилось испытывать ни на одном торжестве.

Она принялась занимать стариков. Она была необычайно любезна. Она рассказывала самые знаменитые свои истории, она прибегла к самым остроумным своим выдумкам, но ничего не помогало. Ее едва слушали. Среди гостей не нашлось ни одной даже самой старой и скучной дамы, которая не подумала бы про себя, что, если бы ей когда-либо посчастливилось выдать замуж дочь, уж она-то позволила бы танцевать и молодым, и старикам.

Полковница принялась занимать молодежь. Она предложила им поиграть в горелки в саду. Но они лишь устали на нее с недоумением. Играть в горелки на свадьбе! Не будь она Беатой Экенстедт, они рассмеялись бы ей прямо в лицо.

Когда настало время пустить фейерверк, кавалеры предложили дамам руку и отправились на прогулку по берегу реки. Но молодые пары еле-еле брели. Они едва поднимали взоры, чтобы взглянуть на взлетающие ракеты. Они не желали никакого возмещения за удовольствие, которого так жаждали.

Взошла полная луна — как бы для того, чтобы придать еще более торжественности этому великолепному зрелищу. В этот вечер она не походила на серп, но плыла по небу круглая, как шар; и некий остролов утверждал, что она округлилась от изумления при виде того, как множество статных лейтенантов и красивых подружек невесты стоят, глядя на воды реки так мрачно, словно их одолевают мысли о самоубийстве.

Пол-Карлстада собралось перед оградой сада Экенстедтов, чтобы поглядеть на торжество. Все видели, как молодые люди бродят по дорожкам сада, безучастные и вялые, и в один голос заявляли, что такой унылой свадьбы им никогда еще не доводилось видеть.

Оркестр Вермландского полка играл как нельзя лучше, но поскольку полковница запретила исполнять танцы, так как в этом случае она не надеялась совладать с молодежью, то в музыкальной программе было не так уж много номеров, и одни и те же вещи приходилось повторять сызнова.

Было бы неверно утверждать, что часы тянулись медленно. Нет, время просто-напросто остановилось. Минутные и часовые стрелки на всех часах двигались с одинаковой медлительностью.

На реке перед домом Экенстедтов стояло несколько больших грузовых барж, и на одной из них сидел какой-то моряк — любитель музыки и наигрывал деревенскую польку на визгливой самодельной скрипке.

Но все эти несчастные, томившиеся в саду Экенстедтов, просияли, потому что это была, по крайней мере, танцевальная музыка; они поспешно улизнули через ворота, и в следующее мгновение все увидели, как они отплясывают деревенскую польку на смолёной палубе речной баржи.

Полковница тотчас же заметила это бегство и поняла, что ни в коем случае не может допустить, чтобы девицы из самых благородных карлстадских семей танцевали на грязной барже. Она тотчас же послала за беглецами и велела им немедленно вернуться. Но хоть она и была полковница, ни один безусый лейтенантик даже и не подумал повиноваться ее приказу.

И тут полковница поняла, что игра проиграна. Она сделала все, что было в ее силах, чтобы угодить Карлу-Артуру. Теперь нужно было спасти престиж дома Экенстедтов. Она велела полковому оркестру перейти в залу и играть англес.

Вскоре после этого она услышала, как жаждущие танцевать мчатся вверх по лестнице, и танцы начались! Это был бал, какого давно не видывали в Карлстаде. Все, кто изнывал и томился в ожидании танцев, пытались теперь наверстать упущенное время. Они кружились, порхали в пируэтах, вертелись и выделывали ногами замысловатые антраша. Никто не чувствовал усталости, никто не отказывался от приглашений. Не было ни одной самой скучной дурнушки, которая осталась бы без кавалера.

Старики — и те не смогли усидеть на месте, но поразительнее всего было то, что сама полковница — да, подумать только, сама полковница, которая покончила с танцами и карточной игрой и велела унести на чердак все светские книги, — и она не смогла усидеть на месте. Легко и весело порхала она в танце и казалась такой же молодой, нет, гораздо моложе своей дочери, которая в этот день стояла под венцом. Карлстадцы были поистине счастливы тем, что снова обрели свою жизнерадостную, свою очаровательную, свою обожаемую полковницу.

И веселье царило всюду, и ночь была дивная, и река сияла в лунном свете, и все было как должно.

Лучшим доказательством того, сколь заразителен микроб радости, был, пожалуй, сам Карл-Артур, тоже захваченный общим весельем. Он вдруг перестал понимать, что дурного в том, чтобы двигаться в такт музыке вместе с другими беспечными молодыми людьми. Это ведь так естественно, что молодость, здоровье и жизнерадостность ищут выхода в танцах. Он не танцевал бы, если бы, как прежде, чувствовал, что это грешно. Но нынче вечером танцы представлялись ему ребячески невинной забавой.

Но в ту минуту, когда Карл-Артур старательно выделывал какую-то фигуру англеза*, он случайно бросил

взгляд на открытую дверь залы и увидел бледное лицо, обрамленное черными кудрями и бородой, и пару больших кротких глаз, взиравших на него с горестным изумлением.

Он остановился посреди танца. Сначала ему показалось, что он грезит наяву. Но затем он узнал своего друга Понтуса Фримана, который обещал навестить его проездом через Карлстад и явился именно в этот вечер.

Карл-Артур не сделал больше в танце ни единого шага; он поспешил навстречу прибывшему, который, не говоря ни слова, увлек его за собой вниз по лестнице на вольный воздух.

СВАТОВСТВО

Шагерстрём посватался! Богач Шагерстрём из Озерной Дачи.

Как? Возможно ли, чтобы Шагерстрём посватался? Право же, это так. Слух самый верный. Шагерстрём и впрямь посватался. Но, помилуйте, как же это вышло, что Шагерстрём посватался?

Видите ли, дело в том, что в Корсчюрке, в пасторской усадьбе, живет молодая девушка по имени Шарлотта Лёвеншёльд. Она доводится пастору дальней родственницей, взята в дом компаньонкой для пасторши и помолвлена с пастором-адьюнктом.

Да, но какое отношение имеет она к Шагерстрёму?

Так вот, Шарлотта Лёвеншёльд — девица веселая, живая, бойкая на язык, и едва она переступила порог пасторского дома, как в нем точно свежим ветром повеяло. Пастор и пасторша — люди престарелые, они бродили по дому точно тени, а Шарлотта вдохнула в них новую жизнь.

А пастор-адьюнкт был тонок, как нитка, и до того свят, что едва есть и пить осмеливался. Днем он исправлял свою должность, а ночами стоял на коленях перед кроватью и оплакивал свои грехи. Он чуть было совсем не уморил себя, но Шарлотта спасла его от неминуемой гибели.

Да, но какое отношение ко всему этому имеет...

Надобно вам знать, что пять лет назад, когда молодой пастор-адъюнкт появился в Корсчюрке, он только что вступил в духовное звание и был совершенно несведущ по этой части. Тут-то Шарлотта и стала помогать ему. Она всю жизнь прожила в пасторских домах и отлично разбиралась во всем, что касалось пасторских обязанностей. Она обучала Карла-Артура, как крестить детей и как говорить на молитвенных собраниях.

Между тем они влюбились друг в друга и теперь были помолвлены вот уже пять лет.

Но таким манером мы и вовсе далеко уйдем от Шаггерстрёма...

Шарлотта Лёвеншёльд отличалась необыкновенным умением улаживать чужие дела. Сделавшись невестой молодого пастора, она вскоре провела, что родители его недовольны тем, что он избрал духовную карьеру. Они желали, чтобы он получил степень магистра и смог определиться на должность профессора или доцента в университете. Он ведь целых пять лет провел в Упсале, готовясь держать экзамен на кандидата; на шестой год он должен был получить звание магистра, но неожиданно переменял свое намерение и вместо того выдержал экзамен на пастора. Родители его были богаты и несколько честолюбивы. Им пришлось не по вкусу, что сын их избрал столь скромное поприще. Даже после того, как он сделался пастором, они просили и умоляли его продолжать занятия в Упсале, но он решительно воспротивился этому. Шарлотта понимала, что если он станет магистром, то у него появятся лучшие виды на будущее, и отослала его назад в Упсалу. А поскольку он был изрядным зубрилой, то и управился за четыре года. Он выдержал экзамен и получил степень магистра.

Но помилуйте, при чем тут Шаггерстрём?..

Видите ли, Шарлотта рассудила, что, получив магистерскую степень, жених ее сможет занять должность учителя гимназии и получит достаточное жалованье, чтобы им можно было пожениться. А если уж он непременно захочет остаться в духовном звании,

то сможет через несколько лет получить большой пасторат, как это было в обычае. Такой же путь прошли пастор Корсчюрки и многие другие. Но тут ее расчеты не оправдались, ибо жених предпочел остаться скромным сельским священником.

Вот так и вышло, что он возвратился в Корсчюрку пастором-адъюнктом. И хоть был он доктором философии, но получал жалованья не больше, чем простой конюх.

Да, но Шагерстрём...

Надо ли говорить, что Шарлотта Лёвеншёльд, которая ждала жениха целых пять лет, не могла удовлетвориться этим. И все же она была рада, что жених вернулся в Корсчюрку. Он жил тут же, в усадьбе, она встречалась с ним всякий день и, как видно, рассчитывала, что станет пилить его до тех пор, пока не принудит сделаться учителем гимназии так же, как она принудила его стать магистром.

Но мы покуда ни слова еще не слышали о Шагерстрёме!

Так вот, ни Шарлотта Лёвеншёльд, ни жених ее ни малейшего отношения к Шагерстрёму не имели. Он был человеком совсем иного круга. Сын высокопоставленного стокгольмского чиновника, он был богат сам и женился на дочери заводовладельца из Вермланда, наследнице столь многих заводов и рудников, что приданое ее исчислялось несколькими миллионами.

Первое время Шагерстрём жил в Стокгольме и лишь летние месяцы проводил на каком-либо из своих вермландских заводов, но когда жена его через несколько лет умерла родами, он переехал в Корсчюрку, в поместье Озерная Дача. Он очень горевал по жене и не мог жить там, где она когда-то бывала. Шагерстрём почти никому не делал визитов и, чтобы убить время, занялся управлением своими многочисленными заводами, а Озерную Дачу он перестроил и отделал с такой роскошью, что она стала поистине украшением Корсчюрки. Несмотря на то что Шагерстрём был совершенно один, он держал множество прислуги и жил большим баринном. Шарлотта Лёвеншёльд знала, что так же, как ей не добыть звезд

с неба для своего брачного венца, так и не бывать ей за Шагерстрёмом.

Надобно вам знать, что Шарлотта Лёвеншёльд из тех, кто говорит все, что взбредет на ум. И однажды, когда у пастора собралось много гостей, мимо усадьбы проехал Шагерстрём в своем большом открытом ландо, запряженном четверкою великолепных вороных, с ливрейным лакеем на козлах рядом с кучером. Само собой, все ринулись к окнам и провожали Шагерстрёма взглядом, пока он не скрылся из виду. Но едва он исчез из глаз, Шарлотта Лёвеншёльд, оборотясь к своему жениху, стоящему в глубине комнаты, сказала громко, так, что все могли слышать:

— Знай, Карл-Артур, что хоть я и люблю тебя, но посватайся ко мне Шагерстрём, я ему не откажу.

Гости, которые знали, что Шагерстрём никогда не посватается к ней, разразились хохотом. И жених посмеялся вместе со всеми, так как понимал, что Шарлотта сказала это, чтобы позабавить гостей. Хотя сама она была, казалось, немало смущена словами, невольно сорвавшимися с языка, но нельзя поручиться за то, что произнесла она их без всякой задней мысли. Ей, верно, хотелось слегка припугнуть милого Карла-Артура и заставить его подумать об учительской должности.

Ну, а Шагерстрём, все еще погруженный в свою скорбь, и не помышлял о женитьбе. Но, вращаясь в деловых кругах, он приобрел множество друзей и знакомых, которые вскоре стали убеждать его подумать о новом браке. Он отговаривался тем, что человек он желчный и угрюмый и никто не захочет пойти за него, и не желал слушать уверений в обратном. Но однажды, когда речь об этом зашла на деловом обеде, где Шагерстрём вынужден был присутствовать, и когда он прибегнул к обычным своим отговоркам, один из его соседей из Корсчюрки рассказал ему о молодой девушке, которая объявила, что бросит своего жениха, если только Шагерстрём посватается к ней. Обед проходил весело, и все вдоволь посмеялись над этой историей, сочтя ее забавной шуткой, так же как и гости в пасторской усадьбе.

По правде говоря, Шагерстрём не раз уже думал о том, что ему трудно обходиться без жены, но он все еще любил умершую, и сама мысль о том, что другая женщина может занять ее место, была ему отвратительна.

До сих пор он имел в виду женитьбу на девушке своего круга, но рассказ о Шарлотте Лёвеншёльд придал его мыслям иное направление. Если бы он, скажем, вступил в брак не по сердечному влечению, а по разумному расчету и женился бы на скромной, небогатой девушке, которая не могла бы посягать ни на место покойной жены в его сердце, ни на то высокое положение в свете, которое та занимала благодаря богатству и родственным связям, то новый брак был бы для него вполне приемлем. Он не был бы оскорбительным для памяти усопшей.

В следующее воскресенье Шагерстрём отправился в церковь и стал разглядывать молодую девушку, сидевшую рядом с пасторшей на пасторской скамье. Она была одета скромно и непритязательно и решительно ничем не выделялась. Но это не было помехой. Напротив. Будь она ослепительной красавицей, он и не подумал бы остановиться на ней свой выбор. У покойной и мысли не должно возникнуть, что новая жена может хоть в чем-то быть ей заменой. Разглядывая Шарлотту, Шагерстрём спрашивал себя, что бы она ответила, если бы он и впрямь отправился в усадьбу пастора и предложил ей сделаться хозяйкой его поместья.

Она ведь никак не могла ожидать, что он попросит ее руки, но потому-то и было бы забавно поглядеть, какое у нее будет лицо, когда она увидит, что дело приняло серьезный оборот.

Возвращаясь из церкви, Шагерстрём думал о том, как выглядела бы Шарлотта, если одеть ее в дорогие и красивые платья. И вдруг он поймал себя на том, что мысль о новом браке представляется ему заманчивой. Ему показалось весьма романтичным неожиданно ослепить бедную девушку, которой нечего ждать от жизни. А склонность ко всему романтическому всегда была свойственна его натуре. Но, заметив это, Шагерстрём

тотчас же бросил думать об этом браке. Он отмахнулся от него, как от соблазна. Он всегда убеждал себя, что разлучен с женой лишь на время, и хотел сохранять ей верность до тех пор, пока они не соединятся вновь. Следующей ночью Шагерстрём увидел свою умершую жену во сне и проснулся, полный прежней нежности к ней. Опасения, пробудившиеся в нем по пути из церкви, показались ему излишними. Его любовь жива, и нечего бояться, что скромная девушка, которую он намерен взять в жены, способна вытеснить из его души образ усопшей. Ему необходима дельная и умная хозяйка, которая скрасила бы его одиночество и вела бы его дом.

Среди его родни не было никого подходящего, а нанимать домоправительницу ему не хотелось. Он не видел иного выхода, кроме женитьбы.

В тот же день он выехал расфранченный из дома и направился в пасторскую усадьбу. Все эти годы он жил столь уединенно, что ни разу не был у пастора с визитом, и когда большое ландо с четверкою вороных въехало в ворота усадьбы, в доме поднялся переполох. Его тотчас же ввели в парадную гостиную на верхнем этаже, и здесь он некоторое время сидел, беседуя с пастором и пасторшей. Шарлотта Лёвеншёльд уединилась в своей комнате, но через некоторое время пасторша сама пришла к ней и попросила пойти в гостиную занять гостя. Приехал заводчик Шагерстрём, и ему скучно будет сидеть с двумя стариками.

Пасторша была в некоторой ажитации и в приподнятом настроении. Шарлотта в изумлении посмотрела на нее, но ни о чем не спросила. Она сняла с себя передник, окунула пальцы в воду, пригладила ими волосы и надела чистый воротничок. Затем она последовала за пасторшей, но с порога вернулась и снова надела передник.

Она вошла в гостиную и поздоровалась с Шагерстрёмом; ее пригласили сесть, и сразу же вслед за этим пастор произнес в честь ее небольшую речь. Он был весьма многословен и долго распространялся о радости и счастье, которые она принесла в его дом. Она была

вместо дочери ему и его жене, и они ни за что не желали бы расстаться с ней. Но когда такой человек, как господин Густав Шагерстрём, хочет взять ее в жены, они не вправе думать о себе и советуют ей принять это предложение; лучшего она едва ли могла бы ожидать.

Пастор ни словом не обмолвился о том, что она уже обручена с его помощником. И он, и пасторша всегда были против этой помолвки и от всего сердца желали, чтобы она расстроилась. Столь бедной девушке, как Шарлотта, не следует связывать свою судьбу с человеком, который решительно отказывается думать о приличном доходе. Шарлотта Лёвеншёльд выслушала все это, не сделав ни единого движения, и пастор, желая дать ей время приготовить подобающий ответ, произнес пышный панегирик Шагерстрёму, сообщив о его весьма высоких достоинствах: о его уме, добродетельном образе жизни и доброте к своим служащим.

Пастор слышал о нем столь много лестного, что, хотя господин Шагерстрём впервые наносит ему визит, он давно уже считает его своим другом и рад будет передать в его руки судьбу своей молодой родственницы.

Шагерстрём все это время сидел, наблюдая за Шарлоттой, чтобы увидеть, какое впечатление произвело на нее его сватовство. Он заметил, что она выпрямилась и откинула голову. Затем на щеках ее выступила краска, глаза потемнели и сделались густо-синими, а верхняя губка приподнялась в несколько надменной усмешке. Шагерстрём был совершенно ошеломлен. Шарлотта, какою он видел ее теперь, была совершенная красавица, и притом красавица отнюдь не робкая и не покорная.

Его предложение, бесспорно, произвело на нее сильное впечатление, но была ли она рада ему или нет — этого он понять не мог.

Впрочем, ему недолго пришлось оставаться в неведении. Едва только пастор окончил свою речь, как заговорила Шарлотта Лёвеншёльд.

— Не знаю, слышали ли вы, господин Шагерстрём, о том, что я помолвлена? — спросила она.

— Да, конечно, — начал Шагерстрём, но больше ничего не успел прибавить, потому что она продолжала:

— Как же в таком случае господин Шагерстрём осмелился явиться сюда и просить моей руки?

Именно так она и сказала. Она употребила слово «осмелился», хотя говорила с самым богатым человеком в Корсчюрке.

Она забыла о том, что она всего лишь бедная компаньонка, и чувствовала себя богатой и гордой фрёкен Лёвеншёльд.

Пастор и пасторша едва не свалились со стульев от изумления. Шагерстрём также выглядел обескураженным, но, будучи человеком светским, он знал, как вести себя в затруднительных положениях.

Он подошел к Шарлотте Лёвеншёльд, взял ее руку обеими руками и тепло пожал.

— Любезная фрёкен Лёвеншёльд, — сказал он, — от-вет этот лишь еще более усилил расположение, кото-рое я питаю к вашей особе.

Он отвесил поклон пастору и пасторше и жестом отклонил их попытки сказать что-либо и проводить его к экипажу. Как они, так и Шарлотта подивились то-му достоинству, с которым отвергнутый жених поки-нул комнату.

ЖЕЛАНИЯ

Что могут значить человеческие желания? Если женщина и пальцем не пошевелит, чтобы сблизить-ся с тем, по ком тоскует, а только втайне желает этого, толку от этого не будет.

Если женщина сознает, что она ничтожна, безоб-разна и бедна, и понимает, что тот, кого ей хотелось бы завоевать, никогда о ней и не вспоминает, то она может тешить себя желаниями сколько душе угодно.

Если она к тому же добродетельная супруга, которая питает известную склонность к пиетизму и ни за какие блага в мире не соблазнится ничем предосудительным, то желания ни на йоту не изменят ее положения.

Если же она вдобавок стара, если ей целых тридцать два года, а тот, кто занимает ее мысли, не старше двадцати девяти, если она неловка, робка и у нее нет никаких надежд на успех в обществе, если она всего лишь жена органиста, то пусть себе упивается желаниями хоть с утра до вечера. Греха в том не будет никакого, потому что это ни к чему привести не может.

Если даже ей кажется, что желания других — легкие весенние ветерки, а ее желания — могучие, сокрушающие ураганы, способные сдвигать горы и переворачивать землю, — все равно, она ведь знает, что все это не более чем игра воображения. В действительности желания не имеют силы ни в настоящем, ни в будущем.

Пусть будет довольна тем, что она живет в деревне, у самой проезжей дороги, и может видеть его почти всякий день проходящим мимо ее окон; что она может слышать его проповеди по воскресеньям; что ее иногда приглашают в пасторскую усадьбу, и она может находиться с ним в одной комнате, хотя робость мешает ей сказать ему хотя бы слово.

А ведь между ними существует некоторая связь. Он, быть может, даже не подозревает об этом, а она не решается ему сказать, но тем не менее это так.

Ведь ее мать — та самая Мальвина Спаак, которая была когда-то экономкой в Хедебю, у баронов Лёвеншёльдов, родителей его матери. Лет тридцати пяти Мальвина вышла замуж за мелкого арендатора и с той поры без устали трудилась и хлопотала в собственном доме, так же как некогда в чужих домах. Но она не порывала связи с Лёвеншёльдами, они навещали ее, а она подолгу гостила в Хедебю, помогая осенью печь хлебы, а весной делать уборку комнат. Это несколько скрашивало ее существование. Своей маленькой дочери Мальвина часто рассказывала о том времени, когда она служила в экономках у Лёвеншёльдов, о покойном генерале, призрак которого бродил по замку, и о молодом бароне Адриане, вознамерившемся помочь усопшему предку обрести покой в могиле.

Дочь понимала, что мать была влюблена в молодого барона. Это чувствовалось по тому, как она опи-

сывала его. До чего он был добр и до чего хорош собою! И какое мечтательное выражение было в его глазах, какая неизъяснимая прелесть в каждом его движении.

Когда Мальвина рассказывала о нем, дочь думала, что она преувеличивает. Юноши, подобного тому, какому она описывала, и на свете не бывало.

И тем не менее она увидела его. Вскоре после того, как она вышла замуж за органиста и переехала в Корсчюрку, она однажды в воскресенье увидела его на церковной кафедре. Он был не бароном, а всего лишь пастором Экенстедтом, но доводился племянником тому барону Адриану, которого любила Мальвина Спаак. Он был так же хорош собою, так же юношески нежен, так же строен и изящен. Она узнала эти большие мечтательные глаза, о которых говорила мать, узнала эту кроткую улыбку.

При виде его ей почудилось, что это она силой своего желания вызвала его сюда. Ей всегда хотелось увидеть человека, который походил бы на образ, описанный матерью, и вот теперь она увидела его. Она, разумеется, знала, что желания не обладают никакой силой, и все же его появление здесь показалось ей удивительным.

Он не обращал на нее ни малейшего внимания и к исходу лета обручился с этой гордячкой Шарлоттой Лёвеншёлд. Осенью он вернулся в Упсалу для продолжения занятий. Она была убеждена, что он навсегда исчез из ее жизни. Он никогда не вернется, как бы сильно она этого ни желала.

Но спустя пять лет, однажды в воскресенье, она снова увидела его на церковной кафедре. И снова ей почудилось, что это она силой своего желания вызвала его сюда. Сам же он не давал ей ни малейшего повода так думать. Он по-прежнему не обращал на нее никакого внимания и все еще был помолвлен с Шарлоттой Лёвеншёлд.

Она никогда не желала зла Шарлотте. В этом она могла бы поклясться на Библии. Но иногда ей хотелось, чтобы Шарлотта влюбилась в кого-нибудь другого или

чтобы какие-нибудь богатые родственники пригласили ее в длительное путешествие за границу, так, чтобы она приятным и безболезненным способом была разлучена с молодым Экенстедтом.

Будучи женой органиста, она время от времени получала приглашения в дом пастора, и ей случилось находиться там в тот раз, когда мимо проехал Шагерстрём и Шарлотта сказала, что не откажет ему, если он к ней посватается.

С той самой минуты она страстно желала, чтобы Шагерстрём посватался к Шарлотте, и в этом не было ничего дурного. Ведь желания все равно ничего не значат.

Ибо если бы желания имели силу, все на свете было бы по-иному. Ведь чего только не желают люди! Как много хорошего желают они себе! Сколько людей желают избавить себя от грехов и болезней! Сколько людей желают избежать смерти! Нет, она знает наверняка, что желать никому не возбраняется, потому что желания не имеют никакой силы.

Тем не менее, однажды в воскресенье, погожим летним днем, она увидела, что Шагерстрём явился в церковь и выбрал место, откуда он мог хорошо видеть Шарлотту, сидевшую на пасторской скамье. И она пожелала, чтобы Шагерстрём нашел Шарлотту красивой и привлекательной. Она от всей души желала этого. Она не видела ничего дурного в том, что желает Шарлотте богатого мужа.

После того, как она увидела Шагерстрёма в церкви, у нее весь день было предчувствие, что теперь следует ожидать каких-то событий. Всю ночь она провела точно в лихорадке, думая о том, что же теперь будет. Это же чувство не покидало ее и все утро следующего дня. Она не в силах была ничем заняться, просто сидела сложа руки у окна и ждала.

Она предполагала, что увидит Шагерстрёма, проезжающего мимо ее окон, но случилось нечто еще более необыкновенное.

В конце утра, часов этак в одиннадцать-двенадцать, к ней с визитом явился Карл-Артур.

Надо ли говорить, что она была и поражена и обрадована, но в то же время совершенно потерялась от смущения.

Она не помнила, как поздоровалась с ним, как пригласила его войти. Но, как бы то ни было, вскоре он уже сидел в самом лучшем кресле ее маленькой гостиной, а она сидела напротив, не сводя с него глаз.

Ей ни разу еще не доводилось видеть его так близко, и она не представляла себе, что он выглядит таким юным. Она ведь была осведомлена обо всем, что касалось его семейства, и знала, что он родился в 1806 году и что, стало быть, ему теперь двадцать девять. Но никто не дал бы ему этих лет.

Он объяснил ей со свойственной ему пленительной простотой и серьезностью, что лишь недавно из письма матери узнал о том, что она дочь той самой Мальвины Спаак, которая была добрым другом и Провидением для всех Лёвеншёльдов. Он сожалеет, что не знал этого прежде. Ей бы следовало рассказать ему об этом.

Она безмерно обрадовалась, узнав, отчего он до сих пор не удостоивал ее вниманием.

Но она ничего не умела ни сказать, ни объяснить. Она лишь пробормотала несколько невразумительных слов, которых он, должно быть, даже не понял. Он взглянул на нее с некоторым изумлением. Должно быть, ему трудно было представить себе, что старая женщина способна от смущения лишиться дара речи.

Точно для того, чтобы дать ей время опомниться, он заговорил о Мальвине Спаак и о Хедебю. Он коснулся также истории о призраках и о роковом перстне.

Он сказал, что едва ли можно верить всем подробностям, но что, по его мнению, во всем этом скрыт глубокий смысл. В его глазах перстень является символом привязанности к земным благам, которая держит душу в плену, препятствуя ей войти в Царство Божье.

Вообразите только! Он сидит перед ней, он смотрит на нее со своей чарующей улыбкой, он беседует с нею просто и доверительно, словно со старым другом! Она едва не задохнулась от избытка счастья.

Он, должно быть, привык не получать ответа, когда приходил утешать и ободрять страждущих и бедняков; и потому продолжал говорить без устали.

Он поведал ей, что беспрестанно думает о словах Иисуса, обращенных к богатому юноше. Он убежден, что наипервейшая причина всех бед человеческих кроется в том, что люди возлюбили сотворенное Богом больше, нежели Творца.

Хотя она все еще не произносила ни слова, однако в том, как она его слушала, было, очевидно, нечто поощрявшее его к дальнейшей откровенности. Он признался, что не помышляет о высоком духовном сане. Ему не нужен большой приход с большим домом, большим земельным наделом, с толстыми церковными книгами. Со всем этим хлопот не оберешься. Он мечтает о маленьком приходе, где у него будет больше досуга, чтобы заботиться о спасении души. Жилищем его будет скромная хижина, но ему хочется, чтобы она находилась где-нибудь в живописном месте, на березовом пригорке, неподалеку от озера. А что до жалованья, то ему нужно лишь столько, чтобы прокормиться.

Она понимала, что таким образом он намерен указать людям верный путь к истинному счастью. Благочестивый восторг охватил ее душу. Никогда еще не встречала она человека столь юного и чистого. Ах, как все должны любить его!

Но тут же ей пришло в голову, что слова его противоречат тому, что она совсем недавно услышала в доме пастора, и она захотела рассеять свое недоумение. Она сказала, что, должно быть, ослышалась, но что, когда она на днях была в пасторской усадьбе, невеста его говорила, будто он намерен искать места учителя гимназии.

Он вскочил со стула и принялся расхаживать взад и вперед по маленькой гостиной.

Шарлотта так сказала? Уверена ли она, что Шарлотта сказала именно это? Он спрашивал с такой горячностью, что она оробела, однако ответила со всей почтительностью, что, насколько ей помнится, Шарлотта сказала именно это.

Кровь бросилась ему в голову. Гнев с каждой минутой все сильнее разгорался в нем.

Она до того испугалась, что готова была упасть к его ногам и молить о прощении. Она и не подозревала, что эти слова, сказанные о Шарлотте, могут столь сильно задеть его. Что ей сказать, чтобы вернуть его доброе расположение? Как успокоить его?

Среди этого мучительного смятения она вдруг услышала цокот копыт и стук колес и по привычке взглянула в окно. Это проехал Шагерстрём, но она до такой степени занята была Карлом-Артуром, что даже не задалась вопросом, куда направляется богатый заводчик. А Карл-Артур и вовсе не заметил его. Он продолжал расхаживать по комнате в сильнейшем гневе.

Затем он приблизился к ней и протянул руку, чтобы проститься, и она была ужасно разочарована тем, что он покидает ее так скоро. Она готова была откусить себе язык за то, что с него сорвались слова, столь сильно уязвившие Карла-Артура.

Но делать было нечего. Ей не оставалось ничего иного, как протянуть руку и проститься с ним. Ей не оставалось ничего иного, как молча отпустить его.

Но тут, с горя, в глубоком отчаянии, она склонилась и поцеловала его руку.

Он поспешно отдернул руку и застыл на месте, с изумлением глядя на нее.

— Я хотела только попросить прощения, — пролепетала она.

Он заметил в ее глазах слезы и, смягчившись, счел нужным дать объяснение:

— Представьте себе, фру Сундлер, что вы по той или иной причине надели на глаза повязку, ничего не видите вокруг и дали вести себя другому человеку. Что бы вы почувствовали, если бы повязка вдруг упала с ваших глаз и вы увидели бы, что этот человек, ваш друг, ваш поводырь, которому вы доверяли более, чем себе, привел вас на край бездны, и стоило вам сделать всего лишь один шаг, как вы рухнули бы вниз? Разве не поднялся бы у вас в душе целый ад?

Он проговорил все это пылко и взволнованно и, не дожидаясь ответа, ринулся к двери.

Тее Сундлер показалось, что, выбежав на крыльцо, он вдруг остановился. Она не знала почему. Может, он вспомнил, каким радостным и беспечным полчаса назад входил в этот дом, который теперь покидал в гневе и отчаянии. Как бы то ни было, она поспешила выйти, чтобы убедиться, вправду ли он стоит на крыльце.

Едва завидев ее, он заговорил. Душевное волнение придало новое направление его мыслям, и он рад был появлению слушательницы.

— Я смотрю на эти розы, которыми вы украсили дорожку к вашему дому, любезная фру Сундлер, и спрашиваю себя, можно ли отрицать, что нынешнее лето — самое чудесное из всех, какие были на моей памяти. Нынче у нас конец июля, но разве не была бесподобной вся минувшая часть лета? Разве не стояли все это время долгие и ясные дни, гораздо более долгие и ясные, чем в прежние годы? Да, разумеется, жара была сильная, но она никогда не угнетала, потому что воздух большей частью охлаждался свежим ветерком. И земля не страдала от засухи, как это обычно бывает жарким летом, потому что почти каждую ночь в течение нескольких часов шел дождь. А как пышно разрослось все вокруг! Видели ли вы когда-либо деревья, отягченные такой массой листьев? Видели ли вы когда-либо клумбы, украшенные такими роскошными цветами? Ах, я готов утверждать, что никогда еще земляника не была столь сладкой, птичье пение — столь звонким и люди — столь падкими до наслаждений, как нынче летом.

Он умолк на мгновение, чтобы перевести дух, но Тее Сундлер остерегалась проронить хотя бы слово, боясь помешать ему. Она вспомнила свою мать. Ей стало понятно, что чувствовала Мальвина Спаак, когда молодой барон отыскивал ее в поварне или в молочной и изливал перед нею душу.

Молодой пастор продолжал:

— По утрам, в пять часов, когда я поднимаю шторм, я вижу вокруг лишь тучи да туман. Дождь барабанит в окно, хлещет из водосточной трубы, цветы и травы

гнутся под его струями. Вся окрестность заполнена тучами, столь отягченными влагой, что кажется, будто они волочатся по земле. «Кончились погожие дни, — говорю я себе. — А может, это к лучшему».

Но хотя я почти убежден, что дождь зарядил на весь день, я не отхожу от окна и жду, что будет дальше. И вот ровно в пять минут шестого капли перестают барабанить в окно. Дождевые струи еще некоторое время хлещут из трубы, но вскоре затихают. Посреди небосвода, на том месте, где должно показаться солнце, в тучах открывается просвет, и целый сноп лучей стремительно низвергается на окутанную туманом землю. И тотчас же серая пелена дождя, висящая над холмами и на горизонте; превращается в голубоватую дымку. Капли медленно стекают с травинки на землю, и цветы поднимают робко поникшие головки. Наше маленькое озеро, кусочек которого виден из моего окна, до этой минуты казалось угрюмым и серым, но теперь оно вдруг начинает искриться, точно целая стая золотых рыб всплыла на его поверхность. И, очарованный этой красотой, я распахиваю окно, всей грудью вдыхаю воздух, источающий свежесть и невиданно сладкое благоухание, и восклицаю: ах, Боже, мир, сотворенный Тобою, чересчур прекрасен!

Молодой пастор умолк, чуть заметно улыбнулся и слегка пожал плечами. Он, вероятно, решил, что Тея Сундлер удивили его последние слова, и поторопился объяснить их.

— Да, — повторил он, — именно это я и хотел сказать. Я опасался, что дивное лето прельстит меня земными радостями. Много раз желал я, чтобы благодатная погода сменилась зноем и засухой, грозами с молнией и громом; я желал, чтобы наступили дождливые дни и студёные ночи, как это часто бывало в иные годы.

Тея Сундлер жадно впитывала в себя каждое его слово. К чему он ведет свою речь? Что он хочет сказать? Этого она не знала, но лишь испуленно желала, чтобы он не умолкал, чтобы она могла как можно дольше упиваться звуками его голоса, его красноречием, выразительной игрой его лица.

— Понимаете ли вы меня?— воскликнул он. — Но нет, природа, видно, не имеет над вами силы. Она не говорит с вами таинственным и властным языком. Она никогда не спрашивает вас, отчего не приемлете вы с благодарностью ее добрые дары, отчего не берете счастье, лежащее у вас под руками, отчего не обзаводитесь вы своим домом и не вступаете в брак с возлюбленной своего сердца, как это делают все живые создания в нынешнее благословенное лето.

Он снял шляпу и провел рукой по волосам.

— Это изумительное лето, — продолжал он, — оказалось в союзе с Шарлоттой. Видите ли, это всеобщее упоение, эта нега опьянили меня. Я бродил, точно слепой. Шарлотта видела, как растет моя любовь, мое томление, мое желание соединиться с ней.

Ах, вы не знаете... Каждое утро в шесть часов я выхожу из флигеля, где я живу, и отправляюсь в пасторский дом пить кофе. В большой светлой столовой, в распахнутые окна которой струится свежий утренний воздух, меня встречает Шарлотта. Она весела и щебечет, как птичка. Мы пьем кофе совсем одни; ни пастора, ни пасторши с нами не бывает.

Вы, может быть, думаете, что Шарлотта пользуется случаем и заводит речь о нашем будущем? Вовсе нет. Она говорит со мною о моих больных, о моих бедняках, о тех мыслях в моей проповеди, которые особенно поразили ее. Она представляется мне совершенно такою, какова должна быть жена священника. Лишь иногда, в шутку, как бы мимоходом заговаривает она о должности учителя. День ото дня она становится мне все дороже. И когда я возвращаюсь к своему письменному столу, я не в состоянии работать. Я мечтаю о Шарлотте. Я уже описывал вам нынче тот образ жизни, какой хочу вести. И я мечтаю о том, что моя любовь поможет Шарлотте освободиться от мирских оков и она последует за мною в мою скромную хижину.

Услышав это его признание, Тея Сундлер не могла удержаться от восклицания.

— Да, разумеется, — сказал он. — Вы правы. Я был слеп. Шарлотта привела меня на край бездны. Она до-

жидалась минуты слабости, чтобы вырвать у меня обещание занять место учителя. Она видела, как летняя нега все более побуждала меня к беспечности. Она была столь уверена в достижении своей цели, что хотела предупредить вас и всех других о том, что я намерен изменить свое жизненное поприще. Но Господь уберег меня.

Он сделал шаг к Тее Сундлер. Он, как видно, прочел в ее лице, что она упивается его словами, что она испытывает счастье и восторг. И, должно быть, мысль о том, что его порожденное страданием красноречие доставляет ей радость, вывела его из себя.

— Не думайте, однако, что я благодарен вам за то, что вы мне сказали! — выкрикнул он.

Тея Сундлер содрогнулась от ужаса. Он сжал кулаки и потряс ими перед ее лицом.

— Я не благодарю вас за то, что вы сняли повязку с моих глаз. Не радуйтесь тому, что вы сделали. Я ненавижу вас за то, что вы не дали мне низринуться в бездну. Я не желаю больше видеть вас!

Он повернулся к ней спиной и пробежал по тропинке мимо ее красивых роз к проселочной дороге. А Тея Сундлер вернулась в гостиную и, вне себя от горя упав на пол, заплакала навзрыд.

В ПАСТОРСКОМ САДУ

Если идти скорым шагом, каким шел Карл-Артур, то короткий путь от деревни до усадьбы мог занять не более пяти минут. Но за эти пять минут в сознании Карла-Артура родилось множество благородных и суровых слов, которые он намерен был высказать невесте при первой же встрече.

— Да, да! — бормотал он. — Час настал! Ничто не остановит меня. Сегодня между нами все должно решиться. Ей придется понять, что, как бы сильно я ни любил ее, ничто не принудит меня домогаться тех мирских благ, к которым ее влечет. Я должен служить Богу, у меня нет выбора. Я скорее вырву ее из своего сердца.

Он ощутил в себе гордую уверенность. Он чувствовал, что сегодня, как никогда прежде, подвластны ему слова, способные уничтожить, растрогать, убедить. Бурное волнение потрясло все его существо и распахнуло в его душе дверь, ведущую в сокровищницу, о существовании которой он доселе и не подозревал. Стены этой сокровищницы увешаны были пышными гроздьями и цветущими ветвями. И гроздья, и ветви эти были слова, благородные, возвышенные, совершенные. Ему оставалось лишь войти и взять их. Все это принадлежало ему. Какое богатство! Какое неслыханное богатство!

Он громко рассмеялся. Прежде он с превеликим трудом сочинял свои проповеди, мучительно подбирая слова. А между тем в душе его был скрыт целый клад!

Что до Шарлотты, то с ней все будет иначе. По правде говоря, до сих пор она пыталась руководить им. Но теперь все изменится. Он будет говорить, она будет слушать. Он будет вести ее, она будет следовать за ним. Отныне она будет с таким же благоговением ловить каждое его слово, как эта бедняжка, жена органиста.

Ему предстоит борьба, но ничто не заставит его отступить.

— Я скорее вырву ее из своего сердца! — повторял он. — Я вырву ее из своего сердца!

Подходя к пасторской усадьбе, он увидел, как ворота ее открылись и элегантный экипаж, запряженный четверкою вороных, выехал со двора.

Он понял, что заводчик Шагерстрём был с визитом у пастора. Он вспомнил о словах, оброненных Шарлоттой на званом вечере в начале лета. Точно молния, поразила его мысль о том, что Шагерстрём приезжал в пасторскую усадьбу, чтобы сделать предложение его невесте.

Мысль была нелепая, но сердце его болезненно сжалось. Разве не окинул его богатый заводчик в высшей степени странным взглядом, когда экипаж сворачивал на проезжую дорогу? Разве не было в этом взгляде иронического любопытства и вместе с тем известной доли сочувствия?

Сомнений быть не могло. Он угадал. Но удар был слишком жесток. Сердце остановилось. В глазах потемнело. У него едва достало сил дотащить до калитки.

Шарлотта ответила согласием. Он лишится ее. Он умрет от отчаяния.

Сокрушенный горем, он вдруг увидел Шарлотту, которая вышла из дома и поспешно направилась к нему. Он видел краску на ее лице, блеск в ее глазах, торжествующую усмешку на губах. Она шла, чтобы сказать ему, что выходит замуж за самого богатого человека в Корсчюрке.

О, какое бесстыдство! Он топнул ногой и сжал кулаки.

— Не приближайся ко мне! — закричал он.

Она остановилась. Притворяется она, или изумление ее неподдельно?

— Что с тобой? — спокойно спросила она.

Он собрал все свои силы и выкрикнул:

— Тебе это должно быть известно лучше, чем кому бы то ни было. Зачем приезжал Шагерстрём?

Когда Шарлотта поняла, что он догадался о причине визита заводчика, она приблизилась к нему вплотную. Она подняла руку. Она готова была ударить его.

— Ах, вот как! Стало быть, и ты тоже думаешь, что ради горсти золота я способна изменить своему слову!

Затем она окинула его взглядом, полным презрения, повернулась к нему спиной и пошла прочь от него.

Из ее слов он понял однако, что наихудшие его опасения не подтвердились. Сердце вновь застучало, силы вернулись к нему, и он смог пойти за нею следом.

— Но он все-таки сделал тебе предложение? — спросил он.

Она не удостоила его ответом. Вскинув голову и гордо выпрямившись, она продолжала удаляться от него. Но направилась она не к дому, а свернула на узкую тропинку за густым кустарником, ведущую в глубь сада.

Карл-Артур понял, что она вправе чувствовать себя оскорбленной. Если она отказала Шагерстрёму, то поступок ее достоин восхищения. Он попытался оправдаться:

— Посмотрела бы ты, с каким видом он проехал мимо меня. По нему нельзя было сказать, что он получил отказ.

Она лишь еще строптивее вскинула голову и ускорила шаг. Отвечать ей было незачем. Всем своим видом она как бы говорила: «Не подходи! Я хочу побыть здесь одна».

Но он, все яснее и яснее понимая всю самоотверженность ее поступка, не отставал от нее.

— Шарлотта! — сказал он. — Любимая Шарлотта!

Но слова эти не тронули ее. Она продолжала удаляться от него в глубь сада.

Ах, этот сад! Этот сад! Шарлотта не могла бы избрать места, более богатого воспоминаниями, дорогами для них обоих.

Сад был разбит на старинный французский манер, с перекрещивающимися дорожками, обсаженными по обочинам пышными кустами сирени высотой в человеческий рост. То тут, то там в этих зарослях открывались небольшие просветы, сквозь которые можно было проникнуть в маленькую, тесную беседку с простой дерновой скамьей или на подстриженную лужайку с одиноким розовым кустом. Сад не был обширен, он, быть может, даже не был особенно красив, но каким чудесным убежищем был он для тех, кто искал уединения.

И пока Карл-Артур шел за Шарлоттой, а она удалялась прочь от него, не достаивая его ни единым взглядом, в них обоих оживали воспоминания о тех счастливых часах, которые они провели здесь, когда она была его милой, о часах, которые, быть может, никогда больше не вернутся.

— Шарлотта! — снова произнес он страдальчески.

Должно быть, в голосе его было что-то, заставившее ее прислушаться. Она не обернулась, но напряженность в осанке исчезла. Она остановилась и повернула голову так, что он почти мог видеть ее лицо.

В ту же секунду он очутился подле нее, прижал ее к себе и поцеловал.

Затем он увлек ее за собой в беседку с дерновой скамьей. Здесь он бросился перед ней на колени и стал

бурно восторгаться ее верностью, ее любовью, ее мужеством.

Она, казалось, была удивлена его пылом, его восторженностью. Она слушала его почти с недоверием, и он понимал почему. Обычно он бывал с нею крайне сдержан. Она олицетворяла в его глазах мирские радости и соблазны, которых ему надлежало остерегаться.

Но в этот счастливейший час, когда он узнал, что ради него она отвергла соблазн огромного богатства, ему незачем было более обуздывать себя. Она стала рассказывать ему о сватовстве Шагерстрёма, но он едва слушал ее, то и дело прерывая ее рассказ поцелуями.

Когда она умолкла, он снова принялся целовать ее, а потом они сидели в полном молчании, обняв друг друга.

Куда же девались гордые и суровые слова, которые он намеревался высказать ей? Выветрились из головы, изгладились из памяти. Они не нужны были больше. Карл-Артур знал теперь, что его любимая не может быть ему опасна. Она не была рабой мамоны, как он того опасался. Ведь подумать только, какое огромное богатство отвергла она сегодня, дабы остаться ему верной!

Шарлотта покоилась в его объятиях, и легкая улыбка играла на ее губах. Она казалась счастливой, счастливее, чем когда-либо. О чем она думала? Может быть, в эти минуты она говорила себе, что ей не надо ничего, кроме его любви; быть может, она и думать бросила об этой должности учителя, которая едва не разлучила их.

Она молчала, но он как будто слышал ее мысли: «Будем же наконец вместе! Я не ставлю никаких условий; мне не нужно ничего, кроме твоей любви».

Но неужели он допустит, чтобы она превзошла его своим благородством? Нет, он доставит ей величайшую радость. Он шепнет ей, что теперь, когда он постиг ее душу, он наконец решился. Теперь он попытается обеспечить им обоим приличное содержание.

О, какое блаженное молчание! Слышала ли она то, что он произнес про себя? Слышала ли она обещание, которое он дал ей?

Он сделал над собою усилие, чтобы облечь свои мысли в слова.

— Ах, Шарлотта, — начал он, — смогу ли я когда-нибудь воздать тебе за то, что ты отвергла сегодня ради меня?

Она сидела, положив голову ему на плечо, и он не мог видеть ее лица.

— Милый друг мой, — услышал он ее ответ. — Мне не за чем тревожиться. Я убеждена, что ты в полной мере вознаградишь меня за это.

«Вознаградишь»? Что разумеет она под этим словом? Хочет ли она сказать, что не требует иной награды, кроме его любви? Или имеет в виду что-нибудь другое? Отчего она потупила взор? Отчего не смотрит ему в глаза? Неужто она полагает его столь незавидным женихом, что требует награды за свою верность? Он как-никак пастор, доктор философии, сын почтенных родителей. Он всегда стремился исполнять свой долг и вел беспорочную жизнь. Он начал уже добиваться признания как проповедник. Так неужто отказ от Шагерстрёма и впрямь представляется ей столь великой жертвой?

Нет, нет, разумеется, ничего подобного она не думает. Ему не следует горячиться, он должен кротко и спокойно вывести ее мысли.

— Что ты разумеешь под вознаграждением? Я ведь решительно ничего не могу дать тебе.

Она еще теснее прижалась к нему и шепнула ему на ухо:

— Ты слишком принижаешь себя, друг мой. Ты мог бы стать настоятелем собора или даже епископом.

Он отпрянул от нее так стремительно, что она едва не упала.

— Так ты, стало быть, потому и отказала Шагерстрёму? Ты надеешься, что я стану настоятелем собора или епископом?

Шарлотта взглянула на него ошеломленно, как человек, пробудившийся от грез. Да, разумеется, она гре-

зила, она была в полудреме и во сне открыла самые сокровенные свои мысли. Она молчит. Неужто она думает, что этот вопрос может остаться без ответа?

— Я спрашиваю тебя: ты из-за этого отказала Шагерстрёму? Ты надеешься, что я стану настоятелем или епископом?

Тут лицо ее вспыхнуло. Ага, кровь Лёвеншёльдов выграла в ней! Но она все еще не достаивала его ответом.

Однако он должен получить ответ. Должен!

— Разве ты не слышишь? Я спрашиваю тебя: ты затем отказала Шагерстрёму, что надеешься, что я стану настоятелем собора или епископом?

Она вскинула голову, глаза ее сверкнули. Тонком губочайшего презрения она бросила:

— Разумеется.

Он вскочил. Он не мог долее сидеть рядом с нею. Ответ ее причинил ему нестерпимую боль, но он не желал обнаруживать ее перед подобным созданием. Однако ему не хотелось бы впоследствии упрекать себя в горячности. Он сделал еще одну попытку кротко и ласково поговорить с этой заблудшей душой.

— Милая Шарлотта, я безмерно благодарен тебе за твоё прямодушие. Теперь я понял, что положение в свете для тебя важнее всего. Беспорочная жизнь, стремление следовать по стопам учителя нашего Иисуса — все это не имеет в твоих глазах никакой цены.

Слова спокойные, дружелюбные. Он напряженно ждал ее ответа.

— Милый Карл-Артур, по-моему, я вполне способна оценить твои достоинства, хотя и не падаю перед тобой ниц, как дамы в нашем приходе.

Ответ ее показался ему явной дерзостью. Скрытая досада прорвалась наружу.

Шарлотта поднялась, чтобы уйти. Но он схватил ее за руку и удержал. Этот разговор должно довести до конца.

Слова Шарлотты о женщинах из прихода навели его на мысль о фру Сундлер. Он вспомнил ее рассказ,

и гнев вспыхнул в нем с новой силой. Внутри у него все кипело.

Волнение отворило дверь в его душе, ведущую в сокровищницу, где гроздьями висели страстные, убедительные слова.

Он заговорил горячо и красноречиво. Он укорял ее в пристрастии к мирскому, в гордыне и тщеславии.

Но Шарлотта больше не слушала его.

— Как бы дурна я ни была, — мягко напомнила она, — я все-таки отказала сегодня Шагерстрёму.

Он содрогнулся перед ее бесстыдством.

— Боже, что это за женщина! — вскричал он. — Ведь только что она созналась, что отказала Шагерстрёму лишь оттого, что сочла более лестным быть замужем за епископом, нежели за владельцем завода.

Между тем в душе его зазвучал негромкий успокаивающий голос. Он призывал его поостеречься. Разве Карлу-Артуру не известно, что Шарлотта принадлежит к тому сорту людей, которые не снисходят до того, чтобы оправдываться? Она и не подумает разуверять того, кто дурно о ней судит.

Но Карл-Артур отмахнулся от этого негромкого успокаивающего голоса. Он не верил ему. Каждое произнесенное Шарлоттой слово обнаруживало все новые глубины ее низости. Вы послушайте только, что она говорит!

— Милый Карл-Артур, не принимай всерьез моих слов о том, что тебя ждет большое будущее. Это была всего-навсего шутка. Я, разумеется, не верю в то, что ты можешь стать настоятелем собора или епископом.

Он уже был достаточно оскорблен и взбешен, и теперь этот новый выпад окончательно заглушил успокаивающий голос в его душе.

Кровь зашумела у него в ушах. Руки задрожали. Эта несчастная лишила его самообладания. Она довела его до безумия.

Он сознавал, что мечется перед нею взад и вперед. Он сознавал, что голос его срывается на крик. Он сознавал, что размахивает руками и что подбородок у него дрожит. Но он и не делал попыток совладать с со-

бою. Его отвращение к ней было неопишимо. Оно не могло быть выражено словами, оно должно было проявиться в жестах.

— Мне открылась теперь вся глубина твоей низости! — вскричал он. — Теперь я понял, какова ты. Никогда, никогда, никогда не женюсь я на такой, как ты! Это было бы моей погибелью!

— Кое в чем я все же была тебе полезна, — сказала она. — Ведь это меня ты должен благодарить за то, что стал магистром.

С той минуты, как она это произнесла, он почувствовал, что отвечает ей не по своей воле. Не то чтобы он не сознавал или не был согласен со своими словами, но они вырывались у него внезапно и неожиданно, будто кто-то другой вкладывал их ему в уста.

— Вот как! — воскликнул он. — Теперь она хочет напомнить мне, что ждала меня пять лет и что, следовательно, я обязан жениться на ней. Но это не поможет. Я женюсь лишь на той, кого сам Бог изберет для меня.

— Не говори о Боге! — произнесла она.

Карл-Артур запрокинул голову и обратил взгляд к небу, точно читая в нем ответ.

— Да, да, пусть Бог изберет мне невесту. Первая незамужняя женщина, которая повстречается мне на дороге, станет мне женой!

Шарлотта вскрикнула. Она подбежала к нему.

— Но, Карл-Артур, послушай, Карл-Артур! — сказала она и попыталась схватить его за руку.

— Прочь от меня! — закричал он.

Но она не понимала еще всей силы его гнева. Она обняла его.

Он вдруг услышал, как вопль омерзения вырвался из его груди. Он схватил ее за руки и швырнул на деревянную скамью.

Затем он помчался прочь и скрылся у нее из глаз.

ДАЛЕКАРЛИЙКА

Когда Карл-Артур впервые увидел пасторскую усадьбу в Корсчюрке, расположенную близ проезжей

дороги, обсаженную высокими липами, окруженную зеленой оградой с внушительными столбами ворот и белой калиткой, между балясинами которой можно было разглядеть двор с круглой цветочной клумбой посредине, посыпанные гравием дорожки, продолговатый красный дом в два этажа, обращенный фасадом к дороге, и два одинаковых флигеля по обе его стороны, справа для пастора-адьюнта, слева для арендатора, — он сказал себе, что именно так должна выглядеть усадьба шведского священника: приветливо, мирно и вместе с тем респектабельно.

И с той поры всякий раз, когда Карл-Артур окидывал взором свежестриженные газоны, тщательно ухоженные цветники с ровными, симметричными рядами цветов, нарядно подчищенные дорожки, заботливо подрезанный дикий виноград, вьющийся вокруг низкого крыльца, длинные шторы на окнах, ниспадающие красивыми ровными складками, — все это неизменно вызывало у него все то же впечатление благополучия и достоинства. Он чувствовал, что всякий, кто живет в такой усадьбе, непременно должен вести себя благоразумно и мирно.

Никогда прежде не могло бы ему прийти в голову, что именно он, Карл-Артур Экенстедт, в шляпе, съехавшей набок, устремится однажды к белой калитке, беспорядочно размахивая руками и испуская короткие дикие возгласы. Затворив за собой калитку, он разразился безумным хохотом. Он, казалось, чувствовал, что дом и цветочные клумбы с изумлением смотрят ему вслед.

«Видели вы что-нибудь подобное? Что за странная фигура?» — шептались друг с другом цветы.

Удивлялись деревья, удивлялись газоны, удивлялась вся усадьба. Он, казалось, слышал, как они громко выражают свое удивление.

Может ли быть, чтобы сын очаровательной полковницы Экенстедт, самой просвещенной женщины в Вермланде, которая сочиняет шуточные стихи не хуже самой фру Леннгрэн, — может ли быть, чтобы он бежал из пасторского сада, точно из гнездилища зла и порока?

Может ли быть, чтобы тихий, благонаравный, отрочески юный пастор-адъюнкт, который говорит столь прекрасные, цветистые проповеди, выбежал за ворота усадьбы с красными пятнами на щеках, с искаженным от возбуждения лицом?

Может ли быть, чтобы священнослужитель из пасторской усадьбы в Корсчюрке, где живало не одно поколение благомыслящих и достойных служителей Божьих, стоял за калиткой, в твердом намерении выйти на дорогу и посвататься к первой же встреченной им незамужней женщине?

Может ли быть, чтобы молодой Экенстедт, получивший столь утонченное воспитание и выросший среди людей благородных, готов был сделать своей женой, подругой всей своей жизни, первую встречную?

Да знает ли он, что ему может повстречаться сплетница или бездельница, дура безмозглая или скряга, Улла-грязнуля или Озе-оса?

Да знает ли он, что пускается в самый опасный путь в своей жизни?

Карл-Артур постоял несколько мгновений у калитки, прислушиваясь к изумленному шелесту, который прошел от дерева к дереву, от цветка к цветку.

Да, он знал, что путь этот опасен и чреват последствиями. Но он знал также, что нынешним летом возлюбил земную жизнь больше, нежели Бога. Он знал, что союз с Шарлоттой Лёвеншёльд был бы пагубен для его души, и хотел воздвигнуть между ею и собой стену, которую она никогда не смогла бы разрушить.

И он почувствовал, что в тот миг, когда он вырвал из своего сердца любовь к Шарлотте, оно снова открылось для любви к Богу. Он хотел показать Спасителю, что любит Его превыше всего на свете и упоает на Него беспредельно. Оттого-то и хотел он, чтобы Христос сам выбрал ему жену. Он хотел показать, сколь безмерно доверие, которое он питает к Богу.

Он стоял у калитки, глядя на дорогу, и не чувствовал страха, но он знал, что в эту минуту выказывает величайшее мужество, какое только доступно человеку.

Он обнаруживал его тем, что всецело передал свою судьбу в руки Божьи.

Прежде чем отойти от калитки, он прочитал «Отче наш». И во время молитвы он почувствовал, как в нем все стихло. Он снова обрел спокойствие. Краска гнева сошла с его лица, подбородок больше не дрожал.

Однако, когда он зашагал по дороге к деревне — а он должен был это сделать, если желал повстречать людей, — опасения все еще мучили его.

Дойдя до конца пасторской усадьбы, он внезапно остановился. Жалкий, малодушный человек, живший в его душе, остановил его. Он вспомнил, что час назад, возвращаясь из деревни, повстречал на этом самом месте глухую нищенку Карин Юхансдоттер в изорванной шали, заплатах юбке и с большой сумой на спине. Она, правда, когда-то была замужем, но теперь уже много лет вдовела и, стало быть, могла вступить в брак.

Мысль о том, что именно она может попасться ему навстречу, остановила его.

Но он посмеялся над жалким, малодушным грешником, жившим в его душе, который возомнил, будто способен отвратить его от задуманного, и продолжал свой путь.

Несколько секунд спустя за его спиной послышался стук экипажа. Сразу же вслед за тем мимо него проехала двуколка, запряженная великолепным рысаком.

В коляске сидел один из самых могущественных и надменных горнозаводчиков здешнего края, старик, который владел столь многими рудниками и заводами, что почитался таким же богачом, как Шагерстрём. Рядом с ним сидела его дочь, и если бы они ехали с другой стороны, молодой пастор, в согласии со своим обетом, принужден был бы сделать могущественному богачу знак остановиться, чтобы попросить руки его дочери.

Нелегко предвидеть, каков был бы исход этого сватовства. Вполне мыслимо, что он получил бы удар кнутом по лицу. Горнозаводчик Арон Монссон привык выдавать своих дочерей за графов и баронов, а не за бедных пасторов.

И снова ощутил страх тот, прежний, грешный и малодушный человек, живший в его душе. Он убеждал его повернуть назад, он говорил, что затея слишком рискованная.

Но вновь рожденный мужественный человек Божий, который теперь также жил в нем, возвысил свой ликующий голос. Он был рад тому, что путь этот опасен. Он был рад, что может показать, сколь велики его вера и упование.

Справа от дороги высился довольно крутой песчаный бутор, склоны которого поросли молодыми сосенками, низкорослыми березами и кустами черемухи. Среди густых зарослей кто-то разгуливал, напевая песню. Карл-Артур не мог видеть поющего, но голос был ему хорошо знаком. Он принадлежал беспутной дочери содержателя постоянного двора, которая вешалась на шею всем парням подряд. Она была совсем близко от него. В любую минуту ей могло взбрести в голову свернуть на проезжую дорогу.

Невольно Карл-Артур постарался идти потише, чтобы шаги его не были слышны поющей девушке. Он даже оглядывался по сторонам, ища какой-либо возможности избежать встречи.

По другую сторону дороги раскинулся луг, и на нем паслось стадо коров. Но коровы были не одни, их доила женщина, которую он также узнал. Это была рослая, как мужик, скотница пасторского арендатора, у которой было трое пригульных детей. Все его существо содрогнулось от ужаса, но, шепча молитву, он продолжал свой путь.

Дочка содержателя постоянного двора напевала в рощице, а рослая скотница кончила доить коров и собралась идти домой. Но ни та, ни другая не вышли на дорогу. Он не встретил их, хотя видел и слышал их.

Жалкий, грешный человек в его душе приступил к нему с новой выдумкой. Он говорил, что Бог, верно, показал ему этих двух гуляющих женщин не для того, чтобы испытать его веру и мужество, а для того, чтобы предостеречь его. Может, он хотел показать ему все безрассудство и дерзость его поступка.

Но Карл-Артур заглушил в своей душе голос этого колеблющегося, слабого грешника и продолжал идти вперед. Неужто он свернет с дороги из-за такой малости? Неужто он доверяет собственному малодушию больше, нежели всемогущему Богу?

Наконец на дороге показалась женщина, которая шла прямо ему навстречу. Разминуться с ней он не мог.

Хотя она находилась еще довольно далеко от него, он разглядел, что это Элин Матса-торпаря, у которой было багровое родимое пятно через всю щеку. На мгновение он замер на месте. Мало того, что бедняжка была устрашающе безобразна. Она была, можно сказать, беднее всех в приходе, без отца и матери и с десятью беспомощными братишками и сестренками.

Он бывал в их убогой хижине, полной оборванных, грязных ребятишек, которых сестра тщетно пыталась накормить и одеть.

Он почувствовал, как холодный пот выступил у него на лбу, но, сжав руки, продолжал свой путь.

— Все это ради нее. Ради того, чтобы я мог помочь ей, — бормотал он.

Они быстро приближались друг к другу.

Он обрекал себя на истинное мученичество, но не хотел ни от чего уклоняться на этом пути. К этой бедной девушке он не питал того отвращения, какое вызывали в нем скотница и дочка содержателя постоялого двора. О ней он слышал только хорошее.

Меж ними оставалось уже не более двух шагов, но тут она свернула с дороги. Кто-то окликнул ее из лесной чащи, и она быстро исчезла в зарослях кустарника.

Лишь когда Элин Матса-торпаря вышла, таким образом, из игры, он почувствовал, какая невероятная тяжесть спала у него с плеч. Окрыленный, он зашагал вперед с высоко поднятой головой и преисполненный гордости, точно ему удалось пройти по воде и тем доказать силу своей веры.

— Бог со мной, — произнес он. — Он сопровождает меня на этом пути, Он простер надо мною Свою десницу.

Эта уверенность возвысила его и наполнила блаженством.

«Скоро появится настоящая, — подумал он. — Бог испытывал меня и увидел, что я не шучу. Я не уклонюсь с пути. Моя избранница уже близко».

Минуту спустя он миновал короткий отрезок дороги, отделяющей пасторскую усадьбу от деревни, и собрался уже свернуть на деревенскую улицу, как вдруг дверь одного из домов отворилась и из него вышла молодая девушка. Она миновала небольшой палисадник, который был разбит перед этим домом, так же как перед всеми другими жилищами в деревне, и вышла на дорогу прямо навстречу Карлу-Артуру.

Она появилась так внезапно, что, когда он заметил ее, между ними оставалось не более нескольких шагов. Он остановился как вкопанный и подумал: «Вот она! Не говорил ли я? Я чувствовал, что она вот-вот выйдет мне навстречу».

Затем он сложил руки и возблагодарил Бога за Его великую и всеблагую милость.

Девушка, повстречавшаяся ему, была не из местных. Она жила в одном из северных приходов Далеккарлии* и занималась торговлей вразнос. По обычаю своего края, она была одета в красное и зеленое, в белое и черное, и в Корсчюрке, где старинная народная одежда давно уже вышла из обихода, она выделялась ярким цветком. Впрочем, сама она была еще краше, чем ее одежда. Волосы ее вились вокруг красивого и довольно высокого лба, и черты лица отличались благородством. Но наибольшее впечатление производили ее глубокие печальные глаза и густые черные брови. Нельзя было не признать, что они до того хороши, что могли бы украсить какое угодно лицо. Вдобавок она была высокая и статная, не слишком тонкая, но хорошо сложена. В том, что она девушка крепкая и здоровая, можно было убедиться с первого взгляда. Она несла на спине большой черный кожаный мешок, полный товара, но, несмотря на это, шла не сгибаясь и двигалась так легко, будто вовсе не ощущала никакой тяжести.

Что до Карла-Артура, то он был прямо-таки ослеплен. Он говорил себе, что это само лето вышло ему на встречу. То самое жаркое, цветущее, яркое лето, какое выдалось в нынешнем году.

Если бы он мог изобразить его на картине, оно выглядело бы именно так.

Впрочем, если это и было лето, то не такое, которого следовало опасаться. Напротив. Сам Бог пожелал, чтобы он привлек его к своему сердцу и радовался его красоте.

Опасаться ему было нечего. Эта его невеста, хоть она была и красивой, и статной, явилась из отдаленной горной местности, из нищеты и убожества. Ей неведомы соблазны богатства и привязанность к земным благам, которые побуждают жителей долины забывать Творца ради сотворенного Им. Она, эта дочь нищеты, не колеблясь соединит свою судьбу с человеком, который хотел бы остаться на всю жизнь бедняком. Поистине неизреченна мудрость Божья. Бог знал, что́ ему требуется. Одним лишь мановением руки Он поставил на его пути женщину, которая была ему под пару больше всякой другой.

Молодой пастор был так поглощен своими мыслями, что не делал ни единого движения, чтобы приблизиться к красивой далекарлийке. Она же, заметив, что он пожирает ее взглядом, невольно рассмеялась.

— Ты уставился на меня, будто повстречал медведя.

И Карл-Артур тоже рассмеялся. Удивительно, до чего легко вдруг стало у него на сердце.

— Нет, — ответил он. — Вовсе не медведя думал я повстречать.

— Тогда, верно, лесовицу. Сказывают, как завидит ее человек, так до того одуреет, что и с места стронуться не может.

Она рассмеялась, обнажив ряд прекрасных, сверкающих зубов, и хотела пройти мимо. Но он поспешно остановил ее:

— Не уходи! Мне надо потолковать с тобой. Сядем здесь, у дороги!

Она удивленно поглядела на него, но подумала, что он, верно, хочет купить у нее кой-какие товары.

— Не развязывать же мне мешок посередине дороги! Но тут лицо ее озарила догадка.

— Да ты никак здешний пастор! То-то я гляжу, будто видела тебя вчера в церкви; ты там проповедь говорил.

Карл-Артур безмерно обрадовался тому, что она слышала его проповедь и знала, кто он такой.

— Да, разумеется, это я говорил проповедь. Но я, видишь ли, всего-навсего помощник пастора.

— Так ведь живешь-то ты все одно в пасторской усадьбе? Я в аккурат туда иду. Приходи на кухню и покунай хоть весь мешок разом.

Она надеялась, что теперь-то он пойдет восвояси, но он не двигался с места, преграждая ей дорогу.

— Я не собираюсь покупать твой товар, — сказал он. — Я хочу спросить тебя, не пойдешь ли за меня замуж.

Он выговорил эти слова напряженным голосом. Он чувствовал сильное волнение. Ему казалось, что весь окружающий мир — птицы, шелестящая листва деревьев, пасущееся стадо — сознает всю торжественность происходящего и все вокруг затихло в ожидании ответа молодой девушки.

Она быстро обернулась к нему, словно желая удостовериться, что он не шутит, но, впрочем, оставалась вполне равнодушной.

— Мы можем встретиться тут, на дороге, ввечеру, в десятом часу, — сказала она. — А теперь мне недосуг.

Она направилась к пасторской усадьбе, и он не удерживал ее долее. Он знал, что она вернется, и знал, что она ответит согласием. Разве не была она невестой, избранной для него Богом?

Сам он не расположен был возвращаться домой и садиться за работу. Он свернул к пригорку, который огибала проселочная дорога. Забравшись поглубже в заросли, чтобы никто не мог его увидеть, он бросился на землю.

Какое счастье! Какое неслыханное счастье! Каких опасностей он избежал! Сколько чудес произошло сегодня!

Он разом докончил со всеми своими затруднениями. Шарлотта Лёвеншёльд никогда не сможет сделать его рабом мамы. Отныне он будет жить согласно своим склонностям. Простая, бедная крестьянка, жена не станет препятствовать ему идти по стопам Иисуса. Ему представлялась маленькая, скромная хижина. Ему представлялась тихая, благостная жизнь. Ему представлялась полная гармония между его учением и его образом жизни.

Карл-Артур долго лежал, устремив взгляд на переплетение ветвей, сквозь которые пытались проникнуть солнечные лучи. Он чувствовал, как новая, счастливая любовь, подобно этим лучам, пытается проникнуть в его наболевшее, истерзанное сердце.

УТРЕННИЙ КОФЕ

I

Есть некая особа, в чьей власти было бы все уладить, если бы только она захотела. Но не слишком ли многого требуем мы от той, которая из года в год питала свое сердце одними лишь желаниями?

Ибо то, что желания человеческие могут влиять на миропорядок, доказать трудно. Но в том, что человек может совладать с собою, обуздать свою волю и усыпить совесть, никто сомневаться не станет.

Весь понедельник фру Сундлер казнилась тем, что своими необдуманноими словами о Шарлотте отпугнула от себя Карла-Артура. Подумать только, он был здесь, под ее крышей, он говорил с ней столь доверительно, он был таким милым, каким она не представляла себе его в самых пылких мечтах, а она по своему недомыслию больно уязвила его, и он сказал, что не желает ее больше видеть.

Она злилась на себя и на весь мир, и когда ее муж, органист Сундлер, попросил ее пойти с ним в церковь и спеть несколько псалмов, как они обычно делали летними вечерами, она отказала ему столь резко, что бедняга бросился вон из дома и нашел прибежище в трактире постоялого двора.

Это еще больше удручало ее, потому что она хотела бы быть безупречной и в глазах окружающих, и в своих собственных глазах. Она ведь знала, что органист Сундлер женился на ней только потому, что был без ума от ее голоса и желал всякий день слушать ее пение. И она всегда честно платила долг, ибо помнила, что лишь благодаря ему у нее был теперь собственный уютный домик, и она избавлена была от участи бедной гувернантки, вынужденной зарабатывать себе на пропитание. Но сегодня она не в силах была выполнить его просьбу. Если бы нынче вечером ее голос зазвучал в Божьем храме, то с уст ее слетали бы не благолепные и кроткие слова, но стенания и богохульства.

Впрочем, к ее великой и неопишуемой радости, вечером, часу в девятом, Карл-Артур снова явился к ней. Он вошел весело и непринужденно и спросил, не даст ли она ему поужинать. На лице ее, должно быть, отразилось удивление, и тогда он объяснил, что весь день спал в лесу. Он, должно быть, был крайне утомлен, потому что проспал не только обед, но и ужин, который в пасторской усадьбе подается на стол ровно в восемь. Быть может, в доме фру Сундлер найдется немного хлеба и масла, чтобы он мог утолить ужасный голод?

Фру Сундлер недаром была дочерью такой превосходной хозяйки, как Мальвина Спаак. Никто не мог бы сказать, что у нее в доме нет порядка. Она тотчас же принесла из кладовой не только хлеб и масло, но также яйца, ветчину и молоко.

От радости, что Карл-Артур возвратился и попросил у нее помощи как у старинного друга его семейства, она вновь воспрянула духом и решилась заговорить о том, сколь глубоко удручена она тем, что высказала ему нынче нечто, порочащее Шарлотту. Уж не подумал ли он, будто она хочет посеять рознь между ним и его невестой? Нет, она, разумеется, понимает, что поприще учителя также весьма благородное призвание, но ничего не может с собою поделать. Она всякий день молит Бога о том, чтобы магистр Экенстедт остался пастором в их деревне. Ведь в здешнем

захолустье так редко выпадает случай послушать настоящего проповедника.

Разумеется, Карл-Артур ответил ей, что если кому и следует просить прощения, то скорее ему самому. Да ей и незачем раскаиваться в своих словах. Он знает теперь, что само Провидение вложило их в ее уста. Они пошли ему на пользу, они послужили его прозрению.

Слово за слово, и Карл-Артур рассказал ей обо всем, что с ним произошло после того, как они расстались.

Он был так упоен счастьем и так полон восхищения великим милосердием Божьим, что ему невозможно было молчать. Он должен был рассказать обо всем хоть одной живой душе. Какое счастье, что эта Тея Сундлер, которая еще раньше через свою мать была посвящена во все обстоятельства их семейства, вдруг оказалась на его пути.

Но, услышав о расторгнутой помолвке и о новом сватовстве, фру Сундлер должна была понять, что все это может обернуться большой бедой. Она должна была бы понять, что Шарлотта лишь с досады и из упрямства отвечала утвердительно на вопрос жениха о ее пристрастии к епископскому сану. Она должна была бы понять, что этот союз с далекарлийкой еще не столь прочен и его можно было бы расстроить.

Но если вы долгие годы мечтали о том, чтобы каким-нибудь образом сблизиться с пленительным юношей, стать его другом и наперсницей — нет, нет, упаси боже, никем другим, — то достанет ли у вас духу говорить с ним рассудительно, когда он впервые открывает вам свое сердце?

Можно ли было требовать от Теи Сундлер чего-нибудь иного, кроме глубочайшего восхищения, сочувствия и признания, что решение Карла-Артура выйти на проезжую дорогу в поисках невесты было поистине героическим?

Можно ли было требовать, чтобы она попыталась обелить Шарлотту? Чтобы она, к примеру, напомнила ему о том, что у Шарлотты, которая превосходно умеет улаживать чужие дела, никогда не хватало ума поза-

ботиться о своих интересах? Нет, этого от нее едва ли можно было ожидать.

Может статься, Карл-Артур отнюдь не был столь уверен в себе, как хотел показать. Нескольких отрезвляющих слов было бы довольно, чтобы поколебать его. Откровенно высказанное опасение, быть может, побудило бы его отказаться от этой новой помолвки. Но фру Сундлер не сделала ничего, чтобы поколебать или предостеречь Карла-Артура, она сочла всю эту историю восхитительной.

Вообразите только, он всецело поручил себя Богу! Вообразите только, он вырвал возлюбленную из своего сердца, чтобы ничто не препятствовало ему идти по стопам Христа!

И кто знает? Быть может, фру Сундлер была вполне искренней? Она была романтиком с головы до ног, на столе у нее в гостиной всегда можно было увидеть книги Альмквиста* и Стагнелиуса*. А теперь наконец такое необыкновенное приключение! Наконец в ее жизни появился кто-то, кого она могла боготворить.

Лишь одно обстоятельство смущало фру Сундлер в рассказе Карла-Артура. Чем объяснить, что Шарлотта отказала Шагерстрёму? Коль скоро она так падка до мирских благ, как утверждает Карл-Артур, а этого фру Сундлер отнюдь не желала оспаривать, то зачем она тогда отказала Шагерстрёму? Какая выгода была ей отказывать Шагерстрёму?

И вдруг фру Сундлер осенила догадка. Она поняла Шарлотту. Та вела большую игру, но Тея Сундлер раскусила ее.

Шарлотта тотчас же раскаялась в том, что отказала Шагерстрёму, и пожелала стать свободной для того, чтобы впоследствии дать богатому заводовладельцу иной ответ.

Оттого-то она и затеяла ссору с Карлом-Артуром и до такой степени вывела его из себя, что он сам порвал с ней. Вот в чем разгадка. Только так и можно было все это объяснить.

Своей догадкой фру Сундлер поделилась с Карлом-Артуром, но он отказался ей верить. Она объясняла

ему и доказывала, а он все не хотел верить этому. Но и она не сдавалась и даже осмелилась возражать ему.

Когда часы пробили десять и подошло время свидания с далекарлийкой, они все еще продолжали спор. Фру Сундлер преуспела лишь в том, что, может быть, вселила некоторые сомнения в Карла-Артура. Сама же она оставалась тверда в своем убеждении. Она клялась и божилась, что на следующий день, или, по крайней мере, в один из ближайших дней, Шарлотта обручится с Шагерстрёмом.

Да, вот как все обернулось. Тея Сундлер ничего не уладила; напротив, она вновь разожгла гнев в душе Карла-Артура. Впрочем, ничего иного от нее, пожалуй, и ожидать не следовало.

Но есть ведь и другая женщина, та, которая хотела бы помочь Карлу-Артуру, которая хотела бы все уладить, — есть ведь Шарлотта! Да, разумеется, но что она может сделать именно теперь, когда Карл-Артур вырвал ее из своего сердца, точно сорную траву? Она встала между ним и его Богом. Она больше не существует для него.

Но даже если бы он и захотел выслушать ее, можно ли надеяться, что Шарлотта сумеет найти нужные слова? Можно ли ожидать, что у нее, юного, горячего существа, достанет ума отбросить свою гордость и сказать те кроткие, ласковые примирительные слова, которые помогут ей спасти возлюбленного?

II

На следующее утро, направляясь, как обычно, из своего флигеля в пасторский дом к утреннему кофе, Карл-Артур то и дело останавливался, чтобы насладиться утренней свежестью, полюбоваться бархатистым отливом росистых газонов и пышной красочностью левкоев, прислушаться к радостному гудению собирающих мед пчел. С отрадой почувствовал он, что лишь теперь, после того, как он освободился от мирских соблазнов, он может всецело ощутить величие природы.

Войдя в столовую, он с удивлением увидел, что Шарлотта встречает его как обычно. Его умиление сменилось легкой досадой. Он полагал, что отныне свободен, что борьба завершена. Шарлотта же, напротив, как будто не понимала, что разрыв между ними решен окончательно и бесповоротно. Не желая быть откровенно неучтивым, он коротко поздоровался с нею, но сделал вид, что не заметил ее протянутой руки, и прошел прямо к столу.

Ему казалось, что он ясно дал ей этим понять, что она может не докучать ему долее своим присутствием. Но Шарлотта, как видно, не желала ничего понимать и не уходила из столовой.

Хотя он старался не поднимать головы, чтобы не встречаться с ней глазами, но при одном взгляде, случайно брошенном на нее, все же успел заметить, что лицо Шарлотты землистого оттенка, а глаза обведены красными кругами. Весь вид ее свидетельствовал о том, что она провела ночь без сна, терзаясь горем и, быть может, даже раскаянием.

Ну и что же! Ведь и он не спал в эту ночь. С десяти до двух он сидел на лесном пригорке, беседуя с невестой, которую Бог избрал для него. Правда, обычный предрассветный ливень разлучил их и принудил его вернуться домой, но душа его была переполнена счастьем новой любви, и он не пожелал отдать сну эти сладостные часы. Он сел за письменный стол, чтобы написать родителям обо всем, что произошло, и, таким образом, еще раз пережить блаженство минувших часов. И все-таки он был уверен, что по его виду никто не смог бы сказать, что он не сомкнул глаз в эту ночь. Он был свеж и бодр как никогда.

Его стесняло то, что Шарлотта хлопочет вокруг него как ни в чем не бывало. Она придвинула поближе к нему сливочник и корзинку с сухарями, подошла к оконцу, ведущему в буфетную, и вернулась к столу с горячим кофе.

Наливая кофе в его чашку, Шарлотта спросила спокойно и непринужденно, точно речь шла о чем-то самом обычном и будничном:

— Ну, каковы твои успехи?

Ему не хотелось отвечать. Отблеск святости все еще лежал на этой летней ночи, проведенной им в обществе молодой далекарлийки. Время он употребил не на любовные излияния, а на то, чтобы объяснить ей, как он хочет устроить свою жизнь по заветам Божиим.

Она молча слушала, робко и с запинкой отвечала на его вопросы, застенчиво соглашалась с ним, и это вселило в него уверенность, в которой он нуждался. Но как может Шарлотта понять блаженство и покой, которые охватили его при этом?

— Бог помог мне, — это было единственное, что он наконец нашелся ответить. Эти слова прозвучали в ту минуту, когда Шарлотта наливала кофе себе в чашку. Ответ Карла-Артура, казалось, испугал ее. Она, должно быть, сперва истолковала его молчание так, что план его не удался. Она быстро опустилась на стул, точно ноги отказались держать ее.

— Господи помилуй, Карл-Артур, уж не натворил ли ты глупостей?

— Разве ты, Шарлотта, не слышала, что я сказал вчера, когда мы расстались?

— Ну, разумеется, слышала. Но, милый ты мой, не могла же я принять твои слова всерьез. Я думала, ты просто хочешь припугнуть меня.

— Так знай же, Шарлотта: раз я говорю, что поручаю себя Богу, то это не пустые слова.

Шарлотта помолчала немного. Она положила себе сахару, налила сливок, разломилла один из твердых ржаных сухариков. Он решил, что ей нужно время, чтобы прийти в себя.

Он, со своей стороны, был удивлен волнением Шарлотты. Он вспомнил слова фру Сундлер о том, что Шарлотта желала разрыва и сама вызвала его. Но, право же, тут его новая подруга ошибается. Ясно, что у Шарлотты и в мыслях не было обречься с Шаггерстрёмом.

— Так ты, стало быть, выбежал на дорогу и посватался к первой встречной? — спросила Шарлотта все тем же спокойным тоном, каким начала разговор.

— Да, Шарлотта, я хотел, чтобы Бог за меня выбрал.

— И, разумеется, влип, как кур в ощиц?

В этом непочтительном восклицании он узнал прежнюю Шарлотту и не смог отказать себе в удовольствии дать ей достойную отповедь.

— Ну, разумеется, — сказал он. — Упование на Бога всегда казалось непростительной глупостью в глазах Шарлотты.

Рука ее чуть задрожала, ложечка звякнула о чашку. Но Шарлотта не поддавалась гневному чувству.

— Нет, нет, — сказала она. — Не будем снова затевать ссору, как вчера.

— Тут, я полагаю, ты, Шарлотта, права. Тем более что я никогда еще не был так счастлив.

Это было, пожалуй, чересчур жестоко, но он ощущал непреодолимое желание дать ей понять, что он примирился с Богом и что душа его обрела мир и покой.

— Вот как, ты счастлив! — произнесла Шарлотта.

Трудно сказать, что скрывалось за этими словами. Горечь и боль или просто насмешливое удивление?

— Путь открыт передо мною. Теперь ничто больше не препятствует мне жить по заветам Божьим. Бог послал мне истинную подругу.

Карл-Артур несколько нарочито подчеркивал свое счастье. Но его тревожило спокойствие Шарлотты. Она, казалось, все еще не понимает, насколько это серьезно; не понимает, что дело решено навсегда.

— Что ж, тебе, выходит, повезло больше, нежели я думала, — промолвила Шарлотта самым будничным тоном. — Однако не могу ничего сказать, пока не узнаю, с кем ты обручился.

— Ее зовут Анна Сверд, — сказал он, — Анна Сверд.

Он готов был без конца повторять это имя. Чары летней ночи, пленительная сила новой любви опять ожили в нем при звуке этого имени, скрашивая тягостные впечатления нынешних минут.

— Анна Сверд, — повторила Шарлотта, но совсем иным тоном. — Я знаю ее?

— Думаю, что ты ее видела, Шарлотта. Она из Далекарлии.

На лице Шарлотты было все то же беспомощно-вопросительное выражение.

— Тебе незачем перебирать в уме своих образованных подруг. Это простая, бедная девушка, Шарлотта.

— Как! Неужели... — Она выкрикнула эти слова с таким волнением, что он невольно взглянул на нее. На ее подвижном лице отобразился испуг.

— Неужели это... та самая далекарлийка, что была вчера у нас на кухне!.. Боже милостивый! Карл-Артур, я, кажется, припоминаю: кто-то говорил, что ее зовут Анна Сверд.

Испуг ее был непритворным, в этом сомневаться не приходилось. Но оттого он не стал менее оскорбительным. С чего это Шарлотта вздумала опекать его? И какое непонимание! Послушала бы она вчера Тею Сундлер!

Он торопливо сунул в чашку еще один сухарик. Ему хотелось поскорее окончить завтрак, чтобы избежать причитаний, которые сейчас последуют.

Но странно, никаких причитаний он не услышал. Шарлотта лишь повернулась на стуле так, чтобы он не мог видеть ее лица. Она сидела совершенно неподвижно, но он чувствовал, что она плачет.

Он встал, чтобы уйти, хотя далеко еще не был сыт. Так вот, значит, как она это приняла. Право же, невозможно согласиться с предположением фру Сундлер о том, что Шарлотта сама желала разрыва. Нельзя не поверить, что она глубоко страдает из-за расторгнутой помолвки. И так как это страдание слегка бередило его совесть, ему вовсе не хотелось быть его свидетелем.

— Нет, не уходи! — попросила Шарлотта, не оборачиваясь. — Не уходи! Мы должны продолжить разговор. Это так ужасно. Этого нельзя допустить.

— Сожалею, что ты, Шарлотта, столь близко принимаешь это к сердцу. Но уверяю, что мы с тобой не созданы друг для друга.

При этих словах она вскочила со стула. Теперь она стояла перед ним, гордо вскинув голову. Она гневно топнула ногой.

— Думаешь, я плачу о себе? — спросила она и презрительно смахнула с ресницы слезу. — Думаешь, я убиваюсь оттого, что буду несчастна? Неужто ты не понимаешь, что я плачу о тебе! Ты создан для великих дел, но все полетит к черту, если ты возьмешь себе такую жену.

— Что за выражение, Шарлотта!

— Я говорю то, что думаю. И хочу решительно дать тебе совет, друг мой. Уж если ты и впрямь вздумал жениться на крестьянке, то возьми, по крайней мере, местную, из тех, кого ты знаешь. Не женись на коробейнице, которая бродит по дорогам одна, без призора! Ты ведь не ребенок. Должен же ты понимать, что это значит.

Он пытался остановить поток оскорбительных слов, который изливало это ослепленное создание, не желая понять всей сути свершившегося.

— Она невеста, посланная мне Богом, — напомнил он.

— Вовсе нет!

Шарлотта, должно быть, хотела сказать, что это она — невеста, предназначенная ему Богом. Быть может, именно эта мысль вызвала у нее слезы, градом катившиеся по щекам. Сжав кулаки, она пыталась овладеть голосом.

— Подумай о твоих родителях!

Он прервал ее:

— Я не опасаясь за своих родителей. Они истинные христиане и поймут меня.

— Полковница Беата Экенстедт! — воскликнула Шарлотта. — Она поймет? О боже, Карл-Артур, как мало знаешь ты свою мать, если воображаешь, что она когда-нибудь признает далекарлийку своей невесткой. Отец отречется от тебя, он лишит тебя наследства.

Гнев начал овладевать им, хотя до сих пор ему удалось сохранить спокойствие.

— Не будем говорить о моих родителях, Шарлотта!

Шарлотта, казалось, поняла, что зашла чересчур далеко.

— Ну, хорошо, не будем говорить о твоих родителях! Но поговорим о здешних пасторе и пасторше,

и о епископе Карлстадском, и обо всем соборном капитуле. Что, по-твоему, они скажут, когда услышат о том, что священнослужитель выбегает на проезжую дорогу, чтобы посвататься к первой встречной? А здешние прихожане, которые столь ревностно следят за тем, чтобы священники блюли благопристойность, что скажут они? Быть может, тебе нельзя будет даже остаться здесь. Быть может, ты принужден будешь уехать отсюда. А что подумают об этом сватовстве остальные священники здешней епархии? Будь уверен, что они, да и весь Вермланд, ужаснутся! Вот увидишь, люди утратят к тебе уважение. Никто не станет ходить в церковь на твои проповеди. Тебя пошлют на север в нищие финские приходы*. Ты никогда не получишь повышения. Ты кончишь свои дни помощником пастора.

Она была так увлечена, что могла бы говорить еще долго, но, должно быть, очень скоро заметила, что все ее пылкие увещевания не производят на него ни малейшего впечатления, и разом умолкла.

Он изумлялся самому себе. Право же, он был изумлен. Еще вчера малейшее ее слово имело для него значение. Теперь ему было почти безразлично, что она думает о его поступках.

— Ну что, разве не правду я говорю? — спросила она. — Можешь ты это отрицать?

— Я не намерен обсуждать все это с тобой, Шарлотта, — сказал он несколько высокомерно, ибо чувствовал, что каким-то образом со вчерашнего дня получил превосходство над нею. — Ты, Шарлотта, толкуешь о повышении и благосклонности власть имущих, а я полагаю, что именно они пагубны для священнослужителя. Я держусь того мнения, что жизнь в бедности с простой женой, которая сама печет хлеб и моет полы, освобождает священника от пристрастия к мирскому; именно такая жизнь возвышает и очищает.

Шарлотта ответила не сразу. Обратив взгляд в ее сторону, он увидел, что она стоит, потупив взор, и, выставив ногу, водит по полу носком, точно смущенная девочка.

— Я не хочу быть таким священником, который лишь указывает путь другим, — продолжал Карл-Артур. — Я хочу сам идти этим путем.

Шарлотта все еще стояла молча. Нежный румянец разлился по ее щекам, удивительно кроткая улыбка играла на ее губах. Наконец она произнесла нечто совершенно поразительное:

— Думаешь, я не умею печь хлеб и мыть полы?

Что она хочет этим сказать? Может, она просто шутит?

На лице ее было все то же простодушное выражение юной конфирмантки.

— Я не хочу стоять тебе поперек дороги, Карл-Артур. Ты, ты будешь служить Богу, а я буду служить тебе. Сегодня утром я пришла сюда, чтобы сказать тебе, что все будет так, как ты пожелаешь. Я сделаю для тебя все — только не гони меня.

Он был так поражен, что шагнул ей навстречу, но тут же остановился, точно опасаясь ловушки.

— Любимый мой, — продолжала она голосом едва слышным, но дрогнувшим от нежности, — ты не знаешь, через какие муки я прошла нынче ночью. Мне нужно было едва не лишиться тебя, чтобы понять, как велика моя любовь.

Он сделал еще шаг ей навстречу. Его испытующие взоры стремились проникнуть ей в душу.

— Ты больше не любишь меня, Карл-Артур? — спросила она и подняла к нему лицо, смертельно бледное от страха.

Он хотел сказать, что вырвал ее из своего сердца, но вдруг почувствовал, что это неправда. Ее слова тронули его. Они снова зажгли в его душе угасшее было пламя.

— А ты не играешь мною? — сказал он.

— Ты же видишь, Карл-Артур, что я говорю серьезно.

От этих слов душа его точно воскресла. Словно костер, в который подкинули топлива, вспыхнула в нем прежняя любовь.

Ночь на лесном пригорке, новая возлюбленная будто окутались туманом и исчезли. Он забыл их, как забывают сон.

— Я уже просил Анну Сверд стать моей женой, — нерешительно пробормотал он.

— Ах, Карл-Артур, ты мог бы все уладить, если бы только захотел. Ведь с нею ты был помолвлен всего лишь одну ночь.

Она произнесла эти слова боязливо и умоляюще.

Его невольно влекло к ней все ближе и ближе. Любовь, которую излучало все ее существо, была сильна и неодолима.

Внезапно она обвила его руками.

— Я ничего, ничего не требую. Только не гони меня от себя.

Он все еще колебался. Он никак не мог поверить, что она совершенно покорилась ему.

— Но тебе придется позволить мне идти своим путем.

— Ты будешь истинным пастырем, Карл-Артур. Ты научишь людей идти по стопам Божьим, а я стану помогать тебе в твоих трудах.

Она говорила тоном искреннего, горячего убеждения, и он наконец поверил ей. Он понял, что долгая борьба между ними, длившаяся целых пять лет, окончена. И он вышел из нее победителем. Он мог теперь отбросить все сомнения.

Он наклонился к ней, чтобы поцелуем скрепить их новый союз, но в эту минуту отворилась дверь, ведущая из прихожей.

Шарлотта стояла лицом к двери.

Бурный испуг вдруг отобразился на ее лице. Карл-Артур быстро обернулся и увидел, что на пороге стоит служанка, держа в руках букет цветов.

— Эти цветы от заводчика из Озерной Дачи, — сказала девушка. — Их принес садовник. Он дожидается в кухне, на случай, ежели барышня пожелает передать благодарность.

— Тут какая-то ошибка, — сказала Шарлотта. — С чего это заводчик из Озерной Дачи станет посылать мне цветы? Ступай, Альма, и верни букет садовнику.

Карл-Артур прислушивался к этому обмену репликами с величайшим вниманием. Этот букет будет как бы проверкой. Сейчас он все узнает.

— Так ведь садовник ясно сказал, что цветы для барышни, — упорствовала служанка, которая никак не могла понять, отчего бы барышне и не взять несколько цветков.

— Ну, хорошо, положи их вон туда, — проговорила Шарлотта, указав рукой на стол.

Карл-Артур тяжело перевел дух. Стало быть, она все-таки взяла цветы. Теперь ему все ясно.

Когда девушка вышла и Шарлотта обернулась к Карлу-Артуру, у него больше и в мыслях не было целовать ее. К счастью, предостережение подоспело вовремя.

— Я полагаю, тебе, Шарлотта, не терпится пойти к садовнику, чтобы передать с ним благодарность, — сказал он.

И с учтивым поклоном, в который он вложил всю иронию, на которую только был способен, Карл-Артур покинул комнату.

III

Шарлотта не бросилась за ним вдогонку. Чувство бессилия охватило ее. Не довольно ли она унижала себя ради того, чтобы спасти человека, которого любила? И почему в самую решающую минуту должен был появиться этот букет? Неужто Бог не желает, чтобы Карл-Артур был спасен?

С глазами, полными слез, Шарлотта подошла к свежему, в сверкающих каплях росы, букету и, почти не сознавая, что делает, принялась рвать цветы на мелкие кусочки.

Она не успела еще окончательно уничтожить их, как служанка явилась к ней с еще одним поручением. Она подала небольшой конверт, надписанный рукою Карла-Артура.

Когда Шарлотта вскрыла конверт, из ее дрожащих пальцев выпало на пол золотое кольцо. Она не стала поднимать его, а принялась читать строки, торопливо набросанные Карлом-Артуром на клочке бумаги:

«Некая особа, с которой я виделся вчера вечером и которой я в доверительной беседе рассказал о своих обстоятельствах, уверяла меня, что ты, Шарлотта, вероятно, тотчас же раскаялась в своем отказе Шагерстрёму и с умыслом вывела меня из равновесия, дабы я расторг нашу помолвку. В этом случае ты, Шарлотта, могла бы в другой раз оказать Шагерстрёму более дружелюбный прием. Тогда я не поверил ей, но только что уверился в правоте ее слов и потому возвращаю тебе кольцо. Я полагаю, что ты еще вчера дала знать Шагерстрёму о том, что наша помолвка расстроилась. Я полагаю, что, поскольку Шагерстрём замешкался с ответом, ты забеспокоилась и решила примириться со мной. Я полагаю, что букет был условным знаком. Если бы это было не так, ты при данных обстоятельствах ни в коем случае не могла бы принять его».

Шарлотта много раз перечла письмо, но ничего не могла уразуметь. «Некая особа, с которой я виделся вчера вечером...»

— Я ничего не понимаю, — беспомощно произнесла она и снова принялась читать: — «Некая особа, с которой я виделся вчера... Некая особа, с которой я виделся...»

В тот же миг ей показалось, будто что-то скользкое и коварное, что-то, похожее на большую змею, обвилося вокруг ее тела и готово задушить ее.

Это была змея злобной клеветы, которая оплела ее и долго не отпускала.

САХАРНИЦА

Пять лет назад, когда Карл-Артур Экенстедт только что появился в Корсчюрке, он был необычайно ревностным пиетистом. На Шарлотту он смотрел как на заблудшее мирское дитя и едва ли желал обменяться с ней хотя бы словом.

Это, разумеется, выводило ее из себя, и она в душе поклялась, что он не замедлит раскаяться в своем небрежении к ней.

Вскоре она заметила, сколь несведущ Карл-Артур во всем, что касается пасторских обязанностей, и вызвалась помочь ему. Вначале он дичился и отказывался от помощи, но затем стал проявлять больше признательности и обращался к ней за советом даже чаще, чем ей того хотелось.

Он обыкновенно совершал дальние прогулки, чтобы навестить бедных стариков и старух, которые жили в убогих лачугах далеко в лесах, и всегда просил Шарлотту сопровождать его. Он уверял, что она куда лучше него умеет обходиться с этими стариками, подбадривать их и утешать в маленьких горестях.

Вот эти-то прогулки вдвоем и привели к тому, что Шарлотта полюбила Карла-Артура. Прежде она всегда мечтала о том, что выйдет замуж за статного и храброго офицера, но теперь была без памяти влюблена в скромного и деликатного молодого пастора, который не способен был обидеть и мухи и с губ которого никогда не срывалось ни одно бранное слово.

Некоторое время они безмятежно продолжали свои прогулки и беседы, но в начале июля в пасторскую усадьбу приехала в гости Жакетта Экенстедт, сестра Карла-Артура. В приезде ее не было ничего необычного. Пасторша Форсиус из Корсчюрки была добрым и старинным другом полковницы Экенстедт, и вполне естественно, что она пригласила сестру Карла-Артура погостить несколько недель у себя в усадьбе.

Жакетту Экенстедт поместили в комнате Шарлотты, и девушки чрезвычайно сдружились. Жакетта в особенности до такой степени полюбила свою новую подругу, что казалось, будто она приехала в Корсчюрку не столько ради брата, сколько ради нее.

После того как Жакетта уехала домой, пасторша Форсиус получила от полковницы письмо, которое дала прочесть и Шарлотте. В нем полковница приглашала Шарлотту приехать в Карлстад, чтобы повидаться с Жакеттой. Полковница писала, что Жакетта не устает рассказывать о молодой очаровательной девушке, с которой она познакомилась в доме пастора. Она просто без ума от нее и описывает ее столь восторженно, что

возбудила любопытство своей дорогой матушки, которая также пожелала увидеть ее.

Полковница писала, что она, со своей стороны, в особенности интересуется Шарлоттой, поскольку та тоже из Лёвеншёльдов. Девушка, разумеется, принадлежит к младшей ветви, которая никогда не удостаивалась баронского титула, но род их также восходит к старому генералу из Хедебю, так что между ними есть некоторая родственная связь.

Прочитав письмо, Шарлотта заявила, что она не поедет. Она была не так проста и тотчас поняла, что сперва пасторша, а затем Жакетта известили полковницу о ее отношениях с Карлом-Артуром, и теперь ее хотят отправить в Карлстад, чтобы полковница смогла сама увидеть ее и решить, будет ли она достойной невесткой.

Но пасторша и прежде всего Карл-Артур убедили ее поехать. К тому времени Шарлотта и Карл-Артур были уже тайно помолвлены, и он сказал, что будет ей вечно признателен, если она исполнит желание его матери. Он ведь сделался пастором против воли родителей, и хотя не могло быть и речи о разрыве помолвки, как бы там они ни судили о Шарлотте, он не хотел бы причинять им новых огорчений. А в том, что они полюбят ее сразу, как только увидят, он ничуть не сомневался. Он никогда не встречал девушки, которая лучше Шарлотты умела бы обходиться с пожилыми людьми. Оттого-то он и привязался к ней столь сильно, что увидел, как добра она была к чете Форсиус и к другим старикам. Если только она поедет в Карлстад, все обойдется наилучшим образом.

Он долго упрашивал и убеждал Шарлотту и наконец добился ее согласия принять приглашение.

До Карлстада был целый день пути, и поскольку Шарлотте не пристало путешествовать одной, то пасторша позаботилась, чтобы ее взяли в карету заводчика Мубергера, который отправлялся с женой в город на свадьбу. С бесчисленными напутствиями и наставлениями пасторша проводила Шарлотту в дорогу, и та обещала вести себя благоразумно.

Но сидеть весь день в закрытой карете на узкой задней скамье и смотреть на супругов Мубергер, которые спали каждый в своем углу, было, пожалуй, далеко не лучшей подготовкой к визиту в Карлстад.

Фру Мубергер боялась сквозняков и позволяла открывать окна лишь с одной стороны, а подчас запрещала даже это. Чем удушливее и теплее был воздух в карете, тем лучше ей спалось. Вначале Шарлотта попыталась завязать беседу со своими попутчиками, но супругов Мубергер утомили предотъездные хлопоты, и теперь они желали покоя.

Шарлотта, сама не замечая того, все постукивала и постукивала своими маленькими ножками об пол кареты. Но вдруг фру Мубергер проснулась и спросила, не будет ли Шарлотта столь добра вести себя потише.

На постоянных дворах супруги Мубергер открывали мешок с провизией, ели сами и, разумеется, не забывали потчевать Шарлотту. Они были очень добры к ней всю дорогу, но все-таки то, что им удалось довести ее до Карлстада, было поистине чудом.

Чем дольше она сидела, изнемогая от духоты, тем больше впадала в уныние. Она предприняла эту поездку ради Карла-Артура, но подчас ей начинало казаться, что вся ее любовь испарилась, и она не могла понять, чего ради ей вздумалось отправиться в Карлстад на смотрины. Не раз она подумывала о том, чтобы открыть дверцу кареты, выпрыгнуть и убежать обратно домой. Она продолжала сидеть только оттого, что чувствовала себя разбитой и ослабевшей и не в силах была тронуться с места.

Подъезжая к дому Экенстедтов, она менее всего расположена была к тому, чтобы вести себя тихо и благонаравно. Ей хотелось закричать, пуститься в пляс, разбить что-нибудь. Это вернуло бы ей хорошее самочувствие и душевное равновесие. Жакетта Экенстедт встретила ее радостно и приветливо, но при виде ее Шарлотта почувствовала, что сама она одета дурно и не по моде, а главное, у нее было что-то неладно с башмаками. Они были сшиты перед самым отъездом,

и деревенский башмачник вложил в них все свое умение, но они сильно стучали на ходу и пахли кожей.

Жакетта вела ее в будуар полковницы через ряд роскошных комнат, и при виде паркетных полов, огромных зеркал, красивых панно над дверями Шарлотта окончательно пала духом. Ей стало ясно, что в этом доме она не может быть желанной невесткой. Ее приезд сюда — непростительная глупость.

Когда Шарлотта вошла к полковнице, ее впечатление, что она села не в свои сани, ни в коей мере не уменьшилось, Полковница сидела у окна в качалке и читала французский роман. Увидев Шарлотту, она произнесла несколько слов по-французски. Должно быть, мысли ее еще не оторвались от книги, и она сделала это невольно. Шарлотта поняла все, но ее рассердило, что эта светская дама словно бы желает выведать ее познания в языках, и она ответила ей на самом что ни есть простом вермландском наречии.

Она говорила не на том языке, который принят в Вермланде среди господ и который весьма легко понять, но прибегла к наречию простонародья и крестьян, а это уж нечто совсем иное.

Изящная дама чуть приподняла брови, явно забавляясь, а Шарлотта продолжала обнаруживать свои поразительные познания в этом вермландском наречии. Раз ей нельзя закричать, пуститься в пляс, разбить что-нибудь, она утешится тем, что будет говорить по-вермландски. Игра все равно проиграна, но она, по крайней мере, покажет этим образованным господам, что не желает казаться лучше, чем она есть, им в угоду.

Шарлотта приехала поздно, когда в доме уже отужинали, и полковница велела Жакетте отвести свою подругу в обеденную залу и распорядиться, чтобы ей дали поесть.

Так закончился этот вечер.

На другой день было воскресенье, и тотчас же после завтрака нужно было идти в собор слушать проповедь настоятеля Шёборга. Служба длилась добрых два с половиною часа, а потом полковник с полковницей, Жакетта и Шарлотта довольно долго прогуливались

по Карлстадской площади. Они встречали множество знакомых, и некоторые из этих господ подходили к ним. Но они шли рядом с полковницей и беседовали исключительно с нею, а Жакетту и Шарлотту не удостоивали ни взглядом, ни словом.

После прогулки Шарлотта вместе со всеми вернулась в дом Экенстедтов, чтобы присутствовать на семейном обеде в обществе настоятеля собора и советника с женами, братьев Стаке, Евы Экенстедт с ее поручиком.

За обедом полковница вела с настоятелем и советником умную, просвещенную беседу. Ева и Жакетта не раскрывали рта, и Шарлотта также молчала, ибо поняла, что в этом доме не принято, чтобы молодежь вмешивалась в разговор. Но в течение всего обеда она томилась желанием очутиться где-нибудь подальше отсюда. Она, можно сказать, подстерегала случай показать родителям Карла-Артура, что она, по ее разумению, нисколько не годится им в невестки. Она заметила, что вермландского диалекта оказалось недостаточно, и решила прибегнуть к более сильному и действенному средству.

После такой поездки, и такой проповеди, и такой прогулки, и такого обеда ей непременно нужно было дать им понять, что она не хочет больше оставаться здесь.

Одна из превосходных, вышколенных служанок, прислуживавших за столом, обносила всех блюдом малины, и Шарлотта, как и все другие, положила себе на тарелку ягод. Затем она протянула руку к сахарнице, стоявшей поблизости, и принялась посыпать малину сахаром.

Шарлотта не подозревала, что взяла сахара больше, чем следовало, но вдруг Жакетта торопливо шепнула ей на ухо:

— Не сыпь так много сахара! Матушка этого не любит.

Шарлотта знала, что многие пожилые люди считают непозволительной роскошью сластить кушанья. Дома в Корсчюрке она не могла взять и ложечки сахара

без того, чтобы не выслушать замечания от пастора. Так что она ничуть не была этим удивлена. Но в то же время она увидела случай дать волю злomu духу противоречия, который вселился в нее с той поры, как она выехала из дома. Она поглубже запустила ложечку в сахарницу и так густо посыпала малину, что тарелка ее сделалась похожа на снежный сугроб.

За столом воцарилась необычайная тишина. Все понимали, что добром это не кончится. Полковница не замедлила вмешаться и вскользь обронила:

— У вас в Корсчюрке, должно быть, изрядно кислая малина. У нас здесь она не такая уж страшная. Едва ли стоит еще сахарить ее.

Но Шарлотта продолжала сыпать сахар. Про себя она думала: «Если я не остановлюсь, то потеряю Карла-Артура и навеки разрушу свое счастье. Но все равно я буду сыпать».

Полковница слегка пожала плечами и повернулась к настоятелю, чтобы продолжить беседу. Видно было, что ей не хочется прибегать к крутым мерам. Но полковник решил прийти жене на помощь.

— Вы решительно испортите вкус ягод, милая фрёкен Шарлотта.

Едва он произнес эти слова, как Шарлотта отложила ложечку в сторону. Она взяла сахарницу обеими руками и высыпала все ее содержимое к себе в тарелку.

Затем она поставила сахарницу на стол и вложила в нее ложечку. Она выпрямилась на стуле и с вызовом оглядела общество, готовая принять бурю на себя.

— Жакетта, — сказал полковник, — будь добра, уведи свою подругу к себе в комнату!

Но полковница протестующе подняла руку.

— Нет, нет, ни в коем случае! — сказала она. — Не таким способом!..

Некоторое время она сидела молча, словно обдумывая, что ей сказать. Затем в ее милых глазах мелькнула лукавая искорка, и она заговорила. Но обратилась она не к Шарлотте, а к настоятелю собора.

— Быть может, вы, кузен, слышали историю о том, как моя тетка Клементина выходила замуж за графа

Кронфельта? Отцы их встретились на риксдаге в Стокгольме и сговорились об этом браке, но когда между ними было все решено, молодой граф заявил, что хочет хотя бы взглянуть на свою суженую, прежде чем давать окончательный ответ. Тетка Клементина находилась дома, в Хедебю, и поскольку ее внезапный отъезд в Стокгольм мог бы вызвать разные толки, решено было, что граф отправится в приход Бру и поглядит на нее в церкви. Разумеется, кузен, тетка моя была вовсе не против выйти замуж за молодого, красивого графа, но она узнала о том, что он придет в церковь посмотреть на нее, и ей пришлось не по вкусу быть выставленной напоказ. Охотнее всего она в то воскресенье вовсе не пошла бы в церковь, но в прежние времена и речи не могло быть о том, чтобы дети воспротивились воле родителей. Ей велено было принарядиться как можно лучше, отправиться в церковь и сесть на скамью Лёвеншёльдов, чтобы граф Кронфельт и один из его друзей могли рассмотреть ее. И знаете, кузен, что она сделала? Как только звонарь запел псалом, она тоже стала петь громким голосом, но страшно фальшиво. И так пела она псалом за псалмом, покуда не кончилась служба. А когда она вышла на паперть, здесь ее уже поджидал граф Кронфельт. Он поклонился ей и сказал:

«Покорнейше прошу простить меня. Теперь я понимаю, что девушка из рода Лёвеншёльдов не может допустить, чтобы ее выставляли напоказ, точно лошадь на ярмарке».

С этими словами он удалился, но вскоре приехал снова и свел знакомство с Клементиной в ее поместье Хедебю. И они поженились и жили счастливо. Быть может, вы, кузен, слышали когда-либо эту историю?

— О да, разумеется; но не столь искусно рассказанную, — отозвался настоятель, который ничего не понял.

Но Шарлотта поняла все. Она сидела, трепеща от ожидания и не спуская глаз с рассказчицы. Полковница взглянула на нее, слегка улыбнулась и снова обратилась к настоятелю:

— Как видите, кузен, сегодня за столом с нами сидит молодая девушка. Она приехала сюда для того, чтобы я и мой муж рассмотрели ее и решили, годится ли она в жены Карлу-Артуру. Но девушка эта, кузен, истинная Лёвеншёльд, и ей не по вкусу быть выставленной напоказ. И уверяю вас, кузен, с той самой минуты, когда она вчера вечером вошла в этот дом, она пыталась петь фальшиво, совсем как моя тетка Клементина. И сейчас я, кузен, поступаю так же, как граф Кронфельг. Я покорнейше прошу простить меня и говорю: я понимаю, что девушка из рода Лёвеншёльдов не может допустить, чтобы ее выставляли напоказ, точно лошадь на ярмарке.

С этими словами она поднялась и простерла руки к Шарлотте, и та, кинувшись ей на шею, целовала ее и плакала от счастья, восторга и благодарности.

С этого часа она полюбила свою свекровь чуть ли не больше, нежели самого Карла-Артура. Ради нее, ради того, чтобы осуществились ее мечты, убедила она Карла-Артура вернуться в Упсалу и продолжать свои занятия. Ради нее хотела она этим летом принудить его сделаться учителем гимназии, дабы он мог занять более видное положение, а не оставаться всю жизнь бедным сельским священником.

Ради нее обуздала она нынче утром свою гордость и унизилась перед Карлом-Артуром.

ПИСЬМО

Шарлотта Лёвеншёльд сидела у себя наверху и писала письмо своей свекрови, или, вернее сказать, той, кого она до сего дня считала своей свекровью, — полковнице Экенстедт.

Она писала долго, заполняя страницу за страницей. Она писала единственному человеку в мире, который всегда понимал ее; писала, чтобы объяснить то, что намерена была сделать.

Сначала она описала сватовство Шагерстрёма и все, что за ним последовало. Она изложила разговор в саду, не пытаясь оправдать себя. Она признавала, что в серд-

цах раздражила Карла-Артура, но уверяла, что у нее и в мыслях не было порывать с ним.

Далее она описала утренний разговор и невероятное признание Карла-Артура о том, что он обручился с далекарлийкой. Она рассказала, как пыталась вернуть его, и ей это удалось бы, но все пошло прахом из-за несчастного букета.

Далее писала она о той безумной записке, которую прислал ей Карл-Артур, уведомляла о решении, которое она приняла по этому поводу, и надеялась, что свекровь поймет ее, как понимала всегда, с того самого дня, когда они впервые встретились.

У нее нет выбора. Некая особа — она покуда еще не знает кто, но полагает, что это одна из женщин здешнего прихода — оклеветала ее и обвинила в коварстве, двоедушии и корыстолюбии. Это не должно остаться безнаказанным.

Но поскольку она, Шарлотта, всего лишь бедная девушка, которая ест чужой хлеб, поскольку у нее нет ни отца, ни брата, которые могли бы заступиться за нее, она сама вынуждена расправиться с обидчицей.

И она вполне способна защитить себя. Она ведь не из тех заурядных, безответных женщин, которые умеют управляться лишь с иглой да метлой. Она умеет и зарядить ружье, и выстрелить из него, и не она ли прошлой осенью во время охоты сразила наповал самого крупного лося?

Уж чего-чего, а отваги ей не занимать стать. Ведь это она однажды на ярмарке вцепилась затрещину негодяю, который жестоко обращался со своей лошадейю. Она ждала, что он вот-вот выхватит нож и всадит в нее, но все равно ударила его.

Быть может, полковница вспомнит, как однажды она, Шарлотта, всю свою судьбу поставила на карту, уведя из конюшни без спросу любимых лошадей пастора, чтобы участвовать в скачках наравне с деревенскими парнями на второй день Рождества. Немногие отважились бы на такую затею.

Ведь это она нажила себе врага в лице мерзкого капитана Хаммарберга, отказавшись сесть с ним рядом

на званом обеде. Она не могла принудить себя в течение всего обеда беседовать с человеком, который незадолго до этого разорил за карточным столом своего друга и довел его до самоубийства. Но если она отваживалась на такие поступки из-за того, что вовсе ее не касалось, то уж, верно, не станет колебаться, когда дело идет о ней самой.

Она чувствует, что мерзавка, которая очернила ее в глазах Карла-Артура, должно быть, до такой степени гнусна, что отравляет воздух, которым дышит; она, верно, сеет рознь всюду, где бы ни появлялась, и речи ее жалят, точно змеиный укус. Тот, кто избавит людей от эдакого чудовища, сослужит им великую службу.

Прочтя записку Карла-Артура и уразумев ее содержание, она тотчас поняла, что ей следует делать. Она хотела тут же подняться в комнату за ружьем. Оно было заряжено. Ей оставалось только снять его со стены и перекинуть через плечо.

Никто в доме не остановил бы ее. Она кликнула бы собаку и сделала бы вид, что направляется к озеру поглядеть, не подросли ли уже утята. Но, отойдя подальше от усадьбы, она свернула бы к деревне, ибо именно там, без сомнения, живет особа, которая влила яду в уши Карлу-Артуру.

Она намеревалась остановиться перед домом, где живет особа, и вызвать ее на улицу. Как только та появилась бы на пороге, она прицелилась бы ей в самое сердце и сразила бы ее наповал.

Знай она виновную, возмездие уже свершилось бы, но она вынуждена ждать, пока не выяснит этого наверняка. В первые минуты она готова была сделать то же, что и Карл-Артур, то есть просто-напросто выйти с ружьем на дорогу, в надежде, что Бог пошлет виновную ей навстречу. Но затем она все же отказалась от этого. Ведь истинная преступница могла бы тогда избежать кары, а этого она не хотела допустить.

Не имело смысла также идти во флигель к Карлу-Артуру и спрашивать его, с кем он говорил вчера вечером. О нет, он не так прост, он не дал бы ей ответа.

И вот она решила прибегнуть к хитрости. Она прикинется спокойной; спокойной и невозмутимой. Таким путем она скорее выведает тайну.

Она тотчас же попыталась взять себя в руки. Сгоряча она изорвала букет Шагерстрёма, но теперь собрала лепестки роз и выбросила их в мусорный ящик. Она принудила себя отыскать упавшее на пол обручальное кольцо, которое вернул ей Карл-Артур.

Затем она поднялась в свою комнату и, увидев, что на часах всего половина восьмого и у нее есть в запасе время до встречи с Карлом-Артуром за завтраком, села писать своей дорогой свекрови.

Когда это письмо дойдет до Карлстада, все уже будет кончено. Она тверда в своем решении. Но она рада отсрочке, позволившей ей объяснить все единственному человеку, чьим мнением она дорожит, и сказать о том, что сердце ее навсегда и неизменно принадлежит ее другу и матери, которую она любит больше всех на свете.

Письмо было готово, и Шарлотта стала перечитывать его. Да, оно было написано ясно и толково. Она надеялась, что полковница поймет, что она, Шарлотта, невиновна, что она оклеветана, что она вправе мстить.

Но, перечитав письмо, Шарлотта обратила внимание на то, что, желая доказать собственную невинность, она изобразила поступки Карла-Артура в весьма неприглядном свете.

Снова и снова перечитывая письмо, Шарлотта все больше приходила в смятение. Подумать только, что это такое она написала! А если полковник и полковница рассердятся на Карла-Артура?

Совсем недавно она предостерегала его от родительского гнева, а теперь сама же подстрекает их против него!

Она вздумала возвысить себя за его счет. Она, дескать, поступила и великодушно, и рассудительно, а о нем говорит так, точно он ума лишился!

И такое письмо она намеревалась отослать его матери. Она, которая любит его!

Право же, она, должно быть, вовсе лишилась рас-судка.

Неужто она способна причинить своей обожаемой свекрови столько горя? Или она забыла о снисхо-дительности, которую полковница всегда выказывала ей, начиная с самой первой их встречи? Или она забыла всю ее доброту?

Шарлотта разорвала это пространное письмо по-полам и села писать новое. Она примет вину на себя. Она выгордит Карла-Артура.

И она поступит всего лишь так, как должно. Карл-Артур рожден для великих дел, и ей следует радовать-ся тому, что она ограждает его от всякого зла.

Он отказался от нее, но она любит его по-прежнему и готова, как прежде, оберегать его и помогать ему во всем.

Она принялась за новое письмо. «Умоляю мою досто-читимую свекровь не думать обо мне слишком дурно...»

Но тут она запнулась. Что ей писать дальше? Лгать она никогда не умела, а смягчить горькую правду было нелегко.

Пока она раздумывала, что ей написать, прозвони-ли к завтраку. Времени на раздумья больше не было.

Тогда Шарлотта просто поставила свою подпись под этой единственной строчкой, сложила письмо и запечатала его. Она спустилась вниз, положила пись-мо в почтовый ящик и направилась в столовую.

Тут же она подумала, что ей больше незачем доиски-ваться, кто эта особа. Если она хочет, чтобы полковни-ца поверила ей, если она и впрямь готова принять вину на себя, ей не следует подвергать каре никого другого.

В ЗАОБЛАЧНЫХ ВЫСЯХ

I

Завтрак в пасторском доме, за которым обычно ели свежие яйца и хлеб с маслом, молочный суп с аппети-тными пенками и запивали все это глоточком кофе с восхитительными сладкими крендельками, вкуснее

которых не нашлось бы во всем приходе, обычно проходил гораздо веселее, чем обед и ужин. Старики пастор и пасторша, только что вставшие с постели, были радостны, как семнадцатилетние. Ночной отдых освежал их, и старческой усталости, которая давала себя знать к концу дня, точно и не бывало. Они обменивались шутками с молодежью и друг с другом.

Но, разумеется, в это утро о шутках не могло быть и речи. Молодежь была в немилости. Шарлотта крайне огорчила вчера стариков своим ответом Шагерстрёму, а молодой пастор обидел их тем, что не явился ни к обеду, ни к ужину, не предупредив об этом заранее.

Когда Шарлотта вбежала в столовую, все остальные уже сидели за столом. Она хотела было занять свое место, но ее остановило строгое восклицание пасторши:

— И ты собираешься сесть за стол с такими руками?

Шарлотта взглянула на свои пальцы, которые и впрямь были донельзя измараны чернилами после усердного писания.

— Ах, и впрямь! — смеясь, воскликнула она. — Вы, тетушка, совершенно правы. Простите! Простите!

Она выбежала из комнаты и вскоре вернулась с чистыми руками, не выказав ни малейшего недовольства выговором, который к тому же был сделан в присутствии жениха.

Пасторша посмотрела на нее с легким удивлением.

«Что это с ней? — подумала старушка. — То она шипит, как уж, то воркует, как голубка. Поди разбери эту нынешнюю молодежь!»

Карл-Артур поспешил принести извинения за свое вчерашнее отсутствие. Он вчера вышел прогуляться, но во время прогулки почувствовал усталость и лег отдохнуть на лесном пригорке. Незаметно для себя он уснул и, пробудившись, обнаружил, к величайшему своему удивлению, что проспал и обед, и ужин.

Пасторша, обрадованная тем, что Карл-Артур догадался объяснить свое отсутствие, благосклонно заметила:

— Незачем было стесняться, Карл-Артур. Уж во всяком случае, кое-что можно было бы собрать тебе поесть, хотя сами мы и отужинали.

— Вы слишком добры, тетушка Регина.

— Ну что ж, теперь тебе придется есть за двоих, чтобы наверстать упущенное.

— Должен вам заметить, добрейшая тетушка, что я вовсе не страдал от голода. По дороге я зашел к органисту, и фру Сундлер дала мне поужинать.

Чуть слышное восклицание раздалось с того места, где сидела Шарлотта. Карл-Артур бросил на нее быстрый взгляд и по уши залился краской. Ему не следовало упоминать имени фру Сундлер. Сейчас Шарлотта, должно быть, вскочит, закричит, что теперь она знает, кто оклеветал ее, и поднимет страшный скандал.

Но Шарлотта не шевельнулась. Лицо ее оставалось безмятежно спокойным. Если бы Карл-Артур не знал, сколько коварства таится за этим ясным белым челом, он сказал бы, что вся она лучилась каким-то внутренним светом.

Между тем не было ничего удивительного в том, что Шарлотта изумляла своих сотрапезников. С ней и впрямь происходило что-то необычное.

Впрочем, едва ли следует называть ее состояние необычным. Многие из нас, должно быть, переживают нечто подобное, когда нам после долгих и тщетных усилий удается наконец выполнить тяжкий долг или добровольно обречь себя на лишения. Более чем вероятно, что мы в это время пребываем в глубочайшем унынии. Ни воодушевление, ни даже сознание того, что мы поступили разумно и справедливо, не приходят к нам на помощь. Мы убеждены, что наше самопожертвование принесет нам лишь новые беды и страдания. Но вдруг, совершенно неожиданно, мы чувствуем, как сердце в нас радостно встрепенулось, как оно забило легко и свободно, и полное удовлетворение охватывает все наше существо. Словно каким-то чудом поднимаемся мы над нашим будничным, повседневным «я», ощущаем полнейшее равнодушие ко всем неприятностям; более того — мы убеждены, что с этой мину-

ты пойдем по жизни невозможно, и ничто не в силах будет изгнать из нашей души ту тихую, торжественную радость, которая переполняет нас.

Вот что примерно произошло с Шарлоттой, когда она сидела за завтраком. Горе, гнев, жажда мести, уязвленная гордость, поруганная любовь — все это отступило перед великим восторгом, охватившим ее при мысли о том, что она жертвует собою для любимого.

В эти минуты в душе ее не оставалось места ни для каких других чувств, кроме нежного умиления и сострадательного сочувствия. Все люди казались ей достойными восхищения. Любовь к ним переполняла ее до краев.

Она смотрела на пастора Форсиуса, сухонького старичка с плешивой макушкой, гладко выбритым подбородком, высоким лбом и острыми глазками. Он походил скорее на университетского профессора, нежели на священника, и он действительно в молодости готовил себя к ученой карьере. Он родился в восемнадцатом веке, когда еще гремела слава Линнея; он посвятил себя изучению естественных наук и был уже профессором ботаники в Лунде, когда его пригласили занять место пастора в Корсчюрке.

В этой общине уже в течение многих поколений пасторами были священнослужители из фамилии Форсиус. Должность эта переходила от отца к сыну как фидеикомис*, и поскольку профессор ботаники Петрус Форсиус был последним в роде, то его настоятельно просили и даже принуждали принять на себя заботу о душах, а цветы предоставить их собственной участи.

Все это было известно Шарлотте уже давно, но никогда прежде не понимала она, какой жертвой должен был быть для старика отказ от любимых занятий. Из него, разумеется, вышел превосходный пастор. В жилах его текла кровь столь многих достойных священнослужителей, что он отправлял свою должность с прирожденным умением. Но по многим едва заметным признакам Шарлотте казалось, что он все еще скорбит о том, что не смог остаться на своем месте и всецело отдаться своему истинному призванию. После того как у него

появился помощник, семидесятипятилетний старик снова вернулся к любимой ботанике. Он собирал растения, наклеивал их, приводил в порядок свой гербарий. Он, однако, не забросил и дела в общине. Усерднее всего он пекся о том, чтобы в общине царил мир, чтобы никакие распри не нарушали спокойствия и не ожесточали умов. Он стремился немедленно устранить любую причину несогласия. Оттого-то и огорчился он репримандом, который вчера получил от Шарлотты Шагерстрём. Но вчера Шарлотта была иной. Тогда она сочла старика не в меру осторожным и трусливым. Сегодня же она видела все в ином свете.

А пасторша...

Шарлотта перевела взгляд на старую хозяйку дома. Пасторша была рослой, жилистой и внешность имела совершенно непривлекательную. Волосы, в которых все еще не проглядывала седина, хотя пасторша была почти одних лет с мужем, она расчесывала на прямой пробор, опускала на уши и прятала под черным тюлевым чепцом, скрывавшим добрую половину лица. Шарлотта подозревала, что делалось это не без умысла, ибо хвастать пасторше было нечем. Старушка, наверно, думала, что довольно и того, что людям приходится лицезреть ее глаза, напоминающие две круглых перчинки, курносый нос с вывернутыми ноздрями, брови, походившие на два жалких пучка, широкий рот и острые, выпирающие скулы.

Вид у нее был весьма суровый, но если она и впрямь обходилась строго со своими домочадцами, то всего безжалостнее была она к самой себе. В приходе говорили, что телу пасторши Форсиус приходится нелегко. Она отнюдь не удовлетворялась просто сидением на диване с вышивкой или вязаньем. Нет, ей требовалась по-настоящему тяжелая работа; тогда лишь она бывала довольна. За всю ее жизнь никто ни разу не заставлял ее за столь бесполезными занятиями, как, скажем, чтение романов или брэнчание на фортепьяно. Шарлотта, которая подчас находила рвение пасторши излишним, в это утро безмерно восхищалась ею. Разве это не прекрасно — никогда не щадить себя и быть не-

утомимой труженицей вплоть до глубокой старости? Разве это не прекрасно — без усталости наводить в доме чистоту и порядок и не желать от жизни ничего иного, кроме возможности трудиться?

Да к тому же пасторша вовсе не была угрюмой старухой. Как живо чувствовала она все смешное, как мастерски умела рассказывать забавные истории, от которых слушатели хохотали до упаду!

Пасторша продолжала беседовать с Карлом-Артуром о фру Сундлер. Он сказал, что зашел к ней с визитом, так как она была дочерью Мальвины Спаак — старинного друга их семейства.

— Как же, как же! — отозвалась пасторша, которая знала в Вермланде решительно всех, а уж тем более тех, кто понимал толк в домашнем хозяйстве. — Дельная и толковая женщина была эта Мальвина Спаак.

Карл-Артур спросил, не находит ли она, что дочь столь же заслуживает похвалы, как и мать.

— Могу только сказать, что она содержит дом в порядке, — ответила пасторша. — Но боюсь, что она малость с придурью!

— С придурью? — удивленно переспросил Карл-Артур.

— Ну, разумеется, с придурью. Ее здесь никто не любит, и я пробовала как-то раз потолковать с ней. И знаешь, Карл-Артур, что она мне сказала на прощание? Она закатила глаза и сказала: «Если вы, тетушка, увидите когда-нибудь серебряное облако с золотыми краями, то вспомните обо мне!» Вот что она сказала. Что бы это могло значить?

Когда пасторша начала рассказывать об этом, губы ее чуть дрогнули в улыбке. Невозможно было без смеха представить себе, чтобы какое-нибудь здравомыслящее существо вздумало просить ее, Регину Форсиус, глядеть на облака с золотыми краями.

Но пасторша изо всех сил удерживалась от смеха. Она твердо решила сохранить строгость и серьезность в течение всего завтрака. Шарлотта видела, как она отчаянно борется с собою. Борьба была жестокой, но вдруг все лицо старушки пришло в движение. Глаза сузились, ноздри расширились, и смех наконец

одолеет ее. Черты лица исказились, а тело весело заколыхалось.

И все невольно расхохотались вслед за нею. Удержаться от смеха было невозможно. В сущности, подумала Шарлотта, стоит только увидеть, как пасторша Форсиус смеется, чтобы она тотчас всем полюбилась. Вы уже не замечаете, что она безобразна, и лишь испытываете благодарность к ней за ее заразительную веселость.

II

После завтрака, когда Карл-Артур покинул столовую, тетюшка Регина сказала Шарлотте, что пастор намерен этим утром отправиться с визитом в Озерную Дачу. Хотя девушка по-прежнему находилась все в том же восторженном состоянии, известие это несколько смутило ее. Не подтвердит ли визит пастора к заводчику подозрения Карла-Артура? Но она тотчас же успокоилась. Она ведь теперь пребывала в заоблачных высях, и все, что происходило на земле, так мало, в сущности, для нее значило.

Ровно в половине одиннадцатого к крыльцу была подана поместительная карета. Пастор Форсиус не ездил, разумеется, цугом, но его серые в яблоках норвежские рысаки, чернохвостые и черногривые, его статный кучер, с великолепным достоинством носивший свою черную ливрею, право же, выглядели весьма внушительно. По правде говоря, о пасторском выезде нельзя было сказать ничего худого, разве что лошади были жирноваты. Пастор слишком уж холил их. Вот и сегодня он долго колебался, ехать ли ему на них. Охотнее всего он отправился бы в одноконном экипаже, если бы ему пристало так ездить.

Пасторша и Шарлотта в это утро были званы к одиннадцати часам на кофе к жене аптекаря Гроберга, которая справляла именины, и поскольку дорога в Озерную Дачу проходила мимо деревни, они решили сесть в карету пастора и проехать часть пути. Когда они выехали за ворота усадьбы, Шарлотта обернулась к пастору, точно что-то внезапно пришло ей на ум:

— Сегодня утром, когда вы с тетушкой еще не встали, заводчик Шагерстрём прислал мне букет чудесных роз. Если хотите, дядюшка, можете передать господину Шагерстрёму мою благодарность.

Легко вообразить себе радость и удивление стариков. У них точно гора с плеч свалилась. Теперь мир в приходе ничем не будет нарушен. Шагерстрём, стало быть, вовсе не чувствует себя оскорбленным, хотя у него, бесспорно, есть для этого все основания.

— И ты только сейчас сказала об этом! — воскликнула пасторша. — Удивительная ты все-таки девушка!

Но как бы то ни было, старушка пришла в полный восторг. Она принялась расспрашивать, каким образом букет попал в усадьбу, был ли он красиво составлен, не нашлось ли среди цветов записки, и все прочее в том же духе.

Пастор же лишь кивнул Шарлотте и пообещал передать ее поклон. Плечи его выпрямились. Чувствовалось, что он избавился от большой заботы.

Шарлотта тут же подумала, что, кажется, поступила несколько опрометчиво. Но в это утро ей не терпелось осчастливить всех окружающих в той мере, в какой это от нее зависело. Она чувствовала непреодолимую потребность жертвовать собою ради счастья других.

Доехав до того места, где проезжая дорога сворачивала в сторону от деревенской улицы, карета остановилась, и женщины вышли из нее. Как раз на этом самом месте повстречал вчера Карл-Артур красивую далекарлийку.

Когда Шарлотте случалось ходить в деревню, она всякий раз останавливалась здесь, чтобы полюбоваться чудесным видом. Маленькое озеро, находившееся в самом центре ландшафта, отсюда было видно лучше, нежели из пасторской усадьбы, которая, по правде говоря, расположена была несколько низко. Отсюда же можно было обозреть все берега озера, которые весьма рознились друг от друга. На западной стороне, где находились теперь пасторша и Шарлотта, простирались обширные поля, и край этот был необычайно плодороден, судя по множеству разбросанных здесь

деревень. На севере находилась пасторская усадьба, также окруженная ровными, ухоженными полями. Но на северо-востоке начиналась местность, поросшая лиственными лесами. Здесь шумела речка с пенящимся водопадом, а между деревьями проглядывали черные крыши и высокие трубы. То были два больших горных завода, которые еще больше, нежели пашни и леса, способствовали богатству этих мест. На юге взору открывался скудный, необжитый край. Здесь высились холмы, густо одетые лесом. Такой же вид имел и восточный берег. Эта часть озера выглядела бы уныло и однообразно, если бы однажды богатому заводчику не вздумалось выстроить поместье на склоне холма, в самой гуще леса. Белый дом, возвышавшийся над еловыми кронами, отличался необычайной красотой. Искусное расположение парковых деревьев создавало своеобразный оптический обман. Дом казался настоящим неприступным замком с высокими стенами и башнями по бокам. Это поместье было поистине жемчужиной края, и невозможно было бы представить себе эту местность без него.

Шарлотта, которая обреталась теперь в заоблачных высях, не удостоила ни единым взглядом ни озеро, ни великолепное поместье. Зато старая пасторша, обычно не склонная к любованию природой, на этот раз остановилась и огляделась вокруг.

— Постоим минутку! — сказала она. — Полюбуйтесь на Бергхамру! Вообрази, люди говорят, что Озерная Дача скоро станет еще больше и краше. И знаешь ли, если бы мне сказали, что кое-кто, кого я люблю, живет в таком вот месте, я была бы просто счастлива.

Больше она не сказала ничего, а лишь стояла, покачивая головой и благоговейно сложив свои старые, морщинистые руки.

Шарлотта, отлично понявшая ее намек, не замедлила возразить:

— Ну, разумеется, куда как весело жить в самой гуще леса, где не увидишь ни единой живой души. Это не то что жить, как мы, у большого почтового тракта.

В ответ на это пасторша, любившая наблюдать за путниками на дороге, лукаво погрозила ей пальцем:

— Ну, ну, ты!

Затем она взяла Шарлотту под руку и зашагала с ней по нарядной деревенской улице, от начала до конца застроенной большими, почти барского вида, домами. Несколько убогих лачуг попало лишь в начале улицы. Домишки бедняков большей частью ютились на поросших лесом склонах и не видны были с улицы. Старинная деревянная церковь с высокой колокольней, шилом торчащей в небе, здание суда, приходский совет, большой, оживленный постоялый двор, дом доктора, особняк судьи, стоящий чуть поодаль от дороги, несколько зажиточных крестьянских дворов и аптека, расположенная в конце улицы и как бы замыкавшая ее, — все это свидетельствовало не только о том, что Корсчюрка была богатой деревней, но также и о том, что здешние жители идут в ногу со временем, что они люди деятельные и отнюдь не отстают от века.

Но пасторша и Шарлотта, мирно шагавшие рука об руку по деревенской улице, в душе благодарили Бога за то, что они не живут в деревне. Здесь тебя со всех сторон окружают соседи, и ты носа не можешь высунуть за дверь без того, чтобы все тотчас не увидели этого и не заинтересовались, куда ты идешь. Едва только они появлялись в деревне, их сразу же начинало тянуть назад, в их уединенную усадьбу, где они были сами себе хозяева. Они признавались, что в деревне им всегда бывает не по себе и что они лишь тогда чувствуют облегчение, когда окажутся на дороге, ведущей к дому, и завидят издали могучие липы, окружающие пасторскую усадьбу.

Наконец они дошли до двери аптеки. Они, должно быть, немного запоздали. Поднимаясь наверх по скрипучей деревянной лестнице, они услышали над своей головой оживленный разговор, точно гудение пчелиного улья.

— Эк их нынче разобрало! — сказала пасторша. — Послушай только, как они кудахчут. Не иначе, как что-то стряслось.

Шарлотта остановилась посреди лестницы.

Прежде ей ни на минуту не могло прийти в голову, что сватовство Шагерстрёма, расторгнутая помолвка и обручение Карла-Артура с далекарлийкой уже у всех на устах. Но теперь она начала опасаться, что именно эти события и обсуждаются у аптекарши столь оживленно и громогласно.

«Должно быть, эта бесценная супруга органиста уже всем насплетничала, — подумала она. — Нечего сказать, хорошую наперсницу завел себе Карл-Артур».

Но ни на минуту не пришла ей в голову мысль о том, чтобы повернуть назад. Отступить перед кучкой сплетниц — об этом не могло быть и речи даже при обычных обстоятельствах, а уж тем более теперь, когда она была совершенно нечувствительна ко всякой хуле.

При виде вновь прибывших гостей дамы, собравшись в большой комнате, стихли. Лишь одна старушка, которая горячо объясняла что-то своей соседке, подняв кверху указательный палец, все еще восклицала:

— Ну и ну, сестрица! Чего только не бывает в нынешние времена!

У всех присутствующих был несколько смущенный вид. Они, должно быть, никак не ожидали, что появятся гости из пасторской усадьбы.

Между тем аптекарша радушно поспешила к ним навстречу. Пасторша Форсиус, которая ничего не знала о том, что произошло между Шарлоттой и Карлом-Артуром, чувствовала себя совершенно непринужденно, хотя и заподозрила что-то неладное. Несмотря на то что пасторше было семьдесят лет, колени у нее сгибались, как у танцовщицы, и она сделала сперва глубокий реверанс всему обществу. Затем она обошла всех дам по очереди и с каждой поздоровалась отдельно, всякий раз приседая. Шарлотта, которую встретили с худо скрытой неприязнью, шла следом за ней. Ее реверансы были куда менее глубокими, но тягаться в этом с пасторшей было решительно невозможно.

Молодая девушка скоро заметила, что все избегают ее. Когда она, взяв свою чашку кофе, села за стол у окна, никто не подошел к ней и не занял свободного сту-

ла напротив. То же самое было, когда дамы отпили кофе и вынули из ридикюлей вышивки и вязанья. Ей пришлось сидеть одной; казалось, никто даже не замечает ее присутствия.

Вокруг нее кучками сидели дамы, склонив друг к другу головы так, что кружева и оборки их больших тюлевых чепцов переплетались между собой. Все понижали голоса, чтобы она их не слышала, но время от времени до нее все же доносились их оживленные восклицания:

— Ну и ну, сестрица! Чего только не бывает в нынешние времена!

Они, стало быть, сообщали друг другу, как она сначала отказала Шагерстрёму, но после раскаялась и коварно затеяла ссору с женихом, чтобы тот сгоряча порвал с нею. Ловко придумано, а? Весь позор должен был пасть на него. И никто не мог бы сказать, что она дала отставку неимущему жениху ради того, чтобы сделаться хозяйкой богатого имения. И ей удалось бы осуществить эту хитроумную затею и избежать всеобщего срама, если бы жена органиста не разгадала ее козней.

Шарлотта сидела, молча прислушиваясь к гулу голосов, но встать и начать оправдываться ей и в голову не приходило. Восторженное состояние, в котором она пребывала все утро, достигло высшей точки. Она не чувствовала боли, она парила в заоблачных высях и была недосыгаема ни для чего земного.

Весь этот ядовитый вздор обратился бы против Карла-Артура, если бы она не заслонила его собой. Тогда со всех сторон только и слышно было бы: «Ну и ну, сестрица! Слышали вы, сестрица? Молодой Экенстедт порвал со своей невестой. Ну и ну! Он выбежал на дорогу и посватался к первой встречной. Ну и ну! Как думаете, сестрица, может такой человек оставаться пастором в Корсчюрке? Ну и ну! Что скажет епископ?»

Она рада была, что все это обратилось против нее.

Так сидела Шарлотта в одиночестве, и сердце ее было переполнено радостью. Но в это время к ней подошла бледная и худая маленькая женщина.

Это была ее сестра, Мария-Луиза Лёвеншёльд, которая была замужем за доктором Ромелиусом. У нее было шестеро детей и пьяница муж, она была десятью годами старше Шарлотты, и между сестрами никогда не замечалось особой близости.

Она ни о чем не спросила Шарлотту, просто села напротив нее и принялась вязать детский чулок. Но рот ее был решительно сжат. Видно было, что она знала, что делает, занимая это место за столиком у окна.

Так сидели обе сестры. Время от времени до них доносилось все то же восклицание: «Ну и ну, сестрица!»

Вскоре они заметили, что фру Сундлер под села к пасторше Форсиус и что-то шепчет ей.

— Теперь и тетушка Регина узнает об этом, — сказала сестра Шарлотты.

Шарлотта приподнялась было со стула, но тут же одумалась и села на место.

— Скажи-ка мне, Мария-Луиза, — начала она минуту спустя. — Как там все вышло с этой Мальвиной Спаак? Кажется, речь шла о каком-то пророчестве или предсказании?

— Право, не думаю, что это так. Но я тоже ничего толком не помню. Вроде бы какой-то злой рок преследовал Лёвеншёльдов.

— А ты не могла бы разузнать, в чем было дело?

— Разумеется, у меня где-то должны храниться записи. Во всяком случае, это касается не нас, а Лёвеншёльдов из Хедебю.

— Спасибо! — сказала Шарлотта, и они снова замолчали.

Но вскоре все эти пересуды, казалось, вывели из терпения докторшу Ромелиус. Она наклонилась к Шарлотте.

— Я все понимаю, — шепнула она. — Ты молчишь ради Карла-Артура. Но я-то могла бы рассказать им, как все обстоит на самом деле.

— Ради бога, ни слова! — со страхом воскликнула Шарлотта. — Не все ли равно, что станется со мной? А Карла-Артура ждет большое будущее.

Сестра сразу же поняла ее. Она любила своего мужа, хотя он с первых же дней их супружества принес ей одни несчастья из-за своего пьянства. Однако она все еще не переставала надеяться, что он исправится и станет творить чудеса в своем лекарском искусстве.

Наконец настало время прощаться, и, когда дамы вышли в прихожую, толстуха Тея поспешила помочь пасторше надеть мантилью и завязать ленты на шляпе.

Шарлотта, которая обычно сама помогала одеваться своему старому другу и никому не уступала этого права, стояла, чуть побледнев, но не говоря ни слова. Когда они вышли на улицу, жена органиста поспешила вперед и предложила пасторше руку. Шарлотте же пришлось идти рядом.

Фру Сундлер сегодня, как никогда, испытывала ее терпение, но она знала, что избавится от нее, как только они дойдут до ее дома в начале улицы.

Но когда они дошли до него, фру Сундлер попросила разрешения проводить их до усадьбы. Ей так приятно будет пройтись после долгого сидения в комнате.

Пасторша ничего не возразила, и они продолжали свой путь. Шарлотта и на этот раз смолчала; она лишь чуть ускорила шаги, чтобы опередить пасторшу и Тею и не слышать масляного и нудного голоса жены органиста.

ШАГЕРСТРЁМ

Возвращаясь из пасторской усадьбы после неудавшегося сватовства, Шагерстрём всю дорогу улыбался. Не будь тут кучера и лакея, он хохотал бы во все горло, настолько забавным казалось ему то, что он, задумавший облагодетельствовать бедную компаньонку, потерпел такой афронт.

— Но она была совершенно права, — бормотал он. — Ей-богу, она была права, черт возьми. И как же я сам не подумал об этом, прежде чем ехать свататься. Впрочем, ей к лицу была эта гневная вспышка, — продолжал он свои размышления. — Тут-то я, во всяком случае, был вознагражден за свои хлопоты. Приятно было увидеть ее столь похорошевшей.

Спустя некоторое время Шагерстрём сказал себе, что хоть он и вел себя в этой истории в высшей степени глупо, но он не жалеет о ней, так как благодаря ей узнал наконец человека, которому ровным счетом наплевать на то, что он первый богач в Корсчюрке. Право же, эта молодая девушка и не подумала заискивать перед ним. Она и виду не подавала, что перед нею миллионер, и обошлась с ним, как с самым последним голодранцем.

«Ну и характер у девицы! — подумал он. — Право, я бы не желал, чтобы она думала обо мне дурно. Избави бог, я, разумеется, никогда больше не стану свататься к ней, но мне хотелось бы показать ей, что я вовсе не такой уж болван и вовсе не в обиде на нее за урок, который она преподавала мне».

Весь день он размышлял над тем, как ему загладить свою бесцеремонность, и наконец решил, что придумал нечто подходящее. Но на сей раз он не намерен был действовать очертя голову. Он решил сперва все подготовить и добыть необходимые сведения, чтобы снова не попасть впросак.

К вечеру ему пришло в голову, что не худо бы уже сейчас оказать Шарлотте маленькую любезность. Он рад будет послать ей немного цветов. Если она примет их, то ему легче будет впоследствии быть с ней на дружеской ноге. Он поспешил в сад.

— Мне хотелось бы составить красивый букет, — обратился он к садовнику. — Ну-ка, поглядим, что вы сможете мне предложить?

— Лучшее из того, что у нас есть, — это, пожалуй, красные гвоздики. Можно поместить их посередке, с боков пустить левкой и подбавить немного резеды.

Но Шагерстрём сморщил нос.

— Гвоздики, левкой, резеда! — сказал он. — Такие цветы есть в каждой усадьбе. Вы бы еще предложили мне колокольчики или маргаритки!

Подобная же участь постигла и львиный зев, и рыцарские шпоры, и незабудки. Все они были отвергнуты хозяином.

Наконец Шагерстрём остановился перед небольшим розовым кустом, полным цветов и бутонов. Осо-

бенно хороши были бутоны. Нежные лепестки выступали из чашечки с заостренными краями, напоминавшими крошечные листья.

— Но, господин заводчик, ведь это же роза столлистная! Впервые нынче цветет! Худо она у нас на севере приживается. Другого такого куста вы не сыщете во всем Вермланде!

— Это как раз то, что мне требуется. Я хочу послать букет в пасторскую усадьбу, а ведь вы знаете, что все другие сорта роз у них есть.

— Ах, вон что! — обрадованно сказал садовник. — В пасторскую усадьбу! Это дело иное. Я бы очень хотел, чтобы пастор увидел мои розы столлистные. Он-то знает в этом толк.

Итак, бедные розы были срезаны и посланы в пасторскую усадьбу, где их ожидала столь плачевная участь.

Но зато совершенно иной прием ожидал пастора из Корсчюрки, когда он на следующее утро явился в Озерную Дачу.

Вначале маленький пастор чинился и держался натянуто, но, в сущности, он был человеком прямодушным и простым, как и сам Шагерстрём. Оба они тотчас поняли, что церемонии между ними совершенно излишни, и вскоре беседовали запросто и непринужденно, как два старинных друга.

Шагерстрём воспользовался случаем, чтобы задать несколько вопросов о Шарлотте. Он осведомился о ее родителях, о ее состоянии, но прежде всего его интересовал жених Шарлотты и его виды на будущее. Ведь помощник пастора не имеет, должно быть, достаточно средств, чтобы жениться? Есть ли у молодого Экенстедта какие-либо надежды на повышение?

Пастор был крайне удивлен его вопросами, но поскольку все то, о чем спрашивал Шагерстрём, ни для кого не было секретом, он отвечал ему ясно и прямо.

«Он коммерсант, — думал старик, — и смотрит на все по-деловому. Видно, так принято в нынешние времена».

Наконец Шагерстрём пояснил, что он, будучи председателем правления горнозаводчиков, имеет право

назначать заводского пастора. Несколько недель тому назад там открылась вакансия. Жалованье, разумеется, не слишком велико, но пасторская усадьба весьма благоустроена, и прежнему обитателю жилось в ней недурно. Не думает ли пастор, что это место могло бы подойти молодому Экенстедту?

Предложение это крайне поразило пастора Форсуса, но старик был себе на уме и принял его, как нечто должное.

Он степенно вытащил табакерку, набил табаком свой огромный нос, утерся шелковым платком и лишь после этого ответил:

— Вы, господин заводчик, не могли найти юношу, более достойного вашего участия.

— Тогда это дело решенное, — сказал Шагерстрём.

Пастор спрятал табакерку в карман. Он почувствовал огромное облегчение. Вот так новость привезет он домой! Он нередко с беспокойством думал о будущем Шарлотты. Хотя он весьма высоко ценил своего помощника, но ему не по душе было, что тот и не помышляет о повышении, которое позволило бы ему жениться.

Внезапно добросердечный старик обратился к Шагерстрёму:

— Вы, господин заводчик, любите доставлять людям радость. Так не делайте этого вполонину! Поедьте к нам в пасторскую усадьбу и сами скажите о ваших планах молодым людям. Поедьте, и будьте свидетелем их счастья. Я хотел бы доставить вам эту радость, господин Шагерстрём.

Выслушав предложение пастора, Шагерстрём улыбнулся. Видно было, что оно ему пришлось по душе.

— Но, быть может, я приеду некстати? — нерешительно проговорил он.

— Некстати!.. Отнюдь! Об этом и речи быть не может! С такой-то вестью и некстати?

Шагерстрём готов был уже ответить согласием, но, внезапно спохватившись, хлопнул себя по лбу:

— Совсем из головы вон! Нет, я не смогу ехать. Сегодня я отправляюсь в дальнюю поездку. Карету подадут к двум часам.

— Да что вы говорите! — воскликнул пастор. — Экая жалость! Но я понимаю. Дело прежде всего.

— Уже и комнаты на постоянных дворах заказаны, — огорченно сказал Шагерстрём.

— А нельзя ли сделать так, чтобы вы, господин заводчик, отправились тотчас со мной в моей карете? Она ведь ждет меня, — сказал пастор. — А ваша карета придет за вами к нам в усадьбу в назначенное время.

На том и порешили. Форсиус и Шагерстрём отправились в Корсчюрку в карете пастора, а Шагерстрём распорядился, чтобы его карета приехала за ним в пасторскую усадьбу, как только будут уложены мешок с провизией и все вещи в дорогу.

По пути в Корсчюрку оба веселились, точно два крестьянина, едущие на ярмарку.

— По мне, так Шарлотта вовсе этого не заслужила, — сказал пастор. — Особенно если вспомнить, как она вчера обошлась с вами, господин заводчик.

Шагерстрём расхохотался.

— А теперь она окажется в весьма щекотливом положении, — продолжал пастор. — Хотел бы я поглядеть, как она из него выпутается. Это, должно быть, забавно будет! Вот увидите, господин заводчик, она выкинет что-нибудь этакое, неожиданное, до чего никто другой век бы не додумался. Ха-ха-ха, вот забавно-то будет!

Прибыв в усадьбу, они, к крайней своей досаде, услышали от служанки, что старая госпожа с барышней еще не возвращались с именин. Но пастор, зная, что они вот-вот должны появиться, пригласил Шагерстрёма в свою комнату, которая находилась в нижнем этаже. Сегодня у него и в мыслях не было просить его подняться наверх, в гостиную.

Пастор занимал в доме две комнаты. Первая представляла собой служебный кабинет, просторный и холодный. Огромный письменный стол, два стула рядом с ним, длинный кожаный диван и настенная полка с толстыми церковными книгами составляли все ее убранство, если не считать нескольких больших кактусов на подоконнике. Зато следующую комнату

пасторша постаралась обставить как можно уютнее для своего ненаглядного старика.

Пол здесь был устлан домотканым ковром, мебель была красивая и удобная. Здесь стояли мягкие диваны, кресла и письменный стол со множеством ящиков. На стенах висели длинные книжные полки. Кроме того, здесь были многочисленные папки с засушенными цветами и целая коллекция трубок.

Сюда-то и собрался пастор провести Шаггерстрёма, но, проходя через кабинет, они увидели Карла-Артура, который, сидя за огромной конторкой, заносил в объёмистый журнал умерших и новорожденных.

Когда они вошли, Карл-Артур поднялся и был представлен Шаггерстрёму.

— Ну, сегодня уж господину заводчику не придется уезжать ни с чем, — язвительно сказал он, отвечая на поклон.

Можно ли удивляться тому, что он пришел в описуемое волнение при виде Шаггерстрёма? Мог ли он не подумать, что все они, пастор, пасторша и Шарлотта, сговорились вернуть жениха, которому столь опрометчиво было отказано? Если у него оставалась еще хоть тень сомнения в бесчестности Шарлотты, то разве появление жениха, привезенного в усадьбу самим пастором, не должно было окончательно убедить его? Разумеется, ему теперь безразлично, за кого пойдет Шарлотта, но в этой поспешности виделось ему нечто неблагородное, нечто бесцеремонное. Омерзительно было наблюдать, как в доме священника из кожи лезут вон, чтобы добыть родственнице богатого мужа.

Старый пастор, который не подозревал о расторжении помолвки, удивленно посмотрел на Карла-Артура. Он не мог уразуметь смысла его слов, но, почувствовав по тону, что Карл-Артур враждебно настроен к Шаггерстрёму, счел за благо объяснить, что на сей раз заводчик приехал не с целью сватовства.

— Господин заводчик, собственно говоря, приехал к тебе, — сказал он. — Не знаю, имею ли я право выдавать его планы до возвращения Шарлотты, но ты оста-

нешься доволен, любезный брат; право же, ты будешь доволен.

Дружелюбный тон не оказал ровно никакого воздействия на Карла-Артура. Он стоял сдержанный и мрачный, без тени улыбки на лице.

— Если господин Шагерстрём имеет что-либо сказать мне, то ему незачем ждать возвращения Шарлотты. У нас с ней нет больше ничего общего.

С этими словами он вытянул вперед левую руку, чтобы пастор и Шагерстрём могли видеть, что на его безымянном пальце нет больше обручального кольца.

У бедного старика от изумления голова пошла кругом.

— Ради бога, любезный брат мой, когда вы это надумали? Неужели за то время, что меня не было дома?

— О нет, дядюшка. Все было ясно еще вчера. Господин Шагерстрём приезжал свататься в двенадцать часов. Час спустя наша помолвка была расторгнута.

— Расторгнута? — спросил пастор. — Но Шарлотта не сказала ни слова.

— Простите, дядюшка, — сказал Карл-Артур, раздосадованный тем, что старик пытается играть в неведение. — Простите, но я ведь вижу, что дядюшка выполняет роль посланца амура.

Маленький пастор выпрямился. Он сделался разом чопорен и холоден.

— Пойдемте ко мне, — сказал он. — Надо разобраться в этом деле раз и навсегда.

Минуту спустя, когда они разместились, пастор — за письменным столом, Шагерстрём — на диване в глубине комнаты, а Карл-Артур — в качалке у двери, Форсис обратился к своему помощнику:

— Не стану отрицать, любезный брат, что вчера я посоветовал моей внучатой племяннице принять предложение господина Шагерстрёма. Она ждала тебя пять лет. Как-то нынешним летом я спросил тебя, не собираешься ли ты предпринять что-нибудь для ускорения женитьбы, и ты ответил отрицательно. Как ты, быть может, припоминаешь, я тогда же объявил тебе, что сделаю все от меня зависящее, чтобы убедить

Шарлотту разорвать ваш союз. У Шарлотты нет ни единого эре, и когда меня не станет, она останется совсем одна, без помощи и защиты. Ты меня знаешь; я во все не чувствую угрызений совести оттого, что дал ей такой совет. Но она поступила по своему разумению. И на том дело было кончено, и больше, любезный брат, у нас не было с нею об этом никаких разговоров.

Шагерстрём сидел в своем углу, наблюдая за молодым Экенстедтом. Поведение Карла-Артура чем-то корбило его. Молодой пастор сидел, развалиясь, в качалке, покачиваясь взад и вперед, точно хотел показать, что не придает словам старика ни малейшего значения. Он то и дело порывался перебить его, но пастор продолжал свои объяснения.

— Ты скажешь после, любезный брат, ты будешь говорить, сколько захочешь, но прежде позволь мне высказать все. Когда я нынче ехал в поместье господина заводчика, я не знал о том, что ваша помолвка расторгнута, и не собирался предлагать Шарлотту в жены господину Шагерстрёму. Я поехал затем, что желаю сохранить мир в приходе, — а я полагал, что у господина Шагерстрёма имелись основания быть недовольным тем, как ответила Шарлотта на его предложение. Но, приехав в Озерную Дачу, я убедился, что господин заводчик держится совсем иного мнения. Он полагает, что мои понятия устарели и что Шарлотта ответила ему как должно. Он нимало не был в претензии и думал лишь о том, как бы устроить ваше счастье. Он намерен был предложить тебе место заводского пастора на рудниках в Эртофте, патроном которых он является. Он затем и приехал сегодня, чтобы потолковать об этом с нею и с тобой. Отсюда ты, верно, можешь понять, что господин Шагерстрём, так же как и я, даже не подозревал о том, что ваша помолвка расторгнута. Теперь ты выслушал все, что я хотел сказать, и можешь попросить у нас прощения за свои необдуманные обвинения, дражайший брат!

— Я не могу не верить вашим словам, досточтимый дядюшка, — начал Экенстедт. Он поднялся и принял ораторскую позу, скрестив руки на груди и опершись

спиной о полку с книгами. — Зная вашу порядочность, почтеннейший дядюшка, я понимаю, что Шарлотта не могла и помыслить о том, чтобы посвятить вас в свои темные замыслы. Я также вполне согласен с вами, досточтимый дядюшка, в том, что я неподходящая партия для Шарлотты. И если бы Шарлотта, подобно вам, досточтимый дядюшка, открыто и честно заявила об этом, то мне, разумеется, было бы очень больно, но я все же сумел бы понять и простить ее. Шарлотта, однако, избрала иной путь. Боясь, должно быть, уронить себя в глазах людей, она сперва с горделивым бескорытием отказывает господину Шагерстрёму. Но она, разумеется, не намерена всерьез отказываться от него. Вместо того она толкает меня на разрыв. Она знает мою горячность и пользуется ею. Она употребляет выражения, которые, как ей известно, могут довести меня до исступления, и она достигает своей цели. Я порываю с ней, и она полагает, что игра выиграна. На меня хочет она свалить всю вину. Против меня хочет она обратить гнев моего досточтимого дяди и всех других. Я порываю с ней, хотя она только что ради меня отвергла блестящее предложение. Я порываю с ней, хотя она ждала меня пять лет. Кто же станет удивляться, если она после подобного поступка ответит согласием господину Шагерстрёму? Кто станет порицать ее за это?

Он широко развел руками. Пастор вздрогнул и отвернулся от своего помощника. Высокий лоб старика как раз посредине пересекали пять тонких морщинок. В начале речи Карла-Артура морщины стали наливать кровью, и теперь они рдели, как рана. Это было признаком того, что миролюбивый пастор Корсчюрки разгневан до чрезвычайности.

— Но позволь, любезный друг мой...

— Простите, досточтимый дядюшка, я еще не все сказал. В тот час, когда я ради спасения души был вынужден разорвать союз с Шарлоттой, Бог послал мне другую женщину, простую, бесхитростную женщину из народа, и с ней я вчера обменялся обетом вечной верности. Так что я всецело вознагражден. Я совершенно

счастлив и не думаю сетовать на свою участь. Но я не вижу надобности нести ненавистное бремя всеобщего презрения, которое Шарлотта вознамерилась взвалить на меня.

Шагерстрём быстро поднял голову. Во время последних слов молодого Экенстедта он почувствовал, что в комнате, или, вернее сказать, в атмосфере ее, произошла какая-то неуловимая перемена. И теперь он заметил Шарлотту, которая стояла в дверях позади жениха.

Она вошла так тихо, что никто ее не заметил. И Карл-Артур продолжал говорить, не подозревая о ее присутствии. И пока он распространялся о ее вероломстве и хитрости, она стояла, кроткая, точно ангел-хранитель, и смотрела на него взором, полным истинного сочувствия и нежной, преданной любви. Шагерстрём достаточно часто видел это выражение на лице своей покойной жены, чтобы понять, что оно означает, и не сомневаться в его искренности.

Шагерстрём не думал о том, хороша ли была Шарлотта в эту минуту. Она выглядела так, точно прошла сквозь сильный огонь, который не обжег и не закоптил ее, а лишь выжег все наносное, все несовершенное, и она вышла из него еще светлее и чище.

Он не постигал, как может молодой Экенстедт не ощущать на себе тепла ее взгляда, не чувствовать, как окутывает его ее любовь.

Что до него, то ему казалось, что эта любовь заполнила всю комнату. Он чувствовал силу ее лучей даже здесь, в своем углу. Они заставляли сильнее биться его сердце.

Ему стало не по себе при мысли о том, что она вынуждена выслушивать все эти возводимые на нее обвинения, которые представлялись ему нелепыми и бездоказательными. Он сделал движение, чтобы встать.

Тут Шарлотта обратила взор в его сторону и разглядела его в полутьме. Она, должно быть, поняла его нетерпеливый жест. Она заговорщически улыбнулась ему и приложила палец к губам в знак того, что он не должен выдавать ее присутствия.

Минуту спустя она исчезла так же тихо, как и появилась. Ни пастор, ни жених не знали о том, что она заходила в комнату. С этого мгновения Шагерстрёма охватила сильнейшая тревога.

До сих пор он не придавал особенного значения тирадам Карла-Артура, полагая, что речь идет всего лишь о небольшой размолвке между влюбленными, которая прекратится сама собой, как только жених успокоится. Но, увидев Шарлотту, он понял, что в доме пастора разыгрывается истинная драма.

И поскольку, судя по всему, именно он своим недуманным сватовством послужил причиной раздора, он начал искать пути к примирению влюбленных. Нужно было доказать невиновность Шарлотты, и Шагерстрём полагал, что это не представит особой трудности.

Владелец большого состояния и председатель многих акционерных обществ, он развил в себе умение примирять враждующие стороны. Он был почти убежден, что сумеет уладить все в самое короткое время.

Едва только Карл-Артур закончил свою речь, как в соседней комнате послышались тяжелые старческие шаги, и на пороге появилась пасторша Регина Форсисус. Она тотчас же заметила Шагерстрёма.

— Как, господин заводчик, вы снова тут?

Это вырвалось у нее просто и безыскусственно, в порыве искреннего удивления. Она не успела придумать более учтивого приветствия.

— Да, — ответил Шагерстрём. — Но сегодня мне так же не повезло. Вчера я предлагал свое имение, нынче я предлагаю пасторскую усадьбу и место пастора, но мне и теперь отказывают.

Появление жены, казалось, вдохнуло мужество в старого пастора. Морщины у него на лбу снова налились кровью, он поднялся и повелительным жестом указал на дверь.

— Будет лучше, если ты сейчас пойдешь к себе, — сказал он, обращаясь к Карлу-Артуру, — и поразмыслишь над всем этим еще раз. У Шарлотты, разумеется, есть свои недостатки, обычные недостатки Лёвеншёльдов.

Она вспыльчива и заносчива, но хитрой, вероломной или корыстолюбивой она не была никогда. И не будь ты сыном моего высокочтимого друга полковника Экенстедта...

Тут пасторша прервала его:

— Ясно, что нам с Форсиусом хотелось бы быть на стороне Шарлотты, — сказала она, — но не знаю, вправе ли мы брать ее под защиту на этот раз. Я тут многого не понимаю. Прежде всего я не понимаю, почему она ничего не сказала нам ни вчера, ни сегодня. Отчего обрадовалась тому, что Форсиус поехал в Озерную Дачу, и отчего просила передать поклон и благодарность за розы господину Шагерстрёму, если знала мысли Карла-Артура на этот счет? Но я не осудила бы ее только за это, не будь еще и другого.

— А в чем дело? — нетерпеливо спросил пастор.

— Почему она молчит? — сказала пасторша. — На именинах у аптекарши все уже знали о размолвке и о сватовстве. Одни ее избегали, другие поносили ее, а она и не думала оправдываться. Если бы она швырнула им в лицо чашку с кофе, я возблагодарила бы Создателя, но она сидела безропотная и покорная, точно распятая на кресте, предоставив им злословить сколько душе угодно.

— Не станешь же ты обвинять ее в столь дурном поступке оттого только, что она не пожелала оправдываться! — сказал пастор.

— Возвращаясь домой, я решила испытать ее, — продолжала пасторша. — Усерднее всех поносила ее жена органиста, которую она всегда терпеть не могла. Но я позволила фру Сундлер взять меня под руку и проводить нас до самой усадьбы. Она и этому не воспротивилась. Неужто Шарлотта Лёвеншёльд допустила бы, чтобы кто-нибудь другой вел меня под руку, будь у нее совесть чиста? Я ничего не хочу сказать, я только спрашиваю.

Никто из трех мужчин не проронил ни слова. Наконец пастор промолвил с нотками усталости в голосе:

— Похоже, что сейчас мы в этом деле не разберемся. Оно, должно быть, прояснится лишь со временем.

— Простите, дядюшка, — возразил Карл-Артур, — но для меня необходимо, чтобы оно прояснилось сейчас. Мои поступки могут вызвать осуждение, если не станет ясно, что Шарлотта сама вызвала разрыв.

— Спросим ее самое, — предложил пастор.

— Мне надобен более надежный свидетель, — сказал Карл-Артур.

— Если мне позволено будет вмешаться, — сказал Шагерстрём, — то я хотел бы предложить способ добиться ясности. Речь ведь идет о том, чтобы удостовериться, вправду ли фрёкен Лёвеншёльд умышленно подстрекнула жениха на разрыв, чтобы затем иметь возможность ответить согласием на мое предложение. Не так ли?

Да, это было так.

— Я полагаю, что все это не более чем недоразумение, — продолжал Шагерстрём, — и предлагаю возобновить свое сватовство. Не сомневаюсь, что она ответит отказом.

— Но готов ли господин заводчик принять на себя все последствия? — спросил Карл-Артур. — А что, если она согласится?

— Она откажется, — ответил Шагерстрём. — И поскольку ясно, что именно я виновен в разрыве магистра Экенстедта с его невестой, то я бы хотел сделать все от меня зависящее, чтобы меж ними снова установились добрые отношения.

Карл-Артур недоверчиво рассмеялся.

— Она ответит согласием, — сказал он. — Если только ее каким-нибудь образом не предупредят и она не будет знать, в чем дело.

— Я не имел намерения говорить с нею лично, — сказал Шагерстрём. — Я напишу ей.

Он подошел к письменному столу пастора, взял листок бумаги и перо и написал несколько строк:

«Простите, фрёкен, что я осмеливаюсь снова беспокоить вас, но, узнав от вашего жениха о расторжении помолвки, я хотел бы возобновить мое вчерашнее сватовство».

Он показал написанное Карлу-Артуру. Тот одобрительно кивнул.

— Могу я попросить, чтобы кто-нибудь из слуг отнес письмо фрёкен Лёвеншёльд? — спросил Шагерстрём.

Пастор дернул за висевшую на стене расшитую бирюзовую занавеску, и вскоре появилась служанка.

— Альма, вы не знаете, где сейчас барышня?

— Барышня у себя в комнате.

— Отнесите ей тотчас же записку господина Шагерстрёма и скажите, что он ждет ответа.

Когда служанка вышла, в комнате воцарилось молчание. В тишине отчетливо стали слышны слабые, дребезжащие звуки старых клавикордов.

— Она как раз над нами, — сказала пасторша. — Это она играет.

Они не решались взглянуть друг на друга, а только напряженно прислушивались. Вот послышались шаги служанки на лестнице, затем отворилась дверь. Музыка стихла. «Теперь Шарлотта читает записку», — думал каждый из них.

Старая пасторша сидела, дрожа всем телом. Пастор молитвенно сложил руки. Карл-Артур бросился в кресло-качалку, и на губах его заиграла недоверчивая усмешка. Шагерстрём сидел с невозмутимым видом, какой обычно появлялся у него в те минуты, когда решались важные дела.

Наверху послышались легкие шаги. «Шарлотта садится к столу, — думали они. — Что она напишет?»

Несколько минут спустя легкие шаги прошестелели обратно к двери. Дверь отворилась и закрылась снова. Это ушла служанка.

Хотя все силились сохранять наружное спокойствие, никто из них не мог усидеть на месте. Когда девушка вошла, все они находились уже в первой комнате.

Она подала Шагерстрёму маленький листок, который он развернул и прочел.

— Она ответила согласием, — сказал Шагерстрём, и в голосе его послышалось явное разочарование.

Он прочитал письмо Шарлотты вслух:

— «Если господин заводчик готов жениться на мне после всего дурного, что обо мне говорят, то я могу ответить только согласием».

— Желаю вам счастья, господин заводчик, — сказал Экенстедт с насмешливой улыбкой.

— Но ведь это всего лишь испытание, — сказала пасторша, — и оно ни в коей мере ни к чему не обязывает господина Шагерстрёма.

— Разумеется, нет, — сказал пастор. — И Шарлотта первая...

Шагерстрём явно колебался, не зная, как ему поступить.

Тут во дворе послышался стук экипажа, и все выглянули в окно. Это подъехала к крыльцу карета Шагерстрёма.

— Я просил бы вас, господин пастор, и вас, госпожа пасторша, — произнес Шагерстрём весьма официально, — передать фрёкен Шарлотте благодарность за ее ответ. Поездка, которая была назначена уже давно, принуждает меня отлучиться на несколько недель. Но я надеюсь, что по моем возвращении фрёкен Лёвеншёльд позволит мне позаботиться об оглашении помолвки и свадьбе.

НОТАЦИЯ

— Гина, друг мой сердечный, — сказал старый пастор, — я не могу понять Шарлотту. Придется потребовать у нее объяснений.

— Разумеется, ты совершенно прав, — поспешно согласилась пасторша. — Может, позвать ее сюда сейчас же?

Шагерстрём уехал, а Карл-Артур ушел к себе во флигель. Старики остались одни в комнате пастора. Если они хотели учинить небольшой допрос Шарлотте, то момент для этого был самый удобный.

— Вчера она отказывает Шагерстрёму, а сегодня с благодарностью принимает его предложение, — сказал старик. — Слыхано ли подобное непостоянство? Право же, я вынужден буду сделать ей небольшое внушение.

— Ей никогда не было дела до того, что говорят о ней люди, — вздохнула пасторша. — Но это уже переходит всякие границы.

Она направилась было к вышитой бисером сонетке, но внезапно остановилась в нерешительности. Проходя мимо мужа, она взглянула на его лицо. Оно было совершенно серым, если не считать пяти морщинок на лбу, которые продолжали пылать, как раскаленные уголья.

— Знаешь что? — сказала пасторша. — Я вот думаю, вполне ли ты готов к разговору с Шарлоттой. С нею ведь сладить нелегко. А что, ежели отложить разговор до после обеда? Может, к тому времени тебе удастся придумать что-нибудь поубедительнее.

Разумеется, старушке очень хотелось, чтобы ее милая компаньонка получила изрядный нагоняй, но она видела, что долгая езда и сильное душевное волнение утомили мужа. Нельзя было сейчас допускать его объяснения с Шарлоттой, которое могло бы еще больше взволновать его.

В эту минуту вошла служанка и доложила, что обед подан, так что появился еще один повод оттянуть разговор с Шарлоттой.

Обед проходил в гнетущем молчании. У всех четверых и аппетит, и настроение были не из лучших. Салатники и блюда уносились почти такими же полными, какими подавались на стол. Все сидели на своих местах только потому, что так полагалось.

Когда обед закончился и Шарлотта с Карлом-Артуром удалились каждый к себе, пасторша настояла на том, чтобы муж не лишал себя обычного послеобеденного отдыха из-за Шарлотты. Право же, этот разговор с нею вовсе не к спеху. Она ведь тут, в доме, и прочитать ей нотацию можно будет в любое время.

Убедить пастора оказалось вовсе не трудно. Но лучше бы ему было не откладывать этого дела, потому что не успел он встать ото сна, как к нему явилась молодая пара, которая настаивала, чтобы ее обвенчал непременно сам пастор. Затем подошло время пить кофе, и едва они поднялись из-за стола, как явился коронный

фогт*, чтобы поиграть в шашки. Оба старика стучали шашками допоздна, и на этот день закончился.

Впрочем, утро вечера мудренее. В среду пастор уже выглядел совершенным молодцом. Теперь не было больше никаких препятствий к тому, чтобы распечь Шарлотту.

Но увы! После завтрака пасторша обнаружила, что ее муж занят на огороде прополкой гряд, которые совсем было заглушил чертополох. Она поспешила к нему.

— Знаю, знаю, ты хочешь, чтобы я поговорил с Шарлоттой, — начал старик, едва увидев пасторшу. — Я о том только и думаю. Она получит нахлобучку, какой еще в жизни не получала. Я для того и ушел в огород, чтобы собраться с мыслями.

С легким вздохом пасторша повернулась и ушла к себе на кухню. Дел у нее было по горло. Наступил конец июля, и нужно было солить шпинат, сушить горох, варить варенье и сироп из малины.

«Ох-ох-ох! — думала она. — Уж слишком он себя утруждает. Сочиняет небось целую проповедь. Но что поделаешь, все пасторы таковы. Чересчур много красноречия расточают они на нас, бедных грешников».

Можно понять, что при всех хлопотах пасторша успевала приглядывать и за Шарлоттой, боясь, как бы та снова чего-нибудь не натворила. Но надзор этот едва ли был нужен. Еще в понедельник, до того, как в усадьбу приехал Шагерстрём, от которого и пошли все беды, Шарлотта принялась резать тряпки для плетеных ковриков. Они с пасторшей поднялись на чердак, собрали старое платье, которое уже ни на что не годилось, и вместе с другим тряпьем снесли вниз, в буфетную, где обычно занимались этой работой, чтобы не мусорить в других чисто прибранных комнатах. И весь день во вторник, равно как и в среду, Шарлотта сидела в буфетной и без усталости разрезала тряпки. Она даже не выходила за дверь. Можно было подумать, что она сама подвергла себя добровольному заточению.

«Ну и пусть сидит там, — думала пасторша. — Право же, лучшего она не заслуживает».

Приглядывала она и за мужем. Он не уходил с огорода и не посылал за Шарлоттой.

«Форсиус, видно, сочиняет проповедь на добрых два часа, — думала она. — Разумеется, Шарлотта поступила дурно, но мне, ей-богу, становится жаль ее».

Во всяком случае, до обеда ничего не случилось. Затем все пошло обычным порядком — обед, послеобеденный сон, вечерний кофе, игра в шашки. Пасторша не хотела больше заводить об этом разговор. Она лишь сожалела, что не дала мужу объясниться с Шарлоттой накануне, когда гнев его еще не остыл и он мог бы высказать ей все без обиняков.

Но вечером, когда они лежали бок о бок на широкой кровати, пастор попытался объяснить свою нерешительность.

— Право же, нелегко распекать Шарлотту, — сказал он. — Так много всего приходит на ум!

— Не думай о том, что было! — посоветовала пасторша. — Я знаю, ты вспоминаешь о том, как она вместе с конюхом объезжала по ночам твоих лошадей, потому что боялась, как бы они не зажирили. Оставь ты это! Думай только о том, что нам надо выяснить, вправду ли она сама толкнула Карла-Артура на разрыв. В этом все дело. Имей в виду, люди уже начинают сомневаться, станем ли мы после этого держать Шарлотту в своем доме.

Пастор улыбнулся.

— Да, Шарлотта оказала мне поистине добрую услугу, объезжая моих лошадей по ночам. Совсем как тогда, когда она хотела порадовать меня, доказав, что мои лошади бегают не хуже других, и приняла участие в скачках.

— Да, немало натерпелись мы из-за этой девушки, — вздохнула пасторша. — Но все это забыто и прощено.

— Разумеется, — согласился пастор. — Однако есть еще кое-что, чего я не могу забыть. Помнишь, какими мы оба были семь лет назад, когда Шарлотта лишилась родителей и нам пришлось взять ее к себе? Гина, сердечный друг мой, тогда ты не была такой бодрой, как теперь. Можно было подумать, что тебе уже восемьде-

сят лет. Ты была так слаба, что едва волочила ноги. Каждый день я со страхом ждал, что потеряю тебя.

Пасторша тотчас же поняла, на что он намекает. В тот день, когда ей исполнилось шестьдесят пять лет, она сказала себе, что довольно уж ей заниматься хозяйством, и решила нанять экономку. Ей посчастливилось найти превосходную женщину. Отныне она была свободна от всяких забот; экономка не желала даже, чтобы пасторша показывалась на кухне. Но старушка стала чахнуть день ото дня. Она разом почувствовала себя слабой, хилой и несчастной и совсем пала духом. Все опасались, что она недолго протянет.

— Да, что верно, то верно. Когда Шарлотта появилась у нас, я и впрямь чувствовала себя худо, хотя никогда не жила в такой праздности и благополучии. Но Шарлотта не смогла поладить с моей экономкой. Она наградила ее щелчком по носу, когда хлопот перед Рождеством было по горло! Мамзель отказалась от места, и мне, хилой, немощной старухе, пришлось тащиться на пивоварню, а после еще варить в щелоке рыбу. Нет, этого я вовек не забуду.

— Да, да, не забывай этого, — смеясь, отозвался пастор. — Гина, друг мой сердечный, ты ведь старая труженица, и ты почувствовала себя здоровой, как только тебе снова пришлось варить пиво и рыбу. Ничего не скажешь, Шарлотта и впрямь доставила нам немало хлопот, но этот щелчок по носу спас тебе жизнь.

— А что уж говорить о тебе? — прервала старушка, которой не хотелось признаваться в том, что она жить не может без утомительных домашних хлопот. — Ты бы небось тоже лежал теперь в могиле, если б Шарлотта не свалилась в церкви со скамьи.

Пастор тотчас же понял, на что она намекает. Когда Шарлотта переехала жить в усадьбу, пастор сам управлялся со всеми делами в приходе и вдобавок говорил проповеди по воскресеньям.

Жена убеждала его взять помощника. Она видела, что муж совсем выбивается из сил и к тому же чувствует постоянную неудовлетворенность из-за того, что не имеет досуга для занятий своей любимой ботаникой.

Но он заявил, что будет исполнять свой долг, покуда в нем теплится хоть искра жизни. Шарлотта не докучала ему уговорами, она просто-напросто заснула однажды в воскресенье во время проповеди и спала так крепко, что свалилась со скамьи и учинила целый переполох в церкви. Разумеется, старик рассердился на нее, но после этого конфуза он понял, что слишком стар для того, чтобы говорить проповеди. Он взял себе помощника, избавился от многих докучливых обязанностей и снова воспрянул духом.

— Да, разумеется, — сказал он. — Этой своей пределкой Шарлотта сохранила мне не один год жизни. Все это и приходит на ум, когда я собираюсь распекать ее, и ничего у меня не получается.

Пасторша не ответила ни слова, но украдкой смахнула с ресницы слезу.

Тем не менее ей казалось, что на сей раз Шарлотте нельзя давать спуску, и она снова принялась за свое:

— Все это верно, но не хочешь же ты сказать, что вовсе не намерен выяснять, правда ли то, что помолвку расстроила сама Шарлотта!

— Если не знаешь, каким путем идти, то лучше постоять на месте и обождать, — сказал старик. — И мне думается, что так нам с тобою и следует поступить на этот раз.

— Но подумай, какой грех берешь ты на душу, позволяя Шагерстрёму жениться на Шарлотте, если она и впрямь такова, как люди о ней говорят.

— Если бы Шагерстрём пришел ко мне и спросил моего совета, — сказал пастор, — то я знал бы, что ответить ему.

— Вот как! — заметила пасторша. — Ну и что бы ты ему ответил?

— Я ответил бы ему, что будь я сам холостяком, и притом лет на пятьдесят моложе...

— Что, что? — воскликнула пасторша и села на постели.

— Да, я ответил бы ему, — невозмутимо продолжал пастор, — что будь я холостяком, и притом лет на пятьдесят моложе, и повстречай я девушку столь жи-

вую и обаятельную, как Шарлотта, я бы сам к ней по-сватался.

— Ну и ну! — воскликнула пасторша. — Ты и Шарлотта! Ох, и солоно бы тебе пришлось!

Лицо ее сморщилось, и она, всплеснув руками, с громким хохотом повалилась на подушки.

Старик посмотрел на нее чуть обиженно, но она продолжала хохотать. Вскоре он уже и сам смеялся. Их охватил такой приступ веселья, что они утомонились и уснули лишь далеко за полночь.

ОБРЕЗАННЫЕ ЛОКОНЫ

Поздним вечером в четверг в пасторскую усадьбу в большой дорожной карете приехала полковница Беата Экенстедт. Она приказала остановить карету перед домом, но не вышла из нее, а велела служанке, выбежавшей помочь ей, чтобы та попросила хозяйку выйти на крыльцо. Полковница желала бы сказать ей несколько слов.

Пасторша Форсиус тотчас же появилась на крыльце, приседа в реверансе и улыбаясь во весь рот. Какая радость, какая приятная неожиданность! Не хочет ли милая Беата выйти из экипажа и отдохнуть после долгого пути под этой скромной крышей?

Разумеется, полковница ничего лучшего не желает, но прежде она хочет знать, находится ли еще в доме эта ужасная женщина.

Пасторша сделала удивленное лицо.

— Ты имеешь в виду ту дрянную кухарку, что была у нас, когда ты в последний раз приезжала? Так ей уж давно отказано. На сей раз ты будешь довольна кушаньями.

Но полковница не трогалась с места.

— Не прикидывайся, Гина! Ты отлично знаешь, что я имею в виду ту негодницу, с которой был помолвлен Карл-Артур. Я хочу знать, осталась ли она у тебя в доме.

Теперь уж пасторша принуждена была понять, о ком идет речь. Но что бы ни думала старушка о Шарлотте,

она готова была защищать всякого, живущего под ее крышей, даже если бы против нее ополчилось все человечество.

— Да простит меня Беата, но ту, которая целых семь лет была нам с Форсиусом вместо дочери, мы не можем так просто выгнать из дому. Тем более что никто не знает, как в действительности обстоит дело.

— У меня есть письмо от сына, у меня есть письмо от Теи Сундлер, у меня есть письмо от нее самой. Мне то все ясно.

— Если у тебя есть письмо от нее самой, которое доказывает ее вину, то черта с два ты уедешь отсюда, не показав мне его! — вскричала пасторша, которая была до того поражена и взволнована, что не смогла удержаться от бранного слова.

Она приблизилась к маленькой упрямой полковнице, которая съезжилась в углу кареты. Казалось, пасторша готова была силой вытащить ее из экипажа.

— Поезжай! Поезжай! — крикнула полковница кучеру.

В этот момент из флигеля вышел Карл-Артур. Он узнал голос матери и бегом пустился к жилому дому усадьбы.

Встреча была самая нежная. Полковница обняла сына и принялась целовать его столь горячо и пылко, как будто он только что избежал смертельной опасности.

— Но разве вы, матушка, не выйдете из кареты? — спросил Карл-Артур, несколько смущенный этими поцелуями в присутствии кучера, форейтора, служанки и пасторши.

— Нет! — объявила полковница. — Я всю дорогу твердила себе, что не смогу спать под одной крышей с женщиной, которая столь бесстыдно предала тебя. Садись со мною, поедем на постоянный двор.

— Ах, да не ребячься же, Беата! — сказала пасторша, которая уже овладела собой. — Если ты останешься, то даю тебе слово, что ты и в глаза не увидишь Шарлотту.

— Но я все равно буду знать, что она поблизости.

— У людей и так довольно пищи для пересудов, — сказала пасторша. — Недоставало еще, чтобы они ста-

ли толковать о том, что ты не пожелала остановиться у нас!

— Разумеется, матушка останется здесь, — сказал Карл-Артур. — Я вижу Шарлотту всякий день, и ничего мне не делается!

Услыхав столь решительное высказывание Карла-Артура, полковница беспомощно огляделась вокруг, точно ища выхода. Внезапно она указала рукой на флигель, где жил сын.

— Нельзя ли мне поселиться там, у Карла-Артура? — спросила она. — Рядом с сыном мне, быть может, удастся позабыть об этой ужасной женщине. Милая Регина, — обратилась она к пасторше, — если ты хочешь, чтобы я осталась, позволь мне жить во флигеле! Тебе не придется ничего устраивать там. Мне нужна лишь кровать, и ничего больше.

— Не понимаю, отчего бы тебе не занять комнату для гостей, как обычно, — проворчала пасторша, — но все лучше, чем совсем уезжать.

Она была, право же, сильно раздосадована. Пока карета подъезжала к флигелю, она бормотала про себя, что эта Беата Экенстедт, даром что светская дама, не имеет ни малейшего понятия об истинной учтивости.

Вернувшись в столовую, пасторша увидела, что Шарлотта стоит у раскрытого окна. Она, без сомнения, все слышала.

— Слышала? Она не желает встречаться с тобой, — сказала пасторша. — Она отказалась даже спать с тобой под одной крышей.

Но Шарлотта, которая только что была свидетельницей нежной встречи матери с сыном и пережила при этом самые счастливые минуты в своей жизни, стояла перед ней довольная и улыбающаяся. Теперь она знала, что жертва ее была не напрасна.

— Что ж, тогда постараюсь не попадаться ей на глаза, — сказала она с величайшим спокойствием и вышла из комнаты.

Пасторша так и ахнула. Она поспешила к Форсиусу.

— Ну, что ты на это скажешь? Видно, Карл-Артур и жена органиста были правы. Ей говорят, что Беата

Экенстедт не желает спать с ней под одной крышей, а она улыбается с таким торжеством, точно ее провозгласили королевой Испании.

— Ну, ну, друг мой, — сказал пастор, — потерпим еще немного! Завеса начинает спадать. Я убежден, что полковница поможет нам во всем разобраться.

Пасторша подумала с испугом, что ее Форсиус, который до сих пор, благодарение Богу, сохранял полное душевное здоровье, теперь начинает впадать в детство. Чем может помочь им эта чудачка Беата Экенстедт?

Слова пастора еще больше расстроили ее. Она вышла в кухню и распорядилась, чтобы полковнице постелили во флигеле. Туда же она велела отнести поднос с едой. Затем отправилась к себе в спальню.

«Пускай отужинает там, — думала она. — Там она сможет пестовать своего сыночка, сколько ей вздумается. Я-то надеялась, что она приехала, чтобы распечь его за эту новую помолвку, но она лишь целует его и потворствует ему во всем. Если она думает, что после этого дождется от него радости...»

На другое утро полковница и Карл-Артур вышли к завтраку. Гостья была в наилучшем расположении духа и самым любезным образом беседовала с хозяевами. Но когда пасторша увидела полковницу при дневном свете, та показалась ей увядшей и исхудалой. Пасторша была на много лет старше своей подруги, все же она выглядела гораздо здоровее и бодрее ее. «Жаль мне Беату, — подумала старушка. — Она вовсе не так весела, как хочет казаться».

После завтрака полковница послала Карла-Артура в деревню за Теей Сундлер, с которой она хотела поговорить. Пастор ушел по своим обычным делам, и дамы остались одни.

Полковница тут же заговорила о сыне.

— Ах, милая Гина, — начала она, — я так счастлива, что и сказать не могу. Я выехала из дому сразу же, как только получила письмо от Карла-Артура. Я боялась, что застану его в отчаянии, близком к самоубийству, но нашла его совершенно довольным и счастливым. Удивительно, не правда ли? После такого удара...

— Да, он быстро утешился, — весьма сухо заметила пасторша.

— Знаю, знаю. Эта далекарлийка. Маленькая прихоть, и ничего больше. Пастилка, которую кладут в рот, чтобы отбить неприятный вкус. Разве сможет человек с привычками Карла-Артура ужиться с такой женщиной?

— Видела я ее, — сказала пасторша, — и должна сказать, что она красива. Очень пригожая бабенка.

Лицо полковницы покрылось смертельной бледностью, но лишь на мгновение.

— Мы с Экенстедтом решили не принимать этого всерьез. Мы не станем противиться новой помолвке. Он был так жестоко обманут. Разумеется, он помешался с горя. Если не раздражать его отказом, то он скоро забудет об этой своей причуде.

Нынче утром пасторша вязала с таким ожесточением, что спицы звенели в ее руках. Это был единственный способ сохранить спокойствие, слушая весь этот бессмысленный вздор.

«Милый друг мой, — думала она, — ты ведь умная, проницательная женщина. Так неужто же ты не понимаешь, что из твоей затеи толку не будет?»

Ноздри у нее расширились, морщины пришли в движение; но, чувствуя невыразимую жалость к полковнице, она принудила себя удержаться от смеха.

— Да, таковы нынешние дети; они не терпят возражений от родителей.

— Мы уже совершили ошибку, — сказала полковница, — когда воспротивились желанию сына стать пастором. Это ни к чему не привело. Он лишь отдалился от нас. На сей раз мы намерены не препятствовать его обречению с далекарлийкой. Мы не хотим окончательно потерять его.

Брови пасторши вскинулись высоко вверх.

— Да, ничего не скажешь! Весьма любящие родители! Весьма!

Полковница сказала, что хочет обо всем посоветоваться с Теей Сундлер. Для того она и послала за ней. Эта женщина, кажется, умна и безмерно предана Карлу-Артуру. А он очень доверяет ее суждениям.

Пасторша едва смогла усидеть на месте.

Жена органиста, это жалкое ничтожество, и госпожа полковница Экенстедт, женщина замечательная, несмотря на все ее чудачества! Она не смеет сама вразумить сына! Это должна сделать другая, жена органиста!

— В мое время не помышляли о таких тонкостях, — сказала она.

— После разрыва Карла-Артура с невестой Тея Сундлер написала мне превосходное, успокаивающее письмо, — пояснила полковница.

Едва полковница выговорила эти слова, как пасторша вскочила и хлопнула себя по лбу.

— Да, чуть не забыла! Ты ведь хотела рассказать, что написала тебе об этих печальных событиях сама Шарлотта.

— Можешь прочесть письмо, — сказала полковница, — оно у меня в ридикюле.

Она протянула пасторше сложенный листок, и та развернула его. В нем была лишь одна-единственная строчка:

«Умоляю мою досточтимую свекровь не думать обо мне слишком дурно».

С разочарованным видом пасторша вернула письмо.

— Мне оно ничего не объясняет.

— А для меня оно вполне убедительно, — произнесла полковница с ударением.

Тут пасторше пришло в голову, что гостья все время говорит необычно громким голосом. Это было не свойственно ей, но, вероятно, объяснялось тем, что она была взволнована и несколько выбита из привычной колеи. Вместе с тем пасторша подумала, что Шарлотта, которая, как обычно, режет тряпье в буфетной, должна слышать каждое слово. Оконце в стене, через которое подавались кушанья, закрывалось неплотно. Она сама часто сетовала на то, что малейший шум из буфетной доносится в столовую.

— А что говорит сама Шарлотта? — спросила полковница.

— Молчит. Форсиус собирался было учинить ей допрос, но теперь говорит, что этого не надо. А я ничего не знаю.

— Как странно! — сказала полковница. — Как странно!

Тут пасторша предложила полковнице перейти наверх, в гостиную. И как она прежде об этом не подумала! Такую важную гостью не подобает принимать за просто в столовой.

Но полковница наотрез отказалась перейти в гостиную, которая наверняка не так уютна, как обычные жилые комнаты. Она предпочла остаться в столовой и продолжала все тем же громким голосом говорить о Шарлотте. Чем она занята, где она сейчас? Счастлива ли тем, что выходит замуж за Шагерстрёма?

Вдруг голос полковницы задрожал от слез.

— Я так любила ее! — воскликнула она. — Всего я могла ожидать от нее, но только не этого! Только не этого!

Пасторша услышала, как в буфетной со звоном упали на пол ножницы. «Ей, видно, невмоготу выслушивать все это, — подумала пасторша. — Она не выдержит; сейчас она вбежит сюда и станет оправдываться».

Но из буфетной не доносилось больше ни звука, и Шарлотта оттуда не вышла.

Наконец это мучительное положение было прервано появлением Карла-Артура и Теи Сундлер. Полковница тотчас же отправилась в сад с фру Сундлер и сыном, а пасторша поспешила в кухню, чтобы наколоть сахару, положить печенья и смолоть кофе. Все это могли бы сделать и без нее, но ей казалось, что это успокоит ее.

Хлопоча на кухне, она не переставала думать о записке, которую Шарлотта послала своей свекрови. Отчего она написала ей так коротко? Пасторша вспомнила, как Шарлотта явилась однажды к завтраку и пальцы у нее были измараны чернилами. Но она не могла бы перепачкаться до такой степени, если бы написала только эту строчку. Она, должно быть, написала еще одно письмо. Помнится, это было во вторник? День спустя после первого сватовства. Тут надо кое-что разузнать.

Между тем она велела служанке накрыть стол для кофе в большой сиреновой беседке. Сегодня ради знатной гостыи пасторша решила после завтрака устроить праздничный кофе.

«Шарлотта, верно, написала длинное письмо, — думала пасторша. — Но что она сделала с ним? Отослала его? Или разорвала?»

Эти мысли продолжали занимать ее и за кофейным столом, и она, против своего обыкновения, не раскрывала рта. Зато фру Сундлер, которая сидела тут же, болтала без умолку. Пасторше казалось, что она походит на раздувшуюся лягушку из басни, столь важной и чванливой сделалась она, поняв, что знатные господа нуждаются в ее помощи. Прежде старушка находила ее всего лишь смешной и жалкой; теперь же она почувствовала неприязнь к ней. «Она важничает и радуется в то время, как все мы в таком горе, — думала пасторша. — Она дурная женщина».

Но, само собою, пасторша любезно предлагала ей еще чашечку кофе и усиленно потчевала своим превосходным печеньем. Законы гостеприимства должны соблюдаться, даже если под твоей крышей находится злейший враг.

После кофе пасторша снова отправилась на кухню. Полковница уезжала во втором часу, и пасторша намеревалась пригласить ее отобедать перед дорогой. Старушке не хотелось ударить в грязь лицом, и она решила сама присмотреть за приготовлением кушаний.

В час дня фру Сундлер зашла на кухню проститься. Полковница с сыном все еще сидели в беседке, но ей нужно было спешить домой, чтобы приготовить мужу обед.

Пасторша, которая стояла, наклонившись над кастрюлей с бульоном, отложила в сторону шумовку и проводила фру Сундлер до прихожей. Она приседала, извинялась и просила передать поклон органисту.

Она думала, что Тея Сундлер должна бы понять, до чего ей некогда. Но та стояла у дверей целую вечность и, схватив старушку за руку, без конца распространя-

лась о том, как ей жаль полковницу и какая неприятность эта новая помолвка Карла-Артура.

В этом пасторша была всецело с нею согласна.

Жена органиста еще крепче сжала ее руку. Она сказала, что не может уйти, не справившись о том, как поживает Шарлотта.

— Вот что я тебе скажу, — ответила пасторша. — Она сидит вон в той комнате и режет тряпье. Войди и сама спроси ее!

Они находились у самых дверей буфетной; пасторша с внезапной решимостью отворила дверь и почти толкнула фру Сундлер через порог.

«Знаю я, чего тебе хочется, — подумала она. — Шарлотта всегда смотрела на тебя свысока, а теперь ты хочешь увидеть ее униженной. Ах ты жаба! Надеюсь, Шарлотта примет тебя так, как ты заслуживаешь».

— Ха-ха-ха! — расхохоталась она. — Хотелось бы мне хоть одним глазком взглянуть на эту встречу.

Она на цыпочках прокралась к двери столовой, неслышно отворила ее и секунду спустя уже стояла у оконца в буфетную.

Она чуть приоткрыла оконце и теперь достаточно хорошо видела всю комнату и Шарлотту, сидящую в окружении старых платьев, принадлежавших пасторше Форсиус и прежним пасторшам. Шарлотта раскладывала отдельно зеленые, синие и пестрые лоскутки, а в ларе лежал целый клубок цветных полос, уже сшитых и намотанных. Она, как видно, не теряла времени даром.

Шарлотта сидела спиной к Тее Сундлер, которая нерешительно остановилась у двери.

«Вот как, дальше она идти не осмеливается, — обрадовалась пасторша. — Начало неплохое. Думаю, что ей предстоят веселенькие минуты».

Она видела, что Тея Сундлер придала своему лицу выражение одновременно сочувственное и ободряющее, и слышала, как она сказала голосом участливым и кротким, каким говорят с больными, арестантами и бедняками:

— Здравствуй, Шарлотта!

Шарлотта не ответила. Она сидела с ножницами в руках, но резать перестала.

Легкая усмешка появилась на лице Теи Сундлер. Она обнажила свои острые зубки. Это длилось всего лишь мгновение, но и его было довольно, чтобы пасторша поняла, что за птица эта Сундлер.

Теперь Тея Сундлер снова была сама кротость и участливость. Она сделала шаг в комнату и заговорила благожелательным и ласковым тоном, каким говорят с бестолковой прислугой или капризным ребенком:

— Здравствуй, Шарлотта.

Но Шарлотта не шевелилась.

Тогда Тея Сундлер наклонилась, чтобы увидеть ее лицо. Быть может, она думала, что Шарлотта плачет из-за того, что мать Карла-Артура не желает встречаться с ней. Но при этом локоны фру Сундлер задели плечо Шарлотты, которое оказалось обнаженным, потому что ее шейная косынка соскользнула во время работы.

Едва лишь локоны коснулись плеча, как Шарлотта встрепенулась. И в тот же миг, точно хищная птица добычу, схватила она эти отлично завитые локоны и, лязгнув ножницами, отхватила их напроочь.

Нападение это не было заранее обдуманым. Расправившись с Теей, Шарлотта вскочила со стула и несколько озадаченно посмотрела на дело своих рук. Тея Сундлер завопила от ужаса и негодования. Хуже этого с ней ничего не могло приключиться. Локоны были ее гордостью, ее единственным украшением. Теперь она не сможет показаться на людях, пока они не отрастут. Тея Сундлер снова испустила горестный и гневный вопль.

В кухне, находившейся рядом, вдруг поднялся невероятный шум. Задребезжали крышки кастрюль, застучали ступки, с грохотом упали на пол дрова, заглушив все остальные звуки. Полковница и Карл-Артур сидели в саду и, разумеется, ничего не могли слышать. Никто не пришел на помощь Тее Сундлер.

— Что тебе тут нужно? — спросила Шарлотта. — Я молчу ради Карла-Артура, но ведь не думаешь же

ты, что я так проста и не понимаю, что все это ты на-творила.

С этими словами она приблизилась к дверям и распахнула их.

— Убирайся вон!

Одновременно она лязгнула ножницами, и этого было довольно, чтобы Тея Сундлер стрелой вылетела из комнаты.

Пасторша осторожно затворила оконце. Затем она всплеснула руками и расхохоталась.

— Боже ты мой! — воскликнула она. — Привелось-таки мне увидеть это! Вот уж будет чем позабавить моего старика!

Но внезапно лицо ее сделалось серьезным.

— Милое дитя! — пробормотала она. — Бедняжка молчит и терпит от нас напраслину. Нет, надо положить этому конец.

Минуту спустя пасторша тихонько пробралась по лестнице наверх. Бесшумно, как вор, прошмыгнула она в комнату Шарлотты.

Она не стала осматривать ее, а направилась прямо к изразцовой печи. Там она нашла несколько разорванных и скомканных листков бумаги.

— Прости мне, Господи! — произнесла она. — Ты знаешь, что я впервые в жизни без позволения читаю чужое письмо.

Она унесла исчерканные страницы к себе в спальню, надела очки и прочитала.

— Вот, вот! — сказала она, окончив чтение. — Это и есть настоящее письмо. Так я и думала.

Держа письмо в руке, она спустилась с лестницы, намереваясь показать его полковнице. Но, выйдя во двор, она увидела, что гостья сидит с сыном на скамье перед флигелем.

С какой нежностью она склонилась к нему! Сколько обожания и преданности в ее взоре, устремленном на сына!

Пасторша остановилась. «Господи, да как же у меня хватит духу прочесть ей все это?» — подумала она.

Старушка повернулась и пошла к Форсиусу.

— Ну, старик, сейчас ты прочтешь кое-что приятное, — сказала она и расправила перед ним листки. — Я нашла это в комнате Шарлотты. Наша милая девочка бросила обрывки в печку, но позабыла сжечь их. Почитай-ка! Хуже тебе от этого не станет.

Старый пастор видел, что старушка его выглядит гораздо веселее и бодрее, чем выглядела все эти несчастные дни. Она, видно, думает, что ему пойдет на пользу, если он прочтет это письмо.

— Так вот оно что! — сказал он, дочитав до конца. — Но отчего же это письмо не было отправлено?

— Кабы я знала! — ответила пасторша. — Я, во всяком случае, понесла показать это письмо Беате. Но когда я вышла и увидела, с какой любовью она смотрит на сына, то решила сперва посоветоваться с тобой.

Пастор встал и посмотрел в окно на полковницу.

— В том-то и все дело, — сказал он, понимая кивнув головой. — Видишь ли, Гина, друг мой сердечный, Шарлотта не могла послать это письмо такой матери, как Беата. Оттого-то оно и было брошено в печь. Она решила молчать. Ей невозможно оправдать себя. И мы тоже ничего тут не можем поделать.

Старики вздохнули, сокрушаясь тем, что не могут немедленно обелить Шарлотту в глазах людей, но в глубине души они почувствовали несказанное облегчение.

И, встретившись с гостьей за обеденным столом, оба они были в наилучшем расположении духа.

Как ни странно, но и в полковнице заметна была такая же перемена. В ее веселости не было больше ничего напускного, как утром. В нее точно вдохнули новую жизнь.

Пасторше подумалось, уж не Тея ли Сундлер была виновницей этой перемены. И так оно на самом деле и было, хотя не совсем по той причине, какую предполагала пасторша.

Полковница сидела с Карлом-Артуром на скамье перед флигелем, как вдруг из дома стремглав вылетела Тея Сундлер, точно голубка, побывавшая в когтях у ястреба.

— Что это с твоим другом Теей? — спросила полковница. — Гляди-ка, она мчится сломя голову и прикрыва-

ет щеку рукой! Беги, Карл-Артур, и перехвати ее у калитки. За ней, верно, гонится пчелиный рой. Спроси, не можешь ли ты ей чем помочь!

Карл-Артур поспешил выполнить просьбу матери, и хотя фру Сундлер отчаянно махала ему рукой, чтобы он не приближался, он все-таки настиг ее у калитки.

Возвратившись к матери, он весь кипел от негодования.

— Опять эта Шарлотта! Право же, она переходит всякие границы. Вообрази, когда фру Сундлер зашла к ней спросить, как она поживает, Шарлотта улучила минуту и обрезала ей локоны с одной стороны.

— Что ты говоришь! — воскликнула полковница, не в силах сдержать улыбки. — Ее красивые локоны! Она, должно быть, выглядит ужасно.

— Это была месть, матушка, — сказал Карл-Артур. — Фру Сундлер раскусила Шарлотту. Это она раскрыла мне глаза на нее.

— Понимаю, — сказала полковница.

Несколько секунд она молча сидела, размышляя о чем-то. Затем обратилась к сыну:

— Не будем более говорить ни о Тее, ни о Шарлотте, Карл-Артур. У нас осталось всего несколько минут. Поговорим лучше о тебе и о том, как ты будешь наставлять нас, бедных грешников, на путь истинный.

Позднее, за обедом, полковница, как уже сказано, была, по своему обыкновению, веселой и оживленной. Они с пасторшей состязались в остроумии и наперебой рассказывали забавные истории.

Время от времени полковница бросала взгляд на оконце в стене. Она, наверно, думала о том, каково-то там Шарлотте в ее заточении. Она думала и о том, тоскует ли по ней эта девушка, которая всегда так преданно любила ее.

После обеда, когда карета уже стояла у крыльца, полковница ненадолго осталась в столовой одна. В мгновение ока очутилась она около оконца и открыла его. Перед ней было лицо Шарлотты, которая весь день тосковала по ней, а теперь притаилась у оконца в надежде хотя бы поймать взгляд ее милых глаз.

Полковница быстро обхватила лицо девушки своими мягкими ладонями, притянула его к себе и осыпала поцелуями. Между поцелуями она отрывисто шептала:

— Любимая моя, сможешь ли ты потерпеть и не открывать правды еще несколько дней или в крайнем случае несколько недель? Все будет хорошо! Я, верно, изрядно помучила тебя! Но ведь я ничего не понимала, пока ты не обрезала ей локоны. Мы с Экенстедтом сами займемся этим делом. Можешь ты потерпеть ради меня и Карла-Артура? Он снова будет твой, дитя мое. Он снова будет твой!

Кто-то взялся за ручку двери. Оконце мгновенно захлопнулось, и через несколько минут полковница Экенстедт уже сидела в карете.

БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ

Богач Шагерстрём был совершенно убежден, что из него вышел бы ветрогон и бездельник, если бы в юности ему не сопутствовало особое счастье.

Сын богатых и знатных родителей, он мог бы расти в роскоши и праздности. Он мог бы спать на мягкой постели, носить щегольское платье, наслаждаться обильной и изысканной пищей так же, как его братья и сестры. И это при его склонностях отнюдь не пошло бы ему на пользу. Он понимал это лучше, чем кто-либо другой.

Но ему привелось родиться безобразным и неуклюжим. Родители, и в особенности мать, решительно не выносили его. Они не могли понять, каким образом появился у них этот ребенок с огромной головой, короткой шеей и коренастым туловищем. Сами они были красивыми и статными, и все остальные дети у них были как ангелочки.

А этого Густава им, как видно, подменили, и оттого обращались они с ним как с подкидышем.

Разумеется, не так уже весело было чувствовать себя гадким утенком. Шагерстрём охотно признавал, что много раз ему бывало очень горько, но в зрелые лета он стал почитать это за великое благодеяние судь-

бы. Если бы он всякий день слышал от матери, что она его любит, если бы у него, как у братьев, карманы были всегда полны денег, он был бы конченным человеком. Он вовсе не хотел этим сказать, что его братья и сестры не стали весьма достойными и превосходными людьми, но, быть может, у них от природы нрав был лучше, и счастье не портило их. Ему же это было бы только во вред.

То, что ему столь трудно давалась латынь, то, что ему приходилось по два года сидеть в каждом классе, — все это, на его взгляд, было проявлением великой милости к нему госпожи Фортуны. Разумеется, он понял это не сразу, а гораздо позднее. Именно благодаря этому отец взял его из гимназии и отослал в Вермланд, учеником к заводскому управляющему.

И тут судьба снова позаботилась о нем и устроила так, что он попал в руки жадного и жестокого человека, который даже, пожалуй, лучше, чем его родители, способен был дать ему требуемое воспитание. У него Шагерстрёму не пришлось нежиться на пуховиках. Хорош он был и на тонком соломенном тюфяке. У него он научился есть подгорелую кашу и прогорклую селедку. У него научился он трудиться с утра до вечера без всякой платы и с твердым убеждением, что за малейшую провинность получит пару добрых оплеух. В то время все это было не так уж весело, но теперь богач Шагерстрём понимал, что вечно должен быть благодарен судьбе, которая научила его спать на соломе и жить на гроши.

Пробыв в учениках достаточно долгое время, он стал заводским конторщиком и тогда же получил место в Крунбеккене, близ Филипстада, у заводчика Фрёберга. У него были теперь добрый хозяин, обильная и вкусная еда за хозяйским столом и небольшое жалованье, на которое он смог купить себе приличное платье. Жизнь его стала счастливой и благополучной. Это, может быть, не пошло бы ему на пользу, но судьба по-прежнему заботилась о нем и не позволила ему наслаждаться безмятежным счастьем. Не пробыв и месяца в Крунбеккене, он влюбился в молодую девушку,

приемную дочь и подопечную заводчика Фрёберга. Ничего ужаснее с ним не могло бы приключиться, потому что девушка эта была не только ослепительной красавицей, умницей и всеобщей любимицей. Она была еще вдобавок наследницей заводов и рудников, стоивших миллионы.

Любой заводской конторщик, осмелившийся поднять на нее взор, показался бы дерзким наглецом, а уж тем более тот, кто был безобразен и неуклюж, кто считался гадким утенком в собственной семье, кто ниоткуда не получал помощи и вынужден был пробивать дорогу собственными силами. С первого же мгновения Шагерстрём понял, что ему остается лишь таить свою любовь про себя, так, чтобы ни одна живая душа не догадалась о ней. Ему оставалось лишь молча смотреть на молодых лейтенантов и студентов, которые толпами приезжали в Крунбеккен на Рождество и в летние месяцы, чтобы увиваться за юной красавицей. Ему оставалось лишь стискивать зубы и сжимать кулаки, слушая их похвальбу и рассказы о том, что они танцевали с ней столько-то раз за вечер, и что они получили от нее столько-то цветков в котильоне*, и что она подарила им столько-то взглядов и столько-то улыбок. И хоть место у него было превосходное, но радости от него было не много, потому что он нес свою несчастную любовь как тяжкое бремя.

Она преследовала его за работой в будни и на охоте по воскресеньям. Любовные муки несколько ослабевали, лишь когда он погружался в огромные фолианты по горному делу, стоявшие на полке в конторе, которые до него никому не приходило в голову даже перелистать.

Разумеется, позднее он понял, что его несчастная любовь также была отличной воспитательницей, но примириться с нею он никогда не смог. Слишком уж тяжелым было это испытание.

Молодая девушка, которую он любил, не была с ним ни холодна, ни приветлива. Так как он не танцевал и не делал никаких попыток сблизиться с нею, она едва ли имела когда-нибудь случай говорить с ним.

Но вот однажды летним вечером молодежь развлекалась танцами в большой зале Крунбеккена, а Шагерстрём, по своему обыкновению, стоял у двери, провожая глазами каждое движение любимой. Вовек не забудет он, как был поражен, когда она в перерыве между танцами подошла к нему.

— Я полагаю, вам, господин Шагерстрём, следует отправиться на покой, — сказала она. — Уже двенадцать часов, а вам ведь вставать в четыре. Мы-то можем спать, сколько нам вздумается, хоть до полудня.

Он немедленно поплелся вон и спустился в контору. Он ведь отлично понимал, что ей надоело смотреть, как он торчит у двери. Она говорила с ним самым дружеским тоном, и лицо у нее было приветливое, но ему и в голову не приходило объяснить ее поступок тем, что она расположена к нему и что ей жалко смотреть, как он утомляет себя, стоя без толку у двери.

В другой раз она с двумя своими кавалерами отправилась на рыбную ловлю. Шагерстрём сидел на веслах. День был знойный, а лодка переполнена, но он тем не менее чувствовал себя счастливым, потому что она сидела на корме, как раз напротив него, и он мог все время любоваться ею.

Когда по возвращении домой они пристали к берегу, Шагерстрём помог ей выйти из лодки. Она весьма любезно поблагодарила его, но тотчас же вслед за этим прибавила, как бы боясь, что он превратно истолкует ее благосклонность:

— Не понимаю, отчего бы вам, господин Шагерстрём, не поступить в горное училище в Фалуне? Ведь не может же сын президента* довольствоваться скромной должностью конторщика.

Ну, разумеется, она заметила, как он в лодке пожирал ее глазами, и поняла, что он боготворит ее. Тяготясь этим, она решила отделаться от него. Он не мог и помыслить истолковать ее слова так, что она интересуется его будущим и, услышав от опекуна, что из Шагерстрёма может выйти дельный горнопромышленник, если он получит надлежащее образование, задумала

таким путем уменьшить пропасть, разделяющую дочь богатого заводовладельца и скромного конторщика.

Но раз она так пожелала, он тотчас же написал родителям и попросил у них помощи для обучения в горном училище. Он и в самом деле получил то, чего просил. Спору нет, ему куда приятнее было бы принять эти деньги, если бы отец в сопроводительном письме не выразил надежду, что здесь он добьется больше толку, нежели в стокгольмской гимназии, и если бы в каждой строке этого письма не чувствовалась твердая убежденность родителей в том, что ничего путного из него не выйдет, окончи он хоть целый десяток горных училищ. Но позднее он понял, что все это произошло благодаря его счастливой судьбе, которая по-прежнему пеклась о нем, стремясь сделать из него человека.

Во всяком случае, он не мог отрицать, что в горном училище провел время с пользой, что наставники были им довольны и что сам он с жадностью набросился на учение. Он был бы совершенно удовлетворен своим положением, если бы все время не думал о той, которая осталась в Вермланде, и не вспоминал о многочисленных обожателях, увивавшихся вокруг нее.

Когда он наконец прошел двухгодичный курс обучения — и, надо признать, весьма успешно, — опекун его любимой написал ему и предложил место управляющего в Старом заводе, самом большом и лучшем из ее заводов. Это было превосходное предложение, и, разумеется, гораздо более блестящее, чем мог бы ожидать двадцатитрехлетний юноша. Шагерстрём был бы безмерно счастлив, если бы не понял тотчас же, что за этим предложением стоит она. Он не отважился предположить, что она выказывает ему доверие и хочет дать ему случай отличиться. Нет, предложение опекуна могло означать лишь то, что она самым деликатным образом намерена воспрепятствовать его возвращению в Крунбеккен. Она отнюдь не настроена к нему враждебно, она охотно желала бы помочь ему, но выносить его присутствие ей не вмоготу.

Он решил уступить ее желанию и, должно быть, никогда более не показался бы ей на глаза, если бы перед

вступлением в новую должность ему не пришлось заехать в Крунбеккен за инструкциями.

Когда он прибыл в усадьбу, заводчик Фрёберг попросил его зайти в господский дом к дамам, поскольку его питомица также желала бы дать ему некоторые наставления.

Он направился в маленькую гостиную, где дамы обыкновенно сидели за рукоделием, и она тотчас же пошла к нему, протянув руки, как обычно встречают человека, по которому сильно стосковались. К ужасу своему, Шагерстрём увидел, что, кроме нее, в гостиной никого нет. Впервые в жизни они оказались наедине. Уже одно это заставило сердце его забиться сильнее, а тут еще она вдобавок со свойственной ей приветливостью и прямоотой сказала, что в Старом заводе, где он будет управляющим, есть прекрасный, просторный господский дом, так что теперь он вполне может подумать о женитьбе.

Он не в силах был ответить ни слова, до того больно сделалось ему при мысли, что ей мало удалить его из Крунбеккена, она к тому же хочет принудить его жениться. Ему казалось, что он этого не заслужил. Ведь он никогда не был навязчивым.

Но она продолжала все с той же прямоотой:

— Это лучший из моих заводов. Я всегда мечтала, что буду жить там, когда выйду замуж.

Это было бы вполне ясно кому угодно, но у Шагерстрёма с малолетства были более строгие наставники, нежели у других. Он повернулся к двери, чтобы удалиться.

Она опередила его, подошла к дверям и положила руку на задвижку.

— Я столько раз отказывала женихам, — сказала она, — что, должно быть, будет лишь справедливо, если теперь откажу мне.

Он крепко схватил ее за руку, стараясь открыть дверь.

— Не играйте мною, — сказал он. — Для меня это слишком серьезно.

— И для меня также, — ответила она, пристально посмотрев ему в глаза.

И лишь в это мгновение Шагерстрём понял, сколь благосклонна была к нему судьба. Одиночество, тоска, лишения, которыми до сих пор в избытке награждала его жизнь, — все это суждено было ему лишь затем, чтобы теперь невыразимое, нечеловеческое блаженство могло целиком заполнить его душу, в которой не должно было быть места ни для чего другого.

НАСЛЕДСТВО

Когда Шагерстрём после трехлетнего супружества лишился своей горячо любимой жены, обнаружилось, что она оставила завещание, согласно которому все ее состояние должно было перейти к мужу, в случае если она умрет бездетной прежде него. И после того, как был произведен раздел наследства и выплачены небольшие суммы, завещанные престарелым слугам и дальним родственникам, Шагерстрём сделался обладателем огромного состояния.

Когда формальности были закончены, служащие во владениях Шагерстрёма облегченно вздохнули. Все были рады тому, что эти многочисленные рудники и заводы по-прежнему будут сосредоточены в одних руках, а то, что хозяином их стал к тому же дельный и знающий горнопромышленник, многие сочли за особую милость Провидения.

Но вскоре после того, как Шагерстрём вступил во владение наследством, управляющие, инспекторы, арендаторы, лесообъездчики — словом, все, кто надзирал за его владениями, стали подозревать, что радости от нового хозяина им будет немного. Шагерстрём продолжал жить в Стокгольме, что уже само по себе было неудобно, но с этим можно было бы еще кое-как примириться, если бы он, по крайней мере, отвечал на письма. Между тем он чаще всего пренебрегал и этим. Нужно было делать закупки кровельного железа и сбывать прутковое. Нужно было составлять контракты на поставки угля и древесины. Необходимо было назначать людей на должности, ремонтировать дома, выплачивать по счетам. Но Шагерстрём не слал

ни денег, ни писем. Время от времени он уведомлял, что письмо получено и ответ вскоре последует, но так и не выполнял своих обещаний.

За несколько недель дела пришли в полное расстройство. Одни управляющие бездействовали, скрестивши руки на груди, другие стали действовать на свой страх и риск, что было, пожалуй, еще хуже. Всем стало ясно, что Шагерстрём не тот человек, который способен управлять всем этим огромным богатством.

Больше других досадовал, пожалуй, заводчик Фрёберг из Крунбеккена. Шагерстрём всегда был его любимцем, и он многого ждал от него. Как ни глубока была скорбь Фрёберга по чудесной, жизнерадостной юной воспитаннице, которой больше не было на свете, он все же несколько утешался мыслью, что все эти красивые поместья, эти обширные лесные угодья, эти мощные водопады, эти доходные рудники, заводы, кузницы попали в хорошие руки.

Он знал, что Шагерстрём превосходно подготовлен для роли крупного промышленника. Первый год супружеской жизни Шагерстрём с женой по совету опекуна провели за границей. Из писем, которые они ему слали, Фрёберг знал, что они не тратили время на беготню по картинным галереям и осмотр памятников. Нет, эти благомыслящие люди изучали горное дело в Германии, фабричное дело в Англии, сельское хозяйство в Голландии. В этом они были неутомимы. Иной раз Шагерстрём жаловался. «Мы проезжаем мимо красивейших мест, — писал он, — но у нас не хватает времени на то, чтобы осмотреть их. Мы озабочены лишь тем, чтобы почерпнуть как можно больше полезных сведений. Это делается по настоянию Диды. Что до меня, то я, грешный, готов жить только нашей любовью».

В последнее время они обосновались в Стокгольме. Они купили большой особняк, устроились на широкую ногу, жили открыто, без конца принимая гостей. Это также делалось по совету опекуна. Шагерстрём был теперь на виду. Он должен был научиться обхождению с самыми важными сановными лицами в государстве,

приобрести светский лоск, завязать влиятельные знакомства, заручиться доверием сильных мира сего.

Можно понять, что хотя хозяин Крунбеккена не имел больше никакого касательства к делам Шагерстрёма, он все же был весьма ими обеспокоен. Он непременно хотел поговорить с Шагерстрёмом, спросить, что с ним стряслось, побудить его взяться за дело.

В один прекрасный день он призвал к себе одного из своих конторщиков — молодого человека, который появился в Крунбеккене почти одновременно с Шагерстрёмом и был его близким другом и приятелем.

— Послушайте, душка Нюман, — сказал заводчик Фрёберг, — с Шагерстрёмом, должно быть, что-то неладно. Отправляйтесь тотчас же в Стокгольм и привезите его сюда. Возьмите мою карету. Если вернетесь без него, вам будет отказано от места.

Конторщик Нюман стоял, точно громом пораженный. Места в Крунбеккене он не хотел бы лишиться ни за какие блага в мире. Собственно, он был весьма способный малый, но до крайности ленивый, а тут ему посчастливилось стать до такой степени необходимым дамской половине семьи хозяина, что он почти совершенно забросил конторскую работу. Он должен был играть в вист со старой госпожой, читать вслух молодым барышням, срисовывать для них узоры, сопровождать их во время верховых прогулок и быть их преданным и послушным кавалером. Без душки Нюмана не обходилась ни одна увеселительная затея. Он был вполне доволен своей участью и не желал никаких перемен.

Итак, конторщик Нюман отправился в Стокгольм, чтобы спасти не только Шагерстрёма, но и самого себя. Он ехал день и ночь и утром, в восьмом часу, прибыл на место. Он остановился на постоялом дворе, тотчас же заказал лошадей на обратный путь, наскоро позавтракал и отправился к Шагерстрёму.

Он позвонил и сказал отворившему дверь лакею, что хочет повидать Шагерстрёма. Слуга ответил, что господина Шагерстрёма увидеть нельзя. Он ушел со двора.

Конторщик назвал свое имя и просил передать, что послан с важным поручением от заводчика Фрёберга. Через час он зайдет опять.

Ровно час спустя Нюман снова был у Шагерстрёма. Он подъехал к дому в карете Фрёберга, запряженной свежими лошадьми, с припасами на дорогу, словом, совершенно готовый в обратный путь.

Но в передней его встретил лакей и сказал, что хозяин просил господина Нюмана пожаловать позднее, так как он будет занят на важном заседании. В голосе слуги Нюману послышались некоторая принужденность и смущение. Он заподозрил, что лакей обманывает его, и спросил, где будет происходить заседание.

— Господа собрались здесь, в большой зале, — ответил лакей, и Нюман увидел, что в прихожей и вправду висит множество шляп и пальто.

Недолго думая, он также снял с себя пальто и шляпу и протянул их лакею.

— Надеюсь, в доме найдется комната, где я мог бы подождать, — сказал он. — У меня нет охоты бродить по улицам. Я ехал всю ночь, чтобы прибыть сюда к сроку.

Видно было, что слуга колеблется, впускать ли его, но Нюман не успокоился, покуда не был введен в небольшой кабинет, находящийся перед залой.

Вскоре через кабинет прошли два господина, которые должны были присутствовать на заседании. Шедший впереди слуга распахнул перед ними двери. Конторщик Нюман воспользовался случаем и бросил взгляд внутрь залы. Он увидел множество почтенных сановитых старцев, сидящих вокруг большого стола, заваленного документами. Он заметил также, что все эти документы написаны на гербовой бумаге.

«Что за притча? — удивился он. — Эти бумаги похожи на купчие или закладные. Шагерстрём, видно, затевает какое-то большое дело».

Тут же он заметил, что самого Шагерстрёма среди сидящих за столом нет.

Что бы это могло значить? Ведь если Шагерстрём не принимает участия в заседании, то он мог бы поговорить с ним, Нюманом.

Наконец из залы в кабинет вышел один из господ. Это был королевский секретарь, которого Нюман встречал в Крунбеккене в те времена, когда тот в числе других приезжал свататься к богатой невесте. Он поспешил к нему навстречу.

— Ба! Да это вы, душка Нюман... то есть, простите, господин Нюман, — произнес секретарь. — Рад видеть вас в Стокгольме. Как дела в Крунбеккене?

— Не могли бы вы устроить так, чтобы я смог поговорить с Шагерстрёмом? — спросил бухгалтер. — Я ехал день и ночь, у меня важное дело, а я никак не могу его повидать.

Секретарь взглянул на часы.

— Боюсь, что вам, господин Нюман, придется на часок-другой заpastись терпением и подождать, пока не кончится заседание.

— Но о чем же они совещаются?

— Не уверен, что я имею право говорить об этом сейчас.

Конторщик подумал о приятной должности, которую он исправлял при старой госпоже и барышнях, и осмелился высказать дерзкую догадку.

— Я знаю, что Шагерстрём намерен сбить с рук все свои владения, — сказал он.

— Вот как! Стало быть, у вас там уже известно об этом, — отозвался секретарь.

— Да, это мы знаем, но нам неизвестно, кто их покупает.

— Покупает! — воскликнул секретарь. — Какое там покупает! Все свое состояние Шагерстрём жертвует на богоугодные дела — в масонский приют, вдовьи кассы* и прочее. Однако прощайте, спешу! Я должен буду составить дарственную после того, как господа в зале договорятся об условиях.

Бухгалтер, задыхаясь, разевал рот, точно рыба, выброшенная на берег. Если он придет домой с этакой вестью, старик Фрёберг до того расвирепееет, что он, Нюман, и часу не останется на своей приятной должности в Крунбеккене. Что же делать? Что бы такое придумать?

В тот миг, когда секретарь уже готов был исчезнуть в дверях, Нюман схватил его за рукав.

— Вы не могли бы передать Шагерстрёму, что мне непременно надо переговорить с ним? Скажите, что это очень важно. Скажите, что сгорел Старый завод!

— Да, да, разумеется! Такое несчастье!

Спустя несколько минут в дверях появился маленький, смертельно бледный человек, до крайности исхудалый, с покрасневшими глазами.

— Что тебе надо? — обратился он резко и коротко к Нюману, точно раздосадованный тем, что ему докучают.

Канторщик снова разинул рот от удивления и не в силах был вымолвить ни слова. Боже, что случилось с Шагерстрёмом! Разумеется, красавцем он не был никогда, но в те времена, когда он бродил в Крунбеккене, томимый любовной тоской, в нем было что-то неуловимо привлекательное. Теперь же Нюман попросту испугался за своего бывшего приятеля.

— Что ты сказал? — снова заговорил Шагерстрём. — Старый завод сгорел?

Канторщик прибежал к этой маленькой вынужденной лжи лишь только затем, чтобы встретиться с Шагерстрёмом. Но теперь он решил покуда в обмане не признаваться.

— Да, — ответил он, — в Старом заводе был пожар.

— И что же сгорело? Господский дом?

Канторщик Нюман пристальнее взгляделся в Шагерстрёма и увидел его потухший взгляд и поредевшие на висках волосы.

«Нет, тут господского дома мало, — подумал он. — Тут требуется основательная встряска!»

— О нет; смею сказать, это было бы еще полбеды.

— Что же тогда? Кузница?

— Нет, сгорел большой старый заводской дом, где жило двадцать семей. Две женщины сгорели заживо, сотня людей лишилась крыши над головой. Те, кто спасся, выбежали в чем мать родила. Ужасная беда. Сам я этого не видел. Меня послали за тобой.

— Управляющий ничего мне об этом не написал, — сказал Шагерстрём.

— А что толку писать тебе? Бёрессон прислал нарочного к папаше Фрёбергу за помощью, но старик решил, что с него довольно. Этим придется тебе самому заняться.

Шагерстрём позвонил, вошел лакей.

— Я тотчас же еду в Вермланд! Вели Лундману приготовить карету.

— Позволь! — вмешался Нюман. — Со мною как раз карета Фрёберга и свежие лошади; они стоят у крыльца. Переоденься лишь в дорожное платье, и мы можем сию же минуту отправиться в путь.

Шагерстрём готов был уже послушаться его, но внезапно провел рукой по лбу.

— Заседание! — сказал он. — Это очень важно. Я смогу выехать не раньше, чем через полчаса.

Но в расчеты конторщика Нюмана вовсе не входило позволить Шагерстрёму подписать дарственную на все свое состояние.

— Да, разумеется, полчаса — не ахти какой большой срок, — сказал он. — Но для тех, кто лежит в осеннюю стужу на голой земле, он может показаться чересчур долгим.

— Отчего они лежат на голой земле? — спросил Шагерстрём. — Есть ведь господский дом.

— Бёрессон, должно быть, не решился поместить их туда без твоего позволения.

Шагерстрём все еще колебался.

— Думаю, что Диза Ландберг наверняка прервала бы заседание, получи она подобную весть, — вставил конторщик.

Шагерстрём бросил на него сердитый взгляд. Он вошел в залу и вскоре вернулся.

— Я сказал им, что заседание откладывается на неделю.

— Тогда едем!

Нельзя сказать, что Нюман был особенно приятно настроен, возвращаясь в Вермланд в обществе Шагерстрёма. Он терзался мыслью, что солгал о пожаре,

и порывался признаться Шагерстрёму в своем вынужденном обмане, но не смел этого сделать.

«Если я скажу ему, что никаких сгоревших и бездомных нет, он тотчас же повернет назад в Стокгольм, — думал Нюман, — это у меня единственная зацепка».

Он попытался придать мыслям Шагерстрёма иное направление и принялся без усталости молотить языком, рассказывая разные разности из быта горнопромышленников. Тут были и меткие, забавные высказывания старых, преданных слуг, и проделки хитроумных углепоставщиков, обводивших вокруг пальца неопытных инспекторов, и слухи об открытии богатых залежей руды вблизи Старого завода, и описание аукциона, на котором обширные лесные угодья пошли с молотка по бросовой цене.

Он не умолкал ни на минуту, точно от этой болтовни зависла его жизнь. Но Шагерстрём, которому, должно быть, показалось, что Нюман слишком уж неуклюже пытается пробудить его интерес к делам, прервал конторщика:

— Я не могу оставить себе это наследство. Я намерен раздать его. Диза не поверила бы, что я о ней скорблю, если бы я его принял.

— Ты должен принять его не как благо, а как крест, — возразил Нюман.

— Я не в силах, — ответил Шагерстрём, и в голосе его было такое отчаяние, что Нюман не решился больше прекословить.

Следующий день прошел так же. Конторщик надеялся, что, когда они выедут из города, Шагерстрём несколько приободрится, увидя себя среди полей и лесов, но никаких улучшений в его состоянии не замечалось. Нюман начал не шутя опасаться за своего старого друга.

«Он долго не протянет, — думал конторщик. — Вот только сбудет с рук наследство, а потом ляжет и умрет. Он совершенно убит горем».

И теперь уже не только ради того, чтобы сохранить за собою место в Крунбеккене, но и чтобы спасти от гибели своего друга, он снова попытался придать его мыслям другое направление.

— Подумай обо всех, кто трудился в поте лица, создавая это богатство! — сказал он. — Ты полагаешь, они лишь для себя старались? Нет! Они надеялись, что под началом умелого хозяина дело приобретет широкий размах и пойдет на пользу всему краю. А ты хочешь все это развеять по ветру. Я убежден, что ты поступаешь не по совести. Мне кажется, ты не имеешь на это права. По-моему, ты сам должен нести свое бремя; твой долг взять на себя заботу о своих владениях.

Он видел, что слова его не оказывают ни малейшего действия, но отважно продолжал:

— Возвращайся к нам в Вермланд и берись за дело. Тебе с твоим умением не пристало каждую зиму развлекаться в Стокгольме, а летом приезжать в заводские имения и бить баклуши. Тебе надо приехать и осмотреть свои владения. Поверь мне, это необходимо!

Он упивался собственным красноречием, но Шагерстрём снова прервал его:

— Что за речи я слышу? Ты ли это, душка Нюман? — произнес он с легкой иронией.

Лицо конторщика вспыхнуло.

— Да, я знаю, что не мне тебя наставлять, — отозвался он. — Но у меня за душой ни единого эре, так что все пути для меня закрыты. И потому я полагаю, что вправе сделать свою жизнь беззаботной и приятной, насколько это в моих силах. Больше мне ничего не остается. Но будь у меня хоть клочок земли... О, ты убедился бы, что уж я не выпустил бы его из рук.

Утром третьего дня они прибыли на место. Они въехали в господскую усадьбу Старого завода в шесть часов. Солнце весело сияло на желтых и ярко-красных кронах деревьев. Небо было ослепительно синее. Маленькое озеро позади усадьбы сверкало, точно сталь-ной клинок под утренней туманной дымкой.

Ни один человек не вышел им навстречу. Кучер отправился на задний двор искать конюха, и конторщик воспользовался случаем, чтобы повиниться перед Шагерстрёмом.

— Тебе незачем спрашивать Бёрессона о пожаре! Никакого пожара не было. Просто мне необходимо

было что-то придумать, чтобы привезти тебя сюда. Фрёберг пригрозил, что откажет мне от места, если я вернусь без тебя.

— Да, но как же сгоревшие, бездомные? — спросил Шагерстрём, который не мог так сразу отрешиться от этой мысли.

— Да их и не было вовсе, — в полном отчаянии признался конторщик. — Что мне оставалось делать? Я принужден был солгать, чтобы помешать тебе раздарить свое имущество.

Шагерстрём посмотрел на него холодно и безразлично.

— Разумеется, ты сделал это из добрых побуждений. Но все это бесполезно. Я возвращаюсь в Стокгольм, как только запрягут свежих лошадей.

Конторщик вздохнул и промолчал. Делать было нечего. Игра была проиграна.

Тем временем вернулся кучер.

— На дворе ни одного работника не видать, — сказал он. — Я встретил какую-то бабу, так она говорит, что управляющий и все фабричные на лосиной охоте. Загонщики вышли со двора в четыре часа и так, видать, торопились, что конюх даже корму задать лошадям не успел. Извольте послушать, как они топчут...

И вправду, из конюшни доносились звуки глухих ударов: это голодные животные били копытами.

Слабая краска выступила на щеках Шагерстрёма.

— Будьте добры, засыпьте корму коням, — обратился он к кучеру и дал ему денег на выпивку.

С пробудившимся интересом он огляделся вокруг.

— Доменная печь не дымит, — сказал он.

— Домна погашена впервые за тридцать лет, — ответил Нюман. — Руды нет. Что тут будешь делать? Бёрьссон, как видишь, отправился на охоту со всеми своими людьми, и я его понимаю.

Шагерстрём покраснел еще больше.

— И кузница не работает? — спросил он

— Наверняка. Кузнецы ходят в загонщиках. Но тебе-то что за дело? Ты ведь все это отдаешь.

— Разумеется, — уклончиво ответил Шагерстрём. — Мне до этого никакого дела нет.

— Теперь это все перейдет к господам из правления масонского приюта, — сказал конторщик.

— Разумеется, — повторил Шагерстрём.

— Не хочешь ли войти? — спросил Ньюман, направляясь к господскому дому. — Сам понимаешь, охотники сегодня поднялись на заре, и завтрак подали рано, так что служанки и стряпухи спят после трудов праведных.

— Не надо будить их, — сказал Шагерстрём. — Я еду немедленно.

— Эй! — воскликнул Ньюман. — Гляди, гляди!

Раздался выстрел. Из парка выбежал лось. Он был ранен, но продолжал бежать. Передняя нога у него была перебита и волочилась по земле.

Спустя минуту из парка выскочил один из охотников. Он прицелился и свалил лося метким выстрелом. Животное с жалобным стоном рухнуло на землю в двух шагах от Шагерстрёма.

Стрелок приближался медленно и словно бы нерешительно. Это был высокий, молодцеватого вида человек.

— Это капитан Хаммарберг, — пояснил Ньюман.

Шагерстрём поднял голову и пристально посмотрел на долговязого охотника.

Он тотчас же узнал его. Это был тот самый краснолицый, белокурый офицер, который имел столь удивительную власть над женщинами, и все они боготворили его, хотя им было известно, что он мошенник и негодяй. Шагерстрём никогда не мог забыть, как этот субъект волочился за Дизой, когда она была на выданье, как он точно околдовал ее, и она позволяла ему сопровождать ее на прогулках, кататься с ней верхом, танцевать с ней.

— Как смеет этот мерзавец являться сюда! — пробормотал он.

— Ты ведь не можешь ему этого запретить, — ответил Ньюман далеко не ласковым тоном.

Воспоминания нахлынули на Шагерстрёма. Этот самый капитан, который каким-то образом догадался о

его любви к богатой наследнице, мучил его, издевался над ним, похвалялся перед ним своими гнусными проделками, как бы для того, чтобы Шагерстрёму было еще горше от мысли, что у Дизы Ландберг будет такой муж. Он стиснул зубы и помрачнел еще больше.

— Подойдите же, черт возьми, и добейте зверя! — крикнул он капитану.

Затем он повернулся к нему спиной и вошел в дом, громко хлопнув дверью.

Управляющий Бёрессон и другие охотники также вернулись из парка. Управляющий узнал Шагерстрёма и поспешил к нему. Шагерстрём окинул его ледяным взглядом.

— Я не упрекаю вас в том, что доменная печь погашена, что кузница не работает, а лошади не кормлены. Моя вина тут не меньше вашей, господин управляющий. Но то, что вы позволили этому мерзавцу Хаммарбергу охотиться на моей земле — ваша вина. И потому вы сегодня же получите расчет.

После этого Шагерстрём принял на себя управление всеми своими владениями. И прошло немало времени, прежде чем у него снова возникла мысль откаться от них.

ДИЛИЖАНС

I

Когда Шагерстрём покидал пасторскую усадьбу после вторичного сватовства, ему было вовсе не до смеха. За день до этого он уезжал отсюда воодушевленный, ибо полагал, что встретил натуру гордую и бескорыстную. Теперь же, после того как Шарлотта Лёвеншёльд обнаружила свою низость и расчетливость, он ощутил вдруг глубокую подавленность. Огорчение его было столь велико, что он начал догадываться, что девушка произвела на него гораздо более сильное впечатление, нежели он доселе подозревал.

— Черт возьми, — бормотал он, — если бы она оправдала мои надежды, то я, чего доброго, влюбился бы в нее.

Но теперь, когда ему стал ясен истинный нрав Шарлотты, об этом не могло быть и речи. Само собой, он принужден жениться на ней, но он себя знает. Полюбить интриганку, женщину вероломную и своекорыстную он не сможет никогда.

В этот день Шагерстрём ехал в небольшой карете, в которой обычно совершал дальние поездки. Внезапно он опустил кожаные шторы на окнах.

Назойливое солнце и поля с выставленными точно напоказ огромными скирдами утомляли его взор.

Но теперь, когда ему больше не на что было смотреть, в полутьме кареты то и дело возникало пленительное видение. Он видел Шарлотту, стоящую в дверях и глядящую на молодого Экенстедта. Едва ли чье-нибудь человеческое лицо могло излучать такую любовь. Это видение снова и снова вставало перед его взором, и в конце концов он вышел из себя.

— Будь ты неладна! Корчила из себя ангела небесного, а десять минут спустя дала согласие на брак с богачом Шагерстрёмом!

Можно себе представить, что недовольство Шагерстрёма собой все росло. Он вспоминал о том, как глупо вел себя во всей этой истории, и глубоко презирал себя за это. Поверить в девушку только ради ее хорошеньких глазок! Боже, какая глупость, какое легкоеверие! Да и вся затея со сватовством была непрослительно безрассудной. Неужто правы были его родители? Неужто у него и впрямь нет ни капли ума? Во всяком случае, в этой истории он вел себя достаточно нелепо и опрометчиво.

Вскоре ему стало казаться, что приключившееся с ним несчастье послано ему в наказание за то, что он изменил памяти умершей жены и вновь задумал вступить в брак. Именно поэтому ему теперь предстоит соединиться с женщиной, которую он не может ни любить, ни уважать.

Прежняя глубокая скорбь снова пробудилась в нем. И он понял, что в этой скорби его прибежище, его истинный удел. Жизнь с ее заботами и превратностями была ему поистине в тягость.

На этот раз Шагерстрём направлялся инспектировать свои рудники и заводы. Ему предстояло просмотреть отчеты управляющих, проверить, в порядке ли тяжелые молоты в закопченных кузницах с зияющими горнами, решить, сколько угля и кровельного железа потребуется закупить на следующую зиму.

Это была, следовательно, сугубо деловая поездка. Он предпринимал такие поездки каждое лето и никогда не откладывал их. Спустя несколько часов он прибыл в Старый завод, где управляющим был теперь его добрый друг Хенрик Ньюман. Можно понять, что как он, так и его жена, которой стала одна из милых барышень Фрёберг из Крунбеккена, приняли его наилучшим образом.

Здесь его встречали со всем радушием, не как грозного хозяина, а как товарища и друга юности.

Шагерстрём едва ли мог попасть в более заботливые руки, но меланхолия, овладевшая им в дороге, не исчезала. По правде говоря, Старый завод был отнюдь не тем местом, куда ему следовало отправиться после новой помолвки. Каждая тропинка в парке, каждое дерево в аллее, каждая скамья у дома, казалось, хранили память о нежных словах и ласках, которыми они обменивались с женой. Здесь она все еще жила, юная, прелестная, сияющая. Он мог видеть ее, слышать ее. Как же так вышло, что он изменил ей? Есть ли на земле другая женщина, достойная занять ее место в его сердце?

Разумеется, его подавленность не укрылась от взора хозяев. Они не могли понять, чем он так удручен, но раз он сам с ними не делился, то и они не стали приставать к нему с расспросами.

Старый завод находился всего лишь в нескольких милях от Корсчюрки, и вести о сватовстве Шагерстрёма и обо всех событиях, с ним связанных, неизбежно должны были дойти сюда. И, таким образом, управляющий и его жена вскоре поняли причину его меланхолии.

— Он раскаивается, и совершенно напрасно! — говорили они друг другу. — Шарлотта Лёвеншёльд была бы ему прекрасной женой. Она живо излечила бы его от вечного уныния и задумчивости.

— Мне очень хотелось бы поговорить с ним, — сказала фру Нюман. — Я знаю Шарлотту с давних пор и уверена, что все эти рассказы о ее двоедушии и корыстолюбии — сплошная выдумка. Шарлотта — сама честность.

— Я бы на твоём месте не стал вмешиваться в это дело, — посоветовал ей муж. — Взгляд у Шагерстрёма снова погас, как тогда, шесть лет назад, когда я хитростью увез его из Стокгольма. Говорить с ним сейчас опасно.

Молодая женщина вняла совету мужа и сумела воздержаться от вмешательства, пока Шагерстрём оставался у них в доме. Но в пятницу вечером, когда ревизия была окончена и гость должен был на другое утро покинуть их, она не смогла больше совладать со своим добрым, участливым сердцем.

«Просто бесчеловечно отпускать его в таком унынии и грусти, — подумала она. — Зачем ему чувствовать себя несчастным, если для этого нет никаких причин?»

И наиделикатнейшим образом, словно бы по чистой случайности, завела она за ужином разговор о Шарлотте Лёвеншёльд. Она рассказала множество историй, ходивших в округе о молодой девушке. Она не забыла и о щелчке в нос, которым Шарлотта наградила экономку пасторши, и о том шумевшем случае, когда она свалилась в церкви со скамьи. Она рассказала о сахарнице, о скачках на пасторских лошадях и о многом другом. Ей хотелось, чтобы у Шагерстрёма сложилось впечатление о гордой, жизнерадостной, сумасбродной, но при всем том умной и преданной женщине. Что до его сватовства к Шарлотте, то она делала вид, будто даже не подозревает о нем.

Но вдруг, в самый разгар убедительной речи фру Нюман в защиту своей подруги, Шагерстрём вскочил с места и далеко отшвырнул от себя стул.

— Это очень мило с твоей стороны, Бритта, — сердито промолвил он. — Я понимаю, ты хочешь утешить меня, позолотить пилюлю. Но я-то предпочитаю смотреть правде в глаза. И раз я оказался столь бесчувственным, что забыл о Дизе и задумал жениться вновь,

то будет только справедливо, если в жены мне достанется лицемерка и интриганка, каких свет не видывал.

Выкрикнув эти слова, Шагерстрём бросился вон из комнаты. Испуганные хозяева услышали, как он хлопнул дверью в передней и выбежал во двор.

Шагерстрём бродил в густом лесу, раскинувшемся к востоку от Старого завода. Он блуждал здесь уже несколько часов, сам не сознавая, где находится.

И прежние замыслы, похороненные шесть лет назад, снова стали пробуждаться в его душе. Это богатство, бремя которого он влачит, его крест, его несчастье, — почему бы не избавиться от него?

Он подумал, что Бритта Нюман, быть может, была до известной степени права. Шарлотта не хуже других. Просто она оказалась не в силах устоять перед соблазном. Так для чего же ему вводить людей в соблазн? Почему не раздать свои богатства? С тех пор как он принял наследство, неслыханная удача сопутствовала ему. Он почти удвоил свое состояние. Тем больше причин избавиться себя от этого непосильного бремени.

И вот еще что! Таким путем он, быть может, сумеет избежать и новой женитьбы. Фрёкен Шарлотта Лёвеншёльд не пожелает, наверно, идти замуж за бедняка.

Он блуждал во тьме, спотыкался, падал, останавливался, не находя выхода в густых зарослях, как не находил его в собственной душе.

Наконец он выбрался на широкую, покрытую щебнем дорогу и понял, где находится. Это был большой почтовый тракт на Стокгольм, пересекавший Старый завод с востока.

Он зашагал по дороге. Не было ли это знамением свыше? Нет ли некоего смысла в том, что он вышел на Стокгольмский тракт в ту самую минуту, когда решил раздать свои богатства?

Он ускорил шаги. Он не собирался возвращаться в Старый завод. Он не желал пускаться ни в какие объяснения. Деньги у него с собою есть. Он сможет нанять лошадей на ближайшем постоялом дворе.

Карабкаясь на высокий холм, Шагерстрём услышал позади себя стук экипажа. Он обернулся и разглядел в полутьме большую карету, запряженную тройкой лошадей. Стокгольмский почтовый дилижанс! Еще один знак! Теперь он быстро доберется до Стокгольма.

Здесь, в Вермланде, никто и оглянуться не успеет, как он вновь созовет заседание, прерванное шесть лет назад, и выдаст дарственную на все свои владения.

Он остановился, поджидая дилижанс. Когда карета поравнялась с ним, он закричал:

— Эй, стойте, погодите! Есть у вас свободное место?

— Место-то есть! — закричал в ответ форейтор. — Да только не для всяких бродяг.

Дилижанс продолжал свой путь, но на вершине холма остановился. Когда Шагерстрём нагнал карету, форейтор поклонился и снял шапку.

— Кучер уверяет меня, что узнал по голосу господина Шагерстрёма.

— Да, это я.

— Тогда пожалуйста в карету, господин заводчик. Там только две дамы.

II

Любой здравомыслящий человек должен согласиться с тем, что старым, почтенным людям, заботящимся о своей репутации, не совсем удобно признаваться в подглядывании через оконце в столовой и в отыскивании выброшенных в печку писем. Неудивительно поэтому, что пасторская чета ничего не сказала Шарлотте о своих открытиях.

Но, с другой стороны, не желая признаваться в своих тайных проделках, они в то же время не могли допустить, чтобы девушка и дальше сидела в буфетной за своей утомительной работой. Едва только карета полковницы Экенстедт отъехала от ворот, как пасторша заглянула к Шарлотте.

— Знаешь что, душенька моя? — сказала она, расплывшись в благожелательной улыбке. — Когда я увидела отъезжающую карету полковницы, я подумала, до

чего приятно было бы прокатиться куда-нибудь в такую славную погоду. Ведь у меня в Эребру есть старушка сестра, с которой я не видалась целую вечность. Она наверняка рада будет, если мы ее навестим.

Шарлотта слегка изумилась в первую минуту, но она только что ощущала на своих щеках маленькие мягкие руки полковницы и слышала ее торопливый шепот. Можно понять, что мир показался ей теперь совсем иным.

Ехать куда угодно — именно это больше всего пришлось бы ей сейчас по душе. Обрадовалась она и тому, что пасторская чета снова благоволит к ней. Весь остаток дня она была весела, как птичка, болтала без умолку, напевала. Шарлотта, казалось, позабыла и о своей отвергнутой любви, и о ненавистных пересудах.

Они наспех собрались в дорогу и в десять часов вечера уже стояли у ворот, поджидая стокгольмский дилижанс, который должен был проехать мимо.

Любой человек почувствовал бы дорожную лихорадку, увидев громоздкую желтую карету, запряженную тройкой свежих лошадей, которых только что сменили в деревне, заслышав веселый перестук колес, звон упряжи, шелканье кнута и радостное пение почтового рожка. Шарлотта же была вне себя от радости.

— Ехать! Ехать! — восклицала она. — Я могла бы ехать день и ночь вокруг света!

— Ну, девочка, ты бы скоро утомилась, — возразила пасторша. — Впрочем, кто знает? Может, это твое желание сбудется гораздо раньше, чем ты думаешь.

Места были заказаны на постоялом дворе, и дилижанс остановился, чтобы взять пассажиров. Форейтор, который не решался выпустить вожжи, оставался на козлах и оттуда приветливо сказал дамам:

— Добрый вечер, госпожа пасторша! Добрый вечер, барышня! Пожалуйста в карету. Места хватит. Там нет ни единого пассажира.

— Вот как! — воскликнула веселая старушка. — И вы думаете нас этим обрадовать? Ну нет, мы предпочли бы увидеть в карете парочку красивых кавалеров, чтоб было с кем поамурничать.

Присутствующие — кучер, фореитор и обитатели усадьбы, которые все, кроме Карла-Артура, вышли проводить отъезжающих, — разразились громким хохотом. Затем пасторша, веселая и довольная, уселась в правом углу. Шарлотта поместилась рядом с нею, фореитор затрубил в рожок, и карета тронулась.

Некоторое время пасторша и Шарлотта продолжали болтать и шутить, но вскоре случилось нечто в высшей степени досадное: старушка уснула. Шарлотта, которой хотелось еще поговорить, попыталась разбудить ее, но безуспешно.

«Ну да, у нее был тяжелый день, — подумала девушка. — Немудрено, что она утомилась. Но как жаль! Нам было бы так весело! А вот я могла бы болтать хоть всю ночь».

По правде говоря, ей было чуточку страшно оставаться наедине со своими мыслями. Надвигалась темнота. Карета ехала густым лесом. Недовольство и сомнения дожидались своего часа, готовые накинуться на Шарлотту.

После нескольких часов езды она услышала, что какой-то путник окликнул дилижанс. Спустя короткое время дилижанс остановился, и новый пассажир, поднявшись в карету, сел на переднюю скамью как раз напротив Шарлотты. Несколько минут в карете не слышно было ничего, кроме ровного дыхания спящих людей. Первым побуждением Шарлотты было прикинуться спящей, чтобы не вступать в беседу с Шагерстрёмом. Но после нескольких минут растерянности ее озорной нрав снова дал себя знать. Какой превосходный случай! Его нельзя упускать. Быть может, с помощью какой-нибудь хитрой проделки ей удастся заставить Шагерстрёма отказаться от брака с нею. А если она к тому же сыграет с ним шутку, то это, уж верно, ничему не повредит.

Шагерстрём, который все еще пребывал в глубочайшем унынии, вздрогнул, услышав голос из противоположного угла кареты. Он не мог видеть сидящего и различал во тьме лишь светлый овал лица.

— Прошу прощения! Но мне показалось, что фореитор назвал имя Шагерстрёма. Неужто вы тот са-

мый заводовладелец Шагерстрём из Озерной Дачи, о котором я столь много слышала?

Шагерстрём почувствовал легкое раздражение от того, что был узнан, но отрицать этого не мог. Он приподнял шляпу и пробормотал несколько слов, которые могли означать все что угодно.

Из темноты послышался голос:

— Любопытно было бы узнать, как чувствует себя человек, обладающий таким богатством. Я никогда прежде не бывала в обществе миллионщика. Мне, верно, не подобает оставаться на своем месте, в то время как господин Шагерстрём сидит спиной к движению. Я охотно поменяюсь с вами.

Попугчица говорила льстивым, масляным голосом, чуть пришепetyвая. Если бы Шагерстрёму когда-либо довелось иметь дело с жителями Корсчюрки, он тотчас понял бы, что перед ним жена органиста, фру Тея Сундлер. Как бы то ни было, он сразу решил, что никогда в жизни не слышал более несносного и деланного голоса.

— Нет, нет, ни в коем случае! — запротестовал он. — Сидите себе!

— Я, видите ли, приучена к тяготам и неудобствам, — продолжал голос, — и ничего со мною не станется, если я займу место похуже. Но вы-то, господин заводчик, должно быть, привыкли сидеть на золоченых стульях и есть на золотом блюде золотой вилоккой!

— Позвольте вам заметить, милостивая государыня, — сказал Шагерстрём, который начал сердиться не на шутку, — что бóльшую часть своей жизни я спал на соломе и ел деревянной ложкой из оловянной миски. У меня был хозяин, который однажды, разозлясь, так оттаскал меня за волосы, что я после собрал целые клочки и набил ими подушку. Вот какая была у меня перина!

— Ах, как романтично! — воскликнул угодливый голосок. — Как удивительно романтично!

— Прошу прощения, милостивая государыня, — возразил Шагерстрём, — это вовсе не романтично, но это было полезно. Это помешало мне сделаться болваном, за которого вы меня как будто принимаете.

— Ах, что вы говорите, господин заводчик! Болваном! Могу ли я в моем положении считать болваном миллионера! Мне просто любопытно узнать, как чувствует и мыслит столь высокопоставленное лицо. Могу ли я спросить, что вы ощутили, когда счастье наконец улыбнулось вам? Не почувствовали ли вы... ну, как бы это сказать... не почувствовали ли вы себя на седьмом небе?

— На седьмом небе! — повторил Шагерстрём. — Я охотно бы отказался от всего, если б мог!

Шагерстрём надеялся, что женщина в углу кареты поймет, что он не в духе, и прекратит разговор. Но льстивый, масляный голосок неутомимо продолжал:

— Как чудесно, что богатство не попало в недостойные руки. Как чудесно, что добродетель была вознаграждена.

Шагерстрём промолчал. Это был единственный способ уклониться от обсуждения его персоны и его богатства.

Дама в углу кареты, должно быть, поняла, что была чересчур назойливой. Но она не умолкла, а лишь переключила тему разговора.

— Подумать только! И теперь вы, господин заводчик, намерены вступить в брак с этой гордячкой Шарлоттой Лёвеншёльд.

— Что такое? — вскричал Шагерстрём.

— О, простите! — произнес голос еще более льстиво и вкрадчиво, чем прежде. — Я человек маленький и не привыкла общаться с сильными мира сего. Я, быть может, выражаюсь не так, как должно, но что поделаешь, если слово «гордячка» так и просится на язык, когда я заговариваю о Шарлотте. Впрочем, не стану более употреблять его, если оно вам не по вкусу, господин заводчик!

Шагерстрём издал нечто вроде стога. Дама в углу могла при желании принять это за ответ.

— Я понимаю, что вы, господин Шагерстрём, сделали свой выбор по зрелом размышлении. Говорят, господин заводчик всегда тщательно обдумывает и взвешивает свои действия. Надеюсь, так было и с этим

сватовством. А впрочем, я хотела бы спросить, известно ли вам, господин заводчик, что на самом деле представляет собой эта гор... о, простите, эта красивая и очаровательная Шарлотта Лёвеншёльд? Говорят, вы, господин заводчик, до своего сватовства не обменялись с нею ни единым словом. Но тогда вы, верно, каким-либо иным способом удостоверились, что она вполне достойна быть хозяйкой Озерной Дачи.

— Вы хорошо осведомлены, милостивая государыня, — сказал Шагерстрём. — Вы, верно, принадлежите к близким знакомым фрёкен Шарлотты?

— Я имею честь быть близким другом Карла-Артура Экенстедта, господин Шагерстрём.

— А, вот как! — отозвался Шагерстрём.

— Но вернемся к Шарлотте. Простите, что я говорю вам это, но вы не кажетесь счастливым, господин Шагерстрём. Я слышала, как вы вздыхаете и стонете. Быть может, вы, господин заводчик, раскаиваетесь в том, что дали согласие на брак с этой... ну, как бы сказать... безрассудной молодой девушкой? Надеюсь, подобное выражение не коробит господина Шагерстрёма? Слово «безрассудная» ведь может означать все что угодно. Да, я знаю, Шагерстрёмы не берут назад данного слова, но пастор и пасторша — люди справедливые. Они должны бы вспомнить, что им самим пришлось вытерпеть от Шарлотты.

— Пастор и пасторша весьма привязаны к своей питомице.

— Скажите лучше, что они поразительно терпеливы, господин Шагерстрём! Этак будет вернее! Вообразите, господин Шагерстрём, у пасторши была когда-то превосходная экономка, но Шарлотте она пришлась не по нраву. Она щелкнула ее по носу в самый разгар предрождественских хлопот, и бедняжка, не стерпев обиды, отказалась от места. И вот несчастной тетушке Гине, больной и старой, пришлось самой заняться приготовлениями к Рождеству.

Шагерстрём недавно слышал эту же историю, только рассказанную на иной лад, но не счел нужным возражать.

— И вообразите, господин Шагерстрём, пастор, который до такой степени любит своих лошадей, что...

— Я знаю, она устроила скачки на них, — прервал Шагерстрём.

— И вам это не кажется ужасным?

— Мне говорили, что животные застоялись в конюшне и чуть не погибли.

— А вы слышали, как она обошлась со своей свекровью?

— Это когда она перевернула сахарницу? — спросил Шагерстрём.

— Да, когда она перевернула сахарницу. Я полагаю, что особа, которая станет хозяйкой Озерной Дачи, должна уметь вести себя за столом.

— Совершенно верно, сударыня.

— Вы ведь не хотели бы, чтобы ваша жена отказывалась принимать ваших гостей?

— Разумеется, нет.

— Но тогда вы очень рискуете, женись на Шарлотте. Подумайте только, что она натворила в Хольме у камергера Дункера! Она должна была сидеть рядом с капитаном Хаммарбергом на званом обеде, но заявила, что не желает этого. Она сказала, что скорее предпочтет вообще уехать домой. Вы, должно быть, слышали, господин Шагерстрём, что репутация у капитана Хаммарберга не из лучших, но у него есть свои хорошие стороны. Я сама говорила с капитаном по душам и знаю, как несчастлив он оттого, что не может встретить женщину, которая поняла бы его и поверила бы в него. Как бы там ни было, но ведь не Шарлотте его судить, и раз его принимает сам камергер, то ей вовсе не подобает выражать недовольство.

— Что до меня, — сказал Шагерстрём, — то я не намерен приглашать к себе в дом капитана Хаммарберга.

— Возможно, возможно, — произнес голос. — Тогда дело иное. Я вижу, что господин Шагерстрём привязан к Шарлотте гораздо больше, нежели я предполагала. Это весьма благородно, это истинно по-рыцарски. Вы, господин заводчик, верно, берете под свою защиту всякого, кого преследует худая слава. Но в душе-то,

я полагаю, вы вполне согласны со мной. Вы, господин Шагерстрём, знаете, что брак между лицом, занимающим столь высокое положение, и столь безрассудной особой, как Шарлотта, совершенно немислим.

— Так вы полагаете, сударыня, что я с помощью пастора и пасторши могу... Но нет, это невозможно!

— Невозможно другое! — возразил масляный голос самым вкрадчивым тоном. — Невозможно жениться на опозоренной женщине.

— Опозоренной?

— Простите, но вы, верно, ничего не знаете, господин заводчик. Вы так добросердечны! Карл-Артур Экенстедт рассказал мне, как вы поручились за Шарлотту. И хотя вы убедились, что обвинения справедливы, вы все-таки взяли ее под свою защиту. Но не все такие, как вы. Полковница Экенстедт вчера и сегодня гостила в пасторской усадьбе. Она отказалась видеть Шарлотту. Она не пожелала даже спать с ней под одной крышей.

— В самом деле? — спросил Шагерстрём.

— Да, — ответил голос. — Это истинная правда. И знайте, господин Шагерстрём, что некоторые мужчины были настолько возмущены поведением Шарлотты, что решили устроить кошачий концерт около ее дома, как это обычно делают упсальские студенты, когда они недовольны каким-нибудь профессором.

— Ну и что дальше?

— Молодые люди собрались у пасторской усадьбы и подняли шум, но им помешали. Это сделал Карл-Артур. В ту ночь у него во флигеле спала его мать. Она не потерпела бы подобного скандала.

— А иначе молодой Экенстедт, разумеется, не вмешался бы?

— Об этом я судить не смею. Но в интересах справедливости, господин Шагерстрём, я надеюсь, что молодые люди вернутся следующей ночью. И я надеюсь, что слепец Калле долго еще будет ходить по округе и распевать сложенную про нее песню. Ее сочинил капитан Хаммарберг, и она довольно занятна. Ее поют на мелодию песенки «По небу месяц плывет». Услышав

эту песню, господин Шагерстрём, вы поймете, что вам невозможно жениться на Шарлотте Лёвеншёльд.

Внезапно рассказчица умолкла. Шагерстрём забарабил в стенку дилижанса, желая, как видно, дать кому-нибудь знак остановиться.

— В чем дело, господин заводчик? Вы собираетесь выйти?

— Да, милостивая государыня, — ответил Шагерстрём. Он был так же разъярен, как и несколько часов назад, когда Бритта Ньюман попыталась заговорить с ним о Шарлотте. — Не вижу иного пути избавиться от выслушивания клеветы на девушку, которую я уважаю и на которой намерен жениться.

— Ах, что вы! Я вовсе не хотела...

Карета остановилась. Шагерстрём рванул дверцу и вышел.

— Понимаю, что вы не хотели! — сказал он гневно и с громким стуком захлопнул дверь.

Он подошел к фореитору, чтобы расплатиться.

— Вы уже покидаете нас, господин Шагерстрём? — сказал фореитор. — Дамы, верно, будут недовольны. Когда пасторша садилась в карету, она была на меня в претензии за то, что там не было кавалеров.

— Пасторша! — удивился Шагерстрём. — Какая пасторша?

— Да пасторша из Корсчюрки. Разве вы не побеседовали с попугичами и не узнали, что в карете едут пасторша и фрёкен Лёвеншёльд?

— Шарлотта Лёвеншёльд! — повторил Шагерстрём. — Так это была Шарлотта Лёвеншёльд!

Было уже далеко за полночь, когда Шагерстрём вернулся в Старый завод. Управляющий Ньюман и его жена еще не ложились. Они в большой тревоге дожидались возвращения Шагерстрёма и уже подумывали о том, чтобы послать людей на розыски. Оба в волнении ходили по аллее, когда он наконец показался.

Они увидели коренастую, несколько приземистую фигуру на фоне ночного неба и узнали Шагерстрёма, но им все еще не верилось, что это он. Человек, кото-

рый приближался к ним, весело напевал старинную народную песенку.

При виде их он расхохотался.

— Да ложитесь вы спать! Завтра все расскажу. Но вы были правы. Тебе, Нюман, придется готовиться в дорогу. Утром ты отправишься в инспекционную поездку вместо меня. Сам же я должен завтра вернуться в Корсчюрку.

ОГЛАШЕНИЕ

I

В субботу утром Шагерстрём появился в пасторской усадьбе. Он хотел поговорить с пастором о начавшемся преследовании Шарлотты и посоветоваться о том, как лучше положить ему конец. По правде говоря, приезд его пришелся как нельзя более кстати. Бедный старик был вне себя от возмущения и тревоги. Пять тонких морщин, пересекающих его лоб, снова ярко рдели.

Этим же утром его посетили трое господ из деревни — аптекарь, органист и коронный фогт. Они явились единственно затем, чтобы от своего имени и от имени всей общины просить пастора удалить Шарлотту из своего дома.

Аптекарь и коронный фогт* держали себя весьма учтиво. Видно было, что им не по душе подобная миссия. Но органист был в высшей степени раздражен. Он говорил громко и запальчиво, совершенно забыв о почтении к своему духовному пастырю.

Он заявил пастору, что если Шарлотта и впредь будет оставаться в его доме, то это может повредить ему во мнении паствы. Мало того, что она постыдно обманула своего жениха; мало того, что она уже не однажды вела себя самым неподобающим образом, — ко всему этому она вчера набросилась на его жену, которая, разумеется, никак не ожидала, что с ней может приключиться что-либо худое в этом почтенном доме, где она была гостьей.

Пастор сразу же объявил им, что фрёкен Лёвеншёльд останется у него в доме, пока его старая голова еще держится на плечах. С тем посетители вынуждены были удалиться. Но легко понять, сколь неприятна была вся эта история миролюбивому старику.

— Трезвону этому конца не видно, — сказал он Шагерстрёму. — Всю неделю мне не дают покоя. И можете не сомневаться, господин заводчик, что органист не отступится. Сам-то он весьма безобидный малый, но его подстрекает жена.

Шагерстрём, который сегодня был в наилучшем расположении духа, попытался было успокоить старика, но безуспешно.

— Уверяю вас, господин заводчик, что во всей этой истории Шарлотта виновна не более, чем новорожденный младенец, и я, разумеется, и не подумаю отсылать ее из своего дома. Но мир в общине, господин заводчик, мир, который я оберегал целых тридцать лет, теперь будет нарушен.

Шагерстрём понял, что старик опасается, как бы не пошли прахом его многолетние старания сохранить мир в общине. И он начал серьезно сомневаться в том, что у старого пастора достанет сил и мужества устоять перед новыми домогательствами прихожан.

— По правде говоря, — сказал Шагерстрём, — до меня также дошли толки о начавшемся гонении на фрёкен Лёвеншёльд. Я и приехал сегодня затем, чтобы посоветоваться с вами, господин пастор, о том, как положить этому конец.

— Вы умный человек, господин заводчик, — ответил старик, — но я сомневаюсь, сумеете ли вы обуздать злые языки. Нет, нам остается лишь молча готовиться к самому худшему.

Шагерстрём пытался возразить ему, но старый пастор повторил все тем же унылым тоном:

— Надо готовиться к самому худшему... Ах, господин заводчик, если бы вы с Шарлоттой были уже повенчаны!.. Или хотя бы оглашение было сделано!

При этих словах Шагерстрём вскочил со стула.

— Что вы сказали, господин пастор? Вы полагаете, что оглашение помогло бы?

— Разумеется, помогло бы, — ответил старик. — Если бы в приходе знали наверняка, что Шарлотта станет вашей женой, ее оставили бы в покое. По крайней мере, она могла бы тогда находиться у меня в доме до свадьбы, и никто не проронил бы ни слова. Уж таковы люди, господин заводчик. Они не дерзнут оскорблять тех, кого ожидают богатство и власть.

— В таком случае я предлагаю, чтобы оглашение было сделано завтра утром, — сказал Шагерстрём.

— Весьма благородная мысль, господин заводчик, но это невозможно, Шарлотта в отъезде, а у вас ведь нет с собою необходимых бумаг.

— Бумаги находятся у меня в имении, и их можно привезти. И, как вам известно, господин пастор, фрёкен Шарлотта положительно обещала мне свою руку. Кроме того, ведь вы ее опекун, и от вас зависит дать согласие на ее брак.

— Нет, нет, господин заводчик! Не будем принимать поспешных решений.

И старик перевел разговор на другое. Он показал Шагерстрёму несколько наиболее редких экземпляров растений из своей коллекции и рассказал о том, как ему удалось их раздобыть. Он снова сделался оживлен и разговорчив. Он, казалось, позабыл обо всех своих огорчениях.

Но затем он опять вернулся к предложению Шагерстрёма.

— Оглашение ведь еще не венчание. Если Шарлотта будет недовольна, то вовсе не обязательно венчаться.

— Речь идет лишь о вынужденной мере, — сказал Шагерстрём, — к которой мы прибегнем для того, чтобы восстановить мир в общине и прекратить оскорбления и клевету. Я, разумеется, не намерен тащить фрёкен Шарлотту к алтарю против ее воли.

— Да, да, кто знает? — проговорил пастор, должно быть вспомнив о письме, которое он прочел без спросу. — Должен вам сказать, господин заводчик, что Шарлотта — девица с норовом. Так что для нее самой было

бы лучше, если б эта история прекратилась. А не то в дальнейшем она, пожалуй, не удовлетворится парой отрезанных локонов.

Они долго еще обсуждали это дело.

Размышляя об оглашении, они все больше убеждались, что оно было бы наилучшим выходом из всех затруднений.

— Убежден, что старуха моя тоже согласилась бы с этим, — сказал пастор, который под конец преисполнился самых радужных надежд.

Шагерстрём же думал о том, что едва только будет сделано оглашение, он получит право сделаться защитником Шарлотты. И уж тогда он, разумеется, не потерпит никаких кошачьих концертов и хулигельных песен.

Впрочем, нельзя забывать и о том, что, уверившись после разговора в дилижансе в бескорыстии Шарлотты, Шагерстрём вспыхнул к ней самыми нежными чувствами, так что шаг, который он намерен был предпринять, был соблазнителен и для него самого.

Разумеется, он не признавался в этом даже себе. Он был убежден, что действует исключительно по необходимости. Впрочем, так всегда бывает с влюбленными, и именно потому следует смотреть сквозь пальцы на все их безрассудства.

Итак, было решено, что оглашение состоится в церкви на следующий день. Шагерстрём уехал и привез необходимые бумаги, а пастор собственноручно написал текст оглашения.

Когда все было готово, Шагерстрём почувствовал огромное удовлетворение. Ему отнюдь не казалось неприятным, что имя его будет прочитано с церковной кафедры рядом с именем Шарлотты.

«Заводовладелец Густав Хенрик Шагерстрём и благородная девица Шарлотта Лёвеншёльд. Весьма внушительно», — подумал он. Ему захотелось послушать, как эти слова прозвучат в церкви, и он решил отправиться завтра в Корсчюрку, чтобы присутствовать на богослужении.

II

В это воскресенье, в день первого оглашения, Карл-Артур Экенстедт сказал весьма замечательную проповедь. Впрочем, этого и следовало ожидать после бурных событий, происшедших с ним за последнюю неделю. Хотя, может статься, что именно эти события — разрыв с невестой и новая помолвка — усугубляли впечатление, производимое его словами.

Согласно сегодняшнему тексту проповеди, он должен был говорить о лжепророках, от которых Христос предостерегал своих учеников. Но он чувствовал, что эта тема не созвучна тому состоянию, в котором он теперь находился. Охотнее он стал бы говорить о тщете земных привязанностей, о пагубном влиянии богатства и благе бедности. Он ощущал потребность стать еще ближе к своим слушателям, обнажить перед ними душу, открыть всю глубину своей любви к ним и тем самым добиться их доверия.

Мучимый сомнениями, он трудился всю неделю, но не сумел сочинить такую проповедь, как ему хотелось бы. Он проработал всю последнюю ночь, но без всякого проку. Когда наступило время отправляться в церковь, проповедь еще не была готова, и, чтобы окончательно не оконфузиться, он вырвал из старого сборника проповедей несколько страниц, касавшихся сегодняшней темы, и сунул их в карман.

Но когда он, стоя на кафедре, начал читать из Евангелия, в голове у него возникла мысль, которая показалась ему необычной и заманчивой. Он понял, что она была внушена ему Богом.

— Возлюбленные мои слушатели! — начал он. — Сегодня я пришел сюда, чтобы во имя Божье предостеречь вас от лжепророков, но вы, должно быть, мыслите в сердце своем: достоин ли говорящий с нами быть нашим учителем? Что ведаем мы о нем? Быть может, он всего лишь терновник, на котором не расти винограду, либо репейник, с которого не собрать смоквы. Кто разуверит нас в этом? Посему, возлюбленные слушатели, хочу я поведать вам, какими путями вел меня

Господь, дабы сделать из меня провозвестника слова Божья.

И молодой пастор с глубоким душевным волнением стал рассказывать прихожанам о своей судьбе. Он рассказал им о том, как в годы обучения в университете прилагал все усилия, чтобы сделаться знаменитым ученым. Он описал казус с неудавшимся латинским сочинением, возвращение домой, ссору с матерью, примирение с ней и поведал о том, как все эти события привели его к знакомству с Понтусом Фриманом.

Он говорил чрезвычайно тихо и робко, и никто не мог усомниться в искренности каждого его слова. Быть может, его звенящий от волнения голос более всего пленял слушателей. Уже после первых фраз все притихли и сидели, не сводя взора с проповедника.

И, как бывает всегда, когда человек говорит с людьми просто и открыто, они потянулись к нему и с этого часа дали ему место в своих сердцах. Бедняки из лесных домишек, богачи из заводских усадеб поняли, что он доверился им, дабы приобрести их доверие.

Он продолжал рассказывать о первых своих несмелых попытках последовать Христу. Он описал свадебный бал в доме своих родителей, когда, опьяненный мирскими радостями, он принял участие в танцах.

— После той ночи, — сказал он, — в душе моей много недель царила тьма. Я чувствовал, что предал Спасителя. Я не сумел стать столь же бдительным и мужественным, как Он. Я оказался рабом мирских радостей. Мирские соблазны одержали надо мной верх. Небо никогда не станет моим уделом.

Некоторые слушатели столь живо представили себе описываемые им терзания, что не смогли удержаться от слез. Они были целиком во власти человека, стоявшего на церковной кафедре. Они чувствовали, страдали и боролись вместе с ним.

— Мой друг Фриман, — продолжал пастор, — пытался утешить меня и помочь мне. Он сказал мне, что спасение мое — в любви к Богу, но я не мог возвыситься душой настолько, чтобы возлюбить Господа. Я был

привязан к сотворенному Им миру больше, нежели к Создателю.

И вот, когда я совсем уже впал в отчаяние, однажды ночью я увидел Христа. Я не спал. Все эти дни и ночи сон не шел ко мне. Но картины, подобные тем, что видишь во сне, часто проходили перед моими глазами. Я знал, что они вызваны крайней усталостью, и не обращал на них внимания.

Но вдруг передо мной возникло видение, ясное и отчетливое, которое никак не исчезало.

Я увидел озеро с голубыми сверкающими водами и большую толпу людей на берегу. Посреди толпы стоял человек с длинными кудрявыми волосами и глубокими, печальными глазами. Он что-то говорил окружающим его людям, и, едва увидя его, я понял, что это Христос. Тут к Христу подошел юноша, низко поклонился и задал Ему вопрос. Я не мог слышать его слов, но знал, что он — тот самый богатый юноша, о котором говорится в Евангелии, и что он спрашивает Учителя, что должен он сделать, дабы обрести жизнь вечную.

Я видел, что Иисус говорил с юношей, и знал, что он ответил юноше, что ему следует блюсти десять Божьих заповедей. Юноша еще раз поклонился учителю и с облегчением рассмеялся. И я знал, что он ответил, что это он сохранил от юности своей.

Но Иисус обратил на него долгий и испытующий взгляд и произнес еще несколько слов. И на этот раз я также знал, что Он сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое, и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на Небесах; и приходи, и следуй за Мной». Тогда юноша отвернулся от Иисуса и пошел прочь, и я знал, что он опечален, ибо у него было богатое имение.

Но когда богатый юноша пошел своей дорогой, Иисус посмотрел ему вслед долгим взглядом.

И в этом взгляде прочел я столько сострадания и столько любви! Ах, возлюбленные мои слушатели, столько небесной святости прочел я в этом взгляде, что сердце мое радостно забилося и свет вернулся в мою омраченную душу. Я вскочил, я хотел сам кинуться

к Нему и сказать, что люблю Его превыше всего на свете. Весь мир стал мне вдруг безразличен. Я жаждал лишь одного — следовать своему Учителю. Но лишь только я шевельнулся, видение исчезло. Но не исчезло воспоминание о нем, мои друзья и слушатели.

На другой день я пришел к своему другу Понтусу Фриману и спросил его, чего требовал от меня Иисус? Ведь у меня нет богатого имения. И он ответил, что Иисус, верно, желает, чтобы я пожертвовал ему славой и почестями, которые принесет мне моя ученость, и сделался одним из ничтожных и смиренных слуг Его.

И тогда я все бросил и стал священником, дабы говорить с людьми о Христе и любви к Нему.

Но вы, мои слушатели, молитесь за меня, ибо я, как и все вы, принужден жить в этом мире, полном соблазнов. И они будут прельщать меня, как и всех вас. И я страшусь и трепещу, как бы соблазны сии не отвратили моей души от Бога и не превратили меня в одного из лжепророков.

Он сложил руки и, казалось, в одно мгновение увидел перед собою все искушения и опасности, которые подстерегали его, и мысль о своей слабости вызывала у него слезы. Волнение овладело им до такой степени, что он не в силах был продолжать проповедь. Он лишь произнес «аминь» и, опустившись на колени, стал молиться.

В церкви послышались громкие всхлипывания. Одна эта короткая проповедь сразу же сделала Карла Артура всеобщим любимцем. Все эти люди, собравшиеся в церкви, готовы были носить его на руках, они готовы были пожертвовать собою ради него так же, как он пожертвовал собою ради Спасителя.

Но как ни велико было впечатление от его слов, оно никогда не произвело бы столь потрясающего действия, если бы сразу же вслед за проповедью не последовало чтение текстов оглашения.

Сперва молодой священник прочел несколько незнакомых имен, на которые никто не обратил внимания. Но вдруг все увидели, как он чуть побледнел и приблизил к глазам листок бумаги, чтобы увериться

в том, что не ошибся. Затем он продолжал читать, понизив голос, словно не желая, чтобы его слышали:

«Ныне делается первое оглашение освященного христианской церковью союза между заводовладельцем Густавом Хенриком Шагерстрёмом из поместья Озерная Дача и благородной девицей Шарлоттой Адрианой Лёвеншёлд, имеющей жительство в пасторской усадьбе. Оба принадлежат к сей общине.

Да пребудет с ними счастье и да снизойдет на них благословение Создателя, по воле которого свершился этот союз».

Напрасно молодой пастор понизил голос. В мертвой тишине, наступившей в церкви, было слышно каждое слово.

Это было мерзко.

Шагерстрём и сам понимал, до чего это мерзко. Человек, отринувший все мирские соблазны, чтобы стать смиренным слугою Божиим, читал вслух о том, что женщина, которую он любил, выходит замуж за одного из богатейших людей в стране. Это было мерзко. Человек, который целых пять лет был женихом Шарлотты; человек, который еще в прошлое воскресенье носил на пальце ее кольцо, читал о том, что она готова вступить в новый брак.

Людям было стыдно смотреть друг другу в глаза. Смущенные, они покидали церковь.

Шагерстрём чувствовал это сильнее, нежели кто-либо другой.

Он сохранял внешнее спокойствие, но про себя думал, что не удивился бы, если бы люди стали плевать ему вслед или закидали бы его камнями.

И этим он хотел помочь Шарлотте!

Шагерстрём часто казался себе глупым и нелепым, но ни разу еще это чувство не было в нем столь сильно, как в то воскресенье, когда он шел через широкий проход к дверям церкви.

III

В первую минуту Шагерстрём намеревался написать Шарлотте, объяснить все и попросить у нее прощения.

Но вскоре он понял, что такое письмо написать будет несказанно трудно. Вместо этого он велел заложить карету и отправился в Эребру. От пастора Форсиуса он узнал имя старой дамы, к которой уехали погостить пасторша и Шарлотта. Утром в понедельник он явился к ней в дом и попросил разрешения поговорить с Шарлоттой.

Он тотчас же сообщил Шарлотте о своем необдуманном поступке. Он не пытался оправдываться, а рассказал лишь, как все произошло.

Можно сказать, что Шарлотта поникла, точно раненная насмерть. Чтобы не упасть, она опустилась в маленькое низкое креслице и замерла в неподвижности. Она не стала осыпать его упреками. Ее боль была слишком сильна и свежа.

До сих пор она могла утешаться мыслью, что, когда Карл-Артур с помощью полковницы переменит свое мнение о ней и примирится с нею, честь ее будет восстановлена и недруги ее поймут, что речь шла всего лишь об обычной размолвке между влюбленными. Но теперь, когда в церкви было сделано оглашение о ней и Шагерстрёме, все будут убеждены, что она и впрямь собиралась выйти замуж за богатого заводовладельца. Отныне ей неоткуда ждать помощи. Объяснить ничего невозможно. Она навеки опозорена и навсегда останется в глазах людей вероломной, корыстолюбивой интриганкой.

У нее появилось жуткое чувство, будто ее, точно узницу, ведут неизвестно куда. Она делает все, чего хотела бы избежать, и способствует всему, что хотела бы предотвратить. Это было какое-то наваждение. Объяснить этого нельзя было. С того дня, когда Шагерстрём впервые посватался к ней, она больше не властна была в своих поступках.

— Но кто вы такой, господин Шагерстрём? — внезапно спросила она. — Почему вы постоянно оказываетесь на моем пути? Почему я не могу избавиться от вас?

— Кто я такой? — повторил Шагерстрём. — Я скажу вам, кто я такой, фрёкен Лёвеншёльд. Я самый безмозглый болван из всех, какие ходили когда-либо по Божьей земле.

Он сказал это с такой искренней убежденностью, что слабая тень улыбки появилась на лице Шарлотты.

— С того самого дня, когда я увидел вас, фрёкен, в церкви, на пасторской скамье, я хотел помочь вам и сделать вас счастливой. Но я принес вам лишь горе и страдания.

Слабая улыбка уже исчезла с лица Шарлотты. Она сидела бледная и неподвижная, безвольно опустив руки. Взгляд, устремленный в пространство, казалось, не мог видеть ничего, кроме ужасного несчастья, которое навлек на нее Шагерстрём.

— Я твердо обещаю вам, фрёкен Шарлотта, не допустить второго оглашения в следующее воскресенье, — сказал Шагерстрём. — Вы ведь знаете, фрёкен, что оглашение не имеет законной силы, пока не будет прочитано три воскресенья подряд с одной и той же кафедры.

Шарлотта слабо махнула рукой, точно говоря, что теперь это уже не имеет значения. Репутация ее загублена, и ее уже не спасти.

— И я обещаю вам, фрёкен Лёвеншёльд, не появляться больше на вашем пути, пока вы сами меня не позовете.

Он пошел к двери. Но он хотел сказать ей еще кое-что. Это потребовало от него, пожалуй, больше самоотверженности, нежели что-либо иное.

— Я хочу лишь добавить, — сказал он, — что теперь я начинаю понимать вас, фрёкен Лёвеншёльд. Я был несколько удивлен тем, что вы до такой степени любите молодого Экенстедта, что ради него готовы были вынести клевету и травлю. Потому что я ведь понимаю: вы заботились только о нем. Но вчера, услышав его проповедь, я понял, что его следует оберегать. Он призван для великих дел.

Шагерстрём был вознагражден. Она взглянула на него. Щеки ее чуть порозовели.

— Благодарю, — сказала она, — благодарю за то, что вы поняли меня.

Затем она снова погрузилась в безнадежное отчаяние. Ему больше нечего было делать здесь. Он отвесил глубокий поклон и вышел из комнаты.

АУКЦИОН

Говорят, что нет худа без добра, и если применить эту поговорку к Шарлотте Лёвеншёльд, то следует признать, что несчастья и преследования придали ей то очарование, какого ей недоставало, чтобы сделаться истинной красавицей. Глубокая грусть навсегда избавила ее от несколько чрезмерной ребячливости и резвости. Она придала спокойное достоинство голосу, чертам, движениям Шарлотты. Печаль придала ее глазам тоскливый блеск; в них вспыхнул тот трогательный, тревожный огонь, который говорит об утраченном счастье. Где бы ни появлялось это печальное, очаровательное юное существо, оно неизменно будило в людях участие, сострадание, симпатию.

Во вторник утром Шарлотта и пасторша возвратились из Эребру, и в тот же день в пасторскую усадьбу явилась молодежь из близлежащего завода в Хольме. Эти милые юноши и девушки были преданными друзьями Шарлотты и так же, как жена управляющего из Старого завода, отказывались верить в ее вероломство. Им достаточно было лишь одного взгляда на нее, чтобы понять, насколько глубоко ее горе. Они не задавали ей никаких вопросов, не позволили себе ни единого намека по поводу предстоящей свадьбы, а старались лишь обходиться с ней как можно мягче и бережнее.

Собственно говоря, явились они отнюдь не с поздравлениями, а совсем с иной целью. Но, увидев, как несчастна Шарлотта, они долго не решались начать разговор.

Тем не менее мало-помалу выяснилось, что они хотели рассказать об Элин Матса-торпаря — той самой, у которой было родимое пятно на лице и десять братишек и сестреночек мал мала меньше. Нынче рано утром она пришла к Хольму к их матери с жалобой на то, что ее маленьких братьев и сестер хотят раздать с аукциона.

Элин Матса-торпаря и ее семья жили нищенством. Что же еще оставалось делать беднякам? Но приход-

ским властям стала надоедать эта голодная орава, которая христарадничала по дворам. И тогда приходский совет задумал устроить торги и раздать детей по рукам. Был объявлен своего рода аукцион, в котором могли принять участие те, кто хотел взять к себе в дом одного или нескольких детей.

— Вашей милости известно, небось, как бывает на таких аукционах, — говорила девушка. — Только и глядят, как бы славить ребят к тем, кто соглашается взять их подешевле. А об том, чтоб за детьми догляд был да чтобы растили их как надо, никому и дела нет.

Бедная девушка, которая до сих пор одна была в ответе за всю эту ораву, совершенно обезумела от горя. Она говорила, что на этих аукционах детей чаще всего берут бедняки-торпари, которым нужны даровые пастухи для коз и овец либо даровая прислуга в помощь недужной хозяйке. Ее ребятишкам придется гнуть спину наравне со взрослыми батраками, миловать аукционных детей никто не станет. Им придется отрабатывать свой хлеб. Самой младшей девочке всего три года, и она не сможет ни скот пасти, ни по дому помогать. А уж коль от нее не будет никакого проку, ее просто напросто уморят голодом.

Больше всего Элин сокрушалась из-за того, что дети будут раскиданы по чужим домам. Сейчас меж ними такая дружба и привязанность, но через несколько лет они не станут узнавать ни ее, ни друг друга. А кто станет приучать их к честности и правдивости, которые она до сих пор пыталась им прививать?

Хозяйку Хольмы крайне растрогали жалобы бедной девушки, но помочь ей она ничем не могла. В домах мастеровых вокруг Хольмы и без того было много детишек, о которых ей приходилось заботиться. Но все же она послала двух своих дочерей на этот аукцион, который должен был происходить в помещении приходского совета, чтобы знать, в чьи руки попали бедные ребятишки.

Когда барышни из Хольмы пришли в приходский совет, аукцион только что начался. На скамье в глубине комнаты сидели дети; старшая сестра держала на коленях

трехлетнюю девочку, а остальные жались к ней. Они не кричали и не жаловались, лишь непрерывный тихий плач доносился из этого угла. Они были до того исхудалые и оборванные, что, казалось, хуже быть уже не может, но то, что ожидало их, представлялось им верхом несчастья. У стен сидела деревенская голытьба, которая обычно собирается на подобных аукционах. Лишь посредине, за председательским столом, можно было видеть кое-кого из власть имущих — нескольких владельцев зажиточных усадеб, двух-трех заводчиков, в обязанности которых входило надзирать за тем, чтобы аукцион проходил как должно и чтобы дети попали к добропорядочным и хорошо известным в округе людям.

Старший из детей, худой и долговязый мальчонка, стоял на столе, выставленный на всеобщее обозрение. Аукционист расхваливал его, говоря, что он годится и в пастухи, и в лесорубы, и какая-то женщина, судя по платью очень бедная, подошла к столу, чтобы поближе разглядеть мальчика.

Внезапно дверь отворилась, и вошел Карл-Артур Экенстедт. Он остановился на пороге, оглядел комнату, а затем воскликнул, воздев руки к небу:

— О Боже, отведи от нас взор Свой! Не смотри на то, что здесь происходит!

Затем он подошел к отцам прихода, сидящим за председательским столом.

— Прошу вас, братья во Христе, — сказал он, — не совершайте столь великого греха! Не продавайте людей в рабство!

Все присутствующие были крайне смущены его словами. Бедная женщина поспешно отошла от стола к дверям. Приходские тузы смущенно заерзали на скамье. Впрочем, их, казалось, скорее коробило неуместное вмешательство пастора в приходские дела, нежели их собственное поведение. Наконец один из них поднялся с места.

— Это решение приходского совета, — сказал он.

Молодой пастор, прекрасный как бог, стоял перед ними, откинув голову, с горящими глазами. Видно было, что никакие приходские советы не остановят его.

— Я прошу заводчика Арона Монссона прекратить аукцион.

— Вы ведь слышали, доктор Экенстедт, аукцион назначен по решению приходского совета.

Карл-Артур, пожав плечами, отвернулся от Монссона. Он положил руки на плечо мальчика, стоящего на столе.

— Я беру его, — сказал он. — И за цену, ниже которой никто не сможет назначить. Я беру его под свою опеку, не требуя за это никакого возмещения у прихода.

Заводчик Арон Монссон вскочил с места, но Карл-Артур даже не удостоил его взглядом.

— Вызвать нет больше надобности, — сказал он аукционисту, — я беру всех детей разом и за ту же цену.

Тут все вскочили с мест. Лишь Элин Матса-торпаря и ее питомцы продолжали сидеть, не понимая, что происходит.

Заводчик Арон Монссон пытался возражать.

— Выходит, будет все та же волынка, — сказал он. — Мы ведь затеяли этот аукцион, чтобы покончить с вечным попрошайничеством.

— Дети больше не будут побираться.

— Кто поручится нам за это?

— Христос, который сказал: «Пусть дети придут ко Мне». Он поручится за малых сих.

Во всем облике молодого пастора было столько властной силы и величия, что могущественные заводчики не нашлись, что ответить.

Карл-Артур приблизился к детям:

— Ступайте отсюда! Бегите домой! Я взял вас на свое попечение.

Они не смели двинуться с места. Тогда Карл-Артур взял младшую девочку на руки и вышел с нею из помещения приходского совета. Остальные дети гурьбой ринулись за ним.

Никто не остановил их. Многие из присутствующих, сконфуженные и смущенные, уже разошлись.

Но когда сестры вернулись домой в Хольму и рассказали обо всем матери, она заявила, что нужно сделать что-нибудь, чтобы помочь молодому пастору и его многочисленным питомцам.

Хозяйка Хольмы решила, что следует собрать денег на детский приют, и за этим-то и явились теперь ее дочери в пасторскую усадьбу.

Когда рассказ был окончен, Шарлотта поднялась и, плача, вышла из комнаты.

Она поспешила к себе наверх, чтобы там упасть на колени и возблагодарить Бога.

То, о чем она так долго мечтала, теперь сбылось. Карл-Артур предстал теперь истинным пастырем, вожаком своих прихожан, ведущим их по Божьей стезе.

ТРИУМФ

Спустя несколько дней пасторша Форсиус заглянула однажды утром к мужу, который сидел за письменным столом.

— Ну-ка, старик, зайди под каким-нибудь предлогом в столовую. Увидишь кое-что приятное.

Пастор тотчас же поднялся с места. Он вошел в столовую и увидел там Шарлотту, сидевшую с вышиванием за столиком у окна.

Она не работала, а сидела, сложив руки на коленях, и смотрела через окно на флигель, в котором жил Карл-Артур. В этот день посетители неиссякаемым потоком шли к флигелю, и именно это привлекло ее внимание.

Пастор сделал вид, что ищет свои очки, которые преспокойно лежали у него в комнате. Одновременно он поглядывал на Шарлотту, которая с мягкой улыбкой следила за тем, что происходит около флигеля. Слабый румянец окрасил ее щеки, в глазах светился тихий восторг. Ею и впрямь можно было залюбоваться. Заметив пастора, она сказала:

— Весь день идут люди к Карлу-Артуру.

— Да, — сухо откликнулся старик. — Ни на минуту не оставляют его в покое. Скоро, видно, мне самому придется вести записи в церковных книгах.

— Только что пришла дочь Арона Монссона. Принесла бочонок масла.

— Как видно, для его приемных детей.

— Все любят его, — сказала Шарлотта. — Я знала, что когда-нибудь это должно произойти.

— Что ж, когда человек молод и красив, ему нетрудно заставить женщин проливать слезы.

Но эти слова не омрачили восторга Шарлотты.

— Только что к нему приходил кузнец из Хольмы. Он из сектантов. А вы ведь знаете, дядюшка, что это за народ. В церковь и носу не кажут, а обычных священников и слушать не хотят.

— Да что ты! — воскликнул не на шутку заинтересованный старик. — Неужто ему удалось сдвинуть с места эти каменные глыбы? По правде говоря, моя девочка, я не уверен, что из него выйдет толк.

— Я думаю о полковнице, — сказала Шарлотта. — Как бы она была счастлива, если бы видела это!

— Едва ли она мечтала именно о таком успехе для сына.

— Люди становятся лучше рядом с ним. Я видела, как некоторые, выходя от него, плакали и утирали глаза. Муж Марии-Луизы также был здесь. А вдруг Карл-Артур поможет ему! Ведь это было бы чудесно, не правда ли?

— Разумеется, девочка моя. Но лучше всего то, что тебе по душе сидеть здесь у окна и смотреть на этих людей.

— Я придумываю за них слова, с которыми они обращаются к Карлу-Артуру, и мне чудится, будто я слышу его ответы.

— Ну что ж, это прекрасно. Но знаешь ли? Очки-то, должно быть, у меня в комнате.

— Не случись этого, все происшедшее просто не имело бы никакого смысла. Я не была бы вознаграждена за то, что пыталась защитить его. Но теперь я понимаю, в чем тут суть.

Старик поспешил выйти из комнаты.

Девушка растрогала его до слез.

— Господи, что нам делать с нею? — бормотал он. — Ей-богу, она скоро лишится рассудка.

Если Шарлотта упивалась триумфом Карла-Артура все дни недели, то во сто крат большую радость испытала она, когда наступило воскресенье.

В это утро все дороги были забиты народом, точно во время королевского визита. Люди шли и ехали непрерывным потоком. Ясно было, что слухи о совершенно новом стиле проповедей молодого пастора, о его страстной и сильной вере уже распространились по всему приходу.

— В церкви не поместится столько народу, — сказала пасторша. — И стар и млад ушли из дому. Все усадьбы оставлены без призора; как бы пожара не было.

Пастор чувствовал смутное недовольство. Он понимал, что Карл-Артур дал новый толчок религиозным чувствам, и не имел бы ничего против этого, если бы был убежден, что молодому пастору удастся и впредь поддерживать зажженный им огонь. Но, чтобы не огорчить Шарлотту, пребывавшую в совершенном экстазе, он ничего не говорил о своих опасениях.

Старики отправились в церковь, но, разумеется, о том, чтобы Шарлотта сопровождала их, не могло быть и речи. С субботней почтой Шарлотта получила короткую записку от полковницы с просьбой потерпеть и не открывать правды еще несколько дней и, следовательно, не могла воспользоваться предложением Шагерстрёма приостановить оглашение. Пасторская чета опасалась, что прихожане, боготворящие Карла-Артура, позволят себе какую-либо грубую выходку по отношению к Шарлотте, и потому девушку оставили дома.

Но едва лишь экипаж исчез за углом, Шарлотта надела шляпку и мантилью и направилась в церковь. Она не могла противиться желанию послушать проповедь Карла-Артура в новом стиле, привлекавшем к нему сердца всех прихожан. Не могла она также отказать себе в удовольствии быть свидетельницей всеобщего обожания, окружавшего Карла-Артура.

Ей удалось протиснуться на одну из самых задних скамей, и она сидела, едва дыша от волнения, пока он не появился на кафедре.

Она удивилась тому непринужденному тону, каким он заговорил с собравшимися в церкви людьми. Казалось, он беседует с задушевными друзьями. Он не упо-

треблял ни единого слова, которое могло оказаться непонятым этим простым людям, он делился с ними своими трудностями и заботами, точно ища у них помощи и совета.

В этот день Карл-Артур должен был рассказать притчу о вероломном управителе усадьбы. Шарлотта испугалась за него, ибо текст этот был чрезвычайно труден. Она часто слышала, как многие пасторы жаловались на то, что смысл притчи темен и труднодоступен. Начало и конец не вязались между собою. Краткость этой притчи являлась скорее всего причиной того, что звучала она малопонятно в нынешние времена. Шарлотта никогда не слышала хоть сколько-нибудь удовлетворительного ее толкования. Некоторые пасторы опускали начало притчи, другие опускали последнюю часть, но никто из них никогда не умел придать ей ясность и связность.

Разумеется, все остальные думали примерно то же самое. «Он наверняка отойдет от текста, — думали люди. — Он не справится с ним. Он поступит так же, как в прошлое воскресенье».

Но молодой пастор с величайшим мужеством и уверенностью взялся за эту трудную тему и сумел придать ей смысл и ясность. В порыве вдохновения он сумел возратить притче ее первоизданную красоту и глубину. Так бывает, когда мы, стерев вековую пыль со старинной картины, оказываемся перед истинным шедевром.

Слушая Карла-Артура, Шарлотта все более и более поражалась.

«Откуда у него все это? — думала она. — Это не его слова. Сам Бог говорит его устами».

Она видела, что даже старый пастор сидит, приставив ладонь к уху, чтобы не пропустить ни единого слова. Она видела, что внимательнее всего слушают проповедника пожилые люди, обычно наиболее глубокомысленные и серьезные. Она знала, что теперь уже никто не скажет, будто Карл-Артур — дамский проповедник и будто красивая внешность способствует его успеху.

Все было великолепно. Шарлотта была счастлива. Она чувствовала, что никогда еще жизнь ее не была так полна и прекрасна, как в эти часы.

Самое поразительное в проповеди Карла-Артура было, пожалуй, то, что слова его дарили людям покой и забвение всех их страданий. Они чувствовали на себе мудрую и благодатную власть его духа. Души их не испытывали страха, они преисполнялись восторгом. Многие из них давали в сердце своем обеты, которые они затем постараются неукоснительно выполнять.

Но самое сильное впечатление прихожане получили в этот день не от проповеди Карла-Артура, хоть она и была прекрасна, и не от оглашения, которое за ней последовало. Слова, касавшиеся Шарлотты, были выслушаны при неодобрительном ропоте, но ведь все знали о них заранее. Самое удивительное произошло после богослужения.

Шарлотта хотела уйти из церкви тотчас же после проповеди, но ей не удалось выбраться из толпы, и она принуждена была остаться до конца службы. Когда прихожане затем постепенно потянулись к выходу, она хотела опередить их, но не смогла. Никто не уступал ей дороги. Никто не говорил ей ни слова — ее просто не замечали.

Она вдруг почувствовала, что окружена врагами. Все ее знакомые старались избежать встречи с нею. Лишь одна женщина подошла к ней. Это была ее отчаянная сестра, докторша Ромелиус.

Пробравшись наконец к выходу из церкви, женщины остановились в дверях.

Они увидели, что на песчаной дорожке перед церковью собралась группа молодежи. Мужчины держали в руках букеты из репейника, увядшей листвы и жухлой травы, наскоро собранные ими у церковной ограды. Они явно намеревались вручить все это Шарлотте и поздравить ее с новой помолвкой. Долговязый капитан Хаммарберг стоял впереди всех. Он слыл в приходе самым злым и острым на язык человеком. Капитан откашлялся, приготовляясь к приветственной речи.

Прихожане тесным кольцом окружили молодых людей. Они с радостью готовы были слушать, как станут поносить и позорить девушку, которая изменила своему возлюбленному ради богатства и золота. Они заранее хихикали. Уж Хаммарберг-то ее не пощадит.

Докторша явно испугалась. Она потянула сестру обратно в церковь, но Шарлотта отрицательно покачала головой.

— Это не имеет значения, — сказала она. — Теперь больше ничего не имеет значения.

Итак, они медленно приближались к группе молодых людей, которые поджидали их, придав лицам деланно дружелюбное выражение.

Но вдруг к сестрам подбежал Карл-Артур. Он проходил мимо, заметил их затруднительное положение и бросился им на помощь. Он предложил руку старшей сестре, приподняв шляпу, обернулся к молодым людям, легким жестом показал, что им лучше отказаться от своего намерения, и благополучно вывел обеих женщин на проезжую дорогу.

Но в том, что он, оскорбленный, взял Шарлотту под свою защиту, было нечто неслыханно благородное.

Это-то и было самым сильным впечатлением, полученным прихожанами в то воскресенье.

ОБВИНИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ ПРОТИВ БОГА ЛЮБВИ

В понедельник утром Шарлотта отправилась в деревню, чтобы поговорить со своей сестрой, докторшей Ромелиус. Докторшу, как и многих Лёвеншёльдов, крайне интересовало все сверхъестественное. Она рассказывала, как встречала на улице, среди бела дня, давно умерших людей, и верила в самые жуткие истории о привидениях. Шарлотта, девушка совсем иного склада, прежде лишь посмеивалась над ее болезненным воображением, но теперь она все же решила посоветоваться с ней относительно загадок, над которыми размышляла в последнее время.

После скандального происшествия у церкви в молодой девушке снова пробудились мысли о собственной злосчастной участи. И снова, как тогда в Эребру, когда Шагерстрём рассказал об оглашении, она почувствовала себя во власти каких-то неведомых чар. Она была околдована. Ей чудилось, что ее преследует какое-то грозное, злонамеренное существо, которое отняло у нее Карла-Артура и которое все еще продолжает насыпать на нее новые беды.

Шарлотта, которая в эти дни постоянно ощущала слабость и какую-то необъяснимую усталость, брела медленно, понунив голову. Люди, встречавшиеся ей на пути, думали, должно быть, что она терзается угрызениями совести и стыдится смотреть им в глаза.

С трудом дотащилась она до деревни и брела теперь вдоль высокой живой изгороди, окружавшей сад органиста. Вдруг садовая калитка отворилась, кто-то вышел из сада на дорогу.

Неволью Шарлотта подняла голову. Это был Карл-Артур. Волнение ее при мысли о встрече с ним здесь, без свидетелей, было столь велико, что она замерла на месте. Но он не успел дойти до нее; кто-то позвал его назад из глубины сада.

В последнее время погода переменилась. Не было больше ясных, безоблачных дней, какие стояли в течение всего лета. Короткие бурные ливни выпадали в любое время дня, и фру Сундлер, которая заметила, что над лесистым склоном показалась туча и на землю упало несколько капель дождя, выбежала в палисадник с большим плащом своего мужа, чтобы предложить его Карлу-Артуру.

Когда Шарлотта проходила мимо калитки, Тея Сундлер как раз помогала ему надевать плащ. Они находились в каких-нибудь двух шагах от девушки, и она не могла не видеть их. Фру Сундлер застегивала плащ на молодом пасторе, а он смеялся своим мальчишеским смехом, забавляясь тем, что она так тревожится за него.

Тея Сундлер казалась довольной и радостной, и во всей этой сцене не было ровно ничего предосудительного. Но Шарлотту, которая увидела, как Тея Сундлер

опекает Карла-Артура, точно она была ему матерью или женой, вдруг осенила догадка.

«Она любит его», — подумала девушка.

Она поспешила прочь, чтобы не смотреть дальше, но не переставала твердить про себя:

«Разумеется, она любит его. И как же это я раньше не догадалась! Этим все и объясняется. Оттого-то она и разлучила нас».

Ей тотчас же стало ясно, что Карл-Артур ни о чем не догадывается. Он, верно, занят мыслями о своей красивой далекарлийке. Разумеется, он теперь все вечера проводит в доме органиста, но его, должно быть, более всего влекут сюда красивое пение и музыка, которыми его здесь потчуют. К тому же ему надо ведь и поговорить с кем-нибудь, а Тея Сундлер — старый друг их семьи.

Собственно говоря, можно было ожидать, что открытие, сделанное Шарлоттой, опечалит или испугает ее, но этого не произошло. Напротив, она подняла голову, ее поникшие плечи распрямились, и в осанке ее снова появились обычная гордость и независимость.

«Стало быть, это Тея Сундлер виновница всех бед, — подумала она. — Ну, с ней-то я могу справиться».

Она чувствовала себя точно больной, который наконец понял, каким недугом страдает, и уверен, что сможет найти против него средство. Она вновь преисполнилась надежды и уверенности.

— А я-то думала, что это злосчастный перстень снова навлекает на нас беду! — бормотала она про себя.

Ей вспомнилось, что она когда-то слышала рассказ отца о том, что Лёвеншёльды не сдержали обещания, данного Мальвине Спаак, матери Теи Сундлер, и за это им было предсказано тяжкое наказание. Она и шла к сестре затем, чтобы подробнее узнать об этой истории. До этой минуты она видела в событиях последних недель нечто роковое, нечто непреодолимое, чего она не в силах была ни избежать, ни предотвратить. Но если все ее несчастья объясняются лишь тем, что Тея любит Карла-Артура, то она найдет средство избавиться от них.

Внезапно она отказалась от намерения идти к сестре и повернула домой. Нет, это не по ней. Нечего ей верить в какие-то древние проклятия. Она доверится собственному разуму, собственной силе и собственной изобретательности и откажется от мыслей о непонятном мистическом вздоре.

Раздеваясь вечером в своей комнате, она долго смотрела на маленького фарфорового амура, стоявшего у нее на секретере.

— Стало быть, все это время ты покровительствовал ей, — сказала она, обращаясь к статуэтке. — Ты простер свои руки над ней, а не надо мной. Из-за нее, из-за того, что она любит Карла-Артура, Шаггерстрём должен был посвататься ко мне, и все должно было случиться так, как случилось.

Из-за нее поссорились мы с Карлом-Артуром, из-за нее Карл-Артур посватался к далекарлийке, из-за нее Шаггерстрём послал мне этот букет и помешал мне помириться с Карлом-Артуром. Ах, амур, отчего покровительствуешь ты ее любви? Оттого ли, что она запретна? Так, значит, это правда, что ты всего благосклоннее бываешь к той любви, которой не должно быть?

Стыдись, мой милый амур. Я поставила тебя здесь стражем моей любви, а ты, ты помогаешь другой!

Из-за того, что Тея Сундлер любит Карла-Артура, ты допустил, чтобы я вытерпела клевету, кошачьи концерты, худительные песни, и не защитил меня!

Из-за того, что Тея Сундлер любит Карла-Артура, ты допустил, чтобы я приняла предложение Шаггерстрёма, ты допустил оглашение в церкви и теперь намерен, быть может, повести нас к алтарю.

Из-за того, что Тея Сундлер любит Карла-Артура, ты допустил, чтобы мы все жили в страхе и отчаянии.

Ты не щадишь никого. Ты заставил страдать бедных стариков здесь и в Карлстаде оттого лишь, что ты покровительствуешь толстухе Сундлер с ее рыбьими глазами.

Из-за того, что Тея Сундлер любит Карла-Артура, ты отнял у меня счастье. Я думала, что меня хочет по-

губить какой-то злой волшебник, а оказалось, что это не кто иной, как ты, мой милый амур.

Вначале она говорила шутливым тоном, но перечисление всех свалившихся на нее несчастий глубоко взволновало ее, и она продолжала голосом, дрожащим от слез:

— О ты, божок любви, разве не доказала я тебе, что умею любить? Отчего же ее любовь тебе более угодна, чем моя? Разве не умею я быть такой же верной в любви, разве в ее сердце горит более чистый и сильный огонь, чем в моем? Отчего же, амур, ты покровительствуешь ее любви, а не моей?

Что мне сделать, чтобы умилостивить тебя? О амур, амур, вспомни о том, что ты влечешь к гибели того, кого я люблю. Неужто ты намерен подарить ей еще и его любовь? Это единственное, в чем ты до сих пор отказывал ей. О амур, амур, неужто ты намерен подарить ей его любовь?

Она больше не спрашивала, не удивлялась. Вся в слезах легла она в постель.

ПОХОРОНЫ ВДОВЫ СОБОРНОГО НАСТОЯТЕЛЯ

Спустя несколько дней после возвращения полковницы Экенстедт из Корсчюрки в Карлстад явилась очень красивая далекарлийка-коробейница со своим неизменным кожаным мешком за плечами. Но в городе, где держали лавки настоящие купцы, ей запрещалось заниматься ее обычным промыслом. Поэтому коробейница оставила громоздкий мешок на квартире, где она стояла, и вышла на улицу, подвесив на руку корзинку, в которой лежали изготовленные ею браслеты и часовые цепочки из волос.

Молодая далекарлийка ходила по домам, предлагая свой товар, и, разумеется, не прошла мимо дома Экенстедтов.

Ее искусные поделки привели полковницу в совершенный восторг, и она предложила коробейнице пожить несколько дней в ее доме, чтобы изготовить

сувениры из длинных белокурых локонов, которые полковница срезала у сына, когда он был ребенком, и с тех пор тщательно берегла.

Предложение это пришлось, как видно, по душе молодой далекарлийке. Она без долгих раздумий приняла его и уже на следующее утро взялась за работу.

Мадемуазель Жакетта Экенстедт, которая сама была весьма искусна в рукоделии, часто навещалась к далекарлийке, жившей в пристройке для слуг, чтобы взглянуть на ее работу. Таким образом, между ними завязалось знакомство и, можно даже сказать, дружба. Юную горожанку привлекала в простой коробейнице ее красивая наружность, выгодно подчеркиваемая ярким нарядом. Жакетта искренне восхищалась усердием и прилежанием этой искусницы, ее умом, который проявлялся в способности давать краткие и меткие ответы на любой вопрос.

Разумеется, она была поражена, обнаружив, что этот острый ум принадлежит девушке, которая не умеет ни читать, ни писать. Кроме того, она, к своему удивлению, несколько раз заставляла далекарлийку за курением короткой железной трубки. Это обстоятельство несколько охладило восторги Жакетты, не помешав, впрочем, дружеским отношениям между обеими девушками.

Забавляло мадемуазель Экенстедт также и то, что далекарлийка употребляет множество слов и выражений, которых она не могла уразуметь. Так, однажды, когда она привела свою новую подругу в господский дом, чтобы показать ей красивые вещи, украшавшие комнаты, бедняжка сумела выразить свой восторг лишь восклицанием: «Вот так грубо!» Мадемуазель Экенстедт почувствовала себя глубоко уязвленной, но затем, к немалой потехе домашних, выяснила, что слово «грубо» в устах далекарлийки означает нечто восхитительное и великолепное.

Сама полковница редко посещала прилежную мастерицу. Она, казалось, предпочитала с помощью дочери выведать ее ум, характер и привычки, чтобы таким путем решить, годится ли она в жены ее сыну. Ибо вся

кий, кому хоть сколько-нибудь известен был проницательный ум полковницы, ничуть не усомнился бы в том, что она с первого же мгновения признала в этой молодой женщине новую невесту сына.

Между тем пребывание далекарлийки в доме Экенстедтов было прервано одним весьма прискорбным обстоятельством. С сестрой полковника, фру Элизой Шёборг, вдовой настоятеля собора Шёборга, которая после кончины мужа жила в доме своего брата, случился удар, и через несколько часов ее не стало. Необходимо было подобающим образом подготовиться к похоронам, и каждое помещение в доме оказалось на учете, ибо нужно было разместить пекарих, швей и, наконец, обойщиков, приглашенных, чтобы обтянуть стены черным штофом. Далекарлийку тотчас же отослали со двора.

Ей велели зайти к полковнику, чтобы получить за труды, и прислуга заметила, что беседа в кабинете длилась необычно долго, а когда далекарлийка вышла оттуда, глаза ее были красны от слез. Добросердечная экономка подумала, что коробейница огорчена тем, что ей приходится раньше времени покидать дом, где все были столь добры к ней, и, желая утешить девушку, пригласила ее прийти на кухню в день похорон, чтобы отведать лакомств, которые будут подаваться на поминках.

Похороны были назначены на четверг, тринадцатое августа. Хозяйский сын, магистр Карл-Артур Экенстедт, был, разумеется, вызван из Корсчюрки и прибыл в среду вечером. Его встретили с большой радостью, и все время до отхода ко сну он рассказывал родителям и сестрам о той любви, которой он теперь окружен в своей общине. Не так-то легко было заставить скромного молодого пастора рассказать о своих триумфах, но полковница, которая была осведомлена обо всем благодаря письму Шарлотты Лёвеншёльд, своими расспросами вынудила его рассказать о всех знаках любви и благодарности, которые выказывают ему прихожане, и нетрудно понять, что она при этом испытала чистейшую материнскую гордость.

Вполне естественно, что в этот вечер не представилось случая упомянуть о поденщице, которая прожила в доме несколько дней. На другое утро все были целиком поглощены приготовлениями к похоронам, так что Карл-Артур и на этот раз ничего не услышал о пребывании красивой далекарлийки в доме его родителей.

Полковник Экенстедт желал, чтобы сестра была достойно предана земле. На похороны были приглашены епископ и губернатор, а также лучшие фамилии города, которые имели касательство к покойной госпоже Шёборг.

В числе гостей был и заводчик Шагерстрём из Озерной Дачи. Он был приглашен, поскольку через свою покойную жену находился в свойстве с настоятелем собора Шёборгом, и, чувствуя себя весьма обязанным за внимание со стороны людей, которые имели веские основания быть на него в претензии, с благодарностью принял приглашение.

После того как старую фру Шёборг под пение псалмов вынесли из дома и в сопровождении длинной процессии отвезли к месту упокоения, все присутствовавшие на похоронах возвратились в дом скорби, где их ожидал поминальный обед. Само собою, обед был долгим и обильным, и едва ли стоит упоминать о том, что на нем строго соблюдались приличествующие случаю серьезность и торжественность.

Как родственника усопшей, Шагерстрёма посадили подле хозяйки, и ему, таким образом, представился случай поговорить с этой необыкновенной женщиной, с которой он никогда прежде не встречался. В глубоком трауре она производила весьма поэтическое впечатление, и хотя ее остроумие и искрящаяся веселость, которыми она славилась, в этот день, разумеется, не могли обнаружиться, Шагерстрём все же нашел беседу с ней необычайно интересной. Ни минуты не колеблясь, он также впрягся в триумфальную колесницу этой очаровательницы и был, в свою очередь, рад доставить ей удовольствие, рассказав о проповеди ее сына в прошедшее воскресенье и о том впечатлении, которое она произвела на слушателей.

За обедом молодой Экенстедт поднялся и произнес речь в память почившей, выслушанную всеми присутствующими с величайшим восхищением. Все были захвачены его простым, безыскусственным, но в то же время увлекательным, умным изложением и живым описанием характера покойной тетки, которая, по всей вероятности, была очень привязана к нему. Однако внимание Шагерстрёма, а также и многих других гостей время от времени обращалось от оратора к его матери, которая сидела, полная восторга и обожания. От соседа по столу Шагерстрём узнал, что полковнице лет пятьдесят шесть или пятьдесят семь, и хотя лицо ее, пожалуй, выдавало ее возраст, он подумал, что ни у одной юной красавицы нет таких выразительных глаз и такой обворожительной улыбки.

Итак, все шло наилучшим образом, но когда гости встали из-за стола и нужно было подавать кофе, на кухне случилась небольшая беда. Горничная, которая должна была обходить гостей с подносом, разбила стакан и до крови порезалась осколком стекла. В попытках никто не сумел унять кровотечение, и хотя рана была невелика, девушка не могла выйти к гостям с подносом, так как из пальца не переставая сочилась кровь.

Когда же стали искать ей замену, то оказалось, что никто из наемной прислуги не хочет нести в комнаты тяжелый поднос. Отчаявшись, экономка обратилась к рослой и крепкой далекарлийке, явившейся отведать поминальных лакомств, и попросила ее взять этот труд на себя. Нимало не колеблясь, девушка подняла поднос, а служанка, обмотав раненую руку салфеткой, вышла в залу вместе с нею присмотреть, чтобы при этом соблюдался должный порядок.

Горничная с подносом обычно не привлекает к себе особого внимания, но в ту минуту, когда статная далекарлийка в своем ярком наряде появилась среди одетых в черное людей, все взоры устремились на нее.

Карл-Артур обернулся к ней вместе с другими. Несколько секунд он смотрел на нее, ничего не понимая, а затем кинулся к ней и выхватил у нее поднос.

— Ты моя невеста, Анна Сверд, — сказал он, — и тебе не пристало обходить гостей с подносом в этом доме.

Красивая далекарлийка взглянула на него не то с испугом, не то с радостью.

— Нет, нет! Позвольте мне закончить, — запротестовала она.

Все находились теперь в большой зале. И епископ с епископшей, губернатор с губернаторшей, а также остальные увидели, как сын хозяев дома взял у далекарлийки поднос и поставил его на ближайший стол.

— Повторяю, — сказал он, возвысив голос, — ты моя невеста, и тебе не пристало ходить с подносом в этом доме.

В ту же минуту послышался громкий, проникновенный голос:

— Карл-Артур, вспомни, какой сегодня день!

Это сказала полковница. Она сидела в центре залы на большом диване, как и подобает представительнице погруженного в траур дома.

Перед нею находился массивный стол, а справа и слева от нее сидели почтенные, дородные дамы. Она попыталась выбраться из своего угла, но это потребовало немало времени, ибо соседки ее, всецело поглощенные происходящим на другом конце залы, не трогались с места, чтобы пропустить ее.

Карл-Артур взял далекарлийку за руку и потянул ее за собой. Она робела и закрывалась рукавом, как ребенок, но выглядела, впрочем, очень счастливой. Наконец Карл-Артур остановился с нею перед епископом.

— До этой минуты я не подозревал о присутствии моей невесты у себя в доме, — сказал он, — но теперь, увидев, что она здесь, я хочу прежде всего представить ее моему духовному пастырю, епископу. Я прошу, господин епископ, вашего разрешения и благословения на мой союз с этой молодой женщиной, которая обещала мне быть моей спутницей на пути нужды и лишения, коим пристало следовать слуге Господа.

Нельзя отрицать, что этим своим поступком, пусть даже во многих отношениях неуместным, Карл-Артур

привлек к себе симпатии всех. Его мужественное признание в том, что он избрал себе в невесты девушку из простонародья, а также его одушевленная речь расположили к нему многих из присутствовавших в доме. Его бледное, тонкое лицо дышало необычайной решимостью и силой, и многие из свидетелей этой сцены принуждены были сознаться в душе, что он шел путем, на который сами они никогда не отважились бы вступить.

Карл-Артур хотел, должно быть, прибавить еще что-то, но тут позади него послышался крик. Полковница выбралась наконец из своего угла и поспешила к группе, стоящей перед епископом. Но в волнении и спешке она наступила на свое длинное траурное платье, споткнулась и упала. При этом она ударилась об острый угол стола и сильно поранила себе лоб.

Послышались возгласы сочувствия, и лишь епископ, которого это происшествие вывело из весьма щекотливого положения, в глубине души, должно быть, вздохнул с облегчением. Карл-Артур выпустил руку невесты и поспешил к матери, чтобы помочь ей подняться на ноги. Но сделать это было не так-то легко. Полковница не лишилась чувств, как это, вероятно, произошло бы с любой другой женщиной на ее месте, но она, должно быть, сильно ушиблась при падении и не могла подняться. Наконец полковнику Экенстедту, сыну, домашнему врачу и зятю, поручику Аркеру, удалось усадить ее в кресло и отнести в спальню, где экономка и дочери захлопотали вокруг нее, раздели и уложили в постель.

Легко вообразить, какой переполох вызвало это несчастье. Гости в полной растерянности стояли в большой зале, не желая расходиться, пока им не станет что-либо известно о состоянии полковницы. Они видели, как полковник, дочери и служанки пробегают по зале с озабоченными лицами в поисках холста для повязки, мази, деревянной дощечки для лубка, так как рука у полковницы была сломана.

Наконец, расспросив прислугу, выяснили, что рана на лбу, которая внушала наибольшую тревогу, оказалась вовсе не опасной, что левую руку нужно положить

в лубок, но что это не внушает особых опасений. Серьезнее же всего оказался ушиб на ноге. Коленная чашечка раздроблена, и, пока она заживет, полковнице придется оставаться в постели и лежать неподвижно бог знает сколько времени.

Выслушав это, все поняли, что хозяевам сейчас не до них, и потянулись к выходу. Но когда мужчины разбирали свои шляпы и пальто, в прихожую поспешно вышел полковник Экенстедт. Он искал кого-то взглядом и наконец увидел заводчика Шагерстрёма, который как раз застегивал перчатки.

— Если вы, господин заводчик, не слишком торопитесь, — обратился к нему полковник, — то я просил бы вас задержаться.

На лице Шагерстрёма отразилось легкое удивление, но он снял шляпу и пальто и последовал за полковником в залу, теперь почти пустую.

— Я хотел бы переговорить с вами, господин Шагерстрём, — сказал полковник. — Если время позволяет вам, то будьте добры посидеть некоторое время, пока вся эта суматоха не уляжется.

Шагерстрёму пришлось ожидать полковника довольно долго. Поручик Аркер тем временем занимал его и, будучи чрезвычайно взволнован всем происшедшим, рассказал заводчику о появлении далекарлийки в Карлстаде и о ее пребывании в доме Экенстедтов.

Бедная экономка, которая была в отчаянии оттого, что позволила девушке выйти к гостям с подносом, рассказывала всем, как ей вздумалось пригласить корабейницу в день похорон, и таким путем Шагерстрёму вскоре стало ясно, как все произошло.

Наконец появился полковник.

— Слава богу, повязки наложены, и Беата спокойно лежит в постели. Надеюсь, самое худшее уже позади.

Он сел и утер глаза большим шелковым платком. Полковник был высокий, статный мужчина с круглой головою, румяными щеками и огромными усами. Он казался храбрым и бравым воякой, и Шагерстрём по-divился его чувствительности.

— Вы, господин заводчик, должно быть, находите меня малодушным, но эта женщина, господин Шагерстрём, была счастьем всей моей жизни, и если с ней что-нибудь случится, то я конченный человек.

Но Шагерстрём, разумеется, ничего подобного не думал. Он сам почти две недели жил одиноко в Озерной Даче, борясь со своей несчастной любовью к Шарлотте Лёвеншёльд, и в своем теперешнем настроении вполне мог понять полковника. Он был покорен прямотою, с которым этот благородный человек говорил о своей любви к жене. Он тотчас же почувствовал к полковнику расположение и доверие, какого никогда не чувствовал к его сыну, хотя и не мог не признавать одаренности молодого пастора.

Между тем оказалось, что полковник просил его остаться затем, чтобы поговорить с ним о Шарлотте.

— Простите старика, — начал он, — за то, что я вмешиваюсь в ваши дела, господин заводчик! Но я, разумеется, слышал о вашем сватовстве к Шарлотте и хочу сказать вам, что мы здесь, в Карлстаде...

Он внезапно умолк. Одна из дочерей стояла в дверях залы, встревоженно глядя на него.

— В чем дело, Жакетта? Ей хуже?

— Нет, нет, папенька, вовсе нет. Но маменька спрашивает Карла-Артура...

— Я полагал, что он в комнате у маменьки, — сказал полковник.

— Он пробыл там очень недолго. Он вместе с другими внес маменьку в ее спальню, и больше мы его не видели.

— Ступай к нему в комнату и погляди, там ли он, — сказал полковник. — Он, верно, пошел туда снять парадное платье.

— Иду, папенька.

Она удалилась, и полковник снова обернулся к Шагерстрёму:

— На чем я остановился, господин заводчик?

— Вы сказали, что вы здесь, в Карлстаде...

— Да, да, разумеется. Я хотел сказать, что мы здесь, в Карлстаде, с самого начала были убеждены, что Карл-

Артур совершил ошибку. Моя жена поехала в Корсчюрку, чтобы разузнать, как обстоит дело, и нашла, что все это должно быть...

Он снова умолк. Фру Аркер, замужня дочь, появилась в дверях залы.

— Папенька, вы не видели Карла-Артура? Маменька спрашивает его и никак не может успокоиться.

— Пришлите ко мне Мудига! — сказал полковник.

Молодая женщина исчезла, но полковник был теперь слишком встревожен для того, чтобы продолжать разговор с Шагерстрёмом. Он беспокойно расхаживал по зале, пока не явился денщик.

— Скажите, Мудиг, эта далекарлийка все еще на кухне?

— Упаси боже, господин полковник. Она прибежала из залы вся зареванная и тотчас же ушла. Она не оставалась в доме ни минуты.

— А мальчик... то есть, я хочу сказать, магистр Экенстедт?

— Он пришел на кухню вслед за ней и спросил, где она. А как услышал, что она ушла, побежал на улицу.

— Отправляйтесь тотчас же в город и разыщите его. Скажите, что полковница опасно больна и спрашивает его.

— Слушаюсь, господин полковник.

С этими словами денщик вышел, и полковник возобновил прерванную беседу с Шагерстрёмом.

— Едва только нам стало известно, как все обстоит на самом деле, — сказал он, — мы решили добиться примирения молодых. Но для этого нужно было сперва устранить далекарлийку, а затем устранить...

Полковник запнулся, смущенный тем, что высказался столь бесцеремонно.

— Я, должно быть, выражаюсь недостаточно учтиво, господин заводчик. Это моей жене следовало бы говорить с вами, уж она-то сумела бы подобрать нужные слова.

Шагерстрём поспешил успокоить его:

— Вы, господин полковник, выражаетесь как должно. И я желал бы тотчас уведомить вас: что касается

меня, то я уже устранен. Я дал фрёкен Лёвеншёльд обещание приостановить оглашение, как только она этого пожелает.

Полковник встал, горячо пожал Шагерстрёму руку и рассыпался в благодарностях.

— Это обрадует Беату, — сказал он, — для нее это будет самая лучшая новость.

Шагерстрём не успел ничего ответить на это, потому что в залу снова вошла фру Аркер.

— Папенька, я, право, не знаю, как быть. Карл-Артур приходил домой, но не зашел к маменьке.

Она рассказала, что стояла у окна спальни и увидела идущего по улице брата.

«Я вижу Карла-Артура! — воскликнула она, обращаясь к полковнице. — Он, как видно, очень тревожится за вас, маменька. Чуть ли не бегом бежит».

Она ожидала, что брат вот-вот появится в спальне. Но вдруг Жакетта, которая все еще оставалась у окна, воскликнула:

«О, боже мой! Карл-Артур снова убежал в город! Он лишь заходил домой переодеться».

При этих словах полковница села на постели.

«Нет, нет, маменька! Доктор велел вам лежать! — вскричала фру Ева. — Я позову Карла-Артура обратно».

Она поспешила к окну, чтобы позвать брата. Но верхнюю задвижку заело, и, пока Ева возилась с ней, мать успела сказать, что запрещает открывать окно.

«Прошу тебя, оставь! — произнесла она слабым голосом. — Не нужно его звать».

Но фру Аркер все же распахнула окно и высунулась, чтобы позвать Карла-Артура. Тогда полковница самым строгим тоном запретила ей делать это и велела немедленно затворить окно. Затем она решительно объявила, что ни дочери, ни кто-либо другой не должны звать Карла-Артура домой. Она послала дочь за полковником, желая, вероятно, дать такое же приказание и ему.

Полковник встал, чтобы пойти к жене, а Шагерстрём, пользуясь случаем, справился у фру Аркер о здоровье полковницы.

— Маменька чувствует небольшую боль, но все это было бы ничего, лишь бы Карл-Артур вернулся. Ах, если бы кто-нибудь отправился в город и разыскал его!

— Как я понимаю, госпожа полковница очень привязана к сыну, — сказал Шагерстрём.

— О да, господин заводчик! Маменька только о нем и спрашивает. И вот теперь маменька лежит и думает о том, что он, зная, как она больна, не пришел к ней, а побежал за своей далекарлийкой. Маменьке это очень больно. Но она даже не разрешает нам привести его к ней.

— Я понимаю чувства госпожи полковницы, — сказал Шагерстрём, — но мне она не запрещала искать сына, так что я тотчас же отправлюсь на поиски и сделаю все, чтобы привести его домой.

Он собирался было уже идти, но тут вернулся полковник и удержал его.

— Моя жена желает сказать вам несколько слов, господин заводчик. Она хочет поблагодарить вас.

Полковник схватил Шагерстрёма за руку и с некоторой торжественностью ввел его в спальню.

Шагерстрём, который столь недавно любовался оживленной и привлекательной светской дамой, был потрясен, увидев ее беспомощной и больной, с повязкой на голове и с изжелта-бледным, осунувшимся лицом.

Полковница, казалось, не слишком страдала от недуга, но в чертах ее проступило нечто суровое, почти грозное. Нечто, поразившее ее сильнее, чем падение и тяжелые телесные раны, пробудило в ней гордый, презрительный гнев. Окружавшие ее люди, которые знали, чем вызван этот гнев, невольно говорили себе, что она, должно быть, никогда не сможет простить сыну бессердечия, которое он выказал в этот день.

Когда Шагерстрём приблизился к постели, она открыла глаза и посмотрела на него долгим, испытующим взглядом.

— Вы любите Шарлотту, господин заводчик? — спросила она слабым голосом.

Шагерстрёму нелегко было открыть сердце этой едва знакомой ему даме, с которой он сегодня впервые встретился. Но солгать больной и несчастной женщи- не он также не мог. Он молчал.

Полковнице, казалось, и не нужно было никакого ответа. Она уже узнала то, что хотела.

— Вы полагаете, господин заводчик, что Шарлотта все еще любит Карла-Артура?

На этот раз Шагерстрём мог ответить полковнице без малейших колебаний, что Шарлотта нежно и пре- данно любит ее сына.

Она еще раз внимательно посмотрела на него. Гла- за ее затуманились слезами.

— Как горько, господин Шагерстрём, — очень мягко сказала она, — что те, кого мы любим, не могут отве- тить нам такой же любовью.

Шагерстрём понял, что она говорит с ним так, по- тому что ему известно, что такое отвергнутая любовь.

И вдруг он почувствовал, что эта женщина переста- ла быть ему чужой. Страдания сблизили их. Она пони- мала его, он понимал ее. И для него, одинокого чело- века, сочувствие ее было целительным бальзамом. Он тихо подошел ближе к постели, бережно поднял ее ру- ку, лежащую на одеяле, и поцеловал.

В третий раз она посмотрела на него долгим взгля- дом. Взгляд не был затуманен слезами, он пронизывал его насквозь, внимательный и испытующий. Затем она сказала ему с нежностью:

— Я бы хотела, чтобы вы были моим сыном.

Шагерстрёма охватила легкая дрожь. Кто внушил полковнице именно эти слова? Знала ли она, эта жен- щина, которую он сегодня впервые увидел, как часто стоял он, плача, перед дверью своей матери, тоскуя по ее любви? Знала ли она, с каким страхом приближался он к своим родителям, боясь встретить их неприяз- ненные взгляды? Знала ли она, что он был бы горд и счастлив, если бы самая жалкая крестьянка сказала когда-либо, что хочет иметь такого сына, как он? Зна- ла ли она, что для него не могло быть ничего более во- одушевляющего и лестного, нежели эти слова?

Преисполненный благодарности, он упал на колени перед кроватью. Он плакал и, бормоча какие-то невразумительные слова, пытался выразить свои чувства.

Свидетели этой сцены, должно быть, сочли его чересчур чувствительным, но кто из них мог понять, что значили для него эти слова? Ему казалось, что все его уродство, вся его неуклюжесть и глупость разом исчезли. Ничего подобного он не испытывал с того самого дня, когда его покойная жена сказала ему, что любит его. Но полковница поняла все, что происходило в его душе. Она повторила, словно бы для того, чтобы он поверил ей:

— Это правда; я желала бы, чтобы вы были моим сыном.

И тут он подумал, что единственный способ воздать ей за то счастье, каким она его одарила, это привести к ней ее собственного сына. И он поспешно вышел из комнаты, чтобы отправиться на поиски.

Первый, кого Шагерстрём увидел на улице, был поручик Аркер, который вышел из дома за тем же, что и он. Им встретился денщик полковника, и втроем они отправились на розыски.

Они быстро нашли квартиру, где стояла далекарлийка, но ни ее, ни Карла-Артура там не было. Они обшарили все места, где обычно бывают приезжие из Далекарлии, велели ночным сторожам искать Карла-Артура, но все напрасно.

Очень скоро наступила темнота, и дальнейшие поиски стали почти невозможны. В этом городе с его мрачными и узкими улочками, где дома жались друг к другу, где лачуги и дворовые постройки самого невероятного вида чуть ли не громоздились друг на друга, в каждом дворе было множество укромных закоулков, и вероятность отыскать здесь кого-либо была ничтожна.

Тем не менее Шагерстрём в течение нескольких часов кружил по улицам. Он уговорился с мадемуазель Жакеттой, что, если Карл-Артур возвратится домой, она поставит свечу на чердачное окно, чтобы

без нужды не продолжать поиски, но этот знак пока еще не появлялся.

Было уже далеко за полночь, когда Шагерстрём улышал быстрые шаги позади себя. Он догадался, кто был этот человек, приближавшийся к нему. Вскоре он различил при красноватом свете уличного фонаря худощавую фигуру, но, поскольку Карл-Артур направлялся прямо домой, он не стал окликать его, а довольствовался тем, что шел за ним следом до самого дома Экенстедтов. Он видел, как Карл-Артур вошел в дом, и понял, что его помощь больше не требуется, но желание узнать, как пройдет встреча матери с сыном, побудило его также зайти к Экенстедтам. Он отворил дверь несколько минут спустя после Карла-Артура и очутился в прихожей.

Карл-Артур стоял в окружении всех домашних. Казалось, в доме никто не ложился. Полковник вышел со свечой в руке и, высоко подняв ее, вглядывался в сына, точно желая сказать: «Ты ли это?» Обе сестры спустились по лестнице в папильотках, но совершенно одетые. Экономка и денщик примчались из кухни. Карл-Артур намеревался, как видно, подняться в свою комнату, никого не потревожа. Он уже дошел до середины лестницы, но здесь был остановлен сбежавшими домочадцами.

Когда Шагерстрём вошел в прихожую, он увидел, что обе сестры схватили Карла-Артура за руки и тащат его за собой.

— Пойдем к маменьке! Ты не знаешь, как она ждала тебя!

— Ну, где это слыхано? Убежать в город, не подумав о матери! Ты же знаешь, что она больна! — вскричал полковник.

Карл-Артур не трогался с места. Лицо его было словно высечено из камня. Он не обнаруживал ни раскаяния, ни сожаления.

— Вы желаете, батюшка, чтобы я тотчас пошел к матушке? Не лучше ли обождать до завтра?

— Разумеется, черт побери, ты должен пойти к ней тотчас же! У нее жар поднялся из-за тебя.

— Простите, батюшка, но это уж не моя вина.

В тоне сына явно чувствовалась враждебность. Но полковник, как видно, не желал ссоры. Он сказал дружелюбно и примирительно:

— Покажись ей хотя бы, чтобы она знала, что ты дома. Зайди и поцелуй ее, и завтра утром все уладится.

— Я не могу поцеловать ее, — сказал сын.

— Негодный мальчишка! — начал полковник, но тут же овладел собой. — Говори, в чем дело? Впрочем, нет, погоди. Пойдем ко мне.

Он потащил сына за собой в свой кабинет и захлопнул дверь перед носом любопытных слушателей.

Вскоре, однако, он вышел из кабинета и обратился к Шагерстрёму:

— Я был бы весьма рад, господин заводчик, если бы вы присутствовали при нашем разговоре.

Шагерстрём пошел вслед за ним, и дверь снова захлопнулась. Полковник занял место за письменным столом.

— Говори, что на тебя нашло?

— Поскольку вы, батюшка, утверждаете, что у ма-тушки жар, то мне придется объясняться с вами, хотя я отлично понимаю, что зачинщица всему она.

— Можно узнать, к чему ты клонишь?

— Я хочу сказать, что с этого дня ноги моей больше не будет в доме моих родителей.

— Вот как! — сказал полковник. — А причина?

— Причина, отец мой, в этом.

Он вытащил из кармана пачку кредиток, положил ее на стол перед полковником и энергично прихлопнул ее рукой.

— Так! — сказал полковник. — Значит, она не сумела держать язык за зубами.

— Напротив, — возразил Карл-Артур, — она молчала, пока могла. Мы много часов сидели на церковном дворе, и она ничего не хотела говорить, а твердила лишь, что должна уйти и никогда больше не увидит меня. И лишь когда я обвинил ее в том, что у нее в Карлстаде появился новый возлюбленный, она призналась, что мои родители заплатили ей за то, чтобы она дала

мне свободу. Мой отец к тому же пригрозил, что лишит меня наследства, если я женюсь на ней. Что ей оставалось делать? Она взяла эти двести риксдалеров*. Мне лестно было узнать, что родители мои столь высоко оценивают мою особу.

— Что ж, — сказал полковник, пожав плечами, — мы обещали ей также, что дадим впятеро больше на обузаведение хозяйством, если она выйдет замуж за кого-нибудь другого.

— Она рассказала и об этом, — произнес Карл-Артур с коротким смешком, а затем разразился горькими упреками:

— И это мой отец, и это моя мать! Они могут поступать со мною подобным образом! Две недели назад моя мать навестила меня в Корсчюрке. Я говорил с нею об этой своей женитьбе. Я сказал ей, что эта девушка послана мне Провидением, что лишь с ней я смогу вести жизнь, угодную Богу. В ней вся моя надежда, счастье всей моей жизни зависит от того, станет ли она моей женой. Моя мать выслушала все это. Она казалась растроганной, она всецело оправдывала меня. А теперь, две недели спустя, я узнаю, что она пыталась разлучить нас. Что должен я думать о подобном бессердечии, о подобном коварстве? Разве не должен я содрогаться при мысли о том, что вынужден называть матерью подобную женщину?

Полковник снова пожал плечами. На лице его не видно было ни смущения, ни раскаяния.

— Ну да, — сказал полковник, — Беате стало жаль тебя, оттого что Шарлотта сыграла с тобой такую шутку, и она не захотела попрекать тебя этой новой помолвкой. Но, разумеется, и ей, и мне тотчас же стало ясно, что выбор твой неудачен. Мы думали, что со временем все образуется само собою, но тут эта Божья посланница свалилась на нас, грешных, как снег на голову. Ну вот, Беата и наняла ее к нам в дом, чтобы хоть немного присмотреться к ней. Спору нет, она славная девушка, но ведь она не умеет ни читать, ни писать, да к тому же еще и трубку курит! А что до опрятности!.. Да, мой мальчик, мы хотели устроить все как лучше, и ты

сам благодарил бы нас после, если бы у тебя хватило времени одуматься. Но то, что эта богоданная особа явилась в залу с подносом, погубило все дело.

— А вы, отец, ничего тут не видите?

— Я вижу тут чертовское невезение и ничего больше!

— А я вижу в этом промысел Божий. Эта женщина предназначена мне в супруги, и потому Он снова поставил ее на моем пути. И более того — я вижу Его справедливую кару. Когда я просил епископа благословить наш союз, моя мать поспешила к нам, чтобы воспрепятствовать этому. Она сказала себе, что если прикинется, будто споткнулась, и упадет, то это окажется наилучшей помехой. Но ее уловка удалась чересчур хорошо.

Тут отцу изменило его обычное хладнокровие.

— Замолчи, мальчишка! Как смеешь ты обвинять мать в подобном коварстве?

— Простите, отец мой, но за последнее время я имел предостаточно случаев убедиться в женском коварстве. Моя мать и Шарлотта преподали мне урок, который я не скоро забуду.

Полковник некоторое время сидел, барабая пальцами по столу.

— Хорошо, что ты упомянул о коварстве Шарлотты, — сказал он, — я как раз хотел поговорить с тобой об этом. Ты никогда не убедишь меня в том, что Шарлотта изменила тебе, стремясь заполучить богатого мужа. Ты для нее дороже всех богатств на свете. Я полагаю, что во всем виновен ты, но она взяла вину на себя, чтобы мы, твои родители, не рассердились на тебя и чтобы уберечь тебя от злоязычия. Что ты на это скажешь?

— В церкви было сделано оглашение о ее помолвке.

— Одумайся, Карл-Артур! — сказал полковник. — Выкинь из головы все дурные мысли о Шарлотте! Как ты не можешь понять, что она взяла вину на себя, чтобы помочь тебе. Она заставила всех поверить, будто помолвка была расторгнута по ее вине; но подумай сам, спроси свою совесть! Разве не ты виновен в нашем разрыве?

Карл-Артур некоторое время стоял молча. Казалось, прислушавшись к советам отца, он перебирал в памяти минувшие события. Внезапно он обратился к Шагерстрёму:

— Как вышло, что вы, господин заводчик, прислали этот букет? Получили ли вы какую-нибудь весть от Шарлотты в понедельник днем? Зачем приезжал к вам пастор?

— Букет я послал в знак моего уважения к фрёкен Шарлотте, — отвечал Шагерстрём. — В понедельник я от нее ничего не получал. Пастор приехал затем лишь, чтобы отдать мне визит.

Карл-Артур снова погрузился в размышления.

— В таком случае возможно, что мой отец прав, — сказал он наконец.

Оба его собеседника вздохнули с облегчением. Это было весьма благородное признание своей ошибки. Лишь человек незаурядный способен был на подобный поступок.

— Но в таком случае... — сказал полковник. — Да, прежде всего хочу тебе сказать, что господин Шагерстрём обещал отказаться от всех своих притязаний.

Карл-Артур прервал его:

— Господину Шагерстрёму нет нужды жертвовать чем-либо ради меня. Я прошу понять, батюшка, что я никогда не вернусь к Шарлотте. Я люблю другую.

Полковник стукнул кулаком по столу.

— Ну, с тобой, я вижу, не столкнешься. Стало быть, ты полагаешь, что такая преданность, такое самопожертвование ничего не стоят?

— Я полагаю, что самому Провидению угодно было расторгнуть связь между мною и Шарлоттой.

— Я понимаю, — с невыразимой горечью произнес полковник. — Ты, видно, так же благодаришь Бога и за то, что расторгнута связь между тобою и родителями.

Карл-Артур стоял молча.

— Попомни мои слова, ты идешь к гибели, — сказал полковник. — Тут всецело наша вина. Беата избаловала тебя, и ты вообразил себя полубогом, а я потворствовал ей потому, что никогда ни в чем не мог ей отказать.

А теперь ты отплатил ей так, как я того и ожидал. Хотя я и знал, что этим кончится, но все равно, мне сейчас очень горько.

Он умолк и несколько раз тяжело вздохнул.

— Послушай, мальчик мой! — сказал он наконец кротким голосом. — Теперь, когда ты разрушил все наши коварные замыслы, ты, быть может, пойдешь и поцелуешь свою мать, чтобы она могла успокоиться?

— Даже если я и разрушил, как вы говорите, ваши коварные замыслы, то может ли это заставить меня забыть о пагубном направлении мыслей, которые я наблюдаю у близких мне людей? Куда я ни взгляну, всюду — любовь к мирским радостям, распущенность и обман.

— Оставим это, Карл-Артур. Мы люди старомодные. И мы богобоязненны не меньше твоего, только на свой лад.

— Я не могу, отец мой.

— Со мной ты уже свел счеты, — сказал полковник, — но она, она... Ты ведь знаешь, она должна быть убеждена, что ты любишь ее. Я прошу ради нее, Карл-Артур, только ради нее.

— Единственное, в чем я могу проявить милосердие к моей матери, — это уехать, не сказав ей о том, как сильно уязвила она мое сердце своим коварством.

Полковник встал.

— Ты... ты не знаешь, что такое любовь.

— Я служу истине. Я не могу поцеловать мою мать.

— Ступай спать! — сказал старик. — Утро вечера мудренее.

— Карета заказана на четыре часа, осталось всего пятнадцать минут.

— Карета, — сказал полковник, — может снова приехать к десяти. Послушайся меня, иди спать. Утро вечера мудренее.

Карл-Артур впервые обнаружил некоторые признаки колебания.

— Если мой отец и моя мать изменят свой образ жизни, если они станут жить как люди низкого звания, если сестры мои станут прислуживать бедным и недужным...

- Оставь свои дерзости.
- Эти дерзости — слова Божьи!
- Вздор!

Карл-Артур простер руки к потолку, как проповедник на кафедре.

— Тогда да простит меня Бог за то, что я отринул моих земных родителей. И пусть отныне ничто, исходящее от них, да не коснется меня — ни заботы их, ни любовь их, ни богатство их! Помоги мне, Боже, забыть об этих грешниках и жить лишь Тобою.

Полковник выслушал все это, не делая ни единого движения.

— Бог, в которого ты веришь, безжалостный Бог, — сказал он. — И Он, верно, исполнит то, о чем ты молишь Его. Но знай, что если когда-нибудь ты придешь нищий к моим дверям и попросишь милостыню, то и тогда я припомню тебе эти минуты.

Это были последние слова, сказанные между отцом и сыном.

Карл-Артур молча вышел из комнаты, и полковник остался вдвоем с Шагерстрёмом.

Полковник некоторое время сидел, уронив голову на руки. Затем он обратился к Шагерстрёму с просьбой уведомить Шарлотту обо всем, что произошло.

— Я не в силах писать об этом, — сказал он. — Расскажите Шарлотте обо всем, господин заводчик. Я хочу, чтобы она знала, что мы пытались помочь ей, но нам этого, к прискорбию, не удалось. И скажите ей также, что она теперь единственный человек на свете, который может помочь моей несчастной жене и моему несчастному сыну!

СУББОТА: С УТРА ДО ПОЛУДНЯ

I

В понедельник, ровно через две недели после сватовства Шагерстрёма, Шарлотта узнала, что Тея Сундлер любит Карла-Артура. Удивительное чувство, охва-

тившее ее при этом открытии, будто теперь у нее есть средство вернуть утраченное счастье, не покидало ее и в последующие дни. К тому же во вторник она получила письмецо от полковницы, которая уведомляла ее, что, против ожиданий, дела идут прекрасно и вскоре все недоразумения разъяснятся. Все это вселяло в нее мужество, в котором она столь нуждалась.

В среду она узнала, что Карл-Артур должен ехать в Карлстад на похороны фру Шёборг. Легко было догадаться, что полковница воспользуется случаем, чтобы поговорить с ним о Шарлотте, и, быть может, невиновность ее наконец обнаружится. Быть может, Карл-Артур вновь возвратится к ней, тронутый ее самопожертвованием. Она не понимала, что намерена предпринять полковница для того, чтобы свершилось это чудо, но знала, что только она способна отыскать выход там, где другие увидели бы лишь мрак и безысходность.

Несмотря на то что Шарлотта питала столь безграничное доверие к уму своей свекрови, дни пребывания Карла-Артура в Карлстаде показались ей невыносимо тягостными. Она переходила от надежды к отчаянию. Она спрашивала себя, что может сделать полковница. Она сама, встречая Карла-Артура всякий день, не могла не признать в глубине души, что любовь его к ней утасла. Он сидел с ней за одним столом, но смотрел мимо нее.

Он не замечал ее присутствия. И дело тут было вовсе не в каком-то недоразумении, которое могло бы разъясниться. Для него все было кончено. Его любовь была точно обломанная ветка, которую никакая сила в мире не могла бы заставить снова прирасти к дереву и зазеленеть.

В пятницу Карла-Артура ожидали домой, и это был, разумеется, самый тяжелый день для Шарлотты. С самого утра сидела Шарлотта в столовой у окна, из которого ей был виден флигель, и ждала. В сотый раз перебирала она в уме происшедшие события, прикидывала, раздумывала. Но неуверенность и страх не проходили. Она думала, что ей придется весь день то-

миться ожиданием, но Карл-Артур вернулся в четвертом часу. Он прошел прямо во флигель, но вскоре вышел оттуда и, даже не взглянув на главный дом усадьбы, торопливо пересек двор и зашагал по дороге в деревню. Он желал видеть фру Сундлер, а не ее, Шарлотту.

Так вот каков был результат стараний полковницы. Шарлотта не могла не признать, что она потерпела неудачу.

Ей показалось, что всякая надежда умерла в ней. Она говорила себе, что теперь никто вовек не убедит ее в том, что для нее остался хоть какой-нибудь выход или спасение.

Но, вопреки всему, искра надежды все же теплилась в ней. В субботу, в шестом часу утра, к Шарлотте явилась служанка и сказала, что магистр Экенстедт желал бы поговорить с ней. И то, что он пожелал встретиться с нею за ранним завтраком, Шарлотта восприняла как любовное признание. Он точно давал ей понять, что хочет вернуть их былую близость, былые привычки.

Она вдруг преисполнилась уверенностью в том, что полковница все же сдержала свое слово и что великое чудо свершилось. Она так быстро сбегала по лестнице, что локоны ее разметались во все стороны.

Однако при первом же взгляде на Карла-Артура Шарлотта поняла, что ошиблась. При ее появлении он поднялся из-за стола ей навстречу, но ясно было, что ни простертых рук, ни поцелуев, ни изъявлений благодарности ожидать не следует. Некоторое время он стоял молча. Должно быть, Шарлотта появилась слишком быстро, и он не успел еще собраться с мыслями. Наконец он заговорил:

— Оказывается, ты, Шарлотта, из чистого милосердия взяла на себя вину за разрыв нашей помолвки. Ты зашла столь далеко, что ответила согласием на предложение Шагерстрёма и не препятствовала оглашению помолвки в церкви, дабы окружающие поверили в этот обман. Ты, Шарлотта, разумеется, действовала из наилучших побуждений и полагала, что оказываешь

мне этим большую услугу. Ради меня ты претерпела клевету и поношения, и я понимаю, что должен поблагодарить тебя за это.

Лицо Шарлотты вновь обрело обычную невозмутимость, и она, впервые за все эти тяжелые недели, гордо вскинула голову. Она ничего не отвечала.

Карл-Артур продолжал:

— Поступки твои объяснялись прежде всего желанием оградить меня от гнева моих родителей. Но я считаю своим долгом уведомить тебя, Шарлотта, что старания твои оказались напрасными. Нынче, во время моего приезда в Карлстад, между мною и родителями вышла ссора из-за моей женитьбы, приведшая к полному разрыву между нами. Я больше им не сын, а они отныне мне не родители.

— Но, Карл-Артур, — воскликнула девушка, оживляясь и снова загораясь волнением, — что такое ты говоришь? Твоя матушка!.. Ты решился на разрыв со своей матушкой?

— Добрейшая Шарлотта, матушка моя задумала подкупить Анну Сверд и побудить ее выйти замуж за кого-нибудь из ее односельчан. Она самым коварным образом пыталась разрушить счастье всей моей жизни. Она глуха к тому, что представляется для меня сейчас самым важным. Матушка хочет, чтобы я вернулся к тебе. Она была столь предусмотрительна, что пригласила на похороны Шагерстрёма, дабы иметь случай просить его отказаться от тебя, Шарлотта. Впрочем, мне едва ли надобно повторять все это. Ты, разумеется, уже посвящена в замыслы моих родителей. Ты с таким радостным видом вбежала в комнату. Ты, верно, надеялась, что этот блестящий план удался.

— Право же, я ровно ничего не знаю о планах твоей матушки, Карл-Артур. Она лишь сказала мне, что не верит всем этим лживым слухам, которые распускает обо мне Тея Сундлер. Услыхав о том, что ты отправился в Карлстад, я подумала, что полковница, быть может, откроет тебе правду. Я была убеждена в этом, когда ты сегодня утром послал за мною. Но не будем говорить обо мне, Карл-Артур! Скажи, ведь ты не будешь сер-

даться на свою матушку? Ты ведь тотчас же поедешь обратно и все уладишь? Не так ли, Карл-Артур?

— Как бы я мог поехать? Завтра воскресенье, и мне надо говорить проповедь.

— Тогда напиши хоть два слова и позволь ехать мне! Подумай о том, что она уже немолода! До сих пор ей удавалось сохранять молодость лишь благодаря радости, что ты доставлял ей. Ты был ее молодостью, ее здоровьем. Если ты оттолкнешь ее, она превратится в старуху. Навсегда исчезнут ее остроумие, ее веселость. Она станет желчной и озлобленной более, чем кто-либо другой. Ах, Карл-Артур, боюсь, что это убьет ее. Ты был ее Богом, Карл-Артур, ты можешь подарить ей жизнь или обречь ее на смерть. Карл-Артур, позволь мне поехать к ней и передать от тебя хотя бы одно слово!

— Все это мне известно, Шарлотта, но я не стану писать ей. Моя мать была уже больна, когда я покидал Карлстад. Отец просил меня примириться с ней, но я отказался. Она лгала и притворялась.

— Но, Карл-Артур, если даже она лгала и притворялась, то только ради тебя. Я не знаю, в чем провинились перед тобой твои родители, но что бы они ни сделали, все это было для твоей же пользы, и ты должен простить их. Подумай, кем была для тебя мать с самого младенчества! Во что превратился бы твой дом без нее? Разве доставляли бы тебе такое удовольствие высокие отметки в гимназии, если бы ты не знал, что матушка твоя от души гордится ими? Разве возвращался бы ты с такой радостью домой на вакации из Упсалы, если бы не знал, что матушка с нетерпением ждет тебя? Разве царило бы у вас в доме такое веселье на Рождество, если бы матушка не придумывала для вас забавы и сюрпризы, если бы она не сочиняла стихи к рождественской каше, не обряжала рождественского козла*?

— Вчера, возвращаясь домой, я всю дорогу думал о моей матушке, Шарлотта. По мирским понятиям, она была превосходной матерью. Если взглянуть на нее глазами твоими и других, то этого отрицать нельзя. Но

если взглянуть на нее глазами Бога и моими, то придется отозваться о ней совсем по-иному. Я спрашиваю себя, Шарлотта, что сказал бы Христос о такой матери?

— Христос... — возразила Шарлотта, и вдруг ее охватило столь бурное волнение, что она едва смогла продолжать: — Христос пренебрег бы случайным и внешним. Он бы увидел, что такая мать способна следовать за Ним до подножия креста и что она с радостью дала бы себя распять за Него. И, судя ее, Он всегда помнил бы об этом.

— Быть может, ты, Шарлотта, права. Быть может, мать моя готова была бы умереть за меня, но она никогда не позволила бы мне жить так, как я хочу. Моя мать, Шарлотта, никогда не допустила бы, чтобы я служил Богу. Она бы всегда требовала, чтобы я служил ей и миру. И потому нам должно было расстаться.

— Это не Христос повелевает тебе порвать с твоей матушкой, — запальчиво выкрикнула Шарлотта, — это Тея Сундлер внушила тебе, что она и я...

Карл-Артур остановил ее жестом.

— Я знал, что разговор об этом будет неприятен нам обоим, и охотнее всего предпочел бы уклониться от него, но именно та особа, о которой ты только что упомянула, Шарлотта, и которую тебе угодно ненавидеть, посоветовала мне рассказать тебе, к чему привели усилия моих родителей.

— О, разумеется! — сказала Шарлотта. — Это меня нимало не удивляет. Она знала, что я буду огорчена, что я буду плакать кровавыми слезами.

— Ты можешь как угодно толковать побуждения фру Сундлер, тем не менее именно она указала мне на то, что я должен поблагодарить тебя за жертву, принесенную тобою ради меня.

Шарлотта, поняв, что гневными упреками она ничего не добьется, попыталась овладеть собой и перевела разговор на другое.

— Прости мне мою горячность, Карл-Артур, — сказала она. — Я вовсе не хотела обидеть тебя. Но ты ведь знаешь, как я всегда любила твою мать, и мне кажется ужасным, что она лежит в постели больная и тщетно

ждет от тебя хотя бы слова. Неужто ты не позволишь мне ехать? Это вовсе не будет означать, что ты хочешь примириться со мной.

— Разумеется, Шарлотта, ты можешь ехать.

— Но без единого слова от тебя?

— Не проси меня, Шарлотта, это бесполезно.

В красивом лице Шарлотты появилось нечто мрачное и угрожающее. Она пристально посмотрела на Карла-Артура.

— Неужели же ты отважишься?

— «Отважишься»? Что это значит, Шарлотта?

— Ты ведь только что сказал, что завтра должен будешь говорить проповедь.

— Да, разумеется, Шарлотта.

— Но разве ты забыл, как в тот раз в Упсале ты не решался писать сочинение из-за того, что был дерзок со своей матерью?

— Этого я никогда не забуду.

— Нет, ты, должно быть, забыл об этом. Но теперь я говорю тебе, что ты никогда больше не сможешь проповедовать так, как в прошлые два воскресенья, если не примиришься со своей матерью.

Он рассмеялся.

— Не пытайся запугать меня, Шарлотта!

— Я не запугиваю тебя. Я только предупреждаю. Всякий раз, когда ты будешь подниматься на кафедру, ты станешь думать о том, что не примирился со своей матерью, и эта мысль лишит тебя силы.

— Милая Шарлотта, ты хочешь запугать меня, точно малого ребенка.

— Запомни мои слова! — воскликнула девушка. — Подумай об этом, пока еще есть время! Завтра или послезавтра может быть уже слишком поздно.

Бросив ему в лицо эту угрозу, она повернулась к двери и вышла, не дожидаясь ответа.

II

После завтрака пастор попросил Шарлотту пойти с ним в его комнату. Здесь он сказал ей, что Шагерстрём,

который, должно быть, вчера поздним вечером проехал мимо Корсчюрки, прислал своего слугу на кухню с большим конвертом, на котором был написан адрес пастора. В конверте было большое письмо к Шарлотте. Пастору же Шагерстрём написал лишь несколько слов и просил его осторожно подготовить Шарлотту к тому, что письмо его содержит тяжкие и печальные вести.

— Я уже подготовлена, дядюшка, — ответила Шарлотта. — Я говорила нынче с Карлом-Артуром и знаю о том, что он порвал со своими родителями и что полковница больна.

Старик был поражен.

— Что ты говоришь! Неужто это правда, дитя мое?

Шарлотта осторожно погладила руку старика.

— Я не в силах сейчас говорить об этом, дядюшка. Дайте мне письмо.

Она взяла письмо и ушла в свою комнату, чтобы прочесть его.

В письме Шагерстрёма довольно подробно описывались события, случившиеся в доме Экенстедтов за последнее время, и прежде всего в день похорон. Из торопливо набросанных строк Шарлотта получила, однако, вполне ясное представление обо всем, что произошло: о пребывании далекарлийки в Карлстаде, о ее неожиданном появлении в день похорон, о злосчастном падении полковницы, о ее тоске по сыну, о визите Шагерстрёма к больной, о поисках Карла-Артура и, наконец, о тяжелой сцене между отцом и сыном в кабинете полковника.

В конце письма упоминалось, что полковник просил предупредить обо всем Шарлотту, и в точности повторялись слова старика о том, что Шарлотта — единственный человек в мире, который может помочь его несчастной жене и его несчастному сыну. Кончилось письмо следующими словами:

«Я обещал выполнить просьбу полковника, но, возвращаясь домой, вспомнил, что не должен докучать вам, любезная фрёкен, своим присутствием. И потому ре-

шился я не ложиться в постель, а употребить остаток ночи на писание сих строк. Прошу извинить за то, что их столь много. Быть может, мысль о том, что они будут прочитаны вами, ускорила бег моего пера.

Утро уже на исходе. Карета давно ждет меня, но все же я должен добавить еще два слова.

Я не однажды имел случай наблюдать молодого Экенстедта и не раз ощущал в нем благородный и высокий дух, который сулит ему великое будущее. Но подчас я находил его суровым, почти жестоким, легковверным, вспыльчивым и не способным к здравому суждению.

Я хочу поделиться с вами моим подозрением, любезная фрёкен. Мне думается, что молодой человек подвержен чьему-то дурному влиянию, которое оказывает пагубное действие на его натуру.

Вы, любезная фрёкен, теперь оправданы и чисты в глазах вашего жениха. Поскольку вы с ним встречаетесь всякий день, то едва ли возможно, чтобы он остался нечувствителен к вашему очарованию. Добрые отношения между вами непременно вскоре восстановятся. Во всяком случае, ваш покорный слуга питает живейшую надежду на то, что ваше счастье, разрушенное по моей вине, снова вернется к вам. Но позвольте человеку, который любит вас и желает вам совершенного благополучия, высказать предостережение относительно влияния, о котором я упоминаю, и посоветовать вам, если возможно, устранить его. Позволено ли мне будет добавить еще только одно слово? Нет нужды говорить о том, что я также присоединяюсь к просьбе полковника. Я предан госпоже полковнице безгранично, и если для ее спасения понадобится моя помощь, вы можете рассчитывать на то, что в этом случае я готов пойти на самые большие жертвы.

Ваш покорный и преданный слуга

Густав Хенрик Шагерстрём».

Шарлотта перечитала письмо несколько раз, вдумываясь в его содержание. Она долго сидела неподвижно, размышляя над тем, чего ждут от нее эти два

человека — полковник и Шагерстрём. Что она может сделать?

Что имел в виду полковник, прося передать ей его слова, и зачем Шагерстрём написал ей столь поспешно это длинное письмо?

Вдруг она вспомнила, что завтра последний день оглашения. Быть может, Шагерстрём рассчитывает, что она, узнав обо всем, согласится, чтобы оглашение было сделано в третий раз и тем самым обрело силу закона?

Нет, она тотчас же отбросила эти подозрения. Шагерстрём не думает о себе. Если бы это было так, он писал бы более осмотрительно. А ведь он был весьма откровенным, высказывая суждение о Карле-Артуре. И сделал это без колебаний, не боясь навлечь на себя подозрение в том, будто письмо его продиктовано желанием повредить сопернику.

Но что, по его мнению, могла бы она сделать? Что имеют в виду Шагерстрём и полковник? Ей, разумеется, ясно, чего они ждут от нее. Они хотят, чтобы она вернула матери сына. Но как это сделать?

Неужто они воображают, что она имеет какое-то влияние на Карла-Артура? Она уже пыталась убедить его, употребила все свое красноречие, но ничего не добилась.

Она закрыла глаза. Она увидела полковницу, лежащую на постели с забинтованной головой, с изжелтабледным, осунувшимся лицом. Она видела гордый, презрительный гнев, искаживший ее черты. Она слышала, как полковница говорит чужому ей человеку, который так же, как и она, страдает от неразделенной любви: «Как горько, господин заводчик, что те, кого мы любим, не могут ответить нам такую же любовью».

Шарлотта быстро поднялась, сложила письмо и опустила его в карман юбки, словно для того, чтобы черпать в нем силу и поддержку. Спустя несколько минут она была уже на пути в деревню.

Подойдя к дому органиста, Шарлотта постояла несколько минут и мысленно произнесла молитву. Она пришла сюда, чтобы попытаться упросить Тею Сунд-

лер отослать Карла-Артура назад к матери. Лишь она одна могла это сделать. И Шарлотта просила Бога вооружить ее гордое сердце терпением, чтобы она могла убедить и растрогать эту женщину, которая ненавидела ее.

Ей посчастливилось застать фру Сундлер дома одну. Шарлотта спросила, может ли Тея уделить ей несколько минут, и вскоре они сидели друг против друга в маленькой уютной гостиной фру Сундлер.

Шарлотта сочла уместным начать разговор с извинения за то, что обрезала локоны Теи.

— Я была в тот день в таком отчаянии, — сказала она, — но это, разумеется, было очень дурно с моей стороны.

Фру Сундлер отнеслась к ней весьма благосклонно. Она сказала, что вполне понимает чувства Шарлотты. Она добавила, что и у нее не меньше оснований просить у Шарлотты прощения. Она верила в виновность Шарлотты и не станет отрицать, что судила ее чрезвычайно сурово. Но с этого дня она сделает все, все, чтобы честь Шарлотты была восстановлена.

Шарлотта отвечала с прежней учтивостью, что она благодарна Теи за это обещание, но теперь есть нечто, тревожащее ее гораздо больше, нежели ее собственная репутация.

Затем она рассказала фру Сундлер о несчастном случае с полковницей и добавила, что Карл-Артур, верно, не подозревает о том, какие страдания терпит его мать, иначе он не покинул бы Карлстад, не сказав ей ни одного ласкового слова.

Но тут Тея Сундлер стала вдруг чрезвычайно сдержанна.

Она ответила, что убедилась в том, что Карл-Артур все важные решения принимает по некоему наитию, вне всякого сомнения исходящему от самого Бога. Как бы он ни поступил — он всегда действует по Божьему наущению.

Бледные щеки Шарлотты окрасились легким румянцем, но она продолжала говорить, не позволяя себе ни упреков, ни колкостей. Она сказала, что твердо

убеждена в том, что полковница не сможет прийти в себя после разрыва с сыном. Она спросила Тею, не находит ли та ужасным, что совесть Карла-Артура будет отягощена смертью матери.

Фру Сундлер весьма проникновенно и с большим достоинством ответила, что уповает на то, что Бог оградит Своей десницей и мать, и сына. Она полагает, что, быть может, благое Провидение печется о том, чтобы сделать из дорогой тетушки Экенстедт истинную христианку.

Шарлотта представила себе изжелта-бледное лицо, искаженное гневом, и подумала, что едва ли полковница таким путем придет к истинному христианству. Но она воздержалась от неосторожных высказываний и заметила лишь, что явилась, собственно, затем, чтобы просить Тею Сундлер употребить все свое влияние на Карла-Артура и добиться примирения между матерью и сыном.

Фру Сундлер зашепелявила еще сильнее обычного; голосок ее сделался еще более вкрадчивым и масляным. Быть может, она и вправду имеет некоторое влияние на Карла-Артура, но она никогда не осмелится употребить его в деле столь важном. Тут он должен решать сам.

«Она не хочет, — подумала Шарлотта. — Так я и знала. Бесплезно взывать к ее жалости. Она ничего не делает бескорыстно».

Она поднялась с тем же самообладанием, какое сохраняла с самого начала визита, чрезвычайно учтиво попрощалась и пошла к двери. Фру Сундлер провожала ее, с увлечением распространяясь о той ответственности, которая лежит на тех, кто имеет счастье пользоваться доверием Карла-Артура.

Шарлотта, взявшись за ручку двери, обернулась и окинула взглядом комнату.

— У тебя премиленькая гостиная, — сказала она. — Неудивительно, что Карл-Артур так любит бывать здесь.

Фру Сундлер промолчала. Она не понимала, к чему клонит Шарлотта.

— Воображаю, как уютно бывает здесь по вечерам, — продолжала Шарлотта. — Твой муж сидит за фортепьяно, ты поешь, а Карл-Артур, устроившись в одном из этих мягких кресел, слушает музыку.

— Да, — ответила фру Сундлер, все еще не понимая, в чем дело. — Мы приятно проводим время, точно так, как ты говоришь, Шарлотта.

— Иной раз, должно быть, и Карл-Артур развлекает вас? Читает стихи или рассказывает о скромной пасторской усадьбе, в которой мечтает поселиться?

— Да, — повторила фру Сундлер. — И я, и мой муж весьма счастливы, что Карл-Артур удостаивает своими посещениями наш скромный дом.

— И это счастье может длиться долгие годы, если ему ничто не воспрепятствует, — снова заговорила Шарлотта. — Карл-Артур ведь еще не так скоро женится на своей далекарлийке, а в пасторской усадьбе ему будет очень одиноко. Ему необходим такой приятный уголок, где бы он мог отдохнуть душой.

Фру Сундлер молчала. Она вся обратилась в слух, она была само внимание. Она понимала, что Шарлотта затеяла этот разговор не без умысла, но все еще не могла разгадать, в чем же он состоит.

— Если бы я осталась в пасторской усадьбе, — с легким смехом заметила Шарлотта, — то, должно быть, смогла бы уделить ему свободное время. Я знаю, он больше не любит меня, но из-за этого нам вовсе незачем жить как кошка с собакой. Я, к примеру, могла бы помочь ему в хлопотах с этим детским приютом. Когда встречаешься каждый день, то всегда находится много общих дел и интересов.

— Да, само собой. А что, Шарлотта, ты и впрямь намерена оставить пасторскую усадьбу?

— Трудно сказать. Ты ведь знаешь, что я собиралась замуж за Шагерстрёма.

С этими словами она приветливо кивнула на прощание и открыла дверь, чтобы идти.

Выйдя в маленькую прихожую, она заметила, что у нее развязался шнурок на башмаке. Она наклонилась и завязала его. На всякий случай она завязала покрепче

и другой. «Надо дать ей время поразмыслить, — думала она. — Если Тея любит его, она не даст мне уйти, а если не любит...»

Шарлотта еще возилась со своими башмаками, когда фру Сундлер вышла в прихожую.

— Милая Шарлотта, — сказала она. — Не вернешься ли ты на минутку? Мне сейчас пришло в голову, что ты никогда прежде не переступала порога моего дома. Позволь мне предложить тебе стакан малинового сока. Не годится уходить, не отведав чего-нибудь. Говорят, что уйти, не отведав угощения, — хозяев обидеть.

Шарлотта, которая наконец завязала шнурки, поднялась и весьма любезно поблагодарила Тею. Она не возражала против того, чтобы войти в уютную гостиную и подождать несколько минут, пока фру Сундлер сбегает в погреб за соком.

«Во всяком случае, она не глупа, — подумала девушка. — Это, по крайней мере, утешительно».

Фру Сундлер отсутствовала долго, но Шарлотта отнюдь не сочла это за дурной знак. Она ждала тихо и терпеливо. В глазах у нее появилось такое же выражение, какое бывает у рыбака, когда он видит, что рыба ходит вокруг наживки.

Между тем хозяйка воротилась с соком и печеньем. Шарлотта отхлебнула темно-красного сока, взяла печенье и принялась грызть его, а фру Сундлер попросила извинения за то, что так замешкалась.

— Превосходное печенье! — сказала Шарлотта. — Оно, как видно, испечено по рецепту твоей матушки. Она была истинная Кайса Варг*. Как славно, что ты столь искусна встряпне. Карл-Артур, видно, лакомится здесь куда лучше, чем в пасторской усадьбе.

— О, вовсе нет! Не забывай, Шарлотта, что мы люди небогатые. Но не будем говорить о пустяках, а лучше подумаем о бедной тетушке Экенстедт! Могу я говорить с тобой откровенно?

— Для того я и пришла сюда, милая Тея, — сказала Шарлотта самым ласковым тоном.

Ни одна из них не повышала голоса, напротив, они старались говорить шепотом. Они сидели, спокойно

прихлебывая малиновый сок и грызя печенье, но руки у них дрожали, как у азартных игроков, когда решается затянувшаяся партия.

— Скажу тебе откровенно, Шарлотта: мне кажется, что Карл-Артур побаивается своей матери. И, быть может, даже не столько ее самой — она ведь живет в Карлстаде и не так часто имеет случай влиять на него. Но он заметил, что она хлопочет, чтобы вновь соединить его с тобой, Шарлотта. И... прости, что я говорю тебе об этом... но вот этого-то он и опасается больше всего.

Шарлотта чуть усмехнулась.

«Ага, — подумала она, — так вот как мы повернули дело! Право же, Тея вовсе не глупа».

— Ты, стало быть, полагаешь, Тея, — сказала она, — что могла бы уговорить Карла-Артура отправиться в Карлстад примириться со своей матерью, если бы сумела убедить его, что это не приведет ни к каким последствиям в отношении меня?

Фру Сундлер пожала плечами.

— Я только высказываю предположение, — возразила она. — Он, быть может, и сам несколько опасается собственной слабости. Разумеется, его многое привлекает в тебе. Я вообще не понимаю, как может молодой человек устоять перед чарами красавицы, подобной тебе, Шарлотта.

— И ты полагаешь...

— Ах, Шарлотта, ничего нельзя знать наверняка. Но я думаю, что если бы у Карла-Артура была уверенность в том...

— Ты хочешь сказать, что если завтра оглашение будет сделано в третий раз, то он будет чувствовать себя увереннее?

— Разумеется, это было бы хорошо. Но, Шарлотта, оглашение ведь еще не венчание. Свадьбу можно отложить, и ты можешь еще много лет оставаться в пасторской усадьбе.

Шарлотта чуть поспешнее, чем следовало, поставила стакан с соком на поднос. Идя сюда, она знала, что ей придется дорогой ценой заплатить за то, что

Тея отпустит Карла-Артура к матери. Но она думала, что оглашением Тея удовлетворится.

— Я понимаю так, — сказала фру Сундлер, понизив голос до шепота, — что ежели ты, Шарлотта, сейчас отправишься домой, напишешь записочку Шагерстрёму и спросишь, не согласится ли он завтра же утром приехать обвенчаться с тобой тотчас после утренней службы, то...

— Это невозможно!

Возглас прозвучал как отчаянная мольба о пощаде. Единственный раз за все время беседы Шарлотте не удалось скрыть своих страданий. Фру Сундлер продолжала, не обращая ни малейшего внимания на мольбу своей противницы:

— Я не знаю, что возможно, а что невозможно для Шарлотты. Я говорю только, что если ты, Шарлотта, напишешь такую записку и пошлешь ее с нарочным в Озерную Дачу, то ответ придет через пять-шесть часов. Ежели ответ будет положительный, то я сделаю все, что в моих силах, чтобы уговорить Карла-Артура поехать к матери.

— А если тебе это не удастся?

— Я горячо привязана к тетушке Экенстедт, Шарлотта, и, право же, крайне огорчена ее болезнью. Если я смогу успокоить опасения Карла-Артура насчет известного тебе обстоятельства, то едва ли мне это не удастся. Я убеждена, что Карл-Артур отправится домой завтра, сразу же после богослужения.

Это был четкий и тщательно продуманный план, без слабых мест и изъянов. Шарлотта сидела, опустив глаза. Под силу ли это ей?

Ей придется всю жизнь прожить с человеком, которого она не любит. Сможет ли она?

Да, разумеется, сможет. Ее рука нащупала письмо в кармане юбки. Разумеется, сможет.

Шарлотта залпом допила сок, чтобы прокашляться.

— Я дам тебе знать, что ответит Шагерстрём, как только будет возможно, — сказала она и встала, чтобы уйти.

ШАРЛОТТА ЛЁВЕНШЁЛЬД
СУББОТА:
С ПОЛУДНЯ ДО ВЕЧЕРА

I

Когда вам предстоит пройти через что-то очень трудное, то хорошо, если можно сказать себе: «Это необходимо. Я знаю, отчего поступаю так. Иного выхода нет». И мучительное беспокойство отступает перед твердой убежденностью в том, что вам остается лишь покориться обстоятельствам. Правду говорят, что все легче терпится, если знаешь, что дело решено и ничего переменить нельзя.

Возвратясь домой в пасторскую усадьбу, Шарлотта тотчас же написала несколько строк Шагерстрёму. Хотя записка была короткой, Шарлотте пришлось немало поломать над ней голову. И вот что ей наконец удалось сочинить:

«Памятуя последние строки вашего письма, господин заводчик, я хотела бы спросить вас, сможете ли вы прибыть завтра в пасторскую усадьбу во втором часу, чтобы старый пастор обвенчал нас.

Прошу передать ответ с нарочным. Преданная вам

Шарлотта Лёвеншёльд.

Сложив и запечатав записку, Шарлотта попросила у пастора позволения отослать ее с кучером в Озерную Дачу.

Затем она стала рассказывать своим старикам обо всем, что произошло, чтобы подготовить их к предстоящему завтра событию.

Но пасторша прервала ее:

— Знаешь что? Расскажешь нам обо всем этом после. А теперь ступай-ка к себе отдохнуть. Погляди, на кого ты похожа! Краше в гроб кладут.

Она увела Шарлотту наверх в ее комнату, заставила лечь на диван и заботливо прикрыла шалью.

— Спи себе, не тревожься! — сказала она. — К обеду я тебя разбуджу.

Какое-то время рой беспокойных и мучительных мыслей все еще кружился в голове Шарлотты, но затем постепенно они угомонились. Ведь стало ясно, что их бурное метание ни к чему, что все уже решено и ничего нельзя изменить. Скоро бедняжка и впрямь погрузилась в сон, позабыв обо всех своих бедах.

Она проспала несколько часов. Пасторша заглянула к ней, как и обещала, когда был подан обед, но, увидев, что девушка крепко спит, не стала ее тревожить. Ее разбудили, лишь когда кучер вернулся обратно из Озерной Дачи с ответом Шагерстрёма.

Шарлотта развернула записку и увидела, что Шагерстрём ответил лишь одной строчкой:

«Ваш покорный слуга будет иметь честь явиться».

Письмецо было тотчас же отослано к фру Сундлер, и Шарлотта вторично начала рассказывать пастору и пасторше о своих злоключениях, но ее снова прервали. Явился посланный от ее сестры, докторши Ромелиус, которая просила ее прийти немедленно. Утром у нее сильно пошла горлом кровь.

— Одна беда за другой! — сказала пасторша. — Не иначе как у нее чахотка. Это уже давно видно было по ней. Разумеется, тебе надо идти, душенька. Только бы тебе не свалиться от всего этого.

— Нет, нет, ничего! — сказала Шарлотта, торопливо одеваясь, чтобы во второй раз за этот день отправиться в деревню.

Она застала сестру в маленькой гостиной. Больная сидела в кресле, обложенная подушками, окруженная всеми своими детьми. Двое стояли, прижавшись к ней, двое сидели на скамеечке у ее ног, а двое самых маленьких ползали по полу вокруг нее. Эти малыши еще не имели понятия о болезнях и опасностях, но четверо детей постарше, которые уже многое понимали, были напуганы и встревожены. Они окружили мать, точно оберегая ее от нового приступа болезни.

Никто из них не шевельнулся при виде Шарлотты. Старший мальчик сделал предостерегающий жест.

— Матушке нельзя ни двигаться, ни говорить, — прошептал он.

Но нечего было опасаться, что Шарлотта заговорит с больной. В ту самую минуту, как она вошла в комнату, что-то мучительно сдавило ей горло. Она боролась с собой, чтобы не разрыдаться.

Гостиная докторши была небольшой холодной комнатой, в которой стояла мебель карельской березы, оставшаяся Марии-Луизе от родителей. Здесь были диван, стол, около него два кресла, два столика у окон и шесть стульев. Это была прекрасная старинная мебель, но поскольку в комнате больше ничего не было — ни крошки еды на столе, ни цветочного горшка на окне, — то вся эта обстановка показалась Шарлотте довольно мрачной и печальной.

Всякий раз, посещая сестру, она чувствовала, что ей невмогут сидеть в этой гостиной, но в другие комнаты сестра никогда ее не пускала. Шарлотта подозревала, что остальная часть дома была уж слишком убогой и бедной, и оттого Мария-Луиза не приглашала ее туда.

Вообще-то врачи обычно жили довольно богато, но Ромелиус, который по целым дням пьянствовал в трактире, почти ничего не зарабатывал, обрекая жену и детей на нужду и лишения. Легко было понять, что докторша, которая любила мужа и не хотела, чтобы сестра осуждала его, держалась с Шарлоттой несколько отчужденно и не посвящала ее в свои обстоятельства.

И то, что докторша, такая слабая и больная, все-таки приняла Шарлотту в гостиной, растрогало ее до слез. Она делала это ради мужа, она все еще думала о том, чтобы оградить его от упреков. Шарлотта подошла к сестре и поцеловала ее в лоб.

— Ах, Мария-Луиза, Мария-Луиза! — прошептала она.

Докторша взглянула на нее со слабой улыбкой. Затем она кивнула головой на детей и снова подняла взгляд на Шарлотту. Шарлотта поняла ее.

— Да, да, разумеется, — сказала она, а затем проговорила решительным и бодрым тоном, который божесть откуда у нее взялся:

— Послушайте, дети, пасторша Форсиус прислала вам печенья. Оно у меня в ридикюле, в прихожей. Ну-ка, пойдёмте!

Она увела их из комнаты, оделила печеньем и отослала играть в сад.

Вернувшись к сестре, Шарлотта села на скамеечку у ее ног, взяла ее исхудалые, натруженные руки в свои и прижалась к ним щекой.

— Ну вот, друг мой, мы и одни. Что ты хотела мне сказать?

— Если я умру... — произнесла больная, но умолкла, боясь вызвать новый приступ кашля.

— Ах, да, — сказала Шарлотта. — Тебе ведь нельзя разговаривать. Ты хочешь попросить меня позаботиться о твоих детях, если тебя не станет. Это я обещаю тебе, Мария-Луиза.

Сестра кивнула. Она улыбнулась благодарной улыбкой, но в то же время слеза скатилась у нее с ресниц.

— Я знала, что ты поможешь мне, — прошептала она.

«Она не спрашивает, как я смогу прокормить всех этих малышей», — подумала Шарлотта, которая из-за этой новой беды забыла обо всем, что случилось нынче утром. Но вдруг ее осенила мысль: «Разумеется, ты сможешь прокормить их. Ты же будешь богата. Ты ведь выходишь замуж за Шагерстрёма».

И тут она подумала: «Быть может, все это и случилось ради того, чтобы я смогла помочь Марии-Луизе».

И впервые мысль о браке с Шагерстрёмом принесла ей какое-то облегчение. Прежде она думала о нем с грустной покорностью.

Она предложила сестре отвести ее в постель. Но докторша покачала головой. Она хотела сказать еще что-то.

— Не оставляй детей у Рикарда, — попросила сестра.

Шарлотта горячо пообещала ей это, но в то же время крайне удивилась. Стало быть, Мария-Луиза вовсе не обожает мужа столь слепо, как думала Шарлотта. Она понимает, что он человек конченный и детей надо спасти от его влияния.

Но видно было, что сестра хочет поделиться с ней еще какой-то мыслью.

— Я боюсь любви, — сказала она. — Я знала, каков Рикард, но любовь заставила меня выйти за него. Я ненавижу любовь.

Шарлотта поняла, что сестра сказала это, желая как-то утешить ее. Она хотела сказать ей, что даже самая сильная любовь может оказаться неудачной и привести к роковым ошибкам. Лучше руководствоваться разумом.

Шарлотта собиралась ответить ей, что она, со своей стороны, будет любить любовь до последнего своего часа и никогда не станет укорять ее за муки, которые она уготовила ей, но тут докторша страшно закашлялась, так что Шарлотта не успела ей ничего сказать. Едва кашель утих, Шарлотта поторопилась постлать постель и уложить больную.

В этот вечер Шарлотта взяла на себя обязанности хозяйки в этом скромном доме. Она приготовила детям ужин, покормила их и уложила спать.

Но при этом ей впервые довелось увидеть одежду, белье и утварь в доме сестры, и она пришла в ужас. До чего все было изношено, поломано, запущено. В хозяйстве не доставало самого необходимого! Служанка была ленивая и бестолковая! Детское платье — заплатка на заплате! Столы и стулья нуждались в ремонте. У одного была поломана спинка, у другого не доставало ножки.

Слезы жгли глаза Шарлотты, но она не давала им воли. Она чувствовала щемящее сострадание к сестре, которая сносила всю эту нищету, никогда не жалуясь и не прося помощи.

Хлопоча по дому, Шарлотта время от времени заходила к сестре, которая теперь лежала, успокоившись, и, как видно, наслаждалась тем, что кто-то заботится о ней.

— Хочу порадовать тебя, — сказала Шарлотта. — Тебе больше никогда не придется выбиваться из сил. Завтра утром я пришлю тебе хорошую служанку. Ты будешь лежать и бездельничать, покуда совсем не поправишься.

Больная недоверчиво улыбнулась. Видно было, что такая перспектива радует ее. Но Шарлотта заметила, что сестру точит какая-то тревога, которую ей не удалось изгнать своими обещаниями.

«Слишком поздно, — подумала Шарлотта. — Она знает, что умрет. Ничто уже не может утешить ее».

Вскоре она снова подошла к постели сестры. Она сказала, что пошлет ее на воды, чтобы та хорошенько там полечилась.

— Ты ведь знаешь, у меня будет много денег. Так что положишься на меня.

Ей претило говорить о богатстве Шагерстрёма. Но сестре это пришлось по душе. Мысль о том, что Шарлотта разбогатеет, была для нее лучшим лекарством.

Она притянула к себе руки Шарлотты и благодарно погладила их, но видно было, что тревога все еще точит ее.

«Что же ее мучит? — думала Шарлотта. У нее мелькнуло было подозрение, но она отогнала его. — Ведь не может же быть, чтобы Мария-Луиза хотела просить и за мужа! Теперь, когда она лежит обессиленная, нищая, смертельно больная! Нет, тут, видно, что-нибудь другое».

Уложив детей, Шарлотта вошла к сестре, чтобы проститься с ней.

— Я уйду, — сказала она, — но по дороге загляну к сиделке и попрошу ее переночевать у тебя. Завтра утром я приду снова.

Сестра опять ласково погладила ее руку.

— Завтра ты мне не понадобишься, а в понедельник приходи.

Шарлотта поняла, что муж докторши, который в этот вечер отправился к больному, в воскресенье будет дома, и Мария-Луиза не хочет, чтобы он встретился с ее сестрой. Больная все еще держала ее за руку. Шарлотта поняла, что она хочет попросить ее еще о чем-то.

Она наклонилась к сестре и откинула ей прядь волос со лба. Ей показалось, что она касается умирающей, и внезапная мысль о том, что она, быть может,

в последний раз видит свою верную, мужественную сестру, заставила ее сделать еще одну попытку рассеять беспокойство бедняжки.

— Я обещаю тебе, что мы с Шагерстрёмом позаботимся о Ромелиусе.

О, как просияло от радости лицо больной! Она прижала руку Шарлотты к своим губам.

Затем она, довольная, откинулась на подушку. Веки ее сомкнулись, и вскоре она уже спала, спокойно и мирно.

«Так я и знала, — подумала Шарлотта. — Она тревожилась о нем. Я знала, что она не может ненавидеть любовь».

II

Было уже больше десяти часов, когда Шарлотта вернулась от докторши. У калитки она столкнулась со служанкой и кухаркой, которые также возвращались домой, но не из деревни.

Они тотчас же принялись рассказывать, что были на молитвенном собрании пиетистов в заводе Хольма. Собрание происходило в старой кузне. Народу было битком, и магистр Экенстедт говорил там. Туда пришли не только свои, фабричные и деревенские, но также люди из других мест.

Шарлотта хотела спросить, был ли Карл-Артур столь же красноречив, как обычно, но служанкам так не терпелось рассказать обо всем, что они не дали ей и слова вымолвить.

— А магистр Экенстедт почитай все время про вас, фрёкен Шарлотта, говорил, — сказала служанка. — Он сказал, что, дескать, и он, и все другие несправедливо обошлись с фрёкен. Что фрёкен вовсе не лицемерка и не притворщица. Он хотел, чтобы все это знали.

— И он рассказал, что он говорил и что вы, фрёкен, говорили, когда бранились с ним, — сказала кухарка. — Он хотел, чтобы мы знали, как все вышло. Только уж не знаю, ладно ли он сделал. Впереди меня два мальчика сидели, так они чуть со стульев от смеха не грохнулись.

— Да и другие тоже смеялись, — добавила служанка. — Только это все те, у кого ума не хватает. А другим это пришлось по душе. А после он сказал, что нам всем надо молиться за вас, фрёкен Шарлотта, потому как вы пойдете опасной дорогой. Вы ведь за богача выходите! И он напомнил нам слова Иисуса, что трудно богатым попасть в Царство Небесное... Да куда же вы, фрёкен?

Не говоря ни слова, Шарлотта поспешила прочь. Точно преследуемая, вбежала она в дом, одним духом взлетела по лестнице и заперлась у себя в комнате. Здесь она, не зажигая огня, сбросила с себя платье, а затем долго лежала в постели неподвижно, глядя во тьму.

— Все кончено, — бормотала она. — Карл-Артур убил любовь.

Прежде ему это не удавалось. Он ранил ее, пренебрегал ею, попирали ее, клеветал на нее, а она все еще жила. У нее не было в утешение даже такой малости, как дружеский взгляд, а она все еще цеплялась за жизнь, но после этого она должна была умереть. Шарлотта спрашивала себя, отчего то, что он сделал нынче, оказалось труднее перенести, чем что-либо другое. Она не могла объяснить этого себе, но знала, что это так. Карл-Артур, разумеется, сделал это с самыми благими намерениями. Он хотел восстановить ее честь. Он говорил так, как велела ему совесть. Но он нанес ее любви смертельный удар.

И она вдруг почувствовала такую пустоту! Подумать только, теперь ей не о ком мечтать, не о ком тосковать! Когда она станет читать увлекательный роман, герой больше не будет невольно обретать его черты. Когда она станет слушать музыку, полную любовной тоски, она не поймет ее, потому что музыка эта не найдет отзвука в ее душе.

Как сможет она увидеть красоту цветов, птиц, детей, если любовь ушла от нее?

Этот брак, в который она собиралась вступить, представлялся ей бескрайней, бесконечной пустыней. Если бы при ней оставалась ее любовь, она наполняла

бы ее душу. Теперь же она будет жить в чужом доме с пустотой в душе и с пустотой вокруг.

Она подумала о полковнице. Теперь Шарлотта поняла, что вызвало ее гнев, отчего в лице ее появилось грозное и суровое выражение. И она, должно быть, думала о том, что Карл-Артур убил ее любовь.

Мысли Шарлотты обратились к Шагерстрёму. Она думала о том, что же увидела в нем полковница, что заставило ее пожелать, чтобы он был ее сыном. Она сказала это не из пустой учтивости, в ее словах был какой-то смысл.

И вскоре Шарлотте стало ясно, что увидела в нем полковница. Она увидела, что Шагерстрём умеет любить. Это было то, чего не умел Карл-Артур. Шагерстрём умеет любить. Шарлотта недоверчиво усмехнулась. Неужели Шагерстрём умеет любить лучше, чем Карл-Артур? Он ведь натворил немало глупостей с этим сватовством и оглашением. Но полковница проницательней, чем кто-либо иной. Она поняла, что Шагерстрём никогда бы не смог убить любовь человека, который любил его.

— Это ужасный грех — убивать любовь, — прошептала Шарлотта.

Затем она подумала, мог ли Карл-Артур сделать это предумышленно и обдуманно. Он был ее женихом пять лет и должен был бы знать, что глубоко ранит ее, если станет рассказывать о ее любви перед собравшейся толпой, сделав ее предметом насмешек и бесцеремонного любопытства. Или, быть может, Тея Сундлер побудила его к этому, чтобы наконец покончить с Шарлоттой? Неужто она все еще не унялась, хотя уже разлучила ее с Карлом-Артуром и заставила выйти за другого? Неужто она сочла необходимым нанести ей это смертельное оскорбление?

Кто из них виноват — это ей было почти безразлично. В эту минуту Шарлотта чувствовала одинаковую неприязнь к ним обоим.

Она пролежала еще несколько минут, обуреваемая бессильным гневом. Время от времени слеза скатывалась по ее щеке, смачивая подушку.

Но в жилах Шарлотты текла старинная, благородная шведская кровь, а в душе ее обитал гордый, благородный дух, который не мирился с поражением, но, все такой же несгибаемый, устремлялся к новой борьбе.

Она села на постели и с силой стукнула кулаком о кулак.

— Одно я знаю наверняка, — проговорила она. — Я не буду несчастна в замужестве. Уж такого удовольствия я им не доставлю!

И с этим добрым намерением в душе она снова легла и уснула. Она пробудилась лишь в восьмом часу, когда пасторша вошла к ней, неся кофе на украшенном цветами подносе, чтобы достойно начать этот торжественный день.

ДЕНЬ СВАДЬБЫ

I

В воскресенье, во втором часу, Шаггерстрём, исполняя просьбу Шарлотты, отправился в пасторскую усадьбу. Богатый заводчик ехал в своем большом ландо. Лошади и сбруя были начищены до блеска, кучер и лакей разряжены в пух и прах, с розанами, заткнутыми за жилет. Фартук на облучке был убран, и всякий мог видеть белые лосины и глянцевые сапоги кучера. Хозяину было далеко до великолепия слуг, но и он выглядел весьма празднично в жабо и манжетах, в белом жилете, в ладно сидящем сером фраке с бутоньеркой в петлице. Короче говоря, всякий при виде его экипажа и его самого невольно должен был подумать: «Господи! Никак богач Шаггерстрём жениться едет!»

Шаггерстрём был тронут дружеским приемом, оказанным ему в усадьбе пастора. По правде говоря, старая усадьба во все эти тревожные дни имела несколько замкнутый и неприветливый вид. Трудно сказать, в чем это проявлялось, но чуткая душа тотчас улавливала разницу.

Сегодня же белая калитка была распахнута настежь, равно как и дверь, ведущая в прихожую. Гарди-

ны во всех окнах верхнего этажа, опущенные уже много недель, теперь были подняты, беспрепятственно впуская в комнаты солнце, так что чехлы и ковры могли выцветать под его лучами сколько угодно. Но перемена чувствовалась не только в этом. В этот день цветы рдели особенно ярко, а птицы щебетали особенно весело.

Не только миловидная служанка, но также пастор с пасторшей вышли на крыльцо, чтобы встретить Шагерстрёма.

Они обнимали его, целовали его в щеку, хлопали по плечу и называли просто по имени, без всяких церемоний. Они обращались с ним как с сыном. Шагерстрём, который провел ночь без сна, мучительно пытаясь решить, как ему следует вести себя, почувствовал огромное облегчение, точно у него вдруг перестал ныть больной зуб.

Шагерстрёма провели в комнату пастора, где его уже дожидалась Шарлотта. Она была одета в платье из белого шелка с переливами и выглядела очаровательно. Правда, платье было несколько старомодно. Можно было догадаться, что у Шарлотты не нашлось подходящего наряда, и пасторша отыскала это платье в одном из огромных сундуков, стоящих на чердаке. Оно было короткое, с большим вырезом и с талией под грудью, но чрезвычайно подходило к наружности Шарлотты. Никто не удосужился раздобыть венец или цветочный венок для невесты, но пасторша помогла девушке убрать волосы, заколов их большим черепаховым гребнем, и прическа эта очень шла к ее наряду. На шее у Шарлотты было несколько ниток поддельного жемчуга, скрепленных красивой застежкой, и точно такие же браслеты охватывали запястья. Все это убранство, хотя и недорогое, было очень к лицу Шарлотте. Она точно сошла со старинного портрета.

Когда Шагерстрём наклонился, чтобы поцеловать ей руку, она улыбнулась и произнесла чуть дрогнувшим голосом:

— Карл-Артур только что отправился в Карлстад, чтобы помириться со своей матерью.

— Лишь вы одна, досточтимая фрёкен, могли совершить подобное чудо, — сказал Шагерстрём.

Он понял, что Шарлотта смогла побудить молодого Экенстедта к этой поездке, лишь дав согласие на брак с ним, Шагерстрёмом. Он не мог знать, каким образом все это устроилось, но, по правде говоря, был отнюдь не в восторге от происходящего. Оно и понятно. Разумеется, он восхищался самопожертвованием молодой девушки, он от души желал, чтобы полковница помирилась со своим сыном, но все же... Короче говоря, он хотел бы, чтобы Шарлотта пошла с ним под венец ради него самого, а не ради молодого Экенстедта.

— Тут замешано «дурное влияние», о котором ты писал, — продолжала Шарлотта, — «дурное влияние» потребовало моего замужества и удаления из усадьбы, и притом незамедлительно. Меньшим оно не пожелало довольствоваться. Пощады от него не было.

Шагерстрём отметил про себя выражение «пощады от него не было». Оно означало, как он понял, что Шарлотта невыразимо страдает, вступая с ним в брак.

— Я весьма сожалею об этом, любезная фрёкен...

Шарлотта прервала его.

— Меня зовут Шарлотта, — сказала она с легким поклоном, — а я буду называть тебя Хенрик.

Шагерстрём с благодарностью поклонился.

— Я буду называть тебя Хенрик, — продолжала Шарлотта с легкой дрожью в голосе, — так как догадываюсь, что твоя покойная жена называла тебя Густав. Я хочу, чтобы это имя было связано только с ней. Не следует отнимать у мертвых то, что принадлежит им по праву.

Шагерстрём был крайне изумлен. Эти слова, как показалось ему, означали, что Шарлотта больше не питает к нему той неприязни, которую он ощущал во время их последней встречи в Эребру. Он разом воспрянул духом. Если бы робость и недоверчивость не были его второй натурой, он почувствовал бы себя совершенно счастливым.

Шарлотта спросила, не возражает ли он против того, чтобы венчание происходило в служебном кабинете пастора, где в течение года сочеталось браком множество пар.

— Пасторша, правда, хотела, чтобы нас обвенчали в большой зале, но мне кажется, что тут будет торжественнее.

Собственно говоря, дело было в том, что Шарлотта, которая хотела провести это утро в задушевной беседе со своими верными старыми друзьями и покровителями, не дала пасторше времени на чистку и уборку нежилой парадной залы. Старушке не удалось даже отлучиться на кухню, чтобы присмотреть за приготовлением праздничного завтрака, которым она хотела потчевать новобрачных.

Молодой заводовладелец не возражал против служебного кабинета, и бракосочетание состоялось немедленно. Кучер и лакей из Озерной Дачи, арендаторская чета и слуги из пасторской усадьбы были приглашены в свидетели этой церемонии.

Старый пастор громко читал положенные слова, а за окном весело и звонко чирикали воробьи и зяблики; они, казалось, знали о том, что происходит, и хотели почтить это событие самыми лучшими своими свадебными гимнами.

Когда все было кончено, Шагерстрём некоторое время стоял в растерянности, не зная, что делать дальше, но Шарлотта обернулась к нему и подставила ему губы для поцелуя.

Право же, она совершенно сбивала его с толку. Всего мог он ожидать от нее — слез, молчаливого отчаяния, гордого пренебрежения, но не этой радостной покорности.

«Я убежден, что все, кто видит нас, полагают, будто не она, а я поневоле иду под венец», — подумал он.

Шагерстрём мог объяснить это лишь тем, что Шарлотта из гордости хочет выглядеть довольной и счастливой.

«Но до чего же искусно она притворяется!» — подумал он с легкой досадой и в то же время с некоторым восхищением.

Когда они затем все четверо сидели за праздничным завтраком, который, по выражению пасторши, появился на столе исключительно волею Провидения, но который тем не менее весьма удался, Шагерстрём сделал попытку стряхнуть с себя меланхолическое настроение. Пастор и пасторша, отнюдь не удивленные тем, что он чувствует себя не в своей тарелке, силились расшевелить его, и под конец им это как будто удалось.

Во всяком случае, они заставили его разговориться. Он принялся рассказывать о своих поездках в чужие края, о попытках улучшить горное дело в Швеции и ввести новшества, которые он видел в Англии и Германии.

Он заметил, что Шарлотта слушает его с неподдельным интересом. Она сидела, вытянув шею, с широко раскрытыми глазами и ловила каждое его слово. Он решил, что все это, вероятно, просто-напросто игра. «Она делает это ради стариков, — подумал он. — Едва ли она может интересоваться вещами, в которых ничего не понимает. Она хочет, чтобы пастор с пасторшей думали, будто она любит меня. В этом все дело».

Это объяснение показалось ему все же лучше и извинительнее предыдущего. Он рад был видеть, что жена его до такой степени привязана к этим чудесным старикам. К концу завтрака уныние все же охватило их. Старики не в силах были отогнать от себя мысль о том, что через несколько минут Шарлотта их покинет. Шарлотта, это жизнерадостное создание, с ее проделками, с ее безрассудством, с ее острым язычком, с ее вспыльчивостью, Шарлотта, которая подчас бывала несносна, но которой они прощали все за ее доброе, любящее сердце, навсегда покидала их дом. До чего же пустой и скучной станет теперь их жизнь!

— Хорошо, по крайней мере, что ты завтра снова приедешь, чтобы уложить свои вещи, — сказала пасторша.

Шагерстрём понял, что старики пытаются утешить себя тем, что Шарлотта не уезжает далеко и что они

время от времени будут видаться с ней. Но все же он заметил, что оба они как-то снижились, что спины их сгорбились, а морщины на лицах проступили резче. Отныне рядом с ними не будет никого, кто отгонял бы от них старость.

— Мы так рады, Шарлотта, дитя мое, — сказал пастор, — что тыходишь хозяйкой в столь превосходный дом, что у тебя будет хороший муж, но все же... все же... ты ведь понимаешь, нам будет очень недоставать тебя!

Старый пастор готов был прослезиться, но пасторша спасла положение, рассказав Шагерстрёму, как ее старик однажды сказал ей, что бы он сделал, будь он холостяком и моложе лет на пятьдесят. Все невольно расхохотались, и мрачные мысли развеялись.

Когда ландо подкатило к крыльцу и Шарлотта приблизилась к пасторше, чтобы проститься с ней, старушка увела ее в соседнюю комнату и шепнула:

— Приглядывай сегодня весь день за мужем, друг мой. Он что-то задумал. Не спускай с него глаз!

Шарлотта сказала, что постарается.

— А знаешь, он нынче очень недурен. Ты заметила? Ему очень к лицу праздничная одежда.

Ответ Шарлотты крайне удивил пасторшу.

— А я никогда и не думала, что он дурен собою, — возразила девушка. — В нем есть что-то мужественное. Он похож на Наполеона.

— Да что ты! — воскликнула пасторша. — Это мне никогда не приходило в голову. Впрочем, лишь бы тебе так казалось.

Когда Шарлотта, готовая к отъезду, вышла на крыльцо, Шагерстрём увидел, что она надела ту же шляпку и мантилью, которые были на ней в церкви четыре воскресенья тому назад. Но тогда ему казалось, что они слишком убоги и не к лицу ей.

Теперь же он нашел их очаровательными. И вдруг, вопреки всему, его охватил бурный восторг при мысли о том, что это юное существо принадлежит ему и сейчас отправится с ним в его дом. Он подошел к Шарлотте, занятой прощанием, которому, казалось, не будет

конца, схватил ее своими сильными руками и посадил в экипаж.

— Вот так, вот так и нужно! — восклицали пастор и пасторша, а ландо между тем, обогнув цветочную клумбу, выехало за ворота.

II

Едва ли стоит говорить, что молодой заводовладелец тотчас же пожалел о своей выходке. Ему не следовало пугать Шарлотту. Если он станет вести себя подобным образом, она может подумать, что он считает эту комедию действительным союзом и намерен притязать на свои супружеские права.

Шарлотта и впрямь казалась несколько испуганной. Шаггерстрём заметил, что она отодвинулась от него в самый дальний угол коляски. Но это длилось недолго. Когда они въехали в деревню, она снова сидела рядом с ним, смеясь и болтая.

Ну, разумеется, пока они едут по деревенской улице, она пытается соблюсти приличия. Она, верно, поведет себя иначе, когда они выедут на проезжую дорогу, где их никто не будет видеть. Но Шарлотта оставалась все такой же. Всю дорогу она болтала весело и оживленно. И предмет беседы был ею избран с явным намерением показать Шаггерстрёму, что она принимает свое замужество всерьез.

Для начала она заговорила о лошадях. Прежде всего ей хотелось знать все о четверке, запряженной в ландо. Когда они были куплены, каков их возраст, как их зовут, какая у них родословная, не пугливы ли, не могут ли понести? Затем дошла очередь и до других лошадей в Озерной Даче. Есть ли там хорошие верховые лошади, настоящие, объезженные верховые лошади? А седла? Найдется ли там английское дамское седло?

Она с сожалением вспомнила лошадей из пасторской усадьбы. Теперь они совсем захиреют — ведь, кроме нее, никто не подумает о том, что им необходима проминка.

Тут Шагерстрём, не удержавшись, шутовски заметил:

— Одна дама в дилижансе не так давно рассказывала мне, как некая фрёкен чуть не загубила бедных, ни в чем не повинных животных своего благодетеля.

— Что, что? — воскликнула Шарлотта, но тут же, понавив намек, весело расхохоталась.

Смех обладает удивительным свойством. Новобрачные вдруг почувствовали себя старыми, добрыми друзьями. Исчезли натянутость и чопорность.

Шарлотта снова принялась за расспросы. Есть ли в имении мастерские? Сколько горнов в кузнице, как зовут кузнецов, их жен и детей? Она слышала, что в имении есть лесопилка. Верно ли это? Ах, вот как, и мельница тоже? А на сколько жерновов? А как звать мельника?

Это был настоящий экзамен. У Шагерстрёма просто голова пошла кругом от всех этих вопросов. Подчас он затруднялся дать точный ответ. Он не знал, например, сколько у него овец, не имел понятия о том, сколько дойных коров на скотном дворе и сколько они дают молока.

— Это дело управляющего, — возразил он со смехом.

— Похоже, что ты ни о чем не имеешь понятия, — заявила Шарлотта. — Я убеждена, что в доме у тебя ужасный беспорядок. Придется немало потрудиться, пока все станет как должно.

Но такая перспектива как будто отнюдь не огорчала ее, а Шагерстрём признался, что давно уже мечтает о настоящем домашнем тиране, об этаккой строгой хозяйке вроде пасторши Форсиус.

Когда Шагерстрём упомянул об управляющем, Шарлотте пришлось в голову спросить, сколько человек собирается ежедневно за господским столом. Как ведется хозяйство, сколько служанок в доме, сколько лакеев? Имеется ли в доме экономка? Есть ли от нее хоть какой-нибудь прок?

Не забыла она и про сад. Узнав, что в имении есть и оранжереи, и виноградные теплицы, она несколько удивилась, совсем как тогда, когда Шагерстрём сказал ей о верховых лошадях.

Легко понять, что время летело незаметно. Когда они свернули на лесную дорогу, ведущую прямо к имению, Шагерстрём подумал, что две мили, отделявшие Озерную Дачу от деревни, на этот раз показались ему короче обычного. Но он все же предостерегал себя от радужных надежд. «Я вполне понимаю ее, — говорил он себе, — она пытается примириться с неизбежностью. Она говорит без умолку, чтобы заглушить печальные мысли».

Между тем в Озерной Даче нынче выдался весьма хлопотливый день.

Собственно говоря, никто не знал о том, что произошло с хозяином. Нарочный из пасторской усадьбы прибыл к нему в субботу в третьем часу, но заводчик никому и словом не обмолвился о предстоящем событии. Лишь поздно вечером он вдруг вспомнил, что ему понадобятся венчальные кольца, и один из инспекторов был тотчас же послан в город с наказом даже вытащить, если это будет нужно, ювелира из постели, купить кольца и выгравировать на них имена.

Инспектор, слава богу, не стал молчать, и вскоре все узнали, что завтра в имении появится новая хозяйка. Это было поистине счастьем, потому что, если бы инспектор не проболтался, разве успела бы экономка проветрить парадные комнаты, снять с мебели чехлы и обтереть пыль? Разве успел бы садовник расчистить дорожки и прополоть гряды? Разве успели бы слуги почистить ливреи, навести глянец на сапоги, сбрую и ландо? Хозяин ходил точно во сне и не в состоянии был ничем распорядиться. Камердинеру Юханссону пришлось по собственному усмотрению выбрать ему подходящий к случаю костюм.

Но, по счастью, в имении были люди, которые знали, как принять молодую хозяйку. И садовник, и экономка помнили еще то время, когда хозяйкой Озерной Дачи была лагманша* Ольденкруна, и умели поддерживать честь дома.

Экономка лишь для видимости спросила хозяина, какие будут распоряжения, когда он в воскресенье ут-

ром уезжал со двора. Столь же осмотрительно поступил и садовник. Собственно говоря, Шагерстрём не думал о какой-либо торжественной встрече, но он ничего не будет иметь против, если фру Сэльберг приготовит скромный свадебный обед, а садовник успеет поставить одну цветочную арку.

Развязав себе таким образом руки, эти превосходные люди дожидались лишь отъезда Шагерстрёма, чтобы начать приготовления к поистине королевской встрече.

— Обдумайте все хорошенько, фру Сэльберг! — сказал садовник. — Она ведь из благородной фамилии и знает обычаи и порядки в богатых поместьях.

— Ну, жила-то она всего-навсего в пасторской усадьбе, — возразила экономка, — так что едва ли она что-нибудь смыслит в этом. Но это, разумеется, не мешает другим показать, на что они способны.

— Э, не скажите! — возразил садовник. — Я видел ее в церкви. Она вовсе не похожа на обычную компаньонку. Видели бы вы, как она держит себя. Уж она-то сумеет вернуть поместью его былую славу. У меня на душе потеплело, когда я подумал об этом.

— Да бог с ней, со знатностью, — сказала экономка. — А я так просто рада, что в доме появится молодая хозяйка. Пойдут балы да вечера, и можно будет себя показать. Это не то что изо дня в день кормить мужчин, которые глотают все подряд и вкуса не разбирают.

— Не больно-то радуйтесь! — рассмеялся садовник. — Девушка, которая столько лет прожила под началом пасторши Форсиус, и сама знает толк в хозяйстве.

С этими словами он поспешил прочь, потому что самая пора была приниматься за дело. Если хочешь успеть поставить четыре цветочные арки, да еще украсить въезд в усадьбу цветочными вензелями, то прохлаждаться да лясы точить не приходится.

И все-таки садовник не управился бы со всеми делами, если бы у него не объявилось множество усердных помощников. Не следует забывать, что в усадьбе и в заводе царило бурное ликование. Все были рады тому,

что и в большом господском доме снова появится хозяйка и будет к кому обращаться со своими нуждами и заботами. Хозяйка в усадьбе важнее хозяина. Она всегда бывает дома, с нею можно потолковать о детях, о скотине. Просто не верилось, что она появится здесь уже сегодня.

Ребятишки разнесли весть по всей округе, и все мастера и арендаторы, принарядившись как можно лучше, отправились на господский двор поглядеть молодых. Но всякому, кто появлялся в усадьбе, тотчас же давали какое-нибудь дело. Воздвигались арки, вдоль дороги вывешивались флаги, оставшиеся от прежних владельцев. Во двор имения выкатили две небольшие пушечки для салютов. Повсюду царили невообразимая толчея и суматоха.

Но зато когда молодые в шесть часов въехали в свои владения, все было уже готово.

У первой арки, высившейся в глубине леса, их встретили все заводские кузнецы с молотами на плечах; у второй арки, воздвигнутой на опушке леса, приветственно махали лопатами крестьяне и арендаторы; у третьей арки, отмечавшей въезд в аллею, кричали «ура» мукомолы и пильщики; у четвертой, перед воротами усадьбы, садовник, окруженный своими помощниками, вручил новобрачным великолепный букет цветов. И, наконец, у входа в дом стояли, приветствуя их, главный управляющий, конторщики, инспекторы, экономка и служанки.

Порядок при встрече не был столь образцовым, как могло бы показаться, судя по этому описанию. Люди веселились и продолжали кричать «ура» во все горло даже после того, как коляска проезжала ту арку, около которой они были поставлены. Ребятня наперегонки бежала за экипажем, что несколько умаляло торжественность встречи, а стрельба из пушечек раздавалась в самые неожиданные моменты, но в целом все это выглядело столь красиво и празднично, что, если бы сама покойная лагманша могла взглянуть на землю с небес, она осталась бы довольна и подумала бы, что Озерная Дача и ее старый садовник не посрамили своей чести.

Шагерстрём, который отнюдь не помышлял о такой пышной встрече, готов был уже рассердиться на вольность своих слуг, но, к счастью, прежде чем дать выход чувствам, он случайно бросил взгляд на Шарлотту.

Она сидела, в волнении сжав руки, с улыбкой на губах, а в уголках ее глаз блестели слезинки.

— О, как чудесно, — шептала она, — как чудесно!

Все это — арки, цветы, флаги, крики «ура», приветливые улыбки, стрельба из маленьких пушечек — все это было в ее честь, все радовались ее приезду.

И она, которая за последние недели привыкла к тому, что люди презирают и сторонятся ее, которая чувствовала, что каждый шаг ее вызывает осуждение и подозрение, которая не смела выйти из дома, боясь подвергнуться оскорблениям, теперь ощутила благодарность; она была растрогана всеми этими почестями, как ей казалось, незаслуженными.

Не было ни хулительных песен, ни букетов из крапивы и терновника, ни оскорбительного смеха. Все приветствовали ее с радостью и восторгом.

Она простерла к людям руки.

С этого мгновения она полюбила и это место, и его обитателей. Ей казалось, что она попала в новый, счастливый мир. Здесь она будет жить до самой своей смерти.

III

Какое это счастье для новобрачного — вводить молодую жену в великолепный дом. Ходить из комнаты в комнату, слыша ее восторженные возгласы, и, опередив ее на несколько шагов, распахнуть дверь в следующую залу и сказать: «Здесь, я полагаю, тоже недурно». Видеть, как она порхает, точно бабочка; то подбежит к роялю и тронет клавиши, то метнется к картине, то бросит быстрый взгляд на свое отражение в зеркале, чтобы убедиться, что оно в выгодном свете отражает ее черты, то помчится к окну полюбоваться живописным видом.

Но как пугается молодой муж, увидев, что она вдруг залилась слезами; с какой тревогой допытывается он о причине ее горя, как горячо обещает помочь ей во всех ее заботах.

И как рад он услышать, что дело лишь в том, что у нее есть сестра, которая лежит больная в нищей, убогой комнате, в то время как сама она совершенно незаслуженно наслаждается всем этим великолепием, всей этой роскошью!

Какую гордость чувствует он, обещая ей, что теперь она сможет помочь сестре во всем; если она пожелает, то можно уже сегодня вечером...

Нет, нет, не сегодня! Можно обождать и до завтра.

Итак, это огорчение устранено. Она забывает о нем, и осмотр дома продолжается.

— На этом вот стуле, — говорит она, — должно быть, очень удобно сидеть. А вон там, у окна, — подходящее место для рабочего столика.

Разумеется! Ей будет очень удобно за этим столиком, отвечает он, но тут же вспоминает то, о чем чуть было не забыл. Ведь это не настоящий брак. Все это фикция. Все это игра. Иногда кажется, что она смотрит на этот брак всерьез, но ведь ему-то истина хорошо известна.

Ему остается лишь одно: не подавать виду, пока можно; продолжать игру еще несколько часов; забавляться так же, как забавляется она; скрыть в душе тоску и наслаждаться счастьем этих минут. И тогда можно с прежним ощущением радости продолжать осмотр дома, пока не явится лакей с докладом, что обед подан.

А как чудесно предложить ей руку и вести ее к столу, роскошно сервированному старинным фарфором, сверкающим хрусталем, блестящим серебром; а затем сидеть с нею за истинно королевским обедом из восьми блюд, пить искрящееся вино, смаковать кушанья, которые тают во рту!

Какое наслаждение — иметь подле себя молодую женщину, которая олицетворяет для тебя все, что тебе дорого в этом мире, которая умна и безыскусствен-

на, которая умеет себя вести, но в то же время своенвольна и непосредственна, которая способна плакать и радоваться в одно и то же время и которая с каждой минутой обнаруживает всё новые пленительные свойства!

И, быть может, счастье — быть оторванным от всего этого в ту минуту, когда начинаешь совершенно терять разум. Является садовник, выполняющий сегодня роль церемониймейстера, и объявляет, что на гумне все готово для танцев, но никто не хочет начинать до появления хозяев. Свадебный бал должны открыть невеста и жених.

Как весело играть свадьбу именно так! Не среди равных, которые станут исходить завистью или насмеяться исподтишка, но среди благожелательного простого люда, который почти боготворит вас.

Как приятно для начала провести невесту в танце, а затем передать ее другим кавалерам и любоваться на нее, глядя, как она кружится с кузнецами и мельниками, со стариками и подростками все с той же радостной улыбкой на лице. Как чудесно сидеть здесь, вспоминая старинные предания и легенды об эльфах, которые присоединяются к пляшущим и заманивают в лес красивых парней! Ибо когда видишь, как она мелькает в танце среди огрубелых рабочих лиц, то начинает казаться, что она не создана из плоти, а соткана из чего-то более нежного, неземного.

Сидеть здесь и в страхе думать о том, что минуты уходят, и наконец увидеть, что время настало, что день свадьбы миновал и снова начинается пустая, тоскливая жизнь.

IV

Что до Шарлотты, то в ушах ее непрестанно звучало предостережение пасторши: «Приглядывай сегодня весь день за мужем, друг мой! Он что-то задумал. Не спускай с него глаз!»

Она и сама заметила эти резкие переходы от веселости к беспричинной грусти и не начинала танца, не

убедившись в том, что он находится тут же, на гумне. А как только кавалер оставлял ее, она немедленно отыскивала мужа и садилась рядом с ним.

Будучи от природы приметлива, она, идя на гумно мимо конюшни, обратила внимание на то, что маленькая карета, которую Шагерстрём обычно использовал для дальних поездок, вытащена из-под навеса. Это насторожило ее и усилило ее беспокойство.

Танцуя с кучером, она сделала попытку выведать у него кое-что о планах хозяина.

— Не слишком ли долго мы пляшем? — спросила она. — На какое время назначен отъезд господина за водчика?

— Точного времени он не сказал. Да только вы, ба-рыня, не извольте беспокоиться. Карету я вытащил, лошади наготове. Так что ежели надо — я мигом соберусь.

Вот как! Теперь она знала, что ей делать.

Но поскольку муж все еще оставался на гумне и мирно беседовал со своими служащими, она сочла за благо не подавать вида, будто ей что-то известно. «Быть может, он и собрался нынче ехать, а потом переменял намерение, — подумала она. — Он понял, что меня нечего бояться, что я не так страшна, как ему казалось».

Но вскоре, отплясав довольно длинную польку, она обнаружила, что Шагерстрём исчез. На дворе уже стемнело, а гумно лишь слабо освещалось двумя фонарями, но все же она тотчас убедилась, что мужа здесь нет. Она с беспокойством огляделась, ища кучера и лакея. Они тоже исчезли.

Шарлотта накинула на себя мантилью, подошла к группе молодых людей, которые стояли у широко открытых ворот гумна, чтобы охладиться после танцев, сказала им несколько слов, а затем, никем не замеченная, молча ускользнула во тьму.

Усадьба была ей незнакома, и она не знала, куда направиться, чтобы выйти к господскому дому. Но она заметила невдалеке свет фонаря и быстро пошла в ту сторону. Подойдя поближе, она увидела, что фонарь

стоит на земле у дверей конюшни. Кучер, как видно, собирался запрягать. Он уже вывел лошадей.

Шарлотта неслышно пробралась к карете. Она решила улучшить минуточку, когда кучер повернется к ней спиной, открыть дверцу и залезть в карету.

Когда экипаж затем будет подан к крыльцу и Шагерстрём займет свое место, она выскажет ему все, что думает о подобном бегстве.

«Отчего он не откроет мне, что его мучит? — подумала она. — Он робеет, точно мальчик».

Но она не успела осуществить свое намерение, потому что кучер быстро справился со своим делом. Он повесил вожжи на козлы, снял с облучка свой кучерский кафтан и надел его. Он собрался уже было залезть на облучок, но вспомнил о фонаре. Успокоительно сказав лошадям: «Ну-ну, смирно, залетные!» — он вернулся к фонарю, погасил его и унес в конюшню.

Он, разумеется, сделал все это весьма проворно, но кое-кто оказался проворнее его. Запирая дверь конюшни, он услышал щелканье кнута. Громкий возглас тронул лошадей с места, и они, миновав ворота усадьбы, заранее открытые кучером, понеслись по аллее. Карета скрылась в ночной тьме. Слышен был лишь стук колес да цокот лошадиных копыт.

Если когда-либо кучер мчался быстрее своих лошадей, чтобы сообщить хозяину, что какой-то негодный сорванец вскочил на облучок и угнал экипаж прямо у него из-под носа, то это был кучер Лундман из Озерной Дачи.

В прихожей он наткнулся на хозяина, беседовавшего с экономкой. В эту минуту она как раз говорила заводчику, что барыня исчезла.

— Вы велели мне, господин заводчик, передать барыне, что вам больше недосуг оставаться на гумне, но что она может плясать, сколько пожелает, а когда я пошла к ней...

Кучер не дал ей договорить. У него были более важные вести.

— Господин заводчик! — выпалил он.

Шагерстрём обернулся к нему.

— Что с тобой? — удивился он. — У тебя такой вид, точно лошадей украли.

— Так оно и есть, хозяин.

И он рассказал все, как было.

— Но лошади тут ни при чем, господин заводчик. Они сроду не понесли бы, кабы кто-то не влез на козлы да не погнал их. Знай я только, какой наглец осмелился...

Он внезапно умолк. Шаггерстрём повел себя самым нелепым образом. Не стесняясь присутствия кучера, лакея и экономки, он повалился на стул и, к величайшему удивлению их, захохотал во все горло.

— Вот как, стало быть, вы не понимаете, кто осмелился украсть моих лошадей, — давясь от смеха, проговорил он.

Все трое уставились на него в недоумении.

— Надо поймать вора, — сказал он наконец, успокоившись. — Ну-ка, Лундман, оседлайте быстро трех верховых лошадей. А вы, Юханссон, помогите ему. Вы же, фру Сэльберг, на всякий случай поднимитесь наверх и поглядите, там ли барыня.

Экономка побежала наверх, но тотчас же спустилась назад и доложила, что барыни там нет.

— Не случилось ли, сохрани Бог, какого несчастья, господин заводчик? — воскликнула она.

— А это уж как кому покажется, фру Сэльберг. Помните мои слова! Отныне мы больше не в своей власти, у нас теперь объявился хозяин!

— Что ж, мы будем только рады, господин заводчик, — сказала экономка.

И в ответ на это Шаггерстрём — сам Шаггерстрём! — потрепал старуху по жирному плечу, закружил ее в вальсе и воскликнул:

— Фру Сэльберг безропотно покоряется своей участи. Если бы и я мог поступить так же!

И он выбежал из дома, чтобы вместе с кучером и лакеем отправиться в погоню за беглянкой.

Вскоре все было кончено. Пойманная беглянка сидела в углу кареты рядом с Шаггерстрёмом. Лундман взобрался на облучок и шагом ехал назад в усадьбу, а Юханссон вел под уздцы верховых лошадей.

Шарлотта гнала лошадей галопом примерно с полмили, но затем дорога пошла круто в гору, и никакие удары кнутом не могли принудить лошадей двигаться иначе, как шагом. Так что в конце концов Шарлотте пришлось сдаться.

Несколько минут в карете было тихо, но затем Шарлотта спросила:

— Ну, каково?

— Это было ошеломляюще, — сказал Шагерстрём. — Теперь я понимаю, как должна чувствовать себя жена, когда муж убегает от нее.

— Этого-то я и хотела, — сказала Шарлотта.

Минуту спустя Шагерстрём почувствовал, как кто-то сильно потряс его за плечо.

— Ты притворяешься! Ты смеешься. Ты не веришь, что я хотела убежать.

— Любимая моя, — сказал Шагерстрём, — единственным истинно счастливым мгновением, которое я пережил за весь день, было то, когда Лундман прибежал и сказал, что ты украла моих лошадей.

— Почему же? — спросила Шарлотта почти беззвучно.

— Моя любимая, я понял, что ты не хотела отпустить меня.

— И вовсе нет! — вырвалось у Шарлотты. — Я об этом и не думала. Просто вся деревня судачила обо мне целых три недели, и если бы ты теперь уехал...

— Понимаю, — сказал Шагерстрём. — Этого бы ты не смогла вынести.

Он засмеялся от любви и счастья, но затем сказал очень серьезно:

— Любимая моя, давай наконец объяснимся! Скажи, ты поняла, отчего я нынче вечером хотел уехать?

— Да, — твердо ответила девушка. — Это я поняла.

— Зачем же ты помешала мне?

Шарлотта молчала. Он долго ждал ответа, но в карете не слышно было ни единого звука.

— Когда мы вернемся домой, — сказал новобрачный, — ты найдешь у себя в комнате письмо от меня. В этом письме я говорю, что не хочу воспользоваться обстоятельствами, которые бросили тебя в мои

объятия. Я хочу, чтобы ты была совершенно свободна. Ты можешь считать наш брак фиктивным.

Он умолк, дожидаясь ответа, но Шарлотта все еще ничего не говорила.

— В этом письме я также уведомляю тебя, что в знак признательности за мою любовь и во искупление тех страданий, что я причинил тебе, я намерен передать тебе в собственность мое поместье Озерную Дачу. После того, как развод наш будет оформлен законным порядком, мне будет приятно сознавать, что ты осталась жить здесь, где все успели тебя полюбить.

Снова долгое молчание, и никакого ответа от Шарлотты.

— Это маленькое происшествие ни в коей мере не отменяет сказанного мною в письме. Вначале я истолковал его неверно. Но теперь я понимаю, что это была с твоей стороны лишь шутка, которую ты сыграла со мной, дабы избежать новых насмешек в деревне.

Шарлотта придвинулась к нему поближе, а затем он почувствовал на своей щеке ее теплое дыхание и услышал ее шепот у самого уха:

— Самый безмозглый болван из всех, какие ходят по Божьей земле.

— Что, что?

— Прикажешь повторить?

Он быстро обнял ее и прижал к себе.

— Шарлотта, — произнес он, — говори же. Я должен знать, как мне поступить.

— Ну что ж, — сказала она резко, — говорить об этом не слишком приятно, но, быть может, ты будешь рад узнать, что вчера, примерно в это время, Карл-Артур убил мою любовь.

— Неужто?

— Он убил мою любовь. Она, видно, надоела ему. Я готова думать, что он сделал это намеренно.

— Любимая! — сказал Шагерстрём. — Оставь Карла-Артура в покое! Говори обо мне! Если твоя любовь к Карлу-Артуру умерла, то ведь это вовсе не означает...

— Разумеется, нет. Но... Ах, если бы тебе не нужно было так долго все объяснять!..

— Ты ведь знаешь, до чего я глуп.

— Видишь ли, — сказала Шарлотта медленно и задумчиво, — все это очень странно. Я не люблю тебя, но мне с тобой хорошо, покойно. Я могу говорить с тобой обо всем, я могу попросить тебя о чем угодно, я могу шутить с тобой. Мне с тобой приятно и спокойно, точно мы прожили в браке уже тридцать лет.

— Совсем как пастор и пасторша, — вставил Шагерстрём с легкой горечью.

— Да, что-то вроде этого, — продолжала Шарлотта все тем же задумчивым тоном. — Быть может, ты не вполне доволен таким признанием, но мне кажется, что это немало после одного только дня. Мне нравится, что ты сидишь около меня в карете, что ты следишь за мною взглядом, когда я танцую. Мне нравится сидеть рядом с тобою за столом и жить в твоём доме. Я благодарна тебе за то, что ты избавил меня от всего этого ужаса. Озерная Дача великолепна, но без тебя я не хотела бы оставаться здесь ни одного дня. Я никак не смогла бы примириться с тем, что ты уехал от меня. Но все-таки... Если то, что я чувствовала к Карлу-Артуру, было любовью, то, значит, мое чувство к тебе не любовь.

— Но может стать любовью, — тихо ответил Шагерстрём, и по голосу его чувствовалось, что он расстроган.

— Быть может, и так, — ответила Шарлотта. — И знаешь что? Я, пожалуй, ничего не имела бы против, если бы ты меня поцеловал.

Карета Шагерстрёма была превосходным экипажем; она катила по дороге без тряски и толчков. Молодой супруг вполне мог воспользоваться данным ему разрешением.

АННА СВЕРД

ПОЕЗДКА В КАРЛСТАД

I

Что бы ни говорили про Тею Сундлер, нельзя не признать, что она лучше, чем кто бы то ни было, умела обходиться с Карлом-Артуром Экенстедтом.

Взять, к примеру, Шарлотту Лёвеншёльд. Ведь она тоже хотела уговорить его поехать в Карлстад и помириться с матушкой. Но чтобы побудить его к этому, она напомнила ему, кем матушка всегда была для него, и под конец попыталась даже припугнуть его, сказав, что он, дескать, может утратить дар проповедника, каковым обладал до тех пор, если покажет себя неблагодарным сыном.

Она, казалось, хотела, чтобы он приехал домой подобно блудному сыну и стал бы просить принять его в дом из милости. Это ему никак не подходило, особенно при том состоянии духа, в каком он теперь пребывал, когда его проповеди имели столь большой успех и прихожане боготворили его.

А когда Тее Сундлер нужно было склонить его снова поехать в Карлстад, она повела себя совсем по-иному. Она спросила его, правду ли говорят, будто дорогая тетюшка Экенстедт требует обыкновенно, чтобы у нее просили прощения за малейшую провинность. Но ежели она столь требовательна к другим, то и сама, уж верно, готова...

Да, ему пришлось признать, что она такова и есть. Стоило ей, бывало, понять, что она не права, она тотчас была готова все уладить и помириться.

Тут Тея напомнила ему, как милая тетушка Экенстедт совершила опасную поездку в Упсалу в самую распутицу, чтобы дать ему возможность попросить у нее прощения. Неужто он, духовный пастырь, выкажет менее кротости, нежели простая смертная?

Карл-Артур не вдруг понял, куда она клонит. Он стоял, глядя на нее в недоумении.

Тогда фру Сундлер сказала, что на сей раз милая тетушка Экенстедт сама провинилась перед ним. И если она столь справедлива, как он утверждает, то, без сомнения, уже раскаялась в своем поступке и всей душой жаждет просить у него прощения. Но коль скоро она нездорова и не может приехать к нему, стало быть, его долг отправиться к ней.

То было дело иное, совсем не то, что ему предлагала Шарлотта. Тут речь шла не о том, чтобы вернуться в родительский дом блудным сыном, а о том, чтобы войти в него победителем. Теперь он поедет не для того, чтобы испрашивать милостивого прощения, а чтобы простить самому. Невозможно описать, как это обрадовало его, как благодарен он был Тее, которая навела его на эту мысль.

После воскресной службы он наскоро отобедал у органиста и немедля отправился в Карлстад. Он так спешил, что ехал без остановки всю ночь. Мысль о том, какая это будет трогательная сцена, когда они встретятся с матушкой, не давала ему уснуть. Никто не сумел бы сделать подобную встречу столь прекрасной, как она.

Он прибыл в Карлстад в пять часов утра, но не поехал прямо домой, а завернул на постоялый двор. В расположении к нему матушки он ничуть не сомневался, но в отце уверен не был. Могло случиться, что отец не впустит его в дом, а ему не хотелось срамиться перед кучером.

Хозяин постоялого двора, стоявший на крыльце, старый житель Карлстада, увидев подъезжающего Карла-Артура, тотчас же признал его. До него дошли кое-какие толки о разрыве молодого пастора с родителями из-за того, что тот задумал жениться на простой

далекарлийской крестьянке. Он заговорил с Карлом-Артуром деликатно и участливо, но тот казался спокойным и довольным, отвечал весело, и хозяин решил, что слухи о ссоре были пустыми.

Карл-Артур потребовал комнату, смыл с себя дорожную пыль и тщательнейшим образом привел в порядок свой туалет. Когда он снова вышел на улицу, на нем был пасторский сюртук с белыми брыжами и высокая черная шляпа. Он надел пасторское облачение, дабы показать матушке, в каком кротком и благостном расположении духа он явился к ней.

Хозяин постоялого двора спросил, не желает ли он позавтракать, но он отказался. Ему не хотелось отдавать счастливое мгновение, когда они с матушкой заключат друг друга в объятия.

Он быстрым шагом пошел по улице к берегу реки Кларэльв. Душу его наполняло столь же тревожное и радостное ожидание, какое он испытывал в ту пору, когда был студентом и приезжал домой из Упсалы на вакации.

Вдруг он резко остановился, пораженный, будто кто-то ударил его прямо в лицо. Он уже подошел довольно близко к дому Экенстедтов и увидел, что дом на замке, все ставни закрыты, а двери заперты.

В первое мгновение он было растерялся: ему пришло на ум, что хозяин постоялого двора уведомил родителей о его приезде, и они заперли дом, чтобы не впускать его. Он вспыхнул от досады и уже повернулся, чтобы идти прочь.

Но тут же он стал смеяться над самим собой. Ведь еще не было шести часов, а дом в утреннюю пору всегда бывал заперт. Не смешно ли было полагать, будто ставни и двери затворили нарочно, чтобы не впускать его? Он снова подошел к садовой калитке, толкнул ее и уселся в саду на скамейке, чтобы дожидаться, когда дома проснутся.

И все же он не мог отделаться от мысли, что это дурное предзнаменование, если родительский дом был заперт в момент его прихода.

Он уже более не испытывал радости. Тревожное ожидание, не дававшее ему уснуть всю ночь, тоже исчезло.

Он сидел и смотрел на затейливые цветочные клумбы и великолепные газоны, на большой и красивый дом. Потом он стал думать о той, которая владела всем этим, всеми почитаемая и превозносимая, и сказал самому себе, что нет никакой надежды на то, что она станет просить у него прощения. Вскоре он уже не мог понять ни Тею, ни себя самого. В Корсчюрке ему казалось вполне естественным и само собой разумеющимся, что полковница раскаялась, но теперь он понял, что это чистейший вздор.

Он так уверился в этом, что решил тут же отправиться восвояси, и уже поднялся, чтобы уйти. Надобно было спешить, покуда никто его не заметил.

Уже стоя у калитки, он подумал, что, наверно, видит этот дом в последний раз. Ведь сейчас он уйдет, чтобы никогда более не возвращаться.

Он оставил калитку полуоткрытой и обернулся, собираясь в последний раз обойти усадьбу и проститься с ней. Он завернул за угол дома и очутился среди высоких ветвистых деревьев на берегу реки. Этот прекрасный вид открывался ему в последний раз. Он долго смотрел на лодку, вытащенную на берег. Он думал, что теперь, когда его здесь нет, она уже больше никому не нужна, однако заметил, что лодка просмолена и покрашена точно так же, как в те времена, когда он, бывало, катался на ней.

Он поспешил взглянуть на маленький огородик, за которым ухаживал в детстве. Там росли те же самые овощи, которые он выращивал. И он понял, что о том пеклась матушка. Это она велела следить за тем, чтоб он не пришел в запустение. Прошло не менее пятнадцати лет с тех пор, как он занимался им.

Он принялся искать падалицу под антоновкой и сунул яблоко в карман, хотя оно было зеленое, как молодая капуста, и такое твердое, что не укусишь. Потом он отведал крыжовника и смородины, хотя ягоды были засохшие и перезрелые.

Он прошел вдоль пристроек и отыскал сарай садовника: прежде там у него стояли маленькая лопатка, грабельки и тачка. Он заглянул внутрь: да, нечего было и

гадать, они были на том же самом месте, где он их оставил. Никому не позволили их убраться.

Время шло, надобно было спешить, если он желал уйти незамеченным. Но ему так хотелось взглянуть на все в последний раз. Все здесь приобрело для него новое значение. «Я не знал, как мне дорого это», — думал он.

И в то же время он стыдился своего ребячества. Ему бы не хотелось, чтоб его сейчас увидела Тея Сундлер: ведь несколько дней назад она так восхищалась его смелыми речами, когда он говорил, что навсегда освободился от уз отчего дома и воли родительской.

И тут у него возникло подозрение, что он медлит сейчас, втайне надеясь, что кто-нибудь увидит его и выпустит в дом. И когда он окончательно уверился в этом, он тотчас же решился пойти прочь.

Он уже вышел было из сада и остановился у калитки, как вдруг услышал, что в запертом доме отворилось окно.

Невозможно было не обернуться, и он обернулся. Окно в спальне полковницы было распахнуто настежь. Его сестра Жакетта, высунувшись из окна, вдыхала свежий воздух.

Не прошло и секунды, как она увидела его и принялась кивать ему и махать рукой. Он невольно стал ей отвечать: тоже кивал и махал рукой. Потом он показал на запертую дверь. Жакетта исчезла, а через минуту он услышал, как заскрипела задвижка и повернулся ключ в замке. Дверь распахнулась, сестра вышла на порог и протянула к нему руки.

В этот миг он стыдился Теи, стыдился самого себя, ибо не верил, что матушка станет просить у него прощения.

Ему нечего было делать в этом доме, однако он против воли своей побежал навстречу Жакетте. Он взял ее за руки и притянул к себе, на глазах у него выступили слезы — так рад был он, что она отперла ему дверь.

Она была ужасно счастлива. Увидев, что он плачет, она обняла его и поцеловала.

— Ах, Карл-Артур, Карл-Артур, слава богу, что ты приехал.

Ему уже удалось убедить себя в том, что его не хотят впустить в дом, и столь теплый прием застал его врасплох, он даже стал заикаться.

— А что, Жакетта, матушка уже проснулась? Будет ли мне дозволено поговорить с ней?

— Ну, конечно, тебе позволят поговорить с маменькой. Ей полегчало за последние дни. Нынче ночью она хорошо спала.

Она пошла вверх по лестнице, и он медленно последовал за ней. Он никогда бы не мог подумать, что будет так счастлив оттого, что воротится в свой дом. Он положил руку на гладкие перила, но не для того, чтобы опереться, а лишь для того, чтобы погладить их.

Поднявшись наверх, он остановился в ожидании, что кто-то выйдет и прогонит его. Однако этого не случилось. И вдруг его осенило — видимо, отец не рассказал им о разрыве с ним. Ну, конечно, он не мог этого сделать — ведь полковница была больна.

Теперь он понял, в чем дело, и уже более спокойно пошел в комнаты.

Какие это были красивые комнаты! Они и всегда ему нравились, однако не так, как сегодня. Мебель не была здесь уныло расставлена вдоль стен, как на другой половине. Здесь было так приятно находиться. Все говорило о вкусе той, что живет здесь.

Через гостиную и кабинет они подошли к двери спальни. Жакетта знаком велела ему подождать, а сама юркнула в спальню.

Он провел рукой по лбу, пытаясь вспомнить, зачем он пришел сюда. Но он не мог думать ни о чем другом, кроме того, что он дома и сейчас увидит мать.

Но вот Жакетта появилась снова и провела его в спальню. Увидев матушку, которая лежала бледная, с перевязанным лбом и рукой, он почувствовал, словно кто-то вдруг сильно толкнул его в грудь, и упал на колени возле ее постели. У нее вырвался радостный возглас, здоровой рукой она притянула его к себе, крепко обняла и поцеловала.

Исполненные счастья, они глядели друг другу в глаза. В этот миг ничто не разделяло их. Все было забыто.

Он никак не думал застать матушку такой слабой и больной и еле сдерживал волнение. Он с тревогой спросил, как ее здоровье. Она не могла не почувствовать, как он любит ее.

Для больной это было лучшее лекарство, и она снова обняла его.

— Пустое, друг мой. Теперь все снова хорошо. Я уже позабыла про свою болезнь.

Он понял, что она любит его, как прежде, и подумал, что к нему вернулось то, что он утратил и о чем только что тосковал. Его снова считали сыном в этом прекрасном доме. Ему нечего было более желать.

И вдруг, в минуту, когда он был преисполнен счастья, его охватило волнение. Ведь он все же не добился того, ради чего приехал сюда. Матушка не просила у него прощения и, видно, не собиралась этого делать.

Он испытывал сильное искушение не думать об извинении. И все же для него это было важно. Если полковница признается, что была к нему несправедлива, его положение в доме станет совсем иным и родителям придется дать согласие на его брак с Анной Сверд.

К тому же теплый прием, оказанный ему матушкой, придал ему уверенности, он даже стал несколько самоуверен. «Лучше сразу порешить с этим делом, — думал он. — Кто знает, может быть, в другой раз матушка не будет так добра и ласкова».

Он поднялся и сел на стул возле постели.

Ему было немного не по себе оттого, что он собирался призвать к ответу мать. И тут ему в голову пришла мысль, которой он несказанно обрадовался. Он вспомнил, как некогда в детстве, когда он или сестры совершали дурной поступок и матушка ждала, чтобы у нее просили прощения, она обращалась к провинившемуся со словами: «Ну, дитя мое, ты ничего не хочешь сказать мне?»

Для того чтобы как можно проще и непринужденнее подойти к делу столь деликатному, он нахмурил брови, поднял указательный палец, улыбаясь, однако же, дабы показать матушке, что он шутит:

— Ну, матушка, вы ничего не изволите сказать мне?

Но полковница, казалось, ничего не поняла. Она лежала молча, вопросительно глядя на него.

Его бедная сестра до этого момента от души радовалась, наблюдая трогательную встречу брата с матушкой. Теперь же на лице ее отразился ужас, и она незаметно подняла руку, чтобы предостеречь брата.

Карл-Артур был твердо уверен в том, что полковница придет в восторг от его выдумки и ответит ему в том же духе, как только поймет, в чем дело. Он, разумеется, не обратил внимания на предостережение и продолжал:

— Вы, матушка, верно, понимаете, что в прошлый четверг я был раздосадован, когда вы пытались различить меня с невестой. У меня и в мыслях не было, что моя дорогая матушка может быть со мною столь жестока. Я так огорчился, что ушел, не желая более видеть вас.

Полковница по-прежнему лежала молча. Карл-Артур не мог заметить на ее лице ни малейшего следа гнева или недовольствия. Сестра же, напротив, казалась еще более взволнованной. Она подкралась ближе к нему и, стоя за спинкой кровати, сильно ущипнула его за руку.

Он понял, что она этим хотела сказать, однако был уверен, что гораздо лучше Жакетты знает, как обходиться с полковницей, и потому продолжал:

— И когда я утром в прошлую пятницу расстался с батюшкой, то сказал ему, что ноги моей не будет более в этом доме. Но вот я снова здесь. Неужто вы, самая умная женщина в Карлстаде, не догадываетесь, для чего я приехал?

Он замолчал на мгновение, уверенный в том, что после всего сказанного матушка сама станет продолжать. Но она не сделала этого. Она только приподнялась повыше на подушках и смотрела на него так пристально, что для него это сделалось тягостным.

Тут он подумал, что, быть может, разум матушки слегка ослабел за время болезни. Ведь она всегда понимала его с полуслова. А раз сейчас ей было непонятно, ему приходилось продолжать:

— Я и в самом деле решил более не видеться с вами, но, когда я рассказал о том одной своей приятельнице, она спросила, правда ли, что вы, матушка, обыкновенно требовали, чтоб у вас просили прощения за малейший проступок, и что, стало быть, вы сами, верно...

Тут ему пришлось замолчать. Жакетта снова прервала его. Она изо всех сил дернула его за руку.

Но тут полковница вдруг прервала молчание:

— Не мешай ему, Жакетта, пусть продолжает.

От этих слов у Карла-Артура возникло подозрение, что матушка им не совсем довольна, но он сразу же отбросил эту мысль. Быть того не может, чтобы она сочла его жестоким и бесчувственным. Ведь он сказал ей о том как бы шутливо, невзначай. Какого еще обхождения было нужно!

Нет, просто матушка не велела Жакетте без конца мешать ему говорить. К тому же он зашел так далеко, что теперь лучше всего высказать все до конца.

— Эта приятельница и послала меня к вам, матушка, сказав, что мой долг поехать сюда, коль скоро вы сами не сможете навестить меня. Вы, вероятно, помните, как однажды приехали в Упсалу, чтоб я смог попросить у вас прощения. Она уверена, что вы признаете, что вы...

Как, однако, трудно судить свою собственную мать! Слова никак не шли у него с языка. Он заикался, кашлял, и в конце концов ему ничего не оставалось делать, как замолчать.

Слабая улыбка скользнула по лицу полковницы. Она спросила, кто же эта приятельница, которая так хорошо думает о ней.

— Это Тея, матушка.

— Стало быть, это не Шарлотта полагает, что я жажду просить у тебя прощения?

— Нет, не Шарлотта, матушка, а Тея.

— Я рада, что это не Шарлотта, — сказала полковница.

Она приподнялась еще выше на подушках и снова умолкла. Карл-Артур тоже ничего не говорил. Он вы-

сказал матушке все, что хотел сказать, хотя и не столь красноречиво, как бы ему хотелось. Теперь оставалось только ждать.

Он изредка взглядывал на мать. Видно было, что она боролась с собой. Нелегко так сразу признать свою вину перед собственным сыном.

И вдруг она спросила:

— Зачем ты надел пасторский сюртук?

— Я хотел показать вам, матушка, в каком расположении духа я сюда явился.

Снова улыбка скользнула по ее лицу. Он испугался, когда увидел эту улыбку, злую, исполненную презрения.

Внезапно ему показалось, будто лицо на подушке окаменело. Слов, которых он ждал, не последовало. В отчаянии он понял, что невозможно заставить ее раскаяться и просить прощения.

— Мама! — закричал он, и в голосе его звучали мольба и надежда.

И тут случилось нечто неожиданное. Кровь прилила к лицу полковницы. Она приподнялась на постели, подняла здоровую руку и погрозила ему.

— Конец! — закричала она. — Терпению Господню пришел ко...

Больше она ничего не успела сказать. Последнее слово, тихое и невнятное, замерло у нее на губах, и она откинулась на подушки. Глаза ее закатились, и видны были только белки, рука упала на одеяло.

Жакетта громко закричала, призывая на помощь, и выбежала из комнаты. Карл-Артур упал на колени.

— Что с вами, матушка? Матушка! Не убивайтесь так, бога ради!

Он целовал ее лоб и губы, словно хотел поцелуями вернуть ее к жизни.

Но тут он почувствовал, что кто-то схватил его за шиворот. Потом чья-то сильная рука подняла его, вынесла из комнаты, как беспомощного щенка, и швырнула на пол. И тут он услышал громовой голос отца:

— Ты все-таки вернулся. Ты не мог успокоиться, куда не доконал ее.

II

В тот же понедельник, когда часы показывали половину восьмого утра, в доме бургомистра зазвонил звонок, и старая служанка, которая вела хозяйство, поспешила в переднюю отворить дверь.

В дверях стоял Карл-Артур Экенстедт, но служанка подумала, что если бы она не жила столько лет в Карлстаде и не видела его и ребенком и взрослым, то ни за что бы не узнала его. Лицо у него было иссиня-багровое, а красивые глаза чуть не выкатились из орбит.

Служанка жила у бургомистра много лет и нагляделась в этом доме всякого. Ей показалось, что молодой Экенстедт походил в тот момент на убийцу, и ей вовсе не хотелось впускать его. Однако это был сын полковника Экенстедта и доброй госпожи полковницы, поэтому ей ничего не оставалось делать, как впустить его, пригласить сесть и подождать. Бургомистр, как всегда, был на утренней прогулке, но он завтракал в восемь и должен был скоро вернуться.

Но если она испугалась одного только вида Экенстедта, то уж отнюдь не успокоилась, когда увидела, что он прошел мимо нее, не поздоровавшись и не сказав ни единого слова, будто вовсе и не замечая.

Видно, с ним приключилось что-то неладное. Ведь дети полковницы Экенстедт всегда были вежливы и обходительны. Не иначе как сын ее попал в беду.

Он прошел через переднюю в комнату бургомистра. Она видела, как он опустился в качалку, но, посидев немного, вскочил, подошел к письменному столу и принялся рыться в бумагах бургомистра.

Ей нужно было идти на кухню, проверить по часам, не переварились ли яйца на завтрак, накрыть на стол и заварить кофе. Но и молодого Экенстедта нельзя было оставлять одного. Она то и дело забежала в комнату приглядеть за ним.

Теперь он ходил взад и вперед по комнате бургомистра — то к окну подойдет, то к двери. И все время громко говорит сам с собой.

Неудивительно, что она испугалась. Жена бургомистра жила с детьми у родственников в деревне, и при слугу отослали. Она осталась одна в доме и была за все в ответе.

Что же ей теперь с ним делать, когда он знай себе расхаживает по комнате и, видно, ума решил? Подумать только, вдруг он порвет какую-нибудь важную бумагу на столе у бургомистра! Не может же она бросить все дела и караулить его.

И тут старая, мудрая служанка придумала спросить Карла-Артура, не хочет ли он пройти в столовую и выпить чашечку кофе, покуда ждет бургомистра. Карл-Артур не отказался и тотчас пошел за ней, чему она была весьма рада — ведь покуда он сидит и пьет кофе, он не сможет набедокурить.

Он уселся на место бургомистра и одним духом выпил чашку прямо-таки огненного кофе, который она ему налила. Потом он сам схватил со стола кофейник, налил еще чашку и выпил. Ни сахару не берет, ни сливок, знай только огненный кофе хлещет.

Выпив последнюю чашку, он заметил, что служанка стоит у стола и смотрит на него. Он повернулся к ней:

— Премного благодарен за вкусный кофе. Видно, я пью его в последний раз.

Он говорил так тихо, что она едва различала его слова. Можно было подумать, что он собрался доверить ей великую тайну.

— Так ведь у пасторши Форсиус в Корсчюрке вы, уж верно, пьете вкусный кофей, господин магистр, — сказала служанка.

— Да, пил, — ответил он, глуповато хихикнув. — Но, видите ли, там мне более не бывать.

В этом не было ничего удивительного. Молодых пасторов часто переводили из одного прихода в другой. Служанка начала успокаиваться.

— Сдается мне, что куда бы вы ни поехали, господин магистр, во всякой пасторской усадьбе кофей варят отменный.

— А вы полагаете, что и в тюрьме вкусный кофей варят? — сказал он, еще более понизив голос. — Там-то

уж мне, верно, придется обходиться без кофе и без печенья.

— А зачем вам в тюрьму-то, господин магистр? С какой же это стати?

Он отвернулся от нее.

— На этот вопрос я отвечать не стану.

Тут он снова сосредоточил свое внимание на еде. Намазал хлеб маслом, положил сыру и стал есть жадно, словно вконец изголодался, глотал большие куски не жуя. Служанке пришло в голову, что он вовсе не помешанный, просто это у него с голоду. Она пошла в кухню и принесла яйца, сваренные для бургомистра. Карл-Артур вмиг проглотил два яйца и опять набросился на хлеб с маслом. Уплетая завтрак, он снова начал говорить:

— Много покойников бродит сегодня по городу.

Он сказал это весьма спокойно и равнодушно, словно сообщал, что стоит хорошая погода. Разумеется, служанка струхнула, и он это, видно, заметил.

— Вам мои слова кажутся странными? Мне самому удивительно, что я вижу покойников. Прежде со мной этого не было, это я точно знаю, никогда не бывало до той беды, что стряслась со мною нынче в семь часов утра.

— Вот как? — сказала служанка.

— Поверите ли, у меня ужас как сердце схватило. Мне надобно в город идти из дому, а я не могу. Стою и держусь за ограду в нашем саду. И вдруг вижу — настоятель собора Шёборг идет под руку с супругой своей. Как прежде, когда они хаживали к нам по воскресеньям обедать. Разумеется, они уже знали про то, что я натворил, и велели мне идти к бургомистру, признаться в своем злодеянии и просить покарать меня. Я сказал им, что это никак невозможно, но они настаивали.

Карл-Артур замолчал, чтобы налить себе еще чашку кофе и выпить ее залпом. Он испытующе смотрел на служанку, будто желал узнать, как она приняла его слова. Но служанка ответила как ни в чем не бывало:

— Многим доводилось покойников видеть, и не стоит господину магистру из-за этого...

Видно было, что ответ этот его обрадовал.

— И я так же думаю. Ведь во всем прочем я нимало не переменялся.

— Ваша правда, — сказала служанка. Она считала, что лучше всего соглашаться с ним и вести себя спокойно, а сама с нетерпением ожидала прихода бургомистра.

— Я не против того, чтоб выполнить их волю, — продолжал Карл-Артур. — Но ведь я в полном рассудке и знаю, что бургомистр только посмеется надо мной. Не буду отрицать, что на моей совести тяжкий грех, однако меня нельзя за это арестовать и судить.

Тут он закрыл глаза и откинулся на спинку стула. Кусок хлеба, который он держал в руке, упал на пол, лицо его исказилось гримасой, словно он испытывал невыносимые мучения. Однако он удивительно быстро пришел в себя.

— Опять сердце стеснилось, — сказал он. — Не странно ли, стоит мне сказать себе, что я не могу этого сделать, сразу с сердцем дурно делается.

Он встал из-за стола и начал ходить взад и вперед.

— Я сделаю это, — сказал он, совершенно забыв, что служанка стоит рядом и слушает. — Я хочу сделать это, скажу бургомистру, что совершил проступок, за который меня должно наказать. И скажу, что повинен в смерти человека. Я что-нибудь придумаю. Я обязан сказать, что сделал это преднамеренно.

Он снова подошел к служанке.

— Подумать только, прошло! — сказал он радостно. — Как только скажу, что хочу, чтоб меня покарали, сразу боль унимается. Я совершенно счастлив.

Старая, мудрая служанка перестала его бояться. Ей сделалось жаль его. Она взяла его руку и погладила ее.

— На что же вам это, господин магистр? Зачем вам брать на себя вину за то, чего вы не делали?

— Нет, нет, — возразил он. — Я знаю, что так будет правильно. К тому же я хочу умереть. Хочу показать матушке, что любил ее. Какое счастье встретиться с ней в мире ином, где уже нет обид!

— Не бывать тому, — сказала служанка. — Я все расскажу бургомистру.

— Не делайте этого, прошу вас, — возразил Карл-Артур. — Судья должен вынести мне смертный приговор. Ведь я убил, хотя не брал в руки ни ножа, ни пистолета. Жакетта знает, как это получилось. Неужто вы полагаете, что жестокосердие и равнодушие не опаснее стали и свинца? Батюшка тоже все знает и может быть тому свидетелем. Меня должно судить, я виновен.

Служанка промолчала. К великой своей радости, она услышала, как входная дверь отворилась, и узнала знакомые шаги на лестнице.

Она выбежала в прихожую, чтобы успеть предупредить бургомистра, но Карл-Артур следовал за ней по пятам. Он, разумеется, хотел сразу же начать с признания, однако смешался.

— Вот как, ты опять пожаловал в город, — сказал бургомистр. — Экая беда приключилась с полковницей!

С этими словами он протянул ему руку, но Карл-Артур спрятал правую руку за спину. Он отвел глаза в сторону и, глядя на стену, произнес дрожащим голосом, но отчетливо:

— Я пришел сюда, чтобы просить вас, дядюшка, арестовать меня. Это я убил свою мать.

— Какого черта! — воскликнул бургомистр. — Полковница-то ведь не умерла. Я повстречал доктора...

Карл-Артур отшатнулся. Служанка, испугавшись, что он упадет, протянула руки, чтобы поддержать его. Но он сохранил равновесие. Он схватил шляпу и, не сказав больше ни слова, ринулся на улицу.

Первый человек, попавшийся ему навстречу, был старый домашний врач его семьи. Он подбежал к нему:

— Что матушка?

Доктор посмотрел на него неодобрительно.

— Хорошо, что я встретил тебя, негодник. Не вздумай опять идти к своим. Как могло прийти тебе в голову судить больного человека!

Карл-Артур больше не слушал его. Он бросился прямо к родительскому дому. Там он увидел свою замужнюю сестру Еву Аркер, которая стояла у калитки.

— Ева, — закричал он, — правда, что матушка жива?

— Да, — ответила она тихо, — доктор сказал, что она будет жить.

Ему хотелось сорвать калитку с петель. Броситься к матушке, упасть перед нею на колени, молить о прощении — только это и было у него в мыслях. Но Ева оставила его:

— Тебе нельзя туда, Карл-Артур. Я уже давно стою здесь, чтобы предостеречь тебя. С ней сделался тяжёлый удар. Маменька не может говорить с тобой.

— Я стану ждать сколько угодно.

— Тебе нельзя идти в дом не только из-за маменьки, — сказала Ева, слегка подняв брови. — Из-за папеньки тоже. Доктор сказал, что здоровья ей уже не воротить. Папенька и слышать о тебе не хочет. Не знаю, что может сделаться, если он увидит тебя. Поезжай назад в Корсчюрку! Это самое лучшее для тебя.

Слова сестры раздосадовали Карла-Артура. Он был уверен в том, что сестра преувеличивает и гнев отца, и опасность для матушки повидаться с ним.

— Вы с мужем только и думаете, как бы очернить меня в глазах папеньки и маменьки. Уж вы сумеете воспользоваться удобным случаем. Пользуйтесь себе на здоровье!

Он повернулся на каблуках и пошел прочь.

III

Так уж мы, люди, устроены, не любим мы, когда что-нибудь разбивается. Даже если разобьется всего лишь глиняный горшок или фарфоровая тарелка, мы собираем осколки, складываем их и пытаемся слепить их и склеить.

Этой задачей и были заняты мысли Карла-Артура Экенстедта, когда он ехал домой в Корсчюрку.

Правда, занят он был этим не всю дорогу, не забудьте, что он не смыкал глаз всю ночь, да и до того он целую неделю недосыпал — столько волнений и невзгод пришлось пережить за это время. И теперь натура настойчиво требовала своего — ни тряская повозка, в которой он ехал, ни кофе, которым он нагру-

зился у бургомистра, не помешали ему спать почти всю дорогу.

В те короткие мгновения, когда он бодрствовал, он пытался сложить обломки своего «я»: ведь того Карла-Артура, который всего несколько часов назад ехал по этой самой дороге и который разбился на мелкие осколки в Карлстаде, надобно было сложить, склеить и вновь пустить в употребление.

Быть может, кое-кто скажет, что на этот раз разбился дрянной глиняный горшок и не стоило труда чинить его и тратиться на клей. Однако нам, пожалуй, придется извинить Карла-Артура за то, что он не разделял этого мнения, — ведь он полагал, что речь идет о вазе из тончайшего фарфора, с дорогой росписью вручную и богатой позолотой.

Как ни странно, но в этой починке немало помогло ему то, что он начал думать о сестре Еве и ее муже. Он распался против них, вспоминая, сколько раз они выказывали зависть к нему и жаловались на несправедливость к ним матушки.

Чем больше он думал о неприязни, которую Ева питала к нему, тем больше уверялся в том, что она сказала ему неправду. Уж верно, полковнице не было так плохо, как ей хотелось это представить, и батюшка гневался на него не столь сильно — это все были проделки Евы с Аркером. Они думали воспользоваться его последней глупой выходкой — а вина его в самом деле была велика, этого он не хотел отрицать, — чтобы изгнать его из родного дома навсегда.

Едва он пришел к заключению, что все обошлось бы наилучшим образом, если бы Ева не запретила ему войти в дом, как сон снова овладел им, и он проснулся лишь тогда, когда повозка остановилась у постоянного двора.

Потом он снова проснулся и стал думать о Жакетте. Ему не хотелось быть к ней несправедливым. Она не завидовала ему, как Ева. Она славная и любит его. Но разве не глупо она повела себя? Не помешай она ему во время важного разговора с матушкой, он бы сказал ей почти то же самое, но, уж верно, сделал бы это совсем

по-иному. Нелегко подбирать слова, когда у вас все время стоят за спиной, дергают вас за руку и шепчут, что бы вы были поосторожнее.

Мысли о Жакетте, о том, какая она глупая и бестолковая, тоже немало утешили его. Но и эти мысли не помешали ему сразу же уснуть.

Когда же он, просыпаясь, думал о Тее Сундлер, в нем возникало противоречивое чувство: ведь и она отчасти была виновата в этой беде. Она была ему самым близким другом. На кого же он мог положиться целиком, как не на нее? Но она, видно, плохо знала жизнь и не могла быть хорошей советчицей. Она ошиблась, думая, что полковница жаждет просить у него прощения. Она так высоко ценила его, что рассудила неправильно, а из-за того и приключилось несчастье. Не дай бог, умерла бы полковница, он бы тогда помешался с горя. Путь к оправданию был найден.

Между прочим, он старался не думать о визите к бургомистру и о разговоре со служанкой. Это, казалось, могло бы заставить его снова рассыпаться на мелкие осколки, и тогда пришлось бы все собирать и склеивать заново.

Когда он опять ненадолго проснулся, ему пришло в голову, что выказанные им испуг и отчаяние могут пойти ему на пользу. Полковница, разумеется, услышит о том и поймет, как сильно он любит ее. Она расстроится, пошлет за ним, и они помирятся.

Ему хотелось верить, что все окончится именно так. Он станет всякий день молить о том Господа.

Грубо говоря, Карл-Артур был уже недурно склеен и слеплен, когда он в одиннадцать вечера вернулся домой в Корсчюрку. Он сам удивлялся тому, что сумел пережить столь страшное душевное потрясение и остаться живым и невредимым. Его все время клонило ко сну, и когда он вышел из повозки возле калитки пасторской усадьбы и уплатил кучеру, то подумал, как хорошо будет сейчас улечься в постель и выспаться вволю.

Он уже направился было в свой флигелек, но тут вышла служанка и сказала, что пасторша ему кланяет-

ся и велит передать, что в зале его ждет горячий ужин. Он охотней лег бы сразу в постель, однако ему не хотелось обижать пасторшу, которая позаботилась о нем, думая, что после долгой дороги он проголодается, и пошел в столовую.

Он не сделал бы этого, если бы не был уверен, что в доме нет никого, кто станет его расспрашивать про поездку. Он знал, что старики давно улеглись, а Шарлотта уехала.

Проходя через прихожую, он споткнулся о какой-то ящик, стоявший возле двери.

— Ради бога, поосторожней, господин магистр! — сказала служанка. — Это вещи госпожи Шагерстрём. Мы целый день соломой их перекалывали да в рогожку заворачивали.

Ему, однако, не пришло в голову, что Шарлотта могла сама приехать из Озерной Дачи и тем более остаться ночевать в пасторской усадьбе. Он неторопливо прошел в залу и уселся за стол.

Долгое время никто не нарушал его покой. Он наелся досыта и собрался уже было помолиться, как вдруг услышал шаги на лестнице. Шаги были тяжелые, медленные. Он подумал, что, должно быть, пасторша решила расспросить его о поездке. Ему захотелось выбежать из комнаты, но он не посмел этого сделать.

Секунду спустя дверь тихо и медленно отворилась, кто-то вошел. Худо было бы, если бы это была пасторша. Но то была не пасторша, а Шарлотта. А хуже этого и быть не могло. Недаром он был обручен с ней целых пять лет. Он знал ее прекрасно. Подумать только, что это будет за сцена, когда Шарлотта узнает, что с полковницей сделался удар. И отчитает же она его! А он так устал, что не сможет возражать ей, придется слушать ее целую вечность. Он тут же решил, что будет презрительно вежлив, каким он и был с ней в последнее время. Это лучший способ держать ее на расстоянии.

Но он не успел еще ничего сказать, как Шарлотта была уже посреди комнаты. Две сальные свечи, стоявшие на столе, осветили ее лицо. Тут он увидел, что

лицо ее смертельно бледно, а глаза покраснели от слез. Видно, с ней приключилось нечто ужасное.

Скорее всего можно было предположить, что она несчастлива в замужестве. Однако она не стала бы это столь откровенно выказывать, непохоже это было на нее. А уж бывшему жениху своему она никогда бы не дала о том знать.

Да как же это он запомнил! Всего несколько дней назад ему говорили, что сестра Шарлотты, докторша Ромелиус, сделалась опасно больна. Вот, видно, в чем дело.

Шарлотта выдвинула стул и села за обеденный стол.

Она начала говорить, и голос ее звучал удивительно жестко и невыразительно. Так говорит человек, когда он ни за что на свете не хочет расплакаться. Она не глядела на него, и можно было подумать, что она говорит вслух сама с собой.

— Капитан Хаммарберг заезжал сюда час назад, — сказала она. — Он был в Карлстаде и уехал оттуда сегодня утром, чуть позднее тебя. Но он ехал на паре лошадей и потому оказался здесь гораздо раньше. Он сказывал, что обогнал тебя на дороге.

Карл-Артур резко отодвинулся от стола. Острая боль рассекла ему голову, прошла к сердцу.

— Проезжая мимо пасторской усадьбы, — продолжала Шарлотта монотонно и обстоятельно, — он увидел свет в окнах кабинета и решил, что пастор еще не ложился спать. Тогда он вышел из повозки, чтобы доставить себе удовольствие — рассказать пастору о том, что его помощник натворил сегодня в Карлстаде. Он обожает рассказывать подобные истории.

Удар за ударом раскалывал голову, проходил сквозь сердце. Все, что он за день собрал по кусочкам и склеил, снова разбивалось вдребезги. Сейчас он услышит, как ближние судят о его поступках.

— Мы не запирали входных дверей, — сказала Шарлотта, — потому что с минуты на минуту ожидали твоего приезда, и он беспрепятственно прошел в кабинет. Однако дядюшка уже лег спать, и он нашел вместо него меня. Я сидела в кабинете и писала письма — не могла

уснуть, покуда не узнаю про твою поездку в Карлстад. И узнала от капитана Хаммарберга. Ему, видно, было приятнее рассказать о том мне, нежели дядюшке.

— А тебе, — вставил Карл-Артур, — тебе, разумеется, было не менее приятно слушать его.

Шарлотта сделала нетерпеливый жест. Не стоило и отвечать на столь незначительный выпад. Просто человек прибегает к этому, когда он в большой беде, а хочет показать, что ему все нипочем. Она продолжала свой рассказ.

— Капитан Хаммарберг был здесь недолго. Он сразу же ушел, рассказав, как ты вершил суд над собственной матерью и как с ней приключился удар. И про визит твой к бургомистру он тоже упомянул. Ах, Карл-Артур, Карл-Артур!

Но тут спокойствие оставило ее. Всклипывая, она прижала к глазам платок.

Но так уж мы, люди, устроены. Не любим мы, когда другие сокрушаются о нас. Не может нас радовать мысль о том, что кто-то только что сидел и слушал забавный и остроумный рассказ о том, как глупо и смешно мы вели себя. Потому Карл-Артур не удержался и сказал Шарлотте нечто вроде того, что уж коль скоро она вышла замуж за другого, ей теперь нет надобности печалиться о нем и его близких.

Но и это она оставила без внимания. Так и надо было ожидать, что он прибегнет к подобному способу защиты. Не стоило на это сердиться.

Вместо этого она подавила слезы и сказала то, что ей все время хотелось высказать:

— Когда я узнала обо всем, я сперва решила не говорить с тобой сегодня вечером, зная, что ты захочешь, чтобы тебя оставили в покое. И все же я должна немедленно сказать тебе нечто. Я не буду многословной.

Он пожал плечами с видом покорным и несчастным. Она ведь сидела рядом с ним, в той же комнате, и ему приходилось выслушивать ее.

— Знай же, что во всем виновата я одна, — сказала Шарлотта. — Это я уговорила Тею. Одним словом, твоя поездка в Карлстад... Это я... всему виной. Ты не хотел,

а я настояла... И теперь, если матушка твоя умрет, винить надобно не тебя, а меня...

Она не могла продолжать. Она чувствовала себя такой несчастной, такой виноватой.

— Мне следовало набраться терпения, — продолжала Шарлотта, как только смогла побороть волнение и снова обрела дар речи. — Не надо было посылать тебя туда так скоро. У тебя еще не прошла горечь, обида на матушку. Ты еще не простил ее. Оттого-то и вышло все так скверно. Как же я не могла понять, что из этого ровно ничего не выйдет. Это я, я, я во всем виновата!

С этими словами она поднялась со стула и начала ходить по комнате взад и вперед, нервно теребя платок. Потом она остановилась перед ним.

— Вот это я и хотела тебе сказать. Виновата только я одна.

Он не отвечал. Он молча протянул руки и взял ее за руку.

— Шарлотта, — сказал он очень тихо и кротко, — подумай только, как часто вели мы с тобой беседу в этой комнате, за этим столом. Здесь мы спорили и бранились, здесь пережили и немало светлых мгновений. А сейчас мы здесь с тобой в последний раз.

Она молча стояла возле него, не понимая, что с ним сделалось. Он сидел и гладил ее руку, он говорил с ней так ласково, как не говорил уже целую вечность.

— Ты всегда была великодушна ко мне, Шарлотта, всегда хотела помочь мне. На свете нет человека благороднее тебя.

Она онемела от удивления и не в силах была даже возразить ему.

— Я же не ценил твоего благородства, Шарлотта. Не хотел понять его. И все же ты пришла сегодня и хочешь взять вину на себя.

— Так ведь это правда, — сказала она.

— Нет, Шарлотта, это неправда. Не говори больше ничего. Это все моя самонадеянность, моя жестокость. Ты желала мне только добра.

Он наклонил голову к столу и заплакал. Он не выпускал ее руки из своей, и она чувствовала, как его слезы капают ей на руку.

— Шарлотта, — сказал он, — я чувствую себя убийцей. Мне не на что более надеяться.

Свободной рукой она погладила его волосы, но опять ничего не сказала.

— В Карлстаде мне ужас как дурно сделалось, Шарлотта. Я словно обезумел. По дороге домой я пытался оправдаться перед самим собой. Но теперь я понимаю, что это бесполезно. Я должен за все держать ответ.

— Карл-Артур, — сказала Шарлотта. — Как это было? Как все это случилось? Я ведь знаю о том только от капитана Хаммарберга.

Карл-Артур не помнил, чтобы Шарлотта когда-нибудь говорила с ним так ласково, по-матерински. Он не смог противиться ей и тотчас же принялся рассказывать. Казалось, ему доставляло облегчение говорить все как есть, ничего не утаивая и не смягчая.

— Шарлотта, — сказал он наконец, — что могло столь жестоко ослепить меня? Что ввело меня в подобное заблуждение?

Она не ответила. Но доброта ее сердца окутала его, уняла жгучую боль его ран. Ни один из них не подумал, как удивительно было то, что так откровенно они никогда прежде не говорили. Они даже не смели шевельнуться — он все время сидел неподвижно у стола, она стояла, склоняясь над ним. О чем они только не говорили! Под конец он спросил ее, не думает ли она, что ему нельзя более оставаться священником.

— Неужто тебе не все равно, что станет говорить капитан Хаммарберг!

— Я вовсе не думаю о капитане, Шарлотта. Просто я чувствую себя таким жалким и ничтожным. Ты не можешь даже вообразить себе, каково мне теперь.

Шарлотта не захотела на это отвечать.

— А ты потолкуй завтра с дядюшкой Форсиусом! — сказала она. — Он человек мудрый и праведный. Может быть, он скажет, что как раз теперь из тебя и выйдет настоящий священник.

Это был добрый совет. Он успокоил Карла-Артура. Все, что она ему говорила, успокаивало. Ему стало легче. В душе его не было более ни гнева, ни недоверия.

Он коснулся губами ее руки.

— Шарлотта, я не хочу говорить о том, что было, но позволь мне все же сказать тебе, что я не могу понять самого себя. Почему я расстался с тобой, Шарлотта? Я отнюдь не хочу оправдываться, но ведь, в самом деле, вышло так, будто я поступал против своей воли. Почему я бросил родную мать в объятия смерти? Почему я потерял тебя?

Судорога искажила лицо Шарлотты. Она отошла в самый темный угол комнаты. Ей легко было объяснить ему истинную причину, но она не хотела. Он мог подумать, что она хочет ему отомстить. Ни к чему было омрачать это святое мгновение.

— Милый Карл-Артур, — сказала она, — через неделю я уеду отсюда. Мы с Шагерстрёмом думаем повезти мою сестру Марию-Луизу в Италию: она излечится от чахотки, и ее маленькие дети не останутся сиротами. Может быть, так и должно было случиться.

Сказав это, она подошла к человеку, которого любила, и еще раз провела рукой по его волосам.

— Долготерпению Господа не пришел конец, — сказала она. — Ему нет конца, я знаю.

ЛОШАДЬ И КОРОВА, СЛУЖАНКА И РАБОТНИК

I

Кто она такая, что ее избрали из всех бедных коробейниц, возвысили и удостоили счастья? Правда, деньги сколотить она умеет и бережлива — шиллинга* даром не изведет, да и на выдумку хитра, изворотлива, гораздо сманить людей купить все, что им надо и не надо. И все же она недостойна того, чтоб ее так возвысили надо всеми товарками.

Да кто она такая, чтобы на нее такой важный барин загляделся?

Каждое утро, просыпаясь, она говорила себе: «Данешто это не чудо? Про такие чудеса только в Библии писано. Впору пастору в церкви о таком проповедь сказывать».

Она молитвенно складывала руки и воображала, что сидит на церковной скамье. В церкви полно народу, а на кафедре стоит пастор. Все как обычно, служба как служба, только пастор рассказывает сегодня удивительную историю. И говорит он не про кого иного, как про бедных далекарлийских девушек, про тех, что бродят с коробом по дорогам, терпят немало горя и невзгод. Точно человек, знакомый с их жизнью, он рассказывает, как тяжело им приходится временами, когда торговля идет плохо, как трудно тогда заработать хоть самую малость, иной раз и в куске хлеба приходится себе отказывать, лишь бы принести домой небогатую выручку. Но сегодня пастор принес своей возлюбленной пастве радостную весть. Господь милосердный призрел одну из этих бесприютных скиталиц. Никогда больше не придется ей теперь бродить по дорогам в стужу и в ненастье. Ее берет за себя пастор, она будет жить в усадьбе, где есть лошадь и корова, служанка и работник.

Как только пастор вымолвил эти слова, в церкви будто стало светлее, и на душе у всех полегчало. Всем стало радостно, что горькая горемыка будет жить теперь в довольстве и почете. Всякий, кто сидит неподалеку от Анны, кивает ей и улыбается.

Она зарделась от смущения, а тут еще пастор поворачивается к ней и говорит такие слова:

«Кто ты такая, Анна Сверд, что тебе на долю выпали счастье и почет, что одна ты избрана изо всех бедных коробейниц? Помни, что это не твоя заслуга, а милость Божья. Не забывай же тех, кому приходится день и ночь надрываться, чтобы заработать на одежду и прокорм!»

Уж так хорошо говорил пастор, что ей хотелось целый день лежать в постели и слушать его. Но когда он начинал говорить про других коробейниц, у нее на глазах выступали слезы, она сбрасывала одеяло — это

когда ей случалось спать под одеялом, а иной раз просто старую мешковину или лоскутный коврик, и вскакивала с постели.

«Дурища! — восклицала она. — Стоит реветь над тем, что сама выдумала!»

Чтобы помочь своим прежним товаркам, она отправилась домой еще в середине сентября. Начались осенние ярмарки, а она уходила домой. Это ей было в убыток, но она решила уступить место своим бывшим соперницам, не хотела становиться им поперек дороги — ведь ни к одной из них барин не посватается. Она думала о Рис Карин, своей землячке из Медстубюн, об Аннсту Лизе и о многих других. Они обрадуются, узнав, что ее нет на ярмарке, что она не станет больше переманивать к себе покупателей.

Она знала, что, когда придет домой, никто не поймет, с чего это ей взбрело на ум уйти с ярмарки. А она им не скажет, отчего так вышло. Ведь она это сделала в угоду Господу Богу, за все Его милости.

Никому, однако, не будет худа, если она закупит новые товары перед тем, как уйти из Карлстада. Никому опять же не повредит, если она по дороге на север будет заходить в дома и продавать свои товары. Закупив все, что надо, она уложила мешок в короб, взвалила его на плечи и уже взялась было за дверную ручку, но тут все же не удержалась и обернулась, чтобы поведать о своем чуде.

— Так что благодарствуйте, люди добрые. Я сюда больше не приду. Замуж выхожу.

И когда все в избе поспешили выразить свою радость и стали допытываться, что за человек ее жених, она ответила торжественно:

— Да уж это такое чудо, что о нем впору в церквах проповеди сказывать. Кто я такая, чтобы мне выпало такое счастье? За пастора выхожу и жить стану в пасторской усадьбе. У меня будут лошадь и корова, служанка и работник.

Она знала, что над ней станут потешаться, как только она уйдет, но ее это не печалило. Надо быть благодарной, а то счастьем и кончиться недолго.

По дороге она зашла в усадьбу, где ей ни разу прежде не удавалось уговорить хозяйку купить у нее что-нибудь, хотя та была богатая вдова и сама распоряжалась своими деньгами.

Тут Анне пришло на ум сказать, чтобы хозяйка на сей раз не отказывалась от покупки, — дескать, она здесь с товарами в последний раз. Потом она замолчала и загадочно посмотрела на хозяйку.

Жадную крестьянку разобрало любопытство, и она не могла удержаться, чтобы не спросить Анну, отчего та не хочет больше коробейничать.

Красивая далекарлийка ответила, что с ней произошло великое чудо. Про такое чудо только в Библии писано. Сказав это, она замолчала, и хозяйке пришлось снова ее расспрашивать.

Но Анна Сверд поджала губы и стояла на своем — ни дать ни взять прежняя Анна. Пришлось скупердяйке разориться на шелковый платок и на гребень, и лишь после этого она узнала, что Господь Бог пожалел бедную коробейницу и теперь она, недостойная, выйдет за пастора и станет жить в пасторской усадьбе, где есть лошадь и корова, служанка и работник.

Уходя со двора, она подумала, что уловка эта ей хорошо удалась и что надо бы и впредь так делать. Однако она делать этого больше не стала — боялась беду накликать. Нельзя употреблять во зло милость Божью.

Напротив, теперь она даже иной раз даром отдавала девочкам-подросткам булавки с головками из цветного стекла. Раньше ей и в голову не приходило дарить что-нибудь. Так она по малости отдаривала Господа Бога.

Да за что же ей, недостойной, такое счастье? Просто во всем ей везет. Может, оттого в каждой деревне у нее нарасхват раскупают товары, что она ушла с осенней ярмарки и не стала мешать подружкам? Всю дорогу домой из Карлстада ей везло. Стоит ей раскрыть короб, как на тебе, так и бегут стар и млад, будто она солнцем да звездами торгует. И полпути не прошла, а товару уже почитай не осталось.

Однажды, когда в коробе у нее было всего с дюжины роговых гребней да несколько мотков лент и она

досадовала, что не взяла в Карлстаде товаров вдвое больше, ей повстречалась старая Рис Карин. Старуха шла с севера. Короб у нее прямо-таки распирало. Невеселая была она — за два дня почти ничего продать не удалось.

Анна Сверд скупила у нее все товары и в придачу огорошила ее новостью о том, что выходит замуж за пастора.

Анна Сверд думала, что она век не забудет поросший вереском пригорок, где они сидели и толковали про свои дела. Это, пожалуй, было самое приятное из всего, что случилось с ней по дороге к дому. Рис Карин сначала побагровела, как вереск, потом пустила слезу. Увидев, что старуха плачет, Анна Сверд вспомнила, что ей незаслуженно выпало счастье возвыситься над всеми коробейницами, и уплатила за товары немного больше против уговора.

Порою, стоя где-нибудь высоко на пригорке, она прислонялась к плетню, чтобы короб не тянул плечи, и провожала глазами перелетных птиц, уносящихся к югу. Когда никого не было поблизости, кто стал бы смеяться над ней, она кричала им вдогонку, просила передать привет, дескать, сами знаете кому; кричала, что сама бы, как они, к нему полетела, да жаль, крыльев нет.

Чем же она, в самом деле, заслужила, чтобы ее одну избрали из многих и научили ее сердце говорить на древнем языке томления и любви?

II

Так шла Анна Сверд по дороге к дому, и наконец вдали показалась деревня Медстубюн. Первым делом она остановилась и огляделась вокруг, словно желая удостовериться в том, что с ее деревней ничего не случилось, что она стоит себе в целостности и сохранности на берегу реки Дальэльв, те же низкие серые домишки так же тесно прижимаются друг к другу, церковь по-прежнему возвышается на мыске к югу от деревни, что островки, поросшие березняком, и сосновые леса не сметены с лица земли за время ее отсутствия, а стоят на прежнем месте.

Когда же она в этом убедилась, то почувствовала вдруг, как сильно она устала — едва сил достанет добраться до дому. Человек всегда испытывает такую усталость, когда он уже почти достиг цели. Пришлось ей выломать кол из плетня, и так она, опираясь на него, как на посох, поплелась по дороге, еле передвигая ноги. Короб оттягивал плечи, будто стал тяжелее вдвое, да и дышать было нелегко. Приходилось то и дело останавливаться, чтобы перевести дух.

Как медленно она ни плелась, а все же добралась до деревни. Может быть, она надеялась встретить свою мать, старую Берит, или кого-нибудь из добрых друзей, кто помог бы ей нести короб, но никто не попадался ей навстречу.

Кое-кто из односельчан, правда, видел, как она надрывалась, и подумал, что теперь ее матери плохо придется, раз дочка вернулась домой хворая, судя по всему. Ведь матушка Сверд была бедная солдатская вдова — ни денег у нее, ни избы. Ей бы ни за что не прокормиться с двумя детьми, кабы не деверь ее, Иобс Эрик, человек зажиточный. Он отвел ей каморку в своем доме — закуток между конюшней и коровником. Берит на всякую работу исправна и ткать мастерица. За что ни возмись, все умеет, без такой в деревне не обойтись. Однако, чтобы поднять двоих детей, ей приходилось работать день и ночь, оттого и надорвалась она. Только и надежды было, что теперь станет легче, когда дочка торговать пошла. Хоть бы не расхворалась вовсе дочка-то! Видно, плохо дело, раз Анна вернулась домой не вовремя. Уж вечно беднякам не везет.

Анна Сверд пробралась между поленниц, строевого леса, повозок, стоявших повсюду возле домов и пристроек в усадьбе Иобса, и вошла в каморку к матери. Мать ее, против обыкновения, была дома. Она сидела на полу и прядла лен. Нетрудно представить себе, как она испугалась, когда дверь отворилась и в комнату вошла ее дочь, согнувшись в три погибели, опираясь на палку. Анну ничуть не опечалило, что ее мать до смерти испугалась. Она поздоровалась так тихо, будто ей слова было не вымолвить, и встала посреди комнаты,

тяжело вздыхая и охая, отвернувшись, чтобы не глядеть матери в глаза.

Что же тут было думать старой Берит? Она привыкла к тому, что дочь ее возвращалась домой, держась прямо, будто шла налегке. Видно, случилось самое что ни на есть худое, и Берит отложила прялку.

Все так же охая и вздыхая, Анна Сверд подошла к окну и поставила короб на стол. Потом она отстегнула лямки и потерла рукой поясницу. Попробовала распрямиться, да никак не смогла. Не разгибаясь, отошла она к печке и уселась на лежанку.

Что было тут думать матушке Сверд? Короб у дочери был такой же полный, как и весной, когда она ушла из дома. Неужто она ничего не продала за целое лето? Может, приболела или повредилась чем? Она даже спросить не посмела, боясь услышать ответ дочери.

Анна же, видно, думала, что мать не сможет, как должно, принять столь важную весть, не почувствовав себя сперва больше чем когда-либо несчастной и обездоленной. Она жалобным голосом спросила, не пособит ли ей матушка развязать мешок, ведь она, верно, не очень устала.

Ну, конечно же, матушка Сверд рада была хоть чем-нибудь услужить дочери, только руки у нее дрожали, и ей пришлось немало потрудиться, покуда она распутала узлы да тесемки и начала рыться в мешке. Когда же она раскрыла короб, тут уж голова у нее пошла кругом, хотя она всякого повидала на своем веку. Да и как же было не удивиться, если в коробе она не нашла ни сутажных пуговиц, ни шелковых платков, ни иголок в пачках. Сперва ей подвернулся под руку небольшой окорок, под ним лежал мешок коричневых бобов и такой же мешок сушеного гороха. Она не нашла в коробе ни единого мотка лент, ни наперстка, ни штуки ситца — ничего такого, что коробейница носит в коробе, а только овсяную крупу, рис, кофе, сахар, масло да сыр.

У нее чуть волосы дыбом не поднялись. Она хорошо знала дочь. Анна не из тех, что носят домой гостинцы мешками. Неужто она ума решилась? Или еще что с ней приключилось?

Старуха уже собралась было бежать за деверем, чтобы тот разобрался, в чем дело, да, к счастью, глянула на печь и увидела, что дочка сидит и смеется над ней. Она поняла, что Анна провела ее, и в сердцах хотела выгнать дочку. Однако сперва нужно было узнать, в чем дело. Не мотовка она, да ведь и не в заводе у ней шутки шутить и насмехаться над матерью.

— На кой ляд ты все это накупила?

— Так это же тебе гостинцы.

Матушка Сверд все еще надеялась, что кто-нибудь из соседей попросил дочку принести всю эту барскую снедь. И голова у нее пошла кругом.

— Дурища! — сказала она. — Нешто я поверю, что ты станешь из-за меня надрываться.

— Я продала все товары, как домой шла. Непривычно было пустой короб тащить, вот я напихала в него то, что под руку попало.

Старая Берит привыкла мешать муку с соломой да корой, редко доводилось ей подбавлять молока в кашу, и потому объяснением дочери она не удовлетворилась. Она села на лежанку возле дочери и взяла ее за руку.

— А теперь рассказывай-ка, что с тобой стряслось.

И тут Анна Сверд решила, что мать уже подготовлена, и не стала таить от нее великую радость.

— Так вот, матушка, чудо со мной приключилось превеликое. О таких чудесах только в Библии писано. Впору в церкви про такое проповеди сказывать.

III

Мать с дочерью тут же порешили, что первый, кому они расскажут про эту великую радость, будет Иобс Эрик.

Он доводился им самым близким родственником, да и к тому же всегда благоволил к Анне и не раз обещал справить свадьбу племяннице, как только она сыщет жениха.

Когда они пришли к нему в полдень, он был занят тем, что сидел на печи и выколачивал из трубки золу

кукушкина льна, который ему приходилось курить вместо табака. В эту пору все молодые парни были на заработках на юге, никто из них еще не вернулся домой, и во всей Медстубюн нельзя было раздобыть ни пачки табаку.

Анна Сверд сразу увидела, что он не в духе, однако это ее ничуть не испугало и не опечалило. Она знала, что он сразу развеселится, как только услышит радостную весть.

Иобс Эрик был человек статный и рослый, темно-волосый, с правильными чертами лица и темно-голубыми глазами. Анна Сверд так сильно походила на него, что ее можно было принять за его дочь. И не только лицом была она на него похожа. Иобс Эрик тоже в юности коробейничал. Он, как и она, был изворотлив и горазд на выдумки и умел зашибить деньгу. Когда его дети подросли, он хотел, чтобы они пошли по той же дорожке, но ни одному из них это дело не пришлось по душе. Анне же оно как раз подошло и по вкусу пришлось, за что дядя жаловал ее пуще своих детей и не раз похвалялся племянницей.

Но сейчас, когда они вошли в дом, ему было не до хвастовства и не до похвал.

— Ты, видать, вовсе спятила! — крикнул ей дядя. — Как это тебя угораздило уйти с большой осенней ярмарки?

Но она, с которой случилось чудо великое, которая удостоилась счастья и возвысилась над всеми бедными коробейницами и даже над своими деревенскими девушками-одногодками, сочла, что не годится так прямо с бухты-барахты рассказывать о своем обручении, как о деле маловажном, — будто спасибо за угощение говоришь, — и решила начать издали, чтобы новость приняли как полагается.

Поэтому она ничего не сказала о том, что с нею приключилось. Она просто ответила, что устала таскаться по дорогам и стосковалась по дому.

— Нашему брату уставать нельзя, — сказал Иобс Эрик и принялся рассказывать, как он в свое время трудился без усталости и сколько денег вырубал.

Анна Сверд слушала его не перебивая, но когда он наконец замолчал, она попыталась приступить ближе к делу — вынула из кармана пачку табаку, подала ему и велела курить на здоровье. Надо сказать, что три года назад, когда Анна Сверд начала коробейничать, Иобс Эрик одолжил ей немного денег. Каждую осень, воротясь домой, она сразу же рассказывала ему, много ли заработала, и отдавала часть денег в уплату долга. А на этот раз она явилась не с деньгами, а с табаком. Разумеется, табачку ему давно хотелось покурить, однако он поморщился, принимая пачку.

Анна Сверд знала его не хуже, чем самое себя, и поняла, что Иобс Эрик встревожился, когда она подала ему табак. Прежде она никогда не делала ему подарков. Видно, плохи у нее дела с торговлей. Не оттого ли она и дала ему табак, что долг платить нечем.

Он сидел и вертел пачку в руках, не сказав ей даже спасибо.

— Надо же мне хоть раз поднести тебе какой ни на есть подарочек за то, что ты мне по первости помог, — сказала Анна, делая новую попытку приступить к самому важному. — Ведь теперь я больше торговать не стану, вот оно какое дело.

Дядя все еще взвешивал табак на руке. Казалось, он вот-вот швырнет пачку ей прямо в лицо. Торговать не станет? Он понял только, что долг ей платить нечем, денег у нее нет и не будет.

— Замуж я выхожу, вот ведь какое дело, — продолжала Анна Сверд. — Мы с матушкой порешили тебя primero о том известить.

Иобс Эрик отложил пачку. Ясное дело, денег теперь не получишь. Мало того — так, поди, придется еще и свадьбу племяннице справлять. Он откашлялся, будто собирался что-то сказать, но передумал.

Матушке Сверд стало до смерти жаль его. Точно все беды разом свалились ему на голову. Ей захотелось растолковать ему все, как есть, про замужество дочери.

— Да думала ли я три года назад, как снаряжала дочку коробейничать, что ей такое счастье выпадет? За пастора в Вермланде она выходит. Жить станет

в пасторской усадьбе, будут у ней лошадь и корова, служанка и работник.

— Да, — сказала Анна Сверд и застенчиво опустила глаза, — это великое чудо. Выходит, что мне, горемычной, повезло даже более, чем самому Иобсу Эрику.

Но старика, видно, не так уж сильно удивило это чудо. Он сидел, поглядывая с презрительной усмешкой то на мать, то на дочь.

— За пастора, стало быть, выходишь. Только и всего? То-то, я гляжу, племянница пришла куда какая важная и табаком меня одарила. Я уж подумал было, принц какой ее за себя берет.

— Да что же ты, милый! Никак решил, — сказала матушка Сверд, — что она шутки с тобой шутит?

Старик поднялся во весь свой огромный рост.

— Да нет, не думаю, что она станет со мной шутки шутить, — сказал он. — Однако народ в тех краях ушлый и на шутки горазд. Уж тот, кто с коробом походил, про то знает. Не диво, что ее, молоденькую, околпачат. А уж нам-то с тобой, Берит, ум терять вовсе негоже. Ступай-ка на кухню да вели еды собрать на дорогу дочке твоей, да поболе, а завтра утром — с богом в путь. Накажи ей дома быть не ране, как через два месяца.

Мать с дочерью встали перепуганные и направились к двери. У дверей Анна Сверд остановилась и сказала несмело:

— Деньги-то, должок мой, я принесла нынче. А может, ты желаешь, чтоб я их тебе не прежде, как в декабре, отдала?

Тут дядюшка глянул на нее так, что ее до костей проняло.

— Вот оно что! — сказал он. — Ты никак и вправду Иобса Эрика дурачить принялась? Не выходи замуж, дитяtko! Держись-ка лучше торговли, дело верное! Уж ты сумеешь разбогатеть, всю Медстубюн скупишь, коли захочешь.

IV

Когда они вернулись домой, Анна Сверд собралась идти с матерью к матушке Ингборг, в усадьбу Рисгор-

ден, чтобы и ей рассказать про великое чудо. Но старая Берит и слышать про то не хотела.

Хотя усадьба Рисгорден была по соседству с домом Иобса Эрика, ладу меж соседями не было, однако до прямой ссоры дело не доходило, так, чтобы в деревне про то узнали.

Матушка Ингборг была вдова, и хоть она владела лучшей усадьбой во всей Медстубюн, нелегко ей было без мужика в доме, приходилось нанимать людей на всякую работу в поле.

Одна у нее была мечта — сохранить усадьбу, покуда сыновья подрастут, а там все тяготы сами собой сгинут. Помогала же ей больше всех сестра, Рис Карин. Вся деревня знала, что это она добывает им деньги на подати и на батраков. Однако, когда Анна Сверд принялась коробейничать, дела у Рис Карин с торговлей пошли куда хуже. С тех пор в усадьбе Рисгорден стали коситься на соседей из Иобсгордена, и больше всех, разумеется, на Анну Сверд с матерью.

Но когда матушка Сверд припомнила все это, дочка сказала ей, что пора положить конец раздорам, потому, дескать, она и хочет пойти к Рис Ингборг. А если старая Берит сама не хочет идти с ней, так и не надо, Анна и одна пойдет.

Так она настояла на своем, и матушка Сверд с ней пошла, думая, что, пожалуй, сможет там чем-нибудь помочь дочке.

Войдя в горницу матушки Ингборг, Анна Сверд остановилась в изумлении. Она не была здесь уже несколько лет и успела позабыть, как здесь красиво. Стены были сплошь увешаны картинками из Библии, их не было разве только там, где стояли шкафы, часы из Муры* да кровати с пологом. На продольной стене висела картинка, изображающая Иосифа в карете, запряженной четверкой лошадей, с кучером и слугами; он ехал встречать отца своего Иакова. А на картине, что над большим окном, нарисована была дева Мария во младенчестве. Она делала книксен ангелу Господню в шитом золотом мундире и треугольной шляпе. Анна Сверд приняла обе эти картинки за доброе

предзнаменование. Она радовалась, когда что-нибудь напоминало ей о тех, кого Господь Бог чудесною силой своей возвысил из нищеты и убожества.

Матушка Ингборг из Рисгордена была женщина тихая и пригожая собой. Она была из тех, кто всюду вносит уют и порядок. Она обыкновенно сидела над каким-нибудь затейливым рукоделием. Сейчас у нее на левой руке была надета белая рукавица, на которой она вышивала цветы и листочки.

Видно было, что она не очень-то рада их приходу, хотя и встретила их как водится — пошла навстречу, подала руку и усадила на скамье у окна. Сама же она снова села у окна и принялась за работу.

Потом все замолчали, и Анна Сверд решила — хозяйка, верно, думает, что гости ждут, не попотчуют ли их кофеем. Но она на это не обиделась. За что их кофеем поить, разве за то, что они лишили ее сестру заработка?

Помолчав, как того требует приличие, Анна Сверд повела речь о том, что она по дороге домой встретила Карин и решила заглянуть в Рисгорден — передать поклон и сказать, что сестра ее жива и здорова.

— И слава богу, что здорова. Здоровье-то самое что ни на есть дорогое.

— Да, уж здоровье каждому нужно, — поспешно подкнула матушка Сверд. — А особенно тому, кто из края в край по дорогам ходит.

— Твоя правда, Берит, — молвила Рис Ингборг.

Разговор снова прервался, а Анна Сверд подумала, что теперь Рис Ингборг опять сидит да раздумывает, надобно ли их угощать кофеем. Однако она никак не могла на это решиться. Они ведь просто зашли поклон от сестры передать. С какой же стати их потчевать?

Но тут Анна Сверд сказала, что она не посмела бы прийти среди бела дня и помешать ей работать, чтобы только передать поклон, кабы у них не было еще и другого дела. Вышло так, что, когда они повстречались, Карин шла с севера, и мешок у нее был битком набит товарами, Анна же шла с юга и успела все распродать. Потому Анна и скупила у нее все товары сполна. Когда они распрощались, Карин поспешила в Карлстад, что-

бы запастись новыми товарами и поспеть к осенней ярмарке.

Сестры были схожи тем, что обе становились сизо-багровыми, когда бывали чем-нибудь взволнованы. И сейчас Рис Ингборг сидела и слушала сизо-багровая, как вереск на пригорке. А то бы и не догадаться, что она так близко к сердцу приняла эту весть. Она только вымолвила, что Карин повезло, раз она встретила Анну и продала товары.

— Анне повезло и того боле, что она запаслась товарами по дороге домой, когда она все распродала.

Нелегко было наладить беседу. Снова наступило молчание, и Анна опять подумала, что Рис Ингборг сейчас гадает, угощать соседок кофеем или нет. Большой охоты к тому у нее, однако, не было. Девчонка из Иобсгордена пришла похвалиться, что сумела помочь своей товарке, старой коробейнице из Рисгордена. Нет, не могла она заставить себя сварить для нее кофею.

И тут Анна сказала, что она пришла в Рисгорден не только для того, чтобы сказать все это. Уж так вышло, что, когда она купила у Анны товары, к ней попало и то, что ей не принадлежало по праву. Они не перебирали все по вещице, а переложили товары из мешка Карин в мешок Анны. А на другой день Анна разложила товары в одной избе и заметила бумажку в пять риксдалеров, завернутую в шелковый платок.

Анна тут же сунула руку в карман, вынула пять риксдалеров, расправила бумажку и положила на стол перед Рис Ингборг. Хозяйка Рисгордена побагровела еще сильнее.

— Да статочное ли дело, чтобы сестра моя деньги не берегла? — спросила она. — Не могла же она взять и бросить в мешок целых пять риксдалеров. Может, это вовсе и не ее деньги.

— И то правда, — сказала Анна Сверд. — Может, бумажка уже лежала в платке, когда она его покупала. Мне только сдается, что она и вправду знать не знала про эти деньги.

Рис Ингборг отложила наконец рукоделие. Она взглянула с удивлением на Анну Сверд.

— А коли ты думаешь, что Карин об деньгах не знала, отчего же ты их себе не взяла? Ты ведь купила все, что было в мешке.

— Так ведь и не мои же это деньги. Уж ты сделай милость, побереги бумажку, куда Карин домой не придет.

Рис Ингборг ничего на это не ответила, и Анне снова пришло в голову, что она думает сейчас, что, мол, волей-неволей придется им сварить кофе.

Только она успела подумать это, как Рис Ингборг наконец решилась:

— Надо бы кофеем гостей попотчевать, да, стыдно сказать, и кофею-то стоящего в доме нету, только ржаной с цикорием.

Она поднялась и вышла в кухню. Вскоре кофе поспел, и они выпили по чашке и по другой. Однако Рис Ингборг была с ними не очень-то приветлива. Она потчевала их, как могла, и все же видно было, что она делает это не по доброй воле.

Только когда они напились кофе, Анна Сверд пода-ла матери знак, и старуха сразу же начала:

— Анна-то сама вроде совестится сказать. Ведь с ней чудо приключилось неслыханное. За пастора в Вермланде выходит.

— Подумать только! — сказала Рис Ингборг. — Неуж-то Анна замуж выходит? Стало быть, теперь она не станет...

Тут она замолчала. Она была женщина деликатная, не хотела подавать виду, что думает только о своей выгоде.

Но матушка Сверд поняла ее с полуслова.

— Нет, теперь уж она у меня не будет больше с коробом таскаться. Жить станет в пасторской усадьбе. Будут у нее лошадь и корова, служанка и работник.

Улыбка осветила лицо Рис Ингборг. Добрая была это новость.

Она встала и поклонилась.

— Господи помилуй! Что же вы мне наперед не ска-зали? А я-то сижу и потчую будущую пасторшу ржаным кофеем! Уж обождите, бога ради, пойду погляжу, не за-

валялся ли где пакет настоящего кофея. Сидите, сидите, гости дорогие.

ЖЕНА ЛЕНСМАНА

Анна Сверд пробыла дома уже несколько недель, когда они с матерью отправились в усадьбу ленсмана Рюена, что лежала к северу от деревни Медстубюн, чтобы поговорить с ленсманшей. Иобс Эрик и Рис Ингборг знали, какое у них там было дело, и одобряли его. Рис Ингборг была теперь их лучшим другом, ей не терпелось отправить их туда поскорее, да, собственно говоря, это она все и затеяла.

Итак, они пришли в усадьбу ленсмана и, по настоянию старой Берит, вошли в дом через кухню, хотя Анна Сверд полагала, что будущая пасторша могла бы войти и через прихожую. Из кухни их проводили в кладовку, где ленсманша считала грязное белье, разложенное на большом столе. При виде их она слегка подняла брови, не выказав особой радости. Историю о том, что Анна Сверд собирается выходить замуж за пастора, она уже слышала и была не настолько глупа, чтобы не догадаться, чего эти женщины хотят от нее.

Во всяком случае, она приняла их хорошо — подала руку, попросила присаживаться и не торопясь объяснить, что им от нее надобно.

Решено было наперед, что говорить будет матушка Сверд. Рис Ингборг сказала, что так-де будет пристойнее, она же наказывала ей не ходить вокруг да около, а сразу перейти к делу.

Потому Анна сидела молча и слушала, как старая Берит объясняла, что они пришли просить, нельзя ли будет Анне пожить несколько месяцев в усадьбе ленсмана в учении. Она выходит замуж за пастора из Вермланды, и ей надо поучиться господскому обхождению.

Фру Рюен была маленькая подвижная женщина с острыми, колючими глазками. Ее нельзя было назвать некрасивой, напротив, она была скорее даже миловидной. В ней было столько живости, что она минуты не могла посидеть спокойно. Покуда Берит говорила, она

стояла и пересчитывала гору полотенец. Она ни разу не сбилась со счета, раскладывая их по дюжинам. Она сразу же дала ответ, хотя и слушала их между делом.

— Слышала я про это замужество, — сказала она, — и не одобряю его. Об этом деле я не хочу ничего знать.

Неудивительно, что гости опешили и не нашлись, что сказать. С тех пор как Анна пришла домой, они только и знали, что ходили из дома в дом, распивали кофе и толковали с соседями про сватовство да замужество. Куда они только ни приходили, повсюду говорили, что такой доброй вести давным-давно не слыхивали, что для Медстубюн великая честь, раз их землячка станет пасторшей. Иные напрямик говорили Анне, что прежде не хотели с ней водиться, больно уж она походила на Иобса Эрика — только и думала, что про деньги. А теперь ее будто подменили, веселая стала да резвая, как и пристало молодой девушке. А иные так радовались, что Берит на старости лет станет жить в доме у дочери. Словом, все были за нее рады. И вдруг ленсманша, сама ленсманша, говорит, что она и знать не хочет про эту свадьбу.

Фру Рюен увидела, что у них прямо-таки руки опустились, и решила, что надобно как-то объяснить им, почему она так думает.

— Не в первый раз красивая крестьянка из Далекарлии выходит замуж за барина, — сказала она. — Но из таких браков ничего путного не бывает. Мне думается, Берит, что тебе надобно посоветовать Анне выбросить из головы это замужество.

Когда ленсманша сказала это, Анне показалось, будто она пробудилась ото сна. В последние дни парни и девушки, которые были летом на заработках на юге, начали возвращаться домой в Медстубюн. Девушки по большей части были на огородных работах либо перегоняли паром через Норрстрём — людей перевозили, а иные мыли бутылки на пивоварнях, одним словом, кроме работы, ничего не видели. И теперь, когда они услышали, что тут без них приключилось, у них глаза разгорелись, и они наперебой заставляли Анну в сотый раз рассказывать, как молодой пастор подошел к

ней на проселочной дороге, что сказал ей и что ему сказала она. А парни приняли эту весть по-иному. До тех пор никому из них до нее не было дела, а тут все стали дивиться, где у них только раньше глаза были. Стоило ей остаться наедине с одним из них, как он сразу начинал говорить, что ей, мол, не надо будет печалиться, ежели вермландский пастор передумает. Дескать, тот, кто идет с ней сейчас по улице, будет ей мужем не хуже пастора.

А теперь ленсманша говорит, что ей не следует думать о замужестве с барином. Не пара она ему, проста больно. Видно, это она хотела сказать.

Она молча поднялась, поднялась и старая Берит. Хозяйка попрощалась с ними за руку так же приветливо, как и при встрече, и проводила. Может, для того, чтобы прислуга не видела, какие они были опечаленные и понурые, или по какой другой причине, только она провела их не через кухню, а через залу и переднюю.

По дороге домой они думали, что хуже отказа ленсманши ничего и быть не могло. Не велика беда была бы, кабы им отказала пасторша. А ведь ленсманшу уважали все в Медстубюн. Люди слушались ее во всем. Если она решала, что парень и девушка подходят друг другу, тут же без долгих разговоров играли свадьбу. Спорили соседи, глядишь — дело чуть не до суда доходило, но являлась ленсманша и мирила их.

По правде-то говоря, ничего и не случилось. Фру Рюен не указчица была ни Анне Сверд, ни ее матери, и все же Анне казалось сейчас, что раз ленсманша не хочет, чтобы она выходила за барина, стало быть, всему конец.

Вся тоска, укоренившаяся в душе ее после тяжелых младенческих лет, казалось, снова была готова обрушиться на нее, но горевала Анна недолго — в тот же день она получила письмо. Прочесть его она не могла, однако знала, от кого оно. Она носила нераспечатанное письмо в кармане и думала о том, кто его написал. Его родители тоже считали, что она ему не пара, однако он настоял на своем, как пристало мужчине. Управится он, поди, и с ленсманшей.

На другой день она поступила так, как делают все в Медстубюн, когда получают письма, — пошла к пономарю Медбергу и попросила прочитать ей письмо.

Пономарь сидел в классной комнате возле кухни. Там стоял стол, такой большой, что занимал половину комнаты. Вокруг стола сидели ребяташки и учились бегло читать.

Он взял письмо, осторожно сломал сургучную печать и глянул на почерк. Ничего не скажешь, почерк был четкий и красивый. Пономарь начал читать письмо вслух.

Ему и в голову не пришло отослать ребяташек из комнаты, они сидели и слушали красивые слова про любовь, написанные ее женихом. Видно, пономарь Медберг думал, что ребяташкам пойдет на пользу послушать, как складно он читает написанное от руки. Не стоило и просить его прочитать письмо в другой раз. Могло стать, что он выставил бы ее за порог и сказал, чтобы она сама читала свои письма.

Когда пономарь читал, она старалась думать только о том, что говорилось в письме, но невольно косилась на ребяташек. Им, ясное дело, это было на потеху. Они сидели красные, как кумач, надув щеки и давясь от смеха.

После того разговора с ленсманшей Анна потеряла покой. Не было уже в ней прежней радости и веры в свое счастье. Она не удивлялась, что ребяташки смеялись. Ведь она не стоила того, чтоб он писал ей такие письма.

Несколько дней она все думала, как ему ответить. Ей хотелось сказать ему, что она поняла, что вовсе не стоит его, и родители его были правы — ему не надобно больше о ней думать.

Когда же она мысленно сочинила длинное письмо, то снова пошла к пономарю Медбергу. На этот раз она была осторожнее и пришла под вечер, когда ребяташек уже не было. Пономарь тут же уселся за большой стол, чтобы писать под ее диктовку, и все, казалось, шло как по маслу. Ребяташек не было, никто не потешался над ней. Она могла без помехи сказать все, что

хотела. Пономарь бойко и усердно водил пером по бумаге, и письмо мигом было готово.

Потом он прочел ей то, что написал, и тут она не могла не подивиться. Ведь пономарь Медберг написал немало любовных писем на своем веку, ему доподлинно было известно, как их надо писать, в этом он разобрался получше какой-то деревенской девчонки, у которой это было всего-навсего первое письмо в жизни. Он и слушать не стал, что ему говорила несмышленная девчонка. Начал он письмо словами, что пишущая сии строки счастлива слышать, что жених ее пребывает в добром здравии, потому как это самое что ни на есть дорогое для человека. Это он расписал на всей первой странице. Затем он рассказал, что стосковалась она по жениху так сильно, что день в месяц, а месяц в год выходит. И об этом он отмахал добрых пол-листа. Под конец он написал заверение в том, что жених, мол, может не сомневаться в ее верности, и не велел ему также держать в мыслях измену, потому как тогда будет он горевать столько ночей, сколько листьев на липе и орехов на орешнике, сколько песчинок на дне морском и сколько звезд в чистом небе.

Когда она спросила пономаря, почему он не написал, как она ему велела, он рассердился и спросил, неужто она думает, будто он не знает, как писать любовные письма. Не станет же он писать несуразицу, которую она сочинила; не надо забывать, что она пишет не кому-нибудь, а самому пастору.

Этим она и должна была удовольствоваться. В таком виде письмо было сложено, заклеено и отправлено. А что подумает жених, когда его получит? Она чувствовала себя еще более ничтожной и недостойной его.

В третий раз отправилась она к пономарю Медбергу и спросила, не может ли он обучить ее читать и писать. Он ответил напрямик, что она стара, чтобы одолеть такую премудрость, однако она все же уговорила его позволить ей попытаться. Ей было велено прийти к нему на другой день поутру вместе с малыми ребятами.

Вот так и получилось, что через несколько недель Анна Сверд сидела за большим столом с гусиным пером в руке и переписывала с прописи: «Кто рано встает, тому Бог дает».

И тяжкая же была это работа! Анна крепко-накрепко держала тонкое гусиное перо и нажимала изо всех сил, так что на бумагу сыпались крохотные кляксы, а вместо букв нацарапывались большие диковинные каракули.

Тяжко ей было еще и потому, что она взялась одолеть эту премудрость лишь для того, чтобы написать в Корсчюрку, что она недостойна его и чтоб он о ней и думать забыл.

Хоть и невеселое это было для нее дело, всякий видел, что старалась она как могла. Она напрягала все свои силы, будто нужно было поднять бочку ржи. Каждое слово стоило ей такого труда, что приходилось каждый раз откладывать перо, чтобы отдышаться, прежде чем приниматься за другое слово.

— Перо надобно держать свободно, вытянутыми пальцами, — говорил пономарь. Однако, чтобы удержать перо, ей приходилось сжимать его так сильно, что пальцы белели в суставах. Ребятишки то и дело корчили рожи и ухмылялись. Анне Сверд стало так горько, что она уже хотела было отправиться восвояси, но тут дверь открылась, и в классную вошла ленсманша.

Она пришла, как всегда, живая и юркая. Зашла она к пономарю Медбергу потолковать о каком-то деле общины. Увидев, что Анна сидит рядом с малыми ребятишками и пишет с таким усердием, что из-под кончика пера брызги летят, она заинтересовалась.

— Вот оно что, так ты, я вижу, не выбросила из головы затею стать пасторшей.

Анна промолчала, а пономарь пробормотал что-то вроде того, что ежели ей для этого непременно надо выучиться писать, вряд ли она удостоится такой чести.

Ребятишки снова принялись хихикать, но ленсманша строго глянула на них, и они сразу присмирели. Потом она наклонилась над Анной и увидела, что буквы

на ее листочке покосились во все стороны, как колья повалившейся изгороди.

— Что это ты пишешь? — спросила она. — Дай-ка взглянуть. «Кто рано встает, тому Бог дает». Погоди-ка! А ну-ка, дай мне перо!

Она засмеялась, наклонилась над столом, приложила гусиное перо к губам и задумалась.

— Как звать твоего жениха? Ах вот как, Карл-Артур. Ну-ка взгляни! — Она отчетливо вывела два слова большими круглыми буквами.

— Можешь прочитать, что я написала? Здесь написано: Карл-Артур. Попробуй написать это имя. Коли ты его любишь, так непременно напишешь.

И она вложила перо в руку Анне. Потом она увела пономаря в кухню, чтобы поговорить с ним с глазу на глаз.

Анна сидела и смотрела на это чудесное имя, так красиво написанное фру Рюен. Ей очень хотелось написать так же. Да где уж ей. Она бросила перо.

Через час ленсманша и пономарь вернулись в классную. Здесь царило гробовое молчание. Мальчишки больше не хихикали, однако и не читали по букварю. Они сгрудились возле парты Анны и глядели на то, что она делает. А делала она, видно, что-то удивительное.

Она сидела сияющая и счастливая, ее пальцы так и сновали взад и вперед. Когда вошли ленсманша и пономарь, она спрятала свое рукоделие под стол.

— А ну-ка покажи! Сию минуту покажи! — строго приказала ленсманша.

И тут они увидели чудо. Вместо чернил и гусиного пера Анна Сверд вынула из кармана и положила на стол иглу, нитки и белый лоскуток, на котором она вышила буквы. Они были аккуратные, не хуже, чем у ленсманши. Радуясь, что сумела вышить имя желанного, Анна украсила его рамкой из цветов.

Фру Рюен глядела на рукоделие, приложив палец к кончику носа, так она делала всегда, когда размышляла о чем-нибудь важном.

— Вы только посмотрите! Стало быть, он тебе и в самом деле мил? Не знала я этого. А я-то думала, тебе

только пасторскую усадьбу подавай, да чтобы барыней звали. Коли так, переезжай завтра утром ко мне, по-пробую вывести тебя в люди.

СВАДЬБА

I

В субботу, в три часа пополудни, Анна Сверд стояла на крыльце дома ленсманши и глядела на сани, которые медленно двигались к дому по аллее. Стояла зима, был трескучий мороз, но она не чувствовала холода. Сердце ее колотилось, щеки горели. Она знала, что в санях сидит тот, кому она посылала приветы с перелетными птицами.

Анна Сверд прожила в усадьбе ленсмана на воспитании четыре месяца и прошла настоящую школу. Фру Рюен учила ее, как надо ходить и стоять, как есть и пить, как спрашивать и как отвечать, как здороваться и прощаться, как смеяться и как кашлять, как чихать, как зевать и тысяче других вещей. Нельзя было требовать, чтобы из Анны Сверд сделали настоящую барышню за такое короткое время, но она научилась понимать свои недостатки и промахи, и теперь, завидев сани, в которых ехал ее милый, она испытывала не только радость. Ведь могло статься, что она разонравится ему, как только он увидит ее среди господ. У ленсмана были две дочки, обе курносые, белобрысые, но зато какое у них было обхождение, какая легкая походка, как складно они умели говорить! А какие у них были наряды! Если б только у нее достало денег купить себе господское платье! Она-то носила деревенское, и это ее очень печалило. Не может ведь жена вермландского пастора в пестрой одежде ходить, как какая-нибудь деревенская девчонка.

Тревожилась она еще и оттого, что не знала толком, зачем к ней едет жених. Может, только для того, чтобы порушить обручение. Сразу после святок он прислал письмо и бумагу для оглашения в церкви. Теперь их обручение уже огласили; стало быть, как люди

говорят, они теперь все равно что муж и жена. И все же беспокойно было у нее на душе.

В Медстубюн все радовались оглашению. Однако Иобс Эрик не верил толком в это замужество, покуда не услышал, как пастор возвестил о том с церковной кафедры. А после третьего оглашения дядюшка торжественно объявил, что желает справить ей свадьбу. Сказал, что гулять станут три дня, что еды и питья будет вволю, что веселье будет, какого свет не видывал, с музыкантами, с танцами, и что для всей молодежи постелят на полу постель. Раз уж племянница выходит за такого хорошего жениха, так и свадьба должна быть под стать. Одна из дочерей ленсмана написала от ее имени пастору, известив его о том, что посулил Иобс Эрик, а жених ни с того ни с сего написал в ответ, что собирается приехать навестить ее. Может, он раскаялся, узнав, что о свадьбе речь идет, или еще что надумал?

Так она и не успела в том разобраться, потому что сани уже поднялись на пригорок и въехали во двор. Сейчас она увидит его, радость-то какая. Будь что будет, все равно для нее счастье превеликое повидать его.

Когда он вылез из саней, на крыльце его встретили не только Анна Сверд, но и ленсман с женой. Он сперва поздоровался с ними, потом подошел к ней, обнял ее и хотел поцеловать, но она застыдилась и отвернулась. Как же дать поцеловать себя, когда кругом люди смотрят! Но тут же она вспомнила, что господа целуются и на людях, и подосадовала, что так глупо вела себя.

Как только он снял шубу, все отправились в столовую, где уже был накрыт стол к кофе — на нем стояли лучшие чашки ленсманши и сдобное печенье. Анну посадили подле жениха. Теперь она каждый день пила кофе с семьей ленсмана и знала, как ей вести себя за столом. Но тут она вдруг сразу забыла все, чему была обучена. Не подумав, она налила чашку до краев, и кофе пролился на блюдце, сахар положила в рот и стала пить вприкуску. Словом, повела себя так, будто пила кофе с матушкой Сверд и Рис Ингборг. Ленсманша глянула на нее, и она поперхнулась.

Она снова посетовала на себя, но утешилась тем, что теперь уже все равно. Она чувствовала, что дело неладно. Жених вел себя с нею совсем не так, как в первый раз. Видно, он приехал разорвать обручение.

Покуда пили кофе, Анна сидела и слушала, как складно он вел беседу с ленсманом и его семьей. И так это легко и свободно говорили они друг другу всякие любезности. Он поблагодарил семью ленсмана за все, что они сделали для его невесты в эти четыре месяца, а фру Рюен ответила, что ему вовсе не за что благодарить их. Анна, мол, такая понятливая и так много пользы от нее в доме, что это они должны быть ей благодарны.

Как только приехал ее жених, ленсманша с дочерьми и сам ленсман стали обходительными, улыбались ласково и говорили сладким голосом. Они, видно, никак не ждали увидеть его таким, каков он есть на самом деле. Верно, они думали, что он урод какой-нибудь, раз женится на бедной далекарлийской крестьянке.

Ну, да это она могла им простить, она и сама не запомнила, что он такой красивый, просто всем взял. Ей было любопытно, заметили ли они, что у него надо лбом будто сияние разливается. Веки у него были тяжелые, опущенные, да и слава богу, а то она сидела бы и глядела как зачарованная в его глубокие, чудные глаза.

Похоже было на то, что жениху пришлось по душе семья ленсмана. Уже убрали со стола, а он все сидел и беседовал с ними. Не только жена с мужем вели с ним разговор, а и дочери их. Анне казалось, что они вовсе отняли его у нее, и с каждой минутой ей становилось все более горько и обидно.

«Чай, они ему ровня, — думала она, — а про меня он и думать забыл. Теперь он видит, что я ему не гожусь в жены. Я ведь и слова молвить не умею. Никто из них и не глянет на меня, будто меня и нету».

Но тут он вдруг быстро повернулся к ней, поднял веки и взглянул на нее. Ей показалось, что солнце выглянуло из-за тучи. Он сказал, что охотно навестил бы пастора, если его усадьба неподалеку.

Да, пасторская усадьба отсюда рукой подать. Стоит только пройти в конец деревни да свернуть налево.

Пасторский дом к северу от церкви, там уже совсем рядом.

Она говорила так неприветливо, что все заметили это и поглядели на нее удивленно и неодобрительно.

— А я думал, — сказал он, — что ты покажешь мне дорогу.

— Отчего ж не показать, покажу.

Она не хотела ему отказывать, думая, что он хочет поговорить с ней наедине, чтобы положить всему конец. Но прикидываться счастливой и веселой она не могла. Сердце застыло тяжелым, мертвым комком у нее в груди. Да, его было просто не узнать. Другие-то его раньше не видели и не могли понять, как он переменялся.

Когда они с женихом вышли на проселочную дорогу, она старалась держаться от него как можно дальше. Был конец февраля, солнце еще не успело растопить сугробы по краям дороги, и они лежали нетронутые. Дорога была довольно узкая, и Анне волей-неволей приходилось идти почти рядом с ним.

Дни уже стали длиннее, и было еще совсем светло. Узкий лунный серп проступал на бледном небосклоне. Ей он казался таким острым и страшным. «Видно, этот серп и порежет мое счастье на кусочки», — подумала она.

Она привыкла к холоду и никогда не спрашивала, холодно ли на дворе. Но такой лютой стужи, как в этот вечер, она еще не видывала. Снег будто вскрикивал каждый раз, как она ступала по нему. «Не диво, что снег жалуется: горе давит меня к земле, ступаю я тяжело, вот и больно снегу».

Наконец они дошли до пасторской усадьбы, и тут только он нарушил молчание:

— Я надеюсь, Анна, ты не станешь противиться тому, о чем я собираюсь просить пастора. Пойми, я хочу сделать, как будет лучше для нас обоих.

Нет, она не станет перечить, ему нечего тревожиться. Пусть все будет так, как он хочет.

— Спасибо за обещание! — сказал он.

После этого они вошли в кабинет, где пастор сидел за столом и писал. Был субботний вечер, и он, видно,

сочинял проповедь. Пастор глянул на них недовольно — они помешали ему.

Жених рассказал ему, кто он такой, и пастор, узнав, что к нему пришел собрат, сразу же переменялся.

Анна осталась стоять у дверей и не проронила ни слова, покуда священники толковали о своих делах. Потом жених подошел к ней, взял ее за руку и подвел к пастору.

— Господин пастор, — сказал он, — я вижу, что вам недосуг, и хочу сразу же изложить дело, по которому пришел. Вам, господин пастор, разумеется, нетрудно представить себе, как может любить и тосковать молодой человек. Всего лишь за день до отъезда я подумал о том, какое счастье было бы, ежели б я возвратился в Корсчюрку не один. Эта идея привела меня в восторг. Но возможно ли осуществить ее? Скромный домик, который я приобрел для жены моей, уже почти готов. Мои добрые друзья обещали поторопить маляра и плотника, чтобы в конце следующей недели можно было бы переехать туда.

Анна видела по лицу пастора, что он не согласен. Он хотел возразить, но жених не дал ему сказать ни слова.

— Я выехал из дому во вторник на прошлой неделе и должен был наверняка прибыть в Медстубюн в четверг или пятницу, однако неожиданные обстоятельства опрокинули все мои расчеты. Загнанные лошади, пьяные кучера, ледоход на реках — из-за всего этого я смог приехать только сегодня днем. Но, господин пастор, неужто это в самом деле может обмануть все мои ожидания, столь милые для меня? Важнейшим препятствием могло бы явиться то обстоятельство, что невеста моя с большой радостью ожидала предстоящую свадьбу, которую ее дядя обещал отпраздновать по случаю нашего бракосочетания. Я могу понять ее радость, однако нимало не сомневаюсь в том, что она готова отказаться от свадебного пира и не мешкая уехать со мной. И потому я прошу вас, господин пастор, оказать нам такую милость, обвенчать нас завтра утром в церкви после богослужения.

Пастор помедлил с ответом. Он знал своих прихожан, знал, что многие уже с нетерпением ожидали трехдневной свадьбы, собираясь пировать три дня, и боялся, что его осудят, если он одобрит такое решение.

— Мои дорогие молодые друзья, — сказал он, — послушайте совета старика, откажитесь от этой затеи. Вы же понимаете, магистр Экенстедт, как много толковали у нас об этой женитьбе. Никто не ожидает, что она пройдет так вот незаметно, на скорую руку. Все надеются, что будет пышная свадьба.

Жених сделал нетерпеливый жест.

— Будем же откровенны, господин пастор! Вам так же, как и мне, хорошо известно, что такое большая свадьба — пьянство, обжорство, драки, бесчинства. Подобные вещи я никоим образом не могу одобрить. Первоначальная цель, побудившая меня приехать сюда, была предотвратить устройство подобного празднества. И потому я полагаю, что самым верным и подходящим для этой цели будет осуществить план, каковой я имел честь вам изложить.

Пастор взглянул на потолок, потом на пол, словно ему не хотелось смотреть на своего настойчивого коллегу. Наконец взгляд его остановился на Анне Сверд. Лицо его просветлело: казалось, он нашел выход.

— Вы, магистр Экенстедт, не изволили сказать мне, каково отношение вашей невесты к этим, как мне кажется, несколько поспешным планам, — сказал он.

Карл-Артур, не задумываясь, ответил:

— Прежде чем войти в эту комнату, невеста моя дала обещание, что согласится со всяким моим предложением.

Анна Сверд невольно слегка подняла брови, и пастор заметил это.

— А ты, Анна, неужто ты в глубине души одобряешь эти планы? — спросил он, глядя невесте в лицо.

Анна покраснела до корней волос. Из этого разговора она поняла лишь одно — жених не раздумал на ней жениться. Ей больше нечего бояться. Он не считает ее темной деревенщиной. Он по-прежнему хочет, чтоб она стала его женой.

И все же она была раздосадована и обеспокоена. Почему жених дорогой не спросил ее, захочет ли она завтра же обвенчаться с ним?

«Не любит он меня так, как я его люблю, — думала она. — Кабы любил, так перво-наперво спросил бы, согласна ли я».

Но хоть она и была обижена и оскорблена, ей не хотелось срамить жениха перед пастором.

— Так ведь мне, господин пастор, откуда знать? Как он велит, так тому и быть, — сказала она.

— Ну, раз дело так обстоит, то я, разумеется, к вашим услугам, господин магистр, — сказал пастор.

II

Ленсманша сидела в гостиной озадаченная, приложив палец к носу. Это означало, что ей нужно было решить нечто важное.

Она, по правде говоря, успела привязаться к Анне Сверд, и ей было жаль, что у молодой девушки не будет пышной свадьбы, которой она так ждала. Фру Рюен еще с вечера в субботу подняла на ноги всех у себя в доме и в Медстубюн, чтобы помочь делу. Вынули, подгладили и подправили подвенечное платье, которое хранилось в Рисгордене, и утром в воскресенье Рис Ингборг с сестрой пришли в усадьбу ленсмана, чтобы одеть невесту, как водилось в старину. Свадебный поезд на пригорке возле церкви благодаря стараниям ленсманши был длинный и выглядел как подобает. Впереди шествовали два музыканта, вслед за женихом с невестой шли ленсман, пономарь Медберг, Иобс Эрик, двое церковных старост и присяжные заседатели с женами. Шествие завершали парни и девушки в праздничных уборах. Все было красиво и торжественно. Даже и готовясь куда дольше, вряд ли можно было сделать лучше.

Свадебного пира в Иобсгордене было нельзя устроить, но ленсманша собрала у себя в доме гостей на скромный свадебный ужин. К счастью, она еще раньше собиралась устроить большой стол в честь жениха

и его новой родни, потому она сумела недурно с этим управиться. К тому же гости были люди разумные и понимали, что о богатом угощении тут не могло быть и речи.

Однако, если б она знала, какой скучный будет праздник, то, верно, оставила бы эту затею. Все приглашенные были словоохотливы, но в этот вечер им, видно, было нечего сказать. Она сама угощала гостей как могла, муж и дочери тоже старались изо всех сил. И жених пытался поддерживать беседу. Но, казалось, в воздухе нависло нечто гнетущее. Может быть, гости сидели и думали о пышной, веселой свадьбе, на которой им так и не довелось побывать.

Что до невесты, так она и вовсе не изволила слова сказать. Она просидела весь вечер, нахмутив густые брови, уставясь прямо перед собой. Она походила на обвиняемую, ожидавшую приговора.

«Вот уж поистине неладно супружество начинается, — думала ленсманша. — Хотелось бы знать, о чем сейчас задумалась Анна. Может быть, ей горько оттого, что не справили свадьбу в Иобсгордене?»

Чтобы как-нибудь убить время, ленсманша обратилась к магистру Экенстедту и спросила, не изволит ли он сказать им несколько слов. Он сразу же выполнил ее просьбу, и вот теперь она сидела и слушала его. Говорил он свободно и складно, однако она не могла не признать, что его слова испугали ее. «О чем это он говорит? — думала она. — Он собирается идти по льду, который недостаточно крепок, чтобы выдержать его».

Она все более удивлялась его словам. «Что все это, Господи прости, означает? — говорила она себе. — Он хочет жить в бедности во имя Христово? И для того он выбрал жену, близкую ему по духу, которая, как и он сам, презирает богатство, которая, как и он, понимает, что нет иного счастья, кроме счастья творить ближним добро во имя Божье?»

У жены ленсмана, которая уж куда как хорошо знала, что молодая невеста после обручения только и мечтала о пасторской усадьбе, где будут лошадь и корова, служанка и работник, просто голова кругом пошла.

«Какое ужасное заблуждение! — думала она. — Анна Сверд ничего о том не знает. К чему же все это приведет?»

Чем дольше она слушала его, тем яснее представлялось ей, что он за человек.

«Моей дорогой Анне достался пустой мечтатель, — думала она. — Он выбрал себе в жены крестьянку, чтоб она была привычна к работе и сама делала все по дому. Он, верно, из тех молодых людей, что хотят жить по-мужицки. Нынче уже не в моде быть барином».

Она переводила взгляд с одного гостя на другого. О чем думает сейчас Иобс Эрик, который никогда копейки даром не потратил? О чем думает старая Берит, которая не на жизнь, а на смерть боролась с нищетой? О чем думает Рис Ингборг, которая ни одной ночи не уснет, чтобы о хозяйстве своем не вспомнить? И что думает об этом сама новобрачная, которая три года ходила с коробом по дорогам?

«Они, верно, не меньше моего перепугались, одна-ко сидят себе спокойно и делают вид, что им до того и дела нет».

Она поняла, что эти люди не приняли слова молодого пастора всерьез. Речи о благословенной бедности полагаются ему по должности. Складно говорит, поучительно, но никто из них ни на минуту не поверил, что он сам собирается жить так, как поучает других. Чего же им тревожиться? Они знают, что есть и бедные священники, никто и не думает, что такому молодому дадут большой приход, и все же его жене с ним будет куда лучше, чем дома. Он ведь человек хороших кровей, а такие в Швеции с голоду не умирают.

Ленсманша же понимала, что он говорит правду и что жену его ожидают тяготы и заботы, и кто знает, смирится ли она с этим. «Молодые ведь еще вовсе незнакомы, — думала она. — Анна и писать-то не умеет, стало быть, они даже через письма не могли познакомиться ближе. Они и сейчас так же мало знают друг друга, как тогда, когда повстречались на проселочной дороге. А не лучше ли открыть глаза невесте? Она достойная девушка, хотя ей и не хочется жить в беднос-

ти. Могу ли я позволить ей вступить в брак, не сказав, что ее ожидает?»

И все же она решила не вмешиваться в чужие дела. Не будь они уже мужем и женой, тогда ее долг был бы предостеречь Анну. А теперь разумнее всего было предоставить им самим во всем разбираться.

Когда ужин подошел к концу, гости потихоньку разошлись, а дочери ленсманши отвели невесту наверх, в гостиную, где была постлана брачная постель, молодой жених сказал хозяйке, что ему надобно поговорить с ней.

После этого разговора, который продолжался не менее получаса, фру Рюен отправилась к себе в спальню, взяла с ночного столика Библию и, держа ее в руках, поднялась в гостиную, где дочери ее только что сняли с невесты подвенечное платье и все украшения и уложили ее в постель.

С первого взгляда она заметила, что густые брови Анны все так же нахмурены, что темные глаза все так же смотрят в одну точку, словно видят надвигающуюся беду. Увидев ленсманшу с Библией в руках, она глубоко-мысленно кивнула несколько раз, словно хотела сказать: «Так я и знала. Весь вечер я этого ждала».

Ленсманша не спешила. Она сняла нагар со свечей, отослала дочерей спать, надела очки и принялась перелистывать Библию. Найдя нужное место, она сказала Анне, что хочет прочесть ей несколько строк из Писания перед ее вступлением в брак.

Анна Сверд села в постели и сжала руки. Она считала, что читать Библию вовсе ни к чему. Она понимала, что это только вступление к чему-то тягостному, что она сейчас услышит. Уж лучше бы сразу говорила.

Ленсманша начала читать главу тринадцатую из Первого послания к коринфянам:

— «Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, любовь не гордится;

Не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла;

Не радуется неправде, а сорадуется истине.

Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит».

Ленсманша, вспомнив, видно, свою свадьбу, читала эти удивительные слова взволнованно, и Анна невольно заслушалась. Ей казалось, будто слова эти были взяты из ее сердца. Никогда она еще не слышала из Библии ничего вернее и справедливее.

Когда ленсманша перестала читать, Анна повторила последний стих про себя.

— Может быть, тебе еще раз прочесть?

— Да, — еле слышно прошептала взволнованная невеста.

Брови у нее теперь были уже не так сурово нахмурены. И взгляд не был больше так неподвижен. У ленсманши появилась надежда, что она сможет выполнить данное ей поручение, не встретив слишком бурного сопротивления.

«Так и есть, — подумала она. — Анна Сверд далеко не глупа. Она слышала только что речь своего мужа и, верно, понимает, как обстоит дело».

Она прочла еще раз прекрасные слова о любви и отложила Библию.

— Если окажется, что все не так, как ты ожидала, подумай об этих словах.

Глубокие, скорбные глаза глянули на говорящую. Сказанное можно было принять за обычное поучение невесте, но это могло быть и предисловием к чему-то страшному, что должно с ней случиться.

Ленсманша поспешила объяснить свои слова.

— Видишь ли, я хочу сказать, что если любишь истинною любовью, то не станешь думать о житейских делах. Замуж выходят не за лошадь и корову, не за служанку с работником.

Фру Рюен показалось, что Анна ведет себя весьма странно. Подобный намек должен бы был ужасно обеспокоить ее. А она не сказала ни слова и сидела не шелохнувшись. Надо было объяснить ей все подробнее.

— Не подумай, дитя мое, что я непрошено вмешиваюсь в твои дела. Когда ты поднялась наверх, твой муж

пришел ко мне и откровенно рассказал о том, что вас ждет в будущем. Я спросила его, знаешь ли ты все это, и он ответил, что ты знала все с первой же вашей встречи.

Тут Анна Сверд наконец заговорила:

— Что я знала? — спросила она, но голос ее звучал совершенно безразлично. Видно, не это она боялась услышать.

— Разве ты не помнишь, — сказала фру Рюен, невольно повышая голос, словно она говорила с кем-то, кто еще не совсем проснулся, и хотела разбудить его, — разве ты не помнишь, как он говорил тебе, что хочет вести жизнь во имя Христово? Нынче вечером он говорил то же самое:

— Так ведь...

— Я сразу заподозрила, что ты ничего не поняла. И когда я объяснила это твоему мужу, он тут же попросил меня сказать тебе, что тебя ожидает. Он просил меня сказать, что у него нет пасторской усадьбы. Он всего лишь помощник пастора, жалованья ему положено сто пятьдесят риксдалеров. До сих пор он жил на всем готовом у пастора, а теперь, после женитьбы, он будет получать вместо того муку, масло и молоко. На прожитье вам хватит, но и только. И раз ты ожидала большего...

Выслушав это, Анна Сверд задала ленсманше вопрос, и та поняла, что она сделала это из приличия, ибо ей, видно, было все безразлично. Она спросила, где они будут жить.

— Прошлой осенью твой муж получил небольшое наследство от тетки по отцовской линии, — сказала фру Рюен. — Всего тысячу риксдалеров и мебели на одну комнату. На эти деньги он купил домишко — комната да кухня. Хватит вам, пожалуй, на двоих-то. Однако ни пристроек, ни пашен, ни лугов там нет. Тебе самой придется стряпать, топить печь, мыть и все прочее делать по дому.

Ленсманша подумала было, что Анна Сверд только прикидывается равнодушной и что буря, бушующая сейчас в ней, обрушится потом на мужа, как только тот

явится. Однако и в это поверить было трудно. Эта сильная, здоровая женщина сидела и молча смотрела, как рушатся все ее надежды, не выказывая при том ни малейших признаков сожаления.

— И зачем только я у тебя обучалась? Экая досада!

— Об этом ты не горюй. Мне было приятно обучать такую понятливую девушку. Ты ведь знаешь, дитя мое, что в нашей усадьбе все полюбили тебя. Это первая горькая минута, которую я переживаю из-за тебя.

Анна Сверд не сказала ни слова благодарности за всю ее доброту, и ленсманшу это даже слегка раздосадовало.

— Может быть, ты утешаешься мыслью о том, что мужу твоему скоро дадут приход побогаче. Так и на это мало надежды. Он, по крайней мере, говорит, что хочет всегда жить в бедности. А ежели ты надеешься на его богатых родителей, так могу тебе сказать, что он рассорился с ними из-за тебя и ему нечего ждать от них ни помощи, ни наследства.

— Матушку жалко, — сказала Анна Сверд. — Она-то думала, что ей будет у нас кусок хлеба на старости лет.

— Если пастор в Корсчюрке умрет, — продолжала фру Рюен безжалостно, — то твоего мужа пошлют помощником пастора в другой приход, а хуже всего то, что ты не сможешь последовать за ним, тебе придется жить одной в вашем домишке. А пастору в Корсчюрке уже семьдесят шесть, долго он не протянет.

— Вижу, нелегко нам будет, — сказала Анна все так же равнодушно.

— Поскольку еще неизвестно, что вас в жизни ожидает, — сказала фру Рюен, — твой муж, по-моему, прав. Он, собственно говоря, хотел, чтобы я спросила тебя... Ему, видно, трудно сделать это самому. Он просил, чтобы я дала тебе совет...

Резкое движение Анны заставило ее замолчать. Анна круто повернулась к ней и наклонилась вперед в напряженном ожидании. Сонливости и вялости как не бывало. Ленсманша слегка покраснела.

— Дитя мое, — сказала она, — ты на меня так смотришь, что мне просто страшно делается. Мне кажется,

однако, что он вправе сомневаться. Вам было бы неразумно заводить семью. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я говорю.

Анна Сверд откинулась на подушку. Она не плакала, только молча ломала руки, а лицо ее исказила гримаса отчаяния.

— Так я и знала, — сказала она, — того и ждала. Разлюбил он меня.

— Не надо так убиваться, дитя мое! Твой муж не такой, как все мы. Я знаю, он любит тебя, но люди, подобные ему, считают, что служить Богу — значит отказать от того, чего более всего желаешь.

— Кабы любил, так не посылал бы тебя с такими советами, — закричала Анна пронзительно. — Неужто ты не заметила, что я ему наскучила? Ну, теперь он от меня избавится.

Она сбросила с себя одеяло, рывком схватила чулки и башмаки и принялась одеваться.

— Дитя мое, — пыталась успокоить ее фру Рюен. — Ты ошибаешься, уверяю тебя. Супруг твой сказал мне, что питает к тебе нежную любовь. С самого начала, как только он приехал сюда и увидел тебя, он старался побороть свои чувства. Он не смел сам сказать тебе об этом.

Но слова ее не помогли. Анна Сверд натянула на себя одежду с такой быстротой, будто спасалась от пожара.

— Еще чего! — крикнула она. — Так я ему и поверила! Как же, любит он меня, коли такую свадьбу справил! И чего ему только от меня надо!

Ленсманша видела, как быстро снуют ее пальцы, как дико горят глаза на бледном лице. Анна не вышла, а бросилась вон из комнаты.

Фру Рюен нашла Карла-Артура в темной зале. Он стоял на коленях, погруженный в молитву. Она кинулась к нему и стала трясти его за руку. Он поднялся, покраснев от смущения.

— Я просил Господа, чтобы Он вразумил Анну принять мои слова как должно.

— Сейчас не время молиться! — воскликнула фру Рюен и еще сильнее потрянула его за руку. — Если вы не

побежите тотчас же за Анной и не покажете ей, что любите ее, как должно мужу любить жену, придется нам завтра поутру искать ее где-нибудь в проруби в Дальэльвене.

НОВЫЙ ДОМ

Анна Сверд прямо-таки создана была коробейничать. Она безошибочно выбирала товар, который можно предложить покупателю. Не случилось с ней, чтобы она положила в мешок неходовой товар. Если люди не хотели покупать, она уходила, не навязывалась. Попадались покупатели — охотники рядиться, она не мешала им рядиться вволю и делала вид, будто огорчилась, что продешевила, чтобы люди порадовались выгодной покупке. К тому же торговала она без обмана — никогда не предлагала материя, побитую молью либо подмоченную. А если шелковый платок долго лежал в мешке и потерялся на сгибе, она сразу же показывала изъясн покупателю и отдавала его чуть ли не даром.

Всякому было ясно, что Анна Сверд составила бы себе небольшой капитал, если бы продолжала торговать. Но с того дня, как она повстречала на проселочной дороге Карла-Артура Экенстедта, ее словно подменили. Не то чтобы она стала менее проворной, расчетливой и смекалистой, чем прежде. Просто все эти таланты, что раньше помогали ей зарабатывать на хлеб насущный, стали после этой встречи слугами ее любви. Теперь она не переставала удивляться тому, как она раньше гналась за заработком. Неужто это она стояла на ярмарке, радуясь каждому покупателю? Неужто это она, Анна Сверд, бродила по дорогам, только и думая, как бы припасти побольше денег? Просто даже не верилось. Но ведь в ту пору она не знала, что на свете важнее всего.

Новобрачные пробыли несколько дней в Медстубюн и рано утром в среду отправились в путь, а в пятницу к вечеру прибыли в Корсчюрку, довольные и счастливые, и поселились в своем маленьком домике на склоне холма за деревней.

После того как ленсманша пробрала Карла-Артура, желая ему добра, он не осмеливался держать Анну в неведении о том, что ее ожидает. Он спросил, не заметила ли она прошлым летом, когда была в Корсчюрке, маленькие домишки на пригорке, за садом доктора Ромелиуса. У Анны, которая за три лета исходила этот приход вдоль и поперек, сразу же встали перед глазами две лачуги, такие ветхие, что, того и гляди, развалятся. В эти домишки она не заходила — коробейнице нечего делать в таких хибарах, где хозяевам и окна-то разбитые не на что починить. Но для порядка она узнала, чьи это дома. В одном из них жил старый солдат, который с грехом пополам перебивался на пенсию в двадцать риксдалеров в год, в другом — бедная девушка по прозвищу Элин Матсаторпя, которая мыкала горе со своими младшими братишками и сестренками.

Однако она не слыхала о том, что Карл-Артур надумал выкликнуть всех десятерых на аукционе для бедных, где их должны были раздать по чужим людям, и о том, что этот аукцион привел к счастливой перемене в их судьбе. Несколько влиятельных дам решили создать благотворительное общество, чтобы опекать эту ораву ребятишек. Они собирали деньги на починку дома и припасали детям еду и одежду. Все было бы как нельзя лучше, но тут вдруг захворала и умерла старшая сестра. Устала бедняжка, надорвалась; можно было подумать: она, увидев, что теперь ее братья и сестренки обуты и одеты, погреб полон картошки, чулан набит мукой и селедкой, дырки в полу заколочены, и крысы больше не шастают по углам, и окна не надо затыкать тряпьем, — решила, что она свой долг на этом свете исполнила, и улеглась, чтобы вкусить долгожданный покой.

Этим, однако, она причинила Карлу-Артуру немало хлопот. Добросердечные барыньки, опекавшие детей, тут же сыскали им новую няньку — старую деву, которая долгие годы была в услужении у пастора. Она обихаживала их, как могла, только трудно было старухе совладать с десятью озорными ребятишками. Карлу-Артуру

хотелось помочь ей управляться со своими подопечными, однако ему было трудно это делать, покуда он жил в пасторской усадьбе. Потому-то он, как только получил наследство, поспешил купить и подновить домишко солдата, стоявший рядом с лачугой, где жили десять ребятишек.

Вот в этом-то доме, стало быть, и должны были поселиться новобрачные. Молодой пастор заверил жену, что она просто не узнает этот домишко — так хорошо он все устроил. Покупкой своей он был доволен. Теперь у него был свой домик, маленький и скромный, расположенный в хорошем месте, к тому же отсюда удобно было приглядывать за оравой малышей.

Анну Сверд в эти дни занимало лишь то, что муж ее любит, потому она только засмеялась в ответ и, казалось, всем была довольна. Да и что она могла поделать? Они уже повенчаны, она дала обет делить с ним горе и радость. К тому же она надеялась на свои силы. Как бы туго им ни пришлось, она сумеет и жильё раздобыть, и прокормить себя и мужа.

Когда они подъезжали к Корсчюрке, Анна Сверд сказала мужу, что у нее на родине есть такой обычай: молодожены, переступив в первый раз порог своего дома, должны встать на колени и молить Господа, чтобы Он благословил их жилище и ниспослал им счастье в стенах этого дома. Карл-Артур сказал, что это прекрасный обычай и что им нужно сделать то же самое. Однако, когда они приехали домой, никто об этом и не вспомнил.

Случилось это вовсе не оттого, что Анну Сверд столь приятно поразила их лачуга. Да она почти и не изменилась с тех пор, как Анна ее видела. Никак нельзя было сказать, что она превратилась в господскую усадьбу. Тот, кто чинил ее, даже не удосужился пристроить какое-нибудь крылечко, и, как и при старом солдате, у двери лежали неровные, шаткие камни. Не раз призадумашься, прежде чем войдешь в такую лачугу с коробом. Она сказала это мужу, чтобы подразнить его, и они оба рассмеялись. Оба были в наилучшем расположении духа.

Стало быть, вовсе не из-за жилища своего они забыли о том, что надо упасть на колени у порога и просить Бога осенить благодатью их новый дом. А случилось это оттого, что в тот самый миг, когда сани остановились, дверь дома отворилась и маленькая тучная женщина вышла на шаткие камешки встречать их.

Анна Сверд недаром три лета кряду исходила Корсчюрку вдоль и поперек с коробом за плечами. Она знала по имени каждого человека в приходе, но эту женщину не сразу признала. Однако через несколько секунд она смекнула, что это, должно быть, фру Сундлер, жена органиста. Когда Анна в последний раз видела ее, у той были красивые длинные локоны, а теперь волосы ее были коротко острижены, как у мальчишки, отчего ее и было трудно узнать.

Да, уж верно, это была фру Сундлер, ведь Карл-Артур в дороге все время говорил о ней. Это она помогла ему купить дом и наняла рабочих. Да и сама-то женитьба его была делом ее рук. Кабы не она, не сидеть бы им вдвоем в этих санях и не радоваться счастью. Чего же тут удивляться, что фру Сундлер пришла к ним в домик истопить печи и встретить молодых, она ведь так старалась поженить их.

Фру Сундлер простерла руки и заключила молодоженов в объятия. С волнением в голосе она заявила, что счастлива видеть их, что наконец-то исполнилось ее самое заветное желание, что она так рада за Карла-Артура — ведь сбылась его мечта иметь маленькую серенькую избушку и жену из простых, чего он желал всегда, сколько она его помнит.

Покуда фру Сундлер произносила свою краткую речь, они позабыли о намерении просить Бога благословить их дом. С этого момента жена органиста целиком завладела ими обоими.

Наконец она выпустила их из своих объятий, отворила дверь и провела их в маленький коридорчик, разделявший дом на две половины.

Они сняли верхнее платье и развесили его в коридоре, а фру Сундлер тем временем рассказала, как внутренний голос шепнул ей, что они должны приехать

именно в этот вечер. Едва она успела прибежать с кофейником под мышкой в это воробьиное гнездышко — так она мысленно называла дом Карла-Артура — и накрыть на стол, как услышала звон колокольчиков на пригорке. Она была несказанно рада тому, что подошла вовремя встретить их и что им не пришлось входить в пустой дом.

Однако не слова фру Сундлер заставили Анну Сверд призадуматься, а то, что как только появилась фру Сундлер, Карл-Артур вдруг сразу переменялся. Он уже не был веселым и беспечным, как во время поездки, а как-то оробел и старался изо всех сил угодить фру Сундлер.

Молодая жена чувствовала, что он был не очень-то рад появлению фру Сундлер как раз в тот момент, когда они впервые входили в свой дом, но, видно, припомнив все ее заслуги, тут же раскаялся в этом. Повторяя имя «Тея» чуть ли не через каждые два слова, он снова принялся рассказывать, сколь многим он ей обязан. Это она вбила крючки в коридорчике, чтобы им было на что повесить одежду. Подумать только, и об этом она позаботилась! Он открыл дверь направо и пригласил жену войти. Кабы она не знала точно, что в этой кухне ей придется хозяйничать и коротать время, так не поверила бы тому. Видно, он пригласил ее сюда, чтобы она смогла оценить все старания фру Сундлер по достоинству.

Кухня, занимавшая полдома, показалась ей намного больше, чем она того ожидала. Она была раза в три просторнее каморки на скотном дворе и в Иобсгордене. Стены пахли клеем и известкой — так всегда пахнет в необжитых местах, и, может быть, из-за этого запаха здесь было неуютно. Да и пусто как-то было. Она-то мечтала не о таком. Ей вспомнился большой дом в усадьбе Рисгорден — стенной шкаф, голубой с коричневым, высокие с розочками часы из Муры, кровать с пологом из домотканой материи. Ей бы тоже хотелось, чтобы у нее на стене между шкафом и кроватью висел святой Иосиф в богатой золотой карете, а над окном — дева Мария, кивающая ангелу в золотых одеж-

дах. Однако грех желать слишком многого. Надо довольствоваться тем, что имеешь.

Да и тут было немало всего, и все это раздобыла фру Сундлер — и стол со стульями у окна, и ушат для воды у двери, и ларь для дров возле печки. Послушать мужа, так можно вообразить, будто она первая на свете придумала, что в кухне нужны сковородки и котлы, мутовки и поварешки, кофейники и лоханки, ложки и ножи. И если даже не сама фру Сундлер отгородила один угол в кухне, приспособила его под кладовку и прибила полку к стене, все равно ей надо говорить за все это спасибо.

Как только Анна вошла в кухню, она сразу заметила узкий складной диванчик, стыдливо спрятавшийся в самый дальний угол. Деревянное сиденье было поднято и прислонено к стенке, а само ложе застелено. Белье было чистое, накрахмаленное. Только вот узенький был диванчик, как гроб. Анна сразу заметила, что он не раздвигается, шире его не сделаешь. Втиснешься в него, так, верно, всю ночь будешь бояться, что поутру из него не вылезешь.

Этот диванчик заставил ее призадуматься. Она пыталась заставить себя слушать рассказ мужа о том, что для них сделала Тея. Она ходила по аукционам и скупала для них за бесценок домашнюю утварь и мебель. Но, во-первых, он уже рассказывал ей об этом по дороге в Корсчюрку, во-вторых, у нее никак не выходил из головы диванчик. Раз он был застелен, стало быть, одному из них придется на нем спать. Другого выбора тут не было.

Фру Сундлер угостила их не только кофе со сдобными сухариками, она подала им также хлеб с маслом и яйца. Анна Сверд не могла не признать, что все было вкусно, однако, слушая Карла-Артура, можно было подумать, что он ничего вкусного не едал с тех пор, как был в последний раз в гостях у фру Сундлер. Ленсманша славилась искусством стряпать, но муж, видно, позабыл все на свете, даже свою жену, лишь бы угодить фру Сундлер. Казалось, он в чем-то провинился перед ней и старался заслужить прощение.

Отведав яств, припасенных фру Сундлер, и расхвалив все донельзя, он поднялся из-за стола и прошел в другую комнату. Он чуть было не задел диванчик, и Анна Сверд подумала, не похвалит ли он и его, но о диванчике он почему-то не сказал ни слова.

Они прошли через коридорчик и вошли в горницу, не такую большую, как кухня, но все же довольно просторную. Когда молодая жена заглянула туда, ей захотелось бежать без оглядки, потому что это была настоящая господская комната. Если в кухне было пусто, то здесь было полно мебели: письменный стол, книжный шкаф, диван с низеньким столиком, бюро, кровать и еще много всего. Стало быть, эту мебель он и получил в наследство от тетки. Все вещи из темного блестящего дерева, стулья и диван обиты шелком. Все изукрашено бронзой, куда ни глянь — так и горит.

Стены в этой комнате были оклеены обоями, на окнах длинные занавески, в углу не плита какая-нибудь, а изразцовая печь. Над диваном — большое зеркало в золоченой раме, на потолке — люстра, на письменном столе — серебряные подсвечники. Прямо как в доме у Экенстедтов в Карлстаде.

В комнате, как и в кухне, стояла застеленная на ночь кровать, тоже односпальная, не бог весть какая широкая.

Да, теперь ей стало ясно одно: здесь будет жить он, здесь он будет работать и спать. Ее же место в кухне, там ей и спать положено. Он должен жить, как пристало барину, а ее будут держать в прислугах.

А муж все расхваливал Тею. Когда он поехал на свадьбу, изразцовая печь в этой комнате еще не была готова и мебель нельзя было расставить. Тея все привела в порядок за время его отсутствия. И подумать только, как красиво и уютно здесь стало! Разве можно представить себе, что находишься в бедном, стареньком домишке? Да, комнаты наряднее этой во всей деревне не найти.

Он пытался и жену заставить похвалить фру Сундлер, но она думала о своем и не сказала ни слова.

Карл-Артур и Тея так увлеклись, разглядывая ящики и полочки письменного стола, что не заметили,

как Анна выскользнула из комнаты. Она вошла в кухню, взяла свечу с кухонного стола и вышла в коридорчик, чтобы отыскать свою шубейку и чепец. Она была совершенно спокойна. Она не возмущалась, как тогда, в свадебную ночь. Она и не думала что-нибудь над собой сделать, а просто решила пойти на квартиру к хозяевам, у которых жила прошлым летом, когда торговала в Корсчюрке, и попроситься у них переночевать. Ей нужно было что-то сделать, чтобы показать ему и его Тее, что она хочет быть в доме хозяйкой, а не прислугой.

Отыскивая свою одежду, она заметила, что в коридорчике есть еще одна дверь. Ключа в замке не было, но она не растерялась из-за такой малости — вынула ключ из кухонной двери, осторожно вставила его и отперла замок. Она попала не то в комнатушку, не то в чуланчик с одним узеньким окошком. Здесь было довольно тепло, хотя печки не было — стенка изразцовой печи из комнаты мужа выходила сюда в одном углу. Стены голые, побеленные, кое-где прибиты вешалки. Видно, это был чулан для одежды.

И тут, к своему превеликому изумлению, она увидела в глубине чулана настоящую парадную кровать. Нарядный красный полог, пышные пуховые перины, широкий кружевной подзор на простынях, одним словом — лучшего и желать нечего.

Молодая жена постояла молча, глядя на это чудо, потом сняла шубейку и чепец, вставила ключ на место и воротилась в кухню.

Сперва она посидела там одна, потом они, видно, спохватились, что ее нет, и поспешили пойти к ней.

— Куда же ты подевалась? — спросил Карл-Артур. — Устала с дороги? Может быть, хочешь прилечь?

— Я пробовала было лечь в кровать, что для меня постелена. Да боялась, что не улягусь в ней, — сказала она с досадой, хотя при этом засмеялась.

— Ну и как же, улеглась? — спросил Карл-Артур и тоже засмеялся.

— Поди-ка затолкай корову в телячье стойло. Что вдоль, что поперек не влезет. Может, и помещусь, коли

на бок лягу. И то морока будет одеяло скидывать да на пол вставать, когда на другой бок повернуться захочу.

Говорила она это без злобы, и муж продолжал смеяться. Однако она не могла не заметить, что он был смущен и смеялся, чтобы скрыть свое замешательство.

— Тебе вот смешно. Нет, чтобы обо мне позаботиться. Я, чай, трое суток в санях сидела, заколела вся, аж кости ломит.

Карл-Артур подошел к диванчику и взглянул на него.

— Ложись в постель, что в моей комнате! — сказал он. — А я попытаюсь устроиться в этом ларе.

— Еще чего выдумал! На то ты, что ли, женился, чтоб спать всю ночь на боку, свесив ноги? Нет уж, я на полу постелю. Мне не впервой, да и то боязно. Холодно ночью-то будет, как огонь в печи погаснет. Не помирать же мне теперь, когда я своим домом зажила.

Ее муж вовсе растерялся. Он бросил умоляющий взгляд на фру Сундлер, своего доброго друга, но та барабанила пальцами по столу и делала вид, что не хочет слушать, как муж с женой говорят о своем.

— Коли в зимнюю-то ночь на полу спать ложишься, так одну овчину надо подстелить, а другой укрыться. А у нас всего-навсего одна овчина, так, видать, придется мне, муженек, идти на деревню к хозяевам, у которых я прошлым летом стояла. Пускай приютят меня на ночь. Спроси-ка у фру Сундлер, не лучше ли так будет, ведь она для нас куда как хорошо все устроила.

Оба, муж и жена, повернулись к фру Сундлер, будто ждали ее совета, но она сидела молча и делала вид, что в такие дела вмешиваться не желает.

Анна Сверд протянула мужу руку.

— Ну, прощай покуда! — сказала она.

Карл-Артур слегка покраснел и бросил отнюдь не любезный взгляд на фру Сундлер.

— Нет, это уж слишком, — сказал он. — Тея, не сможешь ли ты нам что-нибудь придумать? Пожалуй, мне лучше лечь на диване в своей комнате. Я спал на нем прежде не раз, когда бывал в гостях у настоятеля. Анна же может спать в постели. Придется как-то приме-

ниться к обстоятельствам. Диванчик, который ты добыла для Анны, в самом деле никуда не годится. Сейчас перенесем белье.

Фру Сундлер беспокожно заерзала на стуле, когда Карл-Артур обратился к ней со столь резкой тирадой, но не сказала ни слова.

Зато Анна не медлила с ответом.

— Еще чего выдумал! — повторила она. — На дорогом шелку спать? А на диване, что в кухне, там и матраца-то нет, одна солома под простынями. Неужто ты ее потащишь в парадную горницу, которую фру Сундлер так для тебя изукрасила? Нет уж, лучше я пойду.

Она опять протянула ему руку, но он с досадой оттолкнул ее. Он был так растерян, что ей стало жаль его.

— Уж спасибо за доброту твою, за то, что позволил мне спать у тебя в комнате, — сказала она уже мягче. — Только сам знаешь, так дело не пойдет. Небось дома, в Медстубюн, и на постоянных дворах мне можно было спать с тобой в одной комнате. А здесь, в Корсчюрке, все знают, что я, мужичка, тебе, барину, не чета. Здесь мне надо спать на кухне, как прислуге.

— Полно, Анна! — воскликнул он и еще раз оттолкнул руку, которую она ему протянула. Больше он ничего не нашелся сказать. Ей очень хотелось посмотреть, станет ли он ее удерживать, однако она боялась доводить его до крайности. Сейчас ей уже не было досадно, она знала, что козыри у нее на руках. Напротив, она даже еле удерживалась от смеха.

Она подошла к фру Сундлер.

— Не чудно ли выходит: я ухожу, а ты остаешься? Ведь в этакой большой деревне от людей ничего не скроешь. Будет тебе комедь-то ломать.

Тут только фру Сундлер подала признаки жизни.

— О чем вы говорите, фру Экенстедт? — сказала она.

— Сказывал мне дядя мой, что люди у вас на юге гораздо шустрее шутить, да не думала я никогда, что так скоро сама это увижу, — ответила Анна. — Ты вот стоишь и слушаешь, как мы с мужем ссоримся и бранимся оттого, что мне спать негде, а сама знаешь, что в доме есть кровать с пологом, с подушками и перинами,

такая, что лучше и не сыскать. Вот ты какую шутку с нами шутила. .

Карл-Артур от удивления широко раскрыл глаза и повернулся к фру Сундлер, ожидая от нее объяснений. Но она и тут нашлась:

— Я просто не знала, как быть. Вчера вечером привезли кровать — свадебный подарок из пасторской усадьбы. Я думала, что пасторша сама захочет вам ее преподнести, и потому сочла нужным запечатать ее. Но раз фру Экенстедт уже видела...

Анна Сверд проснулась среди ночи с чувством, что она позабыла сделать что-то очень важное. Так оно и есть: она вспомнила, что они с мужем забыли испросить Господа ниспослать благословение их дому.

«Да простит нас Господь, — подумала она. — Это все фру Сундлер виновата». Она повернулась на другой бок и снова заснула.

УТРО ПАСТОРШИ

На следующее утро Анна Сверд проснулась, как только стало светать. Однако встала она не сразу, а сперва повела сама с собой разговор.

— Гляди-ка ты, новая пасторша лежит себе и дожидается, когда нарядная горничная принесет ей кофею со свежей булкой, — пробормотала она и засмеялась. Настроение у нее было самое хорошее, утреннее.

Она еще немного полежала в постели, несколько раз приподнималась и глядела на дверь

— Что же это в кухне никто и не шевелится, а уже, поди, шесть часов. Ничего не поделаешь, видно, придется самой вставать да за дело приниматься.

Муж еще спал, и молодая жена оделась тихонько, чтобы не будить его. Потом она в чулках прошмыгнула через коридорчик в кухню и там надела башмаки.

Тут она огляделась по сторонам, широко раскрыв глаза от удивления.

— Уж я всякого насмотрелась на своем веку — и худого, и хорошего, — сказала она, — но такого еще не видывала. И кухарка проспала, и горничная. А уж в пер-

вое-то утро им всяко бы надо постараться. Ну и лентяйки же они, видать, — ни полена дров на кухне, ни капли воды. И огонь в печи погас, а это того хуже. Чтоб мне пусто было, когда это не фру Сундлер наняла прислугу: ведь это она хозяйничала в доме, а от нее ничего путного не жди.

Долго она причитала, и вдруг ее осенило, она хлопнула себя по лбу.

— Вот дурная-то голова! Драть меня надо, да и только! — воскликнула она. — Как это я сразу не догадалась — ведь они, поди, в хлеву коров доят.

Она прошла через коридорчик, ступила на шаткие камешки и поглядела вокруг.

— Вот тебе и на! — сказала она, меряя взглядом низкий плетень, дровяной сарай, погреб и колодец. Ничего больше во дворе не было.

— Охота мне знать, что скажет новая пасторша, как поглядит на все эти пристройки. Нелегко будет пастору с пасторшей закупить столько коров, хлев-то больно велик.

Она прошлась по двору, потом снова остановилась и протерла глаза.

— Поди, догадайся, где тут у них людская, — пробормотала она. — В дровяном ларе ни щепочки. Работник, верно, на конюшне лошадей чистит. Вот то-то и оно. Хорошо еще, что Анна Сверд сюда приехала, а то новая пасторша вовсе бы растерялась.

Минуту спустя она очутилась в сарае, взяла с чурбана топор и принялась ловко и умело колоть дрова. Сперва дело пошло на лад, но потом топор застрял в чурбане, и ей пришлось изрядно подергать его и постукать, куда она его вытащила.

В то время как она возилась с чурбаном, у сарая слышались шаги, и в открытых дверях показался долговязый мальчишка.

«И чего ему тут надобно? — подумала Анна. — Теперь вся деревня станет говорить, что новой пасторше самой колоть дрова приходится. Где ему понять, что это не новая пасторша дрова колет, а всего лишь Анна Сверд».

Когда она вытащила топор и снова взмахнула им, мальчонка подошел к ней.

— Давайте я наколю вам.

Она быстро глянула на него и увидела, что он худой и желтый лицом, и покачала головой.

— Еще чего! — сказала она. — Да тебе, поди, и десяти нет.

— Четырнадцать, — сказал мальчик. — Уж который год дрова рублю. И нынче утром дома нарубил.

Он показал на домишко, стоявший рядом. Из трубы дома поднимался столбик дыма.

Предложение было заманчивое, но Анна Сверд, как всегда, была осмотрительна.

— Ты, поди, плату запросишь?

— Да, — ответил мальчонка, ухмыляясь и показывая зубы. — Добрую плату запрошу. Только наперед не скажу какую.

— Сама нарублю, коли так.

И она снова принялась лихо колотить дрова, однако вскоре снова вышла незадача — топор опять застрял.

— Да я не денег прошу, — сказал мальчик.

Она еще раз взглянула на него. Плотно сжатый рот, маленькие, прищуренные глаза. Он казался старичком, хитрым, но никак не злым. И вдруг она догадалась, что он — один из десяти ребятишек, которых опекает ее муж. «Да он все равно что свой, — подумала она, — поладим с платой-то».

— Ну, давай коли, — сказала она. — После придешь ко мне, хлеба дам с маслом.

— Спасибо, — ответил мальчонка, — у нас в доме еды вдосталь, самим не съесть.

— Поди ж ты, какую же плату положить такому молодцу?

Мальчонка уже взял в руки топор, теперь ему нечего было утаивать.

— А короб у вас при себе? Пришли бы к нам да показали мне да сестренкам моим и братишкам, что у вас там есть.

— Да ты никак спятил! Неужто ты думаешь, что жена пастора станет с коробом ходить?

Тут она услышала шаги за спиной. К ним подошла девочка. У нее было тоже изжелта-бледное озабоченное лицо. Нетрудно было догадаться, что они брат и сестра. Девочка быстро подошла ближе к брату.

— Что она сказала? Даст нам в короб заглянуть?

Это был настоящий сговор. В лачугу бедняка Матсаторпаря коробейница никогда не заглядывала, потому что им и не терпелось поглядеть на диковинки, какие она предлагала в других дворах.

— Она говорит, что ей нельзя теперь с коробом ходить, раз она за пастора вышла.

Девочка, казалось, была готова заплакать.

— Я вам воду буду носить и молоко, — уговаривала она. — И печь топить стану.

Анна Сверд призадумалась. Короб был у нее с собой, да в нем лежала только ее одежда. Надо было что-то придумать, чтобы угодить ребятишкам, без того нельзя — соседи как-никак.

— Так и быть, — сказала она. — Правда, новой пасторше не пристало с коробом по дорогам ходить. Но коли вы нарубите дров и в кухню принесете, да огоньку из дому прихватите, так Анна Сверд придет к вам с коробом, уж это я устрою.

И в самом деле, в одиннадцать часов утра к дому Матсаторпаря подошла молодая, красивая далекарлийская крестьянка с большим черным кожаным заплечным мешком. Она остановилась у дверей, поклонилась и спросила, не желает ли кто купить у нее что-нибудь.

В тот же миг десять ребятишек окружили ее. Двое старшеньких узнали ее и, прыгая от радости, пытались рассказать меньшим, кто она такая. Старая дева, что ходила за ребятишками, сидела на лавке у окна и пряла шерсть. Когда коробейница вошла, она взглянула на нее и сказала, что здесь живут только бедные ребятишки и покупать им не на что. Но коробейница подмигнула ей, и та замолчала.

— Эти ребятишки сами просили меня прийти к ним, сказывали — денег у них уйма, есть на что обновы купить, — сказала далекарлийка.

Она подошла к столу, повернулась к нему спиной, поставила мешок на стол и спустила ремни с плеч. Потом она подошла к няньке и взяла ее за руку.

— Неужто не узнаете Анну Сверд? Прошлым летом вы купили у меня гребень и наперсток. Никак запомнили?

Старуха поднялась, заморгала глазами и отвесила поклон чуть ли не в пояс, словно самой пасторше Форсиус кланялась.

Коробейница подошла к мешку и принялась развязывать ремни да тесемки. Ребятишки сгрудились вокруг, затаив дыхание. Но тут-то ждало их большое разочарование — мешок был набит не товарами, а соломой.

Бедная коробейница всплеснула руками, она удивилась больше всех и стала причитать. Она ведь не открывала мешок со вчерашнего вечера, и, видно, кто-то ухитрился украсть у нее ночью все ее красивые шелковые платки, пуговицы, ленты и ситец и напихал соломы в мешок. То-то он ей показался легким, когда утром она надела его. Но кто бы мог подумать такое, ведь люди, у которых она жила, показались ей честными и степенными.

Ребятишки стояли опечаленные и разочарованные, а коробейница все причитала. Надо же быть таким злодеем — забрать добрый товар и напихать дрянной соломы в мешок!

Она принялась ворошить солому и кидать ее на пол, чтобы поглядеть, не осталось ли чего из товаров.

И в самом деле, она нашла шелковый платочек, шерстяной шейный платок и шкатулочку, в которой лежала дюжина булавок с цветными стеклянными головками.

И досадно же ей было, что больше ничего не осталось. Она сказала, что раз все остальное пропало, так и этого жалеть нечего. Если старшенькая хочет взять шелковый платочек, пусть носит на здоровье, а мальчик пусть возьмет шейный платок. Меньших она одела булавками, а старухе поднесла шкатулочку, в которой лежали булавки, мол, ей-то самой она ни к чему.

То-то радости было в доме!

ВИДЕНИЕ В ЦЕРКВИ

Анна Сверд вошла в кухню, распевая старинную пастушью песню, но тут же песня оборвалась. Пока она была у соседей, к ней в гости пожаловала фру Сундлер. Она сидела на узеньком диванчике и ждала. Сказать, что Анна обрадовалась ей, было бы большим преувеличением — отнюдь не из-за маленькой ссоры, которая разыгралась накануне вечером, просто у молодой пасторши было много хлопот в этот день. Только что пришла подвода с ее одеждой, с незатейливыми свадебными подарками соседей и друзей из Медстубюн, с ее прялкой и кроснами. Она еще не успела все распаковать и разложить по местам.

К тому же, как на грех, нельзя было попросить мужа занять гостью. Сразу после завтрака Карл-Артур отправился в пасторскую усадьбу — дел накопилось много, — и не велел ждать его ранее двух часов.

Трудно сказать, почему Анна, увидев фру Сундлер, вдруг сделалась грубой и неотесанной и в разговоре, и в манерах. Все, чему она обучилась за эти четыре месяца в усадьбе ленсмана, а научилась она многому, сразу было забыто. Может быть, молодая жена инстинктивно чувствовала, что здесь тонкое обхождение не поможет. Весьма возможно, что ей казалось забавным заставлять гостью думать, будто она очень глупа, неопытна, одним словом — не умеет ни ступить, ни молвить.

Фру Сундлер радостно пошла ей навстречу. В это утро, когда она сидела дома, ей пришло в голову, что у фру Экенстедт столько хлопот в новом доме, и для нее, верно, обременительно стряпать мужу обед. А в доме органиста будут рады, прямо-таки ужасно рады, угостить Карла-Артура обедом. Да он может запросто всякий день приходить обедать к ним, покуда в его собственном доме все не будет приведено в порядок и фру Экенстедт не запасется провизией у крестьян. Кстати, она с превеликим удовольствием поможет в этом фру Экенстедт. Может быть, фру Экенстедт согласится, чтобы Карл-Артур отобедал у них уже сегодня?

Пока фру Сундлер произносила эту тираду, молодая пасторша принялась распаковывать штуку холста — свадебный подарок Рис Карин. Когда ей попался упрямый узелок, она попросту разгрызла его зубами. Фру Сундлер при этом прямо-таки всю передернуло, но она воздержалась от какого-либо замечания.

— Ведь это только на первый случай, покуда вы еще не устроились, — поспешила она подчеркнуть еще раз.

Молодая жена глянула на фру Сундлер, отложила холст, подошла к ней и встала, широко расставив ноги и подбоченясь:

— Ладно, я скажу ему, что ты ждешь его.

Фру Сундлер поспешила изъявить свою радость, оттого что ее добрые намерения поняты правильно. Анна Сверд, стоя перед нею все в той же позе, продолжала:

— А еще скажу ему, что раз моя стряпня ему не по вкусу, так, видно, мне не худо будет опять взять короб да убираться отсюда подобру-поздорову.

Фру Сундлер выставила вперед руки, будто защищаясь. Казалось, она испугалась, что Анна ударит ее.

— Видно, не годится господам правду напрямик выкладывать, — сказала Анна Сверд.

Но опасения ее были напрасны. Фру Сундлер тут же успокоилась и принялась извиняться и оправдываться.

— Что вы, что вы, дорогая фру Экенстедт! Без сомнения, все, что вы стряпаете, очень нравится Карлу-Артуру. Я ведь предложила от всей души. Не будем более говорить об этом.

В комнате наступило молчание. Анна принялась мерить холст, но не аршином, а левой рукой, ясно давая понять фру Сундлер, что ей недосуг с ней заниматься.

— Видите ли, дорогая фру Экенстедт, — начала фру Сундлер вкрадчиво, — я полагала, что мы с вами будем добрыми друзьями. Я так хотела этого. Боюсь, вы думаете, что, по моему мнению, я занимаю более высокое положение в глазах людей. Но вы заблуждаетесь. Родители мои были очень бедны. Матушка трудилась с утра до ночи, а что до меня, так мне пришлось бы жить в

горничных, кабы не барон Лёвеншёльд из Хедебю. Благодаря ему я смогла поучиться немного и стать гувернанткой. Матушка была в экономках у его родителей пятнадцать лет и однажды оказала ему большую услугу. Вот он и хотел отплатить ей. Карл-Артур — племянник барона, моего благодетеля. Матушка всегда говорила, что я должна стараться чем могу услужить Лёвеншёльдам, а Карл-Артур и его жена — для меня одно целое.

— Двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать! — бормотала Анна.

Тут она перестала считать, чтобы заметить фру Сундлер:

— Кабы ты в самом деле думала, что мы с ним — одно, так и меня бы позвала на обед.

Фру Сундлер возвела глаза к потолку, будто там было нечто, что могло засвидетельствовать, как она добра и чиста.

— Нелегко, однако, с вами, фру Экенстедт, — сказала она шутливо-жалобным тоном. — Вы все истолковываете к худшему. Поверьте, фру Экенстедт, я не хотела вас обидеть, хотя вышло не совсем ладно. Видите ли, дело в том, что сегодня суббота, и у нас в доме скромный обед: тушеная морковь, селедка и пивная похлебка. А Карл-Артур не будет на нас в обиде. Он у нас свой человек — приходит и уходит, когда ему вздумается. Но не могу же я потчевать его жену столь скудным обедом, когда она у нас в доме первый раз.

Она смотрела на нее испуганно, умоляюще, и Анна Сверд подумала, что она скользкая, как змея: все равно ускользнет, как ни пытайся схватить ее.

— Признаться, нелегко мне говорить об этом, — вздохнула фру Сундлер, — но вам следовало бы узнать кое-что. Покуда вы не узнаете правды, у нас не смогут быть добрые отношения. И в то же время мне претит рассказывать вам об этом. Ах, как бы я желала, чтобы Карл-Артур сам поведал вам о столь неприятных вещах. Но он, видно, не сделал этого.

Анна Сверд уже измерила холст один раз и принялась мерить снова. Ей помешали, и она не была уверена,

что сосчитала верно. Чтобы не сбиться со счета, она не удостоивала фру Сундлер ответом, но последнюю это нимало не смутило.

— Вероятно, вам, фру Экенстедт, не нравится, что я таким образом вмешиваюсь в ваши дела, но я не могу оставить этого, поскольку почитаю это своим долгом. Ах, если бы фру Экенстедт могла отнестись ко мне с доверием! Не знаю, рассказывал ли вам Карл-Артур о своей матушке, о том, какая нежная любовь была меж ними прежде. Но вам, фру Экенстедт, я полагаю, известно, что милая тетушка Экенстедт была противницей вашего брака. Вскоре после похорон супруги настоятеля Шёборга у Карла-Артура с матушкой вышел о том пренеприятнейший разговор. Карл-Артур, может статься, немного погорячился, а тетушка Экенстедт была очень слаба, и дело кончилось тем, что с ней случился удар. И теперь вы понимаете, фру Экенстедт, он винит себя в этом несчастье. Мне даже кажется, что одно время он имел намерение расторгнуть помолвку с вами, чтобы угодить матушке, но потом узнал, что это ничему бы не послужило. Ведь милой тетушке Экенстедт теперь полегчало, она почти здорова, однако потеряла память совершенно. Что бы ни сделал Карл-Артур для ее спокойствия, это ничему бы не послужило. Сделанного не воротишь.

С того момента, когда фру Сундлер сказала, что с полковницей Экенстедт приключился удар по вине Карла-Артура, ей не приходилось жаловаться на отсутствие внимания к ее речам. Рулон ткани упал на пол и остался там лежать. Анна молча уселась напротив фру Сундлер и уставилась на нее.

— Вот этого-то я и боялась, — сказала фру Сундлер. — Вы не знаете, фру Экенстедт, как тяжело на душе у Карла-Артура. Разумеется, он изо всех сил старается щадить вас. Быть может, и мне следовало молчать. Только что вы казались такой счастливой. Может быть, вам и не надобно было о том знать.

Анна Сверд покачала головой.

— Раз уж ты напугала меня изрядно, так давай выкладывай разом все беды, что у тебя за пазухой.

Фру Сундлер каждый раз передергивало, когда Анна говорила ей «ты». Все же она была теперь пасторшей, и ей не следовало позволять себе подобную вольность, хотя это и было принято в ее родных краях. Карлу-Артуру следовало бы отучить ее от этого бесцеремонного тыканья. Но сейчас было не время об этом думать.

— С чего же мне начать? Так вот, во-первых, я должна сказать, что однажды в воскресенье — это было в сентябре, всего лишь месяц спустя после того, как случилось несчастье, Карл-Артур увидел свою мать в церкви. Она сидела на скамье под хорами, где не так уж светло, однако он узнал ее. На ней, как всегда, был капор с лентами, которые она обыкновенно завязывала под подбородком. Чтобы лучше слышать его, она развязала ленты и откинула их в стороны. Именно такой он видел ее много раз в карлстадской церкви и потому был твердо уверен, что это она. Полковница сидела, слегка склонив голову набок и откинувшись назад, чтобы лучше видеть его; ему казалось даже, что он видит на лице ее выражение радости и ожидания, с каким дорогая тетушка Экенстедт всегда смотрела на него во время проповеди. Он не мог не подивиться тому, что у нее достало сил совершить столь длинное путешествие после тяжелого удара, но он ни на минуту не усомнился в том, что это была она. И верите ли, фру Экенстедт, он так обрадовался, что через силу продолжал проповедь. «Матушка поправилась, — думал он. — Она приехала, потому что знает, как мне тяжело. Теперь все снова будет хорошо». И он сказал себе, что должен нынче говорить вдвое лучше обычного. Однако нечего удивляться, что это ему не удалось. Он не осмеливался взглянуть на мать, чтобы не сбиться, но не мог ни на миг забыть, что она здесь, в церкви, и проповедь получилась у него короткой и нескладной. Когда он наконец закончил проповедь и спустился с кафедры, то бросил взгляд в сторону матушки, но не увидел ее. Это его ничуть не обеспокоило, он решил, что дорогая тетушка просто-напросто устала слушать и вышла, чтобы подождать его на

пригорке возле церкви. Извините меня, фру Экенстедт, за такой обстоятельный рассказ, но я просто хочу, чтоб вы поняли, как твердо Карл-Артур был уверен в том, что видел свою матушку. Он был так убежден в этом, что, не найдя ее возле церкви, начал расспрашивать прихожан, куда подевалась полковница. Никто ее не видел, однако он и тут не огорчился, а подумал, что она, не дождавшись его, поехала в пасторскую усадьбу. И только когда и там ее не оказалось, он начал думать, что все это ему привиделось. Он был весьма опечален и все же не нашел в том ничего удивительного.

Анна Сверд до тех пор сидела неподвижно, уставясь в лицо фру Сундлер. Но тут она прервала рассказчицу:

— Неужто померла полковница?

Фру Сундлер покачала головой.

— Я понимаю, что вы имеете в виду, — сказала она. — Я вернусь к этому позднее. Во-первых, я должна сказать вам, что Карл-Артур и семья пастора очень дружны. Однако не всегда так было. Видите ли, фру Экенстедт, прошлым летом, до того как приключилось несчастье с его матушкой, проповеди Карла-Артура были необычайно красноречивы и удивительно проникновенны. Он прямо чудеса творил. Прихожане боготворили его. Они были готовы отказаться от всего имущества на нашей грешной земле, чтобы обрести обитель на Небесах. Но пастор с пасторшей не одобряли этого. Они ведь весьма преклонного возраста, а как вы сами знаете, фру Экенстедт, старики хотят, чтобы все шло по старинке. Но после несчастья с матерью Карл-Артур испугался. Он не смел более доверяться своему вдохновению и обратился к пастору за советом. Он проповедовал по-прежнему красноречиво, но стал весьма осторожен. Былой огонь погас. О великом радении, которое он задумал, более и не поминали. Многие скорбели об этом, а старики в пасторской усадьбе тому порадовались. Карл-Артур стал им словно сын родной. Я слышала, как пасторша говорила, что им бы не перенести разлуки с фру Шагерстрём, которая много лет жила в пасторской усадьбе, ес-

ли бы не Карл-Артур. Они привязались к нему, и он заполнил эту пустоту. Однако вопрос в том, фру Экенстедт, пошло ли это на пользу Карлу-Артуру. Что до меня, так я рада тому, что он вышел из-под влияния пасторской семьи, обзавелся женой и собственным домом. Поверьте, я говорю это не для того, чтобы подольститься к вам, а лишь для того, чтобы вы поняли, какие надежды возлагают на вас истинные друзья Карла-Артура.

По правде говоря, нелегко было молодой жене понять все это. Брови ее были нахмурены — казалось, было видно, как напряженно работает ее мозг. Видно, она изо всех сил старалась понять собеседницу, но это стоило ей огромного напряжения.

— Чего ж ты не говоришь, кого это он в церкви-то тогда увидал?

— Да, да, вы правы, фру Экенстедт, — сказала фру Сундлер. — Мне не следовало бы увлечься рассказом о семействе пастора. Довольно того, что вы знаете, что они любят Карла-Артура и желают ему добра. И все же он не рассказал своим добрым друзьям, что ему в церкви привиделась матушка. Не хотелось ему говорить об этом. Видите ли, фру Экенстедт, может статься, он молчал потому, что у него теплилась надежда на то, что она остановилась у нас, то есть у меня. Это может показаться нелепым, но ведь дорогая тетушка Экенстедт такова, что никогда не знаешь, что ей взбредет в голову. Потому-то он днем отправился к нам, но, разумеется, и тут ее не нашел. Должна вам сказать, фру Экенстедт, что мы с мужем ужасно обрадовались приходу Карла-Артура. Ах, ведь у пасторов вечно такая уйма дел по осени: то они по домам ходят — списки составляют, то по закону Божьему экзаменуют — и мы не видели его несколько недель. Мне кажется, что и ему было приятно побыть у нас. По крайней мере, он остался в нашем доме до самого вечера. Муж мой был все время с нами, мы развлекались самым невинным образом — играли, пели, читали стихи. Я полагаю, не будет дурного, если я скажу, что в доме у пастора в этом ничего не смыслят,

и мне кажется, это возместило ему то, что он не нашел у нас матушки. После ужина завязался откровенный разговор о таинственных явлениях потустороннего мира — я надеюсь, фру Экенстедт, вы понимаете, о чем я говорю, — и тут-то Карл-Артур рассказал, что в тот же самый день ему в церкви привиделась дорогая тетушка Экенстедт. Мы долго сидели и гадали, что бы это могло означать, и он ушел от нас не ранее полуночи. С понедельника он снова принялся ходить по домам, и хотя ему и было так хорошо у нас, я не видела его после того целую неделю. Может статься, он считал, что ему надо было посидеть со стариками, когда выдавался свободный вечер. На свете нет человека деликатнее Карла-Артура.

Анна Сверд еще больше нахмурила брови, она, казалось, была в замешательстве, однако не стала прерывать рассказчицу.

— Да, как я уже сказала, я не видела его целую неделю и ни разу не подумала об этой истории с его матушкой. В воскресенье я столкнулась с ним по дороге в церковь и сказала в шутку, дескать, надеюсь, что дорогая тетушка Экенстедт не явится ему и в это воскресенье и не помешает читать проповедь. И поверьте, фру Экенстедт, что у меня было такое чувство, будто ему не понравились мои слова. Он коротко ответил мне, что, видно, это какая-то проезжая дама, похожая на его мать, зашла на минутку в церковь — только и всего.

Не успела я ему ответить, как к нам подошли другие прихожане, и разговор пошел о разных обыденных делах. Во время службы я была в ужасном беспокойстве из-за того, что сказала глупость. Я пыталась успокоиться, говорила себе, что Карл-Артур не станет принимать шутку всерьез. И вы можете представить себе, фру Экенстедт, как я испугалась, когда Карл-Артур во время проповеди вдруг замолчал и уставился куда-то на хоры. Через секунду он снова начал говорить, но теперь он говорил как-то рассеянно и бессвязно. Он начал развивать очень интересную мысль, но потерял нить. Не могу описать вам, как мне стало страшно. Он пришел ко мне после обеда совершенно удрученный и

сказал напрямик, что из-за моих слов он опять увидел матушку. Он никак не думал на прошлой неделе, что это с ним повторится. Конечно, о таких вещах трудно знать что-либо определенное, однако слова его показались мне несправедливыми. Может быть, и в первый раз он увидел ее по моей вине? Я ведь до того не видела его несколько недель.

Анна Сверд сидела молча и скребла ногтем передник. То вверх проведет вдоль полоски, то вниз. Но тут она встала:

— Да как же он мог поверить, что это полковница ему явилась, раз она еще не померла?

— Именно это я и сказала ему. Я уверила его, что он ошибся, что дорогая тетушка Экенстедт, как нам известно, жива и здорова и не могла ему явиться. Но он настаивал, что это была матушка, и никто иной. Он узнал ее, она сидела там и кивала ему головой. Вы, верно, понимаете, фру Экенстедт, что он был в полном отчаянии. Он сказал, что если и далее так будет продолжаться, ему придется отрешиться от сана, ибо каждый раз, когда он видит ее, ему становится страшно и он в замешательстве не помнит, что говорит. Он считал, что матушка является ему из мести. Он вспомнил, как его бывшая невеста сказала ему, что он никогда более не сможет хорошо читать проповеди, покуда не помирится с матушкой. И, видно, пророчество это теперь исполняется.

Надо сказать, что молодая жена слушала этот рассказ с величайшим вниманием. Неглупая от природы, она сперва не верила этому, боялась, что ее хотят обмануть, заставить ее поверить тому, чего не было. Но фру Сундлер все рассказывала и рассказывала, она словно усыпила Анну. Не то чтобы ей захотелось спать, просто она стала менее подозрительной, менее обидчивой.

«Видно, правда это, — сказала она себе. — Не может же она такое выдумать».

— Да, фру Экенстедт, — сказала фру Сундлер, — что я могу на это сказать, что могу посоветовать? Я совершенно уверена в том, что это всего лишь плод его вооб-

ражения или обман чувств. Ничего другого и быть не может. Как могла тетушка Экенстедт появиться в церкви, и прежде всего: как он мог поверить тому, что его матушка явилась, чтобы причинить ему вред? И таким манером я сумела его немного успокоить. К счастью, мой муж совершал в это время прогулку, и мы успели потолковать о таком сложном и деликатном вопросе до его возвращения. Когда Сундлер вернулся, Карл-Артур послушал прекрасную музыку, а это всегда действует на него благоприятно. Не забудьте об этом, фру Экенстедт. На следующей неделе он несколько раз заходил ко мне — ему все хотелось, чтобы я уверила его в том, что видение в церкви не что иное, как плод его воображения. Я думала, что он уверился в этом, когда мы расстались утром в воскресенье, но я ошиблась, потому что в то утро он увидел свою матушку в третий раз. И тут, фру Экенстедт, я начала не на шутку волноваться. Люди стали говорить, что Карл-Артур проповедует теперь куда хуже, нежели прошлым летом. Винили его не только за то, что он был уж слишком осторожным, но и за то, что проповеди его стали сумбурными и пустословными. Ах, фру Экенстедт, это было ужасное время. Подумайте, какое несчастье для такого талантливого оратора! Желающих послушать его стало гораздо меньше, чем прошлым летом, и он сам мучился от перемены, происшедшей с ним. Как человек образованный и просвещенный, он никак не мог поверить, что в этом замешаны сверхъестественные силы, но, с другой стороны, он не мог не верить тому, что видел собственными глазами. Он начал было опасаться, что теряет рассудок.

Фру Сундлер говорила с большим чувством. На глазах у нее показались слезы. Она была, без сомнения, глубоко опечалена. Анна Сверд слушала ее все внимательнее и внимательнее. Слова опутывали ее тонкими, невидимыми сетями. Теперь она уже смотрела на это дело глазами рассказчицы. Теперь она уже не могла противиться ей и быть неучливой, как в начале их разговора. Нет, теперь что-то удерживало ее.

— А что ж это было, по-твоему?

— Скажу вам истинную правду, фру Экенстедт: я сама не знаю. Быть может, это произошло от угрызений совести, а быть может, мысли матери каким-то образом вызвали это наваждение. Но для него это так унижительно, так ужасно. Он не в силах ничего с собой поделать. Он столько раз просил Господа избавить его от этого видения, но оно является ему вновь. Он видел свою матушку и в четвертое воскресенье.

Молодая жена не на шутку перепугалась. Ей казалось, что она сама сейчас увидит полковницу в темном углу комнаты.

— После обеда он пришел ко мне, — продолжала фру Сундлер, — и сказал, что собирается написать епископу и отказаться от сана. Он не мог более позориться перед прихожанами, как было четыре воскресенья сряду. Я хорошо понимала его чувства, и все-таки мне удалось тогда предостеречь его от этого шага. Я дала ему совет сочинять проповеди, как прежде, а не полагаться на свое вдохновение, что он делал в последнее время. И он послушался моего совета. С тех пор он ни разу не говорил проповеди без подготовки. Но вы не поверите, фру Экенстедт, как много его проповеди от этого потеряли. Просто трудно поверить, что их читает Карл-Артур. И все же это помогло, видение перестало ему являться, может быть, оттого, что он стал чувствовать себя спокойнее. Я просто ума не приложу...

Тут Анна Сверд спросила:

— А что же, по-твоему, это так и будет ему все время видеться?

— Я как раз и хочу, чтобы вы помогли ему в этом. В прошлое Рождество Карл-Артур зашел ко мне и рассказал, что ему досталось небольшое наследство от тетки, пасторши Шёборг. Она умерла прошлой осенью, когда вы, фру Экенстедт, были в Карлстаде. Он получил всего лишь тысячу риксдалеров да мебели на одну комнату, однако решил, что ему этого хватит на жизнь, и вздумал решительно отказаться от сана. Но я, услышав о наследстве, посоветовала ему поступить, как он прежде желал, — вести жизнь простого труженика.

И еще я дала ему совет соединиться со своей богоданной невестой, раз такой случай вышел. Видите ли, фру Экенстедт, я полагала, что ему должно свершить нечто большое, поучительное, чтобы избавиться от угрызений совести. Он должен был стать примером для всех нас. Должен был указать нам путь к добродетельной и праведной жизни. Свершить нечто удивительное, дабы Царство Божье наступило уже в этой жизни, и тогда Господь, может быть, смилостивился бы над ним, избавил бы его от этих видений, которые грозили погубить его.

Сперва он слушал меня недоверчиво, но скоро сам увлекся этой мыслью не меньше моего. Помнится, он в тот же вечер пошел к Бергу, старому солдату, и попросил продать ему дом. И с той поры мысль о том, что он станет жить по Христову завету, придавала ему силы. Он много раз говорил мне, что, как только вы поженитесь, как только он переедет в свой небогатый дом, он снова сможет читать проповеди свободно. Он был уверен, что тогда видение перестанет преследовать его. Но, дорогая фру Экенстедт, я должна вам сказать нечто, мне нелегко это объяснить, но, быть может, вы и сами понимаете, что Карла-Артура нельзя вовлекать в наши земные дела. Я знаю, как счастлив он был при мысли о том, что будет жить с вами здесь, в этом маленьком домишке. Для него вы — ангел-хранитель, который оградит его от всяческого зла. Он горько скорбел о том, что не мог написать вам обо всем этом — ведь письмо должен был прочесть вам чужой человек. Лишь мне одной он мог довериться, рассказать, какие нежные чувства наполняют его грудь при мысли о молодой невесте с далекого севера, которая будет идти с ним рука об руку и помогать ему наставлять людей на путь истинный.

Голос фру Сундлер звучал таинственно и властно, и Анна Сверд сидела молча, как зачарованная.

— Да, фру Экенстедт, — снова начала фру Сундлер, — когда Карл-Артур отправился в Медстубюн, он принял твердое решение, что вы будете соединены священны-

ми узами, как брат и сестра. Он боялся, что, если обыкновенное, земное счастье войдет в вашу жизнь, видение вернется к нему. Вы можете понять это, фру Экенстедт? Можете ли вы понять, что ваш муж не обыкновенный земной человек, а один из избранных Божьих? И сможете ли вы понять теперь меня и мои поступки? Ведь я не знала, что Карл-Артур переменял свои намерения. Я устроила все в этих комнатах, как он велел.

Голос рассказчицы уже больше не был вкрадчивым и заискивающим. Теперь он звучал властно, будто она обвиняла ее. Анна подумала о свадебной ночи, и ее на самом деле стали мучить угрызения совести.

— Откуда мне знать про все это? Мне сказывали только, что он бедный.

— Это тоже правда, дорогая фру Экенстедт. Но главное-то здесь в другом: Карл-Артур так мало знал вас! Быть может, ему не представилось случая поговорить с вами по душам в чужом доме. Потому-то он и решил сказать вам, что виной всему бедность. Я-то хорошо это понимаю. Но теперь, я думаю, фру Экенстедт будет смотреть на это по-иному и поймет, как важно спасти Карла-Артура. Видение не должно являться ему снова.

Молодая жена была так опутана и обвита тонкими, мягкими силками, что готова была сделать все, что хотела фру Сундлер. Она уже открыла было рот, чтобы дать обещание, которое та требовала от нее.

— А уж коли за мной дело, так я обещаю...

Но тут она смолкла.

Фру Сундлер поспешно поднялась и подошла к окну. Ее некрасивое лицо вдруг озарилось таким сиянием счастья, что в это мгновение оно казалось почти прекрасным.

Анна Сверд тоже поднялась, чтобы посмотреть, кого же фру Сундлер увидела в окне. То был Карл-Артур.

И вдруг ей пришло в голову, что, быть может, вовсе не Господу Богу, а фру Сундлер было угодно, чтобы она дала это обещание, и она так и не дала его.

ВОСКРЕСНАЯ ШЛЯПКА

I

Да кто она такая, чтобы думать, будто она умнее Карла-Артура, такого ученого человека? Ведь сама она и грамоте-то не понимает, целую осень была в учении у пономаря Медберга, а даже не выучилась писать: «Кто рано встает, тому Бог дает».

Кто она такая, чтобы осмелиться говорить, будто ничего худого с Карлом-Артуром не приключилось? Дескать, и совесть тут ни при чем, и вовсе это не наказание за грехи, а так, пустое.

Видно, покуда она сидела и слушала фру Сундлер, та околдовала своими речами и вовсе с толку сбила, а как только ушла гостья, тут-то она уразумела все как есть.

Да куда уж там! Где ей, темной деревенщине, про то судить, она и слова мужу не сказала про свои домыслы. Чего там говорить! Как на то осмелиться бедной коробейнице!

После полудня Карл-Артур пошел к себе обдумать проповедь, которую он собирался говорить в церкви на другой день, и она осталась одна. Тут она достала из кладовки, в которой благодаря Тее Сундлер было полно всякой всячины, корзинку с крышкой для вязанья, выбрала несколько старых брыжей мужа и отправила к дому органиста.

Фру Сундлер она тоже не сказала про свои догадки. Уж ей-то она никак не стала бы поверять свои думы. Анна Сверд питала, по меньшей мере, столь же большое уважение к ее учености, как и к познаниям собственного мужа. Она всего лишь попросила фру Сундлер помочь ей разглядеть брыжи. Муж велел ей накрахмалить и погладить несколько воротничков, а она донельзя оконфузилась — провозилась с ними битый час, один загладила косо, а другой и вовсе сморщенный вышел. Не изволит ли фру Сундлер поучить ее этому делу?

Фру Сундлер сказала, что она весьма рада тому, что фру Экенстедт обратилась к ней за помощью, и готова

помочь ей в таком пустяке. Гладить брыжи — искусство немалое. Она сама в том не бог весть какая мастерица, однако постарается приложить все свое умение. Они прошли в уютную кухню фру Сундлер и принялись стирать и гладить брыжи. Трудились они до тех пор, покуда Анна не обучилась этому искусству.

Когда они управились, фру Сундлер хотела было налить Анне чашечку кофе, но та отказалась, сославшись на то, что ей надобно спешить домой. Тогда фру Сундлер предложила выпить стаканчик соку. Сок у нее был отменный, даже сама фру Шагерстрём хвалить изволила. Недурно будет освежиться после такой усердной работы. Анна Сверд не стала отказываться, и супруга органиста спустилась в погреб, чтобы принести соку. Покуда хозяйка была в погребе, гостья проскользнула украдкой в прихожую, сняла с крючка нарядную шляпку фру Сундлер, отнесла ее в кухню и сунула в большущий котел, стоявший на полке так высоко, что никто не мог увидеть, что в нем лежит.

Когда Анна собралась уходить, фру Сундлер провела ее через прихожую до дверей, однако ей и в голову не пришло поглядеть, на месте ли ее нарядная шляпка. Люди в тех краях жили такие честные, что не было нужды даже двери запирать, когда из дому уходишь, ни у кого и в мыслях не было, что могут украсть что-нибудь или хотя бы спрятать.

Анна Сверд шла домой, весьма довольная своей выдумкой. Теперь фру Сундлер придется немало поискать, покуда она найдет свою воскресную шляпку. Она думала о том, что как примерная жена сделала все, что могла, чтоб на другой день мужу ее никто не мешал говорить проповедь и не пугал бы его.

Когда она на следующее утро шла с мужем в церковь, сердце ее было спокойно. Угрызения совести мучили ее не более, чем мучают охотника за то, что он устроил западную волку.

Да и кто она такая? Она ведь не здешняя, не из Корсчюрки, где все люди ученые, грамоте разумеют. Она, Анна Сверд из Медстубюн, привыкла верить тому, чему верили и что за правду почитали в сереньких

домишках у нее в деревне, эту мудрость она впитала с молоком матери и жила в согласии с ней.

Она была всем довольна в это утро. Муж провел ее в церковь через ризницу — так ходят одни только священники, там ее встретила старая пасторша и усадила рядом с собой на хорах. Хотелось бы ей, чтобы кто-нибудь из ее деревни поглядел сейчас на нее: ведь она знала, что ни ленсманшу, ни Рис Ингборг никто такой чести не удостоивал.

Она огляделась вокруг — нет ли в церкви фру Сундлер, но не увидела ее. Убедившись в том, что ее нет, она склонила голову и стала молиться, как пасторша и все прочие в церкви. Она молила Бога о том, чтобы Он помог ей, не дал бы фру Сундлер найти шляпку в большом медном котле. Анна знала, что если та не найдет шляпки, то ни за что не придет в церковь. Ведь у жены бедного органиста, верно, только одна парадная шляпка, и раз она потерялась, ей придется остаться дома.

Потом она принялась разглядывать прихожан, медленно входивших в церковь, и осталась недовольна тем, что народу собралось не так уж много. Пустые места были на всех скамьях. Но тут же она посмеялась над собой.

«Ну, Анна, ты уже ведешь себя как настоящая пасторша».

И она стала думать обо всех тех пасторшах, которые до нее сидели на этой скамье и ожидали, когда их мужа поднимутся на церковную кафедру. О чем они могли думать? Может, и дрожь, и страх пробирали их оттого, что мужа их стояли на кафедре и проповедовали слово Божье? Пусть она много хуже их, а все же она осмелилась вздохнуть украдкой об участии прежних пасторш.

«Помогите мне, ведь вы знаете, каково сидеть здесь и тревожиться, сделайте так, чтобы она не смогла прийти в церковь в нынешнее воскресенье!»

Она тревожилась все больше и больше, служба подходила к концу, и приближалось время проповеди. Она вздрагивала каждый раз, когда дверь в церкви от-

ворялась и входил запоздалый прихожанин. «Это уж, поди, жену органиста принесло», — думала она.

Однако фру Сундлер не показывалась. Богослужение окончилось, пропели предпроповедный псалом, и Карл-Артур поднялся по лесенке на кафедру. Фру Сундлер не появлялась.

Стоял Великий пост, и в послании, которое читали в этот день, она услышала прекрасные слова о любви, которые фру Рюен читала ей в свадебную ночь. Это, уж верно, было доброе предзнаменование, и когда Карл-Артур после красивого вступления принялся толковать именно этот псалом, она твердо уверилась в том, что Господь Бог и прежние пасторши услышали ее молитвы. Фру Сундлер не придет в церковь, а сама она будет сидеть на пасторской скамье и слушать, как человек, которого она любит, воздаст хвалу любви.

Да кто она, в самом деле, такая? Откуда ей знать, хороша проповедь или плоха? Однако она могла побойться, что ничего прекраснее в жизни своей не слыхивала. Да и не ей одной эта проповедь доставляла радость. Она видела, что люди повернули головы к пастору и не спускали с него глаз. Иные подвигались к соседу и подталкивали его, дабы привлечь его внимание.

— Послушай-ка лучше! Вот это проповедь так проповедь!

И то правда. Чтоб ей пусто было, если она слышала, чтобы кто другой говорил так складно. Она сидела на хорах и видела, что лица у людей стали кроткими и торжественными. У иных молоденьких девчонок глаза загорелись и сияли, словно звезды. И вдруг на самом интересном месте люди в церкви зашевелились. Вошла крадучись фру Сундлер. Ей, видно, было неловко оттого, что она опоздала. Она шла на цыпочках, как бы прижимаясь к дверцам между рядами скамеек, чтобы не привлекать внимания прихожан. Однако все в церкви ее заметили и глядели на нее удивленно и неодобрительно. Вместо шляпы на голове у нее был чепец, который она обыкновенно носила в будние дни. Чепец был старый и истрепанный, и она решила подновить его, прицепив спереди большой бант.

Минуту спустя фру Сундлер была забыта, прихожане снова повернулись к кафедре и принялись слушать прекрасные слова, которые лились из уст пастора.

«Он так разошелся, — думала Анна Сверд, — что, по-ди, и не заметил, как она вошла. Может, она и не сумеет сейчас взять над ним власть».

Но не пробыла фру Сундлер в церкви и пяти минут, как Карл-Артур вдруг умолк, не досказав начатой фразы. Он наклонился вперед над кафедрой и уставился в темный угол церкви. То, что он там увидел, так сильно испугало его, что он побелел как полотно.

Казалось, он сейчас упадет в обморок, и Анна Сверд приподнялась, чтобы поспешить к нему на помощь и увести его с кафедры. Однако этого не потребовалось. Он тут же выпрямился и начал говорить снова.

Но теперь уже людям не доставляло радости слушать его. Молодой пастор, видно, совершенно забыл то, о чем только что говорил. Он произнес несколько слов, которые вовсе не вязались со сказанным ранее, замолчал, потом принялся говорить о другом, в чем тоже не было никакого смысла. Прихожане нетерпеливо заерзали на скамьях. У многих на лицах были испуг и огорчение, отчего проповедник пришел в еще большее замешательство. Он вытер пот со лба большим носовым платком и воздел руки к небу, словно в отчаянии молил о помощи.

За всю жизнь Анне Сверд не было никого так жаль.

Уж лучше ей уйти. Зачем ей сидеть и смотреть, как мучается ее муж? Но прежде чем подняться, она бросила взгляд в сторону, на старую пасторшу Форсиус. Старушка сидела неподвижно, молитвенно сложив руки, лицо ее было исполнено благоговения. Глядя на нее, нельзя было подумать, что в церкви случилось что-то неладное.

Вот так должна вести себя жена пастора. Не бежать вон из церкви, а сидеть недвижимо, сложив руки, погружившись в молитву, что бы ни случилось.

Анна Сверд осталась на своем месте и сидела неподвижно, исполненная торжественности, покуда не

пропели последний псалом и пасторша не поднялась, чтобы выйти из церкви.

За это время она успела успокоиться и понять, что она всего лишь бедная далекарлийская девушка, которая ничего не разумет.

Дома, в деревне Медстубюн, каждая девка и парень верили, что на свете полным-полно злых троллей, которые умеют заворожить людей так, что им видится то, чего нет. Здесь же, в Корсчюрке, может, о таком и не слыхивали.

У нее на родине ходили рассказы про финку Лотту, мерзкую чертовку, которую собирались сжечь на костре. Ее привели на место казни с завязанными глазами, но, прежде чем ее привязали к столбу, она попросила, чтоб ей дали в последний раз взглянуть на землю и небо. Палач снял с ее глаз повязку, и в тот же миг все увидели, что загорелась судебная палата. Тут все бросились пожар тушить да людей спасать, забыв про финку Лотту, а старуха высвободилась да улизнула. А палата-то и не думала гореть, это ведьма отвела им глаза.

На родине у Анны рассказывали истории и почище того. Говорили, что однажды, когда Иобс Эрик стоял на ярмарке за прилавком с товарами, ему ничего не удалось продать, потому что рядом стоял тролль* из тех, что умеют глотать паклю и изрыгать огонь. Он так отвел людям глаза, что им казалось, будто товар Иобса Эрика — блестящие ножи, острые пилы и распрекрасные, остро отточенные косы — всего-навсего ржавый хлам. Ее дядюшке не удалось продать и трехдюймового гвоздя, покуда он не смекнул, какую шутку сыграл с ним этот тролль, и не прогнал его с ярмарки.

У них в деревне и девушки, и парни сразу бы догадались, что это жена органиста заворожила Карла-Артура, и оттого ему видится в церкви матушка. Кабы кто-нибудь из Медстубюн был нынче в церкви и видел, что там творилось, он бы живо уверился в том, как и она сама.

Но Корсчюрка совсем не то что Медстубюн. Анне Сверд вольно было думать про себя что угодно — что за

человек ее муж, кто такая фру Сундлер и кто такая она сама, но надо было помалкивать о том, что она знает и что ей думается.

Ей приходилось мириться с тем, что муж не сказал ей ни слова по дороге из церкви домой, а шел рядом с ней, делая вид, будто ее и вовсе нет. Она думала о том, сколько глаз смотрят сейчас на нее, и старалась держаться, как подобает настоящей пасторше, однако не знала, удастся ли это ей.

Когда они пришли домой, муж тотчас же заперся в своей комнате. Не стал помогать ей ни обед готовить, ни на стол накрывать. А ведь он любил помогать ей по малости — в шутку, разумеется.

За обедом он сидел напротив нее и не вымолвил ни слова. Она же чувствовала себя великой грешницей. Теперь он, наверно, думает, что с проповедью так вышло оттого, что они не послушались совета фру Сундлер. Ей хотелось закричать во всю мочь. Может, он теперь и вовсе знать ее не захочет.

Ленсманша дала ей совет зажарить рябчиков и дрюгю дичь, которой в их краях водилось немало, чтобы в первые дни у нее было что на стол подать. Но здесь, видно, рябчиков не почитали за особое лакомство. Муж ее проглотил несколько кусочков и отложил вилку с ножом.

За обедом она не осмелилась ни о чем спросить его. Когда они поднялись из-за стола, Карл-Артур пробормотал, что у него болит голова и ему надобно прогуляться, и оставил ее наедине с печальными думами.

II

Разве не удивительно, что так трудно добиться того, чего желаешь?

Если желаешь чего-нибудь неладного, тогда еще понятно, но когда не помышляешь ни о чем ином, как о том, чтобы человек, который тебе мил, приходил бы к тебе в гости вечером раз-другой в неделю посидеть, побеседовать или послушать музыку в маленькой гостиной, так неужто невозможно, чтобы твое желание

исполнилось? Если хотеть непременно быть с ним наедине — это совсем иное дело, но этого и не требуется. Пусть себе Сундлер при сем присутствует. Им нечего скрывать. Ни ей, ни Карлу-Артуру.

Если бы ты избавилась от Шарлотты Лёвеншёльд грубо и бессердечно и ей пришлось бы стать бедной учительницей либо экономкой, тогда можно было бы ожидать, что тебя постигнет наказание или разочарование. Но когда она благодаря тебе сделала лучшую партию во всем королевстве, получила богатство, положение в обществе, прекрасного мужа, неужто нельзя тебе самой насладиться скромным, маленьким счастьем, о котором ты так мечтаешь? Неужто из-за этого пасторша Форсиус должна стать твоим врагом? Ведь тебе-то все понятно. Хотя Карл-Артур и ссылается на то, что экзаменует детей по закону Божьему и прочими делами занят, но ты-то знаешь, что пасторша, уж конечно, нашептала ему, что люди принялись судачить об их сердечной дружбе. Без сомнения, это из-за пересудов он и не бывал у нее по неделям прошлой осенью.

Когда бы она хоть самую малость была виновата в том, что Карлу-Артуру является в церкви милая тетушка Экенстедт, если бы она нарочно напугала его, надеясь, что это послужит возобновлению их сердечной дружбы, то ей можно было бы ожидать всяческих напастей. Но раз она только пыталась утешить его и успокоить, не вправе ли она рассчитывать на то, чтоб ее оставили в покое и не мешали помочь ему в беде? Неужто она заслужила, чтобы муж именно теперь принялся ревновать ее и устраивать сцены, так что стало почти невозможно принимать Карла-Артура у себя в доме? Карлу-Артуру теперь, как никогда, нужен близкий друг и наперсник. Да и ты не желаешь ничего иного на свете, кроме как помочь ему.

И если для того, чтобы успокоить ревнивого мужа, ты предложила Карлу-Артуру жениться, что ж в том грешного и предосудительного? Разумеется, тебе невозможно было открыть Карлу-Артуру истинную причину: ведь он человек не от мира сего, и дел такого рода ему не понять, однако что же дурного в том, что ты

помогла ему осуществить заветную мечту его юности? А эта простая девка из глухомани, разве не должна она радоваться, что живет у него в доме, стирает и стряпает? Кто бы мог подумать, что он может увлечься этой мужичкой и вернется из свадебной поездки таким влюбленным, что не сможет думать ни о ком, кроме жены?

Как было отратно помогать ему устраивать этот домик, вместе с ним покупать домашнюю утварь, следить за ремонтом! Какие сладостные мечтания наполняли твою душу в то время! И неужели в наказание за это тебе суждено было почувствовать себя здесь лишней в тот самый миг, когда его законная жена переступила порог этого дома? Кто сделал эту дурочку женой пастора? Кто даровал ей в мужья благороднейшего, талантливейшего, одухотвореннейшего человека? И какова же была ее благодарность? Когда она вошла в этот домик, где ты все устроила своими руками, то ты сразу почувствовала, что те, кто поселился в нем, только и ждут, как бы от тебя избавиться.

И хотя ты ничуть не желала этого, ты не могла не почувствовать некоторого злорадства, когда видение снова явилось ему. Да ему и следовало этого ожидать, раз он пренебрег ее советами. Нет, ты вовсе не желала этого, однако тебе трудно было им сочувствовать.

К тому же досадно, что кто-то украл твою воскресную шляпку. Впрочем, навряд ли ее в самом деле украли. Верно, кто-то подшутил над тобой и взял шляпку, чтобы помешать тебе пойти в церковь слушать проповедь Карла-Артура. Весьма досадно будет также, если это сделал тот, на кого она думает. Неужто это в самом деле твой собственный муж учинил такой подвох и спрятал шляпку?

Ты знала, что Карл-Артур придет, чтобы выразить свое сожаление, ты ждала его после обеда, однако тебе пришлось прождать не один час. За это время ты успела внушить себе, что он доверился своей жене, что он и тут стал искать у нее участия, а ведь прежде про то знали только вы двое.

Ты успела вспомнить все разочарования, все несбывшиеся желания, и когда он наконец пришел, тебе

уже не хотелось принимать его. Ты провела его в маленькую гостиную, села в угол на диван и стала слушать его, однако ты была в скверном расположении духа. Ты слушала его жалобы и не испытывала сочувствия. Пришлось стиснуть зубы, чтобы сдержаться и не крикнуть ему, что тебе надоело, да, надоело все это, что ты не можешь быть всегда кроткой и покорной, что есть предел терпению, что ты не из тех, кого можно звать и гнать, когда вздумается.

Ты слушала, как он говорил, что совершил долгую прогулку, чтобы успокоиться и принять решение, но что он еще никак не может прийти в себя. Затем он сказал, что не выдержит этого преследования, что должен отрешиться от пасторского сана, что, видно, это-го-то матушка и требовала от него.

В другое время ты постаралась бы изо всех сил утешить его. Но сегодня ты едва можешь заставить себя слушать его. Ты сидишь не шелохнувшись, однако у тебя свербят пальцы. Тебе хочется вцепиться ногтями в кожу, хочется царапаться. Ты не знаешь, хочется тебе вцепиться в его кожу или в свою собственную, знаешь только, что от этого тебе стало бы куда легче.

Он все говорит и говорит, покуда не замечает, что ты не отвечаешь ему, не выражаешь, как обычно, сочувствия. Тогда он удивляется и спрашивает, не захворала ли ты. И тут ты сухо отвечаешь ему, что чувствуешь себя превосходно, но удивлена, что он приходит к тебе жаловаться. Ведь у него есть собственная жена.

Вот что ты отвечаешь ему. И как это тебя вдруг угораздило сказать такое, глупее чего и выдумать невозможно. Быть может, ты надеялась, что он станет возражать, скажет, что жена его слишком неопытна и невежественна, что ему надобно побеседовать с женщиной образованной, которая может понять его. Однако того, на что ты надеялась, не случилось.

Вместо того он смотрит на тебя несколько удивленно и говорит, что сожалеет, что пришел не вовремя, и уходит.

Ты сидишь неподвижно и вдруг слышишь, как затворяется за ним дверь. Ты не веришь, что он и вправду

ушел, ты уверена, что он вернется. И только когда дверь захлопывается за ним, ты вскакиваешь, начинаешь кричать и звать его. Что же ты наделала? Неужто он ушел навсегда? Возможно ли это? Он был здесь, и ты указала ему на дверь. Ты не хотела выслушивать его жалобы. Ты дала ему совет искать помощи у жены. И надо же случиться этому сегодня — именно сегодня, когда все было поставлено на карту, когда ты могла завоевать его навсегда!

III

Когда Карл-Артур поздним вечером возвращался от фру Сундлер, он, разумеется, не мог ощущать того удивительного спокойствия, того удовлетворения, которое испытывает каждый, приближаясь к своему дому. Завидев домишко на пригорке за садом доктора, он, конечно, не сказал себе, что во всем мире у него есть лишь этот крошечный уголок, где ему всегда рады, где его всегда готовы защитить, где он обрел свое пристанище и где он никому не мешает. Напротив, он думал, что ему ни за что не следовало жениться, не следовало покупать эту старую лачугу, не следовало впутываться в эту историю.

«Как это ужасно, — думал он. — Я так несчастен, и к тому же мне еще невозможно побыть одному. Жена сидела и скучала весь вечер. Мне надо было бы развлекать ее. Быть может, она раздосадована и станет упрекать меня. И у нее есть на то право, но каково мне будет слушать ее жалобы?»

Он ступил на шаткие камешки и с неохотой протянул руку, чтобы отворить дверь. Но не успел он дотронуться до замка, как отдернул руку. Из дома доносилось пение — детские голоса пели псалом.

Почти мгновенно он почувствовал облегчение. Ужасная тяжесть, которая давила ему на сердце с самого утра, словно заставляя его жить неполной жизнью, почти исчезла. Внутренний голос шепнул ему, что он может войти без опасения. Дома его ожидало то, чего он никак не смел представить себе.

Спустя мгновение он медленно открыл дверь в кухню и заглянул внутрь. Почти вся комната была погружена во мрак, но в печи еще догорали головни, и перед этим угасающим огнем сидела его жена, окруженная целой оравой ребятишек из дома Матса-торпаря.

Несмотря на тусклое освещение, а может быть именно благодаря ему, эта маленькая группа выглядела восхитительно. Младшенькая лежала на коленях у жены и спала сладко и спокойно. Остальные стояли, тесно прижавшись к ней, уставясь на ее красивое лицо, и пели: «От нас уходит Божий день».

Карл-Артур затворил за собой дверь, но не подошел к ним, а остался стоять у стены в темноте.

И снова в его сердце, истомленное страхом и угрызениями совести, закралась целительная мысль о том, что женщина, сидящая здесь, ниспослана ему Богом спасения ради. Может быть, она и не такова, какую он представлял ее себе в мечтах, но что он разумел? Вы только посмотрите! Вместо того чтобы досадовать на то, что его нет, она привела детей, которых он спас от нищеты, и принялась учить их петь псалмы. Он счел такой поступок весьма разумным и в то же время трогательным. «Отчего бы мне не обратиться к ней с открытой душой и не попросить помочь мне?» — подумал он.

Как только псалом был допет до конца, жена поднялась и отослала ребятишек домой. Может быть, она и не заметила мужа, во всяком случае, она не стала ему докучать, и он остался стоять в углу. Мурлыкая вечерний псалом, который она только что пела с малышами, она подошла к кладовке, достала крынку, напилась молока, подкинула дров в очаг и поставила на угли трехногий чугунок, чтобы разогреть молока для пивной похлебки*.

Потом она снова принялась ходить по комнате, постелила скатерть на столик у окна, поставила на стол масло и хлеб и придвинула стулья.

Было приятно смотреть на ее движения при этом слабом освещении. Яркие краски ее платья, казавшиеся при дневном свете немного резкими, сливались теперь в единую теплую гармонию. Жесткая ткань казалась

парчой. Карлу-Артуру вдруг стало ясно, откуда взялся пестрый наряд крестьянок. Они старались, чтобы их платья походили на шелковую и бархатную одежду королев и знатных дам давних времен. Пестрый лиф, пышные белые рукава, чепец, почти совершенно скрывающий волосы, — он был уверен, что подобный наряд носили когда-то самые знатные женщины королевства.

Ему также казалось, что какая-то колдовская сила дала ей в наследство достоинство владелиц древних замков. То, что другие находили грубым в ее манерах и поведении, сохранилось на самом деле от старинных обычаев тех времен, когда королевы разводили огонь в очаге, а принцессы ходили на реку полоскать белье.

Жена налила пивную похлебку в две чашки, зажгла сальную свечку и поставила ее на середину стола, потом села на стул и молитвенно сложила руки. При свете свечи Карлу-Артуру показалось, что лицо ее в этот вечер стало как-то благороднее. Обычное выражение упрямства и самонадеянности юного существа сменилось мудростью женщины, познавшей жизнь, и спокойной серьезностью.

И он подумал, что вполне возможно посвятить такую женщину, какую она ему сейчас представлялась, в самые щекотливые и мудреные дела. «Как наивно было считать, что она не поймет меня, — подумал он. — Врожденное благородство подскажет ей верный путь».

Жена не успела еще прочитать молитву, а он уже сидел за столом против нее, как и она благоговейно сложив руки.

Они ели молча. Ему нравилось, что она как-то особенному умела молчать за столом, будто трапеза для нее была нечто священное, дарованное Богом для продления жизни человеческой.

Когда этот скромный ужин подошел к концу, Карл-Артур перенес стул на другую сторону стола, сел подле жены, обнял ее за плечи и притянул к себе.

— Ты уж прости меня, — сказал он. — Я погорячился днем и не сумел сдержаться, но ты не знаешь, как несчастен я был тогда.

— Не печалься из-за меня, муженек! Не думай о том, хорош ты был ко мне или плох. Все равно ты мне люб, что бы ты ни сделал.

В эту минуту, казавшуюся ей, без сомнения, весьма торжественной, она оставила свое далекарлийское наречие и говорила грамотно. И это приятно поразило его, Карл-Артур нашел, что слова ее прекрасны. В порыве благодарности он поцеловал ее.

Однако этот поцелуй несколько вывел его из равновесия. Ему, по правде говоря, захотелось в этот миг просто целовать жену и не думать более ни о чем.

«Я люблю ее до безумия, — подумал он. — Она принадлежит мне, а я ей. Видение это, наверное, будет являться мне каждый раз, как только я поднимусь на кафедре. Не бывать мне хорошим проповедником, но неужто это помешает мне быть счастливым с женой в моем собственном доме?»

А жена словно разгадала его мысли.

— И еще я скажу тебе, муженек, — продолжала она. — Тебе нечего будет больше бояться в церкви. Уж я о том позабочусь.

Карл-Артур улыбнулся в ответ на это заверение. Он прекрасно знал, что его неопытная и невежественная жена не могла помочь ему, однако сочувствие, звучащее в ее словах, успокаивало и облегчало.

— Я знаю, что ты очень любишь меня и желаешь снять с меня все тяготы, — сказал он тепло и еще раз поцеловал ее.

Это было прекрасное мгновение. Любовь влила в его душу молодого человека радость и мужество. Ему представилось, как в будущем они с женой, навеки соединенные узами нежной любви, создадут в этом маленьком доме рай, который будет служить примером всему приходу.

— Жenuшка моя, — прошептал он, — жenuшка, все уладится, мы будем счастливы.

Едва он успел произнести эти слова, как входная дверь внезапно с шумом отворилась, и в прихожей загромыхали шаги.

Анна Сверд быстро поднялась, и, когда посетители вошли, она убирала со стола масленку и оставшиеся ломти хлеба.

Карл-Артур остался сидеть, пробормотав, что остается только удивляться, как это людей не могут оставить в покое даже в такой поздний час. Но, увидев, что это был органист Сундлер с женой, он поднялся и пошел им навстречу.

Органист был высокий старик с взъерошенными седыми волосами, с одутловатым красным лицом, которое в этот вечер казалось еще более, чем обычно, распухшим и красным. Держа под руку жену, он прошептал с нею на середину комнаты. И хотя на улице хозяйничала морозная зима, он не затворил за собой двери. Он не поздоровался и не протянул руки.

Можно было сразу увидеть, что он ужасно раздражен, и, верно, именно оттого казался почти величественным. Анна Сверд поняла, что он человек достойный, в то время как Тея, повисшая у него на руке, показалась ей старой, замызганной посудной тряпкой. «Ей достался хороший муж, — думала она, — а ее самое слишком часто в грязь окунали. Ей уже теперь не отмыться».

Только она успела подумать об этом, как заметила, что на голове у Теи воскресная шляпка.

«Вот оно что, — сказала она себе, — сейчас начнется».

Она пошла затворить двери, решая, не разумнее ли будет сейчас улизнуть, однако одумалась и набралась мужества.

Органист пошел в наступление без церемоний и любезностей. Он рассказал, что жена его, собираясь в это утро идти в церковь, не могла найти своей воскресной шляпки. Она решила, что ее украли, однако, после того как они весь вечер проискали ее, шляпка нашлась: она была засунута в медный котел, стоявший высоко на кухонной полке. Жена стала винить его, сказав, что это он запрятал шляпку, но он-то знал, что не виноват, что ему такое и во сне не могло присниться. Однако ему сообщили, что жена Карла-Артура пробыла у них накануне несколько часов. Вот он и пришел

сюда, чтобы без обиняков задать вопрос и получить правдивый ответ.

Анна Сверд тут же подошла к ним и рассказала, что все так и было, как он думает. Когда фру Сундлер спустилась в погреб за соком, она прокралась в переднюю, взяла шляпку и запрятала ее в котел.

Признаваясь в этом, она чувствовала, что падает все ниже и ниже. Она падала в глазах органиста, падала в глазах Карла-Артура. Фру Сундлер же, скосив глаза, глядела на нее с явным интересом.

— Господи боже мой, но отчего же вы повели себя таким образом? — спросил органист в полном замешательстве, и Карл-Артур повторил этот вопрос резким тоном.

— Господи боже, почему ты это сделала? Чего ты хотела? Что тебе было надобно?

Позднее Анна Сверд поняла, что ей лучше было бы не говорить правду, а придумать какую-нибудь отговорку. Но в тот момент ей доставило радость сказать все как есть. Она позабыла, что она не в Медстубюн и что говорит она не с матушкой Сверд и не с Иобсом Эриком. Она думала, что сейчас разорвет на части фру Сундлер, эту грязную тряпку.

— А я не хотела, чтоб она нынче приходила в церковь, — сказала она, показывая на фру Сундлер.

— Но почему же, почему?

— Потому что она знает, как отвести глаза моему мужу, чтоб ему виделось то, чего нет.

Все трое были несказанно удивлены. Они уставились на нее, словно это был мертвец, вставший из могилы.

— Да что она такое говорит? Как она могла такое подумать? Как могла такое вообразить?

Анна Сверд повернулась прямо к фру Сундлер. Она сделала несколько шагов, так что подошла к ней вплотную.

— Неужто ты станешь отпираться, что завораживаешь его? Да спроси пасторшу, спроси каждого, кто был в церкви, слыхивали ли они когда проповедь лучше той, что он сегодня говорил. А стоило тебе прийти, как он ничего путем сказать не мог.

— Но, фру Экенстедт, милая фру Экенстедт! Да как же я могла бы это сделать? А если б даже и могла, так неужто бы я захотела причинить вред Карлу-Артуру, моему лучшему другу и лучшему другу моего мужа?

— А кто тебя знает, что тебе в голову взбредет!

Карл-Артур крепко схватил ее за руку и потянул назад. Казалось, он испугался, что она набросится на Тею и ударит ее.

— Замолчи! — закричал он. — Ни слова больше!

Органист стоял перед нею, сжав кулаки.

— Думай о том, что говоришь, деревенщина!

Одна лишь фру Сундлер сохраняла спокойствие. Она даже засмеялась.

— Ради бога, не принимайте этого всерьез! Видно, фру Экенстедт немного суеверна. Но чего иного можно от нее ожидать?

— Неужто ты не понимаешь, — сказал ее муж, — что она считает тебя колдуньей?

— Да нет же. Вчера я рассказала ей, что Карлу-Артуру является в церкви его матушка, вот она и объяснила это по своему разумению. Она хотела спасти своего мужа как могла. Любая крестьянка из Медстубюн, наверное, поступила бы так же, как она.

— Тея! — воскликнул Карл-Артур. — Ты великолепна.

Фру Сундлер поспешила заверить его, что заслуга ее невелика. Просто она рада, что это небольшое недо-разумение так быстро и легко разрешилось. А теперь, когда все уладилось, ей и ее мужу больше незачем здесь оставаться. Они сейчас же уйдут и оставят молодых супругов в покое.

Она очень ласково пожелала Карлу-Артуру и его жене доброй ночи и отправилась восвояси вместе с мужем, который был все еще зол и ворчал оттого, что ему не дали излить всю накопившуюся в нем ярость.

Карл-Артур проводил их до дверей. Потом он подошел к жене, скрестил руки на груди и пристально посмотрел на нее. Он не стал упрекать ее, но лицо его выражало отвращение и крайнюю неприязнь.

«Он сейчас походит на того, кого сулили угостить сливками, а подали кислую сыворотку», — подумала Анна Сверд.

Под конец она, не выдержав этого молчания, сказала покорно:

— Видно, я теперь тебе вовсе не нужна?

— Можешь ли ты заставить меня поверить, что ты и есть та женщина, которую Господь послал мне? — спросил он упавшим голосом.

Он снова бросил на нее долгий взгляд, полный гнева и скорби. Затем он вышел из комнаты. Она услышала, как, пройдя по коридорчику, он вошел в свою комнату и дважды повернул ключ в замке.

ВИЗИТ

Без сомнения, старики в пасторской усадьбе пришли к мысли о том, что не за горами то время, когда им будет отказано в великом счастье видеться каждый день. И словно для того, чтобы не упускать эти драгоценные мгновения, они теперь проводили вместе гораздо больше времени, чем прежде. Случалось, что старая пасторша среди бела дня входила к мужу в кабинет, и не думая объяснять зачем. Она опускалась на софу и сидела неслышно с вязаньем, а иногда и с прялкой, под жужжание которой работать было еще приятнее. А старик тем временем, не отвлекаясь от дела, приводил в порядок свой гербарий, посасывая трубку.

Так они сидели и в тот понедельник, когда Карл-Артур с женой нанесли им первый визит. Молодой пастор знал, какие порядки заведены в доме, и потому не стал искать хозяйку в зале или в гостиной, а прошел прямо в кабинет, где пасторша сидела за ленточным станком. Громоздившиеся на письменном столе пачки толстой серой бумаги и легкие клубы дыма, плавающие под потолком, придавали комнате еще больший уют.

Карл-Артур произнес краткую речь, в которой выразил благодарность за все хорошее, что ему довелось пережить в пасторской усадьбе, особенно благодарил он за последний прекрасный подарок. Пастор сказал в ответ несколько теплых слов, а хозяйка поспешила

отставить станок в угол и усадить новую пасторшу рядом с собой на диване.

Супруга пастора Форсиуса была падка на всякого рода торжественные церемонии, и когда Карл-Артур произнес красивую и высокопарную речь, она утерла слезинки в уголках глаз. Однако, если кто-нибудь подумал бы, что она одобряла женитьбу Карла-Артура, это было бы величайшим заблуждением. Старая женщина с таким богатым жизненным опытом не могла, разумеется, не сожалеть о том, что неимущий помощник пастора женился, и то, что избранницей его была бедная крестьянская девушка, отнюдь не помогало делу. О нет, можете быть уверены, что она изо всех сил противилась этому безумству, однако фру Сундлер пожелала, чтобы Карл-Артур женился, а против фру Сундлер пасторша была бессильна.

Пасторша украдкой разглядывала бывшую королевицу с некоторым любопытством. Она сидела на диване, порядком растерянная, и на вопросы, которые ей задавали, отвечала коротко и застенчиво. Чего-либо другого трудно было и желать, и ожидать, однако пасторшу крайне удивило отношение Карла-Артура к жене. «Кабы я не знала, — подумала она, — то решила бы, что это не молодой муж пришел в гости со своей женой, а старый и ворчливый школьный учитель, который хочет показать нам нерадивого ученика».

Удивлялась она неспроста. Карл-Артур не давал своей жене вымолвить ни слова без того, чтобы не поправить ее.

— Уж вы, любезная тетушка, сделайте милость, извините Анну, — постоянно твердил он. — Что с нее возьмешь? Конечно, Медстубюн — превосходное место, однако его не сравнить с Корсчюркой, люди там отстали на сто лет от нашего времени.

Жена и не думала защищаться. Эта большая, сильная женщина была настолько уверена в своем ничтожестве по сравнению с мужем, что просто жаль было на нее смотреть.

«Так оно и есть, — думала пасторша, — этого я и ожидала. Покуда она молчит, это еще куда ни шло, однако придет и другое время».

Карл-Артур рассказывал со всеми подробностями о поездке в Медстубюн, о свадьбе и новой родне. Все это звучало весьма забавно, и, безусловно, в его рассказе было немало такого, что должно было показаться обидным жене. Однажды она осмелилась возразить:

— Еще чего! Неужто ты, матушка пасторша, пове-ришь тому, что...

— Анна! — воскликнул Карл-Артур строго, и жена его оборвала фразу на полуслове. Супруг ее обратился к пасторше:

— Извините, бога ради, любезная тетушка. Я тысячу раз говорил Анне, что не годится говорить «ты» и «ма-тушка пасторша». Не могут же люди из наших краев применяться к обычаям и порядкам в Медстубюн.

Он продолжал свой рассказ, но пасторша слушала его рассеянно. «Что же из этого выйдет? — думала она встревоженно. — А я-то надеялась, что у него будет жена, которая вызовет его изо всех бед!»

Прежде всего пасторша, разумеется, думала о его отношениях с фру Сундлер. Она-то отлично понимала, что в этом не было ничего предосудительного, однако ей было весьма досадно, что о помощнике ее мужа ходили столь дурные слухи. Она пыталась уверить деревенских кумушек, что Тея Сундлер слишком умна для того, чтобы пускаться в подобные авантюры, что она не желала ничего иного, кроме как петь для Карла-Артура или на закате солнца гулять в его обществе вверх по Корпосену и любоваться облаками, окаймленными золотом. Но что толку? Они выслушивали ее — ведь ее звали Регина Форсиус и она была пятьдесят лет пасторшей в Корсчюрке, однако минуту спустя кумушки уже снова злословили всюю:

— Послушай-ка, сестрица. Уж нам-то ясно, для чего Тея затеяла эту женитьбу. Послушай-ка, послушай-ка! Это чтобы успокоить органиста. Послушай-ка, послушай-ка! А знаешь ли ты, сестрица, что его жена будет спать в кухне, как прислуга? Послушай-ка, послушай-ка! А видела ли ты диванчик? Послушай-ка, послушай-ка! Неужто ты думаешь, что это и в самом деле можно назвать женитьбой?

Об этом диванчике пасторша слышала уже так много, что решила привести в порядок старую парадную кровать, которая стояла у нее в комнате для гостей, и послать ее молодым супругам в новый дом. Она полагала, что это в какой-то мере защитит их от сплетен, однако если бы Карл-Артур любил свою жену и выказывал бы это на людях, это было бы лучшим средством против злых языков.

«Интересно, как судит обо всем этом Форсиус, — думала пасторша. — Когда Карл-Артур был у него в прошлую субботу, он говорил о своей жене с таким восторгом. Вот я и думаю, не была ли у него Тея Сундлер и не подстроила ли она какой новой каверзы?» Она испытывала неподдельное сочувствие к бедной далекарлийской девушке и ломала голову над тем, как бы ей помочь.

Понемногу гостья настолько преодолела свою застенчивость, что осмелилась поднять глаза и окинуть взором комнату. Казалось, ни книжный шкаф, ни гербарий пастора не привлекли ее внимания. Зато при виде ленточного станка лицо ее озарила восторженная улыбка.

— Подумать только, ленточный станок! — воскликнула она с такой неподдельной радостью, будто хотела заключить его в объятия.

Волшебное действие, которое оказала эта незатейливая вещица, было столь велико, что Анна не могла усидеть на месте. Она поднялась с уютного местечка на диване и осмелилась пройтись по комнате, подойти к ленточному станку, осмотреть его и потрогать.

— Ей-же-ей, я наткала много мотков в свое время, — сказала она мужу, словно извиняясь за свое поведение.

Видно, станок придал ей уверенности, и пасторша, решив, что любимое занятие еще более ободрит ее, спросила, не хочет ли она выткать несколько рядов.

— Вы, тетушка, слишком добры, — сказал Карл-Артур. — Моя жена вам только все перепутает. О том и речи быть не может, чтоб она согласилась принять ваше предложение.

— Да что ты, Карл-Артур! Пусть себе ткет, коли ей хочется.

Минуту спустя молодая пасторша уже сидела за станком, и то, что она сделала, привело в изумление даже Регину Форсиус. Она и оба мужчины окружили станок, пальцы ткачихи так и мелькали, как пальцы фокусника. Глаза не успевали следить за их движениями.

— Гина, душа моя, — сказал пастор, — а ты-то думала, что преуспела в искусстве ткать ленты. Теперь ты видишь, как тебе далеко до того, чтобы стать мастерицей.

Счастливая улыбка озарила лицо молодой жены. Можно было догадаться, что ей внезапно показалось, будто она перенеслась в свой родной дом. Все вокруг было ей знакомо: у плиты хлопотала матушка, за окном виднелись длинные серые строения, слышался певучий далекарлийский говор.

Она ткала так быстро, что через несколько минут на шпульке не осталось ниток. Обрадовавшаяся было ткачиха, увидав это, вздохнула. Она искала взглядом глаза мужа. Может быть, она опять повела себя неладно?

Муж молчал, словно выжидая. Но пасторша Регина Форсиус наклонилась над станком, потрогала ткань, кивнула одобрительно и сделала Карлу-Артуру реверанс.

— Уж поистине скажу тебе, весьма она меня поразила. Позволь поздравить тебя самым сердечным образом. Умелые руки, ничего не скажешь. Теперь-то уж я твердо знаю, что ты нашел именно такую жену, которая тебе нужна.

Молодой священник слегка поморщился.

— Любезная моя тетушка... — начал было он.

Но пасторша перебила его:

— Я знаю, что говорю. И не вздумай давать людям повод для разговоров, что Карл-Артур мог бы сделать лучший выбор.

Когда гости ушли, пасторша поднялась с дивана и подошла к письменному столу, чтобы спросить Форсиуса, каково же его впечатление об этом визите.

Старик отодвинул в сторону кипы серой бумаги и усердно выводил гусиным пером затейливые буквы на большом листке. Пасторша наклонилась над столом и увидела, что он сочиняет прошение его преосвященству епископу карлстадскому.

— И что ты это только вздумал, Форсиус! — воскликнула пасторша.

Муж прекратил писать, воткнул перо в маленькую баночку с дробью и повернулся к жене.

— Гина, душа моя, — сказал он. — Я прошу епископа перевести Карла-Артура в другой приход и назначить мне нового помощника. Я обещал Шарлотте быть к нему снисходительным и пытался делать это, покуда было возможно, но теперь ему надобно уехать. Сама подумай, друг мой: весь приход толкует о том, что он до того влюблен в жену органиста, что забывает все на свете, как только она появляется в церкви.

Пасторша перепугалась насмерть.

— Что ты, Форсиус, ведь Карл-Артур теперь женился, зажил своим домом у нас в приходе. Он надеется, что останется здесь, по крайней мере покуда ты жив. А ты подумал о его жене?

— Душа моя, — сказал пастор. — Я питаю глубокое сострадание к этой достойной молодой женщине, которая покинула родной дом, чтобы последовать за своим мужем в наши края. Ради нее-то я и тороплюсь написать это письмо. Если Карл-Артур останется еще у нас в деревне, то можешь быть уверена, что она будет изгнана так же, как Шарлотта и как его родная мать.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

РАЙ

I

Карл-Артур Экенстедт, которого в течение полугода лет переводили из одного прихода в другой, так и не дав ему постоянного места, ехал однажды ненастным осенним днем по проселочной дороге. Он направлялся в Корсчюрку, где с месяц тому назад скончался пастор Форсиус. Вдовствующая пасторша Форсиус, которая издавна питала некоторую слабость к Карлу-Артуру и к тому же, весьма возможно, находилась под влиянием фру Шарлотты Шагерстрём, ходатайствовала перед епископом и соборным капитулом о том, чтобы ему предоставили место в Корсчюрке, покуда не назначат нового пастора, и просьба ее была удовлетворена, хотя и не без колебаний, ибо сын полковника Экенстедта отнюдь не пользовался благоклонностью высокого начальства.

Неудивительно, что мысли путника были обращены к тому времени, когда он полтора года назад только что женился и тут же был отослан из дома и разлучен с женой. По правде говоря, он тогда не был сильно опечален из-за того, что ему пришлось уехать. С несказанным разочарованием обнаружил он, что душа его жены преисполнена грубого суеверия, и это вызвало в нем отвращение и презрение, отравившее их совместную жизнь. Теперь же мрачное настроение исчезло. После долгой разлуки он не питал к жене никаких иных чувств, кроме любви, благодарности и, пожалуй, даже восхищения.

«Наконец-то, — думал он, — наконец-то наступило время, когда мы создадим на земле рай, о котором я всегда мечтал».

Ему казалось, что, скитаясь из одной пасторской усадьбы в другую, он узнал много полезного и необходимого. Теперь, как никогда, он был уверен в том, что его первоначальный план был правильным. Не что иное, как глупейшая приверженность людей к земным благам, причина большинства их несчастий. Нет, жить в величайшей скромности, быть свободным от корыстолюбивых стремлений, возвыситься над мелочным желанием затмить себе подобных — это и есть верный путь к достижению счастья в этом мире и блаженства в мире ином.

Однако проповедовать и увещевать недостаточно для того, чтобы уверить людей в этой нехитрой истине. Здесь нужен пример для подражания, который лучше всяких трогательных речей может повести за собой.

Карл-Артур закрыл глаза. Он увидел перед собой жену, и душа его наполнилась нежностью и восторгом.

Уезжая из Корсчюрки, он заявил жене, что ей, вероятно, придется воротиться домой в Медстубюн. С ним ей ехать было нельзя — ведь ему предстояло жить на хлебах в пасторской усадьбе, куда его в ту пору посылали. Он сказал, что станет высылать ей маленькое жалованье, которое за ним сохранили, всего сто пятьдесят риксдалеров, но что ей будет легче прожить на эту сумму дома у своих, чем здесь, в Корсчюрке. Он отнюдь не был уверен в том, что она сможет жить в их маленьком доме одна, без помощи и защиты.

Однако жена не хотела уезжать.

— Уж верно, мне будет не хуже, чем другим женам, у кого мужа на заработки уезжают, — сказала она. — Как-никак, будет у тебя и печь истоплена, и чистая постель готова всякий раз, когда приедешь домой.

Уж и то благородно с ее стороны, что она оставалась ждать его, невзирая на одиночество и бедность. Большой заслуги, однако, тут не было: многие другие поступили бы точно так же на ее месте. Однако на том дело не кончилось.

Вскоре после того, как он покинул Корсчюрку, отказалась от места старая женщина, которая присматривала за ребятишками Матса-торпаря, и дамы-благотворительницы, принявшие на себя заботу о детях, тщетно хлопотали, чтоб найти кого-нибудь ей взамен. Они рассудили, что был лишь один выход — раздать детей людям поодиночке. Разумеется, аукциона решили не устраивать и доверить их намеревались только хорошо знакомым и порядочным людям, тем не менее бедные дети безутешно горевали, узнав, что их хотят разлучить. Они не пожелали мириться с неизбежным, и когда названные родители пришли забрать своих питомцев, они увидели, что дом пуст, а ребятишек и след простыл.

Не зная, где искать маленьких строптивцев, они, разумеется, зашли в соседний дом, чтоб расспросить, куда они подевались. Оказалось, что все десять ребятишек нашли прибежище именно здесь. Они сгрудились вокруг жены Карла-Артура, бедной далекарлийки, и та заявила вошедшим, что раз, мол, эти дети достались ее мужу на аукционе, стало быть, теперь они — его собственность. Дескать, они находятся у себя дома, и тому не бывать, чтоб их забрали отсюда без его согласия.

Карл-Артур наслаждался, мысленно воспроизводя эту сцену, которую ему описывали в длинных письмах как пасторша, так и фру Сундлер. Дело дошло до весьма горячих пререканий, призвали кое-кого из дам-благотворительниц, и те дали понять молодой женщине, что, если она не отдаст детей, денег на их содержание отпускаться больше не будет. Но Анна Сверд из Медстубюн только рассмеялась в ответ. Кому нужна эта помощь? Дети сами могут заработать себе на прокорм. Ей-то приходилось делать это всю жизнь. И ежели они хотят раздать по чужим людям детей, которых ее муж взялся опекать, им сперва придется убить ее.

Муж, казалось, слышал ее звонкий далекарлийский говор и видел ее жесты. Жена представлялась ему героиней, взявшей под защиту стайку испуганных ребятишек. Ну как ему было не гордиться ею!

И она довела это дело до победного конца. Детям было позволено остаться на ее попечении, но она,

разумеется, навлекла на себя немалые хлопоты. Угрозы дам-благотворительниц были не так уж серьезны, но его жена не позволила детям принимать подачки. Теперь для нее было делом чести, чтобы они с ребятишками прокормились своим трудом.

Ах, как сильно жаждал он воротиться домой, выразить ей свою благодарность, окружить нежной заботой, искоренить всякую память о том пренебрежении, которое он выказал ей однажды по своей самонадеянности.

Внезапно путник очнулся от своих мыслей. Кучер поспешно свернул к обочине, чтобы дать дорогу большому экипажу, запряженному четверкой черных лошадей, который промчался мимо них.

Карл-Артур тотчас же узнал и коляску, и тех, кто сидел в ней. Не удивительно ли, что он непременно должен был встретить их, возвращаясь в Корсчюрку!

На козлах сидела Шарлотта, она правила лошадьми, гордая, сияющая, а кучер сидел рядом, скрестив руки на груди. В самой коляске ехали Шагерстрём с пасторшей Форсиус.

Шарлотта, сосредоточившая все свое внимание на лошадях, не заметила его, а пасторша и Шагерстрём поклонились. Он не ответил на поклон. Он не мог понять самого себя. Увидев Шарлотту, он пришел в замешательство. Волна счастья и радости охватила все его существо. Но ведь он давно уже разлюбил Шарлотту.

Когда он вспомнил, как они встретились в последний раз, он разобрался наконец в своих чувствах. Любил он лишь свою жену, Шарлотта же была его добрым другом, его ангелом-хранителем. Оттого-то он и обрадовался, увидев ее.

Ему казалось, что эта встреча каким-то образом подтверждала радостные предчувствия, с которыми он смотрел на будущее.

II

Никто никогда не слышал, чтобы у Адама и Евы были дети, когда они еще жили в раю. Не существует ста-

рых сказаний о том, как малолетние сыны человеческие бегали взапуски со львятами, или о том, как они катились на спине левиафана* и бегемота.

Дети, должно быть, появились после изгнания из рая, а может быть, они-то и явились в большей степени, чем змий и прекрасные яблоки на древе Познания, причиной того, что их родители были изгнаны из райского сада. Подобные истории можно, во всяком случае, наблюдать и по сей день.

Не надо далеко ходить за примером, взять хотя бы Карла-Артура Экенстедта. Ведь он вернулся домой с такими прекрасными намерениями, готовый создать новый рай в маленькой избушке за садом доктора. Он был твердо уверен, что сумеет осуществить свой замысел, однако не принял в расчет десяти ребятишек.

Ему, скажем, никогда не приходило в голову, что они будут находиться у него в доме круглые сутки. Он думал, что они, по крайней мере, ночью будут спать в своем доме, который был совсем рядом. Но когда он спросил жену, не могут ли дети спать у себя дома, она подняла его на смех.

— Видно, ты, муженек, думаешь, что у нас с тобой денег хоть лопатой гребь. Не могут же ребятишки спать в нетопленной избе, а дрова-то, чай, денег стоят.

И пришлось ему примириться с тем, что в его кухню, которая благодаря стараниям фру Сундлер была такой опрятной, втащили огромную спальную скамью и два диванчика. На оставшееся место нагромодили всякую всячину: кросна и три прялки, два ленточных станка для плетения кружев, чесалку, мотовило и маленький столик, за которым жена его занималась поделками из волос. Словом, здесь было такое множество всякого инструмента, что он лишь с большим трудом мог пробираться по кухне. Но все это было им нужно, ибо его жена и ребятишки зарабатывали себе на пропитание, принимая заказы от жителей прихода на кружева, волосяные цепочки для часов, мотки тесьмы и тканье. Помимо того, им нужно было и свою одежду мастерить.

С каждым ударом челнока в поставе весь домишко содрогался до самого фундамента, а когда пускали в ход прялки и мотовила, жужжание и шум доносились даже в кабинет Карла-Артура, так что ему казалось, будто он сидит в мельничной каморе. Когда он выходил в кухню к обеду, то видел, что еда поставлена на крышку стола, положенную на скамью, где обычно спали дети. И если он намекал на то, что, мол, надо бы приоткрыть немного дверь, чтобы впустить свежего воздуха, жена заявляла, что дверь и так долго стояла отворенной, покуда она мела пол, и что они не могут выстуживать избу больше раза в день, потому как они денег лопатой не гребут.

Поскольку все десять ребятишек должны были жить у него в доме, ему приходилось мириться и с тем, что их праздничная одежда — кофты и сюртучки, юбки и штаны — висела в коридорчике и все, кто приходил по какому-либо делу в маленький дом пастора, имели возможность любоваться ею. В Корсчюрке ничего подобного не бывало, и он сказал жене, что одежду надобно отнести на чердак. Но тут он узнал, что на чердаке водятся и крысы, и моль. Одежда там за какой-нибудь месяц изветшает, а новую взять будет неоткуда — деньги-то они лопатой не гребут.

Жена его стала еще красивее, чем прежде, она любила его нежнейшей любовью, она была горда и счастлива тем, что он вернулся домой. И он тоже любил ее. Не было ни малейшего сомнения в том, что он и она были бы счастливы, если бы не дети.

Он должен был признать, что никто не умел так обходиться с детьми, как его жена. Он ни разу не видел, чтобы она их ласкала. Бить их она тоже не была, но отчитывать умела хорошенько, а уж если что было неладно, им порядком доставалось от нее. Однако как бы она себя с ними ни вела, малышам она всегда была хороша. Да и не только дети Матса-торпаря любили ее. Если бы в кухне хватило места, все приходские ребятишки собирались бы сюда, стали бы часами следить за малейшим ее движением и терпеливо ждать, чтобы она сказала им доброе словечко.

Ну не диво ли, что она превратила десять ребят из страшнейших трутней в самых прилежных муравышек? И хотя им теперь приходилось работать с утра до вечера, они стали краснощекими и пухленькими. Казалось, для них было величайшим счастьем жить рядом с ней, и оттого они и расцвели.

Когда Карл-Артур только что вернулся домой, все десятеро готовы были относиться к нему с таким же обожанием, какое они проявляли к его жене. Больше всех, непонятно отчего, к нему привязалась младшая девчушка. Она то и дело залезала к нему на колени и хлопала его по щеке. Откуда ей было знать, что у нее грязные пальцы и сопливый нос, она не могла понять, почему ее без жалости спускают на пол, и принималась реветь во все горло.

А видели бы вы в тот момент его жену! Она налетала, как буря, хватала ребенка, прижимала его к груди, словно хотела защитить от врага, и бросала на мужа такой взгляд, что он и вовсе приходил в замешательство.

В общем, надо сказать, что хотя жена его была по-прежнему красива, что-то в ней изменилось. С тех пор как ей пришлось командовать целой уймой малышей, она стала такой же властной особой, как заседательша. То покорное, девическое, озорное, что было присуще ей, ушло навсегда.

III

Никто не сказал бы про Карла-Артура, что он избалован. Ему было все равно, что есть и что пить, он привык работать целыми днями, он никогда не жаловался на то, что ему приходилось ездить в тряской повозке и читать проповеди в холодных, как лед, церквах. А вот без чего ему было трудно обойтись, так это без чистоты и порядка, без уюта и тишины в часы работы, но именно этого-то и не было в доме, покуда там жили дети.

Однажды утром, выйдя в кухню к завтраку, он увидел, что там сидит деревенский сапожник. Он поставил свой верстак у окна, как раз на том месте, где любил

сидеть Карл-Артур. Вся кухня пропахла кожей и варом, и, вдобавок к обычному беспорядку, повсюду валялись пучки бересты, колодки и банки с сапожной мазью.

На обеденный стол, выдвинутый на середину кухни, жена поставила две тарелки с кашей-размазней и две больших оловянных миски, тоже наполненных кашей. Тарелки были, разумеется, поставлены ему и мастеру. Жена и дети должны были, как всегда, уплетать кашу из мисок.

Надо сказать, что он уже не раз выговаривал за это жене. Речь шла не о еде, хотя она была простая и скудная, — так оно и должно было быть. Однако он просил жену, чтобы дети ели каждый из своей тарелки. Он растолковал ей, что детей полезно с малолетства приучать понемногу вести себя за столом как подобает.

А она лишь спросила, в своем ли он уме, коли думает, что у нее есть время мыть по десять тарелок три раза на дню. Ему же она всегда будет подавать отдельную тарелку, раз он к тому привык.

Впрочем, он не мог не признать, что дети вели себя за столом вполне пристойно. Им не надо было напоминать, чтоб они прочитали молитву, они ели все, что им подавали, и не спорили из-за каши. Ему было не так уж неприятно есть вместе с ними, но садиться за один стол с сапожником ему было противно. Когда он бросил взгляд на его черные от вара, заскорузлые пальцы, у него и вовсе пропал аппетит.

Не вполне сознавая, что делает, он взял тарелку, ложку и ломоть хлеба и отнес все это к себе в кабинет. Здесь было его мирное пристанище, здесь воздух был чист, а пыль вытерта. Он, по правде говоря, немного стыдился своего бегства, но в то же время не мог не сознаться, что еда давно уже не казалась ему столь вкусной.

Когда он вскоре вернулся в кухню с тарелкой, здесь царилась гробовая тишина. Мастер ел молча, нахмутив брови, жена и вся орава ребятишек сидели, опустив глаза, будто им было за него стыдно.

В этот день ему было как-то неуютно дома, минуту спустя он надел шляпу и вышел. Он бесцельно брел по проселочной дороге, не зная, где найти прибежище.

К фру Сундлер он пойти не мог, так как органист страдал ревматизмом и жена его ухаживала за ним столь заботливо и нежно, что день и ночь не покидала комнаты больного. Пойти потолковать с пасторшей он тоже не мог; Шарлотта не желала, чтобы пасторша, ее старый друг, сидела бы одна со своими вдовыми горестями, и пригласила ее в Озерную Дачу на всю зиму.

Во всяком случае, когда он сейчас проходил мимо пасторской усадьбы, его охватила непонятная тоска по этому старому, прекрасному дому, возле которого он сейчас стоял. Он отворил калитку и пошел через двор к саду.

Неудивительно, что, когда он бродил меж высоких подстриженных шпалер, ему снова вспомнилось, как он в последний раз гулял здесь с Шарлоттой. Он вспомнил, как они поссорились и как он заявил ей, что женится лишь на той, кого сам Господь Бог предназначит ему в жены.

И теперь он был женат на женщине, которую Провидение послало ему навстречу на проселочной дороге, и он был уверен в том, что она именно та, которая нужна ему, что они вдвоем сумеют создать новый рай на земле. И неужели этому не суждено сбыться лишь из-за того, что у них на шее орава детей? Он не мог отрицать, что Шарлотта будет права, когда станет высмеивать его за то, что все его великие планы рухнули лишь из-за того, что он не сумел управиться с десятком ребятишек.

Было время обеда, когда он вернулся домой, но не успел он войти в кухню, как жена принесла ему еду на чистом подносе. Она была, как всегда, весела и приветлива.

— Знаешь, муженек, я думала, ты хочешь есть со всеми нами. А кабы ты раньше сказал, что не хочешь, я бы всегда приносила тебе еду сюда.

Он поспешил ответить, что вовсе не против того, чтоб есть с женой и детьми. Это черные от вара пальцы сапожника отпугнули его. Потом он предложил ей разделить с ним трапезу. Как славно было бы, если б они хоть раз отобедали вдвоем.

Нет, этого она сделать не может. Ей надобно сидеть за столом с ребятишками и следить за порядком. Одно-ко она охотно посидит с ним, куда он ест.

Она уселась в кресло у письменного стола и принялась рассказывать. Тут он узнал, что мастер останется у них только до вечера, так как он подрядился на работу в другом месте до самого Нового года. Ребятишкам не придется идти к рождественской заутрене в новых башмаках, как она им обещала.

Карл-Артур понял, что мастер уходит из-за того, что обиделся на него. Но чем он мог теперь помочь делу?

В этот миг ему представилось лицо Шарлотты: она смеялась над ним за то, что он не мог справиться с такою безделицей.

Жена унесла поднос, а он сидел задумавшись. Но вскоре он догадался, что нужно делать. Он взял сапоги, на которые надо было поставить набойки, вышел в кухню и уселся подле сапожного верстака. Он сказал, что хочет сам починить их, и попросил мастера научить его. Мастер не стал отказываться, и Карл-Артур надел большой передник жены и просидел весь вечер допоздна, обучаясь сапожному мастерству.

Однако за один вечер трудно обучиться как следует, и они сговорились с мастером, что продолжат урок на следующий день. Старик был человек приветливый и услужливый, к тому же они приятно провели вечер, и он сразу согласился.

IV

Мало того, что он ради этих детей был вынужден усестись за сапожный верстак. Это из-за них ему приходилось носить дешевую одежду из сермяги, в которой он походил на мельника. Однако он не мог не признать, что сочельник они провели прекрасно. Кухня была чисто вымыта, весь инструмент вынесен, пол устлан желтою душистой соломой, а посреди комнаты поставлен стол, покрытый белой скатертью. Дети тоже были чистые, вымытые, в новых башмаках, в новом платье, веселые и счастливые оттого, что нако-

нец наступило Рождество. Почти из каждого двора принесли в этот маленький дом подарки: колбасы, масло, каравай хлеба, сыр и рождественские свечи. Подарки к Рождеству не принять было нельзя, и кладовка была набита до отказа всякой снедью, а на столе выстроились в ряд двенадцать горок булочек, кренделей и яблок.

Карл-Артур прочитал краткую молитву и пропел вместе с женой и детьми рождественские псалмы. Потом он с ребятишками принялся играть и возиться на соломе, куда жена мешала кашу в котле.

Когда вечер подошел к концу, он достал маленькие подарки. Дети получили коньки и санки, сделанные на заказ, а жена — старинную булавку для галстука, подаренную ему когда-то матушкой. Подарки всем пришлись по вкусу, и веселью не было конца.

Сам он не думал, не гадал, что его ждет подарок, но как только они поднялись из-за стола, к нему подошли двое старших, с трудом волоча тяжелый сверток материи. За ними целой процессией следовали жена и остальные дети, и он понял, что очередь дошла и до него.

— Уж так рады ребятишки-то, что смогли тебе подарок поднести, — сказала жена. — Они для того всю-то осень работали.

Это было не что иное, как штука серого домотканого сукна. Он быстро наклонился и пощупал его. Всякий знает, что сермяжное сукно — самая что ни на есть добротная, самая теплая и самая прочная материя, однако оно грубое, толстое и серое. А Карл-Артур всю свою жизнь носил одежду из тонкой, гладкой материи, которая была ему к лицу. Ему никогда и в голову не приходило, что он наденет сюртук из сермяги.

Этот подарок сделал его поистине несчастным; он думал теперь лишь о том, какой бы повод ему найти, чтобы не шить из нее платья и не ходить одетым как простой мужик.

Жена и дети стояли перед ним в ожидании одобрений и похвал. Когда же таковых не последовало, они огорчились и встревожились.

Карл-Артур понимал, сколько им пришлось работать, чтобы раздобыть шерсть, чесать ее, прясть и ткать. Им пришлось трудиться над этим целую осень. И, уж верно, когда они чесали, мыли шерсть и ткали, они подбадривали себя, говоря о том, как он обрадуется и станет хвалить сукно. Он удивится, как у них достало денег на такой дорогой подарок, и скажет, что теперь, мол, у него будет одежда из толстого сукна и ему не придется больше мерзнуть ни в доме, ни на улице. Вот чего они ждали от него. Как же он должен был поступить? Если бы он не сказал им что-нибудь приятное, долгожданный праздник был бы испорчен.

Он унаследовал от своей матери способность выходить из самого щекотливого положения и потому сразу догадался, что нужно сказать, хотя ему стоило труда заставить себя сделать это.

— Интересно, — сказал он, — станет ли портной Андерс отдыхать все Рождество? Надо бы непременно сходить к нему и разузнать. Быть может, он найдет время сшить мне что-нибудь из этой материи до того, как наступят сильные холода; хоть будет что теплое надеть.

Тут лица у всех просияли. Они поняли, что он просто поразился их умению, оттого и показался им вначале таким испуганным.

V

С того самого воскресенья на масленой, когда Карл-Артур сбился, читая проповедь о любви, он более не делал попытки говорить экспромтом. Он сочинял все свои проповеди, сидя за письменным столом, и требовал, чтобы в доме было тихо, пока он работал.

И вот однажды утром он взял с жены и детей слово, что они не будут ни шуметь, ни петь, как всегда, так как он должен был писать проповедь. Они терпели не более получаса, а потом разразились безудержным смехом.

Он подождал минуты две, потом распахнул дверь в кухню, чтобы посмотреть, что случилось.

— Уж ты, муженек, не сердчай на нас, — сказала жена и тоже зашлась так, что слезы потекли из глаз. — Котенок наш тут такое вытворял, мы старались не смеяться, да не сдержались, и еще хуже вышло.

Однако смех тут же замер, когда он строго заявил, что они своим поведением все ему испортили, что он готов уйти куда глаза глядят, лишь бы никогда более не слышать их вечный смех да крики.

— Извольте не шуметь. Чтобы никто до обеда не заходил в мою комнату и не мешал мне, — сказал он и сильно хлопнул дверью.

Желание его было исполнено, он работал в тишине до самого обеда. За обедом жена сказала ему, что у них недавно побывали докторша Ромелиус и фру Шагерстрём — заказали волосяные цепочки для часов и браслеты. Она была очень рада их приходу — плохо ли получить большой заказ, и к тому же сестры были такие веселые и приветливые.

Карл-Артур знал, что докторша недавно вернулась домой и что она будто бы совершенно поправилась. И ничего в том не было удивительного, что Шарлотта, навестив сестру, нашла предлог для того, чтобы зайти к нему и посмотреть, как он живет. И все же эта новость совершенно потрясла его. Он стоял, не переводя дыхания, не в силах сказать ни слова.

Шарлотта была здесь! Она находилась под его крышей, а он и не знал этого!

Он спросил с деланным равнодушием, не изъявляли ли гости желания повидать его.

Да, они много раз о нем спрашивали, но ведь он строго-настрого наказал, чтоб никто не мешал ему.

Ему нечего было на это ответить. Бранить было некого. Он только не мог понять, как это он не услышал, что они здесь, и не узнал их голосов. Он прикусил губы и не сказал ни слова.

Жена бросила на него испытующий взгляд.

— Сам понимаешь, что таких важных господ к тебе бы надо было провести, — сказала она. — Только я растерялась, когда они на кухне стояли посреди такого развала, да и не посмела зайти к тебе.

Одним словом, оставалось только молчать, но разочарование свинцовым грузом легло ему на грудь. Хотя бы было на кого свалить вину в этом несчастье! Еда показалась ему безвкусной. Он с трудом проглотил кусок-другой.

После обеда он бросился на диван в своей комнате, однако лежать не смог. В нем все клокотало и кипело. Сожаление и тоска терзали его.

Он сел и собрался было идти, но почувствовал, что не в состоянии сейчас спокойно разгуливать по дороге. Ему хотелось кричать, драться, размахивать руками.

Он вошел в дровяной сарай, схватил топор и постоял с минуту, играя им. Потом он вдруг принялся колоть поленья, что лежали в сарае. Он делал это вовсе не для того, чтобы принести пользу в доме, а просто чтобы найти выход тому, что бушевало, кипело и грохотало в его душе.

И это принесло ему облегчение. С первым же ударом топора он почувствовал, что успокаивается. Так он колот дрова часа два и стал совершенно спокоен, он победил эту боль.

Он стоял разгоряченный и вспотевший, когда в дверях показали ребятишки. Оказалось, что их прислала матушка спросить, не желает ли он выпить кофе.

Он пошел за ними. Видно, жена сварила кофе в честь того, что он нарубил дров.

Здесь его поразила непривычная обстановка. Дело было не только в том, что в кухне было проветрено, в комнате подметен пол и чашки поставлены на настоящий стол. Нет, суть была в том, что жена и дети смотрели на него теперь совсем по-иному. Раз он сумел наколоть дров, значит, он, как и все они, может приносить пользу в хозяйстве, значит, он настоящий работник.

Он вдруг сразу стал главой семейства, самым важным лицом в доме, с кого брали пример все остальные.

ГРЕХОПАДЕНИЕ

I

Однажды утром Карл-Артур, который взял за правило колоть дрова по несколько часов в день, только

что принялся за работу в сарае, как вдруг увидел тень, промелькнувшую в дверях. Он поднял голову, и ему показалось, что он узнал Тею Сундлер, которую не встречал целую зиму. Он поспешно бросил топор и выбежал из сарая. Это в самом деле была фру Сундлер, но она уже вышла за калитку и поспешила вниз по склону холма. Он закричал ей вслед, но она, вместо того чтобы остановиться, ускорила шаг. Он работал в одной рубашке, а сейчас поспешно накинул сюртук и побежал вслед за нею. Здесь было что-то непонятное, в чем он должен был разобраться.

Органист всю зиму так сильно страдал от приступов ревматизма, что с трудом мог двигаться. Однако для того, чтобы он мог отправлять свою службу, помощник органиста и церковный сторож с большим трудом помогали ему подняться по узкой лесенке на хоры. Тея всегда поднималась туда и сидела рядом с мужем во время службы. Она не показывалась ни внизу в церкви, ни в ризнице.

Карл-Артур начал подозревать, что виной тому, что они теперь никогда не встречались, была не только болезнь ее мужа. Очевидно, у нее была другая причина избегать его, и поскольку он питал к ней искреннюю симпатию, то не хотел упускать случая объясниться с ней.

Ему удалось догнать ее, пока она не успела еще спуститься с холма и свернуть на деревенскую улицу.

— Тея! — воскликнул он и положил руку ей на плечо. — Остановись, бога ради! Что с тобой случилось? Неужто ты боишься меня?

Она не подняла глаз и оттолкнула его руку, пытаясь освободиться.

— Позволь мне пройти! — еле слышно пробормотала она.

Карл-Артур не послушался и загорочил ей дорогу. Он заметил, что глаза у нее были красные от слез и что она похудела. Казалось, она, как и ее муж, перенесла тяжелую болезнь.

Он дал ей понять, что не отпустит ее, пока не узнает, отчего его давний верный друг и советчица не хочет

более видется с ним. Что он сделал дурного? Чем он провинился?

— Ты? — спросила она, и в голосе ее явственно прозвучала боль. — Ты? Чем ты мог провиниться передо мной?

Она подняла на него глаза, и он прочел на лице ее безграничное страдание. Карл-Артур смотрел на нее с удивлением. Тею никогда нельзя было назвать красивой, но ее откровенное отчаяние делало некрасивые черты выразительными и трогательными.

— Пусти меня! — вырвалось у нее. — Пасторша Форсиус взяла с меня обещание. Я поклялась, что никогда больше не буду встречаться с тобой. Только при этом условии ты мог вернуться домой к жене.

С этими словами она оттолкнула его и свернула в деревню. Карл-Артур не стал ее удерживать. Ее слова заставили его серьезно призадуматься, и он стоял совершенно потерянный.

На следующий день Карлу-Артуру довелось еще раз встретиться с фру Сундлер. Один из детей занемог в горячке, и он пошел к доктору Ромелиусу, чтобы привести его к постели маленького пациента. Оказалось, что в этот день доктор принимал больного, и его отослали в приемную. Там же сидела фру Сундлер, которая оживленно беседовала с пожилой крестьянкой.

Когда Карл-Артур вошел в комнату, она тут же поднялась, чтобы уйти, но потом передумала и снова села. Он молча поклонился, не делая попытки заговорить с ней, но вскоре она сама обратилась к нему:

— Мы вот с матушкой Пер-Эр немного растерялись, когда ты вошел, мы ведь как раз о тебе толковали. Однако нам, собственно говоря, теряться-то нечего — не было сказано ничего, кроме хорошего. Не правда ли, матушка Пер-Эр?

Большая и грузная крестьянка добродушно улыбнулась.

— Да, магистр мог бы слышать каждое слово.

— Ну, конечно, — подтвердила фру Сундлер, — мог бы. Мы только сказали, что не можем понять, как у тебя хватает сил выносить все это? Ты сидишь там кру-

лые сутки с оравой горластых ребятишек, не зная ни минуты покоя. А еще мы сказали, что ты, верно, рожден не для того, чтобы быть в дровосеках и сапожниках у выводка Матса-торпаря. Но самое-то удивительное, что это тебе самому не надоедает.

— Магистру, видно, не во вред тяжелая работа, — вмешалась крестьянка. — Магистр всегда на вид такой бодрый и здоровый.

— А еще мы говорили, что с твоей стороны весьма разумно носить сермяжное платье. Ты показываешь людям, что всерьез порвал с прошлым. Ты хочешь вести жизнь бедняка и не желаешь даже выглядеть баринном.

— Сперва, — сказала крестьянка, — сперва мы все думали, что это комедь одна с домишком этим да с бедностью. А теперь видим, это вовсе не так.

Карл-Артур почувствовал, как румянец сильной досады залил его щеки. Он считал, что Тея ведет себя бесцеремонно, и покачал головой, давая понять, что ей следовало бы выбрать другой предмет для разговора.

— Какая важность, что проповеди твои не так хороши, как прежде, — продолжала Тея. — Я только что сказала матушке Пер-Эр, что вся твоя жизнь — проповедь.

— Да уж, жизнь магистра и жены его для нас все равно что проповедь, — уверенно отозвалась крестьянка. — Как она по воскресеньям в церковь приходит, а за ней вся ватага ребятишек, все нарядные, румяные, послушные да ласковые, так мы, старухи, на них не налюбujemyся! Стоим да вспоминаем, как эти ребятишки прежде бегали здесь по горушкам оборванные, беспризорные. Доброе дело пастор с пасторшей сделали.

— Да уж, это верно, — сказала Тея, — и знаете, матушка Пер-Эр, если бы и нашелся такой человек, что сумел бы положить конец их мытарствам с ребятишками, так он вряд ли решился бы на это. Ведь просто грех мешать столь благородному поступку, которым все восхищаются.

Карл-Артур сидел, опустив голову, но тут он быстро глянул на них. На лице его появилось выражение ожидания и надежды.

— Неужто, по-вашему, найдется человек, который захочет взять ребятишек? — спросила крестьянка. — В Корсчюрке никто не слышал, чтоб у них была какая родня; есть дядя по отцу, так он такой же бедняк, как их покойный отец.

— Ну, а если их дядя теперь выгодно женился и у него своя усадьба и хорошая жена? Кабы он узнал, что брат его умер, весьма возможно, он захотел бы взять детей.

— Ну, разве что так, — сказала крестьянка.

Больше она ничего не успела сказать. В этот момент дверь в кабинет доктора отворилась, и вышел пациент: теперь был ее черед.

Когда Карл-Артур и Тея остались одни, на мгновение наступила тишина.

Потом Тея заговорила, но голос ее звучал теперь совсем не так, как несколько минут назад. Она вся трепетала от волнения.

— Я сидела дома и молила Господа, чтобы Он помог тебе, — сказала она. — Я знала, что ты хочешь жить в бедности, отказаться от роскоши, но могла ли я подумать, что ты собственноручно станешь чинить башмаки и рубить дрова. Ведь так ты можешь погибнуть. Я считаю, что я за тебя в ответе. Мне бы надо было беречь тебя, а я не могу даже ни разу пригласить тебя в дом. О, как это ужасно, как ужасно!

Карл-Артур сделал движение рукой, словно хотел помешать ей продолжать, но она, словно не замечая, подошла к нему вплотную и стала говорить, подчеркивая каждое слово, как будто хотела, чтобы слова ее запали ему глубоко в душу.

— У Сундлера есть брат, — сказала она, — он органист в уезде Эксхерад. Сейчас он гостит у нас, и вчера, когда мы сидели и беседовали, разговор вдруг зашел о тебе и десяти ребятишках. И тут он возьми да и скажи, что в Эксхераде живет один человек, он родом из Корсчюрки и, должно быть, приходится братом Матс-торпарю. Человек этот много раз говорил моему деверю про своего брата, многодетного бедняка, однако он не знал, жив ли его брат. Деверь мой едет домой сего-

дня после обеда. Просить мне его сказать дяде этих ребятшек, что они живут из милости у тебя и твоей жены, или просить, чтобы он ничего не говорил?

Карл-Артур поднялся. Он выпятил грудь и расправил плечи. Все, что он выстрадал, все, что он вынес из-за этих детей за эту зиму, всплыло у него в памяти. Освободиться от них, освободиться от них по добру и честно!

— Ты не можешь размышлять в тишине и покое, — горячилась Тея. — Твои проповеди стали такие, что и школьник постыдился бы написать что-либо подобное. Прежде ты умел говорить, словно ангел, которому ведомы все тайны Царства Божьего. А теперь ты не знаешь ничего.

Карл-Артур продолжал сидеть молча. За последнее время он привык к своему убогому образу жизни. С детьми они были теперь добрыми друзьями. Ему казалось, что с его стороны все же будет трусостью отослать детей, не довести борьбу до конца.

— Скажи наконец что-нибудь! — молила фру Сундлер. — Ведь я должна знать, чего ты хочешь. Матушка Пер-Эр может войти сюда в любую минуту. Ну, хоть на мекни!

Он рассмеялся. Разве можно было ждать другого ответа! Когда Тея говорила ему все это, он чувствовал, как ломаются оковы, как тает лед, как звучат песни свободы.

И тут он сделал то, чего не делал никогда. Он наклонился, обхватил Тею руками и в порыве бесконечной благодарности поцеловал эту маленькую безобразную женщину прямо в губы.

II

Да кто она такая чтобы судить собственного мужа, который знает куда больше, чем она, который умеет проповедовать слово Божье и наставлять на путь истинный несчастных заблудших грешников? Видно, ей остается только верить, что он и на сей раз прав, что позволил увести детей. Позднее, поразмыслив обо

всем, она поняла, что мужу ее нельзя было поступить иначе. Ведь это родной дядя приехал забрать ребятишек. Кабы их дядя был бедняком, то было дело иное, но раз он теперь живет в достатке, раз у него своя усадьба, добрая жена, а детей нет, так мог ли Карл-Артур не дать ему увести племянников к себе домой?

Сперва она только и думала, что человек этот всего-навсего обманщик, что он хочет сманить от нее детей. Однако двое старших признали его, припомнили его и другие люди в деревне. Просто раньше никто не знал, что ему так повезло. Ведь когда он уезжал из Корсчюрки, то был не богаче своего брата.

Приход, в котором жил этот дядюшка, был где-то далеко на севере, поэтому нечего и удивляться, что он не слышал про то, что Матс-торпарь помер, а дети его живут в чужих людях. Когда же он узнал все как есть, то тут же отправился в Корсчюрку предложить всем десяти ребятишкам поселиться у него в богатом доме.

Доброе дело сделал он. Она должна была поверить, что он человек достойный. Ни она, ни кто другой на свете не могли осудить ее мужа за то, что он позволил детям уехать с дядей.

Карл-Артур ни на чем не настаивал. Однако он так красиво говорил о том, что это само Провидение привело к ним незнакомого человека, чтобы облегчить тяжкое бремя, которое им приходилось нести, в особенности ей, разумеется. Он растолковывал ей, что теперь, когда у нее в середине лета будет свой ребенок, она не сможет работать на них на всех, как прежде.

Она полагала, что он прав, и сама была в нерешительности, не зная, чего она хочет. Речи о Боге сбили ее с толку. Ребятишки были такие славные. Может, Богу было угодно, чтобы им жилось лучше, чем у нее? И Карлу-Артуру, видно, приходилось не сладко, хуже, чем она думала. И все же, слушая его, она понимала, что он говорит все эти красивые слова только ради того, чтобы уговорить ее отослать детей.

Просто удивительно, как мало были дети опечалены тем, что покидают ее. Они ведь уедут далеко и увидят много нового. У дяди есть лошади и коровы, поро-

сята и куры, они будут ходить за ними и задавать им корм. А еще у него есть собака, она умеет благодарить за еду и передразнивать пономаря — показывать, как он затягивает псалом в церкви. Дети, верно, никогда не думали, что им выпадет такое счастье — услышать, как собака распевает псалмы.

Когда они уехали, она уселась на шаткий камешек возле дома и сидела так долго-долго. Ей не было ни до чего дела. Уже несколько лет ей не доводилось сидеть вот так неподвижно, сложа руки, разве что по воскресеньям, да и то не всегда. Она сказала себе, что ей бы надо радоваться, — ведь наконец-то она могла хоть немного отдохнуть.

К ней подошел муж. Он сел рядом с ней, совсем близко, взял ее за руку и стал говорить, как они теперь будут счастливы. Он считал, что дети были ниспосланы им как испытание, и то, что теперь их взяли от них, было знамением Божиим: видно, Господь был доволен тем, что они сделали для этих малюток.

Она знала, что она — ничто в сравнении с ним, что она ничего не смыслит в знамениях Господних, что она даже грамоте не сумела выучиться, но все же она рассердилась на него. Она ответила, что дети были ниспосланы ей Божьей милостью и что, видно, она в чем-то провинилась, раз их отобрали у нее.

Услышав ее ответ, муж поднялся и ушел, не сказав ни слова. А она не окликнула его и вовсе не раскаялась в своих словах. Она была словно сосуд, наполненный горькой желчью. Нелегко было прикоснуться к ней, не расплескав эту горечь через край.

Она знала, что ей надо было идти в кухню, обратиться и вынести вещи ребятишек, но боялась войти туда. Боялась огромной пустоты, которая встретит ее.

Теперь она будет чувствовать себя такой же беспомощной и покинутой, как в первые дни после замужества, пока она не взяла к себе детей. С ними ей было хорошо и спокойно. Ведь надо же быть такой дурой, чтобы позволить кому-то отобрать у нее детей!

Она сидела, а перед глазами у нее стояла телега, на которой их увезли. Ребятишки погрузили на нее узелки

с одеждой и прочий скарб, который мог им пригодиться. Младшие поехали на телеге, старшие пошли с дядей пешком. Дядя засмеялся и сказал, что люди примут их за цыган: ведь цыгане ездят обыкновенно с ребятишками да с узлами.

Удивительно, как легко дети простились с ней. Они только и думали про повозку, про лошадь и про то, что они возьмут с собой. Больше всего они жалели, что котенок не хотел ехать с ними. Они ни слезинки не проронили. Да и сама она тоже не плакала. Но едва они уехали, как ей стало страшно. Ей представлялось лицо их дяди. Может, он вовсе и не такой кроткий и добросердечный, каким прикидывался у них в доме. Он, верно, двоедушный, злой и жадный. Детям у него придется не сладко.

Она приняла это как нечто совершенно очевидное, в чем нельзя и сомневаться. Она ведь сразу хотела побежать им вслед и воротить их, да тогда она не успела еще прийти в себя. И зачем только она не сделала этого, куда еще было время? Теперь мысль о том, что дети будут голодать и холодать, не давала ей покоя.

Дело уже шло к весне. Снег стаял, и солнце светило тепло и ласково. Дети могли бы скоро перебраться в свой дом, и Карлу-Артуру было бы не так трудно.

Она пыталась подбодрить себя, думая о том, что теперь ей придется стряпать только на одного. К тому же не надо будет сидеть до полуночи и штопать дырявые чулки.

Кабы только ей знать, что им станут штопать чулки там, куда они сейчас едут! Кабы знать, что им будет велено читать молитвы по вечерам! Меньшая-то ужас как боится темноты. Кабы только знать, что кто-то станет о ней заботиться! Ведь ей всего-навсего шесть годков, и она нипочем не заснет, если никто не будет сидеть с ней рядом и держать ее за руку!

ШКАФ

В течение нескольких дней после того, как Анна позволила детям уехать, она чувствовала себя такой

беспомощной и так сильно каялась, что не в силах была даже прибрать в избе за детьми. Она была уверена, что дети терпят у своей родни нужду и побои и что с нее и мужа строго спросится за то, что они позволили детям уехать к худым людям.

Мысль о том преследовала ее помимо ее воли, словно лихорадка. Она пыталась с этим бороться, но не могла. У нее не было ровно никакого повода так тревожиться, однако она не могла избавиться от мысли, что дядя, забравший детей, человек злой и опасный — по лицу угадать можно, — жена же его, о которой она ничего не знала, представлялась ей сущей ведьмой. Она уверилась в том, что кара прежде всего падет на голову младенца, которого она ждала. Он родится на свет либо уродцем, либо слепым и глухим. А может быть, Анна помрет родами, и дитя ее будет расти сиротой.

Говорить о том с Карлом-Артуром не было толку. Он и слушать ее не хотел, когда она говорила, что дети, верно, терпят нужду и что их самих Бог накажет. Он был с ней, правда, ласков, однако все ее страхи считал пустыми, и ей пришлось самой справляться с ними.

Однажды утром Анна решила, что нашла средство для исцеления. Она принялась выносить из кухни кросно, прялки и прочий инструмент. Скамью и диванчики, принадлежавшие ребятишкам, она внесла к ним в дом и заперла там. Потом она выскоблила пол, промазала стены свежей клеевой краской, вымыла и высушила все в доме и вскоре уже сидела в кухне, такой же прибранной, чистой и пустой, какой она была в тот день, когда Анна в первый раз переступила ее порог.

Когда она убрала все, что наводило ее на мысль об ораве ребятишек, то сказала себе, что надо постараться представить себе, будто все идет как в первые дни ее замужества. Детей здесь никогда и не было, ей это просто приснилось. Если ей удастся уверить себя в том, что они и вправду никогда не жили у нее в доме, все будет хорошо. Ведь ни один человек не станет горевать и убиваться из-за того, что ему приснилось.

— Будто ты не знаешь, что молодые жены как выйдут замуж, так только и знают, что сидят да думают о своих мужьях, — пробормотала она про себя. — Берись за пряжу да за спицы и свяжи ему пару рукавиц, то-то будет работа по сердцу! Думай лишь о том, что ты теперь пасторша, что тебя возвысили надо всеми другими коробейницами!

И она принялась вязать рукавицы, но успела сделать лишь несколько рядов, как заметила на краю стола фигурки, вырезанные острым ножом. Видно, это проделки мальчишек. Ведь знают озорники, что царапать стол не велено, да разве их отучишь вырезать да чиркать по всему, что только есть в доме деревянного.

Она подняла голову и уже собралась было отчитать их как следует.

Но белобрысых головенков, на которые можно было излить свой гнев, не оказалось. Здесь было пусто, на нее глядели лишь побеленные стены: голые, ничего не выражающие.

Она долго сидела не шевелясь, со спицами в руках. Потом вдруг поднялась, достала нож и в сердцах струганула по краю стола, разом соскоблив все художества. Лицо ее исказилось, словно она вонзила нож в собственную плоть, но потом сразу же снова принялась вязать.

«Ну и дура же я! — думала она. — Ведь это Карл-Артур напраказничал, а не кто-нибудь другой. Он всегда ест на этом конце стола. Да в нашей кухне вовсе и не было никаких ребятишек. Как бы это такие бедняки, как мы, посмели взять к себе чужих детей? Быть того не может. Дай бог самих себя прокормить да малыша, которого ждем».

Она продолжала вязать, губы ее были плотно сжаты, глаза не отрываясь смотрели на вязанье. Она думала сейчас обо всем, что напоминало ей детей, которых спровадил Карл-Артур, так что она и теперь может вообразить, будто их никогда возле нее не было.

Немного погодя послышался шорох, потом что-то шлепнулось на стол. Это котенок, любимец всех деся-

терых ребятишек, с которым они так часто забавлялись, проснулся, сладко выспавшись на печи, и спрыгнул оттуда поиграть с ее клубком.

Она быстро поймала котенка. Он больше всего наводил ее на мысль о тех, кто с ним играл, и она хотела вышвырнуть его за дверь. Но, почувствовав под рукой теплое, мягкое тельце, она не могла не приласкать его. Тут клубок шерсти свалился на пол, и котенок в два прыжка догнал его. Клубок покатился дальше. Котенок хотел остановить его, а клубок все ускользал от него. Анна тоже бросилась ловить клубок, чтобы пряжа не растрепалась, и поднялась кутерьма. Котенок гонялся из угла в угол, а клубок тоже резвился, как живой. Анна невольно смеялась, напрасно пытаясь остановить его. «То-то ребятишкам сейчас весело», — думала она, нарочно затягивая игру, чтобы позабавить малышей.

— Чего ж вы, ребятишки, идите сюда, помогите мне! — воскликнула она.

Не успела она вымолвить эти слова, как тут же опомнилась. Она быстро схватила котенка, шлепнула его по спине так, что он жалобно мяукнул, и вышвырнула его за дверь.

— Неужто я так и не выкину этих ребятишек из головы? — громко сказала она, сматывая пряжу. — Видно, мне никогда не успокоиться.

Она принялась ходить взад и вперед, ломая руки, словно ее мучила боль. Однако вскоре она снова села за работу. Она была рада, что сделала это; ведь не прошло и двух минут, как дверь отворилась и на пороге оказалась старая Рис Карин из Медстубюн.

Рис Карин захаживала к ней передать поклоны из Медстубюн и в нынешнем году, и в прошедшем. Только в те разы кухня была полна ребятишек, повсюду расставлены ленточные станки да прялки, работа шла так, что гул стоял. Увидев, какой тут наведен порядок, она вытаращила глаза от удивления.

— Ну и дела! — воскликнула она, оглядываясь по сторонам.

Вопросы посыпались градом на Рис Карин. Ей пришлось выкладывать, как поживают матушка Сверд и

Июбс Эрик, семейство ленсмана и пастор с пасторшей, Рис Ингборг и пономарь Медберг. Ни один человек в Медстубюн не был забыт, про каждого надо было рассказать.

Когда первое любопытство было удовлетворено, Анна принялась варить кофе. Она побежала в сарай за дровами, потом к колодцу за водой. Затем она стала раздувать огонь, намолочила кофе, отрезала несколько ломтей свежего хлеба, поставила на стол чашки и блюдца. Она бегала и суетилась, гремела посудой и роняла все, что попадалось под руку. Рис Карин поняла, что надо повременить с расспросами про десятых ребятишек, покуда Анна не сядет спокойно пить кофе.

Когда же они наконец уселись за стол, положили за щеку по куску сахара и налили кофе остывать на блюдец, на Карин снова хлынул поток вопросов. Теперь разговор пошел о старых знакомых. Как там они все, и девушки, и парни? Ходит ли все еще Ансту Лиза с коробом, ведь лет ей немало? Все такая же охотница до игры в карты, как прежде?

Но Ансту Лиза была закадычной подружкой Карин и соперницей по торговле, и потому они успели выпить не одну чашку кофе, толкуя обо всех ее проделках и уловках. Рис Карин считала, что такого человека и пускать-то на дорогу с коробом негоже. Честным людям, что своим горбом на хлеб зарабатывают, стыдно иметь дело с такой товаркой.

Но вот кофе был выпит, и пришло время старой далекарлийке отправляться восвояси. Она, не будь дурой, смекнула, что Анне не хочется рассказывать, куда подевались ребятишки, и не стала досаждать ей расспросами, зная, что может все разузнать в любом доме по соседству.

Но когда Рис Карин уже взвалила мешок на свою согбенную спину, распрощалась и взялась за дверную ручку, она вдруг еще раз обернулась.

— Да, не забыть бы дело-то, по которому я к тебе пришла, — сказала она, нашаривая в кармане юбки кошелек с деньгами. — Ты меня и не спрашиваешь, не за-

работала ли я денег для тебя, — продолжала она и протянула Анне бумажку в пятьдесят риксдалеров.

Когда Карин прошлой весной была в Корсчюрке, Анна дала ей кипу мотков тесьмы да несколько локтей кружев, изготовленных ребятишками, и попросила продать их. Анна вовсе про то не позабыла, просто не хотела заводить речь о том, что касалось детей.

Пятьдесят риксдалеров было неслыханно много, и она спросила Карин, не найдется ли бумажки помельче. У нее нет сдачи.

— Не надо мне никакой сдачи. Все деньги твои. Сперва я продала то, что ты дала мне, а после пустила деньги в оборот, так что как раз пятьдесят набежало. На, бери. Тебе они пригодятся, ртов-то у вас больно много.

Хоть и стара была Рис Карин, а быстра на ногу. Она поспешила затворить за собой дверь, чтобы избежать выражений благодарности, и пошла чуть ли не бегом. Прошло минуты две, не больше, как Анна догнала ее. Сейчас она была больше похожа на себя, чем прежде, она не знала, как и благодарить Карин, и проводила ее до самого дома доктора, где Карин надеялась выгодно продать что-нибудь: ведь теперь докторша получила столько денег от богатой сестры, что ей не надо, как раньше, дрожать над каждым эре.

Анна долго сидела в кухне, держа в руках полсотни риксдалеров, и на губах ее играла счастливая улыбка. Она радовалась деньгам, как всегда, но на этот раз нежданная прибыль заставила ее так ликовать. Здесь речь шла о более важном — то было знамение, настоящее чудо. Она ожидала кары Господней за то, что отдала детей, а вместо того получила от них такой дорогой подарок. Она и думать не думала о таком счастье. Опасения и страх покинули ее душу. То, чего она боялась, не случилось, вышло как раз наоборот.

Она не могла не поделиться своим счастьем и пошла к мужу, который сидел за письменным столом в господской комнате, показала ему кредитку и попросила его спрятать ее у себя. У нее в кухне некуда было прятать.

Когда она вошла, Карл-Артур оторвался от работы и рассеянно взглянул на нее. Он не сразу понял ее объяснения, что это деньги, вырученные за поделки, изготовленные детьми. Им никто не помогал, они сами все сделали. И деньги эти они послали ей в благодарность за все и в знак того, что Бог не покарает ее за то, что она спровадила их из дому.

Карл-Артур не стал возражать, хотя ее доводы показались ему весьма туманными. Он видел, что жена его снова обрела уверенность и хорошее расположение духа, и этого ему было достаточно. Он даже предложил, чтобы она на эти деньги, которые ей достались так неожиданно, купила бы себе что-нибудь по душе.

Анна нашла, что это хорошая мысль, и сразу же пошла к себе, чтобы подумать на досуге, на что бы лучше употребить это сокровище, которое ей словно с неба свалилось. Ей не пришлось долго думать над тем, чего ей больше всего хотелось. Когда она впервые вошла в кухню, то сразу решила, что там не хватает большого кухонного шкафа с ящиками внизу и с полочками и дверцами наверху. Большой шкаф от пола до потолка хорош не только тем, что нужен в хозяйстве. Он к тому же придает приличный вид комнате, в которой стоит.

Анна не могла придумать, что могло бы им быть нужнее, и, коль скоро муж ее был с ней согласен, а деньги лежали у него в письменном столе, то она не видела, что могло бы помешать ей пойти к деревенскому столяру, искусному мастеру, и заказать шкаф.

Столяр жил в деревне на главной улице, через несколько домов от органиста, и когда она брела по дороге, ей повстречалась фру Сундлер, которая, видно, вышла нарвать весенних цветов. Во всяком случае, она держала в руке несколько маленьких подснежников.

На фру Сундлер не было салопа, и Анна тому сильно подивилась. Сама она вовсе не заметила, что стало уже совсем тепло. С тех пор как дети уехали от нее, она ни о чем, кроме них, не думала. Ни на погоду, ни на что

другое она вовсе не обращала внимания. Теперь она снова увидела, что сияет солнце, что высокое и голубое небо усеяно пушистыми облачками.

Ей показалось, что все это связано с той большой радостью, которую она испытывала в тот день, и когда фру Сундлер поздоровалась с ней и протянула ей руку, она не поспешила уйти, как поступила бы в другой день, а остановилась. Она сказала себе, что нет ничего страшного, если она перемолвится с ней словечком. Нельзя же, в самом деле, вечно враждовать с человеком, который живет с тобой в одной деревне.

Фру Сундлер сказала, что она чувствует себя как выпущенный на волю узник, оттого что ее мужу намного полегчало и теперь он может выходить из дому без ее помощи. Сама она провела несколько часов в лесу, и невозможно описать, как это было прекрасно. Казалось, душа у нее, как и сама природа, оттаяла и обрела новую жизнь.

Еще тогда, когда Анна только что приехала в Корсчюрку, она сразу почувствовала к фру Сундлер какую-то жалость. И сейчас она сказала ей, что понимает, какой тяжелой для нее была эта зима, и собралась было идти дальше.

Но фру Сундлер удержала ее. Ведь после того, как ты просидела всю зиму взаперти, так приятно поговорить со старым другом, каким она всегда считала жену Карла-Артура. Не будет ли фру Экенстедт так добра взглянуть к ней домой и потолковать минутку-другую? Ведь отсюда всего два шага до ее дома.

Анна не хотела задерживаться, ибо спешила к столяру, и отказалась наотрез. С господами она всегда чувствовала себя немного неловко. Может быть, фру Сундлер разобиделась на то, что Анна не согласилась пойти к ней, не объяснив причины. Тут она принялась рассказывать, что нежданно-негаданно получила деньги и собралась идти к столяру, чтобы заказать шкаф. Фру Сундлер просияла и сказала в ответ, что не удивляется тому, что фру Экенстедт спешит, и поздравила ее с покупкой вещи, столь приятной и нужной в хозяйстве.

Она не стала более удерживать ее, и вскоре Анна очутилась в мастерской столяра. Здесь она уже спешить не стала, а застряла надолго. Прошел целый час, пока они со столяром решили, какой высоты будет шкаф и формы, какие у него будут ящики и замки, какой цвет и какие украшения. Не так-то легко было условиться и о цене, но в конце концов и о том они договорились.

Когда Анна, заручившись обещанием столяра, что шкаф будет готов через месяц и что цена ему будет не более сорока риксдалеров, воротилась домой, она была так рада, что не удержалась и зашла к Карлу-Артуру рассказать ему про этот уговор.

Но Карл-Артур, казалось, вовсе не обрадовался.

— Вот уж не думал, что ты так поспешишь, — сказал он. — Я бы сам сходил с тобой потолковать со столяром.

— Откуда мне было знать, что у тебя есть на то время?

— Вообще-то я занят, однако... — начал он, но замолчал, прикусив губу.

Жена испытующе посмотрела на него. Она увидела, что он смутился и покраснел, как девушка.

— Говори, муженек, чего ты хочешь, — сказала она.

— Чего я хочу? — сказал Карл-Артур. — Я полагаю, раз ты сама решила, что деньги достались нам чудом, так, может быть, следовало бы употребить их не на наши собственные нужды, а на какое-нибудь богоугодное дело.

— Уж не отдал ли ты кому мои деньги? — сказала она, нимало не подозревая, что так оно на самом деле и было.

Карл-Артур покашлял, прочистил горло, а потом объяснил, что к ним заходил органист Сундлер. Он был так счастлив, что может наконец ходить, ведь он прохворал целую зиму. Карл-Артур сказал, что ему надо полечиться летом, чтобы недуг этот снова не одолел его на следующую зиму; органист же ответил, что он не желал бы ничего лучшего, как поехать на воды в Локу и полечиться от подагры, только вот денег у него нет.

— Но ты уж, поди, не отдал ему деньги, что нам при-
слали дети?! — воскликнула Анна с упреком.

— Дорогой друг мой, — сказал Карл-Артур очень хо-
лодно и высокомерно, — известен ли тебе более до-
стойный способ употребить деньги, дарованные нам
Господом, нежели совершить доброе дело?

Анна подошла к нему вплотную. Она была бледна, а
в ее глубоко сидящих глазах трепетали искры. Казалось,
будто она и вправду хочет отнять у него деньги силой.

— Ты чего же, не понял, что я тебе сказала? Ведь это
знамение, это же сами дети послали нам деньги, благо-
дарят нас. Ты, видать, забыл, как этот человек обошел-
ся со мной, когда был у нас в прошлый раз.

— Может быть, именно об этом-то я и подумал.

Анна разразилась громким безудержным смехом,
но смех этот был безрадостен. Карл-Артур нетерпели-
во повернулся к ней.

— Ты находишь это смешным?

— Да нет, я не над тем смеюсь. Мне пришло на ум
другое. А когда же это органист приходил к тебе?

— Органист? Как тебе сказать, с полчаса тому назад.
Он пробыл здесь недолго. Ты должна была с ним по-
встречаться по дороге домой.

— Я думаю, он не очень-то хотел попасться мне на-
встречу.

Она снова принялась хохотать страшно, безудерж-
но. Карл-Артур выпрямился с еще большим досто-
инством.

— Не будешь ли ты так добра объяснить, над чем ты
смеешься?

— Я не над тобой смеюсь, а сама над собой. До чего
же я была глупа, когда сказала этой самой Тее про пять-
десять риксдалеров! И как это я не смекнула, что она
выманит их у тебя.

Он немного испугался. Глаза жены сверкали таким
злорадством, и он понял, что тут кроется нечто такое,
чего он не знал. Однако он стукнул кулаком по столу,
чтобы внушить к себе хоть какое-то уважение.

— Изволь же наконец вразумительно сказать, над
чем ты смеешься!

В конце концов он узнал, как обстояло дело, но он никак не мог заставить себя поверить, что фру Сундлер послала к нему своего мужа, чтобы выманить у него полусотенную. Это было всего-навсего случайное совпадение.

— Это невозможно, — сказал он. — Так поступить было бы просто мошенничеством. Неужто Тея поспешила бы послать сюда своего мужа, узнав, что мы получили эти деньги? Тея, которая так благородна, так возвышенна, так щепетильна!

— Да уж не знаю, как там все это было, однако чудно, что он пришел брать деньги в долг как раз сегодня.

Хотя Карл-Артур и защищал фру Сундлер, он, казалось, был настолько поражен, будто на его глазах рухнула Вавилонская башня. Анна вспомнила тот воскресный вечер два года тому назад, когда Тея и органист пришли к ним, чтобы призвать ее к ответу за парадную шляпку. Может, и стоило полусотни риксдалеров увидеть, как ее муж теперь разочарован.

Однако долго торжествовать ей не пришлось. В коридорчике послышались шаги, затем сразу же раздался тихий и деликатный стук в дверь комнаты Карла-Артура, и вошла Тея.

Карл-Артур повернулся к письменному столу и, не глядя на нее, принялся рыться в бумагах. Фру Сундлер сделала вид, будто не замечает его, и обратилась к его жене.

— Милая фру Экенстедт, — сказала она, — я весьма огорчена. Я услышала от мужа, что Карл-Артур был столь великодушен, что одолжил ему пятьдесят риксдалеров. Я тут же сказала ему, что это, очевидно, те самые пятьдесят риксдалеров, которые заработала фру Экенстедт, и что мы не можем принять их. Фру Экенстедт собиралась купить на них шкаф, он ей в самом деле очень нужен. Что же тут приятного, когда посуда стоит на полке и пылится? И потому я попросила Сундлера отдать мне эти деньги, чтобы я могла пойти сюда и узнать правду. Я сказала ему, что если деньги принадлежат фру Экенстедт, то ему придется смириться со своей подагрой, потому что мы должны

будем вернуть их назад. Но если это собственные деньги Карла-Артура, то он, разумеется, может взять их. Да, я заверяю фру Экенстедт, что мне его поистине жаль. Ведь он был так рад, что поедет в Локу и грязями вылечится от подагры. Но он сразу же признал, что я права.

Закончив свою тираду, она в тот же миг вынула из кармана кредитку и протянула ее Анне, точно так же, как ей подала ее Рис Карин несколько часов тому назад.

Но Анна едва обратила на это внимание. Она не смотрела на фру Сундлер, но не спускала глаз с мужа. Он все еще стоял молча у письменного стола, но после каждого слова, которое произносила Тея, он все более распрямлялся, становился выше и постепенно поворачивался к ней. Когда речь ее была окончена, чело его просветлело, веки приподнялись, и он бросил такой взгляд на маленькую женщину с рыбьими глазами, что жена его могла ей позавидовать. Потом он повернулся к ней, к Анне, которая протянула было руку, чтобы взять кредитку, и тут лицо его помрачнело, веки опустились, он скрестил руки на груди.

Делать было нечего. Уж лучше пожертвовать пятьюдесятью риксдалерами, чем позволить ей предстать перед ним чудом справедливости.

— Забирай себе бумажку! — сказала она фру Сундлер. — Это не та, что я поминала давеча утром, а совсем другая. Это деньги Карла-Артура.

— Неужто это возможно? Неужто это в самом деле возможно? — воскликнула Тея вне себя от счастья и благодарности. Однако она не стала больше задерживаться, а сразу отправилась восвояси, словно боялась, что случится что-нибудь такое, отчего ей придется отдать назад кредитку.

Жена не могла понять, как это Карл-Артур, который всегда так ратовал за правду, не сказал Тее, что это ложь, а на этот раз, казалось, был весьма доволен тем, что Анна солгала.

Он проводил Тею в прихожую и, когда вернулся назад, то хотел заключить Анну в объятия.

— Ах, друг мой, — сказал он, — это было великолепно. Я не помню, чтоб мне довелось пережить что-либо подобное. Вы были обе неподражаемы — и ты, и Тея! Не знаю, кто из вас больше достоин восхищения!

Жена оттолкнула его и встала перед ним, крепко сжав кулаки, с лицом, искаженным гневом.

— Я все бы могла простить тебе, только не то, что ты позволил ей отобрать у меня эти деньги, — сказала она и вышла из комнаты.

КОЛОДА КАРТ

I

Так уж она была создана, она ничего не могла поделать, что уродилась такая. Не ее вина, что она была из тех, кто слова не вымолвит, если на кого осерчает. Да и самые упорные из таких и то через день-другой перестают дуться и молчать, но с ней обошлись столь несправедливо, что она могла только стиснуть зубы и молчать целую неделю.

И за работу она не в силах была приняться. Ей оставалось лишь сидеть скрючившись на лежанке как можно ближе к огню и раскачиваться взад и вперед, закрыв лицо руками. Единственное, на что она была способна, — это пить кофе. У нее был маленький чугунок на трех ножках, который она в годы своих странствий носила обыкновенно с собой на дне короба. Сейчас она не снимала котелок с огня и наливала из него чашку за чашкой.

Она делала кое-что по хозяйству и стряпала мужу обед, на том и дело кончалось. Она больше не могла садиться за стол вместе с ним, а только подавала ему еду и сразу же снова забиралась на печку и сидела, раскачиваясь, даже не глядя в его сторону.

Муж, да что ей муж! Будь она только замужем за каким-нибудь далекарлийским парнем из Медстубюн, за таким, который понял бы, как ей сейчас тяжело, как ей нужна его помощь! Уж он, верно, зашвырнул бы ее ко-

телок на горушку и заставил бы ее приняться за какое-нибудь рукоделие, и это только пошло бы ей на пользу.

А этот подходит к ней то и дело, спрашивает, здорова ли она, и просит так ласково, чтоб она сказала хоть словечко. А она молчит, как мертвая, и тогда он хлопает ее легонько по плечу, говоря, что ей скоро непременно полегчает, и отправляется восвояси.

Вот и вся помощь, какую она от него видит.

Она понимала, что у него на уме. Он, видно, слышал от кого-нибудь, что, когда женщины ждут младенца, у них всегда бывают причуды. Вот он, видно, и вообразил, что на нее нашло что-нибудь в этом роде.

Но тут дело было совсем не в том, уж он-то должен был бы это понять, ведь он человек ученый. К тому же она была твердо уверена, что он знает, чего ей недостает, но делает вид, будто ничего не понимает. Он не любит этих ребятишек. Он не хочет, чтоб они воротились назад. Пусть лучше она сидит и мучается.

Нет, так уж она была создана, она ничего не могла поделывать, что уродилась такая. Страх за детей без конца перемалывал ее душу, не давая ей ни минуты покоя.

Там, на севере, где сейчас живут дети, полным-полно бродяжек, которые слоняются вокруг по приходам да побираются. Они вечно таскают с собой целую ораву ребятишек, а если своих детей у них мало, они берут чужих. Она теперь была совершенно уверена, что шестерых младшеньких отдали такой вот побирушке. Их одели в лохмотья и мешковину, чтобы они походили на нищих. Им приходится ходить босиком, хотя снег там у них еще едва стаял, их морят голодом, бьют, словом — держат в черном теле. Ведь не годится, чтобы нищие ребятишки выглядели сытыми и веселыми.

Только бы ей увидеть детей живыми и здоровыми, она сразу бы стала прежней. Но как сказать о том Карлу-Артуру! Она не могла заставить себя сделать это. Пусть сам до этого додумается.

Дома в Медстубюн любой парень догадался бы, что это-то ее и мучало. Он запряг бы лошадь и отправился в Эксхерад за ребятишками на другое же утро. А если бы он не захотел помочь ей таким манером, так схватил бы

ее за волосы да стянул бы с печи на пол, и тут бы она поняла, в чем дело, и это тоже пошло бы ей на пользу. А этот только и знает, что придет да скажет ласковое слово да по плечу похлопает; на том дело и кончается.

Опостылил он ей. Прежде для нее никого не было милее, а теперь она с трудом терпела его, когда он приходил к ней в комнату.

Однажды в полдень, когда он пришел к обеду, она сидела с железной трубкой во рту и пускала большие клубы дыма. Она знала, что пасторше курить не пристало, но она должна была это делать. Словно кто-то ей приказал это. И теперь ее разбирало любопытство, что он скажет на то, что его жена сидит и курит, как старуха финка.

Видно было, что он испугался. Он тут же сказал, что не может мириться с тем, чтобы жена его курила табак.

Она посмотрела на него с надеждой. «Может, теперь-то он поймет, что должен помочь мне», — подумала она.

— Приготовься к тому, что я не стану обедать здесь, если ты будешь наполнять комнату табачным дымом, — сказал муж. — Коли ты намерена и впредь этим заниматься, тебе придется подавать мне еду в мою комнату.

Он даже не рассердился. Он был терпелив и добр к ней, как всегда. Она начала понимать, что ей никогда не видать от него помощи.

После того он всегда ел в своей комнате, однако же не забывал заглянуть к ней и справиться о ее здоровье. Он, по своему обыкновению, похлопывал ее по плечу и говорил ей ласковое словечко. И так проходил день за днем.

Все это время она много раз слышала, как открывалась входная дверь и в его комнате раздавались громкие оживленные голоса. Приход у него был большой, и многие заходили по делам, но она знала, что немало прихожан навещали к нему, чтобы поговорить с ним о спасении души. Вот уж нашли кого спрашивать! Какой из него советчик? Ведь он не мог помочь даже бедной жене своей.

Так прошла целая неделя, когда однажды, сидя на лежанке, она вдруг заметила, что под передником у нее спрятан нож. Словно кто-то велел ей взять нож. Ей вовсе не показалось удивительным, что она это сделала, однако она не могла понять, почему взяла столовый нож. Ведь им нельзя причинить вред ни себе, ни кому-либо другому.

К полудню пришел муж и сказал, что ему надобно наведаться в приход по делу. Он поедет к одному торпарю в самую отдаленную часть прихода. Ехать туда, по крайней мере, две мили. С обедом для него ей хлопотать не надо, однако он будет ей признателен, если она приготовит ему что-нибудь перекусить к тому времени, как он воротится домой, часов в шесть пополудни.

Она, как всегда, ничего не ответила, но когда он добавил, что она, как ему кажется, выглядит нынче немного бодрее, чем вчера, и что она скоро непременно будет такою же, как прежде, она слегка приподняла передник. Когда же он протянул руку, чтобы, по обыкновению своему, похлопать ее по плечу, она вдруг резко отдернула передник, и он увидел, как сверкнуло лезвие ножа.

Он отшатнулся, будто на коленях у нее лежала гадюка. Долгое время он не мог вымолвить ни слова. Он стоял, покачивая головой, в полной нерешительности.

— Анна, Анна, — сказал он наконец, — ты, я вижу, тяжело больна. Нам надобно принять какие-то меры. Как только я вернусь сегодня домой, попрошу доктора, чтобы он выяснил, что с тобой случилось.

С этими словами он ушел. Но теперь она поняла все, что хотела понять. Теперь она знала, что этот человек никогда не поможет ее горю.

II

Как отраднo уехать из дома и оставить повседневные заботы, даже если едешь всего-навсего в тряской крестьянской телеге! Ведь ты знаешь, что все твои мучения есть нечто преходящее и что скоро все снова

будет хорошо, как только долгожданный маленький человечек увидит свет. Однако терпение твое в последнее время подверглось слишком тяжким испытаниям, и для тебя поистине благотворно вырваться хоть ненадолго на волю и увидеть, что может дать человеку жизнь, кроме озлобленности и недоброжелательства.

Карлу-Артуру довольно было миновать докторскую усадьбу и свернуть в деревню на главную улицу, чтобы его окружили радость и веселье. Он увидел, как в воздухе развеваются красные, белые и желтые платки. По обе стороны дороги были поставлены лари, битком набитые товарами, а на проезжей части толпилось такое множество людей, что лошади пришлось пробираться сквозь эту толпу шаг за шагом.

Одним словом, в Корсчюрке была ярмарка, правда, не такая богатая, как осенняя, когда люди запасаются на всю зиму, но, во всяком случае, тоже весьма долгожданная и оживленная. Заезжие вестерйётландцы* предлагали ситцы, что впору носить красным летом, а оно было не за горами, далекарлийцы торговали лемехами да косами, без которых нет ни пахоты, ни жатвы. Корзинщики протискивались сквозь толпу, сплошь увешанные корзинами, которые так пригодны, когда ходишь по ягоды. Явились туда и бердники*, берда висели у них на спине большими связками, их товар был самый ходкий — ведь долгими летними днями в самый раз садиться за кросно.

И какое же это было прекрасное зрелище, а Карлу-Артуру более всего нравилось, что лица у всех сияли радостью. Именитые купцы из Кристинехамна, Карлстада и Эребру, которые не гнушались сами разъезжать со своими товарами, стояли за прилавками, одетые в богатые шубы, в шапках из тюленьего меха, и встречали покупателей самой радушной улыбкой. Далекарлийские девушки, веселые, в пестрых нарядах, разложили на простых лотках свои товары, а местные жители здоровались с друзьями и знакомыми и улыбались им радостно, ото всей души, как улыбаются люди весною, когда пришел конец холодам, ненастью и сидению взаперти. Надо сказать, что вино тоже немало способствовало ве-

селому расположению духа, однако в такую пору пьяных еще не было видно, просто люди расхрабрились и были не прочь посмеяться.

Кое-где образовалась такая давка, что проехать было никак нельзя, приходилось останавливаться и ждать. Карл-Артур на это не сетовал, а, напротив, с удовольствием смотрел на забавные сценки, которые разыгрывались в ярмарочной толчее. Перед одним прилавком, где продавалась преотличнейшая льняная домотканая материя из Вестерйётланда, стоял старик торпарь, изможденный, неказистый, в потрепанной одежде; он держал за руку красивую девочку. Старик, видно, уже хватил рюмочку-другую, на весеннем солнце его разморило, им овладело блаженное состояние лихости и удалства, и он громко кричал приказчику:

— Буландер, Буландер, почему красная шапка? Почему красная шапка, Буландер?

Но красная шапка, которую он хотел купить своей дочке, была на самом деле изящной соломенной шляпкой на шелку, с длинными розовыми шелковыми лентами. Торговец вывесил ее снаружи лавочки, чтобы привлечь самых знатных барынь, и когда старик торпарь захотел ее купить, он смутился и сделал вид, будто не слышит. Но это привело лишь к тому, что покупатель заорал еще громче:

— Буландер, а Буландер, почему красная шапка?

Толпа загоготала, мальчишки принялись передразнивать бедного старика, но Карла-Артура умилило, что торпарь решил, будто самая красивая шляпка на ярмарке подходит как нельзя лучше его дочери.

Не успела таратайка сдвинуться с места, как пришлось снова остановиться. На этот раз причину остановки был горнозаводчик, человек средних лет, статный, изысканно одетый, с умным и красивым лицом, который собрал вокруг себя большую толпу. Он стоял очень серьезный и важный, но вдруг высоко подпрыгнул и прищелкнул пальцами.

— Ну и налился же я! — сказал он. — Вот здорово-то!

Потом он снова стал серьезным, постоял молча с важным лицом и совершенно неожиданно снова так же точно подпрыгнул, прищелкнул пальцами и повторил:

— Ну и нализался же я! Вот здорово!

Люди находили это весьма забавным, но Карл-Артур, который терпеть не мог пьянства, нашел его поведение непристойным и отвернулся. Тогда кучер его пояснил, что это всего-навсего шутка.

— Да он пьян не больше моего, — сказал он. — Он так кобенится на каждой ярмарке, он и приходит-то сюда, чтобы только людей потешить.

Карлу-Артуру стало жаль жену, которая сиднем сидела на печи, ничуть не подозревая, что совсем рядом идет такое веселье.

«Какая жалость, что она не придет сюда, — думал он. — Она, может быть, повстречала бы кого-нибудь из старых друзей, о которых хранит добрую память. Ее нужно бы вырвать из этого мрачного состояния».

Меж тем мысли его скоро приняли иное направление. Как обыкновенно, на ярмарку является множество празднующихся — бродяг и прочего сброда, для которых мена лошадей или часов — первейший способ заработать на пропитание. Один из подобных мошенников и мчался сейчас по улице во весь опор, очевидно чтоб показать какому-нибудь барышнику, на что способна его лошадь. Карл-Артур увидел его еще издали — это был смуглый стройный человек, он стоял во весь рост на сиденье возка, чтобы сподручнее было погонять кнутом маленькую соловую клячу. Человек этот кричал и ругался, лошадь мчалась вперед, ошалев от страха, люди шарахались в стороны, чтобы не попасть под колеса. Кучер Карла-Артура тоже хотел было свернуть, да толпа ему помешала; казалось, еще мгновение, и повозки столкнутся.

В последнюю минуту бродяга усмирил лошадь, крикнув на нее, и подтянул поводья. Когда же после того его лошадь медленной рысцой пробежала мимо молодого пастора, он весьма вежливо приподнял картуз, у которого была оторвана половина козырька.

— Мое почтение, кузен! — крикнул он. — Черт побери, до чего же у тебя жалкий вид! Скидавай-ка свой черный сюртук да ступай ко мне! Не жизнь будет, а малина!

Он хлестнул лошадь, и та пустилась рысью. Карлу-Артуру стало стыдно этой встречи, и он велел вознице постараться поскорее выбраться из ярмарочной толчеи.

Когда они были уже на проселочной дороге, молодой пастор задумался о своем кузене Йёране Лёвеншёльде из Хедебю, который в молодые годы бежал из отцовского имения, связался с цыганами и прочим бродячим людом и ни разу не проявил желанья вернуться к пристойному образу жизни.

До сих пор Карл-Артур всегда считал своего кузена человеком опустившимся и несчастным, позорным пятном всей его семьи, но в этот день он был менее склонен выносить ему, как обычно, суровый приговор. Возможно, такая вот бродячая жизнь не лишена своих прелестей. В ней была свобода, в ней было неизведанное. За каждым поворотом дороги таилось приключение. Такому человеку не надо было готовить проповеди к определенному дню, не надо вести нудные журналы, не надо сидеть на скучных приходских собраниях. Возможно, кузен сделал не такой уж скверный выбор, променяв салон усадьбы на проезжую дорогу.

Карл-Артур сам насмотрелся на проселочные дороги. В годы учения, когда ему по четыре раза в год приходилось ездить из Карлстада в Упсалу, он и познакомился с ними близко. Здесь он провел много беспечальных дней. С радостью вспоминал он потом пестрые полосы цветов, окаймлявшие дорогу, прекрасные панорамы, открывающиеся с вершины холмов, скромные трапезы в уютных постоянных дворах, беседы с приветливыми возницами, которые, познакомившись с ним за эти годы, стали узнавать его и справляться, уж не собирается ли он учиться в Упсале, покуда не станет мудрым, как царь Соломон.

Он всегда любил жизнь, близкую к природе, и потому ему нравились длинные путешествия ради них самих. Когда другие жаловались на них, он всегда думал

про себя: «Не понимаю, на что они сетуют. Дорога всегда была мне другом. Я люблю крутые холмы, которые так оживляют путешествия. Однообразные дремучие леса тоже имеют свойство пробуждать воображение. Скверная дорога мне тоже не так уж ненавистна. Из-за сломанной оси я однажды подружился с целой деревней. Из-за снежного бурана я был гостем в графском замке».

Пока он так сидел, погруженный в размышления, вызванные встречей с этим родственником, случилось нечто неожиданное. Ему вдруг пришла в голову совершенно новая мысль. Она поразила его, как гром среди ясного неба. Он был настолько взволнован, что даже привстал с сиденья и издал громкий возглас.

Кучер натянул вожжи и поглядел на него:

— Уж не забыл ли магистр взять рясю?

Карл-Артур вновь опустился на сиденье и успокоил его. Нет, разумеется, он ничего не забыл. Все в полном порядке. Напротив, он снова нашел то, что однажды потерял.

После этого он всю дорогу сидел со сложенными руками, и в глазах его сиял отблеск озарившей его мысли.

Как он и сказал кучеру, в том, что он придумал, не было ничего нового. Сотню, если не тысячу раз он читал в Евангелии от Матфея слова, которые говорил Господь, посылая своих учеников нести людям весть о близком приходе Царствия Небесного. Однако он прежде не осознавал всей глубины этих слов. Только теперь он подумал о том, что Христос в самом деле наказал апостолам отправиться в путь как бедным странникам, без сумы и посоха, и приносить благую весть во все придорожные дома, в хижины и во дворцы. Они должны были появляться на ярмарках и собирать вокруг себя народ, заговаривать с путниками, отдыхающими на постоялых дворах, затевать беседы с другими странниками, повсюду рассказывая о чудесном приходе Царствия Небесного.

Как могло случиться, чтобы он ранее не внял этому велению, которое было выражено столь ясно и отчет-

ливо? Он, как и прочие священнослужители, стоял на кафедре проповедника, ожидая, что люди сами придут к нему.

Но Иисус желал совсем иного. Он хотел, чтобы ученики Его сами ходили бы по дорогам и тропам и отыскивали путь к сердцу людей.

У него, у Карла-Артура, был свой план, придуманный им самим. Он хотел создать рай земной, который служил бы людям примером для подражания. В этот миг он понял, отчего это не удалось ему. Он понял, отчего он встретил на пути столь много препятствий, отчего лишился красноречия, отчего был виною столь тяжких несчастий. Господь желал показать ему, что он избрал неверный путь. Христу не было угодно, чтобы слуга Его обитал постоянно в четырех стенах. Истинный Его слуга должен быть перелетного птицею, вольным странником, человеком неимущим, живущим на лоне природы. Он должен есть и пить милостью небес, терпеть голод и холод по воле Божьей... Он должен спать в постели, лишь когда это Богу угодно, а если однажды утром его найдут мертвым в сугробе, то это будет лишь означать, что Господь призвал усталого странника к Себе в чертоги небесные.

«Это и есть путь совершенной свободы, — думал он в сладостном восторге. — Благодарю тебя, Боже, за то, что Ты наставил меня на этот путь, покуда еще не поздно».

— Когда я приеду домой, — пробормотал он про себя, — напишу епископу. Попрошу его освободить меня от должности в Корсчюрке и выйду из шведской государственной церкви. Пастором я, разумеется, останусь по-прежнему и не стану проповедовать какое-либо новое учение. Но я не могу более подчиняться церковному уставу, епископу и консистории*. Я хочу проповедовать учение Христово так, как Он мне сам повелел, я хочу быть бродягою во имя Господа Бога нашего, пастором-нищим, скитальцем Господним.

Совершенно очарованный, погрузился он в эти мечты. Жизнь, казалось, обрела для него новый смысл. Она вновь стала прекрасной и удивительной.

«Ведь жена моя может остаться в моем доме, — думал он. — Ей будет там хорошо, если она не станет видаться со мной. Она позовет назад детей. За нее мне нет надобности тревожиться. Все, что ей нужно, она раздобудет своим трудом».

Он почувствовал, что разом освободился от всех трудностей. Сердце его отбивало легкий, танцующий ритм, наполнявший его бесконечным блаженством.

III

Карл-Артур не поспел домой к шести часам. Стрелка часов приближалась к восьми, когда он вылез из телеги возле своего жилища. Когда он спустя несколько мгновений отворил дверь в кухню — ах, как давно он не открывал эту дверь в столь радостном расположении духа! — то замер на пороге, так сильно он был поражен зрелищем, представившимся его глазам.

Жена покинула свое место на печи. Она перебралась к окну и, сидя за столом, играла в карты с двумя незнакомыми мужчинами. Как раз когда он вошел, она ударила картой по столу и воскликнула громко и весело:

— По пикам! Что, взяли?

— А не надо ли тебе, Анна, моего короля, вот и весь фокус! — сказал один из ее партнеров и тоже выбросил карту.

Тут игра прервалась. Они увидели Карла-Артура, который стоял ошеломленный в открытых дверях.

— Это два дружка моих с той поры, как я коробейничала. Проведать пришли, — сказала жена, не поднимаясь с места. — Вот мы и забавляемся, как прежде, бывало, когда встречались на постоянных дворах в ярмарочные дни.

Карл-Артур подошел ближе, и мужчины поднялись. На одном из них был черный плюшевый жилет, застегнутый на все пуговицы, а поверх него сюртук из черного драпа. Это был румяный, плешивый, добродушный здоровяк. Карл-Артур узнал в нем того самого купца, который вывесил на ларьке красивую розовую шляпку. Другой был далекарлиец в долгополой овчине, краси-

вый парень с правильными чертами лица; волосы на лбу у него были коротко острижены, а по бокам довольно длинные.

— Это Август Буландер из Марка, — сказала Анна. — Из тех богатеев, что торгуют на ярмарке под навесом да возят товары на лошадях. Диво, что он не гнушается водиться с такой голью из Далекарлии, как я да Ларс Ворон, которым приходилось месить грязь по дорогам да надрываться с коробом на горбу.

Вестерйётландец сделал вежливый жест, словно отклонял чересчур нелепое предложение сбавить цену. Он начал было говорить, что всегда почитал для себя честью водить компанию с Анной Сверд, с самой что ни на есть красавицей изо всех коробейниц. Но Карл-Артур прервал его.

— Друзья моей жены для меня всегда желанные гости, — сказал он. — Однако я должен сразу же сказать, что картежничать в моем доме не позволено.

Он сказал это дружелюбно, но с большим достоинством. Гости слегка смешались и стали нерешительно оглядываться по сторонам, но Анна не медлила с ответом.

— Еще чего! — воскликнула она. — Приходишь только да портишь людям все веселье. Ступай к себе. Я принесла тебе вечерять в комнату. Оставь-ка нас в покое!

Прежде жена никогда не разговаривала с ним в таком тоне, и Карлу-Артуру стало невыносимо больно; однако он овладел собой и сказал столь же вежливо и спокойно:

— Неужто нельзя просто посидеть и побеседовать? Ведь старым друзьям всегда есть что вспомнить.

— Ходи давай, Август! — сказала Анна. — Твой черед. Он ведь такой, что не уймется, покуда не отберет у человека все, что ему любо.

— Анна! — резко крикнул Карл-Артур.

— А что, или ты не отнял у меня свадьбу с гуляньем на три дня? Или ты не отнял у меня пасторскую усадьбу, которую мне бы должно иметь? Может, не отнял ты у меня ребятишек и пятьдесят риксдалеров? А теперь и карты отнять хочешь? Ходи, Август!

Вестерйётландец не послушал ее уговоров. Оба они — и он, и далекарлиец — сидели не двигаясь и ждали, когда муж с женой перестанут ссориться. Ни один из них не был пьян, и весьма вероятно, что, если бы Карл-Артур сумел сохранить спокойствие, ему удалось бы уговорить их отказаться от игры в карты. Но его раздосадовало, что жена осмелилась перечить ему, да еще в присутствии чужих людей. Он протянул руку, чтобы взять карты.

Тут Ларс Ворон, привыкший бродить по дорогам с огромным мешком, битком набитым скобяными товарами, повел рукой. Движение это было слабое, едва заметное, но Карл-Артур перелетел через всю кухню, как муха, от которой отмахнулись, и упал бы, но на пути ему подвернулся стул, стоявший у стены. Он посидел с минуту, чтобы отдышаться после внезапного нападения, но, поскольку он уже много недель рубил дрова по два-три часа в день, силы у него хватало. Он собрался было ринуться на противника, но тот крепко схватил его, прижав ему руки к телу, потом поднял и понес в комнату. Все было сделано так осторожно и медленно, что это вряд ли даже можно было назвать насилием. Дверь распахнулась от удара ногою, Карла-Артура бережно положили на кровать и оставили лежать, не говоря ни слова.

Он лежал там, скрипя зубами от гнева и унижения. Однако он с самого начала понял, что тут ничего не поделаешь. Человек этот был намного сильнее его. Бежать за ленсманом да созывать людей, чтобы они выдворили незнакомцев, ему не хотелось, а более ему предпринять было нечего.

Так он лежал несколько часов и ждал. Сквозь тонкие стены к нему доносились смех, болтовня и шлепанье карт по столу. В нем проснулась безумная ненависть к жене, он строил немыслимые планы мести, которые собирался осуществить, как только эти люди уберутся восвояси.

Наконец они ушли, и жена направилась в спальню. Наступила тишина.

Тогда он поднялся, прокрался по коридорчику к двери жены, но увидел, что ключ вынут из замочной скважины.

Он несколько раз громко постучал в дверь, но ответа не было. Он пошел назад в свою комнату, взял свечу и поспешил в кухню, в надежде найти какой-нибудь инструмент, чтобы взломать дверь.

Первое, что бросилось ему в глаза, была колода карт, забытая на столе. Ему пришло на ум воспользоваться случаем и уничтожить этого врага.

«Анной я еще займусь, — подумал он. — Она никуда не денется».

Он нашел ножницы в ящике стола и принялся резать карты. Он разрезал каждую карту на маленькие треугольнички, резал старательно, размеренно, но с неистовым рвением. Однако расправиться с пятьюдесятью картами — работа немалая, и он закончил ее, лишь когда солнце глянуло в окно.

За это время неистовый гнев в нем утих. Ему было зябко, жутко и ужасно хотелось спать.

«Отложим до утра, — думал он. — Однако я оставлю ей подарочек на память».

Он взял всю кучу обрезков, лежащих перед ним, и, смеясь, принялся рассыпать их по комнате. Он кидал их пригоршнями, как сеятель разбрасывает зерна, стараясь не оставить свободным ни одного местечка. Когда он закончил, пол походил на землю после легкого снегопада.

Пол был старый, щербатый, с большими щелями. Жене придется немало потрудиться, прежде чем она выметет эти колючие снежинки, которые впились в каждую щелочку.

ВСТРЕЧА

I

Наконец наступил день, когда им суждено было встретиться и побеседовать, им, которые всего лишь три года назад еще жили в старой пасторской усадьбе

в Корсчюрке и любили друг друга. Она стала теперь светской дамой, очаровательной женщиной, наделенной к тому же недюжинным умом, и приносила счастье всем окружающим. Он же был бедным священником, который вечно стремился идти непроторенными путями и которому, казалось, на роду было написано нести погибель всем, кто любит его.

И где же они могли встретиться, как не в том же самом пасторском саду, который был свидетелем не только их любви, но и той злосчастной ссоры, которая разлучила их? Правда, сад еще не оделся в свое великолепное летнее убранство; напротив, оттого, что он был расположен в тени, весна запоздала явиться сюда, по крайней мере, на месяц, кустарник еще не зазеленел, бурые осенние листья еще не сгребли с дорожек, даже кучки серого от грязи снега лежали еще кое-где, словно салфеточки, на дерновых скамьях. И все же их обоих властно манило сюда все, что было пережито и что забыть нельзя.

Шарлотта приехала в пасторскую усадьбу вместе с пасторшей Форсиус в тот самый день, когда в деревне была весенняя ярмарка и когда Карл-Артур ездил по приходским делам. Ей очень хотелось бы, чтобы ее милая приемная матушка осталась на Озерной Даче и на лето, однако было бы слишком жестоко помешать трудолюбивой старушке поехать домой в пасторскую усадьбу теперь, когда близилось прекрасное время года со всеми хлопотами и заботами.

Пасторша говорила, что ей хочется хоть разок войти в комнату Форсиуса, опуститься на диван и созерцать кипы серой бумаги, кресло у письменного стола, полочку для трубки, все, что вызывало образ дорогого усопшего. Но Шарлотту было не так-то легко провести. Она знала, что не только это желание заставляет ее воротиться домой. Поскольку нового пастора еще не назначали, она добилась права еще год пожить в пасторской усадьбе, и теперь старушке нужно было поддерживать честь ее дома, присмотреть, чтобы цветы на клумбах были столь же ухожены, дикий виноград столь же аккуратно подстрижен, гравиевые дорожки

столь же искусно подправлены граблями, газоны столь же зелены, как и во времена ее мужа.

Шарлотта, собиравшаяся провести в пасторской усадьбе несколько дней, чтобы пасторша успела привыкнуть к одиночеству, решила доставить себе удовольствие, поселившись в своей девичьей светелке. Ей хотелось крикнуть этим старым стенам: «Глядите, вот какой я, Шарлотта, стала нынче. Вы, разумеется, не узнаете меня. Глядите на мое платье, на мою шляпку, на мои туфельки, а прежде всего на мое лицо! Вот так выглядит счастливый человек!»

Она подошла к зеркалу, которое висело здесь еще в пору ее девичества, и стала рассматривать свое отражение.

— Весь свет говорит, что я, по крайней мере, в три раза красивее прежнего, и мне кажется, что он прав.

И вдруг позади блистательной фру Шагерстрём она увидела бледное девичье лицо, освещенное глазами, горящими мрачным огнем. Она тотчас же стала совершенно серьезною.

— Ну, конечно, — сказала она, — я знала, что мы встретимся. Бедная девочка, как несчастлива ты была в ту пору! Ах, эта любовь, эта любовь!

Она поспешила отойти прочь от зеркала. Она приехала сюда вовсе не для того, чтобы погружаться в воспоминания о том ужасном времени, когда была расторгнута ее помолвка с Карлом-Артуром.

Впрочем, кто знает, считала ли она все, что ей довелось пережить в то лето, несчастьем. Богатая фру Шагерстрём отлично знала, что наибольшую прелесть ей придавала именно печать неудовлетворенной тоски, говорившая о том, что жизнь обошла ее, раздавая самые щедрые дары свои, эта поэтическая грусть, заставлявшая каждого мужчину думать, уж не он ли призван даровать ей счастье, так и не познанное ею, — то, что она унаследовала от бедной отвергнутой Шарлотты Лёвеншёльд.

Но это томление, эта грусть, отражавшиеся на лице ее, когда она была спокойна, могли ли они что-нибудь значить? Разве не была счастлива она — ослепительная,

всегда веселая, всегда отважная, всегда жадная до развлечений Шарлотта Лёвеншэльд? Сохранила ли она любовь к возлюбленному своей юности? Ах, сказать по правде, она и сама не могла ответить на эти вопросы. Она была счастлива со своим мужем, однако после трех лет замужества могла сказать себе, что никогда не испытывала к нему той сильной, всепобеждающей страсти, которая сжигала ее душу, когда она любила Карла-Артура Экенстедта.

С тех пор как она вышла в свет, она часто замечала, что требования ее к людям и ко многому другому стали строже. Она потеряла уважение и к красному пасторскому дому, и к чопорному салону пасторши. Может быть, она также утратила интерес и к нищему деревенскому пастору, который женился на коробейнице и поселился в лачуге из двух комнатушек.

Только один-единственный раз попыталась она вновь увидеться с ним после его возвращения в Корсчюрку. И, когда это не удалось, она была даже скорее довольна. Ей не хотелось, чтобы эта встреча принесла разочарование, а если бы она не была разочарованием, тем менее Шарлотта желала, чтобы эта встреча состоялась.

Но, не желая встретиться с Карлом-Артуром, она не могла не следить за ним с истинно материнскою заботой. От пасторши она узнавала о внешней стороне его жизни — о его женитьбе и доме, об опасном влиянии Теи и о добродетелях его жены. Никто не радовался более, чем она, тому, что он за последнюю зиму, казалось бы, вернул уважение и преданность прихожан, и полагали даже, что он имеет немало заслуг и прослужил достаточно долго, чтобы занять в Корсчюрке место достопочтенного Форсиуса.

Шарлотта, у которой после замужества появилась дурная привычка поздно вставать, на следующий день вышла только к завтраку. Пасторша к тому времени была на ногах уже несколько часов. Она обошла усадьбу, постояла у калитки, созерцая любимый ею вид на озеро и церковь, потолковала с прохожими и разузнала все новости.

— Ты только подумай, Шарлотта, — сказала она, — что натворил этот Карл-Артур! Я люблю его, ничего не поделаешь, однако он, как всегда, верен себе!

Затем она рассказала, что Карл-Артур совершил ужасную глупость, позволив десяти ребятишкам уехать от него.

Шарлотта сидела как громом пораженная. Она уже не раз убеждалась в том, что помогать Карлу-Артуру бесполезно. Какая-то сила неумолимо вела его к гибели.

— Ну, разве это не несчастье? — продолжала пасторша. — Что до меня, так я титулов не имею и даже самого жалкого экзамена на звание пастора не держала, однако понимаю, что я-то уж скорее бы в тюрьму села, чем позволила бы отобрать от меня детей.

— Он, верно, не вынес всего этого, — сказала Шарлотта, которая внезапно вспомнила свой визит в кухню Карла-Артура. — Тяжелый воздух, шум, сваленный в кучу инструмент, кровати и люди.

— Не вынес! — сказала пасторша с презрительной гримасой. — Будто люди не привыкают и к худшему! Каких бы глупостей он ни натворил, было похоже на то, что Господь Бог хотел помочь ему. Истинно говорю тебе, если бы он не отдал детей, доживать бы ему дни свои пастором в Корсчюрке.

— А что его жена? — с живостью спросила Шарлотта. — Она тоже была согласна отослать детей?

— Разумеется, нет, — сказала пасторша. — Она всей душой желала оставить их у себя. Я повстречала у калитки матушку Пер-Эр. Она совершенно уверена в том, что это дело рук Теи.

— Теи! Так ведь ты же запретила...

— Легко сказать — запретила... Да, может, они и не встречаются ни у него дома, ни у нее, однако в таком крошечном захолустье им ведь трудно избежать встречи. Однажды матушка Пер-Эр сидела с Теей в приемной у доктора. Не прошло и пяти минут, как туда явился Карл-Артур. И тут она сразу же начала говорить с ним о том, чтобы он отослал детей.

Дамы взглянули друг на друга, испуганные и нерешительные. Всесторонне обдуманый ими план трещал по всем швам.

Было условлено, что несколько наиболее влиятельных в приходе лиц в это утро должны были созвать совещание на постоялом дворе. Дело касалось важных предложений. В Корсчюрке, где всегда пеклись о том, чтобы не отставать от века, начали поговаривать, что пора открыть народную школу. Однако и этого было мало. Число жителей прихода настолько увеличилось, что сочли невозможным, чтобы вся паства была на попечении у одного-единственного человека. Надумали учредить должность второго пастора, положить ему жалованье и дать казенное жилище. А чтобы все это было не слишком обременительно для прихода, имелось в виду, чтобы одно и то же лицо занимало должность второго пастора и место школьного учителя. И полагали, что им будет не кто иной, как Карл-Артур.

Конечно, дело это должно было решить приходское собрание, однако коль скоро это повлекло бы за собою большие расходы, созвали предварительное совещание, дабы выяснить, пожелают ли люди, от которых зависит многое, оказать вспомоществование.

Разумеется, никто и не подозревал, что весь этот план зародился в умной головке Шарлотты. Она сумела ловко воспользоваться тем, что простой народ очень любил Карла-Артура, и привела дело в исполнение, сама оставаясь в тени. Каждому было ясно, что, будучи еще столь молодым, он не мог занять место главного пастора в таком большом пасторате, и потому нашли самым подходящим учредить эти две должности, дабы удержатъ его у себя в приходе.

Можно ли удивляться тому, что Шарлотта была совершенно вне себя, услышав от пасторши эти новости? Ей на этот раз почти удалось выхлопотать ему постоянную должность с хорошим жалованьем, и тут Тея должна непременно чинить препятствия. Раз она любит его, то должна была бы понять, что он теперь завоевал расположение людей только из-за того, что все

дивились этому чуду: бедный священник взял на себя заботу опекать целую ораву детей.

Она взглянула на высокие часы из Муры, что стояли в столовой, и слегка вздохнула.

— Сейчас без трех минут десять, — сказала она. — Скоро начнется собрание.

Только она одна знала, каких усилий ей стоило устроить это собрание, к каким хитростям приходилось прибегать. Не менее трудно было также заставить Шагерстрёма дать обещание быть на этом собрании и поддерживать ее далеко идущие планы.

— Вот тебе и собрание! — сказала пасторша. — Я не удивлюсь, если все лопнет, как мыльный пузырь. Люди, что побывали в доме у Карла-Артура, уверяют, будто жена его сидит на печи целыми днями и не говорит ни слова. Ревнует его к Тее, понимаешь? В таких делах люди никак не могут совладать с собой. Между прочим, говорят, будто они назначают свидания в моем саду и будто я в том виновата.

— Эта матушка Пер-Эр всегда была сплетницей, — мрачно сказала Шарлотта.

И в то же время ее поразило, как былые чувства могут овладевать человеком. Она снова ощутила ненависть к Тее, столь же сильную, как в тот день, когда она остригла ее красивые локоны.

За этой болтовней завтрак закончился, и Шарлотта, взволнованная и огорченная, набросила на плечи шаль и отправилась в сад.

Она шла, опустив глаза, словно хотела отыскать следы тех двоих, что якобы приходили сюда на любовные свидания. Место они и в самом деле выбрали удачное. Карл-Артур еще с давних пор знал все укромные уголки в зарослях кустарника и боскетах.

«Прежде-то он ее не любил, — думала она. — Да, видно, к тому дело пришло. Эта бедная далекарлийка наскучила ему. Он стал искать утешения у Теи, а коль скоро и органист ревнует, они могут встречаться только под открытым небом».

И все же, хотя это казалось ей вполне естественным, она принимала как неслыханное оскорбление то,

что влюбленные избрали это место, чтобы встречаться здесь тайком.

«И как только они не боятся! — думала она. — Листья на кустах еще не распустились. Любой, кто проходит по дороге, может заметить их».

Она остановилась, чтобы поразмыслить над этим. За бурю листвою густого кустарника она разглядела очертания маленькой беседки.

«Именно здесь они и прятались, ну, конечно же, здесь», — подумала она и поспешила к незатейливому обветшавшему строению, словно думала застать там обоих преступников.

Беседка была заперта, но Шарлотта без труда сорвала старый, заржавевший замок. Когда она вошла внутрь, ее окружила та неуютная обстановка, какая всегда царит раннею весной в подобных летних домиках; затхлый воздух, разбитые стекла в окнах, отставшие обои. В куче сухих листьев, которую сюда намело во время осенней бури, поблескивало что-то гладкое, серо-черное. Это добрый дух сада, огромный уж, устроился здесь на зимнюю спячку.

«Нет, здесь-то, по крайней мере, они не были, — думала Шарлотта. — Наша старая змея заставила бы Тею упасть в обморок».

Сама она не обратила ни малейшего внимания на обессиленную тварь. Она подошла к одному из разбитых окон, распахнула его и села на подоконник.

Отсюда открывался прекрасный вид на лабиринт кустарника, сейчас ветви его были полны сока и пестрели красками нежнейших оттенков. На земле между кустами зеленела трава, а из нее выглядывали островки одуванчиков, маргариток и желтых нарциссов.

Шарлотта, любившая это место, пробормотала:

— Право же, я не в первый раз сижу здесь и жду понапрасну.

Едва она успела вымолвить эти слова, как увидела человека, бредущего меж кустов. Он направлялся к беседке и скоро подошел так близко, что она смогла узнать его. Это был Карл-Артур.

Шарлотта сидела неподвижно. «Уж конечно, он не один, — думала она. — Сейчас, верно, покажется и Тея».

Но вдруг Карл-Артур остановился. Он заметил Шарлотту и невольно провел рукою по глазам, как человек, которому кажется, что перед ним видение.

Теперь он стоял всего в нескольких шагах от Шарлотты, и она видела, что он очень бледен, но что кожа на его лице все такая же нежная, мальчишеская. Он, пожалуй, немного постарел, черты лица стали резче, но та утонченность, которая отмечала лицо сына полковницы Экенстедт, не исчезла. Шарлотта нашла, что он в своей серой одежде из сермяги был похож на современного Пера Свинопаса, переодетого принца*.

Не прошло и секунды, как Карл-Артур понял, что на подоконнике в самом деле сидит Шарлотта. С распростертыми объятиями поспешил он вверх по склону пригорка, на котором стояла беседка.

— Шарлотта! — закричал он ликующе. — Шарлотта, Шарлотта!

Он схватил ее руки и принялся целовать их, а из глаз у него текли слезы.

Было ясно, что нежданная встреча так сильно взволновала его, что он был вне себя — то ли от радости, то ли от боли, этого она решить не могла. Он продолжал плакать горько, безудержно, словно накопившиеся за эти годы потоки слез прорвали запруду, преграждавшую им путь.

Все это время он крепко держал ее руки, целовал их и гладил, и она поняла, что слухи о его любовных похождениях с Теей — просто ложь. Вовсе не она, а другая владела его сердцем. Но кто была эта другая?

Кто же, как не она сама, отвергнутая им с презрением, которую он полюбил вновь? Никакое признание в любви не могло выразить этого яснее, чем его безудержные слезы.

Когда Шарлотта поняла его, она ощутила на губах странный вкус, словно давно мучивший ее голод был наконец утолен или словно неумимающаяся боль где-то в глубине сердца улеглась, как будто она наконец

сбросила тяжкую ношу, которую несла бесконечно долго. От головокружительного счастья она закрыла глаза.

Но это длилось лишь одно мгновение. В следующую минуту она снова стала рассудительной и благоразумной.

«К чему это может привести? — думала она. — Ведь он женат, да и я замужем, и к тому же он пастор. Я должна попытаться успокоить его. Сейчас это самое главное».

— Послушай, Карл-Артур, право же, не надо так горько плакать. Ведь это всего лишь я, Шарлотта. Пасторша хотела непременно переехать сюда на лето, и я решила остаться с ней на несколько дней — помочь ей на первых порах.

Она говорила самым обыденным тоном, чтобы он перестал плакать, но Карл-Артур всхлипывал еще сильнее.

«Бедный мальчик! — думала Шарлотта. — Я понимаю, что ты плачешь не только из-за меня. Нет, разумеется, ты плачешь оттого, что ты лишен всего прекрасного, образованных людей, с которыми бы ты мог поделиться своими думами, матери и дома. Не будем же горевать о том, чего не исправишь, будем рассудительными».

Взгляд ее на миг устремился куда-то в глубину сада, потом она продолжала:

— Да, ты знаешь, истинное счастье побывать снова в нашем старом саду. Сегодня утром я подумала о том, как прекрасно гулять здесь меж кустов, покуда высокие липы еще не оделись листвою и не мешают солнцу освещать землю. Просто наслаждение смотреть, как жадно цветы и травы пьют солнечный свет.

Карл-Артур умоляюще поднял руку, но так как он переставал всхлипывать, Шарлотта решила продолжать говорить о том, что, по ее мнению, могло его успокоить.

— Разве не удивительно, — сказала она, — что, когда солнечному свету приходится пробиваться сквозь густое сплетение ветвей, чтобы коснуться земли, он становится кротким и мягким. И цветы, которые он

вызывает к жизни, никогда не бывают крикливо яркими. Все они либо блекло-белые, либо бледно-голубые и светло-желтые. Кабы они не появлялись так рано и их не было так много, ни один человек не заметил бы их.

Карл-Артур обратил к ней заплаканное лицо. Ему стоило больших усилий вымолвить несколько слов.

— Я так тосковал... тосковал... всю эту зиму.

Было очевидно: ему не нравилось, что она спокойно говорила о цветах и солнечном свете. Он хотел, чтобы она почувствовала силу бури, бушевавшей в нем.

Но Шарлотта, зная, что есть много слов, которых лучше не произносить, начала снова, словно настойчивая нянька, которая хочет укачать раскапризничавшегося ребенка:

— Видно, у весеннего солнца поистине удивительная сила. Подумай только, оно пробуждает новую жизнь повсюду, куда посылает свои лучи. Это кажется каким-то волшебством. Его лучи так прохладны, и в то же время они намного могущественнее летних лучей, которые жгут слишком сильно, и осенних, несущих лишь увядание и смерть. Тебе никогда не приходило в голову, что бледный свет весеннего солнца подобен первой любви?

Казалось, Карл-Артур стал слушать ее внимательнее после того, как она произнесла эти слова. Она торопливо продолжала:

— Ты, верно, забыл о таком пустяке, а я мысленно часто возвращаюсь к тому весеннему вечеру в Корсчюрке — это было вскоре после того, как ты приехал сюда впервые. Мы с тобой ходили навещать бедняков, что жили в избушке далеко в лесу. Мы пробыли у них довольно долго и не успели вернуться домой, как солнце село, а на дне долины сгустился туман.

Карл-Артур поднял голову. Поток слез начал ослеплять. Он перестал целовать ее руки и ловил каждое слово, слетавшее с ее прелестных уст.

— Неужто ты в самом деле помнишь, как мы брели с тобой тогда? Дорога шла с холма на холм. Как только

мы поднимались на вершину, нам светило солнце, а в ложбине нас окутывал туман. Мир, окружавший нас, исчезал.

Куда она клонит? Человек, который ее любил, не противился больше. Без малейшего возражения он дал увлечь себя в это удивительное странствие по холмам, освещенным солнцем.

— Ах, какая это была картина! — продолжала Шарлотта. — Кроткое тускло-красное солнце, мягкий сияющий туман изменили все вокруг. К своему удивлению, я увидела, что ближние леса стали светло-голубыми, а дальние вершины окрасились ярчайшим пурпуром. Нас окружала неземная природа. Мы не смели говорить о том, как это было прекрасно, чтобы не пробудиться от своего зачарованного сна.

Шарлотта умолкла. Он ждала, что Карл-Артур что-нибудь скажет, но он явно не хотел прерывать ее.

— На вершине холмов мы шли медленно и чинно. А когда спускались в долину, устланную туманом, то начинали танцевать. Хотя, может быть, ты не танцевал, а только я одна. Я шла по дороге, танцуя, безгранично счастливая оттого, что вечер был так прекрасен. По крайней мере, я думала, что из-за этого я не могла идти спокойно.

По лицу Карла-Артура скользнула улыбка. Шарлотта тоже улыбнулась ему. Она поняла, что приступ у него прошел. Он снова овладел собою.

— Когда мы опять поднялись на холм, — продолжала Шарлотта, — ты перестал говорить со мной. Я подумала, что пастор осуждает меня за то, что я танцевала на дороге, и несмело шла рядом с тобою. Но когда мы снова спустились в долину, и туман поглотил нас... Я больше не смела танцевать, и тогда...

— И тогда, — прервал ее Карл-Артур, — я поцеловал тебя.

Когда Карл-Артур произнес эти слова, он увидел человека, стоявшего за окном напротив них. Кто это был, он не разглядел. Человек этот исчез, как только Карл-Артур остановил на нем взгляд. Он даже не был уверен, видел ли он на самом деле кого-нибудь.

Он не посмел сказать об этом Шарлотте, чтобы не волновать ее. Они ведь только стояли у окна и беседовали. Что из того, если их видел кто-нибудь из семейства арендатора или садовник? Это ровно ничего не значило. Для чего омрачать это счастливое мгновение?

— Да, — сказала Шарлотта, — ты поцеловал меня, и я внезапно поняла, отчего лес стал голубым и отчего мне хотелось танцевать в тумане. Ах, Карл-Артур, вся жизнь моя преобразилась в этот миг. Ты знаешь, я испытывала такое чувство, будто могу заглянуть в глубь своей собственной души, где на просторных равнинах выростали весенние цветы. Повсюду, повсюду, блекло-белые, нежно-голубые, светло-желтые. Они пробивались из земли тысячами. За всю свою жизнь я не видела ничего прекраснее.

Этот рассказ взволновал ее. На глазах у нее блеснули слезы, и голос на мгновение задрожал, но она сумела подавить волнение.

— Друг мой, — сказала она. — Можешь ли ты теперь понять, отчего эти цветы напоминают мне первую любовь?

Он крепко сжал ее руку.

— Ах, Шарлотта! — начал он.

Но тут она встала.

— Вот потому-то, — сказала она, — мы, женщины, не можем забыть того, кто впервые заставил солнце любви сиять нам. Нет, его мы никогда не забудем. Но, с другой стороны, только немногие, да, только очень немногие из нас остаются в царстве весенних цветов. Жизнь уносит нас дальше, туда, где нас ждет нечто более могущественное и большее.

Она кивнула ему лукаво и в то же время печально, сделала знак, чтобы он не следовал за ней, и исчезла.

II

Когда Карл-Артур проснулся в это утро, солнце стояло как раз над его окном, давая знать, что он проспал чуть ли не до полудня. Он сразу же поднялся с постели. Голова у него была еще тяжелая ото сна, и он не сразу

понял, отчего так поздно проснулся, а потом вспомнил, что просидел до самого восхода солнца, разрезая на кусочки колоду карт.

Все события прошлого вечера тут же представились ему, и он почувствовал величайший ужас и отвращение не только к жене, но, может быть, даже еще больше к самому себе. Как он мог разгневаться за оскорбление, нанесенное ему, до того, что собирался лишиться жизни жёну? Неужто он сам додумался до такой мерзости, чтобы изрезать карты и рассыпать обрезки по полу? Что за злые силы вселились в него? Что он за чудовище?

Накануне вечером он ничего не ел, и ужин, который подала ему жена, стоял нетронутый. Он набросился на холодную кашу с молоком, наелся досыта, потом надел шляпу и отправился в дальнюю прогулку. Он радовался, что может еще на несколько часов отодвинуть неизбежное объяснение с женою.

Он пошел до проселочной дороге к пасторской усадьбе. Подойдя к ней, он открыл калитку и свернул в старый сад, где минувшей зимою много раз находил приют, убегая от шума и сумятицы, царившей в домишке, битком набитом детворою.

И здесь он встретил Шарлотту, прекрасную и пленительную как никогда. Неудивительно, что он не мог совладать со своими чувствами. В первое мгновение он желал лишь окликнуть ее, сказать ей, что любовь его вернулась, что он так долго, так страстно ждал ее и жаждет прижать ее к своему сердцу.

Но слезы не дали ему говорить, и Шарлотта, эта добрая, умная женщина, помогла ему тем временем прийти в себя. Он превосходно понял, что она хотела сказать ему, вызывая в памяти образы времен их первой любви. Она хотела дать ему понять, что ей еще дороги воспоминания об этих днях, но что теперь ее сердце принадлежит другому.

Когда Шарлотта ушла, мрак и пустота воцарились на недолгое время в его душе. Однако он не ощущал бессильной ненависти человека униженного. Он слишком хорошо понимал, что сам виноват в том, что потерял ее.

В непроглядном мраке очень скоро блеснул слабый луч света. Вчерашние мысли, сладостные видения будущего, о которых он забыл из-за домашних раздоров, вновь явились ему, явственные и чарующие. Отраднее всей земной любви рисовалась ему возможность наконец-то служить Спасителю на единственно праведном пути — до конца дней своих блуждать по свету апостолом проселочной дороги, свободною перелетной птицей, несущей страждущему слово жизни, нищим во имя Господа Бога нашего, в убожестве своем раздающим сокровища, что не боятся ни моли, ни ржавчины.

Медленно и задумчиво побрел он назад к деревне. Прежде всего ему хотелось заключить мир с женою. Что будет потом, он еще точно не знал, однако на душе у него было удивительное спокойствие. Господь позаботился о нем. Ему самому не надобно было ничего решать.

Когда он дошел до первого домика в деревне, до того самого домика с садом, из которого вышла Анна Сверд, когда он впервые встретил ее, дверь отворилась, и навстречу ему вышла хозяйка. Она была родом из Далекарлии, и Анна обыкновенно квартировала у своей землячки, когда еще ходила с коробом по дорогам.

— Уж ты, пастор, не серчай на меня, что я принесла тебе худые вести, — сказала она. — Только Анна была у меня давеча утром и просила, чтоб я тебе сказала, что она надумала уйти.

Карл-Артур уставился на нее, ничего не понимая.

— Да, — продолжала она. — Домой она ушла, в Медстубюн. Я говорила, что ни к чему ей идти. «Может, тебе до родов-то всего несколько недель осталось», — сказала я ей. А она ответила, что ей, дескать, надо идти. Анна строго наказывала, чтоб я сказала тебе, куда она пошла. «Пусть не думает, что я над собой чего сделаю, — сказала она. — Просто домой пойду».

Карл-Артур ухватился за изгородь. Если даже он теперь не любил свою жену, все же они так долго жили одною жизнью, что он почувствовал, будто что-то в его душе расколосось надвое. И к тому же это было

ужасно досадно. Весь мир узнает теперь, что жена его была так несчастна, что предпочла по доброй воле оставить его.

Но пока он стоял, терзаемый новой мукой, ему в голову снова пришла утешительная мысль о великой ма-нящей свободе. Жена, дом, уважение людей — все это ничего не значило для него на пути, который он избрал. Сердце его билось ровно и легко, невзирая на все, что случилось с ним. Бог снял с него обыденные людские печали и тяжкое бремя.

Когда он несколько минут спустя добрался до своего дома и вошел в комнату, его поразило, что здесь было прибрано. Кровать была застелена, поднос с посудой вынесен. Весьма удивленный, он поспешил в кухню и увидел, что и тут все было в полнейшем порядке. По полу ползала женщина: она собирала маленькие упрямые карточные снежинки, которые так крепко впились в щербатые половицы, что их не удалось вымести метлой. Она мурлыкала песню и, казалось, была в наилучшем расположении духа. Когда он вошел, она подняла голову, и он увидел, что это была Тея.

— Ах, Карл-Артур! — сказала она. — Я поспешила сюда, как только услышала, что жена тебя оставила. Я поняла, что тебе может понадобиться помощь. Надеюсь, ты не в обиде на меня.

— Ради бога, Тея! Напротив, это весьма любезно с твоей стороны. Однако не стоит труда возиться с этими мерзкими картами! Пусть себе лежат.

Но Тее нелегко было помешать. Она продолжала напевать и собирать обрезки.

— Я собираю их на память, — сказала она. — Когда я недавно пришла сюда, то увидела, что она — ты знаешь, кого я имею в виду, — попробовала было несколько раз провести веником, чтобы вымести их. Но когда она увидела, как крепко они впились, то отшвырнула веник, махнула рукой на все и ушла.

Тея засмеялась и запела. Карл-Артур глядел на нее почти с отвращением.

Тея протянула ему миску, в которую она собрала целую кучу маленьких бумажных обрезков.

— Ее нет, и это они прогнали ее, — сказала она. — Как мне было не собрать их и не спрятать?

— Что с тобой, Тея, в своем ли ты уме?

В голосе его звучало презрение и, пожалуй, даже ненависть. Тея подняла глаза и увидела, что лоб его нахмурен, но она только рассмеялась.

— Да, — сказала она, — это тебе удастся с другими, но не со мной. Бей меня, пинай! Я все равно вернусь. От меня тебе никогда не отделаться. То, что пугает других, меня привязывает еще крепче.

Она снова принялась напевать, и песня ее с каждым мгновением становилась все громче. Она звучала как победный марш.

Карл-Артур, у которого этот припадок вызвал неподдельный ужас, удалился в свою комнату. Как только он остался один, ощущение радости и свободы вернулось к нему. Он не колеблясь начал писать письмо епископу, в котором отказывался от должности.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

I

Шагерстрём выехал утром из дому загодя, чтобы успеть на весьма важное собрание на постоялом дворе. Собрание, как и предполагалось, началось в десять часов, но поскольку оно прошло необычайно быстро, то уже около одиннадцати он смог выехать в пасторскую усадьбу, чтобы нанести визит госпоже Форсиус и повидать Шарлотту. Он истосковался по жене, хотя расстался с ней всего день назад, и втайне надеялся, что ему удастся уговорить ее поехать с ним домой.

«Мне, собственно говоря, надобно было бы сразу же ехать назад — поглядеть, что там стряслось с лесопилкой, — думал он. — Однако, может быть, не стоит так торопиться. Не повременить ли с отъездом до вечера? Часов в пять или шесть Шарлотта, наверно, сможет поехать со мной без малейших угрызений совести».

В усадьбе его встретила пасторша, которая тут же принялась расспрашивать его о собрании. Она

так и думала, что из этой затеи ничего не выйдет. Она слышала, что Карл-Артур позволил увезти десятерых ребятишек; подумать только, какая глупость!

Шагерстрём поспешил заверить пасторшу, что это обстоятельство не сыграло никакой роли. Нет, все согласны были вверить ему народную школу и дать казенное жилище, как помощнику пастора, но тут поднялся горнозаводчик Арон Монссон и спросил, стоит ли приходу брать на себя столь большие расходы, чтобы удерживать у себя пастора, поведение которого таково, что жене пришлось его оставить.

— Что ты говоришь! — воскликнула пасторша. — Неужто его жена ушла? Кто же тогда станет заботиться о нем?

Надо сказать, что все присутствовавшие на собрании, казалось, задавали себе тот же вопрос. К жене его все питали доверие. Похоже было на то, что это ее, а не мужа собирались назначить помощником пастора и школьным учителем, ибо как только узнали, что она вышла из игры, решение этого вопроса было отложено на неопределенный срок.

Пасторша, огорченная таким исходом дела, проронила неосторожные слова:

— Да разве я не говорила постоянно Шарлотте, что не стоит и пытаться помочь Карлу-Артуру.

Шагерстрём, которому было неприятно слышать, что Шарлотта интересуется своим бывшим женихом, нахмурился, и пасторша, заметив, что поступила неосторожно, решила отвлечь его, сказав, что Шарлотта вышла в сад.

В другой раз ему говорить о том не пришлось. Он сразу же отправился искать Шарлотту в лабиринте шпалер. Ему показалось, что ее голос доносится из старой беседки. Он заглянул в окно и увидел, что это в самом деле была Шарлотта: она сидела у окна напротив, поглощенная разговором с Карлом-Артуром, и, не задержавшись ни на секунду, не успев услышать ни единого слова, он пошел прочь.

Он даже не остался в саду, а пошел к крыльцу пасторского дома, чтобы там дожидаться жену. То, что он

увидел, привело его в состояние полного отупения. Ему казалось, что думает не он сам, а мысли являются ему откуда-то извне. Кто-то, он не мог вспомнить, кто именно передал ему разговор, услышанный им однажды. Говорили о докторше Ромелиус, удивляясь тому, что она продолжает любить своего мужа, предающего-ся безудержному пьянству.

— О, не удивляйтесь этому! — возразил кто-то. — Она ведь урожденная Лёвеншёльд, а Лёвеншёльды никогда не изменяют первой любви.

Он не знал, когда и где он это слышал. Он даже, вероятно, и не знал еще в ту пору Шарлотту, но сейчас воспоминание об этом поднялось из глубины его души и испугало его чуть ли не до безумия.

Вскоре он заметил, что стоит, держась за голову обеими руками, будто хочет помешать уйти разуму и сознанию. Он тут же опустил руки и выпрямился. «Я должен показать ей, что я спокоен, — подумал он. — Ведь Шарлотта может появиться в любую минуту».

И вскоре он увидел, что она возвращается. Она шла неторопливо, брови ее были сдвинуты, словно она пыталась разобраться в чем-то сложном и запутанном. Но, увидев мужа, она сразу же просияла и поспешила ему навстречу.

— Вот как, ты уже приехал! — закричала она восторженно, потом обвила его шею руками и поцеловала. Более теплого приема нельзя было и желать.

«Как хорошо у нее это выходит! — подумал он. — Во все не удивительно, что я дал себя обмануть, поверив, будто она и в самом деле меня любит».

Он ожидал, что Шарлотта с обычной своей чистосердечностью расскажет ему, как она встретила молодого Экенстедта, но ничего подобного не случилось. Она также не спросила, каково было решение собрания. Можно было подумать, что она совершенно забыла обо всем этом.

Шагерстрём сделал свои выводы из ее молчания. Сознание того, что он обманут и предан, укрепилось в нем.

Он думал лишь о том, как бы поскорее уехать и в одиночестве обдумать, насколько важно его открытие.

Затею — попытаться уговорить Шарлотту поехать вместе с ним — он, разумеется, выбросил из головы.

Уехать отсюда, не выдав своего дурного настроения, ему помогла старая лесопилка на Озерной Даче. Он поспешил рассказать Шарлотте, что она остановилась накануне вечером, сразу же после того, как они с пасторшей уехали, и что как мастер, так и инспектор и управляющий тщетно пытались найти причину поломки. Пришлось им обратиться к нему, Шагерстрёму, но и он тоже спасовал.

Шарлотта, зная, что ее мужу очень хочется прослыть великим механиком и что ничто не может доставить ему больше удовольствия, нежели возможность показать свои способности, приняла его известие спокойно.

— Я знаю эти старые лесопилки, — сказала она. — Иногда они любят отдохнуть несколько деньков, а потом — на тебе, сами по себе начинают работать.

Тут к ним вышла пасторша; она сделала Шагерстрёму глубокий реверанс и спросила, не окажет ли господин заводчик ей честь отобедать у нее. Но Шагерстрём отказался, сославшись на лесопилку. Он растолковал пасторше, что это не какая-нибудь обычная лесопилка, что у нее весьма своеобразный и довольно сложный механизм. Старые рабочие на Озерной Даче уверяют, что ее построил сто лет назад сам Польшем, великий изобретатель*. И он охотно верит тому, ибо надобно в самом деле быть гениальным механиком, чтобы смастерить столь замысловатую штуку. Вчера он просто пришел в отчаяние, пытаясь ее наладить, но сейчас, по дороге в пасторскую усадьбу, у него возникла одна идея. Ему кажется, он знает, чего там недостает. И теперь он должен немедля ехать домой.

Жена его и пасторша и впрямь решили, что раз он сейчас ни о чем, кроме загадочного механизма старинной лесопилки, помышлять не может, то самое лучшее отпустить его подобру-поздорову.

Едва он успел сесть в коляску, как взялся за бесполезный труд — пытался как-то объяснить или, еще лучше, изгнать из памяти то, что, как ему казалось, он ви-

дел в окне беседки. Но, к сожалению, наши глаза имеют пренеприятнейшее свойство запечатлеть определенные картины с неумолимою остротою и непрерывно вызывать их снова.

Правда, Шарлотта и Карл-Артур не целовались и даже не пытались приласкать друг друга. Он мог бы подумать, что они были поглощены обычным разговором, если бы не видел заплаканного лица молодого пастора и мечтательного, полного обожания взгляда, устремленного на Шарлотту, не говоря уже о том, что она смотрела на него с нежностью и состраданием.

Не следовало забывать и слов пасторши, из которых он понял, что Шарлотта все еще пыталась помочь Карлу-Артуру, и скрытность Шарлотты. Разве все это не было доказательством?

Конечно, он пытался внушить себе, что они с Шарлоттой были исключительно счастливы, что она ни разу не выдала даже выражением лица, что тоскует о другом, но все это отступало на задний план, стоило ему вспомнить, как они с Карлом-Артуром глядели друг на друга этим утром.

— Может быть, она вообразила, что старая любовь мертва, — бормотал он, — но как только она увидела его, любовь эта вспыхнула вновь.

Понемногу ему удалось окончательно уверить себя, что сердце Шарлотты принадлежит Карлу-Артуру, и он принялся обдумывать, какие меры ему сейчас надо предпринять.

Шарлотту было невозможно склонить к измене, это ему было приятно сознавать. Но разве этого достаточно? Может ли настоящий мужчина мириться с тем, что его жена вздыхает о другом? Нет, уж в тысячу раз лучше развод.

Но при этой мысли весь мир померк для него. Как? Жить в разлуке с Шарлоттой? Не слышать больше ее смеха, не радоваться ее затеям, не видеть больше ее прелестного лица? По всему телу его пробежал озноб. Ему казалось, будто он бредет по колена в ледяной воде.

Приехав на Озерную Дачу, он отказался от обеда, велел позвать управляющего и отправился с ним на лесопилку.

— Должен сказать, господин управляющий, что по дороге у меня возникла идея. Я, кажется, знаю, в чем тут загвоздка.

Прибыв наконец на место, они прошли в машинное отделение, где гениальный мастер, казалось, просто всем назло нагромоздил в невероятной неразберихе колеса, шатуны и рычаги. Шагерстрём схватил одну из ваг и рванул ее к себе.

Видно, он не ожидал, что это вызовет немедленное действие, а может быть, мысли его были далеко. Когда могучий механизм вдруг пришел в движение, Шагерстрём не успел отскочить, и его затянуло в лесопилку.

II

Шагерстрём очнулся от того, что его раскачивали взад и вперед. Ему было невыносимо больно. Он понял, что его несут на носилках. Люди шли медленно и осторожно, но сотрясение на каждом шагу причиняло такую сильную боль, что он жалобно стонал.

Один из тех, кто нес его, увидел, что он пришел в сознание, и дал знак остановиться.

— Больно вам, хозяин? — сказал он и продолжал таким тоном, словно обращался к маленькому ребенку: — Ну, что, постоять нам малость?

— Теперь уже скоро придем, — старался утешить его другой. — Как ляжете в свою постель, так сразу полегчает.

Тут они снова двинулись вперед, и боль опять стала мучить его.

— Ладно еще обошлось, — сказал кто-то. — А я думал, что его расколлет надвое, как бревно.

— Чуть было беды не вышло, — отозвался другой. — Но, слава богу, руки-ноги у хозяина целы.

— Может статься, несколько ребер и поломало, — вымолвил третий. — Да и немудрено.

Шагерстрём понял, что эти простые люди хотят утешить его, и он был бесконечно тронут и благодарен им за их благожелательность. Он пытался бодриться и не стонать. Но в то же время его огорчало, что никто не удивлялся, как это ему удалось пустить в ход лесопилку. Ему хотелось, чтоб его похвалили.

Когда его пронесли еще несколько шагов, его охватила невероятная слабость. Он не мог более выносить этого. Если его будут так трясти, он умрет.

Если бы он мог, он приказал бы им остановиться, но у него не было сил. Он стал замечать, что одна часть тела за другой цепенела, словно отмирала. Происходило это невероятно быстро, от ног к голове...

Когда он снова очнулся, то ощутил слабый аромат засохших розовых лепестков и подумал, что, вероятно, находится в гостиной на Озерной Даче. Да, видно, его внесли сюда, чтобы не поднимать по лестнице. Его спальня была на втором этаже.

Кто-то принялся стаскивать с него сапоги, но этого он не смог вытерпеть. Он застонал так громко, что пришлось его оставить в покое.

— Не будем трогать, пока не приедет доктор, — услышал он голос управляющего.

— Да, — сказал другой, и ему показалось, что он узнал голос Юханссона, лакея, однако голос его так изменился от слез, что он с трудом узнал его. — Да, может статься, что в щиколотке какая кость поломалась.

Шагерстрём открыл глаза, чтобы показать, что он находится в сознании. Он увидел, что лежит на широком диване в гостиной. Экономка и две служанки стлали постель, а управляющий и лакей попытались было снять с него одежду.

Он сказал, чтобы они оставили его в покое. Звук, вырвавшийся у него из горла, вовсе не походил на человеческий голос. Ему показалось, что голос этот был похож на хрипение смертельно раненного зверя, но, к счастью, они поняли, что он хотел сказать. Его оставили лежать в одежде и перестали стелить постель. Экономка принесла одеяло и хотела укрыть его. Он не смог бы вынести такую тяжесть. Он опять захрипел,

и она отступилась от него. Потом она хотела подсунуть ему под голову подушку. Нет, и этого не надо.

Он досадовал на управляющего, который понимал, как сложен механизм Польхема, и, однако, не сказал ни слова в похвалу ему. Лесопилка могла бы так и стоять в бездействии, если бы ему не пришла в голову эта идея.

Он несколько раз взглядывал на управляющего, и тот подошел к нему, чтобы узнать, что он желает. Но и тут он не сказал ничего. Шагерстрём шепотом велел заплатить как следует за труды добрым людям, что несли его. Управляющий понял его и кивнул. Он спросил, не прикажет ли хозяин еще чего.

Шагерстрёму не хотелось самому говорить об этом. Он даже понимал, что его поведение может показаться управляющему ребяческим, однако слова эти жгли ему язык, и он должен был высказаться:

— Все-таки я пустил в ход лесопилку.

— Да, спаси нас Господи, — сказал управляющий. — Ну, конечно, пустили, хозяин.

Шагерстрёму показалось обидным, что именно в эту минуту управляющий растрогался и заплакал. Он ожидал более красноречивой похвалы.

Ему было весьма неприятно слушать сетования и всхлипывания, и он прохрипел, чтоб его оставили одного, после чего экономка, управляющий и служанка исчезли. Только Юханссон остался за сиделку.

В тишине Шагерстрёму полегчало. Он немного успокоился и стал менее раздражительным и капризным. «Ведь я не беспомощный ребенок, — думал он. — Люди слушаются, когда я им приказываю. Если бы мне только не мешали лежать спокойно, совершенно спокойно, я бы не чувствовал никакой боли. А уж приказать, чтобы вокруг меня была тишина, в моей власти».

Ему было ясно, что он умрет, и это вовсе его не огорчало. Он желал лишь одного — чтобы смерть подкралась к нему незаметно и он мог бы встретить ее спокойно, чтобы из-за ее прихода не поднимали бы много шума.

Он замигал Юханссону. Только сейчас он понял, какое счастье, что Шарлотты не было дома. Она ни за что не позволила бы, чтоб он умер, лежа в верхней одежде на диване. Он шепотом приказал Юханссону, чтобы ни в коем случае не давали знать хозяйке. Нельзя ее пугать. Надо послать за доктором и нотариусом, а хозяйку извещать совсем не надо. Юханссон опечалился, а Шагерстрём был весьма доволен. Он улыбался про себя, хотя по лицу его было трудно о том догадаться. Не правда ли, красиво звучит — хозяйку нельзя пугать? Он гордился тем, что придумал это. Неужели ему в самом деле удастся обмануть Шарлотту? Неужели он успеет умереть до того, как она узнаёт, что случилось?

Он услышал стук отъезжавшей почтовой кареты, которая должна была привезти доктора и нотариуса, и взглянул на стенные часы, висевшие напротив. Было половина четвертого, а ехать до деревни, слава богу, целых две мили. Лундман, конечно, будет гнать напропалую, однако пройдет не менее четырех часов, пока доктор приедет. Тишина, полнейшая тишина до половины восьмого!

Ему казалось, будто на него нашло какое-то мальчишество. Будто он задумал какую-то проказу. Словно с его стороны было нечестно умереть, не дав себя лечить. Но на это ему было равным счетом наплевать. Богачу Шагерстрёму скоро придет конец. Неужто он не может быть теперь хозяином самому себе?

Шарлотта, верно, рассердится, но ему и на это наплевать. Помимо того, ему в голову пришла хорошая мысль. Он оставит ей все свое состояние. Она получит его взамен того, что лишилась возможности шуметь, распоряжаться и командовать им, когда он лежал на смертном одре.

Ему казалось удивительным, что сейчас, когда через несколько часов ему предстоит умереть, он не думает о чем-либо важном и торжественном. Однако ни о чем подобном он думать не мог. Он хотел лишь избавиться от мучений, от вопросов, соболезнований и прочих неприятностей. Он жаждал покоя. Он походил на мальчишку, которого в школе ждало наказание

и которому хотелось убежать в огромный темный лес и спрятаться там.

Он помнил все, что произошло утром, но это больше не волновало его. Подобные душевные страдания казались ему до смешного незначительными. Он во все не потому не желал видеть Шарлотту, что она нежно глядела на Карла-Артура. Нет, только потому, что лишь она одна не подумала бы повиноваться ему. Он мог совладать и с управляющим, и с экономкой, но не с Шарлоттой. Даже доктора он надеялся урезонить, но Шарлотту — никогда. Уж она-то не выкажет ни жалости, ни уважения к нему.

Конечно, с его стороны малодушно так бояться мучений. Однако он не мог понять, для чего с ним споят, раз он все равно умрет.

Примерно около половины восьмого он услышал стук колес. Ему вовсе не показалось, что время тянулось медленно, напротив, он вздохнул оттого, что доктор уже приехал. Ведь он надеялся, что тот будет занят где-нибудь в другом месте и поспеет сюда не раньше девяти часов. Но Лундман, разумеется, гнал лошадей совершенно безжалостно, чтобы доктор смог ему помочь. Невозможно было заставить их понять, что он вовсе не желает помощи.

Юханссон крадучись вышел из комнаты, чтобы встретить доктора. Вот ведь напасть-то какая! Доктор станет всюду надавливать, щупать, вправлять суставы. Он и сейчас, лежа, видел, что одна нога его была сильно вывихнута: пальцы были обращены к дивану, а пятка — к потолку. Но теперь это ему безразлично, ведь он все равно умрет. Только бы доктор не счел своим долгом вправлять ногу, куда он еще жив.

Ромелиус вошел в комнату уверенным шагом, держась очень прямо. Шагерстрём, ожидавший, что доктор, по обыкновению, будет пьян, несколько разочаровался.

«Ой-ой-ой! Если он трезв, то, верно, сочтет своим долгом сделать что-нибудь», — подумал он.

Он сделал попытку уговорить врача оставить его в покое.

— Ты, братец, верно, сам видишь, что тут ничего не поделаешь. Через несколько часов конец.

Доктор склонился над ним. Шагерстрём увидел налитые кровью глаза, совершенно бессмысленный взгляд, почувствовал сильный запах спирта. «Да, он точно пьян, как всегда, — подумал он, — хотя считает, что торжественность момента требует держаться твердо. Нет, он не опасен».

— Да, милейший Шагерстрём, — услышал он слова доктора. — По правде говоря, похоже, что ты прав, братец. Здесь мне дела много не будет.

Однако Ромелиус не совсем оступел, он пытался не терять собственного достоинства и делал вид, будто пытается что-то предпринять. Он проверил пульс, послал лакея за водой со льдом и бинтами, чтобы наложить на лоб холодный компресс, очень осторожно провел рукой по вывихнутой ноге и пожал плечами.

— Итак, мы желаем отдохнуть, — сказал он. — Пожалуй, так будет лучше. Но не хочешь ли ты, братец, чтоб тебя уложили в постель? Ах, вот как, тоже не желаешь? Ну что ж, пусть будет как ты хочешь.

Он опустился в кресло и сидел так некоторое время, погрузившись в размышления. Потом он подошел к Шагерстрёму и торжественно объявил:

— Я останусь здесь на ночь, чтобы быть под рукой, ежели дорогой братец передумает.

Он снова уселся и, очевидно, пытался уяснить себе, не требуется ли от него еще чего-нибудь.

Но вскоре он снова подошел к постели больного.

— Я положил себе за правило, Шагерстрём, и никогда в том не раскаивался, не делать ампутаций, когда пациент не дает своего согласия. Уверен ли ты, что не желаешь прибегнуть к помощи врача?

— Да, да, можешь быть совершенно спокоен, — сказал Шагерстрём.

Бедный доктор вернулся к креслу, исполненный все той же чопорной важности, и опять плюхнулся в него.

Шагерстрём подмигнул Юханссону, и тот, как обычно, понял его. Доктора насильно, но весьма деликатно

вывели из комнаты. Когда лакей воротился, он рассказал, что провел его в контору Шагерстрёма, где он и заснул, сидя в углу на диване.

Юханссон, казалось, был еще более удручен. Он явно ожидал, что доктор Ромелиус сотворит чудо. Шагерстрёму было радостно оттого, что мир и тишина вновь водворились в комнате. Ему стало почти жаль слугу — ведь он так сильно огорчился.

«Как счастлив был бы этот славный человек, если б я позволил этому пьянчужке резать меня!» — подумал он.

Через несколько минут вошла на цыпочках фру Сэльберг, экономка. Она шепотом что-то спросила у Юханссона, и тот подошел к хозяину.

— Фру Сэльберг не знает, что ей сказать людям. Они стоят возле дома, ждут чуть ли не целый день. Не хотят уходить, пока не узнают, что говорит доктор.

Шагерстрём понимал, что все эти люди, которые зарабатывали на хлеб благодаря ему, боялись за его жизнь. Выходит, и они тоже ждали, чтобы он дал себя пытать.

— Скажи фру Сэльберг, чтобы она сама спросила доктора, — ответил он.

Из-за всех этих беспокойств ему стало хуже. Его истерзанное тело снова заныло. Кровь прилиwała к ранам, давила на них и яростно пульсировала. Дышать становилось все тяжелее, голова ужасно горела.

«Видно, конец приходит», — думал он. Он снова услышал стук колес и понял, что на этот раз прибыл судья со своим писарем.

Лакей провел обоих господ в комнату. На столе разложили бумагу и перья, и Шагерстрём принялся диктовать завещание.

Нотариус стоял, склонившись над Шагерстрёмом, чтобы лучше разбирать слова, произносимые медленным шепотом, и повторял их секретарю. Жене он отказал почти все свое состояние, о ином и речи быть не могло. Но оставалось еще множество заводских служащих, бесчисленное количество бедных вдов и сирот, которых тоже нельзя было обойти.

Это стоило ему страшного напряжения. Он чувствовал, как по щекам его струится пот. Он стиснул зубы, чтобы пересилить боль и слабость.

— Не можем ли мы предоставить фру Шагерстрём право сделать необходимые пожертвования? — спросил судейский, понимая, как Шагерстрём страдает.

Да, разумеется, он согласен. Но это было еще не все — оставались его родители, братья и сестры. Надо ведь показать, что он не забыл их в свой последний час.

Он тщетно напрягался, стараясь, чтобы его поняли, но должен был замолчать, чтобы снова не потерять сознание.

Судейские принялись составлять текст. Затем надлежало прочесть завещание вслух, и он должен был объявить свидетелям, что это его последняя воля и завещание. Достанет ли у него на это сил?

Было уже поздно, стемнело, и в комнату внесли свечи. Но Шагерстрёму казалось, что вокруг все так же темно и от свечей не стало светлее. Тень смерти легла на его лицо.

Оставалось напрячь силы в последний раз, и долг его будет выполнен, он сможет умереть спокойно. Самого плохого не случилось — Шарлотта не приехала.

Но разве не послышался снова стук колес? Разве не подкатил к крыльцу экипаж? Разве не распахнулась наружная дверь так шумно, что только один человек на свете мог позволить себе подобное? Разве не наполнился внезапно весь дом жизнью и надеждой? Разве не послышался звонкий властный голос, расспрашивающий слуг о том, что случилось?

Лакей Юханссон поднял голову, глаза его засияли, он поспешил к двери. Экономка приоткрыла ее, чтобы объявить то, о чем знал уже весь дом.

— Хозяйка! — прошептала она. — Хозяйка приехала!

Да, теперь надо не поддаваться. Теперь ему предстоит самый страшный бой.

Когда Шарлотта вошла в комнату, она, казалось, первым делом должна была подойти к нему и осведомиться о его самочувствии. Но ничего подобного не случилось. Вместо того она обратилась к судье и твердо

и довольно вежливо попросила его, чтобы он и его писарь немедленно покинули комнату.

— Мой муж уже несколько часов лежит без всякой помощи, — сказала Шарлотта. — С него надо немедленно снять одежду. Вы, господин судья, вероятно, понимаете, что сейчас это важнее всего.

Нотариус сказал что-то очень тихо. Видно, он уведомил Шарлотту, что, по словам доктора Ромелиуса, сделать ничего невозможно.

Шарлотта все еще сдерживалась. Но Шагерстрём понял, что она страшно разгневана, и надеялся, что судья не решится вступить с нею в спор.

— Должна ли я повторить свою просьбу о том, чтобы вы не мешали мне позаботиться о муже?

— Но позвольте, фру Шагерстрём, ведь мы здесь по приглашению вашего супруга. — Затем он добавил почти шепотом: — Вы, фру Шагерстрём, не пострадаете, если будет написано завещание.

Вслед за тем послышался звук разрываемой бумаги. Вот оно что, Шарлотта разорвала завещание! Да, видно, она разошлась вовсю.

— Но, фру Шагерстрём, это по меньшей мере...

— Если завещание будет составлено в мою пользу, его не надобно было и писать. Я бы все равно не приняла ни единого шиллинга.

— Ну, раз дело обстоит таким образом...

Шагерстрём понял, что судейский оскорблен так сильно, что согласен, чтобы Шарлотта лишилась состояния. Он предоставил ее собственной судьбе и покинул комнату. Но и теперь Шарлотта не подошла к дивану, на котором лежал Шагерстрём. Вместо того она строго приказала:

— Юханссон, ступай сейчас же за доктором!

Лакей ушел, а Шарлотта принялась шептаться с фру Сэльберг, которая рассказала ей, в какое отчаяние пришли она и все домашние оттого, что им не позволили послать за барыней.

— Так ведь моя сестра Мария-Луиза прибежала к нам в пасторскую усадьбу и рассказала обо всем, — сказала Шарлотта. — Я ехала домой в старой пасторской одноколке, на норвежской лошадке.

Шагерстрём лежал молча, не двигаясь. Он не мог сказать, что боль хоть немного унялась с тех пор, как приехала Шарлотта, нет, боль свирепствовала так же немилосердно, как и прежде, но теперь он меньше замечал ее. И так было всегда: когда Шарлотта находилась в комнате, он мог думать лишь только о том, чем она сейчас занята.

Вошел доктор, и в тот же миг, когда он показался на пороге, Шарлотта крикнула ему:

— Стало быть, ты, зятюшка, осмеливаешься дрыхнуть, когда мой муж лежит при смерти?

«Осмеливаешься!» — чуть не засмеялся Шагерстрём. Это слово она употребила в разговоре с ним, когда он посватался к ней в первый раз. В своем положении он не мог видеть ее, однако прекрасно представлял себе выражение ее лица.

Доктор отвечал ей с таким же достоинством, какое старался сохранять все время:

— Я заверяю тебя, дражайшая свояченица, что делать операцию, а тем паче ампутацию против воли пациента противно моим принципам.

— Не желаешь ли ты прежде всего помочь нам снять с него одежду?

Ромелиус, разумеется, не пожелал.

— Мы с братцем Шагерстрёмом уже толковали об этом. Он не хочет, чтобы его тревожили. И я нахожу, что он прав. Согласно моим принципам, любезная свояченица.

Шагерстрём ждал с величайшим напряжением. Что теперь придумает Шарлотта? Может, она даст зятю пощечину? Или велит бросить его в чан с холодной водой?

— Юханссон! — приказала Шарлотта. — Принеси сюда бутылку шампанского и два бокала!

Покуда лакей бегал за шампанским, Шарлотта не обращалась больше к зятю, но Шагерстрём слышал, как она шепталась с фру Сэльберг.

Но вот Юханссон вернулся. Слышно было, как хлопнула пробка и шампанское зашипело в бокалах.

— Фру Сэльберг, ступайте вместе с Юханссоном и приведите все в порядок, как мы условились, — сказала Шарлотта. — А теперь, доктор и зять, — сказала

Шарлотта, когда слуги вышли из комнаты, — теперь я предлагаю выпить за фабриканта Густава Хенрика Шагерстрёма. Я заверяю тебя, что он настоящий Польхем. Он не только пустил в ход старую лесопилку на Озерной Даче, но и устроил так, что сам угодил в нее. И ни один человек не усомнился в том, что это несчастный случай. Выпьем, зять, за Густава Хенрика!

Шагерстрём как бы пропустил эти слова мимо ушей, не подав ни малейшего признака жизни. «В это она и сама не верит, просто хочет припугнуть этого скотину доктора», — думал он.

Он слышал, как доктор пил большими глотками, а потом поставил бокал. Затем он откашлялся и сказал:

— Да что это ты говоришь, любезная свояченица? С какой же это стати?

Голос доктора уже не был больше невнятным и невыразительным.

Шагерстрём снова услышал легкое шипение шампанского и понял, что Шарлотта снова наполнила бокал гостя.

— С твоего позволения, зять, — сказала Шарлотта, — мы сейчас поднимем бокал за меня. Сегодня утром встретила я бывшего жениха моего в пасторском саду и услышала, что он любит меня теперь так же сильно, как я любила его когда-то. И я рада была услышать это. Может, это и дурно с моей стороны — ведь я теперь живу счастливо с другим. Как вы находите, зятюшка? Но разве это не естественно для человека, которого некогда отвергли и оттолкнули? И если мы предположим, что Хенрик проходил по саду и увидел меня с Карлом-Артуром, разве не следовало ему сперва узнать, что я ответила возлюбленному моей юности, прежде чем отправиться домой и броситься под пилу?

— Ну конечно, ты права, душа моя, — сказал доктор. — Он будет иметь дело со мной, негодник. И он еще думал, что ему удастся избежать моего ножа! Выпьем за здоровье Шарлотты!

Голос доктора зазвучал совсем по-иному, в нем появились новые интонации. Шагерстрём задыхался от волнения. Неужто Шарлотта одержит победу?

Бокал доктора был снова наполнен, и Шарлотта принялась опять за свое:

— Теперь выпьем за доктора Рикарда Ромелиуса. Его жена два с половиною года назад была при смерти, дом его был разорен, а дети бегали по улице, как дикие жеребята. Нынче все изменилось, но сегодня он откачивается...

Шагерстрём услышал, как бокал стукнул по столу.

— Сегодня, — послышался голос доктора, — сегодня Рикард Ромелиус спасет жизнь человеку, который возвратил ему жену и дом, который помогает его детям. Не надо больше шампанского, свояченица. Я спасу, черт побери, этого человека, с его согласия или без него.

С этими словами он поднялся и вышел из комнаты. Он, вероятно, пошел за своим саквояжем. Шагерстрём понял, что Шарлотта и шампанское одержали победу. Его будут оперировать, как бы он ни сопротивлялся.

В этот миг Шарлотта подошла к дивану, на котором он лежал. Она встала у изголовья и наклонилась над мужем. Он закрыл глаза.

— Хенрик, — сказала она, — ты понимаешь, что я говорю?

Еле заметное подергивание век — вот что было ей ответом.

— Знай же, что сегодня после полудня органист Сундлер пришел в пасторскую усадьбу жаловаться. Его жена хочет оставить его. Видишь ли, у Карла-Артура нынче новая идея. Он не хочет больше быть пастором государственной церкви, не хочет проповедовать ни в какой церкви. Он хочет следовать Христову завету и бродить по свету подобно апостолам, без сумы и посоха. Он будет проповедовать на проселочных дорогах и ярмарках, на постоянных дворах и почтовых станциях. И Тея хочет покинуть своего мужа и следовать за ним. Мой бедный друг, теперь ты понимаешь, что Карл-Артур потому прибегнул к подобной крайности, что сегодня утром услышал ответ от той, которую он любит, и ответ этот поверг его в отчаяние?

Шагерстрём не шевелился. Видно, она все еще не нашла нужных слов.

Шарлотта нетерпеливо вздохнула.

— Какая ты все-таки скотина! — сказала она. — Неужто надобно вынуждать меня говорить тебе, что я люблю только тебя, тебя, тебя, и никого другого?

Шагерстрём открыл глаза. Он встретил взгляд Шарлотты, неистовый, нежный, затуманенный слезами. В душе его свершилась разительная перемена. Раздражительность, малодушие, ребячество, овладевшие им после несчастного случая, исчезли. Воля к жизни вернулась к нему. Он больше не страшился мучений. Он больше не искал смерти. Он горел лишь одним желанием — чтобы о нем заботились, чтобы его спасли.

МАДЕМУАЗЕЛЬ ЖАКЕТТА

Однажды в полдень мадемуазель Жакетта, сидя, как обычно, подле углового окна в будуаре, читала матушке студенческие письма брата.

Читала она весьма внятно и сосредоточенно, нарочито подчеркивая такие выражения, как «моя обожаемая матушка», «нежные мои родители», «мое сыновнее почтение и благодарность». Но более всего выделяла она те строки, в которых речь шла о восхищении Карла-Артура талантами полковницы, и особенно ее стихотворством. Подобные излияния она читала и перечитывала вновь, потому что стоило полковнице услышать столь лестные изъявления сыновнего восторга, как щеки ее начинали мило румяниться.

Ни малейшего следа невнимательности или же утомления невозможно было уловить в голосе мадемуазель Жакетты. Но порой она отрывала глаза от бумаги и продолжала читать длинные послания, совершенно не заглядывая в рукописный текст, словно знала его наизусть.

Жакетта смотрела вниз, на реку Кларэльв; широкая и могучая, она катила свои воды прямо под окнами будуара. Жакетта следила за непрерывным потоком людей, не прекращавшимся на мосту Вестербру. Выгодно наторговавшись, крестьяне из Грава и Стура Киль возвращались домой. Школьники, за спиной которых

болтались перевязанные ремешком книги, мчались на обед по своим квартирам. А иной раз поспешала в гурбернский город господская карета, запряженная горячими рысаками и со статным кучером на облучке.

В тот день мадемуазель Жакетта была в дурном расположении духа. Она думала о том, что год за годом проходят без всяких перемен, что ей не дано изведать тех радостей и горестей, какие бывают у живущих полной жизнью людей. Разумеется, не всякий день предавалась Жакетта подобной печали. Но порой она ничего не могла с собой поделать, и тогда ее одолевала грусть о своей жизни — простой и пустой.

Полковница слушала, не поднимая глаз от вязанья, и вовсе не замечала, что взгляд ее дочери неотрывно прикован к людскому потоку, который двигался по мосту. И все шло как нельзя лучше до тех пор, пока мадемуазель Жакетта не потеряла нить. Неожиданно она сбилась и стала читать вовсе не из того письма, которое держала в руках. Она перескочила вдруг из осеннего семестра прямо в весенний, а поскольку письма были весьма похожи одно на другое, то она и продолжала читать, все так же мастерски выделяя отдельные слова и так же ревностно, покуда полковница не заплакала и не сказала, что хочет читать сама. Ведь Жакетта снова перескочила через семь-восемь писем. Она не желает доставить полковнице удовольствие этими письмами. Она хочет увильнуть от чтения. И ничего удивительного в этом нет, потому что Жакетта никогда не питала истинной любви к Карлу-Артуру, впрочем, так же, как Ева с ее мужем Аркером и даже его родной отец.

Полковница вздыхала и горько оплакивала бездушные своего семейства, но Жакетта не дала себе труда оправдывать ни себя, ни других. Она позвонила горничной и велела принести варенья и печенья, чему полковница несказанно обрадовалась, позабыв немедленно свои горести. Но не успела она отложить ложку, как уже спросила у Жакетты, не хочет ли та доставить своей матушке радость и немножко почитать ей письма Карла-Артура. Такие прекрасные письма, и она так давно ничего из них не слышала.

Тогда мадемуазель Жакетта снова достала связку писем и принялась их читать, все так же весьма прилежно и выразительно. Полковница с ее изящными манерами и благородной осанкой сидела рядом и внимала все с тем же благоговением, с каким вот уже почти целых три года выслушивала одни и те же письма.

Одета она была весьма изысканно и искусно причесана, а на ногах у нее, как всегда, были парчовые туфельки. Но сама полковница превратилась теперь в изжелта-бледную маленькую старушку, осунувшуюся и дряхлую. Можно было только смутно догадываться о былой прелести этого лица и о живом блеске милых глаз. Полковница походила теперь на отцветшую розу. Последние лепестки еще оставались, но достаточно было лишь легкого дуновения ветерка, чтобы они облетели.

В тот день, однако, мадемуазель Жакетта была совсем негодной лектрисой. Полковница только что мысленно перенеслась на публичное чтение поэта Аттербу-ма и пыталась разобраться в философии романтиков, как вдруг она заметила, что Жакетта начала заикаться и запинаться на каждом слове и читает с совершенно отсутствующим видом. Полковница снова огорчилась и стала просить, чтобы ей дали читать самой, поскольку Жакетте явно не доставляет интереса следить за успехами брата на учебном поприще. Ей бы только сидеть у окна и пожирать глазами молодых людей, которые слоняются на мосту Вестербру.

Жакетта и в самом деле не сводила глаз с моста Вестербру. Но она вовсе не высматривала там молодых людей. Ее внимание приковала далекарлийская крестьянка, рослая и статная, с черным кожаным мешком за плечами. Вот уже битый час она стояла, перегнувшись через перила моста и уставившись на воду.

«Не может быть, — думала мадемуазель Жакетта, — но разве она не в той же самой одежде? Ах, хоть бы она шевельнулась и перестала торчать над рекой».

Невзирая на сетования матушки по поводу ее скверного чтения, Жакетта не могла удержаться от того, чтобы время от времени не бросить взгляд на женщину,

которая, стоя на мосту, неотрывно глядела вниз на реку Кларэльв. Большая река, которая теперь, в пору весеннего паводка, была в самой силе, во всем своем великолепии разливалась из-под арки моста. Но случилось ли кому когда-либо видеть, чтобы бедная коробейница, попусту тратя время, стояла бы часами, тешась веселой игрой волн?

«Нет, не нравится мне это. Попытался бы кто-нибудь поговорить с ней, узнал бы, отчего она там стоит», — размышляла мадемуазель Жакетта.

Жакетта уже стала подумывать, не попросить ли ей матушку позволить прекратить чтение, чтобы прогуляться в этот погожий весенний день. Но когда она снова подняла глаза, женщина уже исчезла.

Почти невольно взгляд Жакетты устремился вниз, к поверхности воды, желая высмотреть, не мелькает ли в белой пене красное и зеленое. К счастью, ничего похожего она не обнаружила, и последующие несколько минут не отрываясь занималась чтением, к величайшему удовлетворению полковницы.

Но увы! Странное заикание и запинание почти тотчас же возобновилось вновь. В тот день Жакетта была совершенно невыносима.

Мадемуазель Жакетта и в самом деле опять отвлеклась. Теперь она сидела, прислушиваясь к голосам, которые долетали к ней наверх из кабинета полковника, расположенного этажом ниже, как раз под самым будуаром полковницы.

Совершенно отчетливо услышала она ворчливый бас отца. Неожиданное ли известие, гнев ли были тому причиной, этого она знать не могла, одно несомненно — полковник ворчал сильнее обыкновенного. Вместе с тем Жакетте показалось, будто она различает также звуки какого-то женского голоса, который странно повышался и понижался, выдавая нездешний говор.

К невыразимому удивлению полковницы, Жакетта без всяких объяснений и извинений внезапно прекратила чтение изысканно составленных и обстоятельных отчетов брата. Она попросту позвонила горничной

и, попросив ее недолго побыть с матушкой, быстро вышла из комнаты.

Мгновение спустя Жакетта уже появилась в кабинете полковника, занятого как раз беседой со своей снохой, прежней коробейницей Анной Сверд; имя этой особы в доме Экенстедтов упоминать не смели с того злосчастного и достопамятного дня, когда похоронили жену настоятеля собора Шёборга. Полковник сидел за письменным столом вполоборота к невестке. По его позе сразу было видно, что визит этот был ему не очень желателен. Анна Сверд стояла посреди комнаты почти что за спиной полковника. Сняв мешок, она распутывала ремни и тесемки, стараясь развязать его. Появление Жакетты ничуть им не помешало, и разговор продолжался.

— Хотела было я сперва пойти напрямиком к себе домой, в Медстубюн, — говорила Анна Сверд, — да тебе, чай, понятно, каково мне назад к матушке без единого шиллинга в кармане воротиться. Вот я и дала крюку через Карлстад, да и попросила купца Хувинга, чтоб он отпустил мне товару в долг; ровно столько, чтобы в этом мешке унести. Мне-то думалось, что он сделает это по старой дружбе, да он не захотел.

Мысли мадемуазель Жакетты были все еще заняты той картиной, которую она видела из окна кабинета, а также письмом, полученным в полдень от старой пасторши Форсиус из Корсчюрки. И она с величайшим любопытством разглядывала свою невестку. То, что она была чуть ли не на сносях, заметно было сразу; но при ее росте и стати это не очень безобразило ее. Лицом Анна была по-прежнему красива, но брови ее были так нахмурены, что образовали сплошную черную линию. Под ней непокорным, даже, пожалуй, недобрый блеском сверкали глубокие синие глаза.

Полковник не ответил сразу невестке, а обратился прежде к Жакетте.

— Твоя невестка, — довольно сухо пояснил он, — явилась к нам рассказать о том, что ей надоело жить в супружестве с твоим братом и она надумала вернуться к своему прежнему занятию.

Меж тем Анна Сверд наконец справилась со своими ремнями и тесемками. Приподняв мешок, который оказался битком набитым не чем иным, как сеном да соломой, она сунула его полковнику под нос.

— Видишь теперь, в мешке вовсе пусто. А как мне досадно по дорогам с пустым мешком ходить, так я и запихала в него сноп соломы.

Полковник, не скрывая крайнего раздражения и неудовольствия, откинул назад голову и оттолкнул мешок. Тогда коробейница обратилась к Жакетте:

— Прежде ты была добра ко мне, Жакетта! Замолви теперь за меня словечко отцу! Пусть одолжит мне две сотни риксдалеров. Я отдам их ему в будущем году, на ярмарке в день святого Миккеля.

Только что, сидя наверху, мадемуазель Жакетта вздыхала о том, как проста и пуста ее жизнь. Теперь же, когда от нее потребовалось заступиться за невестку, она смутилась и пришла в крайнее замешательство. Но прежде чем она нашлась, что ответить, заговорил полковник.

— Не советую тебе ввязываться в это дело! — прорычал он. — Мы-то прекрасно понимаем, кто прислал вас сюда, — повернулся полковник к Анне. — Сам он явиться не смеет, и потому вместо него мы имеем удовольствие видеть вас.

— Но, папенька...

Однако Анну Сверд это обвинение не очень-то огорчило.

— Еще чего! — сказала она. — Тебе и самому-то стало невмочь терпеть этакого сына, так, поди, смекаешь, каково другому-то с ним. По горло сыта таким муженьком!

— Папенька! Нынче утром я получила письмо от вдовы пастора Форсиуса из Корсчюрки. Это истинная правда, что Анна с Карлом-Артуром расстались врагами.

— Ну что ж, вполне возможно! — ответил на это полковник. — Но мне вовсе не легче от того, что невестка моя с коробом по дорогам ходит.

— Думаешь, мне невдомек, что, по-твоему, это дрянное дело? — сказала Анна Сверд. — Но коли уж не хочешь пособить мне, как прошу, так, может, надумаешь

чего получше! Вот пришло бы тебе на ум дать мне три тысячи риксдалеров, чтобы я купила себе домишко да завела бы лошадь с коровой. Сидела бы тогда я дома с дитем, и не надо было б мне по проселкам бродить. Уж тут бы я спорить не стала. Это уж будь спокоен!

Сделав полковнику такое предложение, Анна с минутку помолчала. Очевидно, она ждала ответа, но его так и не последовало.

— Ну, ничего такого не надумал? — с надеждой спросила она.

— Нет! — ответил полковник. — Этого я сделать не могу.

— Ну, коли так, — сказала его невестка, — коли ты не хочешь мне пособить, так найдутся, поди, другие, которые дадут мне денег в долг, чтобы мне снова торговлей промышлять. Август Бунандер, чай, нынче в городе, знаю. Не хотела я прежде с ним иметь дело — ведь он жулик, ну да теперь придется!

Видно было, что Анна снова ждет ответа, но его так и не последовало, и она, склонившись над мешком, стала завязывать его. Пальцы Анны двигались с отчаянной быстротой, но застежек было слишком много. И тогда мадемуазель Жакетта поняла: если она пожелает сказать или сделать что-либо, чтобы смягчить сердце отца, то у нее есть еще на это время.

А мадемуазель Жакетта, конечно, очень бы желала помочь невестке, но она просто не знала, как подступиться к отцу. Слишком многое мешало ей.

Полковник был все еще силен и осанист. Он не высох и не одряхлел, как его супруга. Но множество глубоких морщин избородило его лоб, а в глазах мелькали отблески того жгучего, сведавшего его пламени, которое неугасимо полыхало в его груди. Подчас Жакетта испытывала более глубокое сострадание к отцу, нежели к матушке. Память — бесценный дар, но, быть может, лучше утратить ее, чем позволить ей питать ненависть, которая никогда не сможет ни смягчиться, ни угаснуть.

Был лишь один-единственный ключ к сердцу полковника, и мадемуазель Жакетта, конечно, знала, что

это за ключ; но она не могла сообразить, как ей им воспользоваться.

И тут, по-видимому, все это наскучило мадемуазель Жакетте. Предоставив обе враждующие стороны самим себе, она удалилась.

Однако отсутствовала она недолго. В тот самый миг, когда невестка ее с мешком за спиной уже повернулась, собираясь уйти, на пороге снова показалась мадемуазель Жакетта, одетая на этот раз в салоп и шляпку. Поспешно подойдя к отцу, она протянула ему руку:

— До свиданья, папенька!

Полковник поднял глаза от своих бумаг и взглянул на дочь.

— Что это ты задумала? Куда ты собралась?

— Я пойду с Анной, папенька!

— Да в своем ли ты уме?!

— Разумеется, в своем, папенька! Но когда мне в прошлом месяце минуло тридцать лет, вы, папенька, были так добры, что подарили мне свою прекрасную мызу под Карлстадом. Я знаю, что ваше желание, папенька, таково, чтобы я поселилась там, когда вас не станет. В доме так уютно, и даже полы навощены; есть там и скотина, и сад, где можно поработать. Так что лучшего и желать нельзя. Но мне, верно, и без того найдется где жить, так что, с вашего позволения, папенька, я намерена подарить эту усадьбу моей невестке. Я собираюсь немедленно проводить ее туда и остаться там с ней первое время, по крайней мере до тех пор, пока не родится ребенок.

Полковник вскочил. Вид у него был отнюдь не благодушный.

— Ну нет, клянусь...

Полковник и его дочери были всегда друг с другом добрыми друзьями, и мадемуазель Жакетта несколько его не боялась. Ей только было совсем непривычно вмешиваться в чужие дела, принимать решения и распоряжаться. За всю свою жизнь ей никогда не пришлось делать ничего подобного.

— Вы, папенька, подарили мне имение с законной дарственной записью, так что отобрать его назад уже

не сможете. Анна же будет управлять этим имением гораздо лучше, чем я. Вы, милый папенька, никогда не позволяете нам говорить о Карле-Артуре, потому-то и не знаете, какая рачительная хозяйка его жена. Нам с Евой не раз хотелось выказать ей наше дружеское расположение, но мы не смели из-за вас, папенька.

Мадемуазель Жакетта, на слегка поблекших уже щеках которой вдруг выступил яркий румянец, стояла перед отцом и с истинным упоением развивала свои планы.

— А когда настанет лето, то вы, папенька, конечно, приедете с маменькой на лодке в Эльвснес навестить внука. Ах, как приятно будет вас там принять! Маменька снова оживет!

Лицо полковника дрогнуло. До сих пор он не подумал о том, как все устроится с полковницей, если Жакетта покинет родительский дом.

— Ты намерена пробыть там так долго? — спросил он. — Кто же станет тогда читать вслух маменьке?

— А вы, папенька, накажите Еве приходиться сюда каждый день и читать вслух несколько часов до и после обеда. А может, вы, папенька, полагаете, что лучше нанять сиделку?

Засунув руки в карманы жилета, полковник засвистел. Думал же он о том, какой это будет ужас, когда Еве придется читать вслух маменьке. И он знал, что ни одна сиделка в мире не выдержала бы ежедневного чтения студенческих писем Карла-Артура. Жакетта была единственной, у кого хватало на это терпения.

— Послушай-ка, Жакетта! — сказал полковник. — Что ты хочешь за то, чтобы отказаться от своего сумасбродства?

— Три тысячи риксдалеров, папенька!

Полковник выдвинул ящик письменного стола, вынул оттуда одну за другой три толстых пачки ассигнаций и передал их мадемуазель Жакетте. А она, сунув их в карман невестке, поцеловала ее.

— Дорогая Анна! — сказала мадемуазель Жакетта. — Я вижу, кто-то жестоко обидел тебя. Но когда ты вернешься домой и будешь мирно жить у себя в Медсту-

бюн, вспоминай о том, что тебе все же довелось узнать, как дарит людей жизнь и как обделяет.

Затем она проводила невестку до садовой калитки. И тут мадемуазель Жакетте показалось, что, когда они расставались, взгляд Анны чуть смягчился и подобрел.

Потом мадемуазель Жакетта сняла салоп и шляпку, поднялась по лестнице наверх и села у окна будуара против матушки. Положив связку писем на колени, она снова начала читать вслух, читать красиво, мастерски выделяя отдельные слова. И сейчас ее все же время от времени постигал обычный афронт, когда она перескакивала с одного письма на другое. Но на сей раз в рассеянности мадемуазель Жакетты виноват был вовсе не людской поток на мосту Вестербру. На сей раз она сидела, и ей чудилось, будто она вместе с невесткой перебралась на загородную мызу, будто родился маленький ее племянник и будто жизнь ее проходит теперь в труде ради чего-то молодого и растущего, а не только ради старого и увядающего.

АНСТУ ЛИЗА

И вправду, кажется, что доброта мадемуазель Жакетты произвела большое впечатление на ее несчастную невестку.

«Вот видишь, Анна, — должно быть, сказала она самой себе, — не перевелись еще на свете честность да справедливость. И вовсе незачем тебе бежать до самой Медстубюн, чтобы сыскать добрых людей».

По правде говоря, когда она чуть пораскинула умом, у нее, пожалуй, совсем пропала охота возвращаться в родные края и выслушивать насмешки, без которых бы уж никак не обошлось.

«Ну, разве я не говорила, куда ей в пасторские жены!» — только и слышно было бы со всех сторон, начиная от ленсманши и кончая далекарлийскими мальчишками, обучавшимися грамоте за большим столом в классной пономаря Медберга.

К тому же Анна всегда любила деньги, и теперь три тысячи риксдалеров в кармане значительно облегчали

ее путь; у нее появилось нечто, над чем стоило поразмыслить.

Собственно говоря, ей всегда по душе было жить в маленьком домишке над докторским садом, и тут ей пришло в голову: ну не глупость ли отступить от этого домишка? Не лучше ли прикупить несколько десятин пахотной земли, поставить хлев да обзавестись скотиной? А благословил бы Господь, так через несколько лет она смогла бы уж хозяйствовать в хорошей усадьбе и жить в достатке.

Как бы то ни было, Анна не пошла на север по долине реки Кларэльв, где прямая дорога вела в ее родные края. Она побрела на восток по берегу озера Венерн, по проселку, которым надо было идти в Корсчюрку, если хочешь поскорее туда попасть.

Что касается Карла-Артура, то Анна ничуть не сомневалась в том, что она, как обычно, застанет мужа за письменным столом в его по-господски убранной комнате. И вовсе не думала, что муж станет противиться возобновлению их супружеской жизни.

«Ему-то, поди, завсегда надо, чтобы кто ни на есть убирался у него да стряпал ему. Так ему все одно, кому за то спасибо говорить — мне ли, другой ли», — думала Анна.

Как видно, ходьба на свежем воздухе весенней порой, а прежде всего доброта мадемуазель Жакетты пошли Анне на пользу. Волнение ее улеглось. Она была способна, не делая из мухи слона, видеть все вещи и явления такими, какими они были в действительности.

Мило за милей шла она мимо богатых пашен к востоку от Карлстада. Перед ней по всей равнине раскинулись господские поместья и деревни. Поля тянулись здесь одно за другим сплошняком, нигде не пересекаясь цепью горных хребтов. Лесам пришлось потесниться к самому горизонту. Имея три тысячи риксдалеров в кармане, Анна совсем иными глазами смотрела на все вокруг. «Может, лучше всего остаться тут, — думала она, — где еще сыщешь такую благодатную землю для плуга?»

А уж как придирчиво осматривала она каждую усадьбу, мимо которой проходила! И повсюду находи-

лось для нее, чему поучиться и над чем поразмыслить. У Анны открылись глаза на окружающий ее мир. Мысли ее больше не вращались в узком кругу десятерых детей, Теи, Карла-Артура и ее собственного страха перед карой.

Миновав одну из белых церквей той округи, Анна попала прямо на маленькую ярмарку. Там были почти все те же самые торговцы и товары, те же лари и развешивающиеся на ветру вывески, что и на ярмарке в Корсчюрке неделю назад. Но так как день клонился к вечеру, то ярмарочный люд, слонявшийся меж ларями, успел уже набраться хмельного. И веселье становилось все необузданнее и грубее. Со всех сторон слышались брань и крики. Особенно неистовствовали барышники и цыгане. Дело вот-вот могло кончиться жестокой потасовкой. Анна Сверд, выдавшая виды на ярмарках, ускорила шаг, стараясь побыстрее, покуда не затеялась драка, выбраться из толчеи.

Вскоре, однако, она услышала нечто такое, что заставило ее тут же остановиться и прислушаться. Среди людского гомона, визга шарманки, мычания скотины, стука колес, среди всего этого оглушительного ярмарочного шума раздался вдруг какой-то женский голос: он затянул псалом. Голос так и рвался ввысь; высокий, свежий, удивительно чистый и звучный, он разносился далеко вокруг. Всякий, кто слышал этот голос, должно быть, спрашивал себя, не чудом ли небесным такое дивное песнопение раздается в этой грубой, ревущей рыночной сутолоке?

Ярмарочный люд и в самом деле оторопел от изумления. Самая оживленная беседа оборвалась на полуслове; все перестали покупать и торговаться, люди замерли со штофом водки в руках, так и не донеся его до рта.

Чтобы подняться над толпой, певица встала на так называемую цыганскую повозку — простую телегу без сиденья и без верха. Женщина эта была мала ростом, тучна и одета в простенький черный салоп; черты ее лица были безобразны, водянистые глаза навывкате.

Ее окружила уже целая толпа слушателей, несколько разочарованных тем, что та, которая пела так сладко, не была к тому же и хороша собой. Но очарование ее пения было столь велико, что никто не двигался с места, а все терпеливо стояли и слушали.

«Быть того не может... — подумала Анна. — Я, видно, обзналась».

Она не хотела верить своим глазам и сказала самой себе, что эту женщину, откуда она пела, озаряло нечто прекрасное, нечто чистое и святое. У той же, другой, с которой певица была схожа лицом, Анна никогда ничего подобного не замечала.

Псалом был спет. Женщина сошла с повозки, а на ее место поднялся мужчина, который прежде стоял в толпе слушателей.

Одет он был в грубое сермяжное платье, а на голове носил широкополую шляпу. Шляпу он тотчас же сорвал с головы и бросил на дно повозки, затем постоял несколько секунд, сложив руки, закрыв глаза, погруженный в молитву. Ветер играл его волосами, сбивая их на лоб, отчего еще заметнее выступала ослепительная бледность его лица. Пока он так стоял, прорвавшийся внезапно солнечный луч ярко осветил его, сделал почти прозрачным его тонкое лицо, окружив его на несколько мгновений ореолом. Казалось, будто солнце хотело своим сиянием еще больше привлечь все взоры к этому человеку.

Анна Сверд, которая, конечно, не могла не узнать своего мужа, подумала, что никогда не видала его таким красивым. А народ, собравшийся было после окончания пения снова вернуться к торговле и штофам с водкой, тоже словно застыл на месте, ожидая, что скажет этот человек.

Карл-Артур не заставил себя долго ждать и заговорил. По-прежнему недвижимый, он открыл темные глаза и окинул взглядом толпу. В глубокой благоговейной тишине, воцарившейся над ярмарочной площадью, голос его разносился далеко вокруг.

Не удивительно, что кровь бросилась Анне в голову. Она не воспринимала ни единого слова из того, что

говорил ее муж. Она только спрашивала себя, что все это значит? Что могут делать здесь, на ярмарке, Тея с Карлом-Артуром?

Но мало-помалу она пришла в себя и стала улавливать отдельные фразы. Она услышала, как Карл-Артур рассказывал людям, что он хочет следовать Христову завету и пойдет по дорогам и тропам, дабы проповедовать Евангелие. Он не хочет более говорить с церковной кафедры и потребовал отрешения от пасторского сана.

Толпа, которая сочла все это прекрасным и удивительным, слушала, затаив дыхание. Тишину нарушал порою только какой-нибудь полупьяный забияка, который вопил, что ему-де осточертело слушать этого пустомелю на цыганской телеге. Все ведь пришли на ярмарку, чтобы веселиться, а не слушать нудные проповеди. Но таких горланов тут же унимали.

Потому что слушателей, желавших внимать новому откровению, было гораздо больше.

Можно было бы, пожалуй, сказать, что, кроме Анны Сверд, ни один человек из толпы не испытывал ни гнева, ни отвращения. Но она к тому же была крайне взволнована. Так, стало быть, муж ее больше не пастор! Неужто Карл-Артур с Теей собираются бродить по всей стране, как какие-нибудь цыгане? Она, Анна, его жена, тоже, верно, должна сказать свое слово! Вскоре она не могла уже совладать с собой и хотела пробиться сквозь толпу поближе, чтобы положить конец этой прекрасной речи. Она мужняя жена, да и он женатый! Потаскун и потаскуха — вот они кто! А еще праведниками прикидываются, проповедуют слово Божье!

Но только было Анна собралась протиснуться вперед, как чья-то рука легла ей на плечо. Подняв глаза, она увидела, что рядом с ней стоит Ансту Лиза, самая старая и самая знатная из всех коробейниц. Ансту Лиза была высоченного роста, костлява, с темным, задубелым от непогоды и ветра лицом, с мутным, непроницаемым взглядом: вся она была тяжеловесна и непоколебима, словно каменная.

Ансту Лиза славилась своей хитростью и чрезмерным пристрастием к табаку, кофе и к картам; но, помимо этого, старуха имела еще и другой дар, о котором рассказывали не так охотно. Но Анна, разумеется, слышала, как люди перешептывались о том, что Ансту Лиза, дескать, ясновидица и провидица. Что она каким-то манером может подстроить так, что люди станут покупать у нее в ларе и за ценой не постоят, дадут, сколько она запросит. И теперь, когда Анна увидела ее руку у себя на плече, она поняла, что та положила ее не без умысла.

Старуха не вымолвила ни слова, и Анне ничего бы не стоило тут же стряхнуть ее руку со своего плеча; но удивительнее всего, что Анна этого не сделала. Напротив того, она не двигалась с места и, как все в толпе, слушала проповедника.

Только один раз довелось ей прежде слышать, что бы Карл-Артур говорил так, как нынче вечером на ярмарке; и это было в то самое воскресенье в Корсчюрке, когда он говорил проповедь с удивительными словами о любви.

Она прекрасно помнила, как все было в тот раз, как она горячо надеялась, что Тея не явится в церковь и не собьет Карла-Артура с толку своими колдовскими чарами, и каким несчастным почувствовал он себя, когда она все-таки наконец явилась, и он тут же потерял нить проповеди.

Потому-то и смогла теперь Анна Сверд понять, какую, должно быть, он ощутил радость, когда к нему вернулся его великий дар. И если бы она, жена его, выступила теперь из толпы, то он наверняка сбился бы, как в прошлый раз, а большего вреда причинить ему, пожалуй, невозможно.

Но пока она так стояла, раздумывая, как бы ей хорошенько насолить ему, ей вдруг почудилось, будто рядом с ней стоит вовсе не Ансту Лиза, а старая пасторша Форсиус. И будто стоит она рядом неподвижно и благоговейно, всем своим видом показывая Анне, как надлежит вести себя жене пастора из Корсчюрки, когда супруг ее говорит проповедь с кафедры.

И внезапно Анна Сверд двинулась с места, но теперь уже не для того, чтобы протиснуться вперед к Карлу-Артуру. Напротив, теперь она пыталась выбраться из толпы, чтобы уйти с ярмарки, и это удалось ей довольно легко благодаря Ансту Лизе, которая шла впереди, прокладывая путь.

Но лишь только они очутились на проселочной дороге, Анна почувствовала, что ее снова охватил гнев. И она повернулась к Ансту Лизе, ничуть не пытаясь скрыть охватившее ее возмущение.

— На кой тебе понадобилось соваться в это дело? — спросила она. — Зачем ты не дала мне им сказать, что они за птицы такие?

— Я видела, что ты чуть не накликала беду, — ответила старуха своим скрипучим громким голосом, — вот я и захотела пособить тебе. Ведь три года назад по осени ты ушла с ярмарки, чтоб не перебегать дорогу мне, и Рис Карин, и другим горемыкам. Люди нынче от хмельного совсем ума решились, и одному Богу ведомо, на что б ты их подбила!

Анна Сверд удивленно поглядела на старуху. Никогда, ни одной живой душе не обмолвилась она о том, что ушла тогда с осенней ярмарки ради своих товаров.

— Несмышленная ты, будто дите новорожденное, — продолжала старуха. — Вскорости три года будет, как ты повенчана с этим человеком, а и по сю пору не ведаешь, что твой путь и его врозь идут, а его пути и ее вместе сходятся. И не надейся: не спасишься тебе от того, что на роду написано.

Когда Ансту Лиза вымолвила эти слова, в памяти Анны проснулось вдруг нечто давнее и полузабытое. Она вспомнила, что где-то на Небесах предначертано все, что ей суждено претерпеть на своем веку, а что на роду написано, так тому и быть. И никто в мире не властен это изменить, даже сам Господь Бог. В это верили матушка Сверд и Иобс Эрик, в это верили все крестьяне в Медстубюн. С этой верой они жили и умирали, бодрые и радостные духом.

Вскоре Анна обратилась к старухе, которая молча и терпеливо все еще шла рядом с ней, и сказала:

— Ну, а теперь спасибо тебе, Лиза, за все. Не так уж, поди, я проста, чтоб идти супротив того, что мне уготовано.

Ансту Лиза тут же остановилась и протянула ей руку; рука ее была на удивление огромна, но, несмотря на это, ограничивалась всегда лишь самым слабым рукопожатием.

— Ладно уж; ну я, пожалуй, пойду к себе, — сказала она.

Но, прежде чем расстаться, Анна Сверд спросила старуху:

— Раз уж ты столько про меня знаешь, Лиза, может, скажешь, куда мне теперь путь держать?

Ответ последовал незамедлительно:

— Иди напрямик по этой дороге, а то, что тебе уготовано, встретится тебе нынче вечером.

Ансту Лиза быстро повернула назад и снова зашагала на ярмарку, а Анна Сверд долго еще стояла на дороге, глядя ей вслед. Немалую услугу оказала ей Ансту Лиза, не меньше, чем мадемуазель Жакетта.

Стоял чудесный весенний вечер, когда Анна вскоре снова двинулась в путь. Она шла, полная ожидания и глубокой уверенности в том, что ей суждено нечто радостное и приятное.

Долго, однако, пришлось ей идти, прежде чем это «нечто» сбылось. Под конец она устала и проголодалась; тогда она села на краю канавы и достала мешок с провизией.

Но тут, как на грех, случилось так, что только она собралась поднести ломоть хлеба с маслом ко рту, как на дороге показались две побирушки — седые и грязные, а за ними тянулась неимоверно длинная вереница таких же оборванных и грязных ребятишек.

«Эти, того и жди, вырвут кусок изо рта», — подумала Анна.

Чуть отодвинувшись, она укрылась за большим валуном, надеясь, что нищая братия пройдет мимо, не заметив ее.

Невозможно даже описать то, что было надето на женщинах и детях. На головах у них были повязаны

рваные тряпки для мытья посуды, юбки и штаны, кофты и куртки им заменяли старые мешки, которые все лето красовались на огородных пугалах, а башмаки были сработаны из кусков старой бересты.

Но обеих нищенок, казалось, ничуть не печалили ни грязь, ни лохмотья. Они смеялись и болтали так громко, что их слышно было издалека.

— Сроду не подумала бы, что будет так любо бродить по округе да побираться, — сказала одна.

— Да уж, никому, поди, и во сне не снилось этокое счастье, какое тебе привалило! Десять душ ребятишек задарма отдали!

Анна Сверд начала подозревать, что тут дело нечисто. Ей доводилось уже слышать о том, будто в северных приходах Вермланда порой случалось, что к концу весны, когда амбары пустели, зажиточные крестьянки ходили по миру, чтобы добыть зерна на хлеб и на посев. Эти, как видно, тоже христарадничали не напрасно. И сами женщины, и ребятишки тащили на спинах битком набитые котомки.

— Кабы еще не так далече до дому добираться, — сказала первая побирушка и засмеялась. — Того и гляди, придется на постоялом почтовых нанимать, чтоб вернуться домой в Эксхерад.

Не успела она вымолвить это, как Анна Сверд, вскочив, выбежала на дорогу и уставилась на побирушек. Под слоем грязи и космами волос, свисавшими на глаза, Анна разглядела лица женщин и тотчас же узнала их. Одна жила на лесном торпе и была, верно, так бедна, что ей приходилось побираться. Другая же, когда Анна видела ее в последний раз, была богатой вдовой. Она угостила тогда коробейницу бобовым кофе и сторговала у нее гребень и шелковое платье.

Лишь только побирушки увидели Анну Сверд, как стали попрошайничать:

— Нет ли у вас в мешке какого старья, может, отдадите нам для ребятишек?

— Нешто не ты хозяйка в Нурвике? — с легкой насмешкой спросила Анна. — Как же ты так обеднела, что с сумой по дорогам таскаешься?

— Двор у меня сгорел, — ответила женщина, — коровы пали, зерно померзло...

Но больше она ничего не успела сказать, потому что внезапно раздался истошный детский крик. Десять ребятишек, отделившись от всей оравы, громко вопя, кинулись к Анне Сверд; они обхватили ее руками и чуть не опрокинули навзничь.

Поначалу Анна Сверд не уделила ни малейшего внимания детям; ее рука тяжело легла на плечо женщины.

— Вот оно что, так ты, стало быть, и есть жена ихнему дядюшке, — сказала она. — Ну, так пойдешь со мной к ленсману, а домой покатишь в арестантской телеге вместе с ребятишками!

Услыхав эти слова, побирушка подняла страшный вой. Сбросив с плеч котомку, она во всю прыть помчалась по дороге; ее примеру последовали вторая побирушка и все те ребятишки, которые шли за ней.

Анна Сверд осталась на проселочной дороге вместе со своими приемными детьми, окружившими ее; в душе ее царили радость и покой.

Но прежде чем заговорить с детьми и расспросить их о том, каково им жилось у дядюшки, Анна подумала, что и ей, и им следовало бы возблагодарить Бога за то, что он соединил их вновь. И она затянула вечерний псалом, первый из тех, которым она их обучила:

От нас уходит Божий день,
и не вернется он.
Нисходит вновь ночная тень,
чтоб охранять наш сон.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ЦЫГАНСКИЙ БАРОН

В сколь великой тревоге пребывали, должно быть, те господа, которые наследовали старинные усадьбы и заводы вдоль берегов узкого озера Лёвен*! Господа, которые вспоминали еще рассказы о гордых подвигах «кавалеров»*, господа, которые правили в своих усадьбах как самодержавные властители и вершили все дела на приходских сходках! Господа, которых в дни их рождения чествовали как королей! В сколь великом страхе пребывали, должно быть, они, когда случилось так, что во всех усадьбах сряду Бог не благословил супружество сыновьями! Когда верноподданные их жены, во всем прочем покорные своим супругам, словно бы вступили в коварный сговор родять на свет одних только дочерей!

В те годы, когда рождалась на свет уйма дочерей, господа эти наверняка не раз предавались раздумью о загадках бытия и о воле Провидения. Они недоумевали, уж не замыслили ли предвечные силы выказать таким путем свое нерасположение людям; уж не вознамерились ли они наводнить землю множеством женщин, учинив всемирный потоп? Наводнение подобного рода, несомненно, уничтожило бы толпы грешников куда решительнее, нежели это было во времена Ноя.

Разумеется, причины для подобных опасений были немалые. Ибо хотя по сю пору не могло быть и речи о гибели всего рода человеческого, тем не менее дело могло коснуться дальнейшего существования многих старинных родов. Все это могло привести к вымиранию племени могущественных заводчиков Синклеров*

или же гордой череды майоров и полковников из дома Хеденфельтов. Это могло повлечь за собой угасание благородного, достопочтенного пасторского рода, который уже более ста лет правил пасторской усадьбой в Бру, и воспрепятствовать тому, чтобы еще один какой-нибудь отпрыск старого немецкого органиста Фабера играл своими гибкими пальцами на клавишах рычащих и гудящих органов в старинных церквях Вермланда.

Стало быть, хотя резоны для тревог и были, но навряд ли столь внушительные, чтобы помешать большинству знатных господ из прихода Бру в мире и спокойствии наслаждаться жизнью. И лишь один из них был такого склада, что ни днем, ни ночью не мог избыть страстной тоски по сыновьям. Куда охотнее стал бы он самым захудалым поденщиком, нежели бароном из знатного рода Лёвеншёльд, которому приходилось жить с постоянной мыслью о том, что род его перестанет существовать.

Адриан Лёвеншёльд, этот богатый владелец Хедebu, неустанно благоустроивавший и украшавший свой дом и свои владения, этот справедливый хозяин, радевший о счастье подопечных ему, никогда не мог отделаться от чувства вины перед родиной, перед предками и, наконец, перед всем человечеством за то, что даровал миру лишь пятерых дочерей и ни одного сына! Ни одного из тех верных своему долгу, умелых трудолюбцев, которые в стародавние времена способствовали величию и могуществу Швеции. Разумеется, он пекся о справедливости и не пытался свалить вину на невинных; но что поделаешь, если жизнь становится тебе не мила, когда ты вынужден влачить ее в обществе одних только женщин. Он прекрасно понимал, что ни жена его, ни старая тетушка, ни пятеро дочерей, ни их гувернантка не были повинны в его несчастье. И, однако, всякий день случалось так, что своим появлением он омрачал радость в их маленьком, тесном кругу, не будучи в состоянии простить, что вместо оравы проказливых, шумливых, прожорливых сорванцов мальчишек его окружают эти смиренные и безответные женщины и девочки.

Постоянная неудовлетворенность до времени состарила Адриана Лёвеншёльда. В самом деле, немного осталось в нем от того юного, жизнерадостного рыцаря Солнечный Свет, который некогда женился на легендарной красавице Марианне Синклер. Немалую долю светлого жизнелюбия молодости он, должно быть, утратил, когда всего лишь спустя год после свадьбы Марианна умерла. Его вторая женитьба на богатой девице Вахтхаузен из Чюммельсты была браком по расчету; и новая супруга отнюдь не могла разогнать снедавшую его тоску. Но прежняя жизнерадостность непременно вернулась бы к нему, будь у него сын. С ним бы он ездил на охоту или же отправлялся далеко-далеко на рыбную ловлю. Как и в дни своей веселой юности, он рискнул бы еще раз провести несколько дней в пути только ради того, чтобы проплясать всю ночь напролет. Теперь же он безвыходно сидел дома и бродил по комнатам, истомленный вконец всей этой кротостью, мелочностью, женственностью, подстерегавшими его на каждом шагу.

Сердце барона Адриана готово было окончательно ожесточиться. И вот тогда-то случилось так, что брат его Йёран, этот злополучный, презренный бродяга, чуждавшийся всего своего семейства, подкатил к парадному крыльцу в Хедебю.

Неслыханная дерзость! Правда, эта отпетая голова, этот странный человек, который жил среди цыган и барышников, да и сам был женат на цыганской девочке, не раз, бывало, наезжал в другие господские усадьбы здешней округи. Он появлялся там в грязной повозке, битком набитой лохмотьями, ребятишками и всяческими смердящими узлами, чтобы выменять лошадей или сторговать тряпье. Но никогда прежде не случалось, чтобы он отважился постучать в дверь к своему брату.

Трудно сказать, насколько та жизнь, которую вел Йёран Лёвеншёльд, изгладила из его памяти былое.

Уже много дней бушевала страшная пурга. И покуда маленькая соловая кляча Йёрана медленно прокладывала себе путь через сугробы в заснеженной аллее,

ведущей к господскому дому в Хедебю, может статься, злосчастный цыганский барон мысленно и перенесся назад в дни своей юности. Может статься, он вообразил себя снова мальчиком, который возвращается домой из школы в Карлстаде, а может статься, он ждал, что на пороге его, как желанного гостя, встречают с распростертыми объятиями батюшка с матушкой, такие видные собой. Ему грезилось, будто из дома ему навстречу вот-вот ринется челядь, чтобы снять у него с ног меховой мешок и санную полость. Усердные руки стянут с него шубу, сдернут с головы шапку, расстегнут ботфорты. Матушка, желая его обнять, не знает, как поскорее снять с него верхнее платье, потом она подведет его к пылающему камину, нальет ему чашку горячего, обжигающего рот кофе, а после молча сядет рядом и будет жадно пожирать его глазами.

Все знают, что зимой, когда снежные бури длинной чередой тянутся изо дня в день, когда все дороги занесены снегом и ни один проезжающий не отваживается продолжать путь, в окнах уединенных загородных усадеб всегда виднеются любопытствующие. В ожидании чего-то нового, чего-то несбыточного, часто сами не зная чего, они пристально всматриваются в глубь аллеи.

В такие дни даже появление цыганской кибитки — великое событие, весть о котором летит из одной комнаты в другую. И откуда маленькая соловая лошаденка, спотыкаясь, медленно двигалась по аллее, барону Адриану уже доложили о том, что за гость к нему пожаловал.

Лицо владельца Хедебю не предвещало ничего хорошего, когда он вышел на порог своего дома, готовый оказать брату такой прием, после которого тот не отважился бы уже ни шутки над ним шутить, ни прекословить ему. Но тут, намереваясь выпроводить незваного гостя, барон Адриан увидел, что Йёран, этот презренный тунеядец, этот блудный сын, всю жизнь навлекавший позор и бесчестье на родного брата, прикатил на сей раз не с оравой черноглазых цыганят и безобразных побирušек. Он прикатил с тем, чего барон Адриан жаждал более всего на свете, но в чем ему, такому праведному и преданному, было отказано.

И дитя, которое этот оборванный бродяга с испитым лицом висельника вытащил из кучи тряпья, валявшегося на дне цыганской кибитки, вовсе не было каким-нибудь там безродным подкидышем. Уж слишком походило оно на портрет отца барона Адриана, на тот самый портрет, что безраздельно владычествовал над диваном в гостиной Хедебю. Адриан узнал это кроткое, утонченное лицо с большими мечтательными глазами, которыми прежде столь часто любовался. Мало того, что у брата был сын! Так этот нищий пащенок мог еще похвалиться унаследованной от его прародителей красотой, которая не выпала на долю ни одной из дочерей барона Адриана!

Но в этот миг последнему из Лёвеншёльдов мало было проку от его красоты. Когда отец вытащил ребенка из саней, тот почти без памяти повис у него на руках. Мальчик закатил глаза, руки и щеки его посинели от холода.

Из намерения барона Адриана выпроводить брата со двора крепкой бранью так ничего и не вышло. Напротив того, когда Йёран пошел к крыльцу с ребенком на руках и барон Адриан прочитал в его взгляде робкий вопрос, то он тотчас позабыл все, что ему пришлось претерпеть по милости своего брата. Позабыл он и все горести, которые Йёран причинил покойным батюшке с матушкой, и настезь распахнул перед ним двери родительского дома.

Однако дальше передней Йёран Лёвеншёльд не пошел. Когда брат распахнул перед ним двери залы и цыганский барон увидел полыхающий огонь в камине, увидел мебель и штофные обои, знакомые ему с детства, он остановился и покачал головой.

— Нет! — сказал он. — Это не для меня! Дальше не пойду. Но, может быть, ты позаботишься о ребенке?

Как драгоценнейшее сокровище принял у него из рук ребенка барон Адриан и, желая отогреть маленькое тельце, начал гладить его и растирать. Ни одну из женщин своего дома не позвал он на помощь. Хотя он и знал, что в дальнейшем ему без них не обойтись, но в эти первые мгновения он жаждал владеть ребенком

безраздельно. И вдруг торопливо, словно стыдясь своей слабости, он ласково прильнул щетинистой щекой к холодной и грязной щечке нищего ребенка.

— Он так походит на батюшку, — чуть дрогнувшим голосом сказал он. — Счастлив ты, Йёран, что у тебя есть сын.

Когда барон Йёран увидел, как брат его прижал к груди ребенка, ему бы тут же и понять, что владелец Хедебю готов отныне предоставить ему хлеб и кров до самого его последнего часа только за то, что ему выпало счастье иметь сына. Барону Йёрану следовало бы понять и то, что отныне его брат будет необычайно снисходителен ко всему его глумливому балагурству, к его лености и картежничеству, к его бражничеству и никогда больше ни единым словом не попрекнет его.

Однако, невзирая на все это, Йёран, казалось, не испытывал ни малейшего желания остаться, а направился к двери.

— Ты, верно, понимаешь, что я бы сюда не явился, когда бы не заставила нужда, — сказал он. — Мы столько кружили в эту метель, что он чуть не замерз. Вот и пришлось везти его сюда, а не то б ему крышка! В пасторской усадьбе меня ждет работа, туда теперь и поеду. Я заберу его, как только утихнет непогода.

Йёран вымолвил эти слова, уже держась за дверную ручку. Барон Адриан не сразу отозвался на его речи. Может статься, он даже и не слышал, что сказал брат. Он всецело был поглощен ребенком.

— Послушай-ка, Йёран, — наконец сказал он, — у него руки совсем заоченели! Нужно растереть ребенка. Не принесешь ли немного снега?

Пробормотав что-то невнятное, то ли слова благодарности, то ли прощания, Йёран отворил дверь. Барон Адриан подумал было, что брат по его просьбе отправился за снегом. Но через несколько мгновений он услышал звон колокольчика, а выглянув за дверь, увидел, что Йёран съезжает со двора. Он так нахлестывал соловую лошаденку, что она мчалась во весь опор, а вокруг нее, словно тучи пыли, кружился легкий снег.

Барон Адриан понимал, что в доме сохранилось множество мучительных для брата воспоминаний, и не удивился бегству Йёрана. Впрочем, мысли его занимал один лишь ребенок. Барон сам принес снегу, желая вдохнуть жизнь в заочневшие личико и ручки; и, растирая ребенка, он уже начал строить планы на будущее. Никогда он не допустит, чтобы последний из Лёвеншёльдс возвратился к отцу и рос среди диких его сотоварищей.

А о чем помышлял Йёран Лёвеншёльд, когда уезжал из Хедебю, сказать трудно. Может статься, спустя несколько часов он намеревался вернуться назад за ребенком и одновременно воспользоваться случаем насладиться бешенством брата, который опять позволил провести и одурачить себя. Еще уезжая из Хедебю, Йёран хохотал во все горло, вспоминая о том, как брат его прильнул щекой к щечке нищего ребенка и как величественно принял он на руки этого новоявленного носителя имени и продолжателя рода.

Но как бы там ни было, смех вскоре замер у него на устах. Нахлобучив на голову потертую меховую шапку, он сидел в своей кибитке и ехал, сам не зная куда. Тяжелые, странные засели в нем мысли — мысли, которые настоятельно требовали, чтобы их немедленно осуществили.

В пасторскую усадьбу в Бру, куда, по словам Йёрана, лежал его путь, он вовсе не поехал; и когда наутро туда пришел нарочный из Хедебю, чтобы осведомиться о цыганском бароне, никто там толком ничего не знал. Но ближе к полудню в Хедебю явились несколько крестьян, которые еще с утра расчищали занесенную снегом дорогу. Они известили барона о том, что его бродягу-брата нашли мертвым в канаве у проселочной дороги. Угодил он туда, как видно, в темноте; кибитка опрокинулась, а у него, верно, не хватило сил приподнять ее; вот он и остался на дне канавы, да и замерз там.

Нигде не было так легко сбиться с пути, как на пустынной равнине вокруг церкви в Бру в эту темную, вьюжную ночь. Поэтому вполне могло статься, что Йёрана Лёвеншёльда — цыганского барона — погубила несчастная случайность.

И, конечно, не следовало думать, что он искал смерти по доброй воле, только лишь ради того, чтобы ребенок его мог обрести надежный приют, который барон Йёран раздобыл ему в припадке обычной своей злобной насмешливости.

Ведь он был, можно сказать, не в своем уме, этот Йёран Лёвеншёльд, и, разумеется, нелегко правильно истолковать его поступки. Но люди знали, что он окружил поистине трогательной любовью свое меньшее дитя. В его лице он отыскивал фамильные черты Лёвеншёльдов, и ему, вероятно, казалось, что с этим ребенком он связан совсем иными узами, нежели с ордой черноглазых цыганят, которые прежде подрастали вокруг него. Поэтому не лишено вероятности, что Йёран пожертвовал жизнью, чтобы спасти этого своего ребенка от бедности и несчастья.

Когда он прикатил в Хедебю, у него, верно, и помыслов иных не было, кроме как поиздеваться над своим достойным братцем, который исходил тоской по сыновьям. Но когда он вступил в старый отчий дом, когда почувствовал, какой добропорядочностью, надежностью и благорасположением веет от его стен, тогда он сказал самому себе: более всего на свете желал бы он, чтобы это его меньшее дитя, единственное, которое он по-настоящему почитал своей плотью и кровью, могло бы остаться в Хедебю. И что ему надобно так обставить свой отъезд, чтобы больше не возвращаться в Хедебю за ребенком.

Но никому не ведомо, как все обстояло на самом деле, — жизнь, вероятно, не была Йёрану так дорога, чтобы он стал сомневаться, расставаться ли ему с ней или нет. А быть может, то было давным-давно взлелеянное желание, которое теперь сбылось. Быть может, он радовался, что наконец-то нашел предлог для того рокового шага, которого до сих пор не сделал, откладывая его по причине равнодушия или отупения.

И как знать! Быть может, даже в смертный час Йёран злорадствовал оттого, что снова сумел сыграть злую шутку со своим единственным братом, который всегда умел вести праведную, добропорядочную жизнь. Быть может,

Йёрану доставило удовольствие обмануть брата в последний раз. Быть может, губы его скривило последней презрительной усмешкой при мысли о том, что ребенок, которого он положил брату на руки, был девочкой. И что только платье мальчика открыло двери дома предков несчастной цыганской девчонке.

БАРОНЕССА

В тот самый день, когда цыганский барон оставил своего ребенка в Хедебю, барон Адриан Лёвеншёльд вышел к обеду в самом лучезарном расположении духа. Сегодня ему не придется сидеть за столом с одними только женщинами. Сегодня застолье с ним разделит мальчик. Барону Адриану казалось, будто даже атмосфера в комнате стала совсем иной. Он чувствовал себя помолодевшим, веселым и жизнерадостным. Да, он намеревался даже предложить жене распорядиться принести вина и выпить за здоровье нового члена семьи.

Барон Адриан прошел к своему месту за круглым обеденным столом, сложил руки и, склонив голову, стал слушать предобеденную молитву, которую читала младшая из его дочерей.

Когда молитва была прочитана, он окинул сияющим взглядом стол, желая отыскать племянника. Но как он ни напрягал зрение, он так и не увидел ни единой живой души в курточке и штанишках. За столом, как, впрочем, и всегда, ничего, кроме юбок и узких корсажей, не было.

Нахмутив густые брови, он сердито фыркнул. Конечно, ему пришлось передать племянника в детскую, чтобы его там вымыли и переодели; но неужели жена в самом деле так бестолкова, что не посадила ребенка за стол? Спору нет, это цыганенок, и повадки у него цыганские, но все пятеро его, барона Адриана, благонаправленных дочерей, вместе взятые, не стоят и мизинца этого малыша.

Не успел барон хотя бы одним словом выказать свое разочарование, как баронесса легким движением

руки указала на маленькую, хорошо одетую и хорошо причесанную девочку, сидевшую рядом с ним на стуле.

Поспешно пересчитав детей, барон Адриан обнаружил, что в этот день за столом сидело шесть маленьких девочек. Ага! Он понял, что мальчика нарядили в платье одной из его дочурок. Ничего удивительного в том не было. В лохмотьях, в которых ребенок появился в Хедебю, его нельзя было посадить за стол, а во всем поместье никакого платья, кроме девичьего, не было. Но волосы, кудрявые золотистые волосы мальчика вовсе незачем было заплетать в крендельки, которые болтались над ушками ребенка, точь-в-точь как у его собственных дочерей.

— Вы что, не могли взять на время пару штанишек у управителя, чтобы не делать из мальчика чучело гороховое?

— Конечно! — отозвалась баронесса, и ответ ее прозвучал столь же невозмутимо, как и обычно, без малейшего намека на злорадство или насмешку. — Конечно. Я полагаю, что мы, вероятно, вполне могли бы это сделать. Но ведь она одета так, как ей и положено быть одетой.

Барон Адриан посмотрел на жену, посмотрел на ребенка, а потом снова перевел взгляд на жену.

— Боюсь, что Йёран снова сыграл с тобой шутку, — сказала баронесса.

И снова ни малейшее изменение голоса, ни блеск ее глаз не выдали того, что в этом деле она придерживалась совсем иного мнения, нежели ее супруг.

Собственно говоря, особого мнения у нее и не было. Она думала, разумеется, что поступок Йёрана бесчестен и что он снова дал волю своей обычной гнусной злобности. А если в глубине ее души и шевелились совсем иные чувства, то это происходило совершенно помимо ее воли.

Но если человек превращен в коврик у дверей и всякий день его топчут ногами! В таком случае ничего нет удивительного, когда этот самый коврик начинает испытывать чувство некоторого удовлетворения оттого, что тот, кто топчет его всех безжалостней и у кого

сапоги подбиты самыми острыми железными гвоздями, внезапно запнется и безо всякого для себя вреда шлепнется на пол.

И когда баронесса увидела, как муж ее нахмурил брови, как отказался от жаркого, которым всех обносила горничная, отказался с таким видом, будто это досадное происшествие вконец лишило его аппетита, она начала трястись от смеха, хотя лицо ее по-прежнему оставалось неподвижным.

Впоследствии она не раз спрашивала себя, что стало бы с ней самой и со старой тетушкой, с гувернанткой и всеми шестью девочками, если бы ее муж с грубым ругательством не вскочил вдруг со стула и не выбежал бы из комнаты? Сама же она ни секунды больше не смогла бы сохранить серьезность. Она поневоле была вынуждена расхохотаться, и то же самое сделалось с другими. Все они откинулись на спинки стульев, хохоча во всю мочь.

Они хохотали громко и до упаду, заглушая друг друга и в то же время совестясь своего смеха. Ну, не грешно ли насмехаться над тем, что отца семейства, супруга и хозяина дома так одурачили! Все они были смиренны и благодетельны и в высшей степени порицали самих себя. Но смех сам собой вырывался из глубины души, и сдержки они его, они бы задохнулись.

То был великий бунт. За несколько минут они сбросили с себя все, что тяготило и душило их. У них появилось чувство свободы и собственного превосходства, и они думали, что отныне никогда более не будут чувствовать себя такими угнетенными и запуганными, как прежде, хотя бы потому, что у них хватило духу осмеять порабитителя. Осмеянный, он утратил ореол своего ужасающего величия и стал таким же маленьким и заурядным человечком, как и они сами.

А баронесса, которая прежде всегда говорила о бароне Адриане как о лучшем из мужей, а о себе самой — как о счастливейшей из жен, баронесса, которая никогда не позволяла никому из посторонних, даже тетушке с гувернанткой, ни малейшего осуждения поступков своего супруга, теперь эта же самая баронесса дала зарок, что,

если когда-нибудь ей повстречается Йёран Лёвеншёльд, она постарается, сделав для него что-нибудь, отблагодарить его за это веселое мгновение.

Однако когда на другой же день цыганский барон был найден замерзшим в канаве на пасторском лугу и привезен в отчий дом в Хедебю окоченевший и неподвижный, баронесса палец о палец не ударила, чтобы проявить приязнь, которую она ощутила к нему в недолгие минуты мимолетной веселости. Она предоставила мужу распоряжаться погребальным шествием и похоронами по его собственному усмотрению и без малейшего вмешательства с ее стороны.

Барон Адриан взял на себя все издержки — заказал саван и гроб; он велел также открыть фамильный склеп. Он уговорился с пастором из Бру и со всем его причтом о дне похорон и сам, в сопровождении нескольких слуг, поехал на кладбище, чтобы присутствовать на погребении.

Но больше он ничего не сделал для брата.

Он не позволил завесить окна в Хедебю белыми простынями, не дал набросать на дорогу еловые ветки, а баронессе с дочерьми — одеться в траур. Он не пригласил никого из приходской знати проводить покойника в последний путь. Он не заказал кутью и не справил поминки в своем доме.

Во всем приходе Бру не нашлось бы ни одного человека, который не радовался бы смерти Йёрана Лёвеншёльда. Больше он не станет приставать к знатым господам на ярмарке в Бру, не станет хлопать их по плечу, тыкать им и панибратствовать с ними. А все только потому, что когда-то он был их однокашником в карлстадской школе. Каждому приятно было думать, что никогда не взбрет ему в голову выменять свою серебряную луковицу, всю во вмятинах, на первостатейные золотые часы или же старую клячу — на великолепную кобылу-четырёхлетку. Разумеется, хорошо, что Йёрана не стало. Покуда он был жив, никогда нельзя было заранее поручиться, что ему вздумается потребовать и к какой мести он прибегнет, если ему откажут в его домогательствах.

Но как бы то ни было, все прихожане из Бру полагали, что барон Адриан вел себя как человек, одержимый чрезмерной жадной мести. Говорили, что раз уж Йёран лишился жизни, то брату его следовало бы забыть старые распри и проводить Йёрана в могилу достойно, со всеми почестями.

По правде говоря, баронессу порицали, пожалуй, еще сильнее, чем ее супруга, потому что от женщины ожидали большего милосердия. Подумать только, даже цветка на крышку гроба не положила! Ведь все в округе знали, что огромная калла, красовавшаяся в столовой зале имения Хедебю, цвела как раз в эту пору. А ведь цветок каллы как нельзя более подобает покойнику, когда он отправляется в последний путь. Но и цветка пожалела! Что тут скажешь! Поистине бесчеловечно не поступиться для деверя даже такой малостью, как цветок каллы!

Многие также полагали, что жену барона Йёрана следовало бы известить о смерти ее мужа; и все удивлялись, как баронесса не напомнила об этом супругу. А уж девочке, самому любимому ребенку Йёрана Лёвеншёльда, ей бы, во всяком случае, следовало сшить траурное платье. Неужто баронесса так зависит от мужа и так робеет перед ним, что не осмелилась даже взять в дом швею и справиться осиротевшему ребенку приличествующие случаю платья?

Баронесса из Хедебю слыла по всей округе дамой весьма разумной, которая, конечно, знала правила приличия. И ей бы следовало счесть своим долгом поправить мужа, если он заблуждался. Но ничего такого на сей раз никто не заметил.

Грязную цыганскую кибитку вместе со всеми узлами и тряпьем, лудильным инструментом, бочонком водки и колодами засаленных игральных карт, а также цыганскую лошаденку, которая оставалась у трупа хозяина, покуда не явились люди и не откопали мертвеца из сугроба, доставили в Хедебю. Кибитку водворили в одну из пристроек, а лошаденку — в конюшню. Лошади задали корма, и на том вся забота об этой доле наследства цыганского барона кончилась. Но на другой день

после похорон барон Адриан приказал подковать лошадь и перевести ее на особый рацион, из чего можно было заключить, что он собрался послать ее в дальнюю дорогу.

В то время в Хедебю служил управитель, который родился и вырос в одном из приходов северного Вермланда, где обычно зимовали бродячие цыгане. Знаком ему был и тот цыганский род, с которым породнился, женившись, барон Йёран; знал управитель также, где отыскать родичей Йёрана. Управителю-то барон Адриан и поручил отвести к жене барона Йёрана соловую клячонку вместе с кибиткой и всем скарбом, а также известить ее о смерти мужа.

Но в намерения барона входило отослать на север не только кибитку, не только лудильный инструмент, колоды игральных карт и прочее тряпье. Нет, управитель должен был увезти с собой и маленькую племянницу барона Адриана. Она не имела никакого права оставаться в Хедебю. Ее следовало отослать назад к тем людям, которые были ее соплеменниками.

Итак, на другой день после похорон барон Адриан предупредил жену о том, что завтра утром девочку следует отослать домой. Он распорядился также, чтобы на племянницу надели те самые лохмотья, в которых ее привезли в Хедебю, и добавил, что полагает, будто баронесса должна быть довольна тем, что в доме и духу этого цыганского отродья не будет.

Баронесса не ответила мужу ни слова. Не протестовала она и против того, что ребенка увезут из Хедебю. Она молча поднялась и направилась в детскую, чтобы передать распоряжение няньке.

Однако весь этот день в поведении баронессы заметно было какое-то небывалое волнение. Она не могла усидеть на месте и бралась то за одно дело, то за другое. Губы ее непрестанно шевелились, хотя и не издавали ни звука.

Чаще обычного появлялась она в тот день в детской, где все так же безмолвно опускалась на стул, не замечая никого, кроме чужого ребенка. До тех пор, пока в детской было хоть немного светло, девочка стояла

у окна, вглядываясь в глубь аллеи. Она стояла так все эти дни, с того самого времени, как приехала в Хедебю. Она стояла у окна, поджидая, что отец приедет и увезет ее с собой. Она дичилась и чуждалась людей и не очень тянулась играть с другими детьми. Уж конечно, она не очень огорчится, если ее отошлют домой.

Когда настала ночь, баронесса, лежа рядом с мужем на широкой супружеской кровати, почувствовала, что ею овладело прежнее беспокойство. Не будучи в состоянии уснуть, она сказала себе, что теперь она дошла до крайности, теперь настал час, когда она должна встать против мужа. То, что он задумал, свершиться не должно.

Баронесса ничуть не сомневалась в том, что барон Йёран загнал лошадь в канаву и замерз умышленно, ради того, чтобы дочь его смогла остаться в Хедебю. Он любил ее и страстно желал, чтобы девочка выросла в добропорядочном доме и вышла в люди. Он мечтал, что дочь его будет воспитана, как подобает девице ее сословия, что она выйдет замуж за знатного господина, что она не станет какой-нибудь там цыганкой, которая, бранясь и горлая, колесит по округе в телеге с целой ордой бранчливых и горластых цыганят.

Чтобы достичь этого, он заплатил жизнью. Он-то понимал, что жертва обойдется ему дорого, но не постоял за ценой и расплатился сполна.

А вот понимал ли ее муж, чего желал его брат? Может статься, и понимал, но ему доставляло сейчас удовольствие отказывать брату в том, что тот пожелал купить ценой собственной жизни. И она, жена барона Адриана, должна воспротивиться этому.

Она должна найти такие слова, чтобы ее послушались. Ей нужно говорить властно, как полноправной хозяйке. Он не должен отсылать племянницу. Это было бы несправедливо. Она понимала, что такой поступок непременно навлек бы на них жестокую кару. До сих пор она, правда, молчала. Она позволила ему устроить похороны так, как он счел нужным. Она берегла силы. Мертвому она уже все равно ничем помочь не могла.

Баронесса вспомнила о том, как в последний раз видела деверя, когда он, согнувшись в санях, съезжал со двора. Она пыталась вообразить себе его мрачные предсмертные думы, когда он колесил в пургу по округе. Нечего и думать, что такой человек обретет покой в могиле, ежели ему откажут в том, чего он желал добыть ценой такой жертвы. Уж здесь-то, в Хедебю, хорошо знали, что мертвые могут отомстить за себя.

Она должна заговорить. Нельзя допустить, чтобы отказались исполнить желание покойника. Каков бы ни был он при жизни, теперь он завоевал себе право приказывать.

Она сжала кулаки и ударила себя, карая за трусость. Почему она не разбудила мужа? Почему не заговорила с ним?

Она с самого начала подозревала, что у мужа на уме, и приняла кое-какие меры предосторожности. В тот самый день, когда барона Йёрана нашли замерзшим в канаве, она, взяв с собой его маленькую дочь, наведлась в одну бедную семью, в жалкой лачуге которой болело корью трое детей. Собственные дочери баронессы уже перенесли эту болезнь, а хворал ли корью чужой ребенок, она не знала; однако надеялась, что еще не хворал. С тех пор она ежедневно наблюдала девочку, выискивая признаки болезни. Но их пока еще не было. Вообще-то баронесса с прежних времен знала, что болезнь эта не обнаруживается ранее одиннадцати суток, а теперь шли только восьмые.

Она все оттягивала разговор с мужем, оттягивала с минуты на минуту, с часу на час. Она начала было уже опасаться, что вообще не соберется с духом заговорить.

Но как же ее тогда назвать? Почему она так жалко труслива? Ну что могло бы с ней случиться, если бы она вдруг заговорила? Не ударил бы ее муж, в конце концов! Об этом не могло быть и речи!

Но, увы, у него была привычка смотреть мимо нее, совершенно не обращая внимания на то, что она говорит. Беседовать с ним было для нее все равно, что читать проповедь глыбе льда.

И еще одна забота тяготила баронессу, причиняя ей крайнее беспокойство. Случилось так, что в прошлом году, на званом вечере в Карлстаде, муж ее встретился с дальней родственницей, Шарлоттой Лёвеншёльд, которая была замужем за коммерции советником Шагерстрёмом. Шарлотта и барон Адриан были старинные знакомые — с той самой поры, когда Шарлотта была помолвлена с его кузеном Карлом-Артуром Экенстедтом; однажды она даже приезжала в Хедебю в обществе своего жениха. Так вот, на том вечере между Шарлоттой и бароном Адрианом завязалась доверительная беседа. Барон посетовал, что у него куча дочерей, а сына нет. Тогда Шарлотта спросила, не пожелает ли он отдать ей на воспитание одну из дочерей, потому что у нее в доме вовсе нет детей. Была у нее, правда, одна-единственная дочка, да и та умерла.

Естественно, что барон более чем охотно откликнулся на предложение Шарлотты; тогда Шарлотта сказала, что она, со своей стороны, переговорит с мужем и узнает, как он отнесется к ее плану. Вскоре после этой встречи в имение Хедебю пришло послание: в самом ли деле барон с баронессой Лёвеншёльд согласны отдать одну из своих дочерей господам Шагерстрём, дабы те воспитали ее как родное дитя? Барон немедленно ответил согласием. Он даже не потрудился осведомиться, каково мнение жены на сей предмет. Ему казалось яснее ясного, что подобное предложение, исходившее от самого богатого семейства в Вермланде, не могло быть отвергнуто. Девочка росла бы как принцесса, и на долю тех, кто вступал в такие близкие отношения с могущественным человеком, пришлось бы неисчислимые выгоды.

Баронесса не стала открыто перечить мужу, но попыталась выиграть время. Шарлотта выразила желание приехать в Хедебю, чтобы выбрать из девочек ту, кто ей больше других придется по душе; но поездка ее в Хедебю вот уже скоро полгода все откладывалась. И промедление по большей части зависело от баронессы. Поначалу она написала Шарлотте, что материя на платъица у нее как раз в работе, а ей бы хотелось, чтоб материя

была бы уже соткана и платьица сшиты, и когда Шарлотта приедет, чтобы посмотреть ее дочерей, у них будет во что принарядиться. Когда же Шарлотта захотела приехать в другой раз, дети хворали корью, так что и тут визит пришлось отложить. А теперь о Шарлотте уже давно не было ни слуху ни духу, и баронесса втайне начала надеяться, что богатая дама, у которой столько хлопот по хозяйству в собственном огромном доме, должно быть, и думать забыла о ее дочерях.

Но когда случилось так, что неожиданно умер барон Йёран, баронесса написала Шарлотте и просила ее приехать. Теперь, должно быть, она решилась отдать одну из своих дочерей Шарлотте. То была жертва, которую она приносила, уступая воле своего супруга. Она думала, что если она на сей раз пойдет ему навстречу, то сможет потребовать, чтобы чужой ребенок остался у них в доме.

Но жертва ее оказалась напрасной. Муж опередил ее. Ребенок так и не захворал корью. Шарлотта так и не приехала, а через несколько часов девочку увезут.

Баронесса лежала в кровати, высчитывая, сколько потребуется времени, чтобы доехать от Озерной Дачи до Хедебю. Письмо ее, вероятно, только что успело прийти. А еще эти лютые холода, которые настали с той поры, как утихли вьюги! И думать нечего, что Шарлотта пустится в дорогу в такую стужу! Всю ночь напролет баронесса слышала, как трещал от мороза старый дом, будто кто-то постукивал по толстым стенам тяжелой дубиной.

Баронесса слышала, как на кухне зашевелились. Кухарка затопила плиту и загремела чугунами. Из детской также послышались какие-то слабые звуки. Видимо, встала нянька, чтобы одеть цыганочку в ее старые лохмотья.

Баронесса несколько раз произнесла имя мужа, произнесла не очень громко, но достаточно внятно. Он слегка шевельнулся, но продолжал спать. Если бы он проснулся, она, быть может, заговорила бы с ним, однако попытаться еще раз разбудить его было выше ее сил.

Тут она услышала, как отворилась кухонная дверь. На дворе, должно быть, стояла лютая стужа. Дверь, повертываясь на петлях, заскрипела на весь дом. Баронесса поняла, что явился управитель, который должен был увезти ребенка.

Вскоре горничная, чуть приотворив дверь спальни, спросила, изволили ли проснуться барон либо баронесса.

Барон Адриан тотчас же сел в кровати и осведомился, в чем дело.

— Управитель пришел, — сказала девушка. — Он просил меня пойти наверх и сказать вам, господин барон, что нынче так студено, что он боится выехать из дому. Он говорит, что у него кожа на руках слезла, когда он взялся за замок в конюшне. Дома у него замерзли ночью хлеб и масло, а наледь в ведре была такая крепкая, что пришлось разбивать ее топором. А еще он говорит, что раз здесь такая стужа, то на севере, куда ему ехать, верно, еще хуже.

— Давай сюда огарок, — приказал барон Адриан горничной, — да зажги свечку в спальней.

Девушка вошла в комнату и витой восковой свечой зажгла сальную свечку на ночном столике. Барон встал с кровати, накинул шлафрок и подошел к окну взглянуть на градусник. Все окно, точно лохматой звериной шкурой, было затянуто сплошным слоем инея; только перед самым градусником виднелась еще узенькая полоска прозрачного стекла. Барон взглянул на столбик ртути, но он сполз вниз, совершенно исчезнув в шарике.

Барон поводит свечой вверх и вниз перед градусником.

— Видимо, более сорока градусов холода, — пробормотал он.

— Управитель говорит, что сам-то он, верно, выдюжил бы, раз уж вы, господин барон, беспременно желаете отделаться от этой кибитки, — сказала горничная, — но брать с собою в кибитку дитё в такую стужу он боится.

— Пусть убирается ко всем чертям! Так и скажи ему! — рявкнул барон и, снова улегшись, укрылся с головой одеялом.

Девушка не двинулась с места, не зная, как истолковать этот ответ, но баронесса тут же пояснила ей слова мужа.

— Господин барон велит тебе сказать управителю, что ему нет надобности ехать, пока не уймутся морозы. Можешь также подняться в детскую и сказать Марте, что ребенок не поедет.

Голос баронессы звучал столь же невозмутимо, как и всегда. Ничто не выдавало в нем того удивительного облегчения, которое она вдруг испытала.

Холода держались по-прежнему. Ни в этот день, ни на следующий нечего было и думать отсылать ребенка. Но на третий день к вечеру погода переменилась. И барон тотчас же приказал, чтобы на другое же утро и духу девчонки в доме не было.

Баронесса не перечила мужу прямо, однако несколько раз намекнула на то, что все эти дни, да и сегодня тоже, ребенок выглядел как-то странно. Она-де боится, не захворала ли малютка.

Барон Адриан холодно взглянул на жену.

— Все равно это бесполезно, — сказал он. — Этот ребенок не может оставаться в моем доме. По-твоему, я в таком восторге от девчонок, что только и мечтаю посадить себе на шею еще одну?

Но когда после ужина баронесса пошла в детскую, чтобы взглянуть на детей, она увидела, что чужая девочка лежит вся красная, в жару и кашляет не переставая.

— Знаете, госпожа баронесса, видать, у ней корь, — сказала нянька.

И баронессе пришлось согласиться, что, когда ее дочери заразились осенью корью, болезнь начиналась у них примерно так же.

— Но это было бы просто ужасно, — сказала баронесса. — Барон как раз распорядился, чтобы завтра спозаранку ее отослали домой к родным.

Поразмыслив, она послала няньку к мужу: пусть зайдет на минутку в детскую и взглянет, что приключилось с чужим ребенком.

Барон явился, и хотя он не очень-то смыслил в болезнях, однако и ему пришлось признать, что с племянницей неладно. Он, разумеется, ничуть не усомнился в том, что девочка схватила корь. Ведь по всему было видно, что от этой цыганочки никак не избавиться.

И в самом деле, это была корь. Подозревал ли барон или нет, что без баронессы тут не обошлось и что это она заразила ребенка неопасной болезнью, но он вынужден был все-таки еще на целую неделю оставить малютку в своем доме. Однако он впал в отчаянное уныние. Миру в доме грозила опасность, но, к счастью, в Хедебю вскоре пришло письмо, которое помогло барону избавиться от дурного настроения. Письмо было от Шарлотты Шагерстрём, которая извещала, что она пустится в дорогу в середине марта, если санный путь еще продержится, а ожидать ее в Хедебю можно числа шестнадцатого или семнадцатого.

Каждый день барон являлся в детскую и проверял, лежит ли еще чужая девочка в постели, судя по этому, он и решал, как ему быть. А баронессе, которая видела, что ребенок легко перенес болезнь и кожа уже перестала шелушиться, стоило огромных усилий удерживать малютку в кровати. Нянька уже начала было поговаривать, что больная давно могла бы одеться и подняться наверх. Баронессе с трудом удалось убедить ее, что ребенку следует полежать в постели еще несколько дней.

Невозможно описать, какая тяжесть спала с души баронессы, когда шестнадцатого марта после обеда она увидела, что сани Шарлотты въезжают во двор. Хозяйка дома так радушно приняла путницу, так обнимала ее и целовала, что та, казалось, была несколько удивлена. Ведь баронесса постоянно оттягивала ее приезд, и Шарлотта стала чуть подозрительна: ей думалось, будто баронесса видит в ней воровку, которая явилась, чтобы похитить драгоценнейшее сокровище ее дома.

Пять маленьких фрёкен Лёвеншёльд были так тщательно умыты, что их круглые румяные мордочки лоснились от мыла. Волосы им причесали гладко, волосок к волоску; потом заплели маленькие тугие косички, которые колечками торчали над ушками. На них надели домотканые, сшитые дома шерстяные платица и крепкие самодельные башмачки. Во взгляде баронессы сквозила истинно материнская гордость, когда она ввела дочерей в гостиную. Ей казалось, что это самые прелестные маленькие девочки, каких только можно найти в нашем полушарии.

Они были здоровы, хорошо сложены и благонравны, баронесса была в этом убеждена и потому-то не без светлых надежд вышла в гостиную к Шарлотте в сопровождении вереницы малышей.

Шарлотта быстро оглядела всех девочек, одну за другой, и ничем не выдала своих чувств. Сияя дружелюбием и весельем, она протянула всем фрёкен Лёвеншёльд руку и спросила каждую, как ее зовут и сколько ей лет.

Но, быть может, она все-таки не выказала того подлинного восторга, какого ожидала баронесса.

Быть может, Шарлотте вспомнилась тонкая и одухотворенная красота полковницы Экенстедт, быть может, она подумала о сестре Марии-Луизе, а быть может, и о своем собственном крошечном ребенке... И потому-то ей трудно было вообразить, что эти маленькие девочки тоже носили имя Лёвеншёльд.

Шарлотта тотчас же увидела, что все они добры, здоровы и веселого нрава и что из них непременно выйдут превосходнейшие женщины и хозяйки дома, такие же, как и их мать, на которую они походили как две капли воды. Подобно баронессе, девочки были рыженькие, невысоки ростом, чуть пухленькие; ручки у них были широкие, с короткими пальчиками. Все пятеро были на один лад — круглощечкие, курносенькие и голубоглазые. А когда вырастут и сравняются ростом, то их и вовсе друг от друга не отличишь.

Шарлотта, которой в ту пору исполнилось тридцать лет, была еще в расцвете красоты. Баронесса да-

же сочла ее куда красивее, нежели в те времена, когда та была на выданье и приезжала в Хедебю. К тому же теперь она была элегантна и повидала свет, и, быть может, у баронессы появилось легкое ощущение того, что дочери ее не совсем будут под стать Шарлотте в ее теперешнем обществе. Но эту мысль она отогнала прочь. Она была убеждена в том, что при любом положении в жизни ее дочери будут держать себя пристойно и просто.

Шарлотта, в свою очередь, думала почти то же самое. Она спрашивала себя, сможет ли она свыкнуться с тем, что бок о бок с ней в доме будет жить маленькая крестьяночка, некрасивая и неуклюжая, будь она даже истинным образцом добродетели.

Шарлотта вовсе не была капризна или чванлива. Боже сохрани, в этом-то уж никто бы не мог ее упрекнуть. И она умела ценить людей по достоинству. Она сказала себе, что, взяв на воспитание одну из этих маленьких добрых рыженьких девочек и внушив ей любовь к себе, приобретет друга, который ей никогда не изменит. Никогда не будет такая девочка эгоисткой и останется со своей приемной матерью, утешая ее в старости; ведь замуж она, такая дурнушка, разумеется, никогда не выйдет.

Шарлотта тут же призвала на помощь разум и поздравила себя с тем, что в приемышах у нее будет дурнушка. Какая милость Провидения! Если бы Шарлотте можно было распоряжаться самой, то она, верно, облюбовала бы себе какую-нибудь красоточку. А та стала бы своевольной и капризной и думала бы лишь о себе самой.

Шарлотта была не из тех, кому трудно на короткую ногу сойтись со взрослыми или же с детьми; через несколько мгновений она уже совершенно покорила всех пятерых фрёкен Лёвеншёльд. Десять блекло-голубых глаз смотрели ей в рот, ловя каждое ее слово, десять маленьких ручонок так и норовили приютиться в ее руке, лишь только им удавалось дотянуться до нее. Шарлотта почувствовала, что любая из этих девочек, какую она соблаговолила бы избрать себе в воспитанницы, безропотно и не раздумывая последовала бы за ней.

Та доверчивая манера, с которой дети отвечали на ее вопросы, очень понравилась Шарлотте; они произвели на нее наилучшее впечатление. Они и в самом деле были очень милы и веселы.

Все было точь-в-точь так, как и должно было быть. Барон Адриан весь вечер просидел в гостиной, изо всех сил стараясь быть обходительным с гостьей, а баронесса пыталась казаться веселой. Пыталась — поскольку дело клонилось к тому, что жертва ее будет принята.

Пять маленьких фрёкен отнюдь не были навязчивы, но они все время держались как можно ближе к Шарлотте, пожирали ее глазами, терпеливо ожидая, что она одарит их ласковым кивком или улыбкой.

Она радовалась этому поклонению, но, странное дело, она совершенно не чувствовала своего родства с ними.

Когда они сидели за ужином и перед гостьей по-прежнему маячили пять рыжеволосых головок и пять пар блекло-голубых глаз, неотрывно смотревших на нее, тайный ужас внезапно обуял Шарлотту — вдруг она взваливает на себя непосильное бремя, вдруг ей не выдержать! А вдруг придется отослать ребенка назад к родителям оттого лишь, что он так дурен собой! Хотя она и сочла свои опасения чрезмерно преувеличенными, но все же решила на всякий случай быть поосмотрительнее. Она не станет делать выбор в первый же вечер, а подождет до завтрашнего дня.

Как раз когда ужин в семействе барона подходил к концу, в одной из соседних комнат раздался взрыв громкого хохота, а за ним последовал другой, а потом еще и еще. Шарлотта несколько удивилась, а баронесса поспешила объяснить, что барон Адриан перевел кухню из флигеля, где она находилась, когда Шарлотта в последний раз приезжала в Хедебю, в господский дом. Это было куда удобнее, хотя иногда оттуда в столовую и доносился шум. Но тут уж ничего не поделаешь!

Принялись во всех подробностях обсуждать это нововведение, а когда кончили ужинать, барон Адриан подал Шарлотте руку, чтобы показать гостье, как он все устроил и как распорядился в своем доме.

Сначала они прошли в буфетную, и барон объяснил ей, как он снес одну стенку здесь, а другую вывел там. Шарлотта слушала с интересом, она понимала в этих делах.

Покуда они стояли в буфетной, взрывы хохота из кухни раздавались все громче и громче; и тут уж нельзя было сладить с общим любопытством. Фрёкен Лёвеншёлд побежали вперед и, прежде чем кто-либо успел им помешать, широко распахнули кухонную дверь.

На большом кухонном столе стояла четырехлетняя девочка в одной рубашонке и лифчике, без юбки и без чулок. В ручонке она зажала хлыст, который ей смастерили из половника и кудели от прялки, а перед ней на полу стояли две прялки, которые она погоняла, прищелкивая языком и усердно щелкая хлыстом. Ясно было, что прялки эти изображали пару в упряжке.

Всякому было также ясно, что сцена эта изображала бешеную скачку лошадей на ярмарочной площади. Погоняемые окриками и ударами хлыста, лошади с ужасающей быстротой мчались вперед, а толпившийся вокруг народ поспешно бросался в стороны.

- Эй, пади, Пей Улса! Плоць с дологи, делевенстина!
- Вот кто не боится ни ленсмана, ни исплавника!
- Эй, дологу цыганскому балону!
- Эй, гей, гей, гей, нынче ялмалка в Блу!
- Эй, гей, гей, гей, холосо зить на свете!

Кухню сотрясали взрывы веселого хохота. Взгляды зрителей были прикованы к ребенку, который, разрумянясь и сверкая глазенками, стоял на кухонном столе.

Он так вошел в свою роль, что окружающим почти казалось, будто они видят, как золотистые кудри ребенка развеваются на ветру. Им казалось, будто кухонный стол мчится сквозь ярмарочную толпу, словно тряская и дребезжащая цыганская телега.

Ребенок стоял на столе, вытянувшись в струнку и разгорячась, полный задора и жизнерадостности. Все на кухне, начиная с экономки и кончая конюхом, были ошеломлены. Все побросали работу и неотступно следили за бешеной скачкой ребенка.

То же творилось и с теми, кто стоял в дверях буфетной. Они были точно околдованы. Им тоже виделось, будто ребенок стоял вовсе не на столе, а на высокой повозке. Им тоже виделась толпа народа, рассыпавшаяся по сторонам, и лошади с развевающимися гривами; во весь опор неслись они меж ярмарочными ларями и повозками.

Первым очнулся от этого волшебства барон Адриан. Еще прежде он уговорился с женой, чтобы при Шарлотте даже не упоминали об истории с его братом и чтобы цыганочка ни в коем случае не попадалась ей на глаза. Баронесса, как всегда, во всем согласилась с мужем, но добавила, что раз малютка еще не совсем оправилась после кори, то, разумеется, ее следует держать в детской. Теперь же барон Адриан решительно выступил вперед и затворил кухонную дверь. Затем он подал Шарлотте руку, чтобы увести ее назад в господские покои.

Но Шарлотта стояла неподвижно, будто вовсе не замечая предложенной ей руки.

— Что это за ребенок? — спросила она. — И что у него за лицо? Он, должно быть, из нашего рода!

Она крепко обхватила руку барона Адриана, и всем показалось, будто в голосе ее послышались слезы, когда она продолжала:

— Вы, кузен, должны сказать мне, не нашего ли рода эта девочка. Я чувствую, что она мне родня.

Не ответив, барон Адриан отвернулся от Шарлотты. Тогда супруга его пояснила:

— Это дочка Йёрана Лёвеншёльда. Она хворала ко-рю, а нянька без спросу пустила ее на кухню.

— Ты, кузина, верно, слышала о моем брате, цыганском бароне? — сурово спросил барон Адриан. — Так вот, мать девочки — цыганская девка.

Но Шарлотта словно во сне направилась прямо к кухонной двери, отворила ее и с распростертыми объятиями подошла к столу.

Цыганочка, которая, стоя на столе, уже играла в барышника, бросила на нее взгляд, и, должно быть, маленькая проказница увидела в Шарлотте что-то, явно ей понравившееся. Отшвырнув в сторону хлыст, она отчаянным прыжком кинулась в объятия Шарлотты.

Шарлотта крепко прижала ее к себе и поцеловала.
 — Возьму только тебя, — сказала она, — тебя, тебя, одну тебя!

То было спасение. Она облегченно вздохнула.

Безобразие, то ужасающее безобразие, отвращение к которому она пыталась превозмочь весь вечер, безобразие, в котором она старалась найти пользу и добродетель, — ну его со всеми его достоинствами, которые она отлично сознавала. Она не знала, что скажет на это барон и что скажет баронесса; но ведь это был тот самый ребенок, ради которого она выехала из дому.

Внезапно она попятилась. Сжав кулаки, к ней подступал барон Адриан; глаза его были налиты кровью. «Точь-в-точь бык, которому хочется поддеть меня на рога», — подумала Шарлотта.

Но тут меж нею и бароном встала баронесса; ее голос звучал, как всегда, спокойно и невозмутимо, но весьма настойчиво:

— Если ты возьмешь этого ребенка, Шарлотта, мы будем тебе благодарны всей душой, и я, и муж.

— Я — благодарен?! — презрительно смеясь, воскликнул барон.

А баронесса продолжала с необычайной теплотой в голосе:

— Да, я буду благодарна тебе за то, что мне не придется расстаться с одной из моих любимых дочурок! Адриан же будет перед тобой еще более в долгу за то, что ты помешала ему совершить поступок, в котором он потом раскаивался бы всю свою жизнь.

Быть может, правда, открывшаяся в словах жены, а быть может, просто-напросто удивление оттого, что она осмелилась восстать против него, заставили барона Адриана онеметь. Как бы то ни было, он повернулся и молча вышел из кухни.

ЯРМАРОЧНЫЙ АПОСТОЛ

Можно ли представить себе более сладостное пробуждение? Просыпаешься оттого, что слышишь, как

детские ножки мелкими шажками семенят вслед за горничной, которая входит утром в спальню затопить изразцовую печь. А что может быть приятнее на свете? Лежишь тихо-тихо, закрыв глаза, а потом чувствуешь, что крошечное созданище, ничуть не заботясь о произнесенном шепотом предостережении — не тревожить спящую, упрямо дергает одеяло, желая забраться к тебе в постель. А какой раздаётся радостный, ликующий крик, когда ты внезапно протягиваешь руки и помогаешь маленькой шалунье взобраться на кровать. Когда она потом обрушивается на тебя и еще холодными после утреннего умывания ручонками хлопает тебя по щекам, щиплет тебя, брыкается и целует! И остается лишь смеяться вместе с ней и вместе с ней ликовать; начинаешь лепетать на ломаном детском языке, тут же вспоминаешь множество каких-то нелепых ласкательных имен. А горничной и в самом деле вовсе незачем просить прощения за то, что она позволила ребенку войти вслед за нею. Все утро девочка только и делала, что приставала и просила, чтобы ее пустили к красивой даме, которую она видела вечером, и обещала вести себя тихо, как мышка, не болтать и не мешать.

Уходя из гостиной, горничная хочет увести с собой и ребенка, но об этом и речи быть не может. Малютка, которая, может статься, опасалась, что ее выпроводят, залезает под одеяло и притворяется спящей. Но лишь только дверь за горничной закрывается, девочка снова просыпается и начинает лепетать. Она рассказывает что-то о своем отце, но говорит быстро и невнятно, и Шарлотта не успевает ее понять. Но что из того! Одно лишь неотразимое очарование детского голоса пленяет Шарлотту.

Огонь уже ярко пылает в печи, когда снова открывается дверь и входит горничная с кофейным подносом в руках. За ней следом — хозяйка дома, маленькая и пухленькая баронесса, которая пришла осведомиться, как почивала гостя. Она разливает кофе, подает чашечку гостю, а заодно берет и себе, затем усаживается поближе к огню и начинает болтать.

Девочка затихает, но, боясь, что ее уведут, судорожно сжимает руки Шарлотты. Вскоре она и вправду засыпает, а совершенно покоренная ею Шарлотта лежит и разглядывает розовое личико девочки. Она смеется сама над собой. Эта маленькая цыганочка, которая умудрилась полюбить Шарлотту, сделала ее своей послушной рабой. Что касается баронессы, то она хотела сказать следующее: пусть Шарлотта и не думает о том, чтобы в ближайшие дни покинуть Хедебю. Отчасти из-за того, что сама баронесса, да и все прочие домочадцы от души желают, чтобы она осталась и скрасила бы их уединение. Отчасти из-за того, что Шарлотта должна дать ей, баронессе, время заказать девочке, прежде чем та уедет, приличествующий ей гардероб. Как-никак, она же фрёкен Лёвеншёльд, и ей необходимы несколько траурных платьиц и несколько перемен нижнего белья, чтобы она была не очень скудно экипирована, когда приедет на Озерную Дачу.

Ну, а разве это не ново и не трогательно, когда тебя по несколько раз на дню требует в детскую маленький тиран, который скучает по тебе? Дети, должно быть, обладают поразительным чутьем. А эта малышка тотчас подметила, что ты такая же заправская лошадица, как и она сама. И подметила, что никто, кроме тебя, не умеет так прекрасно бежать рысью в упряжке из перевернутых скамеечек для ног, никто не держит вожжи с таким истинным знанием конского норова, никто не бывает так послушен, когда она прищелкивает языком и кричит «тпру!». Ну, а не смешно и не печально ли это, что такой малый ребенок посвящает тебя в тайны кочевой цыганской жизни, играя в игру, в которой один стул называется Экебю*, а другой — Бьёрне*?! Разъезжать меж этими стульями и спрашивать, нет ли работы, встречать в ответ грубость и отказ?! А затем с величайшим знанием дела рассуждать о видах на заработок в том или ином месте?!

Но самое восхитительное, пожалуй, это все-таки видеть, как малютка внезапно отшвыривает вожжи, забывает об игре и, встав у окна, высматривает того, кто навсегда уехал от своего ребенка. Она стоит так

часами, безучастная ко всякого рода обещаниям и уговорам, вся в плену тоски по отцу. Слезы наворачиваются на глаза, когда видишь, как она стоит, прижавшись личиком к оконному стеклу и заслонившись от всех ручонками. И думаешь про себя, что какими бы недостатками ни обладал этот ребенок, все же он умеет любить. А что может быть важнее уверенности в этом?

Но, судя по тому, как изобретательна девочка, когда придумывает свои игры и проказы, она, должно быть, так же богато одарена и умом. И в самом деле, это ее заслуга, что дни в Хедебю не тянутся так томительно долго и однообразно, ибо неоспоримо то, что некая унылость царит над этим старинным поместьем.

А виною всему — один лишь барон Адриан. Он брюзлив, вечно всем и вся недоволен и удручает тем свое семейство, в котором, не будь угрюмого хозяина, было бы куда приятнее.

На другой день после приезда Шарлотты в Хедебю барон призвал к себе того самого управителя, который был своим человеком в кочевьях цыган в северных приходах Вермланда. Он приказал ему запрячь соловую клячонку Йёрана Лёвеншёльда и отправиться на север вместе с грязной цыганской кибиткой и всем ее содержимым. Прежде всего управитель должен был доставить это жалкое наследство вдове брата барона Адриана; затем он должен был сообщить ей, что муж ее, цыганский барон, замерз в канаве у проселочной дороги, а под конец сказать, что их дочку взяли на свое попечение родственники.

Через несколько дней нарочный вернулся, и барон Адриан рассказал Шарлотте, что, судя по всему, управителю показалось, будто мать ребенка была рада сбыть девчонку с рук. Вследствие чего он, барон Адриан, полагает, что Шарлотта может считать ее своей. Однако он советует еще некоторое время не предпринимать никаких мер, дабы в законном порядке утвердить свои права на ребенка. Все же это нищий ребенок с дурной наследственностью, и вполне может статься, что через какой-нибудь месяц Шарлотта сочтет себя вынужденной отослать девочку назад к матери.

Итак, во всем этом деле барон вел себя вполне учтиво. Впрочем, он не делал сколько-нибудь заметных усилий, чтобы обуздать свое недовольство. К счастью, он почти всегда появлялся лишь за столом. Но и тогда бывало не очень легко найти предмет для беседы, которую он не прерывал бы презрительным смехом или же язвительным замечанием.

Тому, кто сам бесконечно, несказанно счастлив в супружестве и, помимо того, обладает врожденной склонностью помогать другим и полюбовно все улаживать, трудно мириться с таким положением вещей и даже не сделать ни малейшей попытки вмешаться. Но на сей раз приходится сознаться в собственном бессилии. Слишком уж жестока была шутка, которую Йёран Лёвеншёльд сыграл со своим братом в их последнюю встречу. Барон Адриан не мог простить, что у него отняли мечту о мести, которую он так лелеял.

Но, чувствуя свою беспомощность в отношении барона Адриана, Шарлотта с тем большим рвением старается облегчить гнет, тяготеющий над его женой и малолетними дочерьми. При одной только мысли о том, что Шарлотта находится в их доме, несчастная баронесса, по-видимому, становится мужественнее и спокойнее. И мало-помалу Шарлотта добивается того, что за столом начинают звучать шутки и смех, а в сумерках у горящего камина — сказки и истории. Она затевает катание с гор на салазках, она приглашает баронессу с дочерьми в дальние санные прогулки на своих собственных лошадях, которые выстаиваются на конюшне. Она соблазняет баронессу сыграть несколько вещей Генделя и Баха на клавесине. А когда ей удалось выведать, что у всех пяти рыженьких малышей поистине приятные голосочки, она умудрилась так ободрить их, что они встали вокруг фортепьяно и под аккомпанемент баронессы запели: «Приди, весна, скорее, приди, веселый май!»

Меж тем настал день, когда наконец оказалось, что для цыганочки довольно нашито разных платиц, белья и юбочек, и баронесса не противится долее отъезду Шарлотты. Отъезд необходим еще и по другой

причине. С тех пор как Шарлотта приехала в Хедебю, все дни стояла великолепная, солнечная погода. Огромные снежные сугробы осели, а на дороге, которая ведет к церкви в Бру, кое-где показались проталины. Внизу же озеро Лёвен все еще было покрыто толстым и крепким слоем льда, но на его ледяной поверхности уже виднелась талая вода; следы же полозьев, которые еще совсем недавно длинными вереницами пересекали озеро во всех направлениях, исчезли. Шарлотта не могла дольше мешкать с отъездом. Она должна была уехать, куда еще был санный путь.

Накануне отъезда баронесса предложила Шарлотте прогуляться на кладбище в Бру и осмотреть фамильную гробницу, о которой столько говорили. Шарлотта тотчас же согласилась и сразу после обеда, который в Хедебю подавали в половине первого, они пустились в путь. Идти им было недалеко, но дорога в оттепель сделалась скользкой и трудной. Однако неудобство это легко искупалось удовольствием гулять на воле под яркими лучами солнца, приятностью ощущать, как теплый весенний воздух вновь овеивает щеки, радостью слышать звонкие трели первого жаворонка над еще заснеженными полями.

По дороге баронесса попыталась деликатно коснуться крайне щекотливой темы. Она завела разговор о Карле-Артуре Экенстедте. И хотя баронесса видела, что имя это словно бы заставило Шарлотту отшатнуться, она все же не отступалась от своего. Она пыталась возбудить сострадание в Шарлотте — Шарлотте, которая так богата и которой муж ни в чем не отказывает!

Шарлотта слегка пожалала плечами. Разумеется, это правда, мужа лучше, нежели у нее, и быть не может, но именно поэтому... Старая лесопилка Польхема все еще стоит на Озерной Даче. Шарлотта не хочет ничем рисковать. Целых четыре года не позволила она себе ни разу подумать о Карле-Артуре, тем более попытаться помочь ему. Она тотчас постаралась перевести разговор на другое.

И баронесса, как обычно, уступила. Но когда они уже подошли к могильному холму с большим каменным

саркофагом, она воспользовалась случаем и показала Шарлотте то место, где Мальвине Спаак удалось некогда опустить ужасный перстень в склеп, и при этом заметила:

— Ведь женщина, которая разъезжает теперь с Карлом-Артуром, должно быть, и есть дочь этой самой Мальвины Спаак?

— Да, разумеется, это она! — ответила Шарлотта. — Потому-то Карл-Артур и проникся к ней таким безграничным доверием. Но полно, не будем больше говорить об этих людях! Из-за них у меня и так было немало горестей.

Маленькая баронесса тотчас же послушалась. Но тут Шарлотта внезапно растрогалась. «Ах, вот как, — подумала она. — Я начинаю вести себя в точности как ее муж и не позволяю высказаться, как ей хочется».

— Я понимаю, у тебя что-то на сердце, и ты думаешь, что мне надо об этом узнать, — громко сказала Шарлотта.

И баронесса тотчас же заговорила. Прошлой осенью она побывала в Брубю, на ярмарке, что продолжается больше недели и куда стекаются тысячи людей. Переходя от ларя к ларю и покупая то одно, то другое, она вдруг услышала какой-то женский голос, затянувший псалом. И таким странным казалось это пение среди ярмарочного шума, что она невольно остановилась и прислушалась. Голос отнюдь не был красив, но песнь неслась с такой силой, что прямо-таки оглушала. Баронессе, которая вовсе не знала, кто эта певица, вскоре наскучило такое неблагозвучное пение, и она собралась было уже свернуть в другую сторону, но это оказалось не так-то легко.

На звуки этого ужасного пения со всех сторон стал сбегаться народ. Сбегались, громко смеясь, словно пение было вступлением к какому-то необыкновенно увлекательному ярмарочному увеселению. Баронесса, оказавшаяся посреди всей этой толкотни, не могла из нее выбраться; напротив, ее даже протолкнули вперед, так что неожиданно она очутилась прямо перед поющей. Баронесса увидела, что та

стоит на обыкновенной цыганской повозке с кучей серых от грязи узлов на дне. Сама женщина была дурна собой и тучна. Была ли она молода или стара — сказать было невозможно, поскольку женщина была одета в длинный салоп на вате, хотя и лаганный-перелатанный, но, уж конечно, очень теплый. На голову она накинула большую грубую шаль, повязанную крест-накрест и стянутую узлом на спине. Она походила на зеленщицу за своим ларем. У этой женщины не было заметно ни малейшего желания украсить свою внешность, стать привлекательнее.

Ей так и не дали допеть псалом до конца. Слушатели стали кричать, чтобы она бросила выть, а когда она не сразу послушалась, несколько проказников начали передразнивать ее пение. Тогда она тотчас же умолкла, повернулась спиной к толпе и уселась, скорчившись, среди узлов в повозке. Так она сидела тихонько, покачиваясь всем телом, и баронессе порой казалось, будто она вся дрожит не то от холода, не то от страха.

Меж тем, когда женщина замолчала, на повозку вспрыгнул какой-то мужчина и начал говорить; с той минуты баронесса забыла и думать о певице. У мужчины была длинная с проседью борода, и когда он сбросил с головы широкополую черную шляпу, баронесса заметила, что он почти лыс. Но она все равно сразу же увидела, что это Карл-Артур Экенстедт. Да, то был не кто иной, как он, хотя ужасающе худой и изнуренный. От былой его красоты не осталось и следа, но баронесса тотчас же узнала Карла-Артура по голосу и присущей ему манере опускать тяжелые веки. Кроме того, ведь ей было известно, что таким вот манером он разъезжает по округе и проповедует на ярмарках, да и повсюду, где только собирается народ.

— Но пусть Шарлотта не думает, — продолжала баронесса, — что Карл-Артур обращался к людям с какими-нибудь назидательными и серьезными речами. Начал он с нескольких изречений из Библии, а потом только и делал, что бранился. Казалось, с самого начала он был дико озлоблен. Он кричал и обвинял всех подряд. Он был в ярости оттого, что народ собрался

вокруг него единственно для того, чтобы похихотать. Затем он повернулся к какой-то крестьянке и стал поносить ее за то, что она слишком богато одета, а указав на какого-то мальчонку, стал корить его за то, что он слишком толст и румян. Совершенно непонятно, по какой причине напускался он на тех или иных людей в толпе; скорее всего, в душе его просто горел неугасимый гнев против всех и вся.

Он стоял, сжав кулаки, и с такой силой извергал слова, что они обрушивались на людей, будто буря с градом. И баронесса, разумеется, не стала бы отрицать, что он пользовался своего рода успехом. Вокруг него собралась куча народа, и каждое слово Карла-Артура вызывало хохот. Людям, казалось, было невдомек, что в его намерения вовсе не входило возбуждать своими речами всеобщее веселье.

Но для баронессы, которая знала его с давних пор, самым удивительным было слышать, как он изливал свою желчь на бедность — ту самую бедность, которую дотоле не уставал превозносить. А тут она увидела, как он показывал толпе заплаты на своем рубище и проклинал всех, кто был повинен в его нищете. Прежде всего жаловался он на своего отца и на сестер. Его мать умерла, и он должен был бы наследовать ей, и был бы теперь богачом, но отец и лицемерные, алчные и вороватые сестры незаконно лишили его доли наследства.

Когда баронесса рассказывала об этом, Шарлотта возразила:

— Быть того не может! Это не мог быть Карл-Артур!

— Но, дорогая моя. Он называл их всех по именам. Без сомнения, это был он!

— Помешался он, что ли?

— Нет, не помешался. В том, что он говорил, была какая-то крупница рассудка. Но я сказала бы, что он стал совсем другим человеком. От прежнего Карла-Артура ничего не осталось. Ну, а что ты скажешь на это? Ведь он похвалялся, что мог бы стать епископом, когда бы только пожелал. Во всей стране, дескать, нет никого, кто мог бы говорить такие проповеди, как он. Он-де

мог бы стать и архиепископом, если бы злые люди не погубили его. Можешь себе представить, как должен был веселиться народ, когда этот жалкий, изнуренный оборванец уверял, что мог бы стать епископом. Все смеялись просто до упаду, а у меня было одно-единственное желание — поскорее выбраться оттуда.

Баронесса на секунду прервала свой рассказ, чтобы взглянуть на Шарлотту. Та стояла, нахмутив брови и полуотвернувшись, будто ее поневоле заставили выслушать историю, которая, в сущности, нагнала на нее скуку.

— Остается добавить лишь немного, — со вздохом продолжала баронесса. — Я хочу только сказать, что когда Карл-Артур утверждал, будто он мог стать епископом Швеции, у женщины, сидевшей на дне повозки у его ног, вырвался легкий презрительный смешок. Он услышал этот смешок, и, вообрази, с этой минуты гнев его обратился против нее. Топнув ногой по доскам повозки, он спросил, как посмела она смеяться. Та, что повинна во всех его несчастьях, что разлучила его с невестой, с матерью и женой! Та, которая была причиной его отрешения; того, что он больше не пастор и не смеет говорить проповеди в церквах! Та, что сидела у него на шее, змея подколотная, каждодневно источающая яд на его раны! Та, которая не перестанет изводить его, покуда не вынудит ударить ее ножом!

Баронесса снова замолчала, словно желая взглянуть, не произвели ли впечатление хотя бы эти слова. Но Шарлотта уже отвернулась от нее. Ни словом, ни жестом не проявила она интереса к рассказу. Точно с отчаяния от такого равнодушия, баронесса заговорила с величайшей поспешностью:

— Когда он начал обвинять эту женщину, он выражался весьма высокопарно; ты ведь его знаешь. Но, видимо, ничто ее не трогало, потому что она долгое время сидела совершенно молча. А тут, должно быть, его угораздило сказать нечто, задевшее ее, как говорят, за живое, и она ему ответила. И тогда слово за слово они начали ругаться. Нет, у меня язык не поворачивается повторить, что они говорили друг другу! Это было про-

сто ужасно! Они касались самых интимных подробностей. Казалось, будто они готовы вцепиться друг в друга и затеять драку. Я и вправду испугалась, что мне придется увидеть это собственными глазами. Сама не знаю, как мне это удалось, но я протолкалась сквозь толпу, которая, не помышляя ни о чем ином, только смеялась, и вырвалась вон. Но с той поры, Шарлотта, эти горемыки несчастные нейдут у меня из головы. Они, верно, и поныне еще все так же кочуют в своей повозке. А отец его и сестры — живы, а ты, Шарлотта...

— Ничего не понимаю, — перебила ее Шарлотта. В голосе ее звучало недовольство, будто она желала сказать, что сочла весь этот рассказ сильно преувеличенным и даже вроде бы вымышленным. — Я видела Карла-Артура четыре года тому назад. Хотя он и был одет в сермягу, но выглядел переодетым принцем. И чтобы за четыре года он так опустился, стал так не похож на самого себя!

— Ну, а страдания, дорогая Шарлотта, подумай о его страданиях, подумай обо всем, что пришлось ему претерпеть! Подумай обо всех его неудачах, обманутых надеждах, унижениях! Подумай о том, каково ему жить с этой женщиной! Подумай о безнадежности, об упреках самому себе! Подумай о том, что ему, верно, пришлось вести такую же жизнь, как и моему деверю, цыганскому барону! А что, если он кончит тем, что убьет человека! Если ты когда-нибудь любила его...

— Если, — тихим голосом произнесла Шарлотта, — если я...

Неожиданно она быстро зашагала прочь. Не оглядываясь, миновала она кладбище и спустилась вниз, на дорогу, ведущую в Хедебю. Она закусила губу, чтобы не закричать. Она думала, что навсегда разделалась с этим человеком, а теперь он появляется снова, несчастный, пропащий человек, домогающийся ее милосердия своим падением, своей ужасной, горькой судьбой.

Почти весь обратный путь до самого Хедебю дамы шли врозь: Шарлотта чуть-чуть впереди, а ее гостеприимная хозяйка — на несколько шагов сзади. Ни одна из них не произнесла ни слова.

Но в самом начале аллеи, ведущей к дому, Шарлотта остановилась и подождала баронессу. Улыбнувшись грустной улыбкой, она покачала головой, но заговорила совсем не о том, о чем они только что беседовали.

— Знаешь, — с несколько наигранной веселостью в голосе сказала она, — пожалуй, я уходила не более как на час, а уже радехонька, что возвращаюсь назад. Можешь понять теперь, какую власть забрала надо мной эта нищая цыганочка. Я уже по-настоящему скучаю без моей девочки.

И пока они брели по аллее, Шарлотта поглядывала на окошко в детской, следя, не покажется ли там тесно прижатое к оконному стеклу маленькое личико. Войдя во двор, она так и ждала, что вот-вот широко распахнется дверь в сени и оттуда выбежит ребенок и, шлепая по лужам и талому снегу, ринется прямо к ней.

Но ничего подобного не случилось. Зато к возвращавшимся домой дамам уже спешил навстречу не кто иной, как сам барон Адриан. На бароне была шуба волчьего меха, подпоясанная в несколько рядов длинным разноцветным кушаком. На ногах у него дорожные сапоги, такие высокие и широкие, что каждый невольно подумал бы, уж не скроены ли они на каролинский манер, по образцу огромных ботфортов на портрете предка барона Адриана. Он явно собрался в путь и шел им навстречу, чтобы объяснить причину своего отъезда.

Баронесса тотчас же испугалась, не случилось ли какой беды в их отсутствие, и Шарлотта услышала, как она вздохнула:

— Ох, ох! Что там еще стряслось?

Между тем, кажется, ничего особо неприятного не случилось, скорее можно заподозрить обратное, потому что барон Адриан разом стряхнул с себя хмурь и стал весел и обходителен.

— А у меня новости, сейчас узнаете! — сказал он. — Прошло, пожалуй, с полчаса как вы ушли, когда к крыльцу подкатила цыганская повозка. Она была, как водится, набита грязными узлами, а на них сидели мужчина с женщиной соответствующего вида. Женщина осталась в санях, а мужчина вылез оттуда и вскоре при-

шел ко мне в кабинет. И за каким, по-вашему, делом он ко мне пожаловал? Да всего-навсего потребовать для моей досточтимой невестки денежное возмещение за то, что она позволяет нам взять опеку над ее ребенком.

— Вон оно что! — воскликнула Шарлотта. — Впрочем, этого и следовало ожидать!

— Да, разумеется, следовало, — согласился барон Адриан. — Но самое удивительное вовсе не в этом. Человек, который приехал поговорить со мной, был дурно одет и выглядел так, как и положено этакому сброду, и сперва я принял его за обыкновенного бродягу-цыгана. Однако в его голосе что-то показалось мне знакомым, и покуда он говорил со мной, я все ломал голову над тем, где я мог встречаться с ним раньше. Да и вел-то он себя, впрочем, не совсем так, как в обычае у людей такого сорта.

— О, боже мой!

— Ты, кузина Шарлотта, я вижу, догадываешься уже, кто это был. Но я-то тугодум и не сразу понял, кто он такой. Я перебирал в памяти все эти цыганские физиономии, которые обычно видишь на ярмарке в Бру. А тем временем ругал его на чем свет стоит за то, что он явился с таким бесстыдным домогательством. Я не поспешил ни на брань, ни на проклятия, потому что такие люди только это и понимают. Будь это обычный бродяга, он бы смолчал и стерпел мою ругань: ведь они все же немного почитают нас, господ. А этот за словом в карман не лез и выложил мне все, что обо мне говорят. Мне пришлось выслушать, что я подло обошелся со своим братом, что мне следовало бы пригласить на похороны невестку, и еще много всего в том же духе. Я ударил кулаком по столу и велел ему убраться, но толку не было.

— Вы, кузен, говорили ему о том, что...

— Ты, Шарлотта, очевидно, имеешь в виду, сообщил ли я ему, что ребенка берет себе богатая фру Шагерстрём? Нет, кузина, тут я поостерегся. Это только умножило бы притязания Карла-Артура. Между тем мой гость не унимался и честил меня по-прежнему, так, будто это доставляло ему особенное удовольствие. И когда

ему удалось настолько разозлить меня, что я готов был выбросить его за дверь, он пустил в ход последний козырь. Нимало не испугавшись, он напоследок заявил, что, если я не желаю заплатить за девчонку, так она у меня и не останется.

Шарлотта слушала со все возрастающим страхом. Возвращаясь в Хедебю с кладбища, она твердо решила, что ничего не могла, да и не смела сделать для Карла-Артура. Так неужели теперь снова начнется ее борьба с самой собой?

— Но лишь только он захлопнул дверь, — продолжал свой рассказ барон, — меня будто осенило. Ведь я имел честь говорить со своим кузеном Карлом-Артуром Экенстедтом. Он, безусловно, немало времени проводил вместе с моим братом, да и разъезжал он также в цыганской повозке! А зимой он, верно, живет на севере, там, где обретается весь этот беспутный сброд. Совершенно естественно, что он взялся вымогать деньги в пользу этой цыганки, на которой угораздило жениться моего брата.

— Ну, а когда вы, кузен, узнали его, неужели вы позволили ему уехать?

— Да нет же; поняв, кто это был, я, разумеется, захотел потолковать с ним. Я выбежал на крыльцо, но он уже успел сесть в сани и съезжал со двора. Я крикнул ему изо всех сил: «Карл-Артур!», но это не возымело ни малейшего действия.

— А теперь, кузен, вы собираетесь нагнать его?

— Да, собираюсь. Видишь ли, кузина, как дело вышло. Отъехав довольно далеко по аллее, Карл-Артур внезапно осадил лошадь. Там как раз шла наша нянька со всеми детьми, надумав, видно, пойти вам навстречу. Женщина, сидевшая в повозке, тотчас узнала мою племянницу, я слышал, как она окликнула ее. Но когда ребенок подбежал к ней, она высунулась, подхватила девочку и втащила ее в сани. Карл-Артур хлестнул кнутом, лошадь понеслась. И вот таким-то манером, кузина, они, можно сказать, прямо на глазах у меня увезли ребенка.

— Как, моей девочки нет?

— А я стоял, как беспомощный дурак! Я не мог нагнать их. Ведь все наши лошади в дальнем лесу, дрова возят.

— Ну, а мои?!

— Конечно же, кузина, я тотчас вспомнил, что есть еще и эти лошади, и поскольку ты, кузина, в этом деле лицо заинтересованное ничуть не менее, чем я, то я и позволил себе приказать кучеру заложить лошадей. Я как раз поджидал его, когда увидел, что вы с Амелией идете домой. Тебе, кузина, вовсе нет надобности тревожиться. Ребенок вскоре снова будет здесь. Ну, наконец-то! Вот и лошади!

Он уже хотел подбежать к саням, но Шарлотта удержала его за рукав.

— Пойдите, кузен Адриан! Нельзя ли мне поехать с вами?

Лицо барона Адриана побагровело. Но с прямой откровенностью, которая отличала его в дни молодости, он повернулся к Шарлотте:

— Тебе, кузина Шарлотта, нечего бояться. Я верну ребенка, даже если это будет стоить мне жизни! Я ходил тут, черт побери, целую неделю и мучился как проклятый! Должен же я отплатить тебе, кузина, за то, что ты помешала мне отослать эту бедную девочку.

— Ах, кузен Адриан, — сказала Шарлотта. — Не из-за того вовсе хочу я ехать. Но такая уж я — не верю даже самому дурному, что говорят о людях. Только теперь, когда он украл мою маленькую девочку, я поняла, как низко пал Карл-Артур. Возьмите меня, кузен, с собой, мне необходимо поговорить с ним!

ОТЪЕЗД...

Между тем нагнать беглецов оказалось вовсе не так легко, как полагал барон Адриан. Отчасти оттого, что они намного опередили своих преследователей, отчасти оттого, что санный путь, как обнаружилось, был много хуже, нежели они ожидали. Великолепным лошадям Шарлотты приходилось напрягать все свои силы; там, где дорога была в проталинах, они не могли

тащить тяжелые сани иначе, как шагом. Шарлотте казалось, будто она прикована к месту, и она с досадой не отрывала глаз от узких следов цыганских саней, которые могли объезжать проталины по самой малой полоске снега на обочине. Порой даже они давали крюку, объезжая их по еще заснеженным полям.

Но чем больше они удалялись от широкой равнины возле церкви к Бру, тем лучше становился санный путь, а к Шарлотте постепенно возвращалась надежда вскоре вернуть свою приемную дочку. Немало подбадривало ее и то, что барон Адриан и она неожиданно стали друзьями. Она и сама толком не знала, как это случилось. Должно быть, каждый из них со своей стороны обнаружил, что другой благороден и чистосердечен, быть может, чуть безрассуден, но зато человек замечательный, и общаться с таким — просто одно удовольствие. Барон даже сказал ей: он рад, что Шарлотта не уехала из Хедебю, прежде чем он сделал такое открытие.

Шарлотта не давала столько откровенных заверений, но поскольку она сомневалась, что сумеет склонить своего супруга помочь Карлу-Артуру, ей пришлось в голову попросить позаботиться о нем барона Адриана. Ведь он доводился кузеном Карлу-Артуру, и, должно быть, ему не очень-то приятно, что столь близкий его родственник шатается по проселочным дорогам.

Но не успела она вымолвить и нескольких слов, как барон Адриан прервал ее.

— Нет, кузина Шарлотта, — смеясь, сказал он. — Дудки! Не желаю иметь никаких дел с такими людьми! И поистине, было бы разумнее всего, если бы и ты, кузина, последовала моему примеру.

Шарлотту немножко удивил этот резкий ответ, но ей показалось, будто она угадала его причину.

— Вы находите, вероятно, кузен, возмутительным, что Карл-Артур, человек женатый, разъезжает повсюду с чужой женой?

— Ха-ха-ха! Вон оно что! Ты, Шарлотта, принимаешь меня за этакую ходячую добродетель! Нет, об этом я вовсе и не думал; тут другое, не менее скверное обстоя-

ятельство. Не понимаю, что за чертовщина творится с кузенком Карлом-Артуром. Неужто же ему невдомек, что этакая спутница может вызвать лишь омерзение ко всем его проповедям?

— Я тоже считаю, что прежде всего следовало бы разлучить их.

— Разлучить их! — Повернувшись к Шарлотте, барон Адриан положил ей на плечо руку в большой лохматой рукавице волчьего меха. — Разлучить их тебе удастся разве что на плахе или на холме висельников!

Шарлотта, тепло укутанная в медвежью полость, безуспешно пыталась заглянуть своему спутнику в лицо.

— Вы, кузен, верно, шутите? — спросила она.

Барон Адриан не дал прямого ответа на ее вопрос. Убрав руку с плеча Шарлотты, он уселся поудобнее в санях и в том же легком, полусаркастическом тоне, в каком говорил уже раньше, произнес:

— Могу ли я спросить, слышала ли ты, кузина, о том, что над Лёвеншёльдами тяготеет проклятие?

— Да, кузен Адриан, слышала. Но должна признаться — не припомню, в чем там дело.

— Живя в большом свете, ты, кузина Шарлотта, разумеется, считаешь все это грубым суеверием?

— Хуже того, кузен Адриан! У меня вообще нет ни малейшего интереса к явлениям сверхъестественным. Никакой склонности к этому я не питаю! А вот моя сестра Мария-Луиза — напротив...

Барон Адриан расхохотался.

— А раз ты, кузина Шарлотта, не веришь в это, тем лучше. Я уже давно собирался рассказать тебе об этом проклятии, да боялся тебя напугать.

— На этот счет, кузен, можете быть совершенно спокойны!

— Ну что ж, кузина, изволь, — начал было барон Адриан, но, внезапно прервав самого себя, указал рукой на кучера, который сидел прямо перед ним и мог слышать каждое их слово. — Отложим, пожалуй, до другого раза!

Шарлотта еще раз попыталась заглянуть барону Адриану в лицо. В его тоне все еще слышалось нечто саркастическое, словно он потешался над старинным

семейным преданием. Но, уж конечно, ему не хотелось, чтобы кучер слышал его рассказ. Шарлотта поспешила рассеять его страхи:

— Вы плохо знаете моего мужа, кузен, если думаете, что он может нанять кучера, не удостоверившись прежде, что тот несколько туговат на ухо и не помешает седокам вести откровенную беседу.

— Бесподобно, кузина! Право же, возьму с него пример. Ну так вот что я хотел сказать. У нас, Лёвеншёльд, был когда-то враг, некая Марит Эриксдоттер — простая крестьянка. Отец ее, дядя и жених были безвинно заподозрены в том, что украли перстень нашего пращура, и им пришлось кончить жизнь на виселице. И вовсе не удивительно, что несчастная женщина пыталась отомстить, и как раз с помощью все того же перстня. Мой родной отец чуть было не стал первой ее жертвой, но, к счастью, он был спасен Мальвиной Спаак. Ей удалось завоевать благосклонность Марит Эриксдоттер и с ее помощью опустить злополучный перстень в фамильную гробницу.

Нетерпеливым жестом Шарлотта прервала рассказчика:

— Ради бога, кузен Адриан! Не думайте, что я такая невежда. Историю перстня Лёвеншёльд я знаю, по моему, слово в слово.

— Но одного ты, кузина, уж конечно, не слыхала. А именно: лишь только батюшка оправился от такого потрясения, как к бабушке моей, баронессе Августе Лёвеншёльд, вдруг явилась Марит Эриксдоттер и потребовала, чтобы бабушка женила своего сына, стало быть, моего отца, на девице Спаак. Она уверяла, будто бы бабушка моя накануне вечером обещала ей это, и лишь одного этого обещания ради отступилась Марит от своей мести. Бабушка отвечала ей, что такого обещания она дать не могла, так как знала, что сын ее уже обручен. Она была готова одарить Мальвину Спаак чем та только пожелает. Но то, чего требовала Марит, было попросту невозможно.

— Теперь, когда вы рассказываете эту историю, кузен, — перебила его Шарлотта, — мне кажется, будто я

тоже слышала нечто в этом роде. Впрочем, мне представляется вполне естественным, что Марит безоговорочно примирилась с тем, что произошло.

— Этого-то, кузина, она как раз и не сделала. Она продолжала настаивать на своем, и тогда бабушка приказала позвать девицу Мальвину, дабы та подтвердила, что баронесса не давала ей никакого обещания на брак с ее сыном. Девица Спаак подтвердила во всем слова хозяйки. Но тут неистовый гнев обуял Марит Эриксдоттер. Она, верно, раскаивалась в том, что безо всякой пользы отступилась от мести за великую неправду, которую претерпели ее родичи. И она заявила моей бабушке, что снова начнет мстить.

«Трое моих претерпели насильственную смерть! — воскликнула она. — Трое твоих тоже примут лютую скоропостижную смерть, потому как ты не держишь свое слово!»

— Но, кузен Адриан...

— Мне кажется, я знаю, что ты хочешь мне возразить, кузина Шарлотта. Бабушка моя, как и ты, кузина, считала, что несчастная женщина не может быть опасна. Ничуть не испугавшись, баронесса спокойно отвечала, что Марит теперь слишком стара для того, чтобы лишить жизни трех баронов Лёвеншёльдов.

«Да, я стара и уже в гроб гляжу, — так будто бы ответила баронессе Марит. — Но где бы я ни была, живая ли, мертвая ли, — я смогу прислать человека, который отомстит за меня!»

Тут Шарлотта, не в силах дольше терпеть, с такой силой сорвала с себя медвежью полость, что ей удалось наконец заглянуть барону в лицо.

— Уж не хотите ли вы, кузен, сказать, что, по вашему мнению, слова бедной, темной крестьянки могут иметь какое-нибудь значение? — с величайшим хладнокровием спросила она. — Впрочем, я очень хорошо знаю всю эту историю. Припоминаю, что мой любимый друг полковница Экенстедт имела обыкновение рассказывать именно эту историю в пример того, как мало надо придавать значения такого рода предсказаниям. Она ни во что не ставила это пророчество.

— Не вполне убежден, что в настоящем случае тетушка была права, — возразил барон Адриан, привстав в са-нях, чтобы окинуть взглядом дорогу. — Не похоже, что бы нам скоро удалось нагнать эту нежную парочку, — продолжал он, снова усаживаясь. — С твоего позволения, кузина, я хотел бы рассказать о небольшом странном происшествии, приключившемся в Хедебю еще при жизни моих родителей.

— Сделайте милость, кузен Адриан. Да и время пройдет тогда быстрее!

— Это было, кажется, летом тысяча восемьсот шестнадцатого года, — начал барон. — В Хедебю предстоял званый обед по случаю дня рождения моей матушки. За несколько дней до праздника родители мои, как всегда бывало в подобных случаях, послали за Мальвиной Спаак, чтобы она помогла им во всякого рода приготовлениях. В ту пору она была уже замужем, и звали ее, собственно говоря, Мальвина Турбергссон. Но у нас в Хедебю никак не могли привыкнуть называть ее каким-либо иным именем, нежели тем, которым называли ее все пятнадцать лет, когда она служила там домоправительницей. Полагаю, что и ей самой оно было милее всякого другого. Полагаю также, кузина, что величайшей радостью в жизни фру Мальвины было приезжать в Хедебю и помогать матушке задавать пиры или же в другом каком важном деле. Замужем она была за бедным арендатором, и ей не представлялось случая проявить свой большой талант в приготовлении изысканных блюд дома. Только в Хедебю удавалось ей блеснуть своим умением.

— А не тянуло ли ее туда еще и нечто другое? — спросила Шарлотта, которой пришли на память кое-какие подробности из истории старинного рода Лёвеншёльдов.

— Весьма справедливо, кузина Шарлотта. Я как раз намеревался рассказать об этом. Старые хозяева фру Мальвины — мой дед Бенгт-Йёран и моя бабушка баронесса Августа, о которой я только что говорил, были уже на том свете. Отец же мой, который унаследовал Хедебю, был, как всем известно, предметом любви

фру Мальвины в девичестве. И хотя пыл юной страсти поохладел, у фру Мальвины все же сохранилась к нему маленькая слабость. Нам, детям, всегда казалось, будто батюшка с матушкой питали истинное дружеское расположение к Мальвине Спаак. Встречали они ее с откровенной радостью, сажали за свой стол и доверительно беседовали с ней обо всех своих горестях и радостях. Нам и в голову не приходило заподозрить, что скрытой причиной всех этих дружеских чувств могли быть угрызения совести.

— Полковница Экенстедт всегда говорила об искренней дружбе Мальвины Спаак ко всему семейству, — заметила Шарлотта.

— Да, она всегда была нам искренно преданным другом; во всяком случае, нет ни малейшего повода думать иначе. И ту привязанность, которую Мальвина питала к нашим родителям, она перенесла и на сыновей — Йёрана и меня. Она всегда стряпала наши самые любимые кушанья, всегда совала нам какое-нибудь лакомство, припасенное для нас, когда мы наведывались к ней на поварню; ей никогда не надоедало рассказывать нам самые жуткие истории о привидениях. Но, быть может, следует оговориться, что любимцем ее, совершенно очевидно, был Йёран, и причиной тому была, видимо, его наружность. Я, румяный и белокурый, похож был на любого деревенского мальчишку и вряд ли мог пробудить в ее душе какие-либо нежные воспоминания. А с Йёраном было иначе. Он был красив, с большими темными глазами, и все считали, что он — вылитый отец. Поэтому весьма вероятно, что, когда Йёран приходил в поварню и фру Мальвина отрывала взгляд от квашни или плошки с жарким, ей не раз чудилось, будто время остановилось и будто возлюбленный ее юности вновь вернулся к ней, чтобы попросить у нее совета, как найти средство заставить мертвеца упокоиться в могиле.

Лицо Шарлотты подернулось легкой грустью.

— Мне знакомы эти глаза, — словно самой себе, сказала она.

— Такие вот хорошие отношения между фру Мальвиной и нами, мальчиками, продолжались вплоть до

тысяча восемьсот шестнадцатого года, — снова повел рассказ барон. — Но тут фру Мальвина имела неосторожность взять с собой в Хедебю свою дочку Тею. Девочке минуло в ту пору тринадцать лет, а мне было уже восемнадцать, Йёрану шестнадцать, и мы считали себя слишком взрослыми, чтобы играть с нею. Если бы маленькая Тея обладала неотразимым очарованием, она заставила бы нас забыть разницу в возрасте, но бедняжка была неуклюжая коротышка с глазами навывкате, да к тому же еще и шепелявила. Мы находили ее отвратительной и всячески избегали ее, а фру Мальвина, считавшая маленькую Тею небывало одаренным ребенком, чувствовала себя немножко обиженной за нее.

— Ах, — прошепелявила Шарлотта, — как подумаю, что еду рядом с бароном Лёвеншёльдом, сыном того самого барона Адриана Лёвеншёльда, которого любила моя матушка и который взял на себя все расходы по моему воспитанию!

Но Шарлотта тут же оборвала свою речь.

— Нет, прошу прощения, кузен! Я не подумала о том, каково ей сейчас! Стыдно издеваться над несчастной! Барон расхохотался.

— Жаль, что в тебе, кузина, заговорила совесть. У тебя, кузина Шарлотта, должно быть, большой талант. Мне почудилось, будто со мной рядом в санях сидит маленькая Тея. Но прежде чем продолжить свой рассказ, я позволю спросить, не наскучил ли я тебе, кузина? Ведь не каждый день доводится встретить кого-нибудь из нашего рода. А когда это случается, я будто снова чудом молодею. Все бывшее заново встает предо мной. Ты, кузина, наверняка была бы снисходительнее к нам за неучтивость к маленькой Тее, нежели наши собственные родители. Но матушка моя, заметившая, что фру Мальвина утратила обычное доброе расположение духа, тотчас же угадала причину и строго-настрого наказала нам быть поучтивее с маленькой Теей, а батюшка тоже добавил от себя. Привычные к послушанию, мы несколько раз брали с собой девочку покататься на лодке, а с высоких яблонь натряхивали ей яблочко. Фру Мальвина, эта добрая душа, снова сияла от

радости, и все шло наилучшим образом до самого праздника.

— Как вы только ее не утопили! — сказала Шарлотта.

— Тебе нетрудно представить себе наши чувства, кузина, — продолжал барон. — К нам съехались господа со всего уезда, мы встретились с девушками и юношами, которых знали сызмальства и любили, и поэтому нам и в голову не приходило, что и в такой день нам надобно оказывать внимание маленькой Тее. Матушка моя особо распорядилась, чтобы девочка присутствовала на празднике, и я припоминаю лишь, что одета она была вполне подобающим случаю образом. Но так как ее никто не знал, а внешность ее была поистине отталкивающей, то никто ей не уделял внимания. Мы не взяли ее с собой играть в саду, а когда поздним вечером в зале начались танцы, ее никто не пригласил. К несчастью, матушка была занята беседой со взрослыми гостями и забыла посмотреть, как чувствует себя маленькая Тея. Только за ужином она вспомнила о ее существовании, но, увы, было уже поздно. Матушка спросила горничную, где девочка, и узнала, что та сидит в поварне у своей маменьки и горько плачет. Никто с ней и словом не перемолвился! Ее не взяли ни играть, ни танцевать! Ну-с, маменьку это, конечно, немного встревожило, но не могла же она, в конце концов, оставить гостей, чтобы пойти утешать капризного ребенка. Говоря по правде, теперь-то я совершенно уверен в том, что она находила маленькую Тею не менее противной, нежели мы, мальчики.

— Тея всегда обладала удивительной способностью доставлять людям неприятности, — заметила Шарлотта.

— Да, не правда ли, кузина? Так вот, Мальвина Спа-ак, разумеется, оскорбилась за свою любимую дочку. Наутро, едва матушка успела проснуться, как к ней в спальню вошла горничная и доложила, что фру Мальвина желает уехать и велела спросить, не распорядятся ли заложить ей экипаж. Матушка была крайне удивлена. Еще раньше она уговорилась с фру Мальвиной, что та останется в Хедебю еще на несколько дней, чтобы

отдохнуть от праздничных хлопот. Матушка тотчас же поспешила к ней и стала ее отговаривать, но та была непреклонна; тогда матушка догадалась призвать на помощь мужа. Батюшка сказал несколько слов о том, что накануне вечером он все время наблюдал за маленькой Теей и нашел, что она держалась очень мило и достойно. Фру Мальвина немедля сменила гнев на милость. Отъезд был отложен, и фру Мальвину удалось даже уговорить задержаться в Хедебю еще на целую неделю, чтобы мы, дети, успели бы познакомиться друг с другом поближе и стать добрыми друзьями.

— Это было уж слишком жестоко, кузен!

— Так вот, когда дело было улажено, батюшка велел позвать нас, мальчиков, к себе в кабинет. Он спросил, как мы смели ослушаться его приказаний, и дал каждому по оплеухе. Вообще-то батюшка мой был человек весьма благодушный и кроткий. Мы совершенно не в силах были уразуметь, отчего это батюшка питал такую слабость к маленькой Тее. Но тут он дал нам понять, что на всем белом свете нет человека, с которым мы должны были обращаться более бережно, чем с ней. И сообщил нам, что Тея останется в Хедебю еще на целую неделю, чтобы мы подружились с ней.

— И этого, разумеется, вы не смогли вынести?

— Я смолчал, но Йёран, который был нрава более пылкого и к тому же взбешен оплеухой, в страшной ярости вскричал: «Из того, что папенька был влюблен в Мальвину Спаак, вовсе не значит, что мы должны быть без ума от маленькой Теи». Я был уверен, что Йёрана вышвырнут за дверь, но все вышло совсем иначе. Папенька сдержал свой гнев. Усевшись в большое кресло, он попросил нас подойти поближе. Мы встали перед ним рядом — слева и справа. Взяв наши руки в свои, он сказал, что настало время нам узнать семейную тайну. Он опасается, что с Мальвиной Спаак поступили весьма несправедливо. При неких обстоятельствах — а он был убежден, что мы знаем, на что именно он намекал, — он был на волосок от смерти. И он подозревает, что матушка его, баронесса Августа, если и не прямо, то все же каким-то манером дала понять Маль-

вине Спаак, что та станет ее снохой, если ей удастся спасти его жизнь. Обещание это, разумеется, выполнено быть не могло, и девица Мальвина вела себя наиделикатнейшим образом. Но батюшка тем не менее чувствовал, что он перед ней в неоплатном долгу. Оттого-то он и призвал нас обходиться с фру Мальвиной и ее дочерью как можно внимательнее.

— Какой благородный призыв, кузен!

— К сожалению, кузина, мы, мальчики, нашли все это скорее смехотворным, нежели трогательным.

Но в этот миг кучер Лундман обернулся к седокам и доложил, что ему показалось, будто на вершине одного из холмов, совсем близко от них, он приметил цыганскую повозку.

Барон привстал в санях. Он тоже увидел повозку, но тут же заявил, что до того холма еще не менее четверти мили, и к тому же определить, те ли это сани, которые они преследуют, или же другие, было невозможно. Все-таки он попросил Лундмана пустить лошадей елико возможно во всю прыть и поспешно составил план нападения.

— Как только мы поравняемся с санями, ты, кузина Шарлотта, бери вожжи, — сказал он, — Лундман выпрыгнет и схватит цыганскую лошадь под уздцы. Ну, а я подбегу к саням и заберу ребенка.

— Мы нападём на них, как заправские разбойники.

— По собаке и палка!

Барон Адриан высунулся из саней, чтобы лошади не мешали ему глядеть на дорогу. Им овладел настоящий охотничий азарт; он и думать забыл о старинной истории, которую только что рассказывал с таким пылом.

— Кузен Адриан, у нас наверняка есть еще с полчаса времени, покуда мы их нагоним. Не могла бы я дослужать конец этой истории?

— Разумеется, кузина, я доскажу ее с превеликим удовольствием. А конец был таков, что братец Йёран, который не в силах был стерпеть общество Теи еще целую неделю, надумал смастерить из воска, золотой фольги и капли красного сургуча огромный перстень с печаткой. Он показал перстень девочке и внушил ей,

будто это и есть подлинный знаменитый перстень Лёвеншёльдов, который он якобы нашел на кладбище. Теперь, стало быть, можно ожидать, что призрак мертвого генерала вот-вот начнет бродить по Хедебю и станет требовать назад свое сокровище. Маленькая Тея испугалась, фру Мальвина снова захотела уехать, и в усадьбе началось дознание. Братцу Йёрану пришлось выложить и свой перстень из воска, и всю эту историю, и тогда папенька задал ему трепку. Не стерпев экзекуции, Йёран бежал в лес, а потом его и след простыл — больше он домой никогда не возвращался. Целых двадцать шесть лет, до самой нынешней зимы, не показывался он в Хедебю, а вел жизнь бродяги на проселочных дорогах, к великому горю моих родителей, навлекая позор и бесчестье на весь свой род.

— О, кузен Адриан, я и не знала, что злоключения его начались таким образом.

— Да, кузина, именно так все и случилось. И если уж поразмыслить хорошенько, то можно, по всей вероятности, сказать, что это маленькая Тея уготовила Йёрану смерть в канаве у обочины. Тем самым, стало быть, она разделалась с одним из нас. Но взгляни-ка, вон они опять!

Барон снова высунулся из саней, разглядывая дорогу, но преследуемые сани быстро скрылись из виду, и он снова повернулся к Шарлотте.

— Ну, а что ты думаешь по этому поводу, кузина? Я уже забыл, для чего я заставил тебя выслушать всю эту историю. Ах да, я хотел предупредить, что нечего и пытаться разлучить Тею с Карлом-Артуром. Я полагаю, кузина, да, я полагаю, что у дочери фру Мальвины есть некое предназначение, а она сама ничего о нем не подозревает. Припоминаешь ли ты, кузина, как Марит Эриксдоттер говорила, что пришлет человека, который отомстит за нее Лёвеншёльдам?

В тот же миг барон Адриан, повернувшись к Шарлотте, заглянул ей в лицо; в его застывшем от ужаса взгляде ей почудилось ожидание.

И Шарлотту в ту же минуту будто осенило. Конечно же, этот меланхолический мечтатель, не имевший в се-

мейном кругу ни единой души, которой бы он мог довериться, в тоскливые часы уединения все снова и снова вызывал в памяти старинное проклятие. И мало-помалу дошел до того, что вообразил, будто Тея Сундлер и есть та, которая призвана стать мстительницей.

Правда, тут Шарлотта не могла не вспомнить ту злосчастную пору, когда помолвка ее с Карлом-Артуром была близка к разрыву и когда и сама она испытывала такое чувство, словно на стороне Теи стоит нечто грозное и неотвратимое, нечто, препятствовавшее всем ее усилиям спасти возлюбленного. Тем не менее она никоим образом не желала согласиться с предположением барона Адриана. Потому-то и вопрошающий его взгляд она встретила с хорошо разыгранным удивлением.

— Не понимаю, — сказала она. — Какое отношение ко всему этому имеет Карл-Артур? Ведь он же не Лёвеншёльд!

— В предсказании точно не говорится о том, что все три жертвы должны носить имя Лёвеншёльд, они должны быть лишь потомками моей бабушки.

— И вы, кузен, полагаете, что из-за этой жалкой, мерзкой старой сказки я не попробую перемолвиться словом с Карлом-Артуром, если встречу с ним нынче вечером? И не посмею разлучить его с Теей, и вообще не посмею сделать ничего ради того, чтобы вернуть его к более пристойному образу жизни?

Взгляд барона Адриана все с тем же выражением ожидания и боязни был прикован к лицу Шарлотты, и даже голос его выдавал крайнее отчаяние.

— А я и не собираюсь запретить тебе, кузина Шарлотта, такую попытку. Я только говорю, что все равно это ни к чему не приведет. Я видел Карла-Артура несколько часов тому назад и могу заверить тебя, что он скоро кончит смертью в придорожной канаве, как мой брат. Лютая скоропостижная смерть во цвете лет!

— Не понимаю, как это вы, кузен, можете внушать себе такие нелепости.

Мрачным взглядом барон Адриан всматривался вперед.

— Ах, кузина Шарлотта, разве мы понимаем все, что творится вокруг нас? Почему у одного все идет плохо, а у другого хорошо? И сколько есть в мире неискупленной вины, которая взывает об искуплении!

Несмотря на сострадание, которое испытывала Шарлотта, она начала уже терять терпение.

— Ну, а после того, как Тея разделается с Карлом-Артуром, настанет, верно, ваш черед, кузен Адриан?

— Да, потом настанет мой черед, но это ровно ничего не значит. Заверяю тебя, что, будь у меня сын, я охотно отдал бы свою жизнь ради искупления греха, тяготеющего над Лёвеншёльдами. Мой сын, кузина, смог бы тогда жить счастливо, он возвеличил бы наш род. Ничто не помешало бы ему стать преуспевающим и всеми почитаемым человеком. Мы трое — мой брат, Карл-Артур и я сам — мы так ничего и не достигли, потому что над нами тяготело проклятие, а мой сын, кузина, мой сын не был бы отягощен этим бременем.

Лундман снова повернулся к седокам и, подняв кнут, указал на дорогу.

Барон Адриан даже не шелохнулся. Откинувшись назад, он молча сидел в своем углу саней, не выказывая ни малейшего интереса к погоне. Шарлотта могла видеть только его профиль, но ей все же показалось, будто выражение его лица стало снова таким же, каким было всю прошлую неделю — угрюмым, недовольным и суровым.

«Что мне делать? — подумала она. — На него снова нашла меланхолия».

Так они ехали довольно долго. Дорога, по которой катились сани, была на редкость ухабистой и извилистой. То она бежала вдоль самого берега озера Лёвен, то углублялась в лес, то теснилась меж прижавшимися друг к другу крестьянскими домишками. Нигде простор не открывался взгляду. Сани, которые они преследовали, показывались на миг и тут же исчезали.

Хотя Шарлотта почти не верила безумным фантазиям барона Адриана, однако ею все сильнее овладевало чувство сострадания к нему. И она поспешно решила прибегнуть к единственному средству, которое могла

придумать ему в утешение. Правда, сделала она это, разумеется, без всякой надежды на успех, а лишь потому, что чувствовала непреодолимое стремление хотя бы что-нибудь сделать.

— Кузен Адриан!

— Что тебе угодно, кузина Шарлотта?

— Мне нужно поговорить кое о чем.

— Сделай милость, кузина! Ты выказала такое удивительное терпение, выслушав мою глупую историю!

Тон его был недружелюбен и ироничен, но Шарлотта была все же благодарна барону за то, что он ей ответил.

— Прости меня боже, если я поступаю дурно, но я должна рассказать об этом. Человек, которого вы, кузен, послали на север к цыганам, вернувшись в Хедebu, попросил разрешения побеседовать с баронессой с глазу на глаз. Он хотел сообщить ей, что у Йёрана Лёвеншёльда, вашего брата, кузен, остался сын.

Рука барона Адриана в огромной рукавице волчьего меха снова тяжело легла на плечо Шарлотты.

— Ты все это выдумываешь, кузина?

— Да надо быть чудовищем, чтобы тут солгать. Нет, кузен Адриан, там, в горах, и в самом деле есть мальчик. Ему шесть лет, он рослый и хорошо сложен. Не так красив, как его сестра, а больше похож на старого Бенгта на портрете. Так вот, управитель хотел прежде всего спросить баронессу, можно ли ему вообще рассказать вам, кузен, о том, что есть на свете такой мальчик. Но у него имеется изъян.

— Он идиот?

— Нет, кузен, разумом он не обижен, не хуже всякого другого, он весел и добр, но он...

Шарлотта была так взволнована, что ей изменил голос. Она не в силах была вымолвить это слово.

— Он слепой, кузен, — наконец прошептала она.

— Да как же так?

— Он слепой! — повторила Шарлотта, почти выкрикнув на сей раз это слово. — Потому-то управитель и не смел рассказать вам об этом. Амелия же попросила его молчать и впредь. Она полагала, что сейчас еще не

время явиться к вам, кузен, с такой вестью. Она хотела рассказать об этом позднее, когда к вам вернется хорошее расположение духа.

— Как была она дура, так и останется!

— Мальчик родился слепым. И излечить его невозможно.

Барон Адриан принялся трясти Шарлотту, словно хотел вытряхнуть из нее истину.

— И это правда? И ты можешь поклясться, кузина, в том, что там, в горах, в самом деле есть мальчик?

— Конечно, есть! А зовут его Бенгт-Адриан! Маленькая девочка часто говорит о каком-то братце. Это, конечно, он! Но что такое с вами, кузен?

В безумном восторге барон Адриан обнял Шарлотту и расцеловал ее в щеки и в губы. Громко смеясь, он наконец отпустил ее.

— Да, прости меня, Шарлотта, но ты просто клад. Не неженка, а отважна, как настоящий мужчина! Сразу видно, что ты, кузина, нашего рода! Даю слово! Когда ты в следующий раз приедешь в Хедебю, там все будет по-иному.

— Я так рада, кузен, так бесконечно рада, но не следует забывать, что мальчик слепой!

— Слепой! Эка беда, у меня ведь пять дочерей, которым и делать-то нечего, кроме как водить его и кормить, если это потребуется. Нынче же вечером я еду на север. Только сперва надобно вернуть девчонку. Эй, Лундман, не видать их?

— Они недалече от нас, господин барон!

— Тогда погоняй, Лундман, что есть мочи! Сейчас мы поравняемся с ними. О, боже правый! Так как его зовут?

— Бенгт-Адриан!

— У Йёрана все же сохранились какие-то чувства к прошлому. Так какой помощи Карлу-Артуру ты желала бы от меня, кузина?

— Но ведь ему суждено погибнуть!

— О черт! Неужто ты, кузина, и в самом деле веришь этой дурацкой фантазии, которую пытался внушить тебе меланхолический барон? С позволения сказать,

наплевать нам на это проклятие! Стало быть, я позабочусь о Карле-Артуре. Ну, а что нам делать с Теей?

— Ее муж жив и тоскует по ней.

— Мы вернем ее ему, Шарлотта! А Карл-Артур прежде всего поедет в Хедебю и отъестся. Амелия позаботится о нем, ей по душе такие заботы. А вот и они! На следующем холме мы их схватим!

Шарлотта с бароном высунулись из саней, чтобы лучше видеть дорогу. Преследуемые находились как раз на крутом спуске холма, который вел прямо к берегу озера. Затем шла небольшая полоска ровной дороги, а потом снова начинался подъем. На этом-то холме барон и думал нагнать беглецов.

Карл-Артур все же опережал их. Он находился уже на гладкой дороге возле озера, в то время как лошади Шарлотты только еще мчались во весь опор по отвесному склону.

Меж тем беглецы, казалось, поняли, что их настигнут на ближнем холме, который уже круто вздымался перед ними. Карл-Артур резко повернул лошадь, съехал с дороги и очутился на льду озера.

— Ну, — сказал довольный барон Адриан, — тем легче мы схватим их там!

Лундман, недолго думая, также свернул на лед, который хотя и был покрыт вперемешку талой водой со снегом, но еще вполне держался.

Не успели они проехать и несколько саженей по льду, как барон Адриан испустил громкий крик:

— Стой, Лундман! Осади лошадей! О чем только думают эти господа! Ведь там река!

Из саней Шарлотты, которые были довольно высоки, уже совершенно явственно можно было различить, как лед прямо перед ними стал гораздо темнее. По-видимому, это означало, что его разрушала бурливая речушка, струившаяся в озеро из лесной чащи.

Они остановились. Барон Адриан выскочил из саней и, сложив рупором ладони, стал кричать что есть мочи, предостерегая беглецов. Шарлотта дергала и рвала завязки медвежьей полости и наконец высвободилась. Теперь она могла двигаться.

Это произошло через несколько секунд. Послышался треск льда, и тут же лошадь Карла-Артура исчезла в полынье, а за нею последовали и сани.

Но в тот самый миг, когда лед подломился, Карл-Артур выскочил из саней, и сидевшая рядом с ним женщина последовала его примеру. Из саней Шарлотты можно было видеть, что они целые и невредимые стоят на краю полыньи.

Барон Адриан, рослый и тяжелый, как был в своей просторной шубе и огромных дорожных сапогах, пустился бежать к зияющей полынье.

— Ребенок! — кричал он. — Ребенок! Ребенок!

Шарлотта ринулась за бароном, а кучер Лундман, отбросив вожжи, тоже поспешил следом за ними. Барон опередил их. Он был уже почти что у самой полыньи, и Шарлотте показалось, будто он крикнул, что видит девочку. И в этот же миг под ним подломился лед.

Шарлотта была так близко от него, что трещины в ломающейся ледяной коре протянулись почти к самым ее ногам. Но Шарлотта не обратила на это внимания, она думала лишь о том, как бы ей пробраться дальше и прийти на помощь барону Адриану и ребенку, но подоспевший Лундман обхватил ее сзади:

— Стойте, фру Шагерстрём! Ни шагу дальше. Ползите, ради бога, ползите!

Они оба бросились на лед и поползли на коленях к полынье. Но так ничего и не увидели.

— Течение тут уж какое сильное, вон оно как, — сказал Лундман. — Их уже затянуло под лед.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Шарлотта едет по дороге в непроглядной тьме. Она все время плачет и всхлипывает. Носовой платок, которым она утирает слезы, мало-помалу промок насквозь. Ночь стоит морозная, и он совсем заledenел. Шарлотта поспешно сует его в шубу, чтобы он снова оттаял.

Но что ни делает Шарлотта — плачет ли, утирает ли слезы, прячет ли носовой платок, — все это происходит совершенно машинально и бессознательно. Все

время она ждет только ответа на молитву, которую твердит без конца.

Рядом с ней нет больше барона Адриана, как при выезде из Хедебю. Вблизи вообще нет никого, кто мог бы быть ей опорой и утешением, никого — кроме кучера. Правда, Лундман и Шарлотта — хорошие друзья, и он считает своим долгом время от времени, повернувшись на облучке, выказать ей свое участие.

— Да и то сказать, фру Шагерстрём, хуже такого я и не видывал.

Наверное, так оно и есть, но Шарлотта не позволяет себе ответить ему. Она все повторяет одну и ту же молитву и ждет ответа на нее.

Сани скользят совсем беззвучно. Лундман снял связки бубенчиков с коней и сложил их в ящик под сиденьем. На всех рытвинах и ухабах бубенчики дребезжат, но звон их — глухой и зловещий — под стать всей поездке. Они не наигрывают больше своих веселых мелодий, как тогда, когда висели на шеях коней.

Казалось, кони знают, что возвращаются домой, и хотят прибавить ходу, но Лундман считает это непристойным и сдерживает их прыть. Хотя никто этого не видит, сани тащатся почти так же медленно, как погрельные дроги.

— Эх, и человек же был этот барон Адриан, — говорит Лундман, — да и смерть принял славную!

Но и эти слова не находят отклика у Шарлотты. Она думает о чем-то совсем ином и молится, молится неустанно и ждет ответа.

Лундман и Шарлотта — не одни в санях. Когда Шарлотта поворачивает голову, рядом с собой на сиденье она может разглядеть какой-то огромный узел, в котором, кажется, скрыт человек. Это, разумеется, не кто-либо из утонувших — не барон Адриан и не ребенок, а кто-то живой. Хотя оттуда, где он лежит, не доносится ни единого слова, хотя там не видно ни малейшего движения, но сани скользят так беззвучно и вокруг стоит такая глубокая тишина, что Шарлотта порой явно может слышать слабые хрипы дышащего рядом человека.

Она пытается думать о бароне Адриане и о маленьком ребенке. Это было бы облегчением. Они мертвы и ушли в мир иной, но воспоминание о них вызывает не ужас, а одну лишь скорбь. Шарлотте, однако же, нельзя отвлекаться, ей нужно по-прежнему молиться. Ей нужно пробиться со своей молитвой до самого престола Господня. Ей нужно молиться о том, чтобы эта ужасная беда, которая стряслась нынче вечером, послужила бы началом какого-то благоденствия.

Когда Шарлотта с Лундманом достигли наконец края полыньи и тщетно пытались высмотреть там хотя бы малейшие следы утонувших, они услышали, как Карл-Артур крикнул им, что побежит на берег и позовет на помощь людей. Он так и сделал, а Тея последовала за ним. Маленький железоплавильный завод, приводимый в движение той самой речушкой — виновницей несчастья, находился совсем близко, и оттуда вниз, на лед, и ринулись люди. Они притащили с собой длинные багры и обшарили ими озеро под ледяным покровом, но с самого начала все было безнадежно. Сильное течение далеко унесло утонувших. Чтобы отыскать их, понадобилось бы, наверно, взломать весь лед на озере.

Тею Сундлер Шарлотта так больше и не видала, но Карл-Артур вернулся назад и был одним из самых ревностных среди тех, кто пытался оказать помощь, не раз даже по-настоящему рискуя собственной жизнью. Все это время он избегал Шарлотты, стараясь не приближаться к ней. Лишь когда все было кончено и многие из самых ретивых помощников, удрученные и павшие духом, побрели назад к берегу, он осмелился приблизиться к ней.

Шел он медленно и нерешительно, опустив, по своему обыкновению, веки. А подойдя вплотную, чуть приоткрыл глаза, так что смог увидеть лишь платье и шубу, но отнюдь не лицо Шарлотты. Он произнес несколько слов, которые должны были, по-видимому, означать то ли утешение, то ли просьбу о прощении:

— Да, Йёран хотел, вероятно, вернуть свою девчонку! А еще, может, хотел поблагодарить своего богача-брата за пышные похороны.

— Карл-Артур!

Тут он поднял глаза, и величайшее смятение отобразилось на его лице. Он явно не ожидал встретить здесь Шарлотту, думая, что дама, сопровождавшая барона Адриана, была его жена.

Карл-Артур не вымолвил больше ни слова, а лишь молча стоял, глядя Шарлотте в лицо; она так же молча глядела на него. Вся ее душевная боль и весь ужас, которые она испытала при виде его низости и грубости, были написаны у нее на лице, и ему невольно пришлось прочесть это.

Но в этот миг Карл-Артур вдруг так переменялся в лице, как это на памяти Шарлотты случалось с ним не раз при сердечных припадках. Взгляд стал диким и неподвижным, рот раскрылся, как будто Карлу-Артуру было не удержаться от крика, а руки он крепко прижал к груди.

Простояв так одно мгновение, он вдруг зашатался и непременно рухнул бы на землю, если бы Шарлотта не обхватила его обеими руками.

Еще несколько мгновений он шатался из стороны в сторону, но Шарлотта поспешила позвать на помощь; несколько человек подбежали к Карлу-Артуру, подняли его и понесли к ее саням. Когда Карла-Артура уложили на сиденье, он был уже в беспамятстве.

Шарлотта немедленно поехала с ним на берег и провела несколько часов на маленьком железоплавильном заводе. Карлу-Артуру нужен был уход. Лундман и Шарлотта промокли до нитки, ползая по льду в талом снегу. Им необходимо было обсушиться, а коней надо было покормить и дать им выстояться. Но из того, что происходило в эти часы, в памяти Шарлотты не сохранилось ни малейшей подробности. Все это время она только молилась Богу, умоляя его помочь ей спасти Карла-Артура и разлучить его с женщиной, навлекшей на него гибель.

Карла-Артура не удалось привести в чувство до самого отъезда, но было ясно, что он еще жив, и Шарлотта велела завернуть его в медвежью полость и отнести в сани.

Тихая мглстая ночь, на небе ни звезды. Шарлотта вздыхает. Ни разу за всю свою жизнь не ждала она в такой страстной тоске ответа на свою мольбу. Но, окутанный ночным безмолвием, Всемогущий молчит.

Совершенно неожиданно она замечает, что Карл-Артур, лежавший без чувств, чуть шевелится.

— Карл-Артур, — шепчет она, — как ты себя чувствуешь?

Сначала Шарлотта не получает ответа, но потом, стоит ей заметить, что Карл-Артур приходит в себя, ею вновь овладевает страх. Как он себя поведет? Будет ли говорить так же грубо и зло, как недавно на льду? Ей нельзя забывать о том, что перед ней совсем другой человек.

Вскоре Шарлотта услышала, как Карл-Артур слабым, едва слышным голосом задал ей вопрос:

— Кто сидит рядом со мной в санях? Это Шарлотта?

— Да! — ответила она. — Да, Карл-Артур, это я, Шарлотта!

Голос его звучит теперь совсем как прежде. Она слышит, что голос его очень слаб, но вовсе не груб. Он так же красив, как в былые времена, и, как ни странно, голос Карла-Артура звучит деланно и вкрадчиво, напоминающая детский лепет.

— Я так и думал, что это Шарлотта, — сказал он. — От Шарлотты всегда так и веет жизнью и здоровьем. Я выздоровел только оттого, что сижу рядом с Шарлоттой.

— Стало быть, тебе лучше?

— Мне очень хорошо, Шарлотта. Сердце у меня сейчас совсем не болит. Никаких страданий; уже много лет я не чувствовал себя таким здоровым.

— Ты был, верно, очень болен, Карл-Артур?

— Да, Шарлотта, очень!

Потом он некоторое время не произносил ни слова, а Шарлотта тоже молча сидела и ждала.

Вскоре он снова завел разговор.

— Знаешь что, Шарлотта? — спросил он все тем же кротким, лепечущим голосом. — Я сижу и тешусь тем, что произношу самому себе надгробное слово.

— Что такое ты говоришь? Надгробное слово?

— Да, да, именно так, Шарлотта! Ты никогда не думала над тем, что скажет пастор над твоей могилой, когда ты умрешь?

— Никогда, Карл-Артур. Я и не думаю вовсе о смерти.

— Не попросишь ли ты пастора, Шарлотта, который станет держать речь над моей могилой, чтобы он сказал своим прихожанам так. Здесь, мол, покоится богатый юноша, который, повинувшись заповедям Христовым, расточил все свои имения и стал нищим.

— Да, да, конечно, Карл-Артур, но теперь ты не умрешь!

— Может быть, не теперь, Шарлотта! Редко чувствовал я себя таким здоровым. Но ты ведь можешь вспомнить об этом позже. И еще я хочу, чтобы пастор напомнил прихожанам о том, что я был тем апостолом, который вышел на дороги и тропы, дабы нести людям весть о Царствии Небесном прямо в их будничную жизнь, в их увеселения и в их труд.

Шарлотта не ответила. Она спрашивала себя, не глумится ли над ней Карл-Артур.

А он продолжал говорить тем же деланным тоном:

— Я полагаю также, что отлично было бы, если бы пастор сказал немного и о том, что я, подобно самому Господу Иисусу Христу, выказал свое смирение, когда ел и пил вместе с мытарями и грешниками.

— Замолчи, ради бога, Карл-Артур! Ты и Христос!.. Ведь это же святотатство!

Прошло некоторое время, прежде чем Карл-Артур ответил Шарлотте.

— Мне вовсе не нравится такое возражение, — сказал он. — Но я могу примириться с тем, что пастор ничего не скажет о мытарях. Это могло бы быть ложно истолковано. А упоминания о грешниках, пожалуй, достаточно, дабы объяснить, почему я стал говорить проповеди на проселках проезжему люду. Разумеется, недостатка в возможностях распространить свою деятельность и на другие поприща у меня не было.

Шарлотта молча сидит в санях, и ей хочется громко крикнуть от ужаса. Неужто все это вправду? А может

быть, он говорил так лишь для того, чтобы произвести на нее впечатление своим высокомерием? Неужели он утратил всякую способность рассуждать?

— Быть может, ты помнишь, Шарлотта, что у меня был друг, который стал потом миссионером?

— Понтус Фриман?

— Да, Шарлотта, совершенно верно! Он шлет письмо за письмом, уговаривая поехать к туземцам и помогать ему. Мне было очень соблазнительно! Я ведь так люблю путешествовать! Да и изучение языков меня также интересует. Мне всегда весьма легко давались разные науки. Ну, что скажешь на это, Шарлотта?

— Я все раздумываю, не насмехаешься ли ты надо мной, Карл-Артур. Если нет, то я полагаю, разумеется, что это превосходная идея.

— Я насмехаюсь над тобой? Нет, я всегда говорю правду, и тебе, Шарлотта, следовало бы знать об этом издавна. Но ты, видно, и впрямь не вполне меня понимаешь. Не ожидал я этого после такой долгой разлуки. Боюсь, что эта встреча принесет нам разочарование.

— Это было бы очень горько, Карл-Артур, — сказала Шарлотта, которая совершенно была сбита с толку неописуемым высокомерием и самодовольством этого несчастного оборванца.

— Я знаю, Шарлотта, что ты очень богата, а богатый человек легко становится поверхностным и судит по внешнему виду. Ты не понимаешь, что я сам избрал бедность по доброй воле. У меня ведь есть жена...

Когда он упомянул о жене, Шарлотта сделала попытку вмешаться и заговорить с ним о том, что могло бы пробудить его интерес.

— А теперь послушай меня, Карл-Артур! Слышал ли ты о том, что матушка твоя в последние годы своей жизни желала, чтобы ей читали лишь твои студенческие письма? Жакетта читала их ей вслух изо дня в день. Но однажды Жакетте это, должно быть, надоело, и знаешь, что она тогда сделала? Она поехала в Корсчюрку и отыскала там Анну Сверд и твоего маленького сына. Она увезла их с собой в Карлстад и показала полковнице ребенка.

— Необыкновенно прекрасно и трогательно, Шарлотта!

— С тех пор Жакетте больше не было нужды читать твои письма. Матушка твоя пожелала, чтобы ребенок всегда был при ней. Она играла с ним, она восхищалась им, она ни о чем больше не думала. Ее невозможно было разлучить с ребенком, и твоей жене пришлось перебраться в Карлстад. Кажется, к Анне теперь благоволят все и вся, а больше всех твой отец. Ну, а после того как матушка твоя умерла, Анна снова переехала назад в Корсчюрку. Она и все ее приемыши снова хозяйничают в твоей лачуге. Они превратили ее уже в добрый крестьянский двор. Ну, а твой собственный сын, кажется, по большей части находится у Жакетты, которая живет теперь в Эльвснесе. Он прелестный ребенок. У тебя нет желания увидеть сына, Карл-Артур?

— О, я прекрасно знаю, что жена моя чуть не извелась от тоски по мне, да и все другие мои родственники тоже. Но оттого, что ты, Шарлотта, пробуешь говорить за них, толку не будет. Я люблю волю, люблю жизнь на проселочных дорогах, люблю разные приключения.

«В сердце у него нет места для добра, — подумала Шарлотта. — Он выскальзывает у меня из рук. Я никак не могу схватить его».

Но она все же сделала еще одну попытку.

— Ты как будто всем доволен, Карл-Артур?

— Как же мне не быть довольным, когда я вновь нашел тебя, Шарлотта!

— Ты ничуть не раскаиваешься, что украл ребенка? Ведь из-за этого погибли две человеческие жизни!

— Две жизни! — повторил Карл-Артур. — Два человека! У тебя, Шарлотта, такие странные резоны. Что мне за дело, если даже два человека и погибли! Я ненавижу всех людей. Самое большое для меня удовольствие — это собрать вокруг себя толпу, чтобы изругать людей на чем свет стоит, чтобы сказать им, что все они жалкие скоты.

— Молчи, Карл-Артур! Ты просто страшен!

— Страшен? Я? Ну да, это вполне понятно, что ты так говоришь. Такова месть отвергнутой. Зелен виноград!

Во всяком случае, тебе, Шарлотта, следовало бы признать, что тот, кто способен вызвать такую преданность к себе, как я... Знаешь ли, Шарлотта, я просто не понимаю, как это она до сих пор терпит. Я так и жду, что она явится и вырвет меня из твоих рук.

— Молчи, ради бога, Карл-Артур!

— Но отчего же? Я так рад поговорить с тобой, Шарлотта!

— Ты мне мешаешь. Я молюсь Богу. Я молилась не переставая с той самой минуты, как встретила с тобой после полудня.

— Весьма похвальное занятие! Но о чем же ты молишься, Шарлотта?

— Чтобы я могла спасти тебя от этой женщины!

— От нее? Бесполезно, Шарлотта! Ничто в мире не может поколебать ее преданность.

Склонившись к Шарлотте, он прошептал ей на ухо:

— Я сам испробовал все возможное. Но спасения нет. Нет спасения, кроме смерти! *Nemo nisi mors!*

— Тогда я буду молить о смерти для тебя, Карл-Артур!

— Ты, Шарлотта, всегда была так удручающе откровенна. Не очень-то приятно знать, что ты молишь Бога о смерти для меня, но я, разумеется, мешать не стану.

Довольно долго они ехали по дороге так же молча, как и раньше, покуда Карл-Артур не очнулся от беспмятства. Шарлотта пыталась собраться с мыслями, подумать о том, что ей делать с человеком, который так низко пал.

Но тут Лундман снова повернулся на козлах и сказал:

— Слышите, фру Шаггерстрём, за нами погоня? И те, что гонятся за нами, видать, близко! Скачут во весь опор, нахлестывают лошадей и орут, перекрикивая друг дружку: «Сейчас мы их схватим!» Хотите, фру Шаггерстрём, уйти от погони?

— Нет, Лундман, конечно, нет! Наоборот, мы остановимся. Мы их встретим, они нам кстати.

Спустя несколько мгновений преследователи уже настигли их. В ночной темноте перед Шарлоттой

мелькнула пара небольших цыганских кибиток, которые вот уже поравнялись с ее санями. Темные фигуры выскочили из саней на дорогу. Двое людей подбежали и схватили коней под уздцы. Двое других — мужчина и женщина — подошли к ее саням.

— Это Шарлотта? Я хочу сказать: это коммерции советница Шагерстрём? — спросил шепелявый голос. — Я желала бы лишь узнать, не можете ли вы, фру советница, сообщить мне, где находится сейчас Карл-Артур? Перед тем как Карл-Артур снова побежал на лед, мы уговорились встретиться с ним у одного из кузнецов. Вот я и прождала несколько часов в кузнице. Наконец я наведальась в заводскую контору и узнала там, что Карл-Артур захворал, а вы, фру коммерции советница, увезли его с собой в своих санях. Какая любезность! Как, бишь, это говорится: «Старая любовь не ржавеет»?

— Ты явилась с целой армией, Тея, — совершенно спокойно заметила Шарлотта.

— Мне посчастливилось, что двое лучших наших друзей как раз нынче вечером проезжали по этой дороге. Они обещали мне помочь вернуть Карла-Артура. Ах, фру советница, вы даже не можете себе представить, как благотворно влиял Карл-Артур на бродячий люд и как все его полюбили. Его во что бы то ни стало хотят вернуть назад.

— Насколько я понимаю, ты собираешься взять его силой, если я откажусь выдать его по доброй воле?

— Зачем же силой, фру советница, это вовсе не входит в мои намерения. Но мы хотим убедиться в том, что Карл-Артур волен поступать, как он захочет, и может возвратиться к нам, если того пожелает.

— То, чего желает Карл-Артур, не подлежит ни малейшему сомнению, Тея. Целый час до встречи с вами он вел со мной учтивую беседу; но она ему весьма наскучила, и он страшно рад, что ты явилась. Разумеется, я не держу его! Так что скажи своим друзьям, что им вовсе незачем вытаскивать ножи, которые так и сверкают во тьме вокруг меня. Можешь забрать его!

Тея Сундлер, ожидавшая, по всей вероятности, упорного сопротивления, была просто потрясена и не нашла, что ответить.

— Забирай его! — громким голосом повторила Шарлотта. — Забирай и дальше делай что хочешь. Я думала, что могла бы помочь ему, но этого я сделать не могу. Он совсем ума решил. У него на совести две человеческие жизни, а он сидит здесь и едва ли догадывается об этом. Пусть убирается! Прочь! Пусть погрязает во лжи, в преступлениях и в нищете! Пусть валяется в грязи! Он радуется тому, что натворил нынче вечером. Это не ужасает его. Он не желает изменить свою жизнь. Он желает жить по-прежнему. Пусть убирается!

Шарлотта наклонилась над Карлом-Артуром, сорвала у него с ног меховой мешок и откинула медвежью полость, чтобы он мог вылезти из саней.

— Убирайся! Возвращайся к ней, к той, что сделала из тебя такого, какой ты есть! Между нами все кончено!

Без единого слова подошла Тея Сундлер к саням с той стороны, где сидел Карл-Артур, и он приподнялся ей навстречу. Но когда Тея протянула руку, чтобы помочь ему выбраться из саней, он оттолкнул эту руку. Он повернулся к Шарлотте и упал к ее ногам.

— Помоги мне, спаси меня! — громко молил он.

Голос его неожиданно зазвучал убежденно и правдиво.

— Слишком поздно теперь, Карл-Артур!

Он обнял колени Шарлотты и не отпускал ее.

— Спаси меня от нее, Шарлотта! Никто, кроме тебя, не может мне помочь!

Шарлотта наклонилась к Карлу-Артуру, пытаясь заглянуть ему в глаза.

— Ты знаешь, чего это тебе будет стоить? — совсем тихо, с величайшей серьезностью в голосе спросила она.

— Да, я знаю, Шарлотта! — так же серьезно ответил ей он, стойко выдерживая ее взгляд.

— Лундман! — с внезапной радостью в голосе воскликнула Шарлотта. — Бери кнут и гони!

Кучер Лундман приподнялся на козлах, бородастый и могучий, такой, каким и подобает быть настоящему господскому кучеру; он стал хлестать своим длинным кнутом во все стороны. Темные фигуры с проклятиями метнулись прочь. Кони встали на дыбы и пустились вскачь. Те, кто держал их под уздцы, рванулись за ними, но кнут щелкал то по одному, то по другому, и они выпускали из рук поводья. Кони бешено мчали Шарлотту и ее спутников в Хедебю.

ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО

Кто она такая, что должна помнить все то, что другие уже давно позабыли? Почему она должна вечно думать о том времени, когда он колесил по ярмаркам, как какой-нибудь бродяга? Почему она должна всякий миг видеть перед собой ту, которая тогда сопровождала его?

Она была убеждена, что он уехал как миссионер в 1842 году, а нынче шел лишь 1850 год. Стало быть, не прошло и восьми лет после его отъезда. И, однако, люди думали, что все должно быть забыто и прощено. Но ей, которая была его женой, нужно было бы, верно, иметь и собственное мнение на сей счет.

Да, подумать только, с той самой поры, как он недавно снова вернулся в Корсчюрку и нашел пристанище на Озерной Даче, к ней стали захакивать соседи из ближнего прихода и расспрашивать, не собирается ли она поехать с ним в Африку! Но такой уж был здесь на юге народ — ветреный да отходчивый, болтаются туда-сюда, точно дерьмо в проруби. Неужто же ей уехать с ним, ей, которая в довольстве и в почете жила теперь своим домом! Неужто она должна уехать из дому теперь, когда приемыши ее выросли и кормились уже сами, а она могла жить припеваючи, могла взять к себе матушку Сверд и покоить ее старость!

Она еще не встречалась с ним, хотя он приехал в Корсчюрку несколько дней тому назад. Настолько-то у него ума хватило, чтобы и не пытаться к ней навеститься. А сейчас ей думалось: не ходить бы ей нынче в церковь да не слушать бы его проповедь. Ведь это могли

бы истолковать так, будто она сама старалась увидеться с ним. Но она-то пошла туда не по своей охоте. Это все фру Шагерстрём, которая зашла за ней и взяла ее с собой. А уж фру Шагерстрём нелегко было в чем-либо отказать.

Кто она такая, что не может избавиться от мыслей обо всем, что было? Фру Шагерстрём сказала ей, что он уже совершил доброе дело среди язычников в Африке. Наконец-то он обрел свое настоящее место в жизни. Точно затравленного зверя, гнал его Господь Бог в западню, все пути были ему заказаны, кроме этого — единственного. А потом оказалось, что путь этот и был истинный, тот, который ему следовало бы избрать с самого первого дня.

Фру Шагерстрём не сказала Анне открыто, что ей следовало бы бросить все имущество и последовать за ним. Она лишь как бы невзначай обронила, что там, среди дикарей, ему приходилось не сладко и что хорошо, если бы при нем кто-нибудь был, кто мог бы стряпать ему хороший обед. А сам Шагерстрём, который до сих пор помогал ему деньгами в его тамошней жизни, вероятно, не постоит за расходами и на помощника, если только им удастся кого-нибудь найти.

А еще фру Шагерстрём сказала, что теперь он научился любить ближнего. И это очень важно, ибо как раз этого-то ему и не хватало. Он любил Христа и доказал, что может пожертвовать всем на свете, дабы следовать Ему. Но истинной любви к ближнему он не знал никогда. А тот, кто, не любя ближнего, желает следовать Христу, тот непременно ввергает в беду и самого себя, и других!

А еще фру Шагерстрём сказала, что если Анна захочет сопровождать ее в церковь и послушать его проповедь, то сразу же заметит великую перемену, которая в нем совершилась. И услышит тогда, что он полюбил тех самых чернокожих, которых пытался обратить в христианство. И это была та самая любовь, которая сделала его совсем другим человеком.

Словом, как бы то ни было, а ее все-таки заманили в церковь.

Когда он взошел на кафедру, она сперва даже не узнала его. Он облысел, а страдания избороздили его лицо морщинами. Он уже не был красив собой и на кафедре взошел тихо и смиренно. Когда она увидела его, на нее нашло вдруг странное желание заплакать. И все же он не казался удрученным, на лице его сияла кроткая улыбка — улыбка, которая озаряла всю церковь.

Нет, она вовсе не хочет сказать, что проповедь в тот день была какая-то особенная. На ее взгляд, в ней было мало слова евангельского. Он говорил лишь о том, каково жилось народу в языческих странах, но тогда это и надо называть не иначе, как отчет миссионера. И, конечно, она смогла понять, что он любил этих язычников в Африке, раз выдержал тамошнюю жизнь и снова хотел туда вернуться. Уж как туго ни приходилось ей и ее землякам в Медстубюн, все же их бедная жизнь была не в пример лучше африканской. У чернокожих не было в их лачугах ни дощатого пола, ни даже окон.

И покуда она так сидела, видя кроткую улыбку на его лице и слыша, как в каждом его слове чувствовалась сердечная доброта, ей вдруг пришло на ум, что это и был тот самый человек, который честил людей на ярмарках и над которым все измывались. Потому что и с ней бывало так же. Она была не из Корсчюрки, а из Медстубюн, и к тому же приходилась племянницей Иобсу Эрику. Она была так же упряма и недоверчива, как и он.

Когда она вышла из церкви, она увидела, что перед входом поставлен стол, а на нем — медная кружка. Люди опускали в нее свои скудные пожертвования на обращение язычников.

Двое прихожан стояли рядом и караулили кружку, и ей показалось, будто они по-особому взглянули на нее, когда она проходила мимо. У нее не было при себе денег, потому что ей и в голову не приходило, что этому проповеднику удастся выманить у нее хотя бы эре. За неимением иного, она быстро сняла с пальца обручальное кольцо и кинула его в кружку. Он подарил ей это кольцо, а теперь может с радостью взять его обратно.

И вот она сидела в одиночестве на кухне и раздумывала, что из этого выйдет.

Ведь он может все понять так, будто она считает, что брак их расторгнут и она знать его больше не желает.

А ежели он поймет это так, то не придет к ней; это она твердо знала. Тогда он, не обинуясь, уедет назад.

Но ведь он может истолковать это и так, будто она желает напомнить ему, что здесь, в Корсчюрке, у него есть жена, которая сидит и ждет его.

Да, теперь она увидит, как он все это поймет. Поймет ли он это так, а не иначе, зависит от того, как он думает.

Ну, а если он поймет это так, будто она сидит и ждет его, и придет к ней, что́ ей тогда ему ответить?

Да кто она такая и чего желает? Знает ли она сама, чего желает?

Все же сердце у нее сильно забилося от волнения. Вот чудная-то! Никак не может забыть, что это тот самый человек, которому она некогда посылала поклоны с перелетными птицами!

Но вот кто-то прошел мимо окна. Неужто он? Да, он!

И вот он вошел в сени. Вот он взялся за ручку двери. Что же ей ответить ему?

ДЕНЬГИ ГОСПОДИНА АРНЕ

В ДОМЕ ПАСТОРА

1

В те далекие времена, когда Данией правил Фредерик Второй, а провинция Бохуслен была еще под датской короной*, жил в городке Марстранд* человек по имени Торарин. Он был немощен и слаб. Одна рука вообще не слушалась, поэтому не мог он ни веслами работать, ни рыбу ловить. Незачем, стало быть, было ему и селиться на берегу моря, как то делали в Марстранде все рыбаки. А жил он тем, что ездил по дворам, что стояли поодаль от побережья, и продавал там рыбу, сушеную да соленую. Дома бывал он редко, потому как почти круглый год развозил свой рыбный товар.

Как-то февральским вечером, когда начинало уже смеркаться, ехал Торарин из Кунгсхэлла в сторону Сульберги, где жил пастор. Дорога была безлюдной, но Торарина это нисколько не смущало. В повозке с ним рядом сидел его верный друг, с которым можно было вести неторопливую беседу. Это была небольшая черная собака с густой шерстью, Торарин звал ее Грим. Обычно Грим лежал, не двигаясь, вытянув голову между лапами, и иногда лишь моргал в ответ на то, что говорил хозяин. Но стоило ему только услышать что-то, что было ему не по нутру, как он тут же поднимался в повозке и, задрав морду к небу, принимался выть, словно матерый волк.

— Важную новость прослышал я сегодня, Грим, собачка моя дорогая. В Кунгсхэлле и в Каребю сказывали мне, будто море там замерзло. Погода стояла тут тихая и ясная, да ты и сам не хуже меня это знаешь. В общем, покрылось море льдом, и не только здесь у нас в шхерах,

а, говорят, далеко, аж до самого Каттегата. Ни кораблям, ни лодкам шхерами уже не пройти, везде лед толстый. Теперь, стало быть, до острова нашего и по льду на санях добраться можно.

Собака слушала, и, похоже было, неодобрения новость эта у нее не вызывала. Она лежала спокойно и моргала, глядя на Торарина.

— Не больно уж много рыбы у нас с тобой осталось, — сказал Торарин, словно бы желая убедить в чем-то Грима. — А что бы ты сказал, ежели бы мы с тобой на первой развилке взяли да и свернули на запад, к морю? Проедем мимо церкви в Сульберге, потом в Эдсмольшиль, ну а оттуда до Марстранда всяко уж не более мили будет. Ведь правда же, здорово было бы хоть разок-то на наш остров без лодки или парома добраться?

Они выехали на обширную пустошь Каребю, и хотя погода стояла в тот день тихая, здесь сразу подул на них холодный ветер, и дальше ехать стало не очень-то приятно.

— Оно, конечно, может, и не пристало нам домой возвращаться, пока работа в самом разгаре, — сказал Торарин, несколько раз взмахнув руками, чтобы согреться. — Но с другой-то стороны, сколько уже недель мы с тобой все ездим да ездим, так что, согласись, неплохо было бы несколько денечков и дома провести, стужу из тела выгнать.

Собака по-прежнему была спокойна, и потому Торарин все более проникался уверенностью в том, что принял разумное решение, и продолжал свои рассуждения дальше.

— Матушка моя уже много дней одна сидит в нашей лачуге. Небось, не терпится ей нас-то дожидаться. Да и вообще, Грим, хорошо в Марстранде зимой. По улицам рыбаки да купцы везде чужестранные гуляют. В складах морских танцы каждый вечер. Ну, а уж сколько пива там льется в трактире! Нет, этого тебе не понять.

Торарин нагнулся к собаке, чтобы убедиться, что она его слушает. А поскольку собака не спала и не выказывала при этом неудовольствия, Торарин свернул

на первую же дорогу, что вела к морю. Он прищелкнул лошадь вожжами, и она побежала быстрее.

— Раз уж мы все равно едем мимо дома пастора в Сульберге, — сказал Торарин, — загляну-ка я к ним, пожалуй, узнать, точно ли лед крепок до самого Марстранда. Они уж всяко должны знать.

Торарин сказал это негромко, как бы размышляя вслух и вовсе не заботясь, слышит ли его собака. Но едва лишь слова эти были произнесены, как она встала и жутко завyla. Лошадь рванула в сторону, и даже Торарин испугался и обернулся посмотреть, не гонятся ли за ним волки. Но когда он увидел, что это были не волки, а Грим, он принялся его увещевать.

— Дружище, — сказал он ему, — ведь сколько раз езжали мы с тобой в Сульбергу к пастору. Не знаю уж, скажет ли господин Арне нам что про лед, но вот в чем я точно уверен, так это в том, что в море он нас не отпустит, не попотчевав добрым ужином.

Однако собаку его слова не успокоили. Она снова задрала нос к небу и завyla еще пронзительнее.

Тут уж недолго было и самому Торарину потерять хладнокровие. Уже почти стемнело. Вдали Торарин различал церковь Сульберги, высившуюся посреди широкой ленты равнины, окаймленной с обеих сторон холмами — голыми и покатыми со стороны моря и поросшими лесом с другой. В открытом заснеженном поле был он совсем один и чувствовал себя маленьким и ничтожным. Ему стало чудиться, будто из темного леса и с безлюдных холмов вылезают и спускаются к нему разные тролли и огромные чудища, осмелевшие с наступлением темноты. И ведь на всей дороге не было им больше на кого наброситься, как только на бедного Торарина.

При этом он все продолжал уговаривать собаку не выть:

— И что ты, дружище, имеешь против господина Арне? Это же самый богатый и уважаемый в нашей округе человек. Не будь он пастором, быть бы ему хёвдингом нашим.

Но доводы эти на собаку не подействовали. Тогда терпение у Торарина лопнуло, он схватил собаку за

загрюк и скинул ее с повозки. Но когда он тронулся в путь снова, собака не побежала следом, а осталась прямо на дороге и выла до тех пор, пока Торарин не миновал ворота пасторского двора, по четырем сторонам которого длинными рядами стояли невысокие деревянные строения.

2

В доме за вечерней трапезой в окружении своих домочадцев сидел пастор, господин Арне. Кроме Торарина, чужих в этот вечер не было.

Пастор был стар и сед, но в нем чувствовалась еще и стать, и сила. Рядом сидела его жена. Время не пощадило ее. Голова и руки тряслись, да и слышала она теперь с большим трудом. По другую руку от господина Арне сидел помощник его, бледный молодой человек. Выражение лица у него было очень серьезное, словно бы говорившее о бремени знаний, полученных им за время учения в Виттенберге*.

Все трое сидели во главе стола, как бы отдельно от остальных. Рядом сидел Торарин, за ним работники господина Арне, тоже уже старики. У троих мужчин головы были совсем лысы, спины сторблены, глаза слезились и часто моргали. Женщин было только две. Были они чуть помоложе и поздоровее мужчин, но все же дряхлы и уже с признаками всяких старческих недугов.

В самом конце стола сидели две девушки-подростки. Одна из них, светловолосая и худенькая, была внучкой господина Арне, на вид ей было не больше четырнадцати. Черты лица ее еще не оформились, но уже было видно, что она обещает стать красивой. Другая девушка была круглой сиротой и всю жизнь прожила в доме пастора. Обе они сидели на скамейке рядышком, и видно было, что между собой они очень дружны.

Ели все в полной тишине. Торарин поглядывал поочередно то на одного, то на другого, но ни у кого не появлялось желания вести во время трапезы разговоры. Старики размышляли про себя: «Большое это дело иметь пропитание и не терпеть нужду и голод, как то

часто случалось в нашей жизни. И вот сейчас, за столом должно нам благодарить Господа за доброту его, ни о чем другом не помышляя».

Так что поговорить Торарину было не с кем, а потому он разглядывал дом. У двери стояла большая печь, а в дальнем углу — кровать с пологом. Потом взгляд его от скамей, закрепленных вдоль всех четырех стен, перекинулся на отверстие в крыше, через которое уходил из дома дым от печи, а обратно втекала свежая зимняя стужа, и, разглядывая все это, Торарин, бедный торговец рыбой, ютившийся, наверное, в самой убогой хибарке во всей округе, думал: «Был бы я таким важным человеком, как господин Арне, ни за что не стал бы жить в таком старом доме с одной-единственной комнатой. Я выстроил бы себе высокий дом, вроде тех, в которых живут в Марстранде бургомистр и советники».

Чаще же всего поглядывал Торарин на большой дубовый сундук, стоявший подле кровати. А было это оттого, что он знал: в нем господин Арне хранит все свои серебряные деньги, и монетами, как он слышал, сундук наполнен до самого верха.

Но Торарин, который был настолько беден, что редко в какой день была у него хотя бы одна серебряная монетка в кармане, сказал себе так: «Нет, не хотел бы я иметь у себя все эти деньги. Говорят, будто господин Арне собрал их по большим монастырям, которых в прежние времена было здесь немало, и будто монахи напророчили ему тогда, что деньги эти принесут ему несчастье».

Размышляя об этом, Торарин увидел, что старая хозяйка приставила руку к уху, словно хотела что-то лучше расслышать. Потом она повернулась к господину Арне и спросила:

— Зачем они ножи точат в Бранехёге?

В доме стояла тишина, и потому, когда старуха сказала это, все услышали и испуганно повернулись в ее сторону. Увидев, что она сидит и к чему-то прислушивается, они перестали работать ложками и тоже направили слух.

На какой-то момент вновь наступила мертвая тишина, но потом старуха снова забеспокоилась. Она положила ладонь свою на руку господина Арне и сказала:

— Не знаю, для чего им такие длинные ножи точить в Бранехёге?

Торарин увидел, как господин Арне погладил ее по руке, успокаивая. Но ничего не ответил, а как и прежде продолжал спокойно есть.

Старуха же все вслушивалась. От ужаса в глазах у нее выступили слезы, а руки и голова затряслись сильнее обычного.

Тогда обе девушки, сидевшие в конце стола, от страха заплакали.

— Разве не слышите вы, как звенят ножи? — спросила старуха. — Разве не слышите вы, как скрежещут они и повизгивают?

Господин Арне сидел молча и гладил руку своей жены. И покуда он молчал, никто не смел произнести ни слова.

Но все верили, что старая хозяйка услышала что-то страшное, что могло принести всем беду. Они почувствовали, как застыла кровь в их жилах. Никто, кроме господина Арне, больше не ел. Все думали о том, что вот уже много-много лет заботилась об этом доме его старая хозяйка. Она всегда была в доме, по-умному и по-доброму управляя детьми и работниками, хозяйством и домашним скотом, и дом оттого все богател. Правда, время сделало ее теперь старой и беспомощной, но все равно могло ведь случиться и так, что она прежде других почувяла грозящее дому несчастье.

Ужас все больше охватывал старуху. Она сложила руки и оттого, что не имела сил что-либо сделать, заплакала так горько, что по ее морщинистым щекам покатались слезы.

— Ты не спрашиваешь меня, Арне Арнесон, отчего мне так страшно? — пожаловалась она.

Тогда господин Арне наклонился к ней и сказал:

— Мне неизвестно, что так напугало тебя.

— Я боюсь длинных ножей, тех, что точатся теперь в Бранехёге, — сказала она.

— Как же можешь ты слышать, что в Бранехёге точат ножи? — сказал господин Арне и засмеялся. — Ведь до двора в Бранехёге четверть мили. Возьми-ка лучше в руку ложку и дай нам закончить наш ужин.

Старуха попыталась побороть свой страх. Она взяла ложку и поднесла ее к миске с молоком, но рука ее затряслась, и все услышали, как ложка стучит о край. Тогда она положила ее.

— Как могу я есть? — сказала она. — Разве я не слышу, как звенят ножи? Разве я не слышу, как визжат ножи?

Господин Арне отодвинул от себя свою миску и сложил на столе руки. Все остальные сделали то же, а помощник пастора принялся читать молитву.

Когда молитва закончилась, господин Арне бросил взгляд на сидевших за столом и, увидев, что они бледны и напуганы, рассердился. Он стал говорить им о том времени, когда он только-только пришел сюда в Бохуслен проповедовать лютеранство. Тогда ему и товарищам его приходилось скрываться от людей папы, охотившихся за ними, точно за дикими зверями.

— И разве, направляясь в Дом Божий, не встречали мы врагов, поджидавших нас в засаде? И разве не изгнали нас отсюда и не случилось нам прятаться в лесах? Не подобает ли и теперь принимать ниспосланное и не терять мужества от дурного знака?

Господин Арне говорил эти слова так, словно обладал какой-то великой силой, и ко всем, кто слышал его, вновь возвращалась уверенность.

«А ведь и правда, — думали они, — Бог уберет господина Арне от самых больших опасностей. Он держит над ним свою руку. И он не даст в обиду слугу своего».

3

Едва Торарин выехал на дорогу, как навстречу ему выбежала его собака и запрыгнула в повозку. Торарин понял, что Грим поджидал его все это время за воротами, на стуже, и на сердце у него снова стало беспокойно.

— Дружище, неужто простоял ты весь вечер за воротами? Отчего не пошел в дом и не подкрепился

ужином? — сказал он собаке. — Или плохое что с господином Арне должно случиться? Может статься, я видел-то его в последний раз? Да ведь и такой сильный человек должен же когда-то умирать. Ему небось уже под девяносто.

Он направил лошадь на дорогу, что вела мимо Бранехёга к Эдсмольшилю.

Подъехав к Бранехёгу, Торарин обнаружил, что на дворе стоят сани, а сквозь отверстия в стене дома пробивается свет.

Увидев это, Торарин сказал Гриму:

— Здесь еще не ложились спать. Заеду-ка я да узнаю, правда ли, что под вечер здесь точили ножи.

Он въехал во двор и, отворив дверь, увидел, что там пировали. Вдоль стен на скамьях сидели, потягивая пиво, старики, а посреди комнаты пели и играли те, кто помоложе. Торарину стало сразу ясно, что уж нынче вечером в этом доме никому не могло бы прийти в голову готовить оружие для какого-нибудь кровавого дела. Он притворил дверь и собирался было уйти, но следом за ним вышел хозяин. Он сказал, что коли уж Торарин заехал к нему, то должен остаться, и повел его в дом.

Крестьяне были уже навеселе, и, перекинувшись с ними словом, Торарин стал замечать, что настроение у него поднимается и из головы уходят прочь разные тяжелые мысли.

Но поздним гостем на пиру оказался не один Торарин. Спустя какое-то время в дверях появились мужчина и женщина. Одеты они были бедно и, стоя между дверью и печью, робко переминались с ноги на ногу. Хозяин сразу подошел к ним. Взяв каждого из них за руку, он завел их в комнату. Потом, обращаясь ко всем, сказал:

— Вот правду же говорят, что последними приходят те, у кого дорога самая короткая. Это мои ближайшие соседи. Кроме нас, нет здесь в Бранехёге больше арендаторов.

— Ну, правильнее будет сказать — кроме тебя. Меня ты не должен называть арендатором. Я всего-навсего

бедный углежог, которому ты позволил обосноваться на своей земле.

Мужчина присел рядом с Торарином, и они разговорились. Он рассказал Торарину, почему так запоздал на пир. А все оттого, что к нему в его лачугу зашли трое незнакомых мужчин, и они с женой не решились оставить их в доме одних. Все трое оказались скорняками и пробыли у них весь день. Утром, как только пришли, они едва стояли на ногах от усталости. Они сказали, что заблудились и целую неделю бродили по лесу. Потом, поев и отоспавшись, они скоро набрались сил, а к вечеру спросили, где здесь в округе есть двор побогаче. Они собирались поискать там себе работу. Жена сказала им, что самый знатный двор здесь у господина Арне. Тогда они достали из своих котомок длинные ножи и принялись их точить. Занимались они этим делом довольно долго, а вид у них при этом был такой злоеший, что углежог и его жена побоялись оставить дом.

— Они и теперь у меня перед глазами с ножами своими звенящими, страшные, с длинными спутавшимися бородами, в одежде из мохнатых шкур, оборванных и грязных. Когда вошли они в дом к нам, я подумал, что то были три оборотня. Рад, что они ушли уже.

Торарин слушал его внимательно, а когда углежог закончил, рассказал ему о том, чему был свидетелем в доме у пастора.

— Стало быть, правда, что в Бранехёге нынче ножи точили, — сказал Торарин и засмеялся. Он много выпил, оттого что, когда пришел в этот дом, на душе у него лежала тяжесть. Вот и постарался утешиться, как мог. — Теперь-то уж хорошее настроение вернется ко мне, — сказал он, потому что звон ножей, что слышала пасторша, вовсе не был дурным знаком. Просто скорняки затачивали свои инструменты.

4

Уже далеко за полночь в Бранехёге несколько мужчин в доме встали и направились к двери, чтобы запрячь лошадь и ехать домой.

Едва они вышли во двор, как увидели, что на севере полыхает огонь и пламя поднимается к самому небу. Они тут же вернулись обратно в дом и закричали:

— Вставайте! Вставайте! Пожар в доме пастора в Сульберге!

На пиру в этот вечер собралось много людей, и те, кто был верхом, вскочили в седла и поскакали к пасторскому дому. Но и другие, что побежали на своих двоих, не слишком отставали от них. Людей во дворе Сульберги они не увидели; казалось, все спят, хотя огненные языки вздымались высоко в небо.

Однако горела не усадьба, а куча дров, соломы и хвороста, собранная у одной из стен старого пасторского дома. Огонь полыхал, видно, недолго. Добрые старые бревна, из которых был срублен дом, успели пока еще лишь почернеть, да на соломенной крыше подтаял снег. Но теперь огонь уже начинал цепляться и за солому на крыше.

Все сразу поняли, что это поджог. Но было неясно, точно ли господин Арне и его люди спят или же с ними случилось несчастье.

Но прежде чем войти в дом, люди сперва длинными кольями отодвинули полыхавший костер от стены и, забравшись на крышу, покидали с нее уже дымившуюся и готовую вот-вот вспыхнуть солому.

Сделав это, несколько человек направились к двери, чтобы разбудить господина Арне, но шедший первым остановился у самого порога и, посторонившись, уступил это право мужчине, что шел за ним следом.

Тот шагнул вперед, но когда ему осталось лишь надавить на дверную ручку, он отодвинулся, предоставляя сделать это другим.

Они никак не могли решиться отворить эту ужасную дверь, из-под которой широкими языками медленно вытекала кровь, а ручка была вся в кровавых пятнах.

Вдруг дверь перед ними открылась сама, и на пороге появился помощник господина Арне. На голове его зияла глубокая рана. Весь в крови, покачиваясь, он сделал несколько шагов в сторону людей. Какое-то мгновение

он стоял, выпрямившись и вытянув руку вперед, чтобы все замолкли. Потом хриплым голосом он сказал:

— Этой ночью господина Арне и всех его людей убили трое мужчин, одетых в грязные шкуры. Они пробрались в дом через отверстие в крыше, словно дикие звери набросились на нас и убили всех.

Больше он не смог сказать ни слова. Он упал прямо под ноги стоявшим перед ним и умер.

Тогда люди вошли в дом и увидели, что все было точно так, как и сказал помощник пастора.

Большой дубовый сундук, где господин Арне хранил свои деньги, пропал. Из стойла была уведена лошадь, а из-под навеса взяты сани господина Арне. Следы от саней вели от ворот в поля, принадлежавшие пастору, и дальше в сторону моря; двадцать мужчин тут же поспешили в погоню, чтобы схватить убийц.

Женщины стали заниматься мертвыми. Они вынесли их из залитого кровью дома и уложили на чистый снег.

И тут они увидели, что среди мертвых были не все люди господина Арне. Недоставало бедной девушки, жившей в его доме. Женщинам было неизвестно, удалось ли ей убежать или же убийцы прихватили ее с собой.

Но когда они как следует осмотрели весь дом, то нашли ее спрятавшейся в проеме за печью. Девушка просидела там все время и была невредима. Но она была настолько напугана, что совсем не могла говорить и отвечать на вопросы.

НА ПРИЧАЛЕ

Несчастную девушку, пережившую кровавую баню, Торарин увез с собой в Марстранд. Он очень ее жалел и потому решил предложить ей поселиться в его тесной лачуге вместе с ним и его матерью, чтобы делить с ними их скудное пропитание.

«Это все, что я могу теперь сделать для господина Арне, — рассуждал Торарин, — чтобы отплатить ему добром за то, что он часто покупал у меня рыбу и приглашал

к своему столу. Пусть я беден и незнатен, но для девушки уж всяко лучше будет поехать со мной в город, нежели оставаться здесь среди крестьян. В Марстранде много богатых горожан, может статься, кто-нибудь из них возьмет девушку к себе в услужение, и она, глядишь, там неплохо прокормится».

Приехав в город, девушка поначалу рыдала все дни напролет. Она оплакивала господина Арне и его домочадцев и переживала потерю всех близких ей людей. Но больше всего плакала она по своей сводной сестре. Она не могла простить себе, что спряталась тогда за печью, а не приняла смерть вместе с нею.

Пока Торарин был дома, его мать ничего на это не говорила. Но когда Торарин снова отправился развозить рыбу, однажды утром она сказала девушке так:

— Я не настолько богата, Эльсалиль, чтобы кормить и одевать тебя, а ты будешь только сидеть сложа руки да убиваться своим горем. Пойдешь со мной на причал и научишься там чистить рыбу.

Эльсалиль послушалась и простояла весь день на причале, работая рядом с другими женщинами. Почти все они были молоды и веселы. Они пробовали заговорить с Эльсалиль и все спрашивали ее, отчего она такая грустная и неразговорчивая. И тогда Эльсалиль стала рассказывать им обо всем, что приключилось с ней всего лишь за три дня до этого. Она рассказала о трех разбойниках, которые пробрались в их дом через отверстие в крыше и убили всех близких ей людей. Эльсалиль не закончила еще свое повествование, когда на стол, за которым она работала, легла черная тень. Эльсалиль подняла голову и увидела перед собой трех знатных господ в широкополых шляпах с длинными перьями и в расшитых золотом и шелком бархатных кафтанах с широкими буфами.

Среди них один, похоже, был самым важным: У него было гладко выбритое лицо, очень бледное, с глубоко посаженными глазами. Можно было подумать, что совсем недавно он перенес тяжелую болезнь. Тем не менее он производил впечатление веселого и дерзкого кавалера, прогуливающегося по освещенному солнцем

причалу, чтобы люди могли любоваться его дорогим нарядом и красивым лицом.

Эльсалилль перестала работать и оборвала на полуслове свой рассказ. Она стояла с разинутым ртом и разглядывала его широко раскрытыми глазами. Он улыбнулся ей.

— Мы вовсе не хотели напугать тебя, девушка, — сказал он, — и просим позволения дослушать твою историю.

Бедная Эльсалилль! Никогда еще в своей жизни не видела она такого знатного господина. Она решила, что не имеет права говорить в его присутствии, и поэтому молчала, опустив глаза на свою рыбу.

Тогда незнакомец снова обратился к ней:

— Не бойся нас, девушка! Мы — шотландцы, и состоим уже добрый десяток лет на службе у шведского короля Юхана*. А нынче получили отпуск и собираемся отплыть домой. Мы добрались до Марстранда, надеясь найти здесь корабль, который мог бы взять нас с собой в Шотландию. Но здесь мы узнали, что все проливы в шхерах замерзли, и теперь нам остается лишь ждать. Дел у нас здесь никаких нет, и мы просто гуляем по причалу и глядим на людей. Мы будем очень благодарны тебе, девушка, если ты позволишь нам дослушать твой рассказ.

Эльсалилль поняла: он нарочно говорил так долго, чтобы дать ей время успокоиться. И она сказала себе: «Ты должна показать, что ты не какая-нибудь простая рыбацка, которой не пристало говорить со знатными господами. Ведь ты же девушка благородного происхождения».

— Я рассказывала о кровавой бане в Сульберге, в доме пастора, — сказала Эльсалилль. — Об этом знают и говорят уже многие.

— Это так, — сказал незнакомец, — но прежде я что-то не слышал, чтобы кто-нибудь из домочадцев господина Арне остался жив.

Тогда Эльсалилль вновь стала рассказывать о том, что совершили злые разбойники. Она поведала, как старые работники встали вокруг господина Арне, чтобы

защитить его, и как сам господин Арне сорвал меч со стены и пошел с ним на разбойников, но и он, и работники все же были повержены. И тогда старая пасторша подняла меч своего мужа и бросилась на него даяв. Но над ней лишь посмеялись и сбили ее с ног ударом поленна. Остальные женщины забрались на печь, но, убив всех мужчин, злодеи стащили с печи на пол женщин и убили их тоже.

— Последней убили они мою дорогую сводную сестру. Она так молила их не убивать ее, и двое из них уже хотели было оставить ей жизнь, но тут третий сказал, что умереть должны все, и всадил нож ей в сердце.

Пока Эльсалилль рассказывала об убийстве и о пролитой крови, трое незнакомцев стояли перед ней молча. Ни разу не обменялись они взглядом и слушали Эльсалилль с таким напряжением, что уши их оттопырились, глаза засверкали, а губы то и дело раскрывались и обнажали зубы.

Глаза Эльсалилль были полны слез, и пока она говорила, она ни разу не подняла головы. Поэтому она не могла увидеть, как глаза и зубы стоявшего перед ней мужчины вдруг стали похожи на волчьи. Лишь закончив свой рассказ, она вытерла слезы и взглянула на него. Но когда он встретился взглядом с Эльсалилль, лицо его тотчас переменялось.

— Ты находилась так близко от убийц, девушка, — сказал он, — что, наверное, смогла бы узнать их, если бы встретила.

— Было темно, и я видела их лишь при свете головешек, которые они вытащили из печи, чтобы осветить себе во время убийства, — сказала Эльсалилль. — Но с Божьей помощью, думаю, я смогла бы их узнать. И я каждый день молю Бога, чтобы он помог мне найти их.

— Как же тебя понимать, девушка? — спросил незнакомец. — Ведь все убийцы мертвы, или это не так?

— Да, я знаю, — сказала Эльсалилль. — Крестьяне, погнавшиеся за ними, шли по их следу от двора пастора до большой проруби во льду. У самой кромки проруби видны были следы полозьев, лошадиных подков,

следы тяжелых, подбитых железом сапог. А за прорубью никаких следов на льду больше не было. Поэтому крестьяне и решили, что все погибли.

— А ты разве думаешь иначе, Эльсалиль? — спросил незнакомец.

— Да, наверное, они утонули, — сказала Эльсалиль, — и все же я постоянно молю Бога об их спасении. Я говорю Богу: «Пусть случится так, что в прорубь они бросили лошадь и сани, а сами спаслись!»

— Но почему ты этого так хочешь, Эльсалиль? — спросил незнакомец.

И тогда Эльсалиль, слабая, хрупкая девушка, откинула голову назад, и глаза ее загорелись.

— Потому что, если они живы, я смогу отыскать их и схватить, смогу вырвать сердца из их груди. Потому что, если они живы, я смогу увидеть, как их станут колесовать и четвертовать!

— Но как же думаешь ты исполнить все это? — спросил незнакомец. — Ведь ты всего только слабая девушка.

— Если они живы, — ответила Эльсалиль, — я смогла бы сделать так, чтобы наказание свое они получили. И лучше я умру, чем позволю им уйти от расплаты. Я знаю, они большие и сильные, но спастись от меня им не удалось бы все равно.

Незнакомец при этих словах рассмеялся, но Эльсалиль топнула ногой.

— Если убийцы живы, я никогда не прощу им, что они отняли у меня дом и что теперь я стала бедной и должна стоять на холодном причале и чистить рыбу. Я не прощу им того, что они предали смерти всех моих близких, но крепче всего буду я помнить его — того, кто стащил с печи мою сводную сестру, так любившую меня, и жестоко убил ее.

То, что такая маленькая и слабая девушка была столь сильно разгневана, вызвало у всех троих шотландских ландскнехтов приступ хохота. Им стало так смешно, что они тут же поторопились уйти, чтобы не обидеть Эльсалиль. Они прошли через гавань и исчезли из виду в тесном переулке, что вел в сторону рыночной

площади. Но, долго еще доносился до Эльсалилль их громкий, раскатистый и язвительный хохот.

ПОСЛАННИЦА

Господина Арне похоронили в церкви Сульберги на восьмой день. И тогда же на рыночной площади в Бранехёге собрался тинг, чтобы решить, как быть с этим убийством.

В Бохуслене господина Арне знали хорошо, и на его похороны пришел народ со всей округи — и с островов, и с побережья. Людей было столько, что можно было подумать, будто целая армия собралась здесь вокруг своего предводителя. А на дороге от церкви Сульберги до Бранехёга не осталось ни дюйма невытоптанного снега.

Уже к вечеру, когда все стали разъезжаться по своим дворам, Торарин, торговец рыбой, отправился из Бранехёга в сторону Сульберги.

В этот день Торарин успел поговорить со многими людьми. Снова и снова рассказывал он о том, как убили господина Арне. Здесь же на площади тинга его угощали, и не одну кружку пива пришлось опорожнить ему за беседой с рыбаками и крестьянами, приехавшими на тинг из дальних округов.

Почувствовав вялость и тяжесть в голове, Торарин на пути прилег в своей груженной рыбой повозке. Ему было грустно оттого, что нет больше господина Арне. А когда до двора пастора было уже рукой подать, тяжелые мысли стали одолевать его.

— Эх, Грим, собачка моя, поверь я тогда старой пасторше, что она и взаправду могла слышать, как точат ножи для убийства, я уж сумел бы не дать той беде случиться. Я часто размышляю теперь об этом, Грим, собачка моя. И беспокойно у меня на душе, словно бы я сам приложил руку к тому, чтобы господин Арне покинул этот мир. Вот что скажу я тебе. Уж коли впредь услышу что-нибудь эдакое, сразу тому поверю, да и сделаю тогда все, как подобает!

Пока Торарин так рассуждал, разлегшись в своей повозке и полузакрыв глаза, лошадь сама решала, куда

ей идти, и, добравшись до пасторского двора в Сульберге, она по старой привычке прошла сквозь проем в изгороди и встала как раз перед входом в конюшню. Торарин ничего этого не знал, и, только почувствовав, что лошадь остановилась, он приподнялся и огляделся. Когда же он понял, что находится во дворе перед тем самым домом, где всего-то неделю назад зарезано было столько людей, его охватила дрожь. Он тотчас схватил вожжи, чтобы развернуть лошадь и выехать со двора на дорогу, но в этот самый момент кто-то хлопнул его сзади по плечу, и он оглянулся. Подле него стоял старик Улоф, конюх, служивший у пастора так давно, что Торарин и не помнил, с каких пор.

— Что, Торарин, неужто спешишь ты со двора съехать на ночь глядя? — сказал работник. — Зашел бы лучше в дом. Господин Арне там тебя дожидается.

Тысячи мыслей промелькнули в голове у Торарина. Он никак не мог решить, сон это или явь. Ведь конюха Улофа, того самого, что стоял теперь перед ним целый и невредимый, видел он всего неделю назад мертвым, лежащим с перерезанным горлом рядом с другими мертвецами.

Торарин схватился за вожжи покрепче, решив, что лучше будет поскорее отсюда выбраться. Но рука конюха Улофа все еще лежала на его плече, и старик продолжал его уговаривать.

Тогда Торарин попытался быстро выдумать какой-нибудь основательный довод.

— Да я вовсе и не собирался заезжать сюда и беспокоить в столь поздний час господина Арне, — сказал он. — Лошадь сама, без ведома моего пришла сюда. А мне теперь самое время поехать подыскать себе ночлег. Но уж коли господину Арне хочется меня видеть, завтра поутру я сюда заеду.

Сказав это, Торарин нагнулся вперед и с силой стегнул лошадь вожжами, чтобы сдвинуть ее с места.

Однако в ту же секунду работник оказался у головы лошади и, схватив за уздечку, придержал ее.

— Не упрямясь, Торарин! — сказал работник. — Господин Арне еще не ложился спать, он сидит и поджидает

тебя. Да тебе-к тому же должно быть известно, что добрый ночлег ты мог бы получить и здесь, всяко не хуже, чем еще где-либо в нашей округе.

Торарин хотел было возразить, мол, что уж тут хорошего — ночевать в доме без крыши. Но еще раньше он глянул в сторону дома и увидел, что, как и прежде, до пожара, дом был увенчан добротной сработанной крышей с коньком. А ведь еще утром Торарин собственными глазами видел торчащие вверх стропила.

Он смотрел снова и снова, протирал глаза, но пасторский дом стоял по-прежнему целехонький, с крышей, покрытой соломой и снегом, а из отверстия в крыше шел дым и летели искры. Через неплотно прикрытые ставни на снег падали отблески света. Для того, кто ездит по холодным дорогам, ничего нет лучше света, пробивающегося из натопленного дома. Торарин же, увидев свет, напугался еще больше.

Он вновь стегнул лошадь с такой силой, что та встала на дыбы, но не сдвинулась при этом ни на шаг от конюшни.

— Пойдем в дом, Торарин! — сказал конюх. — Ты ведь не хочешь, чтобы потом тебе снова пришлось о чем-нибудь сожалеть?

При этих словах Торарин сразу вспомнил обещание, которое он дал себе, когда лошадь везла его сюда. И тогда он, хотя и стоял в повозке, собираясь снова хлестнуть лошадь, стал вдруг послушным как воск.

— Добро, Улоф-конюх, я готов! — сказал Торарин и прыгнул с повозки. — Ты правду сказал, не хочется мне, чтобы пришлось потом о чем-нибудь сожалеть в этом деле. Давай, веди меня к господину Арне!

Но какими же тяжелыми оказались те несколько шагов, что Торарину понадобилось сделать через двор к нему!

Когда дверь отворилась, Торарин зажмурил глаза, чтобы не глянуть в комнату. Но тут же, думая о господине Арне, стал уговаривать себя, что бояться ему нет причины: «Он столько раз потчевал тебя на славу. Он покупал твою рыбу, даже когда чулан его был полон припасов. И раз уж он всегда был добр к тебе при жиз-

ни, то после смерти всяко не станет причинять тебе зла. У него, видно, есть, о чем попросить тебя. А ты должен помнить, Торарин, что и к мертвым надо относиться с благодарностью».

Тут Торарин открыл глаза и увидел комнату. Там все оставалось в точности так, как и было всегда. Знакомая печь, знакомый узор на ткани. Все же он несколько раз переводил взгляд с одной стены на другую, а потом с потолка на пол, пока наконец не решился взглянуть на стол и скамью, туда, где обычно сидел господин Арне.

И там, в центре стола, между женой и своим помощником, так же, как это было тогда, восемь дней назад, сидел живехонький господин Арне. Казалось, он только перед тем закончил ужинать и отодвинул от себя миску, ложка же лежала на столе прямо перед ним. За столом сидели также все его работники, старые мужчины и женщины, и лишь одна девушка.

Торарин долго стоял в дверях, не произнося ни звука, и разглядывал всех. Похоже было, что они чем-то встревожены и опечалены, и даже сам господин Арне сидел мрачный, подперев голову рукой.

Но вот Торарин увидел, как господин Арне поднял голову.

— Улоф-конюх, не вошел ли с тобой вместе в дом кто-то чужой?

— Да, — ответил работник, — это Торарин, торговец рыбой, он был сегодня на тинге в Бранехёге.

При этих словах лицо господина Арне, кажется, чуть оживилось, и Торарин вновь услышал его голос:

— Входи же в дом, Торарин, и поведай нам о том, что решил тинг! Я всю ночь жду тебя здесь.

Все это произошло настолько естественно и буднично, что страх у Торарина пропал вовсе. Он спокойно прошел через комнату и подошел к господину Арне. Он даже спросил себя, а не приснилось ли ему, что господина Арне убили, и, может, на самом-то деле он был жив.

Но, проходя по комнате, Торарин по старой привычке бросил взгляд на полог кровати, подле которого

стоял обычно сундук с деньгами. Однако сундука, обитого железом, на месте не было, и когда Торарин это понял, его снова охватил страх.

— Расскажи нам теперь, Торарин, о чем говорили сегодня на тинге.

Торарин начал было рассказывать о тинге, стараясь как можно лучше выполнить то, о чем его попросили, но все никак не мог совладать с языком, и потому все время запинался и путался.

Господин Арне наконец перебил его:

— Торарин, поведай мне лишь самое важное! Найдены ли и наказаны ли убийцы наши?

— Нет, господин Арне, — набрался храбрости ответить Торарин. — Ваши убийцы покоятся на дне Ханефьорда. Разве можно наказать их теперь?

Услышав такой ответ, господин Арне с силой стукнул по столу рукой. К нему, похоже, снова вернулось мрачное настроение.

— Что это ты такое говоришь, Торарин? Неужто ленскерре* Бохуса, приехавшему с судьями и писарями провести здесь тинг, никто так и не смог сказать, где должен искать он убийц наших?

— Нет, господин Арне, никто из живых не мог сказать ему этого.

Господин Арне сдвинул брови и какой-то момент сидел, хмуро глядя куда-то перед собой. Потом снова повернулся к Торарину.

— Я знаю, что ты мне предан, Торарин. Быть может, ты скажешь мне, как отомстить моим убийцам?

— Я понимаю, господин Арне, что вы желали бы отомстить тем, кто так жестоко отобрал у вас жизнь, — сказал тогда Торарин. — Но среди нас, ходящих по этой благословенной Богом земле, нет никого, кто смог бы помочь вам в этом.

Получив такой ответ, господин Арне погрузился в долгие раздумья. Наступила тишина. Через какое-то время Торарин осмелился ее наконец нарушить:

— Господин Арне, я исполнил ваше желание, рассказал вам, как прошел тинг. Хотите ли вы еще о чем-то спросить меня или позволите мне уехать?

— Торарин, ты не должен уйти, не ответив мне еще раз, сможет ли отомстить за нас кто-нибудь из живых?

— Нет. Даже если, чтобы отомстить убийцам вашим, вместе соберутся все люди Бохуслена и Норвегии, они все же не сумеют найти их, — ответил Торарин.

И тогда господин Арне сказал:

— Что ж, коли живые не в силах помочь нам, придется делать все самим.

Господин Арне принялся громко читать «Отче наш», но не по-норвежски, а по-латыни, как это обычно делалось здесь еще прежде его времени. И при каждом слове молитвы он попеременно указывал пальцем на кого-то из сидевших за столом. Так прошел он по кругу не один раз, пока не осталось ему лишь произнести «аминь». И когда он сказал это слово, рука его указывала на девушку, дочь его сына.

Она тотчас поднялась со скамьи, и господин Арне сказал ей:

— Ты знаешь, что предстоит тебе совершить.

В ответ девушка принялась сетовать:

— Не посылай меня за этим! Разве по силам такое девушке?

— Разумеется, ты пойдешь, — сказал господин Арне. — И будет справедливо, что пойдешь именно ты, ибо месть нужна тебе более, чем всем остальным нам. Ведь ни у кого из нас не отняли они от жизни столько лет, как у тебя, самой молодой среди нас.

— Я не требую мести ни у кого из живых, — сказала девушка.

— Ты пойдешь теперь же, — повторил господин Арне. — Но ты не будешь одна. Тебе должно быть известно, что среди живых есть еще двое, сидевших восемь дней назад за этим столом.

Торарин слышал слова, сказанные господином Арне, и понял их так, что и ему предназначается искать убийц и злодеев и биться с ними. И он воскликнул:

— Ради Бога милосердного, молю вас, господин Арне...

Тут Торарину показалось вдруг, будто и господин Арне, и весь двор пасторский растворились в какой-то

дымке, а сам он стал падать куда-то вниз. И здесь он потерял сознание.

Когда же Торарин снова пришел в себя, уже светало. Он увидел, что лежит прямо на земле в пасторском дворе Сульберги. Повозка с лошастью стоит рядом, а Грим лает и воет прямо над ним.

— Так, стало быть, все это был сон, — сказал Торарин. — Теперь-то я понимаю. Двор, конечно же, пуст и разорен. И не видел я ни господина Арне, ни других. А во сне я так напугался, что выпал из повозки на землю.

ПРИ СВЕТЕ ЛУНЫ

Спустя четырнадцать дней после убийства господина Арне наступили ясные лунные вечера. В один из таких вечеров Торарин при ярком свете луны ехал в своей повозке. Время от времени он останавливал лошадь, и можно было подумать, будто он ищет дорогу. А ведь он ехал не через лес, где легко заблудиться, а по открытому месту, которое вполне можно принять за широкую равнину, где то и дело на пути встречаются скалистые холмы.

Все вокруг покрыто было белым сверкающим снегом. Погода стояла безветренная, и снег лег ровно, без сугробов и заносов, какие бывают при выюге. Повсюду, насколько только хватало глаз, была все та же гладкая равнина и все те же холмы.

— Послушай, Грим, собачка моя, — сказал Торарин, — вот ежели бы мы теперь увидели с тобой это в первый раз, то уж точно решили бы, что едем по широкой степи. И все-таки стали бы удивляться, какая, мол, тут ровная земля, а дорога-то и вовсе без валунов и без выбоин. И что же это за дорога такая, сказали бы мы, где по обочинам нет ни канав, ни изгородей, и как же это так может быть, что из-под снега не выбивается нигде ни солома, ни кустарник? И отчего это не попадают на пути ручейки разные да речушки, а ведь они уж всегда, даже в морозы самые крепкие, умудряются по белому полю проложить свои черные борозды?

От таких рассуждений Торарин определенно получал удовольствие, и даже Гриму были они приятны. Он лежал, не двигаясь, на своем месте в повозке и молчал.

Едва лишь Торарин закончил свою речь, как повозка миновала высокий шест с прикрепленной на нем метелкой.

— Ну, а вот, предположим, мы были бы с тобой здесь чужестранцы, Грим, собачка моя, — продолжил Торарин, — тогда мы должны были бы задать себе вопрос: что же это за такая странная степь, где ставят знаки, которыми мы пользуемся лишь в море? Неужто и в самом деле это море, сказали бы мы наконец. Но тут же, наверное, решили бы, что этого уж быть не может никак... Вот все это тут вокруг нас, такое твердое и прочное, — неужто всего-навсего вода? А вот эти скалистые холмы, все на одной тверди стоящие, ну разве же могут они быть островками в шхерах, меж которыми катятся пенящиеся волны? Нет-нет, мы не смогли бы, Грим, собачка моя, поверить, что такое возможно.

Торарину стало весело, и он засмеялся, а Грим по-прежнему лежал спокойно и не двигался. Торарин ехал все дальше, пока не обогнул высокий холм. И тут он вскрикнул так, словно увидел что-то уж больно странное. Он сделал вид, будто сильно удивлен, отпустил вожжи и прихлопнул в ладоши.

— Грим, собачка моя, а ведь ты все не хотел поверить, что это было море! Ну теперь-то ты наконец видишь, что это такое? Поднимись да сам убедись, что там впереди стоит большой корабль! Ладно, допустим, ты мог не узнать знак, которым пользуются в море, но тут ты ошибиться уж никак не можешь. Тут уж тебе придется признать, что мы едем по самому настоящему морю.

На мгновение Торарин умолк и стал разглядывать большой вмержший в лед корабль. Странно смотрелся он на ровном снежном поле, будто попал сюда по ошибке. Заметив, что от корабля вверх поднимается тонкая струйка дыма, Торарин подъехал ближе и стал звать шкипера, чтобы узнать, не купит ли тот его рыбу. На дне повозки у него оставались всего несколько

рыбешек, ибо перед тем успел он уже объездить все другие застрявшие в шхерах суденышки, где и распродал почти весь свой запас.

Шкипер и его команда умирали на корабле со скуки. Они купили рыбу у торговца не столько потому, что она была нужна им, а чтобы хоть с кем-то перекинуться словечком.

Когда они сошли на лед и подошли к Торарину, тот с самым невинным видом заговорил о погоде.

— Что-то не припомню, чтобы в этих краях когда-либо стояла такая прекрасная погода, как нынче, — сказал Торарин. — Вот уже три недели, как морозы все держатся, и совсем нет ветра. Здесь, в шхерах, мы привыкли к другому.

Но шкипер, чей галеас, набитый бочками с сельдью, застрял в заливе неподалеку от Марстранда в тот момент, когда впереди было уже открытое море, мрачно посмотрел на Торарина и ответил:

— Ты, значит, называешь это прекрасной погодой?

— Ну, а как же я могу называть такую погоду иначе? — спросил Торарин. Глаза его при этом были невинны, как у ребенка. — Небо днем ясное, синее. Да и ночи столь же нарядные и тихие, как дни. Разве мне доводилось когда раньше ездить по льду? Не так уж часто море здесь замерзает, а если в какой-то год оно льдом и покрывалось, то шторм через несколько дней разгонял его.

Шкипер стоял угрюмый и хмурый. На болтовню Торарина он ничего не ответил. Тогда Торарин полюбопытствовал, отчего тот не сходит в Марстранд.

— Тут ведь будет не более часа пути по льду, — сказал Торарин. Однако ответа не последовало и на это. Торарин понял, что парень, видно, ни на минуту не желает оставить свой галеас из боязни упустить момент, когда льды начнут отступать и можно будет выйти в море.

«Редко у кого я видел такие полные тоски глаза», — подумал Торарин.

А шкиперу, уже много дней запертому в шхерах, приходили в голову разные мысли, и он спросил Торарина:

— Вот ты везде едешь и слышишь, что там люди говорят о всяком. Может, известно тебе, зачем Бог надолго запер здесь все выходы в море и держит всех нас в плену?

Как только он это сказал, Торарин сразу переменял тон, однако сделал вид, будто не понимает:

— Не знаю, о чем это ты говоришь.

— Послушай, как-то я простоял в Бергене целый месяц, день за днем дул тогда встречный ветер, и ни один корабль из гавани выйти не мог. А на одном из застрявших там кораблей скрывался в это время человек, ограбивший церковь, и не случись тогда шторм, ему удалось бы сбежать. Люди тем временем узнали, где прятался грабитель, и как только он взят был с корабля на берег, погода сразу исправилась и задул попутный ветер. Понимаешь теперь, о чем я думаю, когда спрашиваю тебя: знаешь ли ты, отчего Бог держит закрытыми ворота в море?

На мгновение Торарин замолчал. Казалось, он хотел ответить серьезно. Однако передумал и сказал:

— Я гляжу, ты совсем уже скис от долгого сидения в шхерах. А отчего не сходить тебе в Марстранд? Уж можешь мне поверить, что нынче там не скучают. В городе собрались теперь сотни чужестранцев. А потому как заняться им нечем, они там только пьют да танцуют.

— С чего же это им так весело? — поинтересовался шкипер.

— Так ведь там собрались такие же моряки с застрявших во льду кораблей, как и ты. Много рыбаков, возвратившихся домой после отлова сельди. Потом, в городе сейчас добрая сотня шотландских ландскнехтов, получивших отпуск со службы. Теперь дожидаются они случая отправиться в свою Шотландию. Неужто вся эта братия станет ходить там с опущенными головами и упустит возможность повеселиться всласть?

— Не знаю, может, и есть у них желание веселиться, только, по мне, так уж лучше здесь ждать, — сказал шкипер.

Торарин бросил на него быстрый взгляд. Шкипер был высок и сухощав. Глаза у него были светлые и чистые, как вода, и смотрели они очень грустно. «Нет,

парня этого развеселить не под силу никому», — подумал Торарин.

А шкипер снова завел с ним разговор.

— Эти шотландцы, — спросил он, — люди хорошие?

— Может, это ты и повезешь их в Шотландию? — вопросом ответил на его вопрос Торарин.

— У меня груз до Эдинбурга, — добавил шкипер, — и один из шотландцев сейчас только был здесь и спрашивал, согласен ли я взять их с собой. Но мне не очень-то нравится идти в море, имея на борту таких буянов. И я сказал ему, что мне надо бы подумать. Ты что-нибудь слышал о них? Думаешь, можно их взять без опаски?

— Я только слышал о них, что это храбрый народ. Можешь смело брать их с собой.

Однако стоило Торарину сказать это, как собака его тотчас поднялась, встала в повозке, задрала нос к небу и завывала.

Торарин сразу же перестал расхваливать шотландцев.

— Что это вдруг с тобой, Грим, собачка моя? — спросил он. — Небось считаешь, что я больно долго стою здесь да время понапрасну трачу за разговорами?

Торарин приготовился ехать.

— Ладно, удачи тебе! — сказал он на прощание. Торарин направился в Марстранд по узкой протоке между островами Клёверён и Куён. А когда впереди уже показался Марстранд, он увидел вдруг, что был на льду не один.

В ярком свете луны хорошо был виден высокий мужчина, осанистой походкой шагавший по снегу. На нем была шляпа, украшенная перьями, и богатая одежда с широкими буфами на рукавах.

«Гляди-ка, — сказал Торарин самому себе, — значит, это сэр Арчи, командир шотландцев, был на галеасе и договаривался со шкипером».

Торарин был со своей повозкой так близко от шотландца, что даже заехал на длинную тень его, скользившую за ним по снегу. Передними копытами лошадь уже ступила на перья шляпы в рисунке тени.

— Грим, — сказал Торарин, — может быть, предложим ему доехать до города в нашей повозке?

Собака тотчас же стала подниматься, и Торарин поспешил положить руку ей на спину.

— Успокойся, Грим, собачка моя! Вижу, что шотландцев ты недолюбливаешь.

Сэр Арчи между тем не замечал, что кто-то едет совсем рядом от него. Он шел, не оглядываясь. Торарин принял чуть в сторону, собираясь его объехать. И тут увидел он за спиной шотландского господина еще одну тень или что-то похожее на тень. Это было нечто серое, вытянутое и тонкое, плывущее по снегу бесшумно и не оставляя никаких следов. Шотландец шел широкими шагами. Он не смотрел ни вправо, ни влево. Но серая тень скользила столь близко от него, что казалось, будто она что-то хотела шепнуть ему на ухо.

Торарин проехал еще немного вперед, пока не поравнялся с ними обоими. Свет луны позволил ему разглядеть лицо шотландца. Брови его были сдвинуты, а выражение на лице такое, словно ему докучала какая-то неприятная мысль. И как раз в тот момент, когда Торарин обогнал его, он оглянулся и посмотрел назад, будто почувствовал за спиной чье-то присутствие.

Торарин отчетливо видел теперь, что за сэром Арчи, крадучись, скользит молодая девушка в серой просторной одежде, но сэр Арчи не замечал ее. Когда он обернулся, она тотчас застыла на месте; на нее легла тень самого сэра Арчи, широкая и темная, и скрыла ее.

Сэр Арчи пошел дальше, и тогда девушка вновь постаралась приблизиться к нему и опять пошла за ним, словно бы нашептывая ему все время что-то в ухо.

Когда же Торарин увидел все это, его охватил такой ужас, что совладать с ним он уже не смог. Он закричал что было сил и так хлестнул лошадь, что она рванулась и понесла, а когда остановилась у двери его лачуги, с нее лил пот.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ

1

Город со всеми своими домами и строениями находился в той части острова Марстранд, что была

обращена в сторону шхер и прикрывалась целым венком из островков — малых и совсем крошечных. Здесь были городские улочки и переулки, всегда заполненные людьми, здесь была гавань, забитая кораблями и лодками, здесь солили сельдь, чистили рыбу, здесь же неподалеку были церковь и кладбище, ратуша и рынок. И здесь росло много высоких деревьев, зеленые кроны которых летом всегда раскачивались на ветру.

А на другой половине острова Марстранд, обращенной к западу, в сторону моря и не защищенной ни островками, ни шхерами, не было ничего, кроме голых скал да изрезанных, уходящих в море каменных гряд. Были еще бугры бурого цвета, поросшие вереском, заросли терновника, норы выдр и лисиц, гнезда чаек и гаг, но не было там ни тропинок, ни домов, ни людей.

Лачуга Торарина стояла высоко, на самом гребне острова, так что по одну сторону от нее лежал город, а по другую была пустошь. И когда Эльсалилль открывала дверь, перед собой видела она лишь большие голые камни, с которых в сторону запада открывалась безбрежная даль, где у горизонта просматривалась темная полоска открытого моря.

Когда море вокруг Марстранда вдруг покрывалось льдом, моряки и рыбаки, оказавшиеся запертыми в городе, ходили часто мимо дома Торарина, чтобы, забравшись на скалы, всматриваться в море, не начали ли проливы сбрасывать с себя ледяное покрывало.

Эльсалилль часто стояла в дверях и смотрела, как люди шли к скалам. После свалившегося на нее большого горя сердце ее постоянно тосковало, и она думала: «По-моему, люди, которым есть чего ждать в жизни, должны быть счастливы. А у меня вот в целом мире не осталось никого, и ждать мне от жизни нечего».

Как-то под вечер Эльсалилль увидела на скале мужчину в широкополой шляпе с большим пером, глядевшего, как и остальные, на запад, в море. Эльсалилль сразу узнала в нем сэра Арчи, старшего среди шотландцев, того самого, что заговорил с ней тогда на причале.

Когда он, возвращаясь в город, проходил мимо дома Торарина, Эльсалилль еще стояла в дверях. И плакала.

— Почему ты плачешь? — спросил он и остановился.

— Плачу я оттого, что нет у меня никаких желаний и мне не к чему в жизни стремиться, — ответила Эльсалиль. — Когда я увидела, как вы стоите на скале и всматриваетесь в море, я подумала: «Вот у него там, по другую сторону моря, есть, конечно же, дом, и он желает поскорее туда отправиться».

От этих слов сердце сэра Арчи смягчилось, и он сказал:

— Много лет никто уже не говорил со мной о моем доме. Одному Богу известно, что там делается теперь в усадьбе моего отца. Когда я оставил дом, чтобы служить в чужих странах, мне было семнадцать лет.

Сказав это, сэр Арчи вошел внутрь бедной лачуги и стал рассказывать Эльсалиль о своем доме.

И Эльсалиль сидела молча и слушала сэра Арчи, а говорил он долго и интересно. И каждое слово, слетавшее с уст его, доставляло Эльсалиль счастье.

Когда же подошло время уходить, сэр Арчи спросил у Эльсалиль разрешения поцеловать ее. Эльсалиль сказала «нет» и подалась к двери. Но сэр Арчи преградил ей дорогу и попытался вырвать поцелуй силой. И в этот момент дверь вдруг открылась, и в дом стремительно вошла хозяйка.

Сэр Арчи тотчас отпрянул от Эльсалиль и, протянув ей на прощание руку, поспешил прочь.

Мать Торарина сказала Эльсалиль:

— Правильно ты сделала, что послала за мной. Не пристало молодой девушке одной оставаться дома с таким мужчиной, как сэр Арчи. Ты ведь знаешь, что у наемников этих нет ни совести, ни чести.

— Разве я за вами посылала? — удивилась Эльсалиль.

— Ну да, — ответила старуха, — я стояла на причале и работала, и тут вдруг подходит ко мне невысокая такая девушка, которую я раньше никогда не видела, и говорит, что ты передаешь мне привет и просишь поскорее домой идти.

— Как выглядела эта девушка? — спросила Эльсалиль.

— Да я не рассмотрела даже ее как следует, так что, как она выглядит, сказать тебе не могу; — ответила старуха. — Но я заметила, что по снегу ступала она так легко, что не было слышно ни звука.

Эльсалилль побледнела и сказала:

— Видно, это ангел небесный известил вас и послал домой.

2

Прошло время, и сэр Арчи в другой раз оказался в лачуге Торарина. Кроме него и Эльсалилль, дома не было никого. Они разговаривали, беседа шла у них весело, и оба были этим довольны.

Сэр Арчи уговаривал Эльсалилль ехать с ним вместе в Шотландию. Там бы он выстроил ей дворец и сделал ее знатной дамой.

— У тебя, — говорил он, — будут в услужении сотни девушек, и ты станешь танцевать на королевских балах.

Эльсалилль сидела, затаив дыхание, и внимала каждому слову сэра Арчи. И она верила всему, что он говорил. А сэр Арчи думал, что ни разу еще не доводилось ему встречать девушку, одурачить которую было бы столь просто.

Но вдруг сэр Арчи замолк и взглянул на свою левую ладонь.

— Что-нибудь случилось, сэр Арчи? Отчего вы умолкли? — спросила Эльсалилль.

Сэр Арчи судорожно сжал и снова разжал ладонь, потом повернул ее внутренней стороной вверх.

— Что это, сэр Арчи? — спросила Эльсалилль. — Может быть, у вас появилась боль в руке?

Сэр Арчи перевел испуганный взгляд на Эльсалилль и сказал:

— Взгляни-ка, Эльсалилль, какие-то волосы обвились вокруг моей ладони. Видишь здесь этот светлый локон?

Пока он лишь начал говорить это и произносил самые первые слова, девушка ничего не замечала, но он не успел еще закончить, как Эльсалилль увидела, что

вокруг ладони сэра Арчи несколько раз обвился светлый вьющийся локон.

В ужасе девушка вскочила и воскликнула:

— Сэр Арчи, чьи это волосы обвили вашу руку?

Сэр Арчи посмотрел на нее, и в глазах его было недоумение и замешательство.

— Эльсалиль, ведь это настоящие волосы. Я чувствую, как мягко легли они мне на руку. Но откуда они могли здесь взяться?

Не отрываясь, смотрела девушка на его руку.

— Вот точно так же убийца сестры моей сводной обмотал вокруг своей ладони ее волосы, — сказала она.

Но тут сэр Арчи расхохотался. И быстро спрятал руку.

— Послушай, — сказал он, — мы с тобой пугаемся, как малые дети. Это же были всего-навсего несколько пробившихся сюда солнечных лучиков.

Но девушка заплакала и сказала:

— У меня сейчас такое чувство, словно я опять сижу за печью и вижу, как убийцы делают свою страшную работу. О, до самой последней минуты надеялась я, что они не найдут мою дорогую сестричку, но потом один из них подошел и стянул ее с печи, а когда она попыталась вырваться, он обмотал ее волосы вокруг своей руки и крепко держал ее. Тогда она упала перед ним на колени и сказала: «Взгляни, как я молода! Позволь мне жить, чтобы я смогла прожить долго и понять, зачем появилась на свет! Разве же сделала я тебе что-то, от чего ты должен убить меня? Почему не хочешь ты дать мне жить?» Но он не захотел слушать и убил ее.

Пока Эльсалиль говорила, сэр Арчи стоял, сдвинув брови, и глядел в сторону.

— Ах, если б только я еще раз могла встретить этого человека! — сказала Эльсалиль.

Она стояла перед сэром Арчи, сжав кулаки.

— Но ты же не можешь встретить его, — ответил сэр Арчи. — Ведь он мертв.

Девушка бросилась на скамью и зарыдала.

— Сэр Арчи, сэр Арчи, зачем вы заставили меня думать о мертвых? Весь вечер и всю ночь я буду теперь

плакать. Уходите, сэр Арчи, ибо нет сейчас в душе моей места ни для кого, кроме мертвых. Я стану думать о моей сводной сестричке, о том, как добра была она ко мне.

Сэру Арчи так и не удалось утешить ее, и слезы ее со стенаниями вынудили его в конце концов уйти и отправиться к своим собутельникам.

Сэр Арчи не мог понять, отчего не оставляют его в покое ни днем, ни ночью тяжелые мысли. Он никак не мог отделаться от них, ни когда разговаривал с Эльсалиль, ни когда пил и гулял со своими товарищами. Танцевал ли он ночь напролет, вышагивал ли милоу за милей по льду замерзшего моря — все равно мысли эти всегда были с ним.

«Почему должен я все время думать о том, о чем мне вовсе не хочется вспоминать? — сказал сэр Арчи самому себе. — Мне кажется, что кто-то ходит за мной крадучись повсюду и нашептывает мне эти мысли в ухо. Мне кажется, будто кто-то плетет вокруг меня сеть, — подумал сэр Арчи, — чтобы отлавливать в нее все мои мысли, кроме этой одной. Я не вижу охотника, расставляющего сеть, но шаги его я слышу, когда он за мной крадется. Мне кажется, будто какой-то художник ходит передо мной и рисует все, о чем мне должно думать, но картина при этом получается всегда одна и та же, — думал сэр Арчи. — Поднимаю ли я глаза к небу, опускаю ли вниз — все равно я вижу перед собой только это. Как будто в сердце ко мне забрался каменотес, и вот сидит он там и высекает все только лишь одну печаль, — думал сэр Арчи. — Я не вижу этого каменотеса, но день и ночь слышу, как стучит он. «У тебя каменное сердце, у тебя каменное сердце, вот сейчас ты дрогнешь, вот сейчас вколочу я в тебя печаль», — говорит каменотес».

У сэра Арчи было два друга, сэр Филип и сэр Реджинальд, и они всегда были с ним рядом. Но им тоже было не по себе, оттого что он постоянно бывал мрачен и ничем нельзя было его развеселить.

— Ну чего же не хватает тебе? — спрашивали они часто. — Отчего глаза твои пылают, а щеки становятся все бледнее?

Говорить с ними о своих муках у сэра Арчи желания не было. Он думал: «Интересно, что бы товарищи мои сказали мне, когда б узнали о моих переживаниях, столь постыдных для мужчины. Они ведь тотчас перестали бы слушаться меня, узнав, что я мучаюсь от раскаяния в поступке, совершить который было необходимо».

И потому, когда они все чаще стали одолевать его расспросами, он, дабы направить их по ложному следу, сказал:

— Не везет мне что-то последнее время. Есть здесь одна девушка, которую я хочу завоевать, но никак мне это не удастся. Каждый раз на моем пути возникает какое-нибудь препятствие.

— Может быть, девушка эта просто тебя не любит? — спросил сэр Реджинальд.

— Нет-нет, в благоволении ее ко мне я уверен, — сказал сэр Арчи, — но есть, видно, что-то, что оберегает ее, и потому-то мне все никак не удастся овладеть ею.

Тут сэр Реджинальд и сэр Филип расхохотались и сказали:

— Ладно, девушку эту тебе мы добудем.

Как-то вечером Эльсалилль шла вверх по переулку, который вел к ее дому. Она возвращалась после работы и была очень усталой. По дороге она задержалась: «Такая жизнь очень тяжела и не приносит мне никакой радости. Мне не нравится целый день стоять и дышать запахом рыбы. Не нравится слушать, как женщины шутят и хохочут своими грубыми голосами. Не нравится, как кружат над столом чайки, пытаясь вырвать из рук моих кусок рыбы. О, если бы только кто-нибудь взял и увез меня отсюда! Уж я бы поехала за ним хоть на край света».

Когда Эльсалилль вступила в самую темную часть переулка, из темноты появились вдруг сэр Реджинальд и сэр Филип и поздоровались с ней.

— Юнгфру Эльсалилль! — сказали они. — Нас послал к тебе сэр Арчи. Он болен и лежит на постоялом дворе. Сэр Арчи очень хочет поговорить с тобой и просил нас проводить тебя к нему.

Эльсалилль страшно стало от мысли, что, быть может, сэр Арчи тяжело заболел, и она тут же повернула назад, чтобы идти к нему в сопровождении двух шотландских господ.

Сэр Филип и сэр Реджинальд шли и посмеивались, встречаясь глазами. Они думали, что как же просто все-таки было одурачить Эльсалилль.

А Эльсалилль очень торопилась. Она почти бежала, спускаясь под гору. Сэру Филипу и сэру Реджинальду пришлось прибавить шагу, чтобы поспевать за ней.

И тут вдруг прямо под ногами у Эльсалилль по земле прокатился какой-то предмет, так что она едва не споткнулась.

«Что это еще такое катится передо мной? — подумала Эльсалилль. — Должно быть, наверху я задела ногой какой-нибудь камешек».

Она так торопилась к сэру Арчи, что решила не обращать внимания на катившийся вниз по склону камешек. Ногой она отбросила его в сторону, однако он тут же возвратился обратно и вновь покатился у нее под ногами. Эльсалилль услышала при этом, как камешек зазвенел, словно серебро, блеснув в темноте. «Нет, это вовсе не камешек, — подумала Эльсалилль. — Похоже на серебряную монету». Но она так хотела поскорее увидеть сэра Арчи, что решила не тратить время, поднимая монету с земли. Но что-то все продолжало катиться у нее под ногами, и она снова подумала: «Если теперь остановиться и поднять это, потом можно будет идти еще быстрее. Если же окажется, что это и не монета вовсе, заброшу то, что катится, подальше от дороги».

Она нагнулась, и в руке у нее заблестела большая серебряная монета.

— Что это ты подняла с земли, юнгфру? Что там так сверкает в лунном свете? — спросил сэр Реджинальд.

В двух шагах от них был один из постоянных дворов, где обычно останавливались приезжие рыбаки, занимавшиеся отловом рыбы здесь, в Марстранде. Над входом висел фонарь, отбрасывавший на улицу слабый свет.

— Давай-ка поглядим, юнгфру, что же ты нашла, — сказал сэр Филип и подошел к фонарю.

Эльсалилль поднесла монету к свету и, едва взглянув на нее, громко закричала:

— Это же одна из монет господина Арне! Я узнала ее! Это одна из монет господина Арне!

— Что такое ты говоришь, юнгфру? — спросил сэра Реджинальд. — Как можешь ты знать, что эта монета принадлежала господину Арне?

— Я хорошо знаю ее, — сказала Эльсалилль. — Я часто видела, как господин Арне держал ее в своей руке. Говорю вам, это монета господина Арне!

— Не кричи так громко, юнгфру! — сказал сэра Филипп. — Посмотри, уже собираются люди, они спешат узнать, отчего ты так раскричалась.

Но Эльсалилль уже не слушала сэра Филиппа. Она увидела, что дверь, ведущая на постоянный двор, была приоткрыта. Там, вокруг огня, сидели мужчины и вели спокойную, неторопливую беседу. Эльсалилль решительно шагнула внутрь, держа в поднятой руке монету, и подошла к мужчинам.

— Послушайте, люди! — воскликнула она. — Теперь я знаю точно, что убийцы господина Арне живы. Смотрите! Я нашла одну из монет господина Арне!

Все обернулись к ней. Она заметила, что среди гревшихся подле огня был и Торарин, торговец рыбой.

— Не понимаю, о чем это ты толкуешь, девушка, — сказал Торарин. — Как можешь ты отличить монеты, принадлежавшие господину Арне, от других монет?

— Эту монету я всегда смогу отличить от других, — сказала Эльсалилль. — Она большая и очень старая, а с краю, вот здесь, вырезан кусочек. Господин Арне рассказывал про нее, что она еще со времен старых норвежских королей, и он никогда не отдавал эту монету в уплату за товары.

— И где же ты нашла ее, девушка? — спросил один из рыбаков.

— Я нашла ее здесь, на улице. Она катилась у меня перед ногами, — ответила Эльсалилль. — Видно, один из убийц потерял ее здесь.

— То, что ты рассказываешь, должно быть, правда, — сказал Торарин, — но что можем мы поделать с этим?

Разве мы можем найти убийц только потому, что тебе известно, будто они шли по одной из наших улиц?

Рыбаки решили, что Торарин рассудил правильно. И они снова поудобней устроились у огня.

— Пойдем домой, Эльсалилль! — сказал Торарин. — Не время сейчас девушке разгуливать по улицам и рыночной площади.

Как только Торарин сказал это, Эльсалилль оглянулась в поисках своих провожатых. Однако сэра Реджинальда и сэра Филипа нигде не было видно. Эльсалилль даже не заметила, когда они успели уйти.

В ТРАКТИРЕ ПОД РАТУШЕЙ

1

Однажды под утро хозяйка трактира, что был в погребке под монастырской ратушей, открыла дверь, собираясь помыть лестницу. Тут она увидела девушку, сидевшую на одной из ступенек. На ней была просторная одежда серого цвета, на талии стянутая поясом. Светлые волосы ее не были убраны назад или заплетены в косы, а лежали свободно, по обе стороны лица.

Когда дверь открылась, девушка поднялась и стала спускаться по лестнице, при этом хозяйке казалось, что шла она словно во сне. Глаз не видно за локонами волос, а руки плотно прижаты к туловищу. Девушка все ближе подходила к хозяйке, а та все больше поражалась, какая же она тоненькая и щупленькая. Лицо ее было красиво, но казалось каким-то прозрачным, словно сделанным из тонкого стекла.

Подойдя к хозяйке, она спросила, не найдется ли для нее какой-нибудь работы в погребке. Хозяйка живо представила себе веселых парней, захаживавших сюда по вечерам попить вина и пива, и не удержалась, чтобы не рассмеяться.

— Ну нет, такой малышке, как ты, в трактире делать нечего, — сказала она.

Девушка не шелохнулась и не подняла головы, но снова стала просить хозяйку дать ей здесь работу, доба-

вив, что ни деньги, ни еда ей не нужны, а просто ей некуда больше пойти.

— Знаешь, — сказала хозяйка, — была бы у меня дочь, такая, как ты, я ни за что не позволила бы ей работать здесь, в погребе. И тебе желаю я лучшей участи, чем служить у меня.

Тогда девушка повернулась и стала медленно подниматься по лестнице, а хозяйка стояла и смотрела ей вслед. Она казалась такой хрупкой и незащищенной, что у хозяйки сжалось сердце. Она окликнула ее и сказала:

— Ладно, девушка, лучше уж ты у меня будешь прислуживать, чем пойдешь одна разгуливать здесь по улицам и переулкам. Так что оставайся, будешь весь вечер мыть кружки да бокалы, а я посмотрю, чего ты стоишь.

Хозяйка отвела ее в маленькую каморку, устроенную позади зала. Размером она была не более шкафа. Оконца в каморке не было, и свет попадал сюда из зала через отверстие в стене.

— Вот здесь станешь мыть то, что я буду подавать тебе сюда из зала, — сказала хозяйка. — А потом я подумаю, брать ли тебя на работу.

Девушка вошла в каморку, но она сделала это настолько тихо, что хозяйка сказала себе: «Так, верно, мертвец сходит в свою могилу».

Весь день девушка простояла там, ни с кем не разговаривая и вовсе не поднимая головы, чтобы посмотреть на людей, прохаживающихся по залу. И она даже не притронулась к еде, которую ей поставили.

Никто не слышал звона посуды в каморке, но каждый раз, когда хозяйка протягивала руку из зала через проем, девушка тотчас подавала ей чистые кружки и бокалы, вымытые так, что на них не было ни пятнышка. Но когда хозяйка брала их в руки, чтобы поставить потом на столы, они оказывались такими холодными, что обжигали кожу ее пальцев. И она, вздрагивая, говорила:

— Эти кружки так холодны, будто я беру их из рук холодного мертвеца.

В этот день рыбы на причале не оказалось и чистить было нечего. Поэтому Эльсалилль осталась дома. Она сидела в одиночестве и пряла. В печи потрескивал огонь, и в комнате было оттого довольно светло. Вдруг она ощутила легкое прикосновение, словно лба ее коснулся холодный ветерок. Она подняла глаза от прялки и увидела перед собой свою мертвую сводную сестру. Эльсалилль остановила прялку и сидела без движения, разглядывая ее. В первый момент она испугалась, но потом сказала себе: «Разве мне следует бояться моей сводной сестры? Жива она или мертва, я все равно рада видеть ее».

— Дорогая, — сказала она мертвой, — ты хочешь, чтобы я что-то сделала для тебя?

Та ответила каким-то глухим и почти беззвучным голосом:

— Эльсалилль, сестра моя, я нанялась на работу в трактир под ратушей, и хозяйка заставила меня целый день стоять и мыть кружки и бокалы. Теперь дело близится уже к вечеру, а я устала так, что не могу больше. И вот пришла я просить тебя пойти со мной и помочь мне.

Когда Эльсалилль услышала это, она решила, что разум ее помутился. Но она не могла уже ни думать, ни удивляться чему-то, ни испытывать страха. Она чувствовала лишь радость оттого, что видела перед собой сводную сестру, и она ответила:

— Хорошо, дорогая, я тотчас же пойду с тобой.

Тогда мертвая повернулась и направилась к двери. Но у порога она остановилась и сказала Эльсалилль, готовой следовать за ней:

— Ты должна накинуть на себя плащ. Сегодня дует сильный ветер. — И голос ее, когда она это говорила, звучал теперь чуть громче и теплее. Эльсалилль подумала: «Моя сводная сестра любит меня по-прежнему. Она не желает мне худого. И я буду счастлива пойти с ней».

Она шла за мертвой сперва по каменистым проулкам, что вели от стоявшей на откосе лачуги Торарина

вниз, а позже по более ровным улочкам — в сторону гавани и рыночной площади.

Мертвая была все время на два шага впереди Эльсалилль. Дул сильный штормовой ветер, с воем проносясь по переулкам, и Эльсалилль заметила, что каждый раз, когда порыв ветра прижимал ее к стене, мертвая вставала перед ней и заслоняла ее своим маленьким телом, как могла, от ветра.

Когда наконец они добрались до ратуши, мертвая подошла к лестнице, приглашая рукой Эльсалилль последовать за ней вниз. Пока они спускались по лестнице, порывом ветра задуло пламя в фонаре, висевшем в передней трактира, и они оказались в темноте. Эльсалилль не знала, куда идти, и тогда мертвой пришлось взять ее руку в свою, чтобы сестра не сбилась с дороги. Но рука мертвой была холодной как лед. Эльсалилль вздрогнула, и ее затрясло от страха. Мертвая отняла руку и, завернув ее в складку плаща Эльсалилль, снова взяла сестру за руку, чтобы повести дальше. Но Эльсалилль все равно чувствовала ледяющий холод, проникавший даже сквозь ткань и мех, которым был подбит плащ.

Мертвая повела Эльсалилль по длинному коридору и открыла перед ней какую-то дверь. Они вошли в маленькую темную каморку, куда едва проникал свет через проем в стене. Эльсалилль поняла, что они пришли в то место, где у хозяйки всегда находилась девушка для мытья кружек и бокалов, которые ставились потом на столы перед гостями. Эльсалилль разглядела здесь чан с водой, стоявший на скамеечке, а на стойке в стенном проеме, выходявшем в зал, — множество пивных кружек и другой посуды, которую надо было мыть.

— Ты сможешь мне сегодня сделать эту работу, Эльсалилль? — спросила мертвая.

— Да, дорогая, — сказала Эльсалилль, — ты знаешь, что для тебя я сделаю все, о чем ты только попросишь.

Эльсалилль сняла плащ, закатала рукава и принялась за работу.

— Будь добра, Эльсалилль, работай потише, хозяйка не должна увидеть, что я нашла себе помощницу.

— Хорошо, дорогая, — согласилась Эльсалиль, — я сделаю, как ты просишь.

— Теперь прощай! — сказала мертвая. — Об одном только тебя прошу. Чтобы ты не очень сердилась на меня за все это.

— Как, ты уже прощаешься со мной? — удивилась Эльсалиль. — Но я хотела бы каждый вечер приходить сюда и помогать тебе.

— Нет, тебе не придется больше приходить сюда, — сказала мертвая. — Думаю, сегодня с твоей помощью я исполню порученное мне.

Пока они так разговаривали, Эльсалиль уже согнулась над чаном с водой и принялась за работу. На какое-то мгновение наступила тишина, а потом она вдруг почувствовала, как лба ее коснулось легкое дуновение ветра — в точности, как это было дома, в лачуге Торарина, когда мертвая пришла к ней. Она подняла голову и увидела, что была одна. Тогда она поняла, что значило это легкое прикосновение ветра ко лбу ее, и сказала себе: «Моя сводная сестра, прежде чем расстаться, поцеловала меня в лоб».

Эльсалиль постаралась быстрее сделать свою работу. Она вымыла и протерла насухо все бокалы и кружки. Потом она повернулась к стойке в стенном проеме, чтобы взглянуть, не поставлено ли там еще посуды. Не найдя ничего, она осталась у стойки и выглянула в зал.

В это время посетителей в трактире обычно не было. Оттого и хозяйки не было за стойкой, да и в зале не видно было подавальщиков. В конце большого стола сидели трое мужчин. Это были гости, хотя похоже было, они чувствовали себя здесь как дома. Один из них, опорожнив свой бокал, подошел к стойке, вновь наполнил его из одного из стоявших там бочонков с пивом и вином и вернулся на место.

Эльсалиль стояла долго и смотрела в зал, но все мысли ее были с ее мертвой сводной сестрой и она находилась словно бы совсем в другом мире. Прошло немало времени, прежде чем она поняла, что эти трое были ей хорошо знакомы, ибо это были сэр Арчи и его друзья, сэр Реджинальд и сэр Филип.

Последнее время сэра Арчи не заходил к Эльсалилль, и она была рада увидеть его. Она уже была готова крикнуть ему, что она здесь, совсем рядом, но вдруг подумала, что, может, неспроста не приходит он к ней больше. «Может быть, у него другая девушка? — решила она. — Может, как раз о ней он и думает теперь?»

Сэр Арчи сидел чуть в стороне от других. Он молчал, глядя куда-то перед собой, и не пил. Участия в беседе он не принимал, а когда друзья говорили ему что-то, он чаще всего оставлял это без внимания.

Эльсалилль видела, как друзья пытались развеселить его. Они спрашивали его, отчего он не пьет. Советовали ему пойти к Эльсалилль, чтобы вернуть себе хорошее настроение.

— Не обращайтесь на меня внимания, — сказал сэр Арчи. — Я думаю сейчас о другой. Ее я вижу перед собой постоянно, и в ушах моих постоянно звучит ее голос.

Эльсалилль видела, что взор сэра Арчи устремлен на одну из массивных колонн, на которых покоились своды погребка. И тут она вдруг обнаружила, что у этой колонны стоит ее сводная сестра и смотрит на сэра Арчи. Она стояла неподвижно, и разглядеть ее, прислонившуюся к колонне и одетую в серого цвета платье, было непросто.

Эльсалилль стояла, затаив дыхание, и смотрела в зал. Пока ее мертвая сестра была с ней, веки у нее были все время опущены. Теперь же, когда она глядела на сэра Арчи, глаза ее были открыты. Они были какие-то мутные, потухшие, безжизненные. Свет не отражался в них вовсе, и смотреть в глаза мертвой было страшно.

Прошло какое-то время, и сэр Арчи вновь принялся сокрушаться.

— Я постоянно вижу ее перед собой, она следует за мной повсюду, куда бы я ни шел, — сказал он.

Он по-прежнему сидел и смотрел на ту самую колонну, прислонившись к которой стояла мертвая. Но Эльсалилль теперь стало ясно, что он не видит ее. Стало быть, не о ней говорил он теперь, а о какой-то другой девушке, что постоянно занимала его мысли. Эльсалилль по-прежнему стояла у проема в стене и наблюдала

за происходящим. Она думала, что, наверное, больше всего теперь хотела бы она узнать, кого же сэр Арчи носит повсюду в своих мыслях.

Вдруг она заметила, что мертвая присела на скамью рядом с сэром Арчи и стала шептать что-то ему на ухо.

Но было видно, что сэр Арчи не знает о том, что она сидит так близко от него. Он почувствовал лишь пронизывающий его страх. Эльсалиль увидела, что, как только мертвая вздохнула и шепнула ему что-то, он уронил голову на руки и зарыдал.

— Ах, зачем только я нашел тогда эту юную девушку! — сказал он. — Ни о чем другом я не сожалею, но мне следовало отпустить ее, когда она стала молить меня об этом.

Двое других шотландцев перестали пить и с ужасом посмотрели на сэра Арчи, который, сказав такие слова и, стало быть, поддавшись чувству раскаяния, уронил тем свое мужское достоинство. Мгновение сидели они в нерешительности, но потом один из них подошел к стойке, выбрал там кружку побольше и наполнил ее красным вином. Потом он подошел к сэру Арчи, хлопнул его по плечу и сказал:

— Выпей, брат мой! Не перевелись еще у нас деньги господина Арне. И пока мы можем позволить себе пить такое вино, печалиться нам не пристало.

В тот самый момент, когда слова «Выпей, брат мой! Не перевелись еще у нас деньги господина Арне» были сказаны, Эльсалиль увидела, что мертвая поднялась со скамьи и исчезла.

И тотчас же перед Эльсалиль возникла картина: трое бородатых мужчин, одетых в мохнатые шкуры, убивают людей господина Арне. И теперь этих мужчин узнала она, это были те трое, что сидели сейчас здесь, в погребке: сэр Арчи, сэр Филип и сэр Реджинальд.

Эльсалиль вышла из каморки, где она только что мыла хозяйкины кружки, и тихо прикрыла за собой дверь. В узком коридоре она остановилась. Там, при-

слонившись к стене, она простояла около часа, и все это время мысли ее были об одном: «Я не могу его предать, — думала она. — Что бы плохого он ни совершил, сердцу моему он дорог все равно. Я не могу послать его на колесование, я не смогу видеть, как его станут пытать, подпалая ему руки и ноги».

Шторм, бушевавший всю ночь, с наступлением вечера усилился, и Эльсалиль слышала, стоя в темноте, как гудит ветер.

«Вот и пришел первый весенний шторм, — думала она. — Он пришел, чтобы, обрушившись всей своей силой на лед, взломать его и освободить море. Пройдет всего несколько дней, и сэр Арчи сможет отплыть отсюда, чтобы никогда больше не возвратиться. Он больше никогда не совершит в этой стране преступлений. И какая же польза будет от того, что его схватят и накажут? Не будет от этого радости ни мертвым, ни живым».

Эльсалиль закуталась в свой плащ и решила, что она пойдет сейчас домой, усядется там тихонечко за свою работу и никому не станет рассказывать свою тайну.

Но тут же, не успев сделать и шага, она передумала и осталась стоять в темном проходе.

Она стояла тихо и слушала шум ветра. И снова подумала она о том, что скоро наступит весна. Снег уйдет, и земля оденется в зеленые одежды.

«Боже милосердный, какая же это весна будет нынче для меня! — подумала Эльсалиль. — Не принесет мне зелень ни радости, ни счастья после холода зимы».

«А ведь всего год назад я так радовалась, что зима подходит к концу и наступает весна, — думала она. — Я вспоминаю один вечер, столь прекрасный, что я не могла усидеть дома. Тогда я взяла свою сводную сестру за руку, и мы пошли в поле набрать зеленых ветвей, чтобы украсить ими печь».

Эльсалиль стояла и вспоминала, как шли они тогда по зеленой тропе. И рядом с дорогой увидели вдруг подрубленную молодую березку. По срезу было видно, что подрубили ее уже много дней назад. Но теперь несчастное дерево начинало пускать зелень, и из почек вот-вот должны были появиться листочки.

Тогда ее сводная сестра остановилась и нагнулась над деревом.

— Ах, бедное деревце, — сказала она, — отчего не дано тебе умереть спокойно? Что сделало ты плохо-го, что теперь должно раскрывать листочки свои так, словно бы ты еще живое?

Эльсалиль тогда рассмеялась и ответила ей:

— Оно распускает так нарядно свою зелень, чтобы тот, кто срубил его, увидел бы, что он наделал, и чтобы он тогда испытал раскаяние.

Но сводная сестра ее не засмеялась в ответ. В глазах у нее появились слезы.

— Рубить дерево, когда у него распускаются листья, когда силы жизненной у него столько, что оно не может умереть, — большой грех. Ужасно, когда мертвый не может обрести покой в собственной могиле. Умершим не приходится больше ждать каких-либо радостей. Ни любовь, ни счастье никогда не придут к ним. Одного только желают они: уснуть в тишине и в покое. Мне хочется плакать, когда ты говоришь, будто бедная березка не может умереть, оттого что думает о своем убийце. Разве это не самая тяжкая участь для лишенного жизни, когда он не может уснуть мирно, но должен преследовать своего убийцу? Ведь мертвым, кроме покоя, ничего не нужно.

Когда Эльсалиль вспомнила эти слова, она стала плакать и ломать руки.

— Моя сводная сестра не сможет обрести покоя в своей могиле, — сказала она, — если я не выдам своего возлюбленного. И если теперь я не помогу ей, она будет вечно бродить по земле, не зная отдыха и успокоения. Бедная моя сводная сестра, нет у нее более других желаний, а я смогу дать ей покой, лишь послав на колесование того, кого люблю.

4

Сэр Арчи вышел из зала трактира через узкий проход. Фонарь, висевший под потолком перед выходом к лестнице, снова горел и бросал свет на юную девушку, стоявшую там, прислонившись к стене.

Она была столь бледна и стояла так тихо, совсем не двигаясь, что сэр Арчи испугался и подумал: «Вот наконец стоит передо мной та мертвая, что преследует меня все эти дни».

Проходя мимо Эльсалиль, он дотронулся рукой до ее руки, чтобы убедиться, что это точно была мертвая. И рука оказалась такой холодной, что он не смог решить, мертвой или живой принадлежит она.

Но как только сэр Арчи коснулся руки Эльсалиль, она отдернула ее, и тогда сэр Арчи узнал девушку.

Он подумал, что она пришла сюда ради него, и очень обрадовался. Его тотчас пронзила мысль: «Теперь я знаю, что мне следует сделать, чтобы мертвая успокоилась и перестала меня преследовать».

Он взял руки Эльсалиль в свои и поднес их к губам.

— Пусть Господь благословит тебя за то, что ты пришла ко мне в этот вечер, Эльсалиль! — сказал он.

Но сердце Эльсалиль было переполнено печалью. Слезы мешали ей говорить, и она не могла объяснить ему, что не для встречи с ним пришла она сюда.

Сэр Арчи долго молчал, не выпуская рук Эльсалиль. И пока он стоял так, лицо его делалось все более красивым и чистым.

— Эльсалиль, — произнес сэр Арчи торжественно. — Уже много дней я не приходил к тебе, оттого что меня преследовали тяжкие мысли. Ни на мгновение не оставляли они меня в покое, и я думал, что скоро потеряю рассудок. Но сегодняшним вечером мне стало легче, и я не вижу больше перед глазами мучившую меня картину. И когда я теперь нашел здесь тебя, сердце подсказало мне, что я должен сделать, чтобы навсегда избавиться от своих мук.

Он нагнулся, чтобы заглянуть в ее глаза, но они были скрыты упавшими на лоб локонами, и он продолжил:

— Ты сердись на меня, Эльсалиль, из-за того, что я долго не приходил к тебе. Но оттого я не делал этого, что, стоило мне увидеть тебя, как еще яснее вспомнилось то, что меня мучает. Когда я встречал тебя, мои мысли еще скорее уходили к одной юной девушке, с которой я поступил плохо. Не один раз поступал я плохо

с людьми, Эльсалиль, но моя совесть преследует меня лишь за то, что я совершил с этой девушкой.

Эльсалиль продолжала молчать, и тогда он снова взял ее ладони, поднес их к губам и поцеловал.

— Послушай, Эльсалиль, что сказало мне мое сердце, когда я увидел, как ты стоишь и поджидаешь меня здесь! «Ты поступил плохо с одной девушкой, — сказало оно, — и потому должен ты страдания, что причинил ей, искупить перед другой девушкой. Ты должен сделать ее женой своей и должен быть всегда добр к ней, чтобы она никогда не узнала горя. И ты должен хранить ей такую верность, чтобы в последний день жизни любить ее больше, чем в день свадьбы».

Эльсалиль стояла, опустив глаза, а сэр Арчи положил руку на ее склоненную голову и поднял ее.

— Я должен знать, Эльсалиль, слышишь ли ты мои слова, — спросил он.

И тут он увидел: Эльсалиль плачет так горько, что по ее щекам струятся слезы.

— Почему ты плачешь, Эльсалиль? — спросил сэр Арчи.

— Я плачу оттого, что слишком большую любовь к вам ношу в своем сердце, — ответила она.

Тогда сэр Арчи придвинулся совсем близко к Эльсалиль и обнял ее за талию.

— Слышишь, как завывает ветер? — сказал он. — Знают, море скоро освободится ото льда, и корабли снова смогут плыть к моей родине. Скажи, Эльсалиль, поедешь ли ты со мной, чтобы я смог добром отплатить тебе за то зло, что я причинил другой?

Сэр Арчи стал нашептывать Эльсалиль о прекрасной жизни, которая ждет ее, и Эльсалиль подумала: «Ах, если бы только я не знала о том, что совершил он! Тогда бы я поехала с ним и жила бы с ним счастливо».

Сэр Арчи придвигался к ней все ближе, и когда Эльсалиль подняла глаза, она увидела, что он склонился над ней и хочет поцеловать ее в лоб. Она тотчас вспомнила о мертвой, что незадолго до того приходила к ней и целовала ее. Она отпрянула от сэра Арчи и сказала:

— Сэр Арчи, я никогда не поеду с вами.

— Нет, — повторил сэр Арчи, — ты должна быть со мной, иначе ты обречешь меня на погибель.

Он стал нашептывать девушке нежные слова, и она снова сказала себе: «Разве не стало бы угодным Богу и людям, когда бы он смог искупить вину свою и сделаться добропорядочным человеком? Какая будет польза от того, что его казнят?»

В это время несколько мужчин прошли мимо них, направляясь в зал трактира. Они бросили на сэра Арчи и девушку любопытные взгляды, и, заметив это, сэр Арчи сказал ей:

— Пойдем, Эльсалилль, я провожу тебя домой. Мне не хочется, чтобы кто-нибудь видел, что ты пришла ко мне в трактир.

И тут Эльсалилль вдруг вспомнила, что должна она не слушать сэра Арчи, а делать совсем другое. Но как только подумала о том, чтобы выдать его, она почувствовала, как противится этому ее сердце. «Если ты выдашь его палачам, я разорвусь», — сказала оно ей.

А сэр Арчи закутал ее получше в плащ и вывел на улицу. Они шли вместе до самой лачуги Торарина, и она заметила, что каждый раз, когда обрушивался на них порыв штормового ветра, он становился перед ней, чтобы прикрыть ее.

Все время, пока они шли, Эльсалилль думала: «Видно, моя мертвая сестра и не знала о том, что он хочет искупить свое преступление и стать добрым человеком».

Сэр Арчи шептал на ухо Эльсалилль самые ласковые и нежные слова. И чем больше Эльсалилль слушала его, тем более укреплялась ее уверенность.

«Ведь, может быть, для того и позвала меня из дома моя сводная сестра, чтобы я услышала все те слова, что сэр Арчи теперь шепчет мне в ухо, — думала Эльсалилль. — Она любит меня так сильно, что может желать мне только счастья».

И когда они остановились перед входом в лачугу, а сэр Арчи снова спросил Эльсалилль, поедет ли она с ним за море, она ответила, что согласна с Божьей помощью сопровождать его.

ЖАЖДУЩАЯ УСПОКОЕНИЯ

К утру шторм утих, однако лед так и остался нетронутым и выход в море был закрыт по-прежнему.

Проснувшись, Эльсалильль подумала: «Конечно же, лучше, чтобы преступник обратился на путь истинный и стал бы жить по завету Божьему, нежели был бы на казан и убит».

Днем от сэра Арчи пришел посыльный с широким золотым браслетом для Эльсалильль, и она сказала себе, что, видно, сэр Арчи хочет доставить ей радость. Она поблагодарила посыльного и приняла подарок.

Но только он ушел, ей пришло в голову, что этот браслет сэр Арчи купил на деньги господина Арне. Тогда она сорвала браслет с руки и отбросила его подальше от себя, ибо ей стало невыносимо видеть его.

«Что за жизнь будет у меня, если я всегда должна буду помнить, что живу на деньги господина Арне? — думала она. — Поднося еду к своим губам, разве не стану я думать об украденных деньгах? И одеваясь в новые одежды, разве не услышу я, как в ушах у меня будет звенеть, что все куплено на несправедливые деньги? Теперь я ясно вижу, что прожить с сэром Арчи для меня невозможно. И когда он придет ко мне, я должна буду сказать ему, что поехать с ним не смогу».

Сэр Арчи пришел уже под вечер. Его обурежала радость, ибо тяжелые мысли более не преследовали его. И он думал, все это оттого, что он пообещал хорошо поступить с юной девушкой во искупление своей вины перед другой.

Когда Эльсалильль увидела его и услышала его речи, она решила не говорить ему о своей печали и о своем намерении расстаться с ним. А позже, слушая сэра Арчи, и вовсе забыла о своих переживаниях.

На следующий день было воскресенье, и Эльсалильль пошла в церковь. Она была и на обедне, и на вечерне.

Когда она во время обедни сидела и слушала, что говорит пастор, ей показалось вдруг, что она слышит совсем рядом чей-то плач и всхлипывания.

Она решила, что это, наверное, плачет кто-нибудь из сидевших с ней рядом на скамье. Но, посмотрев по сторонам, она увидела там только спокойные торжественные лица. Однако же она отчетливо слышала, как кто-то плачет так близко от нее, что, вытянув руку, можно было бы коснуться его.

Эльсалилль внимала всхлипываниям и вздохам и думала про себя, что ничего более печального она никогда не слышала.

«Чье же это горе столь глубоко, что льются такие горькие слезы?» — думала Эльсалилль.

Она посмотрела назад, а потом на скамью впереди. Но и там все сидели молча, и ни один лик не был отмечен слезами.

И тогда Эльсалилль поняла, что не надо было ей спрашивать себя и удивляться. Ведь с самого начала знала она, кто плачет подле нее.

— Дорогая, — прошептала она, — отчего же не показываешься ты, как в тот день, когда ты пришла ко мне? Ведь ты знаешь, что с радостью сделаю я все, что могу, чтобы высушить твои слезы.

Она прислушалась в ожидании ответа, но не получила его. И только слышала, как мертвая плачет рядом с ней.

Эльсалилль попыталась вслушаться в слова, которые говорил с кафедры пастор, но не могла сосредоточиться. Ей стало не по себе, и она прошептала:

— Я знаю человека, у которого есть повод плакать, да поважнее, чем у других, и этот человек — я сама. Разве не для того моя сестра указала мне на убийцу своего, чтобы в моем сердце теперь была радость?

Она слушала рыдания и негодовала все больше. Она думала: «Как же может моя сводная сестра требовать от меня, чтобы предала я того, кто мною любим? Никогда не поступила бы так она сама, будь она жива».

Она сидела на церковной скамье и не могла теперь же встать и покинуть церковь, но и остаться была не в состоянии. Она раскачивалась вперед и назад и ломала руки. «Верно, тень станет преследовать меня сегодня весь день, — думала она. — А кто знает, не будет ли она преследовать меня и всю мою жизнь?»

Но все глубже и тяжелее становились рыдания, которые Эльсалиль слышала рядом с собой; в конце концов сердце ее не выдержало, и она заплакала сама.

«Тот, кто так рыдает, должен страдать очень глубоко, — думала она. — Страдания эти, должно быть, страшнее того, что могут представить себе живые».

Когда служба закончилась и Эльсалиль вышла из церкви, она не слышала больше рыданий. А по дороге домой она сама шла и плакала о своей сводной сестре, которая никак не может обрести умиротворения в могиле.

Вечером, когда снова подошло время богослужения, Эльсалиль опять пошла в церковь, ибо ей нужно было знать, по-прежнему ли сидит и плачет там ее сводная сестра.

И стоило только Эльсалиль войти в церковь, как она сразу услышала плач, и душа затрепетала в ней, едва лишь рыдания коснулись ее слуха. Она поняла, что силы оставили ее, и хотела теперь только одного — помочь мертвой, которая не могла найти успокоения среди людей.

Когда Эльсалиль вышла из церкви, было еще довольно светло, и ей было видно, как кто-то из шедших впереди ее оставляет на снегу кровавые следы.

«Кто же это настолько беден, что ходит необутый и оставляет кровавые следы на снегу?» — подумала она.

Все, кто шел перед ней, производили впечатление людей с достатком. Они были хорошо одеты, и ноги у всех были обуты.

Но кровавые следы были свежими. Эльсалиль ясно видела, как вдавливаются они в снег ногами одного из идущих в толпе впереди.

«Дорога, видать, была длинная у этого человека, коли он так покалечил себе ступни, — подумала она. — Помоги ему, Господи, найти поскорее крышу над головой, чтобы обрели наконец покой ноги его!»

Ей захотелось узнать, кто же прошагал столь долгий путь, и она пошла за этими следами. Хотя для этого ей пришлось свернуть с дороги, которая вела к дому.

Но вдруг увидела она, что все люди ушли в другую сторону, на улице она осталась одна. Однако кровавые следы продолжали возникать на снегу перед ней.

«Ведь это же идет бедная моя сестрица», — подумала она тогда, и тут же поняла, что знала об этом все время.

«Ах, моя бедная сестрица, я думала, ты ступаешь так легко, что ноги твои следов не оставляют. Но кому из живых дано понять, каких страданий стоит тебе ныне твоя дорога!»

Слезы потекли у нее из глаз, и она горько вздохнула:

«Не может она найти успокоения в своей могиле! Это я виновата, что ей так долго приходится бродить среди живых и что ступни ее уже стерлись до крови!»

— Постой, дорогая моя сестрица! — крикнула она. — Остановись, чтобы я смогла говорить с тобой!

Но как только она воскликнула это, она заметила, что новые следы стали появляться на снегу быстрее прежнего, словно мертвая ускорила вдруг шаги свои.

— Теперь она убегает от меня. И, видно, больше не ждет от меня помощи, — сказала Эльсалиль.

Кровавые следы заставили ее забыть обо всем на свете, и она снова воскликнула:

— Моя дорогая сестрица! Я сделаю все, как ты хочешь, чтобы тышла наконец покой в своей могиле.

И только она сказала эти слова, как к ней подошла рослая женщина, шедшая позади нее, и взяла ее за руку.

— Кто ты и отчего ты плачешь и ломаешь руки прямо на улице? — спросила женщина. — Ты похожа на ту маленькую девушку, что приходила ко мне в пятницу и просила взять ее на работу, а потом вдруг исчезла куда-то. Или, может, это ты и есть?

— Нет, это не я, — ответила Эльсалиль, — но, если я не ошиблась и вы и есть та самая хозяйка трактира под ратушей, то я знаю, о какой девушке вы спрашиваете.

— А раз так, ты мне должна сказать, почему она ушла от меня и больше не вернулась, — сказала хозяйка.

— Оттого ушла она от вас, — объяснила Эльсалиль, — что не желала слышать тех разговоров, что вели между собой преступники, сидевшие в вашем трактире.

— Ко мне в погребок заглядывают разные необузданные типы, но преступников там не водится, — сказала хозяйка.

— И все же эта девушка слышала, — настаивала Эльсалиль, — как разговаривали между собой какие-то трое мужчин, и один из них сказал так: «Выпей, брат мой! Не перевелись еще у нас деньги господина Арне».

И, сказав это, Эльсалиль подумала: «Вот я и помогла моей сестре и рассказала о том, что услышала тогда в трактире. Но, Господи, сделай теперь так, чтобы не поверила хозяйка словам моим!»

А когда по лицу хозяйки она увидела, что та ей поверила, девушка испугалась и захотела тотчас же убежать прочь.

Однако не успела она сделать и шага, как тяжелая рука хозяйки остановила ее, так что спастись бегством она уже не могла.

— Уж коли ты слышала, девушка, как такие речи говорились в моем погребке, — сказала хозяйка, — не пристало тебе убежать теперь. Ты должна пойти со мной к людям, что имеют власть схватить убийц, чтобы не ушли они от своего наказания.

ПОБЕГ СЭРА АРЧИ

Эльсалиль, закутанная в свой длинный плащ, вошла в зал трактира и подошла к столу, за которым пили вино сэр Арчи и его друзья. В трактире было много гостей, и они бросали удивленные взгляды на Эльсалиль, когда она шла через весь зал. Эльсалиль же думала лишь о том, что она хотела бы быть рядом с сэром Арчи в те последние мгновения, пока он еще на свободе. И, не обращая ни на кого внимания, она села рядом с ним, рядом с мужчиной, которого она любила.

Когда сэр Арчи увидел, что Эльсалиль пришла и села рядом с ним, он поднялся и отвел ее за другой стол, стоявший за колонной в глубине зала. Она поняла: ему не нравится, что она пришла к нему в трактир, где девушкам появляться не принято.

— Я не буду вести с вами долгий разговор, сэр Арчи, — сказала Эльсалиль, — но вам все-таки нужно узнать, что я не смогу последовать за вами в вашу страну.

Услыхав об этом из уст Эльсалиль, сэра Арчи пришел в ужас, ибо испугался, что, стоит ему только потеть ее, и тяжелые мысли тут же снова овладеют им.

— Отчего же не хочешь ты уехать со мной, Эльсалиль? — спросил сэра Арчи.

Эльсалиль побледнела как смерть. Мысли ее были настолько путанные, что она едва ли понимала сама, что говорит.

— Можно ли связать судьбу свою с ландскнехтом? — ответила она. — Кто знает, станет ли он уважать законы и веру?

Сэр Арчи не успел еще ответить ей, как в зал вошел матрос. Он подошел к сэру Арчи и сказал, что его послал шкипер с застрявшего за островом Клёверён большого галеаса. Шкипер просил передать, чтобы сэра Арчи и его люди теперь же начинали паковать свои вещи и шли на галеас грузиться. Шторм снова усилился, и с западной стороны море начало уже освобождаться ото льда. Может случиться, что путь в Шотландию откроется еще прежде, чем начнет светать.

— Слышала, что он сказал? — спросил Эльсалиль сэра Арчи. — Так ты поедешь со мной?

— Нет, — сказала Эльсалиль, — я не поеду с вами, сэра Арчи.

А про себя подумала: «Ведь теперь может случиться и так: как только стража придет сюда, чтобы схватить сэра Арчи, его уже здесь не будет». И она обрадовалась этому.

Сэр Арчи встал и подошел к сэру Филипу и сэру Реджинальду, чтобы поделиться с ними новостью.

— Пойдите на постоялый двор без меня и сделайте там все, что требуется, — сказал он. — Мне нужно поговорить еще немного с Эльсалиль.

Когда Эльсалиль увидела, что сэра Арчи идет к ней обратно, она стала делать ему знаки руками, чтобы он уходил.

— Зачем вы возвращаетесь, сэра Арчи? — спросила она. — Отчего не бежите вы к морю так быстро, как только могут позволить вам ноги ваши?

Потому что она очень любила сэра Арчи. Правда, она предала его ради своей дорогой сводной сестры,

но теперь желала она лишь одного — чтобы он успел скрыться.

— Эльсалилль, я еще раз прошу тебя отправиться со мной, — сказал сэр Арчи.

— Но вам же известно, сэр Арчи, что я не могу этого сделать, — ответила Эльсалилль.

— Почему? — спросил сэр Арчи. — Ведь ты бедная, одинокая девушка, у тебя здесь никого нет, и никто даже не спросит о том, куда подевалась Эльсалилль. А если ты поедешь со мной, я сделаю тебя важной госпожой. В своей стране я знатный человек. Ты будешь ходить в золоте и шелках и танцевать на королевских балах.

Эльсалилль охватил страх, что он сейчас замешкается здесь из-за нее и не успеет уйти, пока еще открыт путь к бегству. Она задрожала и едва совладала с собой, крикнув ему:

— Уходите скорее, сэр Арчи! Не теряйте понапрасну времени, чтобы уговаривать меня.

— Я хочу открыться тебе, Эльсалилль, — сказал сэр Арчи, и голос его стал ласковым и нежным. — Когда ты впервые повстречалась мне, я хотел лишь одурачить и обольстить тебя. Я обманывал тебя тогда, обещая тебе замок и золото, но все изменилось в тот вечер третьего дня. Теперь я честно говорю тебе, о чем думаю. Я желаю сделать тебя своей женой. Такова воля моя, и ты можешь довериться мне как дворянину и как воину.

В этот момент Эльсалилль услышала, как по рыночной площади мимо трактира прошагали, гремя доспехами, стражники. «Если я теперь соглашусь ехать с ним, он еще может спастись, — подумала она. — Я погублю его, коли стану отказываться. Из-за меня останется он сидеть здесь, пока не придет стража и не схватит его. И все-таки я не могу уехать с человеком, который убил всех моих близких».

— Сэр Арчи, — сказала Эльсалилль, думая испугать его, — разве вы не слышите, как идут по площади вооруженные стражники?

— Слышу, — ответил сэр Арчи, — видно, в каком-нибудь из трактиров затеяли драку. Не бойся, Эльса-

лилль! Просто несколько рыбаков поссорились из-за погоды и ветра.

— Сэр Арчи, — сказала Эльсалилль, — разве вы не слышите, что они остановились перед ратушей?

Эльсалилль вся дрожала от макушки до пяток, но сэр Арчи не замечал этого и был совершенно спокоен.

— А куда же еще идти им, по-твоему? — сказал сэр Арчи. — Ведь сюда должны они доставить нарушителей покоя, чтобы посадить их в острог. Не к ним прислушивайся, Эльсалилль, но слушай меня, когда я прошу тебя отправиться со мной за море!

Но снова попробовала Эльсалилль напугать сэра Арчи.

— Сэр Арчи, — спросила она, — вы слышите, как стражники спускаются по лестнице, что ведет сюда, в трактир?

— Слышу, — ответил сэр Арчи, — они, верно, идут попить пива, сделав свою работу. Не думай о них, Эльсалилль, думай о том, что завтра мы будем плыть с тобой по морю к моей дорогой родине!

Но Эльсалилль была бледна, как труп, и дрожала так сильно, что едва могла говорить.

— Сэр Арчи, — сказала она, — разве вы не видите, что они беседуют с хозяйкой? Они, должно быть, спрашивают ее, нет ли здесь тех, кого они ищут.

— Нет, они просят ее смешать им напиток покрепче да погорячее, чтобы согреться, — успокоил ее сэр Арчи. — Ты не должна дрожать так, Эльсалилль. Бояться тебе со мной нечего. И я говорю тебе: если отец мой пожелает женить меня на самой знатной девушке Шотландии, я откажу ей. Ждет тебя, Эльсалилль, большое счастье, коли ты поплывешь со мной за море.

У входа все собирались стражники, и Эльсалилль не могла больше бороться со страхом. «Если они теперь подойдут и схватят его, я не выдержу», — думала она. Она наклонилась к сэру Арчи и прошептала ему на ухо:

— Разве вы не слышите, сэр Арчи, как стражники спрашивают у хозяйки, где сидят здесь убийцы господина Арне?

Сэр Арчи бросил быстрый взгляд через зал в сторону ландскнехтов, беседовавших с хозяйкой. Но не встал, чтобы пытаться бежать, как надеялась Эльсалиль, а нагнулся к ней и заглянул ей в глаза.

— Так это ты, Эльсалиль, узнала меня и выдала им?

— Я сделала это ради моей дорогой сестры, чтобы смогла она успокоиться в своей могиле, — сказала Эльсалиль. — Одному Богу известно, чего мне это стоило. А теперь бегите, сэр Арчи! Еще есть время. Еще не у всех дверей успели встать стражники.

— Ах, волчонок! — воскликнул сэр Арчи. — Еще когда я в первый раз увидел тебя на причале, я подумал, что мне следовало бы убить тебя.

Но Эльсалиль положила ладонь свою на его руку.

— Бегите же, сэр Арчи! Я не могу спокойно сидеть и смотреть, как сейчас придут сюда и схватят вас. Если вы не хотите без меня уезжать, я согласна с Божьей помощью последовать за вами. Но только не теряйте больше времени из-за меня, сэр Арчи! Я сделаю для вас все, что вы желаете, спасайте же теперь свою жизнь!

Однако сэр Арчи был уже очень разгневан на Эльсалиль и сказал ей с язвительностью:

— Нет, юнгфру, никогда уже не придется тебе расхаживать по залам замка в расшитых золотом туфлях. Всю жизнь свою проживешь ты в Марстранде и всю жизнь станешь чистить здесь рыбу. Никогда не будет у тебя мужа, владеющего замком и землями, Эльсалиль. Твоим мужем станет бедный рыбак, а жилищем твоим будет жалкая лачуга на холодном берегу шхеры.

— Разве вы не слышите, сэр Арчи, что они уже расставляют стражу с копьями наперевес у всех дверей? Отчего же не спешите вы? Отчего не торопитесь убежать отсюда по льду и спрятаться на одном из кораблей?

— Оттого, что мне доставляет удовольствие беседовать с Эльсалиль, — ответил сэр Арчи. — Скажи, думаешь ли ты о том, что теперь для тебя, Эльсалиль, пришел конец всем радостям в жизни? Думаешь ли ты о том, что пришел конец моей надежде искупить вину свою?

— Сэр Арчи, — прошептала Эльсалиль и привсталала в страхе, — стражники уже изготовились. Сейчас они

подойдут сюда, чтобы схватить вас. Бегите скорее, а я последую за вами на корабль, сэр Арчи.

— Не надо бояться, Эльсалилль, — сказал сэр Арчи. — Есть у нас еще немного времени, чтобы поговорить друг с другом. Стражники не вздумают наброситься на меня здесь, где мне сподручно защищаться. Они думают изловить меня на узкой лестнице, что ведет вверх на площадь. Там хотят они поддеть меня на копья. Ведь именно этого желала ты мне все время, Эльсалилль?

С каждым мгновением Эльсалилль делалось все страшнее, но тем спокойнее становился сэр Арчи. Эльсалилль все умоляла его бежать, но он лишь смеялся ей в лицо.

— Скажи, юнгфру, отчего так уверена ты, что стражники сумеют схватить меня? Мне доводилось попадать в передраги и почище и всегда выходить из них невредимым. То, что приключилось со мной в Швеции несколько месяцев назад, было много хуже. Клеветники нашептали королю Юхану, что шотландцы изменили ему. И король им поверил. Он посадил троих из нас в башню, а остальных выслал из своей страны, позаботившись о том, чтобы за ними присматривали, пока они не пересекут шведскую границу.

— Бегите, сэр Арчи, бегите! — умоляла Эльсалилль.

— Не беспокойся обо мне, Эльсалилль, — сказал сэр Арчи и злобно рассмеялся. — Теперь я опять стал самим собой, вновь вернулся ко мне мой прежний нрав. И не стоит более перед глазами моими та юная девушка. Так что теперь-то я как-нибудь выкручусь. Но послушай, что стало с теми тремя, что сидели в тюрьме короля Юхана. Как-то ночью, когда стража, охранявшая башню, была пьяна, они выбрались оттуда и двинулись в сторону границы. Но пока они были на земле шведского короля, им приходилось скрываться, чтобы не быть узанными. Потому решили они, не видя другого выхода, раздобыть себе мохнатые шкуры и выдавать себя за скорняков, что бродят по стране в поисках работы.

Теперь только заметила Эльсалилль, как переменялся к ней сэр Арчи. Она поняла, что он возненавидел

ее с того самого мгновения, когда узнал, что она его выдала.

— Не говорите со мной с такой ненавистью, сэра Арчи! — воскликнула Эльсалиль.

— Почему предать меня должна была именно та, которой я верил больше всех? — спросил сэра Арчи. — Теперь я снова стал тем, кем был прежде. Теперь уж не стану я щадить никого. И ты увидишь, что судьба вновь будет благосклонна ко мне, как то было в прошлом. Когда мы, пройдя через Швецию, вышли наконец к морю, разве мы не были, я и товарищи мои, в отчаянном положении? Мы не имели денег, чтобы купить благородные одежды. Мы не имели денег, чтобы плыть в Шотландию. И тогда не осталось нам другого, как только ограбить двор пастора в Сульберге.

— Не говорите об этом больше! — попросила Эльсалиль.

— Нет уж, теперь ты должна услышать все до конца, Эльсалиль, — сказал сэра Арчи. — Ведь тебе не все известно. Ты не знаешь, что когда мы были уже в доме пастора, то разбудили его и потребовали отдать нам деньги. А коли он делает это добром, мы не станем причинять ему зла. Но господин Арне решил биться с нами, и нам пришлось убить его. А раз уж мы пошли на это, ничего нам не оставалось, как убить всех его людей.

Эльсалиль более не перебивала сэра Арчи, но на сердце у нее было теперь холодно и пусто. Глядя на сэра Арчи и слушая его, она дрожала, ибо, когда он рассказывал ей все это, его лицо было кровожадным и внушало ужас. «Что же это я собиралась сделать? — думала она. — Не сошла ли я с ума, полюбив того, кто убил всех моих близких? Да простит Господь мне грех мой!»

— Когда мы увидели, что все уже мертвы, — сказал сэра Арчи, — мы вытащили тяжелый сундук с деньгами из дома. Потом мы подожгли дом, чтобы люди подумали, будто господин Арне сгорел вместе с ним.

«Я полюбила лесного волка, — сказала себе Эльсалиль. — И я желала, чтобы волк этот ушел от возмездия!»

— Мы отправились по льду в море, — продолжал сэр Арчи. — Пока виден был огонь, поднимавшийся к небу, мы не боялись преследования, но испугались, когда огонь стал ослабевать. Нам было ясно, что туда подошли люди, загасившие пламя, и что нас станут теперь искать. Тогда мы возвратились на берег, где еще прежде заметили в устье маленькой речки тонкий лед. Мы сняли сундук с деньгами с саней и осторожно поехали по льду, пока не треснул он под копытами лошади. Тогда мы соскочили с саней, оставив лошадь тонуть. Была бы ты мужчиной, Эльсалилль, ты оценила бы, сколь ловко было все это проделано. Мы поступили, как подобает мужчинам.

Эльсалилль сидела молча, и в сердце ее была боль. Но сэр Арчи ненавидел ее и испытывал наслаждение, мучая ее.

— Потом мы сняли с себя пояса и, закрепив их на сундуке, потащили его по льду. Но тяжелый сундук оставлял на льду следы, и тогда мы пошли на берег, наломали еловых веток и подложили их под сундук. Потом сняли сапоги и так пошли дальше, не оставляя после себя следов.

Сэр Арчи умолк, чтобы бросить на Эльсалилль насмешливый взгляд.

— Но хотя и удалось нам все это ловко проделать, мы не могли еще чувствовать себя в безопасности. Куда ни пошли бы мы в наших окровавленных одеждах, нас тотчас бы опознали и схватили. Слушай, Эльсалилль, все, что я рассказываю тебе, чтобы потом ты смогла рассказать всем, кто пожелает утруждать себя охотой за нами, что мы не из тех, кого легко взять! Когда мы шли по льду в сторону Марстранда, мы повстречали там в море своих земляков и товарищей, тех самых, кого король Юхан выслал из Швеции. Они не успели отплыть из Марстранда из-за сковавшего море льда, и они помогли нам в нашей беде, раздобыв нам одежды. И тогда уже без опаски мы гуляли по Марстранду. И ничего не угрожало бы нам и теперь, если бы не твое предательство.

Эльсалилль по-прежнему молчала. Все это было для нее невыносимым горем. Она почти не чувствовала, бьется ли еще ее сердце.

И тут сэр Арчи резко поднялся и воскликнул:

— Да и сегодня не случится с нами ничего плохого.

И ты, Эльсалиль, станешь тому свидетелем.

В то же мгновение он схватил Эльсалиль обеими руками и поднял ее. Потом, держа ее перед собой вместо щита, сэр Арчи бросился через зал к выходу. Стражники, поставленные охранять дверь, направили было на него свои длинные копыя, однако не решились применить их из боязни поранить Эльсалиль.

Сэр Арчи миновал коридор и вышел на лестницу; здесь он точно так же держал Эльсалиль на руках перед собой, и она защищала его надежнее самых лучших лат, ибо стражники и там не посмели использовать свое оружие. Так прошел он уже добрую половину лестницы, и Эльсалиль почувствовала, как сверху на нее подул ветер.

Но не любовь испытывала она теперь к сэру Арчи, а жгучую ненависть к злодею и убийце. И когда она поняла, что он защищает себя ее телом, и еще мгновение — он выйдет на площадь и скроется, она вытянула руку и, ухватившись за одно из копьев, что держали стражники, направила его себе в сердце. «Я помогу наконец моей сестре», — подумала Эльсалиль. И когда сэр Арчи сделал еще один шаг вверх по лестнице, копьё пронзило ее сердце.

Стражники отпрянули, увидев, что один из них ранил девушку, и сэр Арчи проскочил мимо них на рыночную площадь. Тут же он услышал клич, раздавшийся где-то неподалеку по-шотландски:

— На помощь! На помощь! За Шотландию! За Шотландию!

То были сэр Филип и сэр Реджинальд. Они собрали всех своих шотландцев и торопились теперь ему на выручку. И сэр Арчи бросился им навстречу, громко крича:

— Сюда! Сюда! За Шотландию! За Шотландию!

ПО ЛЬДУ

Сэр Арчи брел по льду, по-прежнему неся Эльсалиль на руках.

Сэр Филип и сэр Реджинальд шли рядом. Они хотели поведать ему о том, как они разузнали о засаде в трак-тире, как удалось им переправить на галеас тяжелый сундук с деньгами, но сэр Арчи не слушал их. Казалось, он был занят беседой с той, что была у него на руках.

— Кого это несешь ты с собой? — спросил сэр Реджинальд.

— Это Эльсалилль, — ответил сэр Арчи. — Я возьму ее с собой в Шотландию. Я не хочу оставлять ее здесь. Ведь здесь она так навсегда и осталась бы бедной чистильщицей рыбы.

— Да, пожалуй, так бы и случилось, — сказал сэр Реджинальд.

— Она стала бы носить здесь всю жизнь одежду из грубой шерсти, — сказал сэр Арчи, — и спать в тесной кровати на жестких досках. А я буду укладывать ее на самые мягкие подушки и комнату ее отделаю мрамором. Я одену ее в самые дорогие меха, а ноги ее обую в туфельки с пряжками, украшенными драгоценными камнями.

— Ты хочешь оказать ей большую честь, — сказал сэр Реджинальд.

— Не могу же я позволить ей оставаться здесь, где она никому не нужна, — повторил сэр Арчи. — Пройдет всего несколько месяцев, и все позабудут о ней. Никто не станет навещать ее в ее лачуге, никто не скрасит ее одиночества. Когда же в один прекрасный день я доберусь домой, я построю ей там прекрасное жилище. И ее имя будет выбито на твердом камне, чтобы никто не забыл его. Я сам буду каждый день приходить к ней, и все там будет устроено с такой роскошью, что люди издалека станут приезжать туда, чтобы увидеть ее. Там будет много света, светильники будут гореть днем и ночью, будет играть музыка, звучать песни, и пир будет там каждый вечер.

Ветер, с силой налетавший на них, пока они шли по льду, развернул плащ Эльсалилль, и он развевался на ветру, словно знамя.

— Помоги мне поддержать Эльсалилль, — сказал сэр Арчи, — я лишь поправлю на ней плащ.

Сэр Реджинальд взял Эльсалиль, но тут же его охватил такой ужас, что она выскользнула у него из рук прямо на лед.

— Я и не знал, что Эльсалиль мертва! — воскликнул он.

ШУМ ВОЛН

Шкипер большого галеаса всю ночь ходил взад и вперед по верхней палубе. Было темно, бушевал штормовой ветер, попеременно несший снег и дождь. Лед же вокруг галеаса был все еще крепок, так что шкипер мог бы спокойно спать в своей койке.

Однако он не спал. Раз за разом прикладывал он руку к уху и вслушивался. Было непонятно, что он надеялся услышать. Вся его команда и те, кто зафрахтовал галеас до Шотландии, находились теперь на борту. Все они спали внизу в трюме. И никто не вел разговоров, к которым шкипер смог бы прислушаться. Ветер с силой налетал на вмерзший в лед галеас, набрасывался на корабль так, словно бы по старой привычке хотел двинуть его перед собой по морю. А когда у него ничего не выходило, он пробовал снова и снова, завывая в каждой маленькой сосулке на тросах и снастях. Борта корабля скрипели и трещали. То и дело слышался тяжелый треск мачт, на которые ветер давил так, что они едва не ломались.

Нет, это была совсем не тихая ночь. Когда ветер нес снег, в воздухе слышалось легкое шелестение, когда же начинал хлестать дождь, струи воды барабанили по палубе.

Во льду одна за другой появлялись трещины, и гром при этом раздавался такой, что можно было подумать, будто здесь в море военные корабли палят друг в друга из пушек.

Однако вовсе не к этим звукам прислушивался шкипер. Он ходил по палубе всю ночь до тех пор, когда небо уже начало окрашиваться в серый цвет наступающего утра, но так и не услышал того, что хотел.

И вот наконец стал слышен монотонный, напевный гул, ласковый и переливающийся, словно звучащая где-то вдали песня.

Тогда шкипер, быстро перешагнув через скамьи, что были посередине палубы, заторопился на нос галеаса, где внизу спали его люди.

— Вставайте! — крикнул он им. — Берите багры и весла! Освобождение из плена уже близко. Я слышу шум волн. Я слышу песню свободных волн.

Команда тотчас пробудилась ото сна. Все встали по своим местам вдоль бортов корабля. Медленно наступал рассвет.

Когда же стало настолько светло, что можно было разглядеть, что все-таки случилось в море этой ночью, перед ними открылась такая картина: все заливы и проливы вокруг были свободны ото льда до самого моря, однако в том заливе, где был их корабль, не было во льду ни единой трещины, лед был по-прежнему тверд и невредим.

А в проливе, соединявшем залив с морем, образовалась высокая стена изо льда. Волны, свободно катившиеся там, в проливе, набрасывали сюда льдину за льдиной.

А в самом проливе парусов — тьма-тьмущая. Рыбаки, чьи суденышки были скованы льдом в Марстранде, устремились теперь прочь. Волны подбрасывали их высоко, и вокруг еще танцевали льдины, но рыбаки не желали терять время в ожидании спокойного и безопасного моря и отправлялись в путь. Они стояли у штурвалов своих лодок и внимательно вглядывались вперед. Небольшие льдины они отодвигали веслом, а когда подступали более крупные, перекладывали штурвал и уходили от них в сторону. На галеасе шкипер стоял на верхней палубе и наблюдал за ними. Он понимал, что им придется нелегко, но он также видел и то, что суденышки одно за другим все же пробивались вперед и добирались до открытого моря.

И когда по синей поверхности моря перед глазами шкипера скользил белый парус, тоска охватывала его с такой силой, что к глазам подступали слезы.

Его корабль стоял без движения, и перед ним продолжали громоздиться льдины, отчего ледовая стена все увеличивалась.

А там, в море, плыли не только корабли да лодки, но также и небольшие айсберги, выроставшие оттого, что друг на друга накатывались большие льдины. Они плыли дальше на юг, сверкая в лучах утреннего солнца, словно серебро, а иногда и отливая красным цветом, будто были усыпаны розами.

Но вот слышны стали и какие-то звучные крики. Они казались то поющими человеческими голосами, то пронзительными звуками трубы. И эти звуки вызывали ликование в душе. Слыша их, сердце словно бы делалось шире. Это кричали лебеди, длинной вереницей летевшие с юга.

Но когда шкипер увидел, как на юг плывут айсберги, а на север летят лебеди, тоска его стала невыносимой, и он в отчаянии заломил руки.

— О, горе мне! — сказал он. — За что должен я стоять здесь, пока лед не выпустит меня из залива? Думаю, придется мне ждать этого еще немало дней.

Раздумывая об этом, он увидел вдруг, что по льду едет человек. Он появился из узкого пролива со стороны Марстранда и ехал так уверенно, словно и не ведал о том, что волны вновь понесли лодки и корабли.

Подъехав к галеасу, он крикнул шкиперу:

— Уважаемый, как там у тебя дела с провизией? Небось, долго еще тебе стоять здесь, во льдах. Может, купишь у меня соленую сельдь, или сушеную морскую щуку, или копченого угря?

Шкипер не пожелал ответить ему. Он погрозил кулаком и выругался.

Тогда торговец рыбой спрыгнул с повозки и достал оттуда охакку сена. Потом он положил ее перед лошадью, а сам забрался на палубу галеаса.

Подойдя к шкиперу, он сказал ему совсем серьезно:

— Нынче приехал я к тебе не затем, чтобы продать рыбу. Я знаю, что человек ты благочестивый, и потому приехал я просить тебя отдать мне девушку, что увели с собой вчера на корабль шотландские ландскнехты.

— О том, что они привели сюда какую-нибудь девушку, мне неизвестно, — ответил шкипер. — Ночью не слышал я на борту женского голоса.

— Меня зовут Торарин, торговец рыбой, — сказал человек. — Может статься, тебе доводилось слышать обо мне. Я ужинал с господином Арне на его дворе в Сульберге в ту ночь, когда был он убит. С того времени живет в моем доме его приемная дочь, но вчера ночью увели ее с собой его убийцы, и теперь должна она быть с ними на твоём корабле.

— У меня на корабле убийцы господина Арне? — в ужасе вымолвил шкипер.

— Ты видишь, что я слабый и ничтожный человек, — сказал Торарин. — Одна рука моя не слушается меня, а потому боюсь я ввязываться во всякие опасные дела. Уже несколько недель знал я, кто убил господина Арне, а вот попытаться им отомстить смелости не хватало. Но оттого, что я молчал, им и удалось убежать из города, да еще и прихватить с собой девушку. Но больше не должен я поступать так, чтобы после раскаиваться. Потому хочу по крайней мере юную девушку спасти.

— Коли на корабле убийцы господина Арне, отчего же стражники городские не идут сюда схватить их?

— Да я упрасивал, уговаривал их всю ночь и все утро, — сказал Торарин, — однако не решаются они идти сюда. Говорят, что на корабле собралось около сотни ландскнехтов и сражаться с ними они не осмеливаются. Тогда подумал я, что с Божьей помощью один могу пробраться на корабль и попросить тебя помочь мне спасти девушку, потому как знаю, что человек ты благочестивый.

Но шкипер не ответил ему. Он думал о другом.

— Откуда можешь ты знать, что убийцы здесь, на корабле?

Торарин показал на большой сундук, что стоял между скамьями.

— Я слишком часто видел сундук этот в доме у господина Арне, чтобы не узнать его теперь, — сказал он. — В нем хранятся деньги господина Арне, а где его деньги, там же, надо думать, и убийцы его.

— Этот сундук принадлежит сэру Арчи и двум его друзьям, сэру Реджинальду и сэру Филипу, — ответил шкипер.

— Да, — сказал Торарин и твердо посмотрел на шкипера, — это так. Он принадлежит сэру Арчи, сэру Филипу и сэру Реджинальду.

Некоторое время шкипер стоял молча и осматривался вокруг.

— Когда, ты думаешь, залив освободится ото льда? — спросил он Торарина.

— В этом году странно здесь все, — сказал Торарин. — Обычно лед отсюда уходит рано, ибо здесь сильное течение. Но нынче получается так, что тебе остерегаться надо, как бы корабль твой, когда лед двинется, на берег не выбросило.

— Вот об этом я только и думаю, — сказал шкипер. Он снова замолчал, повернув голову к морю. Утреннее солнце сияло высоко в небе, и в волнах отражался его блеск. Корабли свободно плыли в разные стороны, а птицы морские летели с юга с радостными криками. Рыбы держались у самой поверхности и высоко выпрыгивали, сверкая и словно радуясь освобождению из ледяного плена. Чайки, еще недавно охотившиеся там, где кончался лед, летели большими стаями в сторону берега, чтобы снова охотиться в местах, хорошо им знакомых.

Шкипер не мог вынести того, что он увидел.

— Разве же друг я убийцам и разбойникам? — спросил он. — Разве должен я закрыть глаза свои и не замечать, отчего Господь держит ворота в море для моего корабля запертыми? Разве должен я погибнуть здесь оттого только, что преступники нашли себе на моем корабле пристанище?

Шкипер ушел и, собрав своих людей, сказал им:

— Теперь известно мне, почему мы заперты здесь, в то время как все другие корабли выходят в море. Оттого это, что на борту у нас есть убийцы и преступники.

Потом шкипер спустился к шотландским ландскнехтам, еще спавшим в трюме.

— Уважаемые господа, — сказал он им, — полежите спокойно еще самую малость и оставайтесь на месте,

если вдруг услышите крики да шум на корабле! Мы должны исполнить волю Божью, чтобы не было на борту у нас преступников. Коли послушаете меня, обещаю отдать вам сундук с деньгами господина Арне, и вы поделите их между собой.

Торарину же шкипер сказал так:

— Спускайся к саням да сбрось свою рыбу на лед! Другой груз повезешь ты теперь.

И тогда шкипер и его люди ворвались в каюту, где спали сэр Арчи и его друзья. Они набросились на них, чтобы связать, пока те еще не проснулись.

Когда же трое шотландцев попытались защищаться, они нанесли им тяжелые удары топорами и железными вагами, а шкипер сказал им:

— Вы — убийцы и преступники. Как же могли вы надеяться избежать наказания? Разве непонятно вам, что из-за вас Господь не выпускает нас отсюда в море?

Тогда те трое громко закричали, призывая на помощь своих товарищей.

— Не стоит звать их, — сказал шкипер. — Не придут они. Они получили деньги господина Арне, чтобы поделить их между собой, и теперь они набивают шляпы свои серебряными монетами. Ради этих монет совершили вы злое дело, и благодаря им же будете вы теперь наказаны.

Торарин еще не успел выгрузить из своей повозки всю рыбу, когда на лед к нему вышли шкипер и его люди. Они вели с собой троих крепко связанных мужчин. От полученных ран мужчины ослабели и были совсем без сил.

— Не напрасно воззвал ко мне Господь, — сказал шкипер. — Как только я понял, какова его воля, я послушал его.

Они уложили пленников в повозку Торарина, и тот поехал по узким заливам и проливам, где лед был еще крепок, везя их в сторону Марстранда.

Когда миновал полдень, шкипер снова стоял на верхней палубе своего корабля и вглядывался в море. Но вокруг корабля все было по-прежнему, а стена изо льда продолжала расти.

Тут шкипер заметил, что к его кораблю приближается длинная вереница людей. Это шли все женщины Марстранда, старые и молодые. Одеты они были в траурные одежды, и с ними шли мальчишки, несшие носилки с гробом.

Подойдя к галеасу, они сказали шкиперу:

— Мы пришли, чтобы взять с корабля юную девушку. Она мертва, и убийцы признались, что она пожертвовала жизнью, дабы не позволить им скрыться. И вот мы, женщины Марстранда, хотим отнести ее в наш город со всеми почестями, которых она заслуживает.

Эльсалилль нашли на корабле и вынесли на лед. И отнесли ее в Марстранд, а все женщины города оплакивали юную девушку, полюбившую преступника и отдавшую свою жизнь, чтобы погубить того, кого она любила.

Но как только женщины двинулись в сторону города, вдогонку им налетел шторм, нагнавший волны. И лед, по которому они только что проходили, ломался за ними, так что, когда они вошли с Эльсалилль в Марстранд, все ворота в море были уже открыты.

НОВЕЛЛЫ

Из цикла «НЕВИДИМЫЕ УЗЫ»

Рождественский гость

Одним из кавалеров, которые жили в Экебю, был малыш Рустер. Он умел играть на флейте и транспонировать ноты. Это был человек самого простого происхождения, бедняк, у которого не было ни родни, ни крыши над головой. Трудно пришлось ему, когда рассеялось кавалерское общество.

Не стало у него ни лошади, ни тележки, ни шубы, ни красного погребца с дорожной снедью. И побрел он пешком от усадьбы к усадьбе со своими пожитками, сложив их в узелок из белого носового платка с голубой каемкой. Опять Рустер приучился застегивать сюртук на все пуговицы до самого горла, чтобы не разглядывали посторонние люди, какая на нем надета рубашка да есть ли жилет. В просторные карманы он складывал все самое драгоценное из своего достояния: разобрannую на части флейту, плоскую дорожную фляжку и нотное перо.

Он знал ремесло нотного переписчика и в прежние времена без труда нашел бы себе работу, да на его беду свет переменился. Год от году в Вермланде все меньше музицировали. И вот уже гитара на истлевшей ленте и валторна с выцветшей кисточкой на шнурке отправились вместе с ненужным хламом на чердак, где уже давно пылились продолговатые, окованные железом скрипичные футляры. И чем реже Рустеру приходилось брать в руки перо или флейту, тем чаще он вспоминал про фляжку, и в конце концов стал горьким пьяницей. Не повезло ему, бедняге.

Ради старой дружбы его еще принимали в окрестных усадьбах. Но встречали скрепя сердце, а провожали

с радостью. От него несло затхлым запахом и винным перегаром, он быстро хмелел от одной рюмки и начал нести всякую околесицу. Гостеприимные хозяева боялись его как чумы.

Однажды под Рождество он отправился в Лёвдаль, к знаменитому скрипачу Лильекруне. Когда-то Лильекруна тоже жил в компании кавалеров, но после смерти майорши вернулся на свой крепкий хутор Лёвдаль и остался там жить. И вот незадолго перед Рождеством, в самый разгар предпраздничной уборки, туда явился Рустер и спросил, не найдется ли для него какая-нибудь работенка. Лильекруна дал ему переписывать ноты, только чтобы его занять.

— Уж лучше бы ты его не привечал, — сказала ему жена. — Теперь он нарочно проковыряется подольше, и нам придется оставить его у себя на Рождество.

— Пускай уж остается, больше ему некуда деваться! — ответил Лильекруна.

Он угостил Рустера пуншем и водкой, они выпили, и Лильекруна словно заново пережил с ним былые кавалерские денечки. Однако у Лильекруны было тоскливо на душе. Он, как все, тяготился Рустером, хотя и старался не подавать вида, свято чтя законы дружбы и гостеприимства.

В доме у Лильекруны праздничные приготовления начались за три недели до Рождества. Хлопот было много, и все домашние трудились, не покладая рук. Ходили с красными глазами, оттого что и поздней ночью работали при свечах и при лучине, подолгу мерзли в пивоварне и холодном сарае, пока солили мясо и варили пиво. Однако и хозяйка, и домочадцы все терпели и не жаловались, зная, что после всех трудов наступит сочельник, и тогда все изменится, как по волшебству. На Рождество само собой откуда-то приходит веселье и радость, все будут шутить и смеяться, сыпать стихами и поговорками, ноги сами запросятся в пляс, и припомнятся забытые слова и мелодии, которые, оказывается, не забыты вовсе, а только до поры до времени дремали в глубине памяти. И все станут добрыми, такими добрыми друг к другу!

А когда появился Рустер, все домочадцы решили, что праздник испорчен. Так думали и хозяйка, и старшие дети, и верные слуги. При виде Рустера в них закралась гнетущая тревога. Они боялись, что встреча с Рустером разворошит в душе Лильекруны старые воспоминания, вспыхнет огненная натура великого скрипача, и тогда прости-прощай дом и семья! В прежние времена ему не сиделось дома.

С тех пор как Лильекруна вернулся домой, прошло уже несколько лет, и за это время все домочадцы несказанно полюбили хозяина. Он много значил для своих домашних, особенно в рождественский праздник. Его обычное место было не на диване и не в качалке, а на узкой, отполированной до блеска скамеечке около печки. Сядет он, бывало, в своем уголке и пустится в сказочное путешествие. В этих странствиях он объездил всю землю, парил в звездной вышине, и выше звезд залетал. Он то играл на скрипке, то рассказывал, а все домашние собирались в кружок и слушали. Жизнь становилась невиданно прекрасной и возвышенной, когда ее освещало сияние его богатой души.

Поэтому его и любили, как любят Рождество, радость, весеннее солнышко. Приход Рустера всех взбаламутил и нарушил праздничное настроение. Они так старались, но все их труды пропадут понапрасну, если Рустер сманит за собой хозяина. Несправедливо это и обидно, что какой-то пьянчужка навязался на шею благочестивым людям, а теперь рассядется за рождественским столом и всем испортит праздник.

В сочельник утром Рустер кончил переписывать ноты и завел речь о том, что ему пора прощаться и в путь, хотя на самом деле он, конечно, рассчитывал остаться.

Лильекруне отчасти передалось общее раздражение, поэтому он довольно-таки вяло предложил Рустеру не спешить с уходом, чтобы встретить здесь Рождество.

Малыш Рустер был вспыльчив и горд. Он покрутил усы, тряхнул черными кудрями, которые, как туча, вздымались над его челом: «Что, мол, ты хочешь этим сказать? Уж не думаешь ли ты, Лильекруна, что, кроме твоего дома, мне некуда пойти? Вот еще! Да меня ждут

не дождутся на железной фабрике в Бру! Для меня, мол, и комната приготовлена, и чарка с вином налита! Одним словом, мне надо спешить, только вот не знаю, кого навестить первого».

— Бог с тобой! — ответил Лильекруна. — Поезжай, коли ты так хочешь!

После обеда Рустер испросил взаймы лошадь и сани, шубу и меховую полость. С ним послали работника, чтобы тот отвез Рустера в Бру, и наказали ему поскорей возвращаться: похоже было, что разыграется метель.

Никто не поверил, что Рустера где-то ждут или что найдется такое место в округе, где бы ему были рады. Однако всем так хотелось поскорей от него отделаться, что никто не признался перед собой в этих мыслях. Гости торопливо спровадили, ожидая, что без него в доме сразу же станет хорошо и весело.

В пять часов все собрались в зале, чтобы пить чай и плясать вокруг елки, но Лильекруна был молчалив и печален. Он не садился на волшебную скамейку, не притронулся ни к чаю, ни к пуншу, не сыграл им польку, отговорившись тем, что будто бы неисправна скрипка, а кому охота плясать и веселиться, те пускай, мол, обходятся сами.

Тут уж и хозяйка встревожилась, и дети расстроились, и все в доме пошло вразброд. Грустное случилось Рождество.

Молочная каша свернулась, свеча зачадилась, из печи повалил дым, за окном поднялся ветер, разыгралась вьюга, и со двора потянуло ледяным холодом. Работник, которого послали отвезить Рустера, не возвращался, домоуправительница плакала, а служанки перессорились.

А тут еще Лильекруна вспомнил, что забыли выставить рождественский сноп для воробьев, и начал ворчать на женщин, что вот, дескать, старые обычаи позабыты, все бы вам только модничать, а сердечной доброты ни в ком не осталось. Однако они хорошо понимали, что на самом деле его мучают угрызения совести из-за того, что отпустил малыша Рустера и не уговорил его остаться на Рождество.

Вдруг хозяин встал, вышел вон и, запершись в своей комнате, начал играть на скрипке; такой игры от него давно не слышали с тех пор, как он бросил бродяжничать. В музыке звучали злость и насмешка, страстный порыв и мятежная тоска: «Вы думали посадить меня на цепь, а мне не страшны ваши оковы! Вы думали принизить меня до вашей мелочности. А я вырвался от вас на волю, на простор. Эй вы, скучные, серые людишки, рабские душонки! Попробуйте меня поймать, если сможете угнаться!»

Послушав скрипку, жена сказала:

— Завтра он убежит, и ничто его не остановит, кроме Божьего чуда. Вот из-за нашего плохого гостеприимства мы сами накликали беду, которой боялись.

А малыш Рустер тем временем все ехал куда-то сквозь метель. Он ездил от усадьбы к усадьбе и везде спрашивал, нету ли для него работы, но нигде его не принимали. Ему даже не предлагали выйти из саней.

У одних был полон дом гостей, другие сами собирались завтра ехать в гости.

— Поезжай к соседу! — отвечали ему повсюду.

Его даже звали пожить несколько дней и поработать, но только потом, после Рождества. Сочельник бывает раз в году, и дети с самой осени ждали праздника. Разве можно посадить за праздничный стол рядом с детьми такого человека! Раньше его охотно приглашали, но теперь другое дело: кому нужен такой пьянчужка, да и что с ним делать? Отправить в людскую — неуважительно, а с господами посадить — много чести.

Вот так и пришлось Рустеру разъезжать среди злой метели от усадьбы к усадьбе. Мокрые усы печально обвисли у него по губам, воспаленные глаза покраснели, взгляд помутнел, зато из головы выветрились винные пары. И тут он с удивлением подумал: «Неужели и впрямь никто не хочет меня у себя принимать?»

И вдруг, точно впервые увидев, какой он сам жалкий и опустившийся, он понял, как он противен окружающим. «Со мною все кончено, — подумал он. — Кончено с переписыванием нот, кончено с флейтой. Никому на свете я не нужен, никто меня не пожалеет».

Мела и завивалась вьюга, взметая сугробы и перенося их на новое место; вздымались столбом снежные вихри и неслись по полям, тучи снега взлетали на воздух и вновь осыпались на землю.

«Всё, как в нашей жизни. Всё, как в нашей жизни, — сказал себе Рустер. — Весело плясать, пока тебя несет и кружит, а вот падать, ложиться в сугроб и быть погребенным — обидно и грустно». Но в конце концов всем это суждено, а нынче настал его черед. Не верится, что вот и пришел конец!

Он уже не спрашивал, куда его везет работник. Ему чудилось, что он едет в страну смерти.

Малыш Рустер не сжег во время поездки старых богов. Он не проклинал свою флейту или кавалеров, он не подумал, что лучше было пахать землю или тачать сапоги. Он только горевал, что превратился в отслуживший инструмент, который не годится больше для радостной музыки. Он никого не винил, зная, что лопнувшую валторну или гитару, которая перестала держать лад, остается только выбросить. Он вдруг ощутил небывалое смирение. Он понял, что в этот сочельник пришел его последний час. Ему суждено погибнуть от голода или замерзнуть, потому что он ничего не умеет, ни на что не пригоден и у него нет друзей.

Но тут сани остановились, и сразу вокруг сделалось светло. Он услышал дружелюбные голоса, кто-то взял его под руку и увел с мороза в дом, кто-то напоил горячим чаем. С него сняли шубу, со всех сторон он слышал добрые слова приветия, и чьи-то теплые руки растирали его заочевенвшие пальцы.

Это было так неожиданно, что в голове у него все смешалось, и прошло четверть часа, прежде чем он очухался. Он не сразу сообразил, что снова оказался в Лёвдале. Он даже не заметил, когда работник, которому надоело таскаться по дорогам в метель и стужу, повернул назад и поехал домой.

Рустер не мог понять, отчего ему вдруг оказали такой ласковый прием у Лильекруны. Откуда ему было знать, что жена Лильекруны очень хорошо представляла себе, какой тяжкий путь выпало ему проделать в

сочельник, выслушивая отказ всюду, куда бы ни постучался. И ей стало так его жалко, что она забыла все прежние опасения.

Между тем Лильекруна все безумствовал на скрипке, запершись в своей комнате. Он не знал, что Рустер уже вернулся. А Рустер сидел в зале, где были его жена и дети. Слуги, которые обычно встречали Рождество вместе с господами, на этот раз, увидав, что хозяевам не до праздника, убрались подальше от греха и сидели на кухне.

Хозяйка, не долго думая, задала Рустеру работу.

— Слышишь, Рустер, как наш хозяин весь вечер играет на скрипке? Мне надо на стол накрыть и приготовить угощение. А дети одни брошены. Придется уж тебе поглядеть за двумя младшенькими.

Изю всех людей Рустеру меньше всего приходилось иметь дело с детьми. Дети как-то не попадались на его пути ни в кавалерском флигеле, ни в солдатской палатке, ни в трактирах или на большой дороге. Он даже смутился перед ними и не знал, что и сказать, чтобы не оскорбить их слуха.

Рустер достал флейту и стал им показывать, как надо обращаться с дырочками и клапанами. Одному мальшу было четыре года, другому шесть. Урок так их заинтересовал, что они совсем погрузились в новое занятие.

— Вот А, — говорил Рустер, — а это С, — и брал нужную ноту¹.

Но тут детям захотелось посмотреть, как выглядят А и С, которые надо играть на флейте. Тогда Рустер достал листок нотной бумаги и нарисовал обе ноты.

— А вот и нет! — сказали дети. — Это неправильно.

Они побежали за азбукой, чтобы показать, как надо писать буквы.

Тогда Рустер стал спрашивать у них алфавит. Дети отвечали, что знали, иной раз и невпопад. Рустер увлекся, усадил мальчуганов к себе на колени и начал их учить. Жена Лильекруны, хлопоча по хозяйству, мимоходом

¹ Латинские буквы «А» и «С» также служат названием нот «ля» и «до».

прислушалась и очень удивилась. Это было похоже на игру, дети хохотали, но ученье шло им впрок.

Так Рустер развлекал детей, но голова его была занята другим, в ней бродили мысли, которые привязались во время метели. Он думал, что все это мило и прекрасно, но только уж не для него. Его, как старую рвань, пора выбросить на свалку. И вдруг он закрыл лицо руками и заплакал.

Жена Лильекруны взволнованно подошла к Рустеру.

— Послушай, Рустер! — заговорила она. — Я понимаю, что тебе кажется, будто все для тебя кончено. Музыка перестала быть тебе подспорьем, и ты губишь себя водкой. Так вот, на самом деле для тебя еще не все пропало, Рустер!

— Какое там! — вздохнул Рустер.

— Ты же сам видишь, что возиться с детишками, как сейчас — занятие как раз по тебе. Если ты начнешь учить детей чтению и письму, ты снова станешь для всех желанным гостем. Вот тебе инструменты, на которых играть ничуть не легче, чем на флейте или на скрипке. Взгляни-ка на них, Рустер!

И с этими словами она поставила перед ним двух своих детей. Он поднял взгляд и, сощурясь, как от яркого солнца, посмотрел на них мутными глазами. Казалось, будто он с трудом может выдержать ясный и открытый взгляд невинных детских глаз.

— Посмотри на них, Рустер! — строго повторила жена Лильекруны.

— Я не смею, — ответил Рустер, пораженный ослепительным сиянием непорочной души, которое светилось в прекрасных детских глазах.

И тут жена Лильекруны рассмеялась звонко и радостно.

— Придется тебе к ним привыкать, Рустер! Ты можешь на весь этот год остаться у меня в доме учителем.

Лильекруна услышал смех своей жены и вышел в залу.

— Что тут такое? — спросил он. — Что тут такое?

— Ничего особенного, — ответила жена. — Просто вернулся Рустер, и я договорилась с ним, что он останется у нас учителем при малышах.

Лильекруна воззрился на нее в изумлении:

— Ты решилась? — повторил он. — Ты осмелилась? Неужели он обещал бросить...

— Нет! — сказала жена. — Рустер ничего мне не обещал. Но ему придется очень следить за собой и держать ухо востро, потому что здесь ему каждый день нужно будет смотреть в глаза маленьким детям. Кабы не Рождество, я бы никогда не решилась на такое, но уж коли Господь наш решил оставить среди нас, грешных, не просто малого ребенка, а своего сына, то уж, верно, и я могу позволить, чтобы мои дети попытались спасти одного человека.

Лильекруна не мог вымолвить ни слова, но его лицо подергивалось и вздрагивало каждой морщинкой, как всегда, когда он бывал поражен чем-нибудь величественным.

Затем он благоговейно, с видом ребенка, который пришел просить прощения, поцеловал руку своей жены и громко воскликнул:

— Подите сюда, дети, и все поцелуйте ручку своей матушке!

Что и было сделано, а после в доме Лильекруны весело отпраздновали Рождество.

История, которая произошла в Хальстанесе

Невдалеке от проезжей дороги была когда-то старинная усадьба по названию Хальстанес. Она стояла на самом краю леса, который близко подступал к длинным, приземистым постройкам красного цвета. Над крышей господского дома простирала свои ветви раскидистая черемуха, осыпавшая красную черепицу черными ягодами. Над конюшней висел укрытый навесом колокол, которым сзывали с поля работников.

Возле поварни возвышалась нарядная голубятня, украшенная щегольскими балкончиками; над конторским крыльцом висела беличья клетка из двух зеленых домиков и большого беличьего колеса, а в углу перед зарослями сирени выстроился длинный ряд крытых берестой пчелиных ульев.

При усадьбе имелся пруд, в котором плавали жирные караси и сновали узкотелые тритончики. У ворот стояла собачья конура, и всюду, где только возможно, были устроены белые калитки: калитка вела в сад, калиткой кончалась аллея.

В усадьбе были просторные чердаки, где помещались чуланы; там хранились старинные офицерские мундиры и дамские шляпки, сто лет назад вышедшие из моды. Там стояли огромные сундуки, набитые шелковыми шальями и свадебными платьями, пылились старинные клавесины и скрипки, гитары и фаготы. Старинные секретеры и шкафы хранили в своих недрах рукописные ноты и пожелтевшие письма, в сенях висели по стенам ягдташи, охотничьи ружья и большие пистолы, пол был устелен домоткаными половиками, на которые пошли обрывки изношенных сатиновых платьев и отслужившие занавески.

Там было парадное крыльцо с решетчатой оградой, по которой каждое лето взбирались до самого верха вьющиеся плети переступеня. На крыльцо выходила массивная желтая дверь; за дверью были сени, посыпанные можжевельником; окна с частыми переплетами расположились низко над землей и закрывались тяжелыми, прочными ставнями.

На эту усадьбу-то и отправился однажды летом старый полковник Бееренкройц. Кажется, это случилось на другой год после его отъезда из Экебю. С тех пор он устроился жить в Свартшё в крестьянской семье, которая давала ему за плату жилье и стол. Он стал домоседом и редко куда-нибудь выезжал. Лошадь и тележка, которые у него сохранились, большую часть года простаивали без дела. Он говорил, что теперь уж и в самом деле состарился, а старикам лучше всего сидеть дома.

Вдоавок Бееренкройц был занят делом, от которого ему недосуг было оторваться. Он затеял соткать ковры для двух своих комнат: большие многоцветные ковры с великолепным и удивительно замысловатым рисунком. Это занятие отнимало у него уйму времени, тем более что он ткал их необычайным способом. Решив обходиться без ткацкого станка, он натянул осно-

ву поперек комнаты от стены к стене. Он выбрал этот способ, чтобы все время видеть перед собой весь ковер целиком, но это, конечно, сильно затрудняло его работу; нелегко было продевать уток в основу и укладывать нитки в плотную ткань. А тут еще надо помнить об узоре, который он сам придумывал, и цвета подбирать! Начиная работу, полковник не подозревал о том, как много она потребует времени.

И вот, трудясь над узором и вплетая нитку за ниткой, он много думал о Господе. У Господа, знать, и станок побольше, и узор на нем ткется посложнее. И понял полковник, что для этой ткани нужны всякие нитки — светлые и темные. Иначе откуда бы взялся настоящий узор! И после долгих размышлений Бееренкройц в конце концов пришел к мысли, что его жизнь и жизнь людей, которых он знал, наблюдая за ними долгие годы, составляет небольшой кусочек Господней ткани; он словно видел ее перед глазами так отчетливо, что различал в ней отдельные цвета и очертания узора. Если бы кто-нибудь спросил у него напрямик, он догадался бы, что и сам сплетает узор из собственной жизни и жизни своих друзей и в своем скромном труде по мере сил старается подражать тому образцу, который выходит из ткацкого станка Господа Бога.

Однако, как ни был занят полковник, он все же урывал время для того, чтобы раз в году провести старых друзей. Обыкновенно он отправлялся в путь в середине лета, потому что с давних пор больше всего любил путешествовать в это время года, когда луга еще благоухают клевером, а обочины так густо усыпаны голубыми и желтыми летними цветами, что кажется, будто вдоль дороги тянутся две пестрые ленты.

На этот раз, едва выехав на большую дорогу, полковник повстречал своего старого друга прапорщика Эрнеклу. И Эрнеклу, который круглый год проводил в странствиях, дал ему добрый совет.

— Надо тебе, братец, съездить в Хальстанес и повидаться с унтером Вестбладом! — сказал он полковнику. — Я не знаю другой усадьбы во всей стране, где мне было бы так хорошо!

— О каком это Вестбладе ты говоришь, братец? — спросил полковник. — Неужели о бешеном унтер-офицере, которого майорша прогнала со двора?

— Вот именно! — сказал прапорщик Эрнеклу. — Но Вестблад уже совсем не тот, каким был раньше. Он женился на знатной девице. Надежная оказалась женщина, скажу я тебе! Она сделала из него человека. Вот уж впрямь можно сказать, что неожиданно-негаданно, а привалило Вестбладу редкое счастье, когда в него влюбилась такая замечательная дама. Конечно, она была уже не первой молодости, да ведь и он не молоденький. Съезди, братец, в Хальстанес и посмотри своими глазами, какие чудеса может творить любовь!

И полковник отправился в Хальстанес, чтобы своими глазами убедиться, правду ли ему сказал Эрнеклу. Не раз уж он вспоминал Вестблада и гадал, что с ним стало. В молодости это был такой буян, что даже майорша из Экебю не сумела с ним сладить. Годика два она терпела его, а больше не вынесла и прогнала. Вестблад дошел до такого безобразия, что уже и кавалеры не хотели с ним знаться. А тут вдруг Эрнеклу говорит, будто он стал помещиком и женат на превосходной женщине!

Подъехал полковник к Хальстанесу и с первого взгляда понял, что это настоящая, старинная барская усадьба. Достаточно было взглянуть на аллею из старых развесистых берез, на которых были вырезаны чьи-то имена. Таких берез он не встречал нигде, кроме старинных дворянских гнезд.

Полковник медленно ехал по усадьбе, и с каждым мгновением ему здесь все больше нравилось. Тут были липовые шпалеры такой гущины и плотности, что хоть шагай по верху — не провалишься, были террасы с каменными ступенями, которые наполовину ушли в землю от старости.

Проезжая мимо пруда, полковник заметил в желтоватой воде мелькающие тени карасей. С дороги, шумно хлопая крыльями, перед ним взлетела стая голубей, белка перестала крутиться в колесе, а цепной пес лежал, уткнувшись мордой в лапы, и негромко ворчал, помахивая хвостом.

Невдалеке от парадного крыльца полковник заметил муравейник: муравьи заняты были своими делами и, не обращая на него внимания, сновали туда и сюда, туда и сюда. Полковник бросил взгляд на цветочный бордюр. Тут росли все старинные сорта: нарциссы и барвинки, белые брандушки, очитки. А на лужайке цвели белые маргаритки, которые тут принялись с незапамятных времен и размножились самосевом, как сорная трава.

Мысленно Бееренкройц перебрал все признаки. Да, это действительно была настоящая барская усадьба, здесь во всем — и в растениях, и в животных, и в людях чувствовалась порода.

Наконец он остановился у парадного крыльца, и тут ему была оказана такая хорошая встреча, что лучшего нельзя и пожелать; едва он успел почиститься от дорожной пыли, как его уже позвали к столу. Полковника на славу накормили вкусными, сытными старинными кушаньями, а на десерт был подан точно такой хворост, каким его в детстве угощала матушка, когда он приезжал домой на каникулы; такого хвороста с тех пор он нигде больше не едал!

А уж о Вестбладе и говорить нечего! Бееренкройц только диву давался, глядя, как тот неторопливо прохаживался, посасывая длинный чубук; весь облик хозяина дышал спокойствием и довольством. На нем были турецкая феска и старый, поношенный сюртук, который он нехотя сменил перед обедом на другой наряд. Это была единственная черта, которая напоминала того дикаря, каким его прежде знал Бееренкройц. Оказалось, что Вестблад прилежно надзирает за работниками, подсчитывает, что сделано за день, ездит осматривать посевы; обходя сад, он не забыл сорвать для жены розу и притом не сквернословил и не богохульствовал.

Но больше всего удивился полковник, когда увидел, что Вестблад сам ведает конторским учетом. Вестблад привел полковника в контору и показал ему толстые гроссбухи в красных кожаных переплетах. Оказалось, что он стал заправским счетоводом. Он расчерчивал лист красными и черными чернилами, подсчитывал

расход и приход, вписывая имена и цифры, учитывая все траты, вплоть до почтовых расходов.

А жена унтер-офицера Вестблада, урожденная дворянка, называла Бееренкройца кузенком; они сразу сочлись с нею родством, вспомнили всех, кого оба знали. Достойная госпожа Вестблад внушила Бееренкройцу такое доверие, что он даже спросил ее совета по части коврокчества.

Само собой разумеется, что Бееренкройц остался ночевать в усадьбе. Ему предоставили огромную кровать с балдахином и целым ворохом перин в лучшей комнате для гостей, дверь которой выходила в сени напротив хозяйской спальни.

Комната смотрела окнами в сад; и вот среди светлых сумерек белой ночи Бееренкройц увидел за окном корявые стволы и обглоданную гусеницами листву старых яблонь, окруженных подпорками, которые поддерживали их ломкие, трухлявые ветви. Он увидал громадную дикую яблоню, которая по осени даст несколько мер несъедобных плодов. На земле среди гущи зеленых листьев он разглядел наливающиеся алым соком ягоды клубники.

Полковник все смотрел и смотрел, словно ему жаль было тратить время на сон. У себя дома в крестьянской усадьбе он видел из окна каменистый пригорок, на котором росло несколько кустиков можжевельника. А полковник Бееренкройц, коли уж на то пошло, относился к тем людям, которым милее и привычнее кажутся подстриженные шпалеры и цветущие розы.

Порою зрелище сада в ночной тиши вызывает такое чувство, будто он не живой, не всамделишный. Деревья стоят так тихо, что скорее напоминают театральные кулисы; яблони кажутся нарисованными, а розы — склеенными из бумаги. Подобное чувство появилось и у полковника, когда он смотрел в окно.

«Это невозможно, — думал он. — Это не настоящее. Наверно, это дурацкий сон».

Но тут куст шиповника, росший под самым окном, уронил наземь несколько лепестков, и полковник понял, что все, что он видит, существует взаправду. Здесь

все было истинно и неподдельно. И день и ночь напролет здесь царили мир и благодать.

Наконец полковник Бееренкройц оторвался от созерцания и лег, не закрывая ставней. Утопая в пухлых перинах, он все поглядывал в окно, за ним виднелся куст шиповника. Это зрелище было полно для него такого очарования, что невозможно выразить словами. И странно показалось полковнику, что это чудо за окном, это райское видение досталось такому человеку, как Вестблад.

Чем больше полковник думал о Вестбладе, тем больше он удивлялся тому, что шершавый конек угодил вдруг в такую богатую конюшню.

Немногого он стоил в те времена, когда его выгоняли из Экебю. И вряд ли можно было тогда предполагать, что он станет степенным и состоятельным человеком.

Полковник вспоминал и посмеивался, спрашивая себя, помнит ли Вестблад былые забавы, которыми он развлекался в Экебю. Особенно любил он тогда в ненастные темные ночи, обмазавшись фосфором, скакать на вороном коне по окрестным холмам, где жили кузнецы и мельники. Иная старушка, ненароком выглянув в окно, бывало, заметит промчавшегося на черном коне всадника, от которого исходило голубовато-белое сияние, и поскорей кидается запирать ставни и двери, приговаривая, что нынче надо хорошенько молиться — вон, дескать, враг рода человеческого явился по наши души — так и рыскает по полям.

Впрочем, что и говорить! В то время находилось немало и других охотников пострадать легковерных людишек. Полковник слышал про всякие проказы, но все это были пустяки по сравнению с тем, что вытворил Вестблад.

Однажды в Викста, где жили арендаторы поместья Экебю, умерла старушка. Вестблад как-то прознал об этом, знал он также и то, что покойницу держат не в доме, а выставили в сарай под сеновалом. И вот, когда настала ночь, Вестблад вырядился в огненные одежды, вскочил на черного коня и ускакал со двора. Обитатели

Викста еще не ложились, и кто-то увидал, что к сараю, где лежала покойница, подскочил огненный всадник, три раза объехал его кругом и скрылся внутри, потом всадник снова показался из ворот, сделал еще три круга возле дома и исчез, как не бывало.

Наутро люди пошли в сарай проведать покойницу и обнаружили, что старуха пропала. Тут все решили, что ее похитила нечистая сила, и на том успокоились.

Но спустя несколько недель тело нашлось вверху на сеновале. Пошли шумные толки, и тут уж люди дознались, кем был огненный всадник. Крестьяне сговорились подловить Вестблада и хорошенько проучить, а майорша не пожелала его больше терпеть под своей крышей, она собрала ему в дорогу погребец и попросила убраться подальше от этих мест.

Вестблад отправился в путь и набрел на свое счастье.

И тут вдруг полковника поразила необычайная мысль, от которой он неожиданно испытал чувство, похожее на испуг. Прежде до него как-то не доходило, какая это была скверная история, он даже смеялся над ней. Ему, как и всякому другому, не приходило тогда в голову терзаться из-за того, что случилось с какой-то деревенской старушонкой. А ведь как подумаешь, что так поглумились бы над твоей матерью, ты, наверно, с ума бы сошел от ярости!

Полковнику вдруг стало душно и тяжело дышать. Прodelка Вестблада предстала ему во всей своей ужа-сающей омерзительности. Она мучила его, точно кошмар. Он со страхом ждал, что, мертвая старуха вот-вот появится перед ним из-за полога. Ему почему-то казалось, что она должна быть где-то здесь рядом.

Со всех сторон в уши ему звучали с непререкаемой уверенностью одни и те же слова: «Этого Бог не простит. Этого Бог ему не забыл!»

Полковник закрыл глаза, но тут перед ним возник великий ткацкий стан, на котором Господь ткёт ткань человеческих судеб, и он вдруг ясно различил частичку узора, которая принадлежала унтер-офицеру Вестбладу; его часть была с трех сторон обведена чернотой, и поскольку полковник сам кое-что смыслил в

ткачестве и разбирался в узорах, он понял, что с четвертой стороны придется тоже продолжить черную кайму. Другой цвет не подходит к узору, иначе получилась бы негодная ткань.

У него весь лоб покрылся испариной. Ему казалось, что в целом свете нет ничего, что было бы так твердо и нерушимо, как то, что стояло у него перед глазами. Он увидел, как судьба, которую человек уготовил себе в прошлые годы своей жизни, неумолимо преследует его в грядущем. Подумать только, что кто-то еще надеется от нее убежать!

Убежать! Как бы не так! Все запечатлено, все предначертано! Те цвета и узоры, которые легли на ткань, неминуемо предопределяют последующие, и сбывается то, чему следует быть.

Полковник Бееренкройц внезапно вскочил и сел в постели, ему захотелось смотреть на цветы и на розы и утешаться мыслью, что Господь, может быть, все-таки забудет.

И вдруг, в тот самый миг, когда Бееренкройц поднялся и сел, дверь в его комнату приоткрылась, в нее просунулась голова и кивнула полковнику.

Было так светло, что полковник хорошо разглядел незнакомца. Это была самая мерзкая рожа из всех, какие только приходилось видеть полковнику. У него были серые пороссячьи глазки, приплюснутый нос и тощая всклокоченная бороденка. Его нельзя было сравнить с животным, потому что животные часто бывают красивы. Но в его облике впрямь было нечто звериное: челюсть тяжелая, выпяченный вперед подбородок, низкий лоб, почти закрытый спутанными космами.

Незнакомец трижды покивал полковнику, взглядывая на него между кивками с отвратительной широкой ухмылкой. Затем он вытянул вперед руку — она была красной от крови — и показал ее с торжествующим выражением.

В продолжение всего этого полковник сидел без движения, точно парализованный, но тут он вскочил и в два шага очутился у двери. Однако он опоздал, посетитель уже исчез, и дверь была закрыта.

Полковник хотел было закричать и стуком будить хозяев, но тут он вспомнил, что дверь была заперта изнутри, он сам закрыл ее с вечера на задвижку. Проверив, он тут же убедился, что задвижка на месте и к ней никто не притрагивался.

Полковника несколько смутило, что он на старости лет сделался духовидцем. Он не стал ничего делать и снова улегся в постель.

Дождавшись наконец утра и позавтракав, полковник еще больше устыдился того, что с ним случилось ночью, когда он, поддавшись страхам, весь дрожал и обливался холодным потом. Поэтому он ни словом не обмолвился о своем приключении.

Позже они с Вестбладом отправились в поле. Во время прогулки они поравнялись с работником, который, стоя в канаве, заготавливал торф. Бееренкройц узнал его. То был его ночной посетитель. Совпадала каждая черточка.

— Послушай, любезный брат, этого человека я бы ни одного дня не потерпел на своей службе, — сказал Бееренкройц, когда они немного отошли от канавы.

И тут он поведал Вестбладу о том, что видел этой ночью.

— Я только для того рассказал тебе эту историю, чтобы ты, брат, послушался моего предостережения и прогнал от себя этого человека, — сказал Бееренкройц.

Но Вестблад не соглашался, говоря, что как раз этого работника не хочет прогонять. Бееренкройц настойчиво продолжал его уговаривать, и тогда Вестблад наконец признался, что не хочет обижать этого человека, потому что он сын умершей старухи из Викста, что под Экебю.

— Должно быть, ты, братец, помнишь эту историю, — прибавил Вестблад.

— Ну, коли так, то я бы скорее согласился бежать на край света, чем жить поблизости от этого человека, — сказал Бееренкройц.

И через час полковник уехал. Он так рассердился на Вестблада, когда тот не послушался его предостережения, что не пожелал у него оставаться.

— Тут произойдет несчастье, прежде чем я снова сюда приеду, — сказал полковник Вестбладу на прощанье.

Ровно через год полковник снова стал собираться в Хальстанес. Однако прежде чем он собрался, оттуда пришло страшное известие. Как раз в годовщину той ночи, что Бееренкройц провел в усадьбе, унтер-офицер Вестблад и его жена были убиты в своей спальне одним из арендаторов поместья. Убийцей был человек с толстой бычьей шеей, приплюснутым носом и порсячьими глазками.

Изгой

Один крестьянин, убивший монаха, убежал в лес и был объявлен вне закона. В лесу он встретился с другим изгоем, рыбаком из шхер; того обвиняли в краже рыболовной сети. Они объединились и стали жить вдвоем в пещере; ставили в лесу силки на дичь, сами делали стрелы, пекли хлеб на гранитной плите и по очереди стерегли друг друга. Крестьянин совсем не выходил из леса, а рыбак, не совершивший такого ужасного преступления, нагружался иногда дичью, которую они поймали на охоте, и тайком навещивался к человеческому жилью. Там он выменивал черных глухарей и сизых тетеревов, длинноухих зайцев и тонконогих оленей на молоко и масло, наконечники для стрел и одежду. Так они и жили понемногу.

Пещера, в которой они поселились, была вырыта в склоне горы. Широкие каменные выступы и кусты колючего терновника скрывали вход в пещеру. На крыше росла пышная ель. Среди ее корней они проделали отверстие для дыма. Дым просачивался вверх сквозь густые еловые ветви и незаметно рассеивался в вышине. Обитатели пещеры всегда ходили одной дорогой — по мелководному ручью, который стекал вниз по горному склону. Никому не пришлось бы в голову искать их следы под его журчащей струей.

Сначала за ними шла охота, как за дикими зверьми. Крестьяне собирались толпой, словно на медвежью

или на волчью облаву. Лучники окружали лес. Загонщики с дротиками заходили в чашу и рыскали по всем зарослям, залезали в каждую расселину. Пока в лесу шумела и голосила облава, изгой, затаившись в своей темной норе, прислушивались к ней со стесненной грудью, не смея от страха вздохнуть. Рыбак выдерживал в таком положении целый день, но убийцу непереносимый страх выгонял из убежища на волю; ему казалось лучше видеть своих врагов. Тут его находили и принимались гнать, но это ему было легче пережить, чем беспомощное ожидание. Он мчался впереди охотников, скатывался с крутых обрывов, перепрыгивал бурные речки, взбирался на отвесные утесы. Грозная опасность пробуждала в нем дремавшие до поры силы, удесятеряла способности. Тело делалось упругим, как стальная пружина, прыжок точным, хватка цепкой, зрение и слух становились вдвое острее против обычного. Он понимал, что нашептывает ему листва, о чем предостерегает камень. Взобравшись на край обрыва, он оборачивался к своим преследователям и глумился над ними, бросая в лицо насмешливый стих. Когда над ухом просвистело брошенное копьё, он мгновенно схватил его и послал сверху в своих врагов. Продираясь сквозь хлещущие ветки, он слышал на бегу, как душа у него поет, в ней звучала хвалебная песнь во славу его отваги.

Среди леса тянулся длинный скалистый хребет, и одиноко над краем пропасти, почти касаясь облаков, росла высокая сосна. Рыжий ствол ее был голым, а на ветвистой макушке качалось ястребиное гнездо. И вот в то время, как на склоне горы его искали преследователи, беглец, обуянный приливом отваги, залез на вершину дерева. Усевшись на ветке, он стал душить птенцов, хотя внизу приближалась облава. Оба ястреба, самец и самка, яростно нападали на него, порываясь отомстить разбойнику. Они летали вокруг его головы, метили клювом в глаза, били крыльями по лицу, острыми когтями до крови разодрали его продубленную кожу. Он, хохоча, отбивался. Встав во весь рост над гнездом, он размахивал острым ножом и, увлекшись

игрой, совсем забыл о преследователях и смертельной опасности. Когда наконец у него выдалась передышка, чтобы о них вспомнить, облава уже удалилась. Никому не пришло на ум искать дичь на голой вершине. Никто не задрал голову, чтобы увидеть, как под самыми облаками он с бесстрашием лунатика забавляется мальчишескими шалостями. Поняв, что спасен, храбрец задрожал. Трясущимися руками он уцепился за ветку и, посмотрев вниз, только сейчас оценил высоту, на которую забрался; тут у него закружилась голова. Он даже застонал от боязни и кое-как, все время боясь сорваться, боясь разъяренных птиц, боясь, что его увидят, — словом, боясь всего на свете, сполз по стволу на землю. Спустившись, он лег на живот, чтобы не быть замеченным, и ползком потащился по склону, пока его не спрятал подлесок. Так он забился в гущу молодого ельника и, вконец обессиленный, растянулся на моховой подстилке. Сейчас с ним шутя мог бы в одиночку справиться любой человек.

Рыбака звали Турд. Ему еще не было шестнадцати лет, но он был храбр и силен. Он уже год жил в лесу.

Крестьянина звали Берг, а по прозвищу Великан. Во всем уезде не было человека сильнее и выше его ростом, к тому же он был хорош лицом и строен. Он был широк в плечах и узок в поясе. У него были тонкие пальцы, точно он никогда не занимался грубой крестьянской работой. Волосы у него были темно-русые, лицо белое. Жизнь в лесу придала ему еще больше грозной внушительности. Взгляд сделался острее, брови гуще, а когда он хмурился, мускулы на лбу вздувались двумя косыми буграми, разбегающимися от переносицы. Кругизна лба стала еще заметнее, чем прежде. Тверже стала упрямая складка рта, лицо осунулось, и на висках образовались глубокие впадины, под кожей мощно обрисовались челюстные кости. Он заметно похудел, зато мускулы его отвердели и налились железной силой. В волосах все сильнее пробивалась седина.

Юный Турд не мог наглядеться на своего товарища. Ни в ком не встречал он еще такой мощи и красоты.

В его восприятии Берг представлял богатырем выше леса стоячего, грозным, как морской прибой. Он подчинился ему, как слуга своему хозяину, и благоговел, как перед высшим существом. Само собой между ними сложилось, что Турд носил за ним охотничье копье, таскал убитую дичь, ходил за водой и разжигал огонь в очаге. Берг Великан принимал все услуги, но редко удостоивал его добрым словом. Он презирал Турда за воровство.

Двое изгоев не занимались грабежом и разбоем, они кормились охотой и рыболовством. Не будь Берг Великан убийцей святого человека, крестьяне давно перестали бы его преследовать и не мешали бы ему спокойно жить в горных лесах. Но после того, как он поднял руку на слугу Божьего, люди боялись, что на них обрушатся несчастья, если они оставят его безнаказанным. Когда Турд пришел в долину с добытой дичью, ему предложили богатую награду и прощение, если он покажет дорогу к пещере, где живет Берг Великан, чтобы схватить его во сне. Но мальчик не стал их слушать, а когда несколько человек попытались выследить в лесу, куда он пойдет, он так ловко запутал следы, что они вернулись ни с чем.

Однажды Берг спросил Турда, не пытались ли его склонить к предательству, и услышав, какие награды ему за это сулили, насмешливо сказал Турду, что только дурак мог отказаться от такого предложения.

Турд посмотрел на него таким взглядом, какого никогда еще не встречал Берг Великан. Так на него еще никто не смотрел: ни красавицы, которых он знал в молодые годы, ни жена, ни дети.

«Ты мой господин, ты повелитель, которого я сам выбрал, — говорил этот взгляд. — Знай, что ты можешь побить меня, можешь меня оскорблять сколько угодно, я все равно буду тебе верен».

С тех пор Берг Великан стал приглядываться к мальчишке и увидел, что тот храбр на деле, хотя и не речист. Смерти он не боялся. Он без колебаний ступал на хрупкий лед едва замерзшего озера, а весной, когда ходить по болоту особенно опасно, потому что оно по-

крывается сплошным ковром цветущей морозики и пушицы, скрывающим топкие места, он нарочно ходил через него напрямик. Казалось, он сам стремился на встречу этим опасностям взамен бурь и ураганов, которые посылало ему коварное море. Но он боялся ночного леса и даже днем пугался иногда густой чащи или растопыренных корней поваленной ветром сосны. Однако если Берг Великан спрашивал его об этом, он в ответ только смущенно молчал.

Турд никогда не спал на мягком ложе из мха и звериных шкур, которое было устроено в глубине пещеры поблизости от очага; каждую ночь, выждав, когда Берг заснет, он тихонько перебирался к самому входу в пещеру и укладывался там на каменной плите. Берг это заметил и, хотя он догадывался о причине, спросил Турда, зачем он это делает. Турд ничего ему не объяснил. Чтобы избавиться от расспросов, он две ночи не уходил к двери, а потом снова занял свой сторожевой пост.

Однажды целую ночь над лесными вершинами бушевала такая метель, что завалила снегом даже самые непролазные дебри; нанесло снегу и в пещеру, где жили два изгоя. Турд, спавший возле самого входа под заслонном каменных плит, проснулся наутро под сугробом, который начал таять вокруг него. Спустя несколько дней он заболел. Из его легких вырывался свист, и когда он вдыхал полной грудью, его пронзала нестерпимая боль. Он держался на ногах, пока хватило сил, но однажды, когда он склонился над очагом, чтобы раздуть огонь, внезапно упал и остался лежать на полу.

Берг подошел к нему и попросил, чтобы он лег в постель. Турд стонал от боли и не мог встать на ноги. Тогда Берг поднял его на руки и перенес на постель. Но у него было при этом чувство, будто он взял в руки склизкую змею, и во рту был такой вкус, будто он поел поганой конины, настолько отвратительно было ему прикосновение к жалкому вору.

Он укрыл Турда своей медвежьей шкурой и дал ему напиток воды. Больше он ничего не мог сделать. Болезнь оказалась не страшной, и Турд скоро выздоровел. Но за то время, что Берг исполнял его обязанности

и прислуживал больному, они немного сблизились. Турд осмелел и начал разговаривать с Бергом. Однажды вечером они сидели в пещере, выстреливая стрелы, и вот Турд сказал:

— Ты, Берг, из хорошего рода. Самые богатые люди в долине — твои родичи. Твои предки служили у конунгов и сражались в королевской дружине.

— Чаще они сражались как мятежники и причиняли конунгам много вреда, — возразил Берг Великан.

— Твои предки задавали богатые пиры, да и ты тоже пировал на славу, когда жил как хозяин в своей усадьбе. Сто человек, мужчин и женщин, могли усесться на скамейках в горнице твоего просторного дома, который был построен раньше, чем пришел в Вик святой креститель Улаф. У тебя были старинные серебряные чаши и большие пиршественные рога, которые ходили по кругу, полные меда.

И снова Берг Великан невольно взглянул на мальчишку. Тот сидел на постели, свесив ногу на край и подперев голову руками, которыми он в то же время удерживал копну непокорных волос, чтобы они не лезли ему на глаза. После изнурительной болезни лицо у него побледнело и осунулось, а глаза еще светились лихорадочным блеском. Он улыбался картинам, которые вызывал в своем воображении: праздничной горнице, серебряным чашам, нарядным гостям и Бергу Великану, восседающему в своем отчем доме на высоком хозяйском месте. Берг подумал, что никто еще не смотрел на него таким восторженно-сияющим взглядом и никогда в самых лучших своих одеждах он не казался таким великолепным, каким видел его этот мальчик, хотя сейчас на нем надеты старые звериные шкуры.

Это его растрогало и рассердило. Жалкий вор не имел права им восхищаться.

— А разве в твоём доме никогда не пировали? — спросил он его.

Турд рассмеялся:

— Это у нас-то, в шхерах, у моих родителей! Мой отец промышлял тем, что грабил разбившиеся корабли, а моя мать — ведьма. К нам бы никто не пошел.

— Твоя мать — ведьма?

— Ведьма, — безмятежно подтвердил Турд. — Во время бури она верхом на тюлене подплывает к кораблям, когда волны начинают захлестывать палубу. Кого смочет волной, тот ее добыча.

— Зачем они ей? — спросил Берг.

— Ну, ведьме всегда пригодится утопленник. Она из них варит мази, а может быть, ест их. В лунные ночи она садится среди бурунов, там, где сильнее всего кипит белая пена, обдавая брызгами с головы до ног. Говорят, она высматривает детские глаза и пальчики.

— Какая гадость! — сказал Берг.

Мальчик с величайшей убежденностью ответил на это:

— Для всякого другого это была бы гадость, а для ведьмы — нет. Так уж им положено.

Берг Великан понял, что тут он столкнулся с неожиданным взглядом на порядок вещей.

— Так, может быть, и ворам положено красть, как ведьмам заниматься колдовством? — спросил он резко.

— А как же! — ответил мальчик. — Всяк должен делать то, что ему положено. — А затем с загадочной улыбкой прибавил: — Бывают и такие воры, которые не крали.

— Скажи прямо, что это значит! — потребовал Берг.

Мальчишка все так же таинственно посмеивался, гордясь своей загадочностью.

— Сказать, что вор не крал, это все равно что сказать про птицу, что она не летает. — Стараясь разузнать побольше, Берг притворился бестолковым. — Нельзя называть вором человека, который ничего не украл, — сказал он.

— Нельзя-то нельзя, — начал мальчик и плотно сомкнул губы, чтобы удержать готовые сорваться слова.

— А вдруг у человека отец, который что-нибудь украл? — выпалил он после некоторого молчания.

— По наследству передается дом и усадьба, — упрямо повторил Берг. — А воровское прозвание носит лишь тот, кто сам его приобрел.

Турд негромко засмеялся:

— А если у человека есть мать, которая его упростила взять на себя отцову вину? А человек удрал в лес и оставил палача с носом? А тогда человека объявили вне закона из-за какой-то сети, которой он и в глаза не видал?

Берг Великан стукнул кулаком по каменному столу. Он был возмущен. Молодой, пригожий парень, и с отроческих лет загубил свою жизнь! Ни любви, ни достатка, ни уважения других людей ему никогда не видеть, он отрезал себе всякую надежду. Единственное, что ему осталось, это низменная забота об одежде и пропитании. И в довершение всего этот глупец довел его, Берга, до того, что он презирал безвинного человека! Берг в сердцах сурово отчитал Турда, но тот нисколько не испугался и выслушал его слова спокойно, как больной ребенок, которого мать выбрала за то, что он шлепал босиком по весенним ручьям и простудился.

Среди лесистых гор на вершине пологого холма лежало темное озеро. Оно было четырехугольной формы, с такими ровными линиями берега и правильными углами, словно его котловину выкопали человеческими руками. С трех сторон озеро окружали отвесные склоны, заросшие елями, которые изо всех сил цеплялись за почву толстыми корнями, чтобы удержаться на круче. По краям озера подмытые водой голые корни высывались наружу, странно переплетаясь корявыми туловищами. Казалось, что бесчисленное множество змей выползло из озера, но все перепутались и застряли на полпути. Или то были потемневшие от времени скелеты потонувших великанов, выброшенные на берег волнами. Смешались в кучу их узловатые руки и ноги, длинные пальцы впились в утесы, высоко вздымались громадные ребра, над которыми возвышались стволы древних деревьев. Порой железные ребра и стальные пальцы, которыми деревья цеплялись за почву, не выдержав напряжения, ослабляли хватку, и тогда северный ветер сбрасывал с кручи какое-нибудь дерево, и оно стремглав падало с высоты в озеро. Вершина с разлету глубоко зарывалась в илистое дно,

и дерево застревало вверх корнями. Его утонувшие ветви давали прибежище рыбьей молодежи, а торчащие над поверхностью черные отростки корней напоминали многорукое чудовище, которое высунулось из воды, придавая озеру зловещий и устрашающий вид.

С четвертой стороны склон горы понижался, и по нему сбегал в долину пенистый ручей, вытекавший из озера. Прежде чем влиться в единственно возможное русло, он долго петлял среди камней и кочек, образуя на своем пути целый мирок небольших островков: самые маленькие были величиной с болотную кочку, на других помещалось десятка два деревьев.

На этой стороне озера горы не заслоняли солнце, поэтому здесь росли даже лиственные деревья. Тут можно было встретить водолюбивую ольху с серовато-зелеными листьями и иву с гладкой листвой. Были тут и березы, как всегда первые там, где хвойный лес дает себя потеснить, были и черемуха, и рябина, которые любят селиться по краям лесных полянок, венчая их красотой и наполняя благоуханием.

Возле истока ручья все берега поросли густым и высоким тростником; в этой чаще вода казалась зеленой, как мох в настоящем лесу. В гуще тростниковых зарослей кое-где попадались маленькие прогалины, образуя небольшой круглый прудик, в котором цвели белые кувшинки. Высокие стебли тростника задумчиво склонялись над ними, как бы любуясь этими изнеженными красавицами, которые капризно убирали свои белые лепестки и желтые тычинки в жесткие кожистые чехлы, едва лишь скрывалось солнце.

Однажды в солнечный день на озеро пришли порыбачить оба изгоя. Ступая по колено в воде, они отыскали в тростниковых зарослях два больших валуна, уселись на них, забросили удочки и стали ждать, когда на приманку клюнет какая-нибудь щука, которых много собиралось в этом месте; в толще воды виднелись неподвижно стоящие полосатые тела узкобоких дремлющих рыб.

Живя среди гор и лесов, эти двое, сами того не зная, подпали под власть природных сил и так же

подчинялись ее законам, как растения и животные. Солнечный свет вселял в них отвагу и бодрость, к вечеру вместе с закатом солнца они делались молчаливы, а ночная тьма, чья власть, как им казалось, продолжительностью и могуществом превосходила силу дневного света, превращала их в боязливые и беззащитные существа. Чары зеленоватого солнечного света, который пронизывал тростниковые заросли, окрашивая воду в золотисто-коричневые и темно-зеленые тона, навевали ожидание сказочного чуда. Весь мир закрывала от глаз глухая стена тростника, иногда ее шевелил легкий ветерок, тростник шуршал, продолговатые листья, трепеща, задевали людей по лицу. Одетые в серые шкуры, они сидели на серых камнях. Серые тона одежды сливались с серым цветом камней. Оба человека замерли в неподвижном молчании, словно превратившись в каменные изваяния. В воде среди тростника проплывали, мерцая радужными красками, огромные рыбы. При каждом броске удочки вокруг того места, где падала наживка, по воде расходились круги — им казалось, что волнение все усиливается; наконец они заметили, что это не их удочки, а что-то другое взбаламутило воду. В воде дремала русалка — женщина с переливчатым полурыбьим телом. Вода над нею зыбилась мелкой рябью, поэтому они не сразу ее заметили. Оказывается, круги разбегались от ее дыхания. Однако в ее появлении не было ничего удивительного, и когда она столь же внезапно исчезла, приятели так и не поняли, правда ли они только что видели живое существо, или оно им только померещилось.

Зеленоватый свет, который лился им в глаза, затоплял мозг пьянящим дурманом. Погруженные в дремотные мысли, они сидели, уставясь перед собой неподвижным взором, и созерцали призрачные образы, встававшие среди тростников, не решаясь заговорить о них друг с другом. Улов у них получился небогатый. Этот день больше располагал к мечтам и внезапным видениям.

В тростниковых зарослях послышались всплески весла, и рыбаки вздрогнули, неожиданно пробудив-

шись от грез. В следующий миг показалась лодка, простой долбленный челнок с замшелыми растрескавшимися боками и тонкими жердочками весел. В челноке сидела девушка, которая везла охапку только что собранных кувшинок. Ее темные волосы ниспадали ей на спину двумя длинными косами, лицо поражало своей бледностью, и на нем резко выделялись огромные черные глаза. В ее бледности совершенно отсутствовал землистый оттенок, все лицо было матово-белым. Ни малейшего румянца не проступало на ее щеках, и только губы неярко розовели среди ровной белизны. На девушке была белая полотняная кофта, перехваченная кушаком с золотой застежкой, и синяя юбка с красной каймой. Она проплыла совсем рядом, не заметив изгоев. Они замерли, затаив дыхание, но не от страха быть обнаруженными, а для того, чтобы лучше ее разглядеть. Едва она скрылась из вида, как они из застывших статуй тотчас же превратились в живых людей. Улыбаясь, оба посмотрели друг на друга.

— Она бела, как кувшинка, — молвил один. — Глаза у нее черны, как вода под камышами.

Оба были в таком возбуждении, что им хотелось смеяться так громко, чтобы зычный хохот, который никогда еще не оглашал озерных берегов, пробудил в скалах гулкое эхо, а испуганные ели, вздрогнув от его раскатов, разжали бы судорожную хватку корней.

— Тебе она показалась красавицей? — спросил Берг Великан.

— Сам не знаю. Она так быстро скрылась. Может, и впрямь красавица.

— Да ты небось и посмотреть как следует не посмел! Ты, верно, принял ее за русалку.

И снова они захохотали, охваченные необъяснимой веселостью.

Однажды в детстве Турд видел на берегу утопленника. Он нашел мертвое тело днем и несколько не испугался, зато ночью его потом мучили страшные сны. Ему снилось море, где на каждой волне качался утопленник; и волны выбрасывали мертвые тела к его ногам.

Он увидел, что все острова и скалы шхер были покрыты утопленниками, все они были мертвой добычей волн, но могли говорить и двигаться и грозили ему белыми костлявыми руками.

Вот так было и сейчас. Девушка, увиденная в тростниках, стала являться ему во сне. Она возникла перед ним на дне лесного озера, где свет был еще зеленей, чем среди тростников, и тут он успел разглядеть, что она красива. Ему снилось, что он стоит посреди озера, взобравшись на корни затонувшей ели, но дерево под ним качалось и клонилось так низко, что порой он опускался под воду. И вдруг она очутилась на одном из островков. Она стояла под красной рябиной и улыбалась ему. В последнем сне он даже умудрился ее поцеловать. И вот настало утро, он слышал, что Берг Великан уже встал, но упрямо закрыл глаза, чтобы досмотреть свой сон. Проснувшись, он весь день проходил, как хмельной, под впечатлением приснившегося. С того дня девушка еще больше завладела его мыслями.

Вечером Турд решил спросить Берга Великана, не знает ли он, как ее зовут.

Берг окинул его испытующим взглядом:

— Уж лучше я тебе сразу скажу. Ее зовут Унн. Она моя родственница.

И тут Турд понял, что это из-за нее Берг Великан сделался лесным изгоем. Он припомнил, что ему было известно про эту бледнолицую красавицу.

Унн была дочерью зажиточного крестьянина. Ее матери уже не было в живых, и она заправляла всем хозяйством в доме. Она была властолюбива, поэтому ей это нравилось, и она не спешила выходить замуж.

Берг приходился ей двоюродным братом. Вскоре про них пошли толки, будто Берг так повадился к ней ходить и точить ляды с девками, что совсем запустил свое хозяйство. Когда у Берга праздновали Рождество и собралось много гостей, его жена позвала одного монаха из Драгмарка, чтобы тот усостил Берга и объяснил ему, как нехорошо бегать от жены к другой женщине. Берг, как и многие другие из его соседей, терпеть не мог этого монаха, главным образом из-за

его наружности. Это был жирный и совершенно белый монах. Белым был у него венчик волос вокруг бритого темени, белыми были брови над водянистыми глазами, белыми были лицо и руки, и плащ его тоже был белым. Его вид производил на людей отталкивающее впечатление.

И вот монах, который был храбрым человеком, прилюдно высказал все, что он думал, считая, что так его слова сильнее подействуют:

— Говорят, хуже кукушки нет птицы, потому что она не строит гнезда и не выводит птенцов. А здесь среди нас сидит человек, который не заботится о жене и о детях, а бегаёт развлекаться к чужой женщине. Я скажу, что хуже нет человека.

Тут Унн встала из-за стола:

— Никогда меня так не бесчестили, да, видать, ничего не поделаешь, когда здесь нет моего отца.

Она повернулась, чтобы уйти, но Берг бросился ей вслед.

— Не ходи за мной! — сказала Унн. — Никогда больше не хочу тебя видеть.

Он догнал ее на крыльце и спросил, что он должен сделать, чтобы она осталась. Унн бросила на него испепеляющий взор и сказала, что это он сам должен знать. Тогда Берг вернулся в горницу и убил монаха.

Берг и Турд задумались. И, видно, мысли их были заняты одним и тем же, потому что Берг через некоторое время сказал:

— Если бы ты только видел ее, когда белый монах упал мертвым. Моя хозяйка прижала к себе младших детей и прокляла ее. Она повернула к ней их лица, чтобы они навек запомнили ту, которая толкнула их отца на убийство. Но Унн бровью не повела; она была так прекрасна, что нельзя было на нее смотреть без трепета. Она сказала мне спасибо за мой поступок и просила, чтобы я не мешкая уходил в лес. На прощанье она наказала, чтобы я не вздумал стать разбойником и никогда не обнажал нож против человека, пока не придется, как сейчас, вступить за правое дело.

— Твой подвиг высоко ее вознес, — сказал Турд.

Тут Берг во второй раз столкнулся с тем, что его однажды уже поразило в Турде. Турд — язычник, он хуже язычника, он не осудил несправедное дело. Он не понимает, что за вину надо держать ответ. Он думает — чему быть, того не миновать. Он слышал про Христа и святых, но для него это не больше чем имена. Он знает про них, но для него они вроде чужеземных богов. На самом деле его боги — духи, которые живут в шхерах. Мать-ведунья научила его поклоняться духам мертвых предков.

И вот Берг Великан взялся за дело, которое было таким же безумием, как повязать веревку на собственной шее. Он открыл глаза невежды, чтобы его взору предстало величие Божие, он показал ему Бога — защитника справедливости, Бога, карающего злодеяние, Бога, ввергающего грешников в геенну огненную на вечные мучения. И он учил его любить Христа, и Богородицу, и святых заступников, которые молятся за нас перед престолом Господним, дабы отвратил он карающую десницу и пощадил грешников. Берг поведал Турду обо всем, что делают люди, чтобы смягчить гнев Божий. Он описал ему толпы паломников, которые бредут на поклонение к святым местам, рассказал про самобичевание кающихся и про монахов, которые удаляются от мира.

Мальчик с увлечением внимал его рассказу и только все больше бледнел от возбуждения, глаза его расширились от страшных видений, представших в его воображении. Берг Великан и рад бы остановиться, но поток мыслей подхватил его, и он продолжал свои речи. Спустилась ночь и объяла их мраком, и под сенью ночного темного леса немолчно выли волки. И они ощутили Божье присутствие рядом, так близко, что виден стал его надзвездный престол, и карающие ангелы спустились с небес к макушкам лесных деревьев. А под ногами полыхало подземное пламя, готовое пробиться сквозь плоскость земной тверди, и жадные языки лизали шаткое пристанище изнемогающего под бременем своих грехов человечества.

Наступила осень, в лесу бушевала буря. Турд один пошел в лес проверять расставленные силки и ловуш-

ки. Берг остался дома и занялся починкой одежды. Путь Турда лежал по лесистому склону. Он шел наверх по широкой тропе.

Каждый порыв ветра, проникавший сквозь дремучую чащу, поднимал на тропе целый вихрь опавшей листвы. Турду все время чудилось, что кто-то идет за ним следом. Он то и дело оглядывался. Иногда он останавливался, чтобы прислушаться, но убеждался, что это был только ветер, и шел дальше. Стоило ему сделать шаг, как за спиной ему опять слышались крадущиеся шаги, словно кто-то легкой стопой поднимался сзади по тропе. Детские ножки семенили за ним следом. Это резвились эльфы и лесные гномы. Он снова оборачивался, и снова никого не оказывалось за спиной. Он погрозил кулаком шуршащей листве и пошел дальше.

Но они не утомились и затеяли другую игру. За спиной поднялся шип и шумные вздохи, навстречу ползла большая гадюка, высунув язычок, с которого стекали капли яда; ее гладкое туловище поблескивало среди опавшей листвы. А позади за Турдом трусил волк — крупный, поджарый зверь; он уже изготовился к прыжку, чтобы вцепиться ему в глотку в тот миг, когда гадюка, скользя ему под ноги, ужалит в пятку. Иногда они замирали, переставая шуметь, чтобы подкрасться незаметно, но скоро опять выдавали себя шорохом и шипением и шумным дыханием, да иногда слышно было, как цокают по камням волчьи когти. Турд невольно ускорял шаг, но зверь его нагонял. Когда Турд решил, что волк уже в двух шагах и сейчас прыгнет, он обернулся.

Сзади, как он и ожидал, никого не оказалось.

Он присел на камне отдохнуть. У его ног, как бы заигрывая с ним, затеяли пляску сухие листья. Все были тут, какие только есть в лесу: ярко-желтые мелкие листочки березы, красно-пятнистые листья рябины, сухие, побуревшие листья ольхи, огненно-красные упругие листья осины, желтовато-зеленые листья ивы. Преображенные осенью, пожухлые и помятые, сухие и ломкие — совсем не похожие на бархатные, нежно-зеленые, вырезные молоденькие листочки, какими они несколько месяцев тому назад явились из лопнувших почек.

— Грешники! — сказал мальчик. — Грешники! Нет ничего чистого в глазах Господа. Пламя Божьего гнева их уже опалило!

Он встал и продолжил свой путь. Сверху видно было, как под дыханием бури, словно море, колышутся верхушки леса, хотя на тропинке, по которой он шел, царило затишье. Зато отовсюду неслись незнакомые голоса. Лес был пронизан их звучанием.

Слышались шепоты, протяжные причитания, сердитые упреки, грозные проклятия. В лесу хохотало и плакало; казалось, звучал многоголосый гомон толпы. Голоса тревожили и раздражали его; эти шорохи и шипение, это явственное присутствие чего-то, что словно бы есть и в то же время словно бы его нет, доводило его до исступления. Его охватил смертельный страх, который он испытал, когда лежал, прижавшись к земле, в пещере, а кругом в лесу на него шла облава. В ушах, как тогда, звучал треск ломающихся веток, тяжелая поступь множества людей, звон оружия, громкие крики, кровожадный ропот приближающейся толпы.

Но в голоса бури примешивались к этому еще и другие звуки. Что-то иное звучало в них, еще более страшное — голоса, которых он прежде никогда не слышал, которые говорили на неведомом языке. Ему случалось переживать и более страшные бури, в парусах и канатах ветер завывал громче. Но никогда еще он не слышал, чтобы ветер играл на такой многострунной арфе. У каждого дерева оказался свой голос: ель гудела не так, как тополь, осина иначе, чем рябина. У каждой расселины был свой тон, от каждого утеса эхо отдавалось особенным гулом. Шум ручьев и лай лисиц тоже вплетали свои голоса в чудесную музыку лесной бури. Все это он мог различить, но были еще и другие, удивительнейшие звуки. И от них в душе у него поднимался крик и хохот, вопли и стоны, которые спорили с бурей.

Он всегда боялся одиночества в глухой чаще. Он любил море и голые шхеры. В лесных дебрях прятались притаившиеся тени и привидения.

И вдруг он услышал, чей голос говорил сквозь бурю. Это был голос Бога, Бога-мстителя, справедливого Бога. Бог преследовал его по вине его товарища. Он требовал, чтобы Турд предал убийцу монаха в его власть, дабы совершилось возмездие.

И тогда Турд заговорил, отвечая буре. Он поведал Богу о том, что хотел сделать и не смог. Он хотел поговорить с Бергом Великаном и упросить его, чтобы он примирился с Богом, но не одолел своей робости. Смущение сковало ему уста.

— С тех пор, как я узнал, что землей правит справедливый Бог, — воскликнул Турд, — я понял, что Берг — погибший человек. Много бессонных ночей я оплакивал друга. Я знал, что Бог отыщет его, где бы он ни скрывался. Но я не посмел заговорить с ним, не сумел объяснить. Я не нашел слов, потому что слишком велика была моя любовь к нему. Не требуй от меня, чтобы я говорил с ним, не требуй от меня, чтобы я сравнялся с горю!

Он смолк, и замолк потаенный голос, который звучал среди бури и который для него был голосом Бога. Внезапно наступило полное затишье, и ярко заблестело солнце, и слышался только тихий плеск и легкий шорох, как будто шумел тростник и кто-то плыл на веслах. Эти мирные звуки вызвали в его воображении образ Унн. Изгой не может владеть имуществом, не может взять в жены женщину, не может завоевать уважение среди людей. Если бы он предал Берга, люди приняли бы его под защиту закона. Но Унн должна любить Берга за то, что он ради нее совершил. Турд не находил выхода.

Когда снова поднялась буря, он опять услышал шаги за спиной, а иногда до него доносилось шумное дыхание. Но он больше не смел оборачиваться, зная, что позади него идет белый монах. Весь окровавленный, он возвращался с праздничного пира в доме Берга, и во лбу у него зияла широкая рана, прорубленная топором. Монах нашептывал Турду: «Предай его! Предай его и спаси его душу! Предай на костер тело его ради спасения его души! Предай его на пытки и долгие муки, чтобы душа его успела покаяться!»

Турд кинулся бежать. То таинственное и страшное, которое и было, и словно бы не было, непрерывно осаждало его душу и наконец выросло в неодолимый ужас. Он хотел спастись бегством. Но едва он пустился бегом, как снова громко зазвучал потаенный ужасный голос, которым говорил Бог. Сам Бог гнал его громким гиканьем, как затравленную дичь, чтобы он выдал убийцу. Преступление Берга Великана впервые предстало ему во всей своей мерзости. Убит был безоружный человек, Божий слуга был сражен острой сталью. Такое преступление — наглый вызов Вседержителю. И убийца смеет после этого жить! Он наслаждается солнечным светом, плодами земными, воображая, словно рука Вседержителя до него не достанет!

Турд остановился и, сжав кулаки, выкрикнул угрозу, из горла у него вырвался вой. Затем он, как безумный, опротясь ринулся прочь из леса, из царства ужаса, вниз в долину.

Турду достаточно было заикнуться о своем деле, как тотчас же нашлись охотники, готовые сразу пуститься с ним в путь. Решено было, что Турд один отправится в пещеру, чтобы Берг не заподозрил подвоха. Но по дороге он должен был бросать горошины, чтобы крестьяне нашли его след.

Войдя в пещеру, он увидел сидящего на каменной скамье Берга. Изгой был занят шитьем, при слабом свете очага работа, как видно, шла у него туго. Сердце мальчика переполнилось нежностью. Могучий Берг Великан показался ему жалким и несчастным, а скоро он лишится последнего достояния — жизни. Турд заплакал.

— Что такое? — спросил Берг. — Ты не заболел? Или ты испугался?

И Турд впервые заговорил с ним о своих страхах:

— В лесу было ужасно. Я слышал голоса призраков, видел привидения. Я видел белых монахов.

— Бог с тобой, парень!

— Они привязались ко мне и не давали покоя всю дорогу на горе Бредфльелл. Я побежал от них, а они

гнались за мной и пели мне в уши. Неужели мне всю жизнь терпеть эту нечисть? Какое им дело до меня? Уж приставали бы к кому-нибудь, кто больше меня этого заслужил!

— Да что с тобой нынче, Турд? Рехнулся ты, что ли?

Турд все говорил, не отдавая себе отчета в своих словах. Сегодня ему не мешала обычная робость. Речь свободно лилась из его уст:

— Куда ни глянь, все белые монахи. И все в окровавленных плащах. Они закрывают лоб капюшоном, но рана все равно просвечивает. Большая, глубокая, алая рана от топора.

— Большая, глубокая, алая рана от топора?

— Да разве я, что ли, его зарубил? За что я должен на нее смотреть?

— Уж это разве что святым известно, Турд, — сказал побледневший Берг с выражением какой-то страшной серьезности. — Не мне судить, почему тебе привиделась рана от топора. Я зарезал монаха ножом.

Турд стал перед ним, дрожа и ломая руки.

— Они требуют от меня твоей жизни. Они заставляют меня стать твоим предателем.

— Кто заставляет? Монахи?

— Ну да! Они. Монахи. Они замучили меня видениями. Они мне показывают ее — Унн. Они посылают мне видения моря, я вижу, как оно блестит под солнцем. Они показывают мне рыбацьи станы, где люди пляшут и веселятся. Я зажмуриваюсь и все равно вижу. Я их прошу: «Оставьте меня в покое! Не я, а мой друг совершил убийство, но он не злой человек. Не терзайте меня, и я с ним поговорю, тогда он раскается и испулит свою вину. Он осознает свой грех и отправится тогда ко гробу Христову. Мы с ним вместе пойдём в это святое место, где всякий грех прощается тому, кто туда придет».

— А что говорят монахи? — спросил Берг. — Они не желают моего спасения, они хотят послать меня на пытки и на костер?

— А я у них спрашиваю: «Как же я предаю своего лучшего друга? — продолжал Турд. — Больше у меня никого

нет на свете. Он спас меня из когтей медведя, который уже наступил мне лапой на горло. Мы вместе мерзли, пережили столько всяких невзгод. Он укрыл меня своей медвежьей шкурой, когда я был болен. Я ходил для него за водой и за хворостом, я стерег его сон, я обманывал его врагов. Почему же вы думаете, что я способен предать друга? Мой друг скоро по своей воле пойдет к священнику и исповедуется, и тогда мы вместе отправимся за искуплением в ту страну, где прощаются грехи».

Берг внимательно слушал, что говорил ему Турд, а его пристальный взгляд изучал в это время лицо мальчика.

— Тебе самому надо пойти к священнику и сказать ему правду, — сказал наконец Берг. — Тебе надо вернуться в долину к людям.

— Какая польза мне пойти одному? Ведь это за твою вину меня преследуют мертвецы и тени. Разве ты не видишь, что я боюсь за тебя? Ты поднял руку против Бога. Хуже нет преступления. Мне кажется, я бы обрадовался, когда тебя будут колесовать. Блажен, кто в этом мире претерпит свое наказание и спасется от вечной кары. Зачем ты рассказал мне о божественной справедливости Господа? Ты заставляешь меня стать твоим предателем. Спаси же меня от этого греха! Пойди к священнику!

И Турд бросился перед Бергом на колени.

Убийца смотрел на мальчика, положив руку на его голову. Он измерил свой грех мерою его страха и ужаснулся в душе его громадности. Он понял, что пришел в противоречие с волей, которая правит миром. В сердце ему вступило раскаяние.

— Горе мне, что я сделал то, что сделал! — сказал он. — То, что меня ожидает, слишком тяжело, чтобы идти этому навстречу. Если я предамся в руки священников, они пошлют меня на долгие мучения. Они поджарят меня на медленном огне. Разве та жалкая жизнь изгнанников, которую мы проводим в страхе и лишениях, не служит уже искуплением за содеянный грех? Разве не достаточно, что мне пришлось бросить дом и семью? Разве не достаточно, что я остался

без друзей и всего, что дает человеку радость? Чего же еще можно от меня требовать!

От его речей Турд вскочил и в диком страхе воскликнул:

— Неужели ты раскаиваешься? Неужели мои слова тронули твое сердце? Так пойдем же скорей. Разве я мог на это надеяться? Пойдем скорей, нам надо бежать! Еще не поздно!

Берг Великан тоже вскочил:

— Так, значит, ты это сделал!

— Да, да, да! Я предал тебя. Но пойдем скорей! Бежим туда, где ты сможешь искупить свой грех! Они должны нас отпустить! Мы успеем убежать!

Убийца наклонился, чтобы поднять с пола боевой топор пращуров, который лежал у его ног.

— Ах ты, воровское отродье! — прошипел он сквозь зубы. — А я-то верил тебе и любил!

Но, заметив, что он потянулся за топором, Турд понял, что дело идет о его жизни. Он тоже выхватил из-за пояса топор и зарубил Берга, прежде чем тот успел выпрямиться. Лезвие просвистело в воздухе и с размаху опустилось на склоненную голову. Берг Великан ударился оземь головой, затем его тело сползло и растянулось на полу пещеры. Кровь и мозги брызнули во все стороны, топор с грохотом вывалился из раны. И Турд увидел в спутанных волосах большую, глубокую алую рану от удара топором.

Тут набежали крестьяне. Они обрадовались и стали восхвалять Турда за подвиг.

— Теперь твое дело — верное! — говорили они ему.

Турд посмотрел на свои руки, словно видел на них цепи, в которых его тащили убивать самого любимого человека на свете. Эти оковы, как цепь Фенрира, были сделаны из ничего. Из зеленого света в зарослях тростника, из беглых теней в лесной чаще, из пения ветра, из шороха листвы, из сонных грез сковались его оковы. И тогда он произнес слова: «Велик Бог!»

Но затем к нему вернулись прежние мысли. Он упал на колени подле мертвого тела и, приподняв голову, положил ее себе на плечо.

— Не троньте его! — сказал он. — Он раскаивается, он пойдет к святым гробам. Он не умер, но не надо брать его под стражу! Мы как раз готовы были отправиться в путь, и тут он упал. Верно, белый монах не хотел, чтобы он покаялся. Но Бог справедлив, Господь любит кающихся.

Турд лег рядом с трупом, он беседовал с покойником, плакал и уговаривал его проснуться. Крестьяне связали из дровиков носилки. Они решили отнести тело Берга домой в его усадьбу. Из почтения к покойнику они переговаривались тихими голосами. Когда Берга положили на носилки, Турд встал, потрянул головой, откинув волосы со лба, и обратился ко всем дрожащим голосом, в котором слышны были рыдания:

— Передайте Унн, которая сделала Берга Великана убийцей, что его убил Турд-рыбак, сын грабителя разбившихся кораблей и ведьмы, узнавший от него, что твердыня, на которой зиждется мир, зовется справедливостью!

КУРГАН

Была пора, когда верещатник цветет розовым цветом. Кустики вереска густым ковром устилали песчаную равнину. От низкорослых деревянистых стеблей отходили целые пучки зеленых веточек, покрытых хвостисто-жесткой, упругой листвой и унизанных долго не вянущими цветами. Эти цветы не похожи на все остальные, точно они сделаны из другого вещества; сухие и жесткие на ощупь, их лепестки скорее напоминают чешуйки, чем сочную нежность обыкновенных цветов. Дети тощей равнины, по которой гуляет ветер, они дышали иным воздухом, чем нежная лилия, их корни не сосали тучную почву, которая может вскормить пышную красу садовых роз. И только ярко-розовым цветом вереск похож на другие цветы. Вереск не подвальное растение, не тенелюбивый домосед. Все обширное, цветущее поле дышало благодатной бодростью и здоровой силой.

Розовый покров вереска одел все поле до самого края, за которым начиналась опушка леса. Там, на пологом склоне, высилось несколько древних, полуразрушенных курганов; как ни тщился вереск обступить их у самого подножия, на склоне холма его сплошной покров кое-где был порван, и сквозь разрывы проглядывало каменистое тело горы, высовываясь большими плоскими плитами. Под самым большим курганом покоился древний конунг по имени Атли*. Под другими спали непробудным сном его воины, погибшие в большой битве, которая в незапамятные времена кипела на этой равнине. С тех пор протекло столько времени, что за давностью лет могилы перестали вызывать страх и почтение, которые обыкновенно внушает людям смерть. Между курганов пролегла проезжая дорога. И ночной путник не опасался, что в полночь на вершине кургана его взорам предстанет окутанный туманом нездешний житель, с немой тоской смотрящий на далекие звезды.

Но сейчас было ясное, свежее утро; еще не высохшая роса сверкала под горячими солнечными лучами. У подножия царского кургана лежал стрелок и спал; он еще с рассвета был на ногах и, возвращаясь из лесу после охоты, растянулся на вереске и уснул. Чтобы укрыться от солнца, он натянул на глаза шляпу, а вместо подушки положил себе под голову охотничью сумку, из которой торчали наружу длинные заячьи уши и загнутые на концах перья тетеревиного хвоста. Лук и стрелы лежали рядом на земле.

Из леса вышла девушка; в одной руке она несла узелок с завтраком. Ступив на плоские каменные плиты, которые лежали между курганами, она подумала, как удобно на них, должно быть, танцевать, и, не утерпев, решила тут же попробовать. Она положила узелок среди вереска и принялась танцевать в полном одиночестве. Она не подозревала, что за курганом лежит спящий мужчина.

Охотник продолжал спать. Цветущий вереск пламенел под ярко-синим небом. Муравьиный лев выбросил из своей норки кучку земли возле спящего. В рыхлой

земле оказался осколок кошачьего золота, он засверкал на солнце таким ярким блеском, что, казалось, от него должны вспыхнуть сухие стебли прошлогодней травы, и тогда всю долину охватит пожар. Над головой охотника, словно плюмаж, торчали тетеревиные перья, переливаясь всеми оттенками сизо-лиловых красок. Открытую половину лица нещадно палило солнце. Но он не открывал глаз, чтобы посмотреть на его сияние.

А девушка все еще продолжала свой танец. Она так лихо плясала, что подняла целую тучу черной торфяной пыли, которая вылетела из каменных трещин. В кустах вереска валялся выдернутый из земли обломок соснового корня, он давно высох и стал от старости серым и блестящим. Девушка схватила его и размахивала им во время танца. От трухлявой коряги во все стороны летели мелкие щепки. Обезумевшие от страха тысяченожки и ухвертки, обжившие в ней каждую трещинку, дождем посыпались наземь и тотчас принялись торопливо закапываться среди корней вереска.

Вихрь крутящихся юбок поднял из вереска целую стаю сереньких мотыльков, они вспорхнули, словно сухие листья под порывом осеннего ветра. Снизу их крылышки были серебристо-белого цвета, поэтому зрелище было такое, словно над розовым морем вереска взметнулась белая пена. Порхающие мотыльки повисли в воздухе, и с трепещущих крылышек посыпалась на землю мельчайшая серебристо-белая пыльца, наполняя воздух морозящим, сверкающим на солнце дождиком.

По всему полю среди вереска жили кузнечики; вода задней лапкой по крылышкам, как смычком по струне, они играли звонкие песни. Кузнечики так дружно музицировали, что человеку, идущему по дороге через пустошь, казалось, будто он все время слышит одного и того же кузнечика, который звенел то справа, то слева, то сзади, то спереди. Но плясунье этой музыки было мало, и она, танцуя, сама себе подпевала без слов. Голос у нее был сильный и резкий. Пение разбудило охотника. Он повернулся на бок и, приподнявшись, выглянул из-за кургана и стал глядеть на пляску.

Ему только что приснилось, что убитый заяц выскочил у него из сумки, схватил охотничьи стрелы и метил в него его же собственной стрелой. Еще смутно соображая со сна, с тяжелой головой, которую напекло солнцем, он заспанными глазами смотрел на плясунью.

Это была рослая и плотная девушка, ее лицо не блистало красотой, движения не отличались легкостью, и в пении она то и дело сбивалась с такта. Лицо у нее было щекастое, толстогубое, а нос пуговкой. Она была румяна, черноволоса и пышнотела, в движениях ее чувствовалась размашистая сила. Одетая она была бедно, но зато броско. Полосатая юбка была украшена красной каймой, а корсаж расшит по швам пестрыми шнурочками из шерстяной пряжи. Других девушек сравнивают с розами и лилиями, эта была похожа на вереск — такая же сильная, здоровая и яркая.

Охотник залюбовался девушкой, глядя, как она пляшет среди розовеющего поля под звон кузнечиков и порхание мотыльков. Он так загляделся, что нечаянно громко засмеялся и встал, улыбаясь до ушей. Но тут и она его заметила и застыла как вкопанная.

— Наверно, ты принял меня за дурочку, — были первые слова, которые она смогла вымолвить. В то же время она уже обдумывала, как сделать, чтобы он не стал болтать про то, что увидел. Ей совсем не хотелось, чтобы соседи потом обсуждали, как она плясала, размахивая сосновой корягой.

Он не был разговорчивым человеком. И сейчас не вымолвил ни звука. Он так смутился, что ничего не придумал лучшего, как только броситься наутек, хотя с удовольствием бы остался. Он торопливо нахлобучил шляпу, закинул за плечи переметную сумку и опрометью бросился по вересковому полю, не разбирая дороги.

Девушка схватила узелок с припасами и кинулась следом. Охотник был малорослым и довольно неповоротливым, да и силой, очевидно, не мог похвастаться. Она быстро догнала его и сбила с головы шляпу, чтобы заставить остановиться. Этого-то ему и самому хотелось, но он от смущения так растерялся, что побежал

от нее еще быстрее. Она опять погналась за ним и дернула за его сумку. Он поневоле остановился, чтобы защитить свое имущество. Тут уж она вцепилась в него и принялась волтузить изо всей силы. Завязалась борьба, и девушка сбила его с ног.

«Теперь уж он никому не расскажет!» — подумала она с радостью.

Но в тот же миг ей пришлось не на шутку перепугаться, потому что поверженный противник побледнел как мел и закатил глаза. Однако виновато было не падение. Просто он слишком перевознолся. До сих пор этому жителю лесного захолустья еще ни разу не доводилось переживать такие противоречивые чувства. Встреча с девушкой вызвала у него радость, и злость, и смущение, и даже гордость за то, что она такая сильная. От всего этого у него голова пошла кругом.

Сильная и рослая девица обхватила его за плечи и приподняла от земли. Сорвав пучок вереска, она стала хлестать его по щекам этим веником, и постепенно кровь снова прилила у него к лицу. Когда его маленькие глазки вновь открылись на белый свет, они так и просияли от удовольствия при виде девушки. Молча он взял руку, которая его обнимала, и легонько ее погладил.

С ранних лет ему на долю выпал голод и тяжкий труд. Он вырос тощеньким, изжелта-бледным, костлявым и худосочным человечком. Девушка умилилась его робости, потому что по виду ему можно было дать лет тридцать. Она догадалась, что он, наверно, живет в лесу совсем одиноко, иначе он не казался бы таким неухоженным, и одежка на нем не была бы такой задрюканной. Знать, не было никого, кто бы за ним присмотрел: ни матери, ни сестры, ни невесты.

Вдали от человеческих селений всюду простирался великий, милосердный лес. Всем, кто нуждался в его защите, он давал приют, укрывая под своей сенью. Высокие стволы, словно стража, обступали медвежью берлогу, а в сумраке густого кустарника прятались гнезда мелких птичек, в которых они высидывали свои яички.

В те времена, когда еще не перевелось рабство*, многие невольники убегали в лес под защиту его зеленых стен. Лес становился для них большой тюрьмой, которую они не решались покинуть. И лес держал своих пленников в строгости. Туповатых он заставлял шевелить мозгами, а развращенных рабством приучал к честности и порядку. Выжить могли только трудолюбивые, к другим лес был немилостив.

Охотник и девушка, встретившиеся среди верескового поля, тоже были потомками лесных затворников. Иногда они наведывались в обжитую долину к людским селениям, потому что им уже не приходилось бояться, что их обратят в рабство, из которого вырвались их отцы, но чаще всего их пути пролегли в лесной чаще. Охотника звали Тённе. Главным его ремеслом было корчевание леса, но он умел делать и многое другое. Он собирал свежий валежник, гнал деготь, сушил трут и занимался охотой. Плясунью звали Юфрид. Ее отец был угольщиком. Сама она вязала веники, собирала можжевельные ягоды и варила пиво из душистого багульника. Оба они были очень бедные люди.

Прежде они никогда не встречались в бескрайнем лесу, а теперь вдруг все лесные тропинки переплелись в густую сеть, на которой, куда бы ты ни пошел, невозможно было разминуться. Действительно, с этого дня они то и дело попадались друг другу навстречу.

Тённе однажды пережил большое горе. Долгое время он жил со своей матерью в жалкой хижине, сплетенной из прутьев, и, когда вырос, решил построить ей теплый бревенчатый дом. Все свободное время он вместо отдыха проводил на лесосеке, валил деревья и рубил их на бревна нужного размера. Заготовленный лес он складывал в темных ущельях, прикрывая сверху мохом и хворостом. Матери он не хотел об этом говорить, пока не приготовит все нужное для постройки дома. Но мать умерла, так и не узнав про его замыслы, он даже не успел показать ей накопленные запасы. Тённе трудился не менее, чем Давид, царь Иудейский, собиравший сокровища для Божьего храма, поэтому горе его не знало границ. У него пропало всякое желание

строить дом. Для него достаточно было и старого шалаша, хотя это жильё было немногим лучше звериной берлоги.

Но если прежде он был нелюдим и всех сторонился, то с недавних пор стал искать общества Юфрид, а это, конечно же, означало, что он мечтает, чтобы она его полюбила и стала его невестой. Юфрид со дня на день ожидала, что он заговорит об этом с ее отцом или с ней самой. Но Тённе никак не решался. В нем сильны были следы рабского происхождения. Все мысли двигались в его голове медленно, как солнце по небосклону. А сложить из этих мыслей связную речь для него было труднее, чем для кузнеца выковать запястье из сыпучего песка.

В один прекрасный день Тённе привел Юфрид в одно из ущелий, где у него хранились бревна. Разбросав хворост и мох, он показал ей свои запасы.

— Это я готовил для покойницы матушки, — сказал он, выжидательно поглядел на Юфрид и в объяснение прибавил: — Хотел ей избу поставить.

Но девушка вела себя на редкость непонятливо, как будто не могла разгадать мысли холостого парня. Уж коли ей показали матушкины бревна, могла бы и сама сообразить, что к чему, но она упорно не понимала.

Тогда он решил объясниться еще понятней. Спустя несколько дней он начал перетаскивать бревна к старым курганам, на то место, где впервые увидел Юфрид. Она, как обычно, появилась на дороге; поравнявшись с ним, увидела, что он работает, но прошла мимо, ничего не сказав. С тех пор, как они подружились, Юфрид частенько подсобляла ему, не жалея сил, но тут не захотела, хотя видела, как ему трудно. А Тённе ожидал, что теперь-то она уж сразу поймет, что дом для нее строится.

Юфрид прекрасно все поняла, но ей неохота было высказывать замуж за такого мужичишку, как Тённе. Ей нужен был муж сильный и здоровый. Она считала, что за таким слабосильным и бесталанным мужем жена всю жизнь будет перебиваться в нужде, но против воли сама к нему тянулась, будто приворожил он ее

робостью да скромностью. Ведь как он старался, чтобы матушку порадовать, а ему и тут не повезло — не успел вовремя! Юффрид жалела его до слез. А теперь вон дом затеял строить на том месте, где она перед ним плясала. Сердце-то у него, видать, доброе. Вот это и привлекало ее так, что она думала о нем неотвязно. Но чтобы замуж идти — это уж нет! Замуж за него она ни за что не хотела.

Каждый день приходила Юффрид на верещатник и смотрела, как вырастает сруб — бедноватый, без окон, но весь просвеченный солнцем, которое заглядывало сквозь незаконопаченные щели.

У Тённе работа продвигалась скоро, хоть и не споро. Бревна он клал неотесанные, только кое-как ошкуренные, пол настлал из горбыля, напильного из молодых лесин. Они лежали неровно и прогибались. Побеги цветущего вереска — а нынче опять цвел вереск, потому что прошел ровно год с того дня, как Тённе лег поспать у подножия кургана, — дерзко просовывали снизу свои ветки и заглядывали сквозь щели в дом, а несметные полчища муравьев проложили в него свою дорогу и сновали взад и вперед, исследуя нескладное сооружение, возведенное человеческими руками.

Куда бы ни направляла Юффрид свои стопы, она все время думала о доме, который для нее строится. Среди верескового поля ей готовят очаг. Юффрид отлично знала, что, если откажется прийти в этот дом хозяйкой, он достанется медведям и лисицам. Она достаточно хорошо знала Тённе и могла заранее сказать: если он увидит, что его работа пропала даром, то никогда не захочет поселиться в этом доме. Бедняжка будет плакать, когда услышит, что она не согласна тут жить. Для него это будет новое горе, не меньшее, чем смерть его матушки. Ну и пускай! Сам виноват, что заранее не спросил ее согласия.

Юффрид считала, что достаточно ясно ему обо всем намекнула тем, что не стала помогать при постройке дома. А вообще-то ей очень хотелось тоже принять участие в этой работе. Стоило Юффрид увидеть в лесу мягкий белый мох, которым конопатят щели, она едва

удерживалась, чтобы его не сорвать. Ее так и подмывало вмешаться, когда Тённе принялся складывать печь. Так, как он делал, никуда не годилось, потому что весь дым пойдет обратно в комнату. Однако не все ли равно ей! Пускай себе делает по-своему. На этой печи никто не будет стряпать еду и кипятить воду. Да вот поди ж ты! Не идет у нее из головы этот дом!

Тённе ревностно трудился, не покладая рук; он был уверен, что Юфрид поймет, в чем дело, когда дом будет готов. Насчет ее мыслей он не задумывался. У него хватало своих плотницких забот, и время летело незаметно.

Однажды под вечер, проходя через верешатки, Юфрид увидела, что в доме навешена дверь, а перед дверью положена каменная плита — крыльцо было готово. Следовательно, дом был достроен. Поняв это, Юфрид разволновалась. Крышу Тённе покрыл дерном с кустиками цветущего вереска; и, глядя на нее, девушке нестерпимо захотелось зайти под розовую кровлю. Самого строителя нигде поблизости не было, и она решила войти в дом. Ведь этот дом был выстроен для нее. Это был ее дом. И девушку разобрала такая охота, что она не смогла удержаться.

Внутри дом оказался приветливее, чем она ожидала. Пол был посыпан можжевельником. В воздухе витал душистый запах смолы и хвои. Солнечные лучи проникали сквозь щели и трещины, и широкие полосы света протянулись через всю комнату. Девушке показалось, что ее прихода тут ждали: в щели были засунуты зеленые ветки, а посреди кухонной плиты красовалась свежесрубленная елочка. Тённе не стал перетаскивать в дом старый скарб. Здесь не было ничего, кроме новенького стола и скамейки, на которую была наброшена лосиная шкура.

Едва ступив через порог, Юфрид ощутила радостное чувство тепла и уюта. Ей было так хорошо и покойно, что хотелось побыть тут еще, и до того не хотелось уходить, как будто это значило покинуть родной дом, чтобы батрачить на чужбине. Как старательная девушка, Юфрид давно уже готовила себе приданое. Ее искусные

руки наткали много нарядных вещей, которые служат для украшения жилища; когда-нибудь они должны были украсить ее собственный дом, где она будет хозяйничать. Мысленно она прикинула, где им может найтись применение в этих стенах. И вот ей ужасно захотелось посмотреть, как они будут выглядеть в этом доме.

Юфрид быстренько сбежала домой, принесла оттуда все, что наткала, и начала развешивать яркие полотнища. Дверь она оставила раскрытой настежь, чтобы вечернее солнце светило ей во время работы. Увлеченная своим занятием, она все делала быстро и решительно, не стесняясь шуметь и напевая старинную богатырскую балладу. Закончив, она осталась довольна. Получалось очень красиво. Затканые розанами и звездами полотнища так и горели по стенам.

Во время работы она не забывала внимательно следить за вересковым полем и курганами; ей почему-то казалось, что Тённе и сейчас, наверно, залег где-нибудь поблизости, чтобы незаметно подсматривать, и втихомолку смеется. Напротив самой двери высился королевский курган, и позади него закатывалось солнце. Юфрид то и дело посматривала на него. Ей все чудилось, будто там кто-то сидит и разглядывает ее.

И в тот миг, когда солнце опустилось совсем низко и последний луч кроваво-красным светом озарил камни на вершине могильника, Юфрид увидела того, кто на нее смотрел. Весь курган преобразился и был уже не курганом, а огромным старым витязем; посреди поля сидел покрытый шрамами седой богатырь и пристально глядел в ее сторону. Солнечные лучи короной венчали его голову, а его красная мантия была так широка, что покрыла все поле. Голова у него была огромна и тяжела, лицо — цвета серого камня. Одежда и доспехи на нем были тоже серые, под цвет камням и лишайнику, и только внимательно приглядевшись, можно было понять, что это не курган, а сидящий богатырь. Он сливался с камнем, как личинка, которая подделывается под сухой древесный сучок. Ты можешь двадцать раз пройти мимо, прежде чем заметишь живое мягкое тельце, которое казалось сухой веточкой.

Теперь Юфрид окончательно убедилась, что перед нею был сам старый король Атли. Стоя на пороге и заслонясь рукой от слепящего солнца, она прямо перед собой видела каменный лик. Из-под нависшего лба на нее смотрели узкие, раскосые глазки, она различала широкий нос и всклокоченную бороду. И этот каменный человек был живым! Он усмехнулся и подмигнул девушке. Страх напал на Юфрид, особенно ее напугали толстые, волосатые ручищи, покрытые буграми каменных мускулов. Чем дольше Юфрид глядела на старого конунга, тем шире он ей улыбался, и наконец приподнял многопудовую руку и помахал девушке. Тут она опрометью бросилась домой.

А Тённе, который, воротясь, увидел в доме нарядные полотнища, затканые звездочками, набрался смелости и послал свата к ее отцу. Тот спросил у дочери, какое будет ее решение, и она согласилась. Юфрид была довольна тем, как повернулось дело, хотя давала согласие не совсем по свободной воле. Не могла же она отказать человеку, после того как сама снесла в его дом свое приданое! Но сперва она все-таки удостоверилась, что старый конунг Атли снова превратился в каменный курган.

Тённе и Юфрид прожили счастливо много лет. Среди соседей о них шла добрая слава.

— Хорошие люди, — говорили о них. — Глянь, как они друг дружке помогают, вместе работают и ни дня не могут прожить врозь!

Тённе с каждым днем становился сильнее, выносливее и не казался уже таким тугодумом. Похоже было, что Юфрид сделала из него настоящего человека. По большей части она заправляла в доме, но и он, когда хотел, умел ее переупрямить, чтобы поставить на своем.

Юфрид по-прежнему любила шутить и смеяться, вокруг нее всегда было весело. Наряды ее становились с годами все пестрее, лицо сделалось красным, как свекла, но мужу она казалась красавицей.

Они были не так уж бедны, как большинство людей этого состояния. Кашу заправляли маслом, не мешали в хлеб кору и мякину, и в кружку всегда могли налить

пенистое багульниковое пиво. Стадо коз и овец давало хороший приплод, так что можно было и мясом себя побаловать.

Однажды Тённе нанялся раскорчевать поле одному крестьянину из долины. Поглядев на то, как весело и дружно они с женой работают, хозяин тоже, как и все, подумал: «Глянь-ка, вот это — добрые люди!»

У этого крестьянина незадолго перед тем умерла жена и оставила ему полугодовалого младенца. И вот он попросил Тённе и Юфрид взять его сыночка к себе на воспитание.

— Ребенок мне очень дорог, — сказал отец. — Поэтому-то я и хочу отдать его вам — вы люди добрые.

Своих детей у Тённе и Юфрид не было, поэтому им в самую пору было взять чужого. Они согласились, не раздумывая, рассчитав, что это сразу сулит им большую выгоду, и вдобавок они на старости лет будут хорошо обеспечены, имея приемного сына.

Однако ребенок у них недолго прожил. Году не прошло, как он уже умер. Многие говорили, что виноваты были приемные родители, потому что пока он к ним не попал, то был на редкость здоровеньким. Никто не думал обвинять Тённе и Юфрид, что они намеренно его уморили; люди считали, что они просто взялись не за свое дело. Им не хватило ума и любви, чтобы ухаживать за ребенком, как следует. Оба привыкли думать и заботиться только о себе, и им недосуг было нянчиться с дитятей. Днем они вместе шли на работу, а ночью желали хорошенько выспаться. Они все воображали, что малыш их объедает, и жадничали, жалея для него молока. Но это вовсе не означает, что они сознательно обижали ребенка. Они-то думали, что нежно о нем заботятся, как настоящие родители, и считали даже напротив, что, взяв приемного сына, навязали себе на шею лишнюю обузу. Когда ребенок умер, они совсем не огорчились.

Обыкновенно женщины обожают возиться с младенцем, это для них радость и счастье, но у Юфрид был такой муж, которому требовалась материнская забота, ей и без ребенка было кого пестовать, поэтому

она не скучала о детях. Другие женщины радуются, наблюдая за тем, как не по дням, а по часам растут и набираются ума их детки; Юфрид радовалась, глядя на то, как умнеет и мужает ее Тённе; она любила украшать и прибирать свой дом, радовалась приросту своего стада и с удовольствием трудилась в поле, под которое они вскопали участок целины.

Юфрид пришла на двор к крестьянину и сообщила ему, что его сын умер. Услышав это, он сказал:

— Вот и со мной случилось, как с тем человеком, который стелил себе перину помягче, а как лег, так и провалился на голые доски. Вот и я тоже — берег сыночка, да, видать, перестарался. Хотел, как лучше, а он взял да и помер!

Отец так опечалился, что Юфрид, слыша его слова, сама залилась горячими слезами:

— И за что только Господь попустил, чтобы ты отдал нам своего сына! — сказала она. — Мы слишком бедные люди. Не пожилось ему у нас.

— Я совсем не то хотел сказать, — возразил крестьянин. — Скорей уж мне думается, что вы его забаловали. Однако не хочу никого винить, ибо жизнь и смерть в руке Господа. А теперь я хочу справить по моему сыну такие богатые поминки, как если бы он был взрослым мужчиной. И вас с Тённе я тоже приглашаю на поминальный пир. Так что сами видите — я против вас зла не таю.

Спустя немного Тённе и Юфрид пришли на поминки. Им оказали хороший прием, ни одного худого слова они не услышали. Ходили, правда, разные толки, потому что женщины, которые обмывали тельце, будто бы сказывали, что мертвый ребеночек был таким заморышем, что даже жалко было смотреть. Однако в этом могла быть виновата болезнь. Никто не решался осуждать приемных родителей, которых все знали за хороших людей.

Несколько дней Юфрид много плакала, особенно после того, как наслушалась других женщин, у которых только и разговоров было, как они ночей не спят и день-деньской трудятся, обихаживая своих младен-

цев. Юфрид обратила внимание, что на поминках женщины все время толковали между собой о детях. Иные в них настолько души не чаяли, что без конца перебирали друг перед дружкой ребяческие игры и словечки. Юфрид бы тоже порассказала о своем муже, да большинство женщин о мужьях и не заговаривали.

И вот поздно вечером воротились Тёнке и Юфрид домой с поминок и сразу же легли спать. Но едва они уснули, как послышалось тихое, жалобное хныканье.

«Это — ребенок», — подумали муж и жена, рассердившись спросонья, что он их растревожил. Но тут же так и вскочили, словно ошпаренные. Ребенок-то помер! Кому же тут было хныкать? Очнувшись по-настоящему, они ничего больше не услышали, но едва начинали задремывать, все повторялось сначала — опять слышалось жалобное хныканье. Какие-то маленькие ножки нетвердой походкой взбирались за дверью на каменное крыльцо, маленькая ручка шарила по двери, которая не отворялась, и дитя, повозившись под дверью, брело, шатаясь и плача, вдоль стены, пока не останавливалось напротив того места, где они спали. Когда супруги разговаривали и даже просто сидели молча, они ничего не слышали, но как только ложились спать, сразу же раздавались отчетливые шаги и тихое всхлипывание.

И тут мысль, в которую они раньше не хотели поверить, но которая в последние дни закрадывалась им в душу смутным подозрением, предстала им как неопровержимая истина. Они поняли, что умили ребенка. С чего бы иначе мертвец стал им являться?

С этой ночи они больше не видали счастья. Они жили в непрестанном страхе перед привидением. Днем они получали некоторую передышку, зато по ночам детский плач и сдавленные всхлипывания так их замучили, что они боялись оставаться одни в доме. Зачастую Юфрид отправлялась на ночь глядя в дальний путь, только чтобы позвать кого-нибудь в дом, кто бы остался у них ночевать. При посторонних все было тихо, но когда они оставались одни, то всегда слышали ребенка.

Однажды ночью, когда никто не пришел, чтобы составить им компанию, и ребенок никак не давал им уснуть, Юфрид встала наконец с постели и сказала мужу:

— Ты, Тённе, поспи, а я пока посторожу, чтобы он тебе не мешал.

Она вышла на крыльцо, присела на каменной приступке и стала думать, как быть, чтобы добиться покоя, потому что жить так, как теперь, у них уже не осталось никаких сил. Она спрашивала себя, не поможет ли тут исповедь и смиренное покаяние, нельзя ли как-нибудь искупить вину, чтобы избавиться от тяжкого наказания.

И тут она нечаянно подняла взгляд, и ей предстало то же видение, которое однажды уже являлось перед ней на этом месте. Курган превратился в богатыря. Ночь была совсем темная, но Юфрид отчетливо увидела прямо перед собой короля Атли, который пристально на нее смотрел. Она видела его так ясно, что различала даже поросшие мохом запястья у него на руках и перекрещенные ремни от башмаков, туго обтягивавшие его могучие икры.

На этот раз Юфрид не испугалась старика. Он казался ей другом, который, видя ее горе, пришел, чтобы утешить. Он смотрел на нее с сожалением, как будто хотел ободрить. И тут ей подумалось, что вершиной в жизни этого могучего богатыря был день славной битвы, когда несметное множество поверженных врагов полегло от его меча на вересковом поле и кровь текла ручьями. Разве он считал, сколько убил врагов — одним ли больше или меньше? Разве дрогнуло бы его каменное сердце от вздохов сирот, чьих отцов он убил? А смерть одного ребенка легла бы на его совесть не тяжким бременем, а невесомой пушинкой.

И услышала Юфрид тихий голос, и он нашептывал ей древний совет, который холодные камни язычества испокон веков дают человеку:

— Зачем тебе каяться? Боги царят над миром. Норны прядут жизненную нить. Зачем же детям земли сокрушаться о поступках, которые им внушили боги?

Тогда Юфрид воспрянула духом и сказала себе:

— Разве я виновата в смерти ребенка? Судьба зависит от Бога. На все его воля.

И решила Юфрид, что скорее всего избавится от привидения, если не будет поддаваться раскаянию.

Но тут отворилась дверь, и Тённе вышел к ней на крыльцо.

— Юфрид! — сказал он. — Теперь оно уже в комнате. Оно подошло, постучало по краю кровати и разбудило меня. Что же нам делать, Юфрид?

— Да ведь ребенок умер, — сказала Юфрид. — Ты знаешь, что его закопали глубоко в землю. Все это — сны и пустое воображение.

Юфрид говорила жестким и резким тоном, боясь, как бы Тённе, расчувствовавшись, не погубил их обоих.

— Надо как-нибудь положить этому конец, — сказал Тённе.

Юфрид только зловеще рассмеялась:

— Что ты собираешься делать? Бог послал на нас эту напасть. Разве не мог он спасти жизнь этому ребенку, если бы захотел? Он не пожелал его спасти, а теперь наказывает нас за его смерть. Скажи, по какому праву он нас наказывает?

Эти речи подсказывал ей древний каменный богатырь, который мрачной и суровой тенью в молчании сидел на кургане. Казалось, что он внушил ей те слова, которыми она ответствовала мужу.

— Наверно, нам надо сознаться, что это мы плохо заботились о ребенке, и покаянием искупить грех, — сказал Тённе.

— Ни за что я не соглашусь страдать без вины! — воскликнула Юфрид. — Кто желал ребенку смерти? Не я и не ты. Как ты будешь искупать его смерть? Уж не собираешься ли ты бичевать себя и поститься, по примеру монахов? По-моему, тебе еще нужны силы для работы!

— Я уже пробовал бичеваться, — сказал Тённе. — Да все без толку.

— Ну вот видишь! — воскликнула Юфрид и опять засмеялась.

— Тут другое требуется, — продолжал Тённе с убежденной настойчивостью. — Нам надо сознаться.

— В чем ты сознаешься перед Богом, когда он и без того все знает? — спросила Юффрид с насмешкой в голосе. — Разве не Бог направляет твои мысли, Тённе? Что же ты ему скажешь?

Сейчас Тённе казался ей глупым и упрямым. Таким она считала его в самом начале знакомства, но потом забыла про эти мысли и полюбила его за сердечную доброту.

— Нужно сознаться перед отцом, Юффрид, и предложить выкуп за убитого.

— Что же ты ему предложишь? — спросила она.

— Дом и коз.

— За единственного сына он, конечно, сполна требует такой выкуп, как за взрослого мужчину. Нашего добра не хватит, чтобы его выплатить.

— Коли нашего добра не хватит на выкуп, тогда мы сами отдадимся ему в рабство.

При этих словах Юффрид почувствовала, как ею овладело холодное отчаяние, и она всей душой ненавидела в эту минуту своего мужа. Она так ясно представила себе, что ей предстояло потерять свободу, ради которой ее пращурь шли на смерть, свой дом и достаток, почет и счастье.

— Попомни мои слова, Тённе, — сказала она хрипло, голосом, глухим от страдания. — Если ты на это решишься, я ни дня не проживу!

Ни тот, ни другая больше не сказали ни слова и молча просидели на крыльце до рассвета. Ни у одного не нашлось примирительных слов. Они не испытывали друг к другу ничего, кроме страха и презрения. Оба судили друг друга во гневе, и каждый нашел другого злым и упрямым человеком.

С этой ночи Юффрид не могла удержаться от того, чтобы при всяком удобном случае не показывать мужу свое превосходство. В присутствии посторонних она обращалась с ним как с дурачком. А когда приходилось вдвоем работать, то нарочно давала ему почувствовать, насколько она сильнее. Юффрид откровенно боролась с мужем за главенство в семье. Иногда она напускала на себя веселость, чтобы отвлечь его от не-

нужных мыслей. Тённе не делал попыток, чтобы осуществить свои планы, но Юфрид не верила, что он от них отказался.

Понемногу Тённе все больше превращался в того человека, каким он был до женитьбы. Он похудел, сделался бледным, неразговорчивым и стал туго соображать. С каждым днем Юфрид все больше впадала в отчаяние, чувствуя, как теряет все, чего добилась в жизни. Однако несчастный вид бедного Тённе пробудил в ней уснувшую любовь.

«На что мне все остальное, если Тённе погибнет? — думала Юфрид. — Уж лучше пойти с ним в рабство, чем смотреть, как он чахнет на воле».

Но все-таки Юфрид не могла так сразу подчиниться мужу. Сначала ей пришлось пережить тяжкую борьбу. Но вот однажды она проснулась в непривычно кротком и смиренном настроении. И тогда она решила, что настала пора, когда она сможет выполнить то, что он требовал. Она его разбудила и сказала, что согласна поступить так, как он хочет. «Только, мол, потерпи еще сегодняшней денек, чтобы уж мне проститься с домом перед тем, как все бросить».

Все утро она ходила притихшая. На глаза то и дело наворачивались слезы, как водится перед разлукой. Вереск показался ей сегодня особенно красивым, поле словно нарочно принарядилось для нее ради такого дня. Недавно его прихватило заморозком, цветы завяли, и вся равнина побурела. Но под лучами яркого солнца вереск как будто снова запылал ярко-розовым цветом. Юфрид невольно вспомнила тот день, когда она впервые увидела Тённе.

Ей очень хотелось напоследок повидать старого богатыря, который ведь тоже был причастен к ее счастью, хотя в последнее время она стала его побаиваться. Ей все чудилось, будто он подстерегает ее и хочет схватить. Но теперь-то уж его власть над нею кончилась, думала Юфрид. Она решила быть осторожной и посмотреть, не появится ли он ночью при лунном свете.

В полдень на дороге показались странствующие музыканты. Это навело Юфрид на мысль оставить

их у себя, потому что она задумала устроить вечером праздник. Тённе был спешно отправлен с приглашением к ее родителям. Потом младшие дети сбегали в долину звать остальных гостей. Скоро в доме собралось много народу.

И вот пошло веселье. Тённе, как всегда при гостях, держался в сторонке, притулившись в углу, зато Юффрид веселилась напропалую. Она первая пустилась в пляс, громко пела пронзительным голосом, усердно потчевала гостей, подливая им пенистого пива. В горнице было тесно от народа, но музыканты попались старательные, и танцы удались на славу. В помещении стало душно и жарко. Распахнули дверь, и Юффрид внезапно увидела, что на дворе уже ночь и в небе светит месяц. Тогда она вышла на порог и окинула взором все царство лунного света.

На равнину пала густая роса. Все поле вереска побелело от лунных лучей, которые отражались в капельках росы, унижавших каждую веточку. Моховые наросты на валунах и каменных плитах уже обледенели и покрылись изморозью. Юффрид ступила на землю и с удовольствием ощутила под ногой пружинистую податливость мха.

Она прошла по дороге, ведущей в селение, словно пробуя, каково будет по ней идти. Завтра они с Тённе пойдут рука об руку навстречу страшному позору, хуже которого невозможно себе представить. Ведь чем бы ни кончилась их встреча с крестьянином, который сам будет решать, что у них забрать, а что оставить, одно было известно наверняка: что отныне их доля — позор и бесчестье. Сегодня еще у них есть хороший дом и много друзей, а завтра они всем станут ненавистны и, может быть, лишатся всего достояния, которое заработали тяжким трудом, и станут подлыми рабами. Юффрид сказала себе: «Это день моей смерти».

Сейчас она уже не представляла себе, откуда возьмет в себе силы, чтобы пройти до конца эту дорогу. Ей вдруг почудилось, что она точно окаменела, стала грузным каменным идолом, как король Атли. Она была жива, но чувствовала, что не сможет оторвать от земли

налитую тяжестью окаменевшую ногу, чтобы сделать первый шаг на предстоящем пути.

Она обратила свой взор на королевский курган и ясно увидела там сидящего великана. Нынче ночью он нарядился, как для праздника: вместо серого, покрытого мхом каменного одеяния, на нем сияли доспехи из чистого серебра. На голове у него опять была корона, как в их первую встречу, но сейчас она была белой. Белым был блестящий панцирь на его груди и запястья, нестерпимой белизной сверкали рукоять меча и щит. Он молчал, вперив в нее равнодушный взгляд. Непостижимая загадка, которую таят большие каменные изваяния, окутывала его облик. Вглядываясь в темный и могучий образ, Юфрид смутно ощутила, что этот каменный истукан воплотил в себе нечто такое, что есть и в ней, и во всех людях — нечто такое, что было похоронено в давние века, сокрыто под грудой камней, но что до сих пор не умерло. Она разглядела древнего короля в глубинах своего сердца; там он царил, раскинув над бесплодной пустыней свою широкую царскую мантию. И там царили мысли о плясках и нарядах, любовь к роскошеству и наслаждению. Каменный истукан невозмутимо взирал с высокого трона на бедность и нужду, которые влачили своим путем у его подножия, но каменное сердце не ведало жалости. «Так было угодно богам!» — говорил древний богатырь. Он был могуч, как скала; не дрогнув, мог он вынести бремя неискупленной вины. На все у него был один ответ: «Зачем терзаться из-за поступков, внушенных богами?»

Глубокий вздох, похожий на рыдание, вырвался из груди Юфрид. В ней шевельнулась мысль, в которой она сама не отдавала себе отчета, что нужно бороться с каменным великаном, иначе ей не видать счастья. И в то же время она была так слаба и беспомощна.

Каменный великан слился в представлении Юфрид с закоснелым упорством ее нераскаянной души, и она чувствовала, что должна его одолеть, иначе она в конце концов окажется в его власти.

Обернувшись на открытую дверь, за которой сверкали яркими красками подвешенные к потолочным

балкам нарядные полотнища, звучала веселая музыка, где было все, что она любила, Юфрид опять подумала, что не сможет согласиться на рабскую долю. Даже ради Тённе она не могла с нею примириться. Увидев в углу его бледное лицо, она со стесненным сердцем спросила себя, достоин ли он того, чтобы всем ради него пожертвовать?

А в это время гости надумали водить хоровод-змеяку. Взявшись за руки, они выстроились в длинную цепочку, во главе стал лихой и сильный парень и помчался вперед, увлекая за собой остальных. В открытую дверь они вырвались за порог на освещенное луной, блистающее вересковое поле. Цепочка бурей промчалась мимо Юфрид и, шумно дыша, спотыкаясь на бегу о камни, валясь на вереск, вихрем закружилась вокруг дома, сделав петлю мимо каменного кургана. Последний в цепочке позвал Юфрид и протянул ей руку. Она схватилась и тоже понеслась в пляске.

Это был не танец, а бешеный бег, зато в нем было столько залихватской радости и разгульного веселья, что дух захватывало! Неожиданные повороты становились все отчаяннее, все громче звучали возгласы, все бесшабашней становился хохот. Цепочка кружила между разбросанных по полю курганов, сплетаясь и расплетаясь на бегу. То и дело кто-нибудь отлетал в сторону, споткнувшись при крутом повороте; медлительных волочили за собой передние бегуны; музыканты, стоя на крыльце, так и наяривали, поддавая жару. некогда было передохнуть, задуматься, остеречься. Танец все убыстрял свой бешеный бег по упругому мху и скользким каменным плитам.

Бегущая в хороводе Юфрид все ясней начинала чувствовать, что хочет остаться свободной, что для нее лучше смерть, чем неволя. Она поняла, что не сможет последовать за Тённе. Ей хотелось сбежать от него, скрыться в лесу и никогда не возвращаться.

Между тем змейка обежала все курганы и оставался только главный, где покоился король Атли. Поняв, что они направляются в его сторону, Юфрид, не спуская глаз, зорко следила за великаном. И вдруг она увидела,

что он вытянул руки навстречу мчащейся цепочке. Она дико вскрикнула, но ей ответил громкий хохот. Она хотела остановиться, но сильная рука впереди тащила ее за собой. Она видела, как король пытался схватить каждого, кто подвернется, но бегуны были слишком проворны, и каменные ручищи не успевали дотянуться. Юффрид не понимала, отчего никто его не замечает. И в нее закрался смертный страх. Она поняла, что это он схватит. Много лет он ее подстерегал. Остальных он пугает в шутку. А ее он хочет поймать всерьез.

Настал ее черед пробегать мимо короля Атли. Юффрид увидела, как он встал и пригнулся, изгибаясь к прыжку, чтобы не промахнуться, когда будет ее ловить. В последнее отчаянное мгновение она поняла, что ей только надо решиться пойти завтра с Тённе туда, куда обещала, тогда великан не властен будет ее схватить, но не нашла в себе решимости. Она была последней в цепочке, и на крутых поворотах ее с такой силой швыряло и мотало в разные стороны, что она уже не бежала, а бессильно волоклась за передними, еле удерживаясь на ногах, чтобы не упасть. И вот, когда Юффрид пролетала мимо на полном скаку, богатырь оказался проворней, чем она. Могучие руки опустились над ней, каменная длань схватила добычу и потащила, чтобы прижать к серебристому панцирю на груди. Смертный страх сдавил ей дыхание, но до самого последнего мгновения она сознавала, что это случилось с нею за то, что она не смогла победить каменного короля в своем сердце, поэтому Атли получил над нею власть.

Веселье оборвалось, и танец кончился. Юффрид умирала. Во время бешеного бега ее швырнуло на курган, и она разбилась об его камни.

САГА О РЕОРЕ

Жил человек по имени Реор. Родом он был из Фюглерра в волости Свартеборг и считался лучшим стрелком во всей округе. Когда король Улоф искоренил в Вике старую веру, он крестился и сделался ревностным христианином. Реор был свободный человек,

но бедняк; оң был хорош собой, но невелик ростом; силач, но человек кроткого нрава. Он укрощал молодых коней только взглядом и добрыми словами, певчие птицы сами слетались на его зов. Всю жизнь он проводил в лесу, и природа имела над ним большую власть. Он любил смотреть, как растут кусты и трава, как набухают почки, как резвятся зайцы на лесных полянах, как плещутся окуни в тихой воде вечернего озера, любил наблюдать споры зимы и лета, перемены погоды, и все это составляло главные события в его жизни. В этих событиях, а не в делах человеческих, заключался для него источник радостей и печалей.

Однажды славный охотник Реор подстрелил знатную добычу. В глухой чаще дремучего леса он выследил старого медведя и сразил его с первого выстрела. Острие длинной стрелы вонзилось прямо в сердце могучего зверя, и он упал к ногам охотника. Это случилось летом, и шкура не отличалась ни густотой, ни гладкостью меха, но охотник все же освежевал свою добычу, скатал шкуру в плотный сверток, закинул за спину и унес с собой.

Пройдя немного, он вдруг почувствовал необыкновенно сильный медовый запах. Его источали маленькие цветущие растения, которых было здесь видимо-невидимо. Они росли на тонких стебельках с нежно-зелеными гладкими листочками в узорчатых прожилках, а наверху были увенчаны множеством белых цветочков. Цветочки были совсем крохотные, и в каждом посередине торчала ворсистая щеточка тычинок, на этих ворсинках дрожали тугие шарики, полные цветущей пыльцы. Проходя мимо цветущей лужайки, Реор подумал, что эти невзрачные цветы, затерянные в сумрачных дебрях леса, шлют в пространство немые призывы, неустанно зовут кого-то. Густой медовый аромат — это их зов, он далеко разносит на все стороны весть о том, что они здесь живут, и она распространяется вокруг по лесу, летит по воздуху, поднимаясь к облакам. Этот пряный аромат был полон тревоги. Цветы наполнили свои чаши, накрыли стол в ожидании крылатых гостей, но никто к ним не шел на пир. Они томились, изнывая от одиночества в

душных зарослях хмурого леса. Казалось, что они готовы громко рыдать, оплакивая свою долю, а прелестные мотыльки не спешили наведаться в гости. В тех местах, где было особенно много цветов, Реору чудилось, что он различает их хор, поющий одну и ту же песню: «Спешите, прекрасные гости, спешите к нам сегодня, ибо завтра мы будем мертвы, завтра поникнем и, мертвые, ляжем на сухую листву».

Реору посчастливилось увидеть благополучное завершение этой сказки. Он услышал за спиной невесомое порхание, словно веяние легчайшего ветерка, и увидел белого мотылька, заблудившегося в темной чаще среди толстых стволов. Он растерянно метался из стороны в сторону, словно не мог найти верной дороги. Но он был не одинок; один за другим появлялись из темной чащи все новые мотыльки, и в конце концов собралась целая рать белокрылых искателей сладкого меда. А первый мотылек был их предводителем, по душистому следу он отыскал место, где росли цветы. Они бросились к истомившимся цветам, как победители бросаются на добычу. Снегопадом опустилось на поляну целое облако белых крылышек. И вот у каждого цветка закипел хмельной роскошный пир. Лес звенел от безмолвного ликования.

Реор двинулся дальше, но дивный медовый аромат словно шел за ним следом. И тогда он понял, что где-то в лесу тоже живет тоска, сильнее той, которую источали цветы; эта тоска влекла его за собой с такой же силой, как цветы влекли мотыльков. Реор продолжал идти, и его сердце наполнилось тихой радостью, словно предчувствуя впереди какое-то неведомое, огромное счастье. И только одно его тревожило: вдруг он не сумеет найти дорогу туда, откуда к нему долетел тоскующий зов?

Вдруг перед ним на тропинку вылез белый уж. Реор наклонился, чтобы поймать его, ведь белый уж приносит людям счастье, но уж выскользнул у него из-под рук и быстро уполз по тропинке. Обогнав Реора, он свернулся в кольца, точно поджидая охотника, но едва тот протянул за ним руку, уж снова ловко вывернулся. Тут

Реор не на шутку загорелся желанием поймать это мудрейшее из всех животных. Он пустился за ним вдогонку, но никак не успевал поймать; уж точно дразнил охотника, и тот, увлеченный погоней, незаметно для себя свернул с тропинки на бездорожье.

Так он забрел в сосновый лес, где трава обыкновенно не растет. А тут вдруг Реор заметил, что вместо сухого мха и лишайников, вместо папоротников и жестких брусничных кустиков, он ступает по шелковистой траве. Над этим зеленым ковром покачивались, склонив головки, метелки цветущих злаков, между длинных перистых листочков выглядывали полураспустившиеся лепестки алой гвоздики. Это была небольшая прогалянка, и высокие, стройные сосны простерли над нею свои рыжие ветви, которые оканчивались пышными хвойными опахалами. Между ними солнечные лучи пробивались к земле, и внизу было душно от зноя.

А посередине лужайки отвесной стеной высился утес. Эта каменная стена была ярко освещена солнцем, и на ее поверхности отчетливо проступали проплешины — следы огромных глыб, отколовшихся зимой под действием мороза; повсюду тянулись кверху длинные стебли зверобоя, чьи бурые корни глубоко уходили в ее каменные недра; узкие карнизы были покрыты сплошной полосой цветов, выставивших вверх свои краснокаемчатые чашечки; рядом зеленели бархатные подушечки изумрудного мха, который выпустил над собой тончайшие волоски с серыми пупырышками на концах.

На первый взгляд это была скала как скала. Но Реор сразу понял, что перед ним передняя стена жилища великанов, и, присмотревшись, обнаружил в ней железные петли, на которые была навешена гранитная дверь.

Реор подумал, что уж притаился от него в траве, чтобы, улучив минуту, незаметно проскользнуть внутрь горы; поэтому он отказался от надежды изловить эту добычу. Он опять ощутил медовый аромат тоскующих цветов и почувствовал, что от каменной стены так и пышет душным зноем. Вокруг царил необыкновенная

тишина: ни птица не вспорхнет, ни хвоя на соснах не шелхнется от ветра. Казалось, что все замерло, затаив дыхание, в напряженном ожидании. У него было странное чувство, что он попал в жилище, где кроме него были другие обитатели, хотя он их и не видел. Ему казалось, что кто-то за ним следит, что его прихода как будто заранее ждали. Но вместо тревоги он ощутил нетерпеливый трепет радостного ожидания, словно ему должно было открыться несказанно прекрасное зрелище.

В этот миг он снова увидел ужа. Уж и не думал прятаться, а, напротив, забрался на одну из каменных глыб, которые мороз отколол от скалы. А у подножия камня, на котором свернулся белый уж, Реор увидел лежащую девушку; она спала, раскинувшись на мягкой траве, совсем нагая, едва прикрытая прозрачными покрывалами, как будто, всю ночь напролет проплясав с эльфами, усталая, прилегла отдохнуть и нечаянно уснула, но сочные травы и тонкие колоски с воздушными метелками высоко поднялись и заслонили спящую, и сквозь завесу Реор лишь смутно различал нежные очертания девичьего тела. Однако он не вздумал приблизиться, чтобы получше ее рассмотреть. Достав из ножен булатный нож, он забросил его между девушкой и утесом, чтобы дочь великана, которая нипочем не посмеет переступить через стальное лезвие, не спряталась от него в скале, когда проснется.

Сделав это, он погрузился в раздумье. Одно стало ему ясно с первого взгляда — эту спящую деву он никому не отдаст, но он еще не решил, как ему с ней поступить.

Но тут Реор, для которого язык природы был понятнее человеческой речи, прислушался к тому, что говорили ему суровый сосновый бор и неприступная скала:

— Смотри, — говорили они, — вот мы вручаем тебе, человеку, который любит нашу дикую волю, прекрасную дочь гор. Она тебе больше под стать, чем дочери долины. Достоин ли ты, Реор, бесценного дара?

Тогда он возблагодарил в душе великую, благодарную природу и решил взять девушку в жены, а не в невольницы. Рассудив, что, сделавшись христианкой

и приняв человеческие обычаи, она потом будет стыдиться своей нынешней наготы, он взял медвежью шкуру, которую нес за спиной, развернул и набросил на девушку косматый покров из бурого поседелого меха старого медведя.

Едва он это сделал, как в скале у него за спиной раздался хохот, от которого содрогнулась земля. Но в этом хохоте не слышалось глумливой насмешки; казалось, будто кто-то, притаившийся в скале, напряженно ждал, сдерживая мучительную тревогу, и вот, когда все наконец благополучно разрешилось, его облегчение нашло себе выход в неудержимом хохоте. Тут прекратились и страшная тишина, и мучительный зной. По траве пробежал прохладный ветерок, и загудели певучие сосны. Счастливый охотник понял, что весь лес следил за ним, затаив дыхание, ожидая, как поведет себя человек с прекрасной дочерью диких гор.

Белый уж сполз со своего возвышения и нырнул в густую траву. Но девушка, погруженная в очарованный сон, даже не шелохнулась и по-прежнему крепко спала. Тогда Реор завернул ее в косматую медвежью шкуру по самую шею, оставив открытой только головку. Хотя девушка несомненно была дочерью великана, живущего в скале, но уродилась маленькой и хрупкой, и мускулистый стрелок легко поднял ее и понес на руках из леса.

Через некоторое время он почувствовал, что кто-то старается сдернуть с его головы широкополую шляпу. Он поднял глаза и увидел, что дочь великана проснулась. Она спокойно сидела у него на руках, но ей захотелось получше рассмотреть того, кто ее нес. Реор не стал ей мешать. Он только ускорил шаг, но не сказал ни слова.

Потом она, как видно, поняла, что солнце напечет ему непокрытую голову. Тогда она стала держать над ним шляпу вместо зонтика, но не надевала ее, чтобы все время видеть его лицо. И Реор почувствовал, что ему не надо ни о чем спрашивать и ничего говорить. Он молча нес ее домой, в материнскую хижину. Но все его существо переполнилось несказанным блаженством, и, ступив на родной порог, он увидел, как

под основание дома заполз белый уж, хранитель семейного очага.

МИР НА ЗЕМЛЕ...

Дело было на старинном крестьянском дворе, и был тогда сочельник, с хмурым небом, которое обещало снегопад, и пронизывающим северным ветром. И было это уже под вечер, когда все спешат поскорей окончить работу, чтобы пойти и попариться в баньке. Баня уже топилась, да так жарко, что из трубы вырывался огонь, и на заснеженные крыши служебных пристроек снопами сыпались разносимые ветром искры и хлопья черной сажи.

Когда труба над баней начинала извергать языки пламени и зарево огненным столпом вставало над старым хутором, люди, увидев этот знак, понимали, что до Рождества осталось совсем немного. Девчонка, которая с тряпкой ползала по крыльцу, принялась напевать песенку, хотя вода у нее в лоханке на глазах покрывалась ледяной коркой. Двое парней, которые под навесом кололи дрова, начали раскалывать в один присест по два полена и так весело размахивали топорами, словно работа была для них игрой.

Из клетки вышла старушка с целой стопой круглых караваев сусяного хлеба. Она медленно прошла через двор к большому красному дому, где жила семья, осторожно вступила в горницу и сложила хлебы на скамью. Затем она постелила на стол скатерть и уложила хлебы горками — снизу большой каравай, сверху другой, поменьше. Старушка была некрасивая женщина примечательной наружности: волосы у нее были с рыжиной; тяжелые, сонно опущенные веки; рот и подбородок отличались напряженно-жесткой складкой, как будто у нее были коротки жилы на шее. Но дело было в сочельник, и все существо старой женщины дышало таким радостным умиротворением, что ее некрасивость стала совсем незаметна.

И все же был на хуторе человек, который не чувствовал радости. Это была девушка, которую заставили

вязать для бани березовые веники. Она сидела на виду возле кухонной печи, на полу был навален большой ворох березовых веток, а вицы, чтобы связать готовый пучок, не было. Через низкие продолговатые окна в комнату падали отблески зарева, стоявшего над банной трубой; его свет плясал на полу и золотил березовые ветки. Чем сильнее разгоралось пламя, тем тошней становилось у девушки на душе. Она знала, что веники развалятся от первого прикосновения, и после такого сраму ходить ей посмешищем по крайней мере до следующего Рождества, когда над баней опять заполахает яркое пламя.

И вот посреди ее горестных размышлений дверь отворилась, и вошел человек, которого она как раз больше всех и боялась. Это был сам хозяин — Ингмар Ингмарссон. Как видно, он только что наведалься в баню посмотреть, хорошо ли там печь натопили, а теперь и сюда заглянул, проверить, хороши ли будут веники. Ингмар Ингмарссон — старый дед; вот он и любит, чтобы все было по старинке. Поэтому с тех пор, как люди забросили париться в бане и хлестать себя вениками, он тем более следит, чтобы у него на хуторе не забывали этого обычая и чтобы все делалось правильно, как встарь.

Одет был Ингмар Ингмарссон в старый овчинный тулуп и кожаные штаны, на ногах — грубые башмаки. Сейчас он был грязен и небрит и вошел так тихо и незаметно, что его по всему можно было принять за нищего. Чертами лица и некрасивостью он был похож на жену — впрочем, между ними и было родство, — а дочка, сколько себя помнила, всегда привыкла относиться с почтительным трепетом к людям с такой наружностью. Принадлежность к роду Ингмарссонов значила очень много; их род с незапамятных времен почитался за самый знатный во всей округе, а уж быть самим Ингмаром Ингмарссоном означало стоять на такой вершине почета, выше которой не может достичь ни один человек, — это значило быть самым богатым, самым умным и самым могущественным человеком во всем приходе.

Ингмар Ингмарссон подошел к девушке, нагнулся за готовым веником, поднял его и взмахнул в воздухе. Ветки так и полетели в разные стороны, одна шлепнулась на рождественский стол, другая на кровать с балдахинном.

— Эге! — засмеялся дед Ингмар. — Что же это ты, девка? Неужели думаешь, что у Ингмарссонов парятся такими вениками? Или не любишь, когда больно стебает?

Видя, что ей от хозяина не слишком попадет, девушка осмелела и ответила, что навязала бы крепких веников, если бы ей дали вицу. Вязать-то, мол, нечем.

— Ладно, девка! Придется, видно, найти тебе вицу, — сказал тогда старый Ингмар, миролюбиво расположенный, на рождественский лад.

Он вышел из горницы, переступил через поломойку и остановился на каменной приступке, высматривая, кого бы послать. Работники еще не кончили колоть дрова для печки, сын шел от овина, неся охалку соломы, зятя перетаскивали телеги под открытый навес, чтобы рождественский день они встретили на свету. Все были заняты по хозяйству, и послать было некого.

Тогда старик, чтобы никого не отрывать от дела, решил пойти сам. Он наискось перешел через двор, как будто направлялся к хлеву, осмотрелся по сторонам и, убедившись, что никто его не заметил, свернул за угол скотного двора, позади которого начиналась тропинка, ведущая к лесу. Старик не стал никому говорить, куда идет, чтобы сын или зятя не вздумали его удерживать. Старые любят жить своим умом.

Миновав небольшой ельник, он прошел через поле и очутился на околице в березовой роще. Тут он свернул с проторенной дороги и пошел по снежной целине, чтобы поискать годовалых побегов березовой поросли.

В это время ветер наконец довершил дело, над которым трудился с самого утра. Он вытряс снег из тучи и помчался на лес, волоча за собой длинный хвост падающих снежинок.

Ингмар Ингмарссон только успел наклониться и срезать березовый побег, как вдруг налетел ветер

и обрушился на него всей тяжестью своей поклажи. Только он выпрямился, как ветер ударил ему в грудь и метнул в лицо целую охапку снежных хлопьев. Снег залепил старику глаза, а ветер завился вокруг и завертел его.

На самом деле вся беда Ингмара Ингмарссона была в том, что он был уже старенький. В молодые годы у него от ветра голова бы не закружилась. А сейчас все помутилось у него перед глазами, как будто он ради праздника покружился в польке. И вот, вместо того чтобы возвращаться домой, он побрел совсем в другую сторону. Ему надо было спуститься по уклону, чтобы выйти в поле, а он напрямик пошагал вверх, где начались сплошные еловые леса.

Сумерки быстро сгущались, и на опушке среди мелколесья завывала вьюга и мела метель. Старик видел, что вокруг стоят елки, но не понял, что идет не туда, потому что по другую сторону березовой рощи напротив хутора тоже был ельничек. Когда он еще дальше углубился в лес, вокруг стало тихо, буря сюда не долетала, и он увидел себя среди высоких деревьев с могучими стволами. Тут уж он понял, что заблудился, и решил повернуть назад.

Самая мысль о том, что он сбился с дороги, привела его в волнение и замешательство; очутившись в нехоженом лесу, он совсем запутался и уже не знал, куда ему податься. Сначала он пошел в одну сторону, потом повернул в другую. Наконец он додумался, что надо вернуться назад по собственному следу, но тут стало так темно, что следов нельзя было разглядеть. А деревья вокруг попадались все выше и выше. И тут он понял, что в какую бы сторону он ни шел, он всякий раз только еще дальше уходил от опушки.

Что за морока такая! Пожалуй, так можно проплутать до ночи. Чего доброго, еще и в баню опоздаешь, прямо наваждение какое-то!

Он перевернул задом наперед шапку и перевязал иначе узел на чулочной подвязке, но в голове все равно ничего не прояснилось. И вот уже настал полный мрак, и старик подумал, что, пожалуй, придется-таки ему ночевать в лесу.

Он привалился к еловому стволу и решил постоять, чтобы навести порядок в мыслях. Этот лес был ему хорошо знаком. Он исходил его вдоль и поперек, так что знал в нем каждое дерево. Мальчишкой он тут пас овец, ставил силки на птиц. В молодые годы поработал лесорубом. Он видел деревья поваленными и видел, как новая поросль покрывала вырубку.

Постояв немного, он вроде бы разобрался, куда его занесло и куда надо идти, чтобы выбраться. Однако он все шел и шел и только глубже забредал в дремучий лес.

Один раз он ощутил под ногами твердую и ровную почву и догадался, что вышел-таки на дорогу. Он старался идти по ней, зная, что дорога куда-нибудь выведет. Но дорога выбежала на поляну, где гуляла метель, и там потерялась. Старик опять оказался среди сугробов и снежных заносов. Тут уж он окончательно упал духом и почувствовал себя пропащим человеком, которому выпала злая доля погибнуть в дебрях дикого леса.

Брести по глубокому снегу было трудно, старик начал уставать и все чаще присаживался на камушек отдохнуть. Но стоило только присесть, как его начинал смаривать сон, а он знал, что спать нельзя, во сне неминуемо замерзнешь. Он и старался все время идти — в этом было единственное спасение.

Но во время ходьбы его разбирала неодолимая охота снова сесть и посидеть. Ему так хотелось отдохнуть, что, казалось, и жизни за это не жалко.

Просто сидеть и не двигаться было такое удовольствие, что мысль о смерти его больше не пугала. Ему стало даже приятно, когда он представил себе длинный рассказ о своей жизни, который будет звучать над его гробом. Он вспомнил прекрасную речь, которую пробст сказал над гробом его отца. Вот и о нем, наверно, тоже будет сказано немало хорошего. Скажут, что он был хозяином старейшего хутора в округе, скажут о том, какая это честь — быть отпрыском старинного рода. И скажут, конечно, о долге и ответственности.

Верно, верно! Главное — отвечать за свои поступки. Это он всегда хорошо помнил. Уж коли ты Ингмарссон,

то держись до последнего, Ингмарссоны никогда не сдаются.

И тут он точно встряхнулся, когда его осенила мысль, что для него будет совсем не почетно, если его найдут замерзшим в лесу. Такого рассказа он совсем не хочет для своей надгробной речи. И тогда он опять встал и побрел дальше. На этот раз он засиделся так долго, что при первом движении с его плеч свалился целый сугроб снега.

А немного спустя он уже опять сидел и грезил.

На этот раз мысль о смерти показалась ему еще заманчивей. Он представил весь обряд похорон до конца, со всеми почестями, которые будут оказаны его мертвому телу.

Он увидел стол для поминок, накрытый наверху в праздничном зале, пробста с женой на почетных местах, судью с пышным жабо на впалой груди, майоршу, нарядившуюся ради торжества в черное шелковое платье с толстой золотой цепью, перевитой на шее в несколько рядов.

Он увидел зал в белом убранстве: окна, завешенные белыми простынями, мебель в белых чехлах и дорогу, усыпанную еловыми ветками от дома до самой церкви.

В доме две недели подряд парили, жарили, варили и пекли. Одних дров ушло двадцать саженей.

А вот и гроб стоит на возвышении, в комнате пахнет дымком, печку-то здесь давно не топили. Над гробом пение, пока его закрывают, а крышка-то вся в украшениях из накладного серебра. Гостей на дворе видимо-невидимо.

Вся округа зашевелилась. А как же! Надо снедь в дорогу собрать, гостинцев наготовить. Но вот почищены от пыли шляпы, чтобы идти в церковь. А водки почитай что совсем не осталось — весь осенний запас ушел на поминки. Все дороги кишат людьми. Народу, народу-то высыпало — как на ярмарку!

И снова старик вздрогнул и очнулся. На поминках он услышал о себе такой разговор:

— Как же это он так оплошал, что замерз до смерти? — спросил судья. — И с какой стати его вдруг в лес занесло?

А капитан ему ответил, что, мол, старик, как видно, перебрал в честь Рождества пива и водочки.

Это и разбудило старого. Ингмарссоны — люди трезвые. Нельзя, чтобы о нем говорили, будто он свой последний час встретил во хмелю. И старик встал и пошел. Но уж он так устал, что еле держался на ногах. Он зашел довольно-таки далеко вверх по склону, это он заметил по каменистой почве под ногами и по тому, что на пути стали попадаться большие утесы, которых не было у подножия. Один раз его нога застряла в щели между камнями, да так крепко, что он ее насилу вытащил. Временами он останавливался и стонал. Конец был уже недалек.

Неожиданно он споткнулся и упал на кучу сухого валежника. Падение было мягким, старик обнаружил, что лежит на сухих ветках, засыпанных снегом, и не захотел больше вставать. У него было единственное желание — уснуть. Он приподнял спутанные ветки и заполз в нору, как под шубу. Но очутившись внутри, он вдруг почувствовал, что там уже есть другой жилец, кто-то мягкий и теплый.

«Наверно, тут спит медведь», — подумал старик.

Он почувствовал, как зверь зашевелился и, приняв хиваясь, повел головой. Но старик остался лежать. Ему было все равно: пускай его заест медведь, он больше не в силах сделать ни шагу, тем более спастись бегством.

Но медведь, видимо, решил не трогать соседа, который пришел под его кровлю искать приюта от непогоды. Он даже отодвинулся в самую глубину берлоги, как будто нарочно потеснившись для гостя, и мгновенно уснул, потому что старик услышал глубокое, ровное дыхание зверя.

Тем временем на старом хуторе Ингмарссонов всем было не до рождественских радостей. Весь вечер прошел в поисках Ингмара Ингмарссона.

Сперва обыскали весь дом и надворные службы, облазили все закоулки от чердака до подвала. Потом отправились спрашивать по соседским дворам, не приходил ли к ним Ингмар Ингмарссон.

Не найдя старика поблизости, сыновья и зятя отправились искать дальше по огородам и полям. Приготовились и факелы, заранее приготовленные для поездки к рождественской заутрене; их зажгли и пустились в разные стороны по завьюженным тропинкам. Но метель давно занесла всякий след, а ветер заглушал и относил в сторону зовущие голоса. Поиски продолжались долго за полночь; наконец все поняли, что надо дожидаться света, иначе мало надежды отыскать пропавшего.

Чуть рассвело, весь хутор Ингмарссонов снова был на ногах, и мужчины собрались на дворе, чтобы отправиться в лес. Но когда они уже готовы были тронуться, из дома вышла старая хозяйка и позвала всех в горницу. Она усадила их по скамейкам, сама села за праздничный стол, на котором лежала раскрытая Библия, и начала читать. Поразмыслив, она, по своему скромному разумению, выбрала как самое подходящее рассказ о страннике, который на пути из Иерусалима в Иерихон попался разбойникам.

Медленно и нараспев она читала о бедствующем путнике, которому оказал помощь милосердный самаритянин. Сыновья и зятя, дочери и внучки сидели по лавкам и слушали. Все были похожи на нее и друг на друга, ибо все они были из древнего рода Ингмарссонов. У всех были рыжие волосы, покрытые веснушками лица и голубые глаза с белесоватыми ресницами. Каждое лицо чем-нибудь отличалось от остальных, но у всех была суровая складка рта, сонливое выражение глаз и неповоротливые движения, как будто им всегда трудно развернуться. Но про каждого можно было по его виду сказать, что он принадлежит к самому знатному роду в округе; каждый из них сознавал, что они не чета остальным.

Во время чтения и среди женской, и среди мужской половины рода Ингмарссонов слышались глубокие вздохи. Каждый задавал себе вопрос, довелось ли их старику встретить на пути доброго самаритянина, который помог бы ему в нужде. Ибо если с кем-то из рода Ингмарссонов случалась непоправимая беда, каждый из них переживал ее как душевную утрату.

Старушка все читала и читала и дошла уже до вопроса: «Кто был ближний попавшемуся разбойником?» Но не успела она прочесть ответ, как дверь распахнулась, и в горницу вошел старый Ингмар.

— Матушка! — сказала одна из дочерей. — Батюшка пришел!

Поэтому так и остался непочитанным ответ, что ближним несчастному был тот, кто оказал ему милость.

Было еще утро. И старушка снова сидела за Библией на том же месте. В доме, кроме нее, никого не было. Женщины ушли в церковь, а мужчины отправились в лес на медвежью охоту. Поев и подкрепившись, Ингмар Ингмарссон пошел на охоту сам и увел с собой сыновей. Ибо долг каждого мужчины — убить медведя, где бы он его ни встретил. Медведя нельзя жалеть; рано или поздно медведь отведаст мяса, а уж когда он войдет во вкус, от него не будет спасения ни скотине, ни человеку.

Но с тех пор, как мужчины ушли на охоту, старушка все время терзалась ужасной тревогой, и тогда она села за чтение. Она перечитывала то место, о котором в этот день должна идти речь в церковной проповеди: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» Тут она остановилась и, тяжело вздыхая, долго вглядывалась в эти слова потухшими глазами. Больше она ничего не прочла, а только медленно и тихо все повторяла одно и то же: «Мир на земле, в человеках благоволение!»

Наконец, в ту самую минуту, когда она опять произносила тягучим распевом те же слова, в горницу вошел старший сын.

— Мама! — еле слышно окликнул он ее глухим голосом.

Она услышала и, не отрывая глаз от книги, спросила:

— Разве ты не был в лесу?

— Был, — промолвил сын еще тише. — Был вместе со всеми.

— Подойди поближе к столу, — сказала мать, — чтобы я могла тебя видеть.

Он подошел. И тут она заметила, что его трясет, как в ознобе. Чтобы унять дрожь в руках, он крепко ухватился за край стола.

— Вы убили медведя? — спросила старушка.

Он не смог выдать из себя ни слова, а только покачал головой.

Старушка встала и сделала так, как ни разу не делала с тех пор, когда сын вышел из младенчества. Она подошла к нему, дотронулась до его руки, погладила по щеке и усадила на скамейку. Потом сама села напротив и взяла его за руку:

— Расскажи, сыночек, что случилось!

От знакомой ласки, которой мать утешала его, маленького и беспомощного, в детских горестях, сын растрогался и не удержался от слез.

— Я уже поняла. Что-то случилось с отцом, — сказала мать.

— Да. Только это еще хуже, — вымолвил сын сквозь рыдания.

— Ты говоришь — еще хуже?

Сын зарыдал еще сильнее, голос его не слушался, и он ничего не мог с собой поделать. Тогда он протянул руку и толстым пальцем ткнул в Библии то место, которое она им недавно читала: «На земле мир».

— Так про это речь, что ты сейчас показал? — спросила старушка.

— Да, — выговорил сын.

— Про мир на земле?

— Да.

— Дурное дело вы нынче утром затеяли?

— Да.

— И Бог нас покарал?

— Бог нас покарал.

И вот наконец мать услышала, как это случилось. Охотники подошли к медвежьей берлоге и, увидев впереди кучу хвороста, остановились, чтобы привести в готовность ружья. Но не успели они этого сделать, как медведь выскочил из берлоги и стремглав кинулся навстречу охотникам: зверь не глядел ни налево, ни направо, а прямо набросился на Ингмара Ингмарссона,

ударил его лапой по голове, и тот повалился, словно его сразила молния. Медведь больше никого не тронул, а проскочил мимо охотников и умчался в лес.

Пополудни жена Ингмара Ингмарссона и его сын приехали к пробсту, чтобы объявить о случившейся в доме смерти. Говорил сын. Старушка молча слушала с застывшим лицом, неподвижным, как каменное изваяние.

Пробст сидел в кресле за письменным столом. Перед ним лежали церковные книги, в которые заносились сведения о смерти. Он нарочно делал это сейчас неторопливо, чтобы выгадать немного времени и обдумать, что он скажет сыну, потому что случай был явно незаурядный. Сын, ничего не утаивая, откровенно рассказал, как было дело, но пробсту хотелось понять, как они оба сами относятся к случившемуся. Жители хутора Ингмарсгор были своеобразными людьми.

Когда пробст кончил и захлопнул книгу, сын заговорил:

— Еще мы хотели вам сказать, что в надгробной речке не надо рассказывать о жизни отца.

Пробст сдвинул на лоб очки и бросил пристальный взгляд на старушку. Она даже не шелохнулась, и только пальцы ее незаметно теребили носовой платок, который она держала в руках.

— Мы будем хоронить отца в будний день, — продолжал сын.

— Так-так, — только и сказал пробст.

От этих новостей у него голова пошла кругом. Старого Ингмара Ингмарссона хотят закопать втихомолку, когда никто не будет знать о похоронах. Прихожане не придут посмотреть, как его торжественно понесут на кладбище.

— По нем не будут справляться поминки. Мы уже предупредили соседей, чтобы они не готовили гостинцев.

— Так-так, — снова повторил пробст.

Ничего другого он не нашелся сказать. Уж он-то отлично знал, что значит для этих людей отказ от поминок. Он сам не раз наблюдал, какое утешение испытывают

вдовы и осиротевшие дети, когда справят как следует богатые поминки.

— Похороны будут без похоронной процессии, за гробом пойдем только мы, сыновья.

Тут пробст почти умоляюще посмотрел на старуху мать. Неужели она с этим согласна? Ему не верилось, что слова сына выражают ее волю. Что же это делается? Почему она сидит и спокойно все это слушает? Ведь ее хотят лишить всего того, что для нее должно быть дороже серебра и золота.

— У нас не будет колокольного звона и украшений из накладного серебра. Так решили мы с матушкой, но сперва хотели посоветоваться с вами, господин пробст, и узнать ваше мнение; может быть, вы скажете, что мы поступаем с отцом несправедливо.

Тут в разговор вступила женщина:

— Мы хотели узнать ваше мнение, господин пробст. Может быть, вы скажете, что мы поступаем с отцом несправедливо.

Пробст хранил молчание. Тогда снова заговорила женщина с большей горячностью:

— Я вам скажу, господин пробст! Если бы мой муж был виноват перед королем или фогтом, если бы мне даже пришлось снимать его тело с виселицы, я сделала бы все для того, чтобы у него были порядочные похороны, такие же, какие были у его отца, потому что мы, Ингмарссоны, никого не боимся, и нет такого человека, который заставил бы нас отступить. Но хранить в день Рождества мир на земле — это сам Бог заповедал человеку и зверю; и несчастный зверь исполнил Божье установление, а мы его нарушили. Поэтому на нас лежит божья кара, и нам не пристало кичиться и величаться.

Пробст поднялся и подошел к старушке.

— Вы говорите правильно, — сказал он, — и как вы решили, так и поступайте по своей воле. — И после этих слов прибавил, как бы думая вслух: — Замечательные люди — Ингмарссоны!

При этих словах старушка распрямила плечи. На мгновение пробст увидел в ней символ всего старинного рода. И он понял, в чем была сила этих неуклю-

жих и неразговорчивых людей, которая давала им власть над другими и сделала их предводителями всего прихода.

— Ингмарссоны должны подавать людям хороший пример, — сказала старушка. — И мы должны выказать смирение перед Богом.

Надпись на могиле

Теперь уж никто не обращает внимания на этот маленький могильный крест, который стоит в уголке кладбища в Свартшё. Народ, который проходит мимо после церковной службы, даже не смотрит в его сторону. Да и неудивительно, что этот крест никто не замечает. Он совсем низенький, клевер и колокольчики достают до самой перекладки, а тимофеевка вырастает над его верхушкой. Надписью на нем и подавно никто не интересуется. Белые буквы сильно размыты дождем, и никто не пытается разобрать по оставшимся стертым словам.

Когда-то было совсем не так. Этот маленький крестик вызвал в свое время множество вопросов и недоумений. Бывало, кто ни зайдет на кладбище, непременно сходит посмотреть на него. Да и сейчас еще старым людям достаточно на него взглянуть, чтобы мысленно у них перед глазами прошла вся история, которая с ним связана.

Она смотрит и видит перед собой весь приход Свартшё, который дремлет под ровным покрывалом белого снега в полтора локтя толщиной. Какой вид открывается взору! Привычных мест совсем не узнать. Пожалуй, тут, как на море, нужен компас, чтобы не заблудиться. Не различишь, где море, где берег; на гладком просторе не видно, где кончается бесплодная бросовая земля, а где начинается овсяное поле, с которого вот уже сотни лет люди из года в год снимают урожай. Угольщикам, живущим на торфяных болотах и лысых холмах, ничто не мешает вообразить себя зажиточными хозяевами, которые владеют обширными угодьями пахотной земли.

Наезженные дороги будто сбились с пути, вырвались из оград и пустились плутать напрямик, где попало. Сейчас не то что в поле, а на своем дворе немудрено заблудиться. Бывает, идешь и вдруг замечаешь, что тропинка, проложенная к колодцу, тянется прямо через кусты таволги, ограждающие розовые клумбы.

Но нигде не чувствуешь себя в большей растерянности, чем на кладбище. Во-первых, ограда, сложенная из дикого камня, которая отделяет кладбище от пасторской усадьбы, совсем исчезла под снегом, так что не разберешь, где кончается одно и начинается другое. Во-вторых, все кладбище превратилось в широкое гладкое поле, не видно ни одной неровности, которая указывала бы, где под снегом скрыты могильные холмики и кусты.

На большинстве могил стоят невысокие железные кресты, на которых повешены тоненькие сердечки, чтобы ветер их шевелил. Все кресты спрятались под снегом. И железные сердечки не могут звенеть, разнося вокруг печальные песни о тоске и утрате.

Люди, которые уезжали работать в город, повезли оттуда неживых могильных венков с цветочками из бусин и с жестяными листьями; эти изделия так дорого ценятся в Свартшё, что они лежат на могилах в ящичках под стеклом. Сейчас их не видно под снежной пеленой, и могилы, на которых есть такое украшение, ничем не отличаются от других.

Кое-где из-под снега торчит куст калины или сирени, но большинство утонули в снегу по самую макушку. Редкие веточки, высовывающиеся наружу, ужасно похожи одна на другую. Как приметы они ненадежны, и по ним здесь ничего не найдешь. Старушки, которые привыкли каждое воскресенье навещать могилы своих близких, не ходят дальше главной аллеи, боясь увязнуть в снегу. Пройдя по ней немного, они останавливаются и начинают издали высматривать «свою могилку», стараясь угадать ее место. Кажется, она была у этого куста... А может быть, вон у того? И старушки мечтают, чтобы поскорей уж пришла оттепель. Зимой, когда не найдешь родную могилку, старушкам кажется, будто мертвые ушли куда-то совсем далеко.

На кладбище стоит несколько больших каменных надгробий, которые высятся над снежным покровом. Но их так мало! А сверху они оделись в снежные шапки и стали так похожи, что и не сообразишь, которое где стоит.

На всем кладбище есть только одна расчищенная дорожка. Она ведет от главной аллеи к покойницкой. Когда нужно кого-нибудь хоронить, гроб относят в покойницкую; и там пастор совершает заупокойную службу, там же все и прощаются с покойником. О том, чтобы опустить гроб в могилу, не может быть речи. Гроб должен дожидаться в покойницкой, пока Господь не пошлет оттепель, а до тех пор земля не поддается кирке и заступу.

И тут случилось, что среди зимы, как раз в самые лютые морозы, когда кладбище становится недоступным, в семье заводчика Сандера, хозяина Лерума, умер ребенок.

Фабрика в Леруме — это большое предприятие, и ее хозяин — могущественный человек. Совсем недавно он устроил на кладбище место для семейного захоронения. Все хорошо помнят, как оно выглядит, хотя сейчас его не видно под снегом. Оно обнесено гладкой каменной оградой с толстыми железными цепями; посередине в ограде поставлена гранитная плита с его именем. Большими буквами вырезано на ней одно слово: САНДЕР, его хорошо видно отовсюду.

Но когда у них умер ребенок и зашла речь о похоронах, тут заводчик и говорит своей жене:

— Я не желаю, чтобы этот ребенок был похоронен в моей могиле.

Так сразу и видишь обоих, точно они сейчас стоят перед глазами.

Разговор происходит в столовой усадьбы Лерум. За столом сидит заводчик. Он завтракает — как всегда, в одиночестве. Его жена, Эбба Сандер, сидит в качалке перед окном, из которого открывается широкий вид на море, усеянное мелкими островками.

Только что она плакала, но после слов мужа слезы сразу высохли на ее глазах. Ее маленькая фигурка

сжалась, точно от страха, по всему телу пробегает дрожь, как будто на нее вдруг пахнуло холодом.

— Что ты сказал? Что ты сказал? — бормочет она.

Ее речь звучит так, словно ее колотит озноб.

— Во мне все против этого восстает, — говорит заводчик. — Там у меня похоронены мать и отец, на камне написано «Сандер». Я не желаю, чтобы там лежал этот ребенок.

— Так вот, значит, что ты надумал! — говорит жена, а сама так и дрожит мелкой дрожью. — Я ведь знала, что когда-нибудь ты мне отомстишь.

Он кидает салфетку, подымается из-за стола и встает перед ней во весь рост — крупный и широкоплечий мужчина. Он не намерен отстаивать перед ней свое решение. Посмотрев на него, она сама должна понять без слов, что оно принято бесповоротно. Весь его облик выражает тяжелое, непоколебимое упорство.

— Я не собираюсь мстить, — отвечает он, не повышая голоса. — Я просто не могу этого стерпеть.

— Ты говоришь так, точно речь идет о том, чтобы переложить его из одной кровати в другую, — говорит жена. — Он ведь умер. Ему-то уже все равно, где лежать. Но для меня это значит погибнуть.

— Я подумал об этом, — отвечает он. — Но я не могу, вот и все.

Они были женаты давно и понимали друг друга без лишних слов. Она знает, что его ничем не разжалобишь — бесполезно даже пытаться.

— Зачем тогда было прощать! — восклицает она, ломая руки. — Зачем ты оставил меня в Леруме, а не прогнал? Зачем было обещать прощение?

Он чувствует, что в душе не желает ей зла. Но ничего не может с собой поделаться — всякому терпению есть предел.

— Скажи соседям то, что найдешь нужным! — говорит он ей. — Я буду молчать. Выдумай, что в могиле стоит вода, или скажи, что для лишних гробов, кроме родительских да наших с тобой, не нашлось места!

— И чтобы этому кто-то поверил!

— Выпутывайся сама, как знаешь, — говорит муж. Это он не со зла! Она сама видит, что не со зла. Все так, как он сказал: тут он просто не может уступить.

Она глубже забивается в кресло и, сцепив на затылке руки, отворачивается к окну, глядя перед собой невидящим взглядом. Как ужасно, что в жизни так много такого, перед чем мы бессильны! А страшнее всего, когда в твоей душе вдруг пробуждаются какие-то силы, против которых ты бессильна бороться. Несколько лет тому назад, на нее, рассудительную замужнюю женщину, вдруг обрушилась любовь. Такая любовь! Даже думать нечего, чтобы с ней можно было бороться!

Какие чувства владеют сейчас ее мужем? Неужели жажда мести?

Он никогда не терзал ее злобой. Он сразу простил ей, как только она призналась.

— Ты себя не помнила, — сказал он тогда и оставил все по-старому.

Прощать легко на словах, а на деле куда труднее. Особенно человеку с тяжелым и замкнутым характером, который ничего не забывает и никогда не дает выхода своему раздражению. Что бы он ни говорил, в его душе поселилась неутоленная обида, она его точит и не даст покоя, пока он не отыграется на чужом страдании. Какое-то странное чувство осталось тогда у Эббы, которое подсказывало ей, что лучше бы уж он дал волю своей злости, пускай бы даже побил. А так он стал зол и сварлив. Она чувствует себя, как лошадь в упряжке: все время помнит, что хотя ее покуда не бьют, но сзади сидит человек с кнутом. И вот он обрушил удар. Теперь она погибла.

Глядя на Эббу, все говорят, что никогда не видали такого страшного горя. Она точно окаменела. Все дни до похорон она ходит, как неживая. Непонятно, слышит она или не слышит, когда с ней заговаривают, узнает ли окружающих. Она, видимо, не ощущает голода, может стоять на морозе, не чувствуя стужи. Но все ошибаются: она окаменела не от горя — от ужасного страха.

Нельзя и думать, чтобы остаться дома и не пойти на кладбище. Она должна будет идти за гробом в похо-

ронной процессии, зная, что все вокруг уверены, что гроб понесут к могиле Сандеров. Ей казалось, что она не вынесет изумленных и недоумевающих лиц, с которыми все будут на нее оборачиваться, когда предводитель с жезлом неожиданно свернет впереди процессии к незаметной могилке. По рядам идущих за гробом пробежит удивленный ропот: почему не хоронят ребенка в могиле Сандеров? Тут все вспомнят, что о ней ходили однажды смутные толки. «Знать, была причина для этих слухов!» — скажут люди. Не успев разойтись после похорон, люди вынесут над ней приговор, и тогда все будет кончено — она безвозвратно погибла.

Единственное спасение для нее — самой быть на похоронах. Она сделает спокойное лицо, как будто ничего особенного не происходит. Может быть, тогда они и поверят в ее надуманные объяснения.

Муж тоже поехал на кладбище. Он все устроил, обо всем позаботился; созвал гостей на поминки, заказал гроб и назначил, кому его нести. Он доволен, что поставил на своем, и настроен благодушно.

Закончилось воскресное богослужение, и народ толпится перед приходской избой, выстраивается траурная процессия. Носильщики надевают через плечо белые полотенца, на которых понесут гроб. Сегодня здесь собралась вся лерумская знать, немало и прочих прихожан.

Дождаясь, когда процессия тронется, Эбба думает, что это будет такое шествие, которое ведет на казнь осужденного преступника.

Какими глазами они будут смотреть на нее на обратном пути! Она шла сюда, чтобы как-то подготовить их к неожиданности, но так и не смогла вымолвить ни слова. Она не способна спокойно вести рассудительные разговоры. Единственное, на что она была способна, это безудержно разрыдаться и заголосить на все кладбище. Она боялась разомкнуть уста, чтобы из них не вырвался безумный, оглушительный вопль.

На колокольне зазвонили колокола, и шествие двинулось. Сейчас все произойдет без всякой подготовки! Почему она не заговорила? Она еле удерживается, что-

бы не закричать людям: «Не ходите на кладбище! Не надо провожать гроб!» Покойник мертв, его нет в живых. Неужели ей погибать из-за покойника? Пускай бы его закопали где угодно, только бы не на кладбище! В голове у нее мелькали какие-то дикие мысли, что надо бы всех сейчас разогнать и не подпустить к могиле. Там, дескать, опасно. Там — зараза. Там видели волчьи следы. Она собиралась напугать их детскими выдумками.

Она еще не знает, где вырыта могила для ребенка. «Погоди, придет время — узнаешь!» — думает Эбба. Вот шествие вступило на кладбище, и она начинает всматриваться в снежную белизну, стараясь найти место, где взрыта земля. Не видно ни дороги, ни могилы. Куда ни глянь, все покрыто ровной пеленой снега.

А шествие направляется к покойнице. Все, кто мог поместиться, втиснулись в дверь, внутри начинается панихида. Оказывается, никто и не ждал, что пойдут к могиле Сандеров. Никто не будет знать, что младенец, по которому служат заупокойную службу, не будет покоиться в семейной могиле.

Если бы Эбба вовремя сообразила это! Она ведь знала, но от дикого страха все позабыла. Оказывается, она напрасно боялась.

«Весной, когда гроб будут опускать в могилу, — думает она, — никто сюда не придет, кроме могильщиков. И все будут считать, что ребенка похоронили в могиле Сандеров».

Эбба поняла, что спасена.

Внезапно ослабев, она разражается безудержными рыданиями. Люди смотрят на нее с жалостью:

— Ужасно, как страдает бедняжка! — шепчут они друг другу.

Но она-то понимает, что это слезы облегчения. Спасение пришло к ней на краю гибели.

Прошло несколько дней после похорон. Она сидит в полутьме на своем обычном месте в столовой. Сгущаются сумерки. И вдруг она ловит себя на том, что ее томит ожидание. Оказывается, она все время прислушивалась, не прибежит ли ребенок. В этот час он приходит играть в столовую. Неужели он сегодня

не придет? Вздрогнув, она вспоминает: «Да он же умер, он умер».

На другой день она снова сидит в столовой и снова ждет. Каждый вечер ее охватывает та же тоска, становясь с каждым разом все сильнее и сильнее. Тоска прибывает, как свет весной, который захватывает все новые часы и в конце концов распространяет свое владычество на круглые сутки.

Ничего удивительного, что такому ребенку, как ее сын, после смерти достается больше любви, чем выпадало при жизни. Пока он был жив, мать думала только о том, как снова завоевать любовь своего мужа. А ему ребенок, конечно, был не слишком приятен. Ей приходилось отстранять его от себя. Он все время должен был чувствовать, что он ей в тягость.

Жена, нарушившая супружеский долг, хотела доказать мужу, что в ней есть что-то хорошее. Она все время была занята работой, целый день пропадала то на кухне, то в ткацкой комнате. Кому там нужен маленький мальчик, который только мешался бы под ногами!

А теперь она вспоминает его глаза, этот взгляд, полный мольбы. По вечерам он всегда хотел, чтобы она посидела возле его кровати. Он говорил, что боится темноты, а сейчас она подумала, что, наверно, не в том было дело. Он нарочно выдумал эту причину, чтобы она побыла с ним рядом. Она вспоминает, как он старался пересилить дремоту. Сейчас она поняла, что он нарочно боролся со сном, чтобы она подольше подержала его ладошку в своей руке.

Он был сообразительный мальчуган, и на какие хитрости только ни пускался, чтобы получить хоть немножко любви и ласки.

Удивительно, как умеют любить маленькие дети! Раньше, пока он был жив, она этого не понимала.

В сущности, она только сейчас начинает любить своего ребенка. Только сейчас она стала любоваться его красотой. Теперь она подолгу может мечтать о его огромных таинственных глазах. Он никогда не был пухленьким, розовощеким ребенком, он был худеньким и бледненьким. Но до чего же он был изумительно красив!

Сейчас она видит, какое это чудо, и с каждым днем оно становится только прекраснее. Оказывается, дети — это самое прекрасное чудо на земле. Подумать только, что есть на свете маленькие человечки, которые каждому протягивают ручонки и про каждого думают, что он хороший и добрый. Человечки, для которых неважно, красивое у тебя лицо или дурное, они всех готовы с радостью целовать, всякого любят — старого и молодого, богатого и бедного! И в то же время это настоящие, только маленькие, человечки.

С каждым днем ребенок становится ей все ближе и ближе. Ей бы очень хотелось, чтобы он был жив, но она не знает, стал бы он ей тогда так же близок, как сейчас. Временами ее охватывает отчаяние оттого, что она при жизни мальчика не старалась дать ему больше счастья: «Наверно, за это я наказана тем, что его потеряла». Но горестные воспоминания приходят к ней только изредка.

Раньше она их боялась, а теперь поняла, что печаль по умершим — это совсем не то, что она думала. Вспоминать тех, кого нет, значит снова и снова переживать прошлое. Тоскуя по своему мальчику, она прониклась его существом и наконец-то научилась его понимать. Горе подарило ей сказочное богатство.

Больше всего она боится, что время отдалит от нее ребенка. У нее не осталось его портрета. Неужели его черты постепенно изгладятся у нее в памяти? Каждый день она пытается свою память и задается вопросом: «Вижу ли я его? Так ли я его вижу?»

Неделя за неделей проходит зима, и однажды она себя ловит на том, что с нетерпением ждет весны, когда можно будет забрать его из покойницы и похоронить в земле. Тогда она будет ходить на могилку и беседовать с ним.

Она положит его на западном конце кладбища; там самое лучшее место. А могилку украсит розами. Вокруг она обязательно посадит кусты и поставит скамеечку. Придет и будет сидеть долго-долго.

Вот уж удивятся люди! Они ведь думали, что ее ребенок похоронен в семейной могиле. То-то будет для

них неожиданность, когда увидят, что она ходит на чужую могилу и просиживает над ней долгие часы! Что бы такое им всем сказать? Надо что-нибудь придумать.

Сначала она решила, что лучше всего сделать так: пойти сперва к большой могиле, положить на нее роскошный букет и немножко посидеть. А потом втихомолку уйти к маленькому. Он будет доволен, если она утаит для него один цветочек от букета.

Он-то будет доволен, да вот ей, пожалуй, этого мало. Она чувствует, что так между ними порвется нынешняя тесная связь.

Он поймет, что она его стыдится. Узнает, что его появление было для нее стыдом и позором. Нет, она оградит его от этого знания! Пускай он думает, что он принес ей одно лишь ни с чем не сравнимое счастье.

Наконец морозы пошли на убыль. Стало заметно, что дело идет к весне. Сугробы потекли, появились проталины. Но предстояло переждать еще несколько недель, чтобы сошла глубокая мерзлота. Но все-таки уже появилась надежда, что скоро умерших можно будет забирать из покойницкой. А она истомилась от ожидания, так истомилась!

Помнит ли она еще лицо своего ребенка? Она каждый день вызывает его в памяти. Но зимой это получалось у нее лучше, а весной он перестал показываться. Тогда она совсем пришла в отчаяние. Ей надо прийти посидеть на могилку, чтобы почувствовать себя ближе к нему, увидеть его, чтобы любить свое дитя. Неужели она никогда не дождется, чтобы его положили в землю?

Кроме него, ей любить некого. Ей надо его видеть, всю жизнь смотреть на него.

И наконец ее великая тоска прогнала последние сомнения и малодушные мысли. Она любит, любит его и не может жить без своего мертвого ребенка. Она чувствует, что уже ничье мнение не имеет для нее никакого значения, только он ей нужен! И когда началась настоящая весенняя оттепель, когда на кладбище показались из-под снега могильные холмики, когда железные сердечки опять зазвенели, искусственные цветы под стеклом засверкали всеми бусинками и на-

конец-то пришел срок, когда земля раскрыла свое лоно, чтобы принять маленький гробик, у нее уже готов был черный крест для могилки.

Через всю перекладину на нем крупными белыми буквами было написано:

ЗДЕСЬ ПОКОИТСЯ МОЕ ДИТЯ

А ниже надписи, на столбе, стояло ее имя.

Ей все равно, если даже весь мир узнает, что она сделала. Все остальное — суета. Единственное, что действительно важно для матери, — это чтобы можно было прийти помолиться на могилу своего ребенка.

БРАТЯ

Как не пожалеть городского покойника, когда его везут на кладбище! Смотришь, как едет по городу катафалк, и кажется, что из гроба несутся горькие жалобы и упреки. Одному обидно, что его катафалк не украсили султанами из перьев, другой пересчитывает свои венки и плачется, что ему маловато досталось. А третий смотрит, что его провозжают одна, две, три — всего только три кареты! Вот ведь какая досада!

Ни одному покойнику не пожелаешь испытать такие огорчения! Но горожане ничего не смыслят в том, как нужно отдавать последний долг умершему, прежде чем положить в могилу.

То ли дело в деревне! Там народ понимающий. И нигде в этом не знают толк так хорошо, как в приходе Свартшё, который находится в Вермланде.

Уж коли вы померли в приходе Свартшё, то можете быть уверены, что получите точно такой гроб, в каких вообще хоронят покойников. Это будет добротный, черный гроб. В таком же вот гробу хоронили и ленсмана, и уездного судью. Все здешние гробы выходят из рук одного столяра, он их делает всегда на один фасон, поэтому они все одинаковы — один другого ничуть не лучше и не хуже. Точно так же вы сами видели, а потому наперед знаете, что в церковь вас

отвезут на простой крестьянской телеге, которая ради этого случая покрашена в черный цвет. Вам незачем думать о каких-то султанах, тут о них никто и не слышал. Вы знаете, что хомут лошади будет убран белыми платками и лошадка поедет торжественным медленным шагом, как если бы вы были почтенным владельцем усадьбы.

И пусть вас не смущает забота, что венков будет мало: здесь на гроб не кладут ни одного цветочка. Гробу полагается быть черным и блестящим, и ничто не должно скрывать его вида. О числе провожающих тоже можно не беспокоиться: все жители соберутся, и все пойдут за гробом. Вдобавок вам не придется выслушивать в гробу ничьих слез и причитаний. В Свартшё никогда не плачут над покойниками, когда подходят прощаться перед церковной дверью.

Нет, раз тут не плачут даже над молодым и цветущим парнем, которого смерть унесла, когда он мог бы стать опорой бедных, престарелых родителей, то не заплачут и над вами. Ваш гроб выставят на козлах перед дверью приходской избы, и постепенно вокруг соберется целая толпа народу; все женщины будут стоять с носовыми платочками в руке. Но никто не заплачет, все платочки останутся свернутыми, ни одного не поднесут к глазам. Вам не придется трепетать при мысли, что по вас прольется меньше слез, чем по другому покойнику. Они бы поплакали, если бы допускали приличия, но здесь это считается неприличным.

Понимаете ли, слишком безутешная скорбь поставила бы в неловкое положение тех, кто к ней не причастен. Да, в Свартшё народ все делает с толком. Все совершается по старинному обычаю, как повелось еще сотни лет тому назад.

Зато, когда ваш гроб принесут на церковный холм, вы становитесь очень важной персоной, хотя на ваш гроб не кладут цветов и не проливают слез. Кто бы ни пришел в церковь, он не пройдет мимо, не спросив, кто тут лежит. Потом он подойдет и молча постоит у гроба. И никому не взбрдет в голову оскорбить умершего ненужными сожалениями. Ни от кого вы не услы-

шите других слов, кроме как: хорошо, мол, тому, для кого все кончено.

Здесь не хоронят, как в городе, в любой день недели. В Свартшё вас похоронят в воскресенье, чтобы на ваши похороны мог собраться весь приход. И уж тогда все, как один, придут постоять у вашего гроба: тут будет и девушка, с которой вы плясали в ночь Ивана Купалы, будет и тот человек, с которым вы на ярмарке сменялись лошадьми. Будет на ваших похоронах и сельский учитель, у которого вы учились мальчишкой, хоть он вас и позабыл, а вы-то его, поди, крепко запомнили; будет и старичок, бывший депутат риксадага, который раньше так чванился перед вами, что и не раскланивался. Здесь не то что в городе, где прохожие даже не обернутся поглядеть, когда вас повезут по улицам.

Наконец приносят длинные полотенца, на которых поднимают гроб; в этом действе принимают участие все без исключения.

Вы просто не представляете себе, какой молодец церковный сторож в Свартшё. Это старый солдат, а с виду — что твой фельдмаршал! У него коротко стриженная седая голова, лихо закрученные усы и остроконечная бородка; он строен и высок; у него твердый шаг и бравая выправка. По воскресеньям он надевает чистый сюртук тонкого сукна. Одним словом, это такой изысканный господин, какого еще поискать! За ним шествует человек с траурным жезлом.

В сравнении с церковным сторожем он, признаться, не имеет особенного вида. Пожалуй, что и шляпа, с которой он ходит в церковь, несколько старомодна. К тому же он стеснителен. Но как, скажите на милость, не быть стеснительным человеку, который шествует с траурным жезлом?

За ним едете вы в гробу, который несут шестеро носильщиков, за вами идут пастор и пономарь, а дальше — весь приход. Весь причт будет провожать вас на кладбище, в этом вы можете быть совершенно уверены.

А вот теперь обратите внимание на одну важную вещь: все, кто идут следом за вами, — такие бедные, такие маленькие люди! Тут не увидишь городской

солидности, это простой люд — неказистые обитатели Свартшё. Пожалуй, среди всех найдется только одно важное, внушающее почтение лицо, и это вы — лежащий в гробу покойник.

Всем остальным завтра с утра приниматься за тяжелую и грязную работу, им жить в бедных хижинах и носить старое, чиненое-перечиненое платье. Всем остальным предстоит маяться и трудиться, не зная ни отдыха, ни срока, им и дальше нести бремя унижительной бедности.

Если бы на похоронах присутствовал посторонний человек, он куда больше опечалился бы при виде людей, идущих следом за гробом, чем при мысли о вашей смерти. Вам уже никогда не придется осматривать бархатный воротник сюртука, чтобы проверить, не вытерся ли он по краям; вам не нужно старательно загибать складки на шелковом платке, чтобы скрыть, что материал сечется. Вам не придется, чувствуя, как постепенно слабеют силы, ждать того часа, когда вы станете на хлебником прихода.

Провожая вас на кладбище, каждый человек в шествию думает про себя, что лучше бы уж умереть и вознестись в рай на белом небесном облачке, чем переносить бесчисленные превратности жизни.

И вот процессия подошла к стенам кладбища, там уже ждет вырытая могила. Вместо широких полотенец под гроб поддевают толстые веревки, могильщики влезают на кучи рыхлой земли, накиданной по краям, и опускают вас в яму.

После этого выходит вперед пономарь, становится над могилой и запекает прощальный псалом, в котором говорится о смерти.

Он поет совершенно один, никто ему не подпекает — ни пастор, ни собравшийся народ. А пономарь обязан петь, невзирая на пронзительный северный ветер или ярко бьющее в глаза солнце: что бы ни случилось, он должен петь.

Пономарь уже совсем старенький, и голос у него давно уже сел. Он отлично знает, что его отпевание не слишком приятно слушать: голос у него стал не тот,

что в молодости; но он все равно поет, потому что так полагается при его должности.

В тот день, когда голос окончательно сдаст, так, что он уже не сможет больше петь, ему, как это ни печально, придется распрощаться со своей должностью, и тогда его ждет настоящая нищета.

Поэтому все собрание с напряженным страхом слушает его пение, гадая о том, вытянет ли он псалом до конца или сорвется. Однако никто, ни один человек, не пытается ему подпевать. Потому что — нельзя. Это не принято. В Свартшё никогда не поют на похоронах. Не поют здесь и в церкви, за исключением первого псалма во время рождественской заутрени.

И все же, если хорошенько прислушаться, можно расслышать, что пономарь поет не один. Да, действительно — ему подтягивает другой голос, но он так похож, что оба голоса неразлично сливаются и звучат, как один.

Второй голос, который подтягивает пономарю, принадлежит маленькому старичку в длинной серой куртке из домотканого сукна. Он старше пономаря, но очень старается петь во всю силу своего голоса, чтобы помочь первому старику.

А голос у него, как уже было сказано, совершенно такого же качества, как у пономаря; они настолько похожи, что это вызывает невольное удивление.

Но если присмотреться, можно заметить, что маленький серенький старичок наружностью тоже похож на пономаря; у него тот же нос, тот же рот и подбородок, только он немного постарше и более потрепан жизнью. И тут мы догадываемся, что нищий бедняга приходится братом пономарю. Тогда становится понятно, отчего он ему помогает.

Ему, знаете ли, никогда не везло в жизни, его вечно подстерегали несчастья, и в конце концов он однажды разорился, а вместе с ним пострадал и пономарь. Он знает, что это по его вине брату всю жизнь приходится бедствовать.

А пономарь не раз пытался помочь брату снова встать на ноги, но ничего из этого так и не получилось,

потому что он был из тех людей, которым невозможно помочь. Его вечно преследовали неудачи. А после уж и силенки кончились.

Не в пример ему, пономарь был гордостью своей семьи; и вот сложилось так, что старшему ничего не оставалось, как брать и брать от него помощь, а сам он ничего не мог ему дать.

Господи! Что там говорить о какой-то отдаче! Ведь он такой бедняк! Видели бы вы лесную хибарку, в которой он живет!

Старший брат знал, что всегда был для младшего тяжкой обузой и вечной заботой. Он был камнем на шее — камнем на шее родного брата и приносил одно горе всем окружающим.

И вдруг он в последнее время сделался нужным человеком. Вот он стоит и платит добром за добро! Подумать только! Он сам наконец помогает младшему брату-пономарю, человеку, который вносил в его жизнь свет, тепло и радость! Теперь же он ему помогает петь, чтобы тот мог сохранить свою работу.

Старший брат не ходит в церковь. Ему кажется, что там все на него смотрят, потому что у него нет черного воскресного костюма. Но каждое воскресенье он приходит на церковный холм и смотрит, не выставлен ли перед приходской избой гроб на черных козлах. Если гроб стоит, он идет вместе со всеми на кладбище, выставляя себя на всеобщий позор в старой, заношенной домотканой куртке, и слабеньким своим голоском помогает петь брату.

Старичок прекрасно слышит, что поет он скверно, он становится позади всех и никогда не лезет вперед к могиле. И все-таки он поет. Даже если пономарь сорвется на какой-нибудь ноте, беды не случится. Брат стоит рядом, и брат его поддержит.

На кладбище никто не смеется над пением, но, вернувшись домой и сбросив торжественную набожность, люди начинают обсуждать между собой, что они видели в церкви, и тут уж они от души потешаются над пением пономаря, над тем, как они вдвоем с братцем там пели. Пономарь не обращает на это внимания, у него

нрав другой; зато его брат мучается и все время думает о насмешках. Он с понедельника начинает страдать, но в воскресенье без опоздания появляется перед церковью, идет на кладбище и выполняет свой долг.

А вам, лежащему в гробу, вам это пение вовсе не кажется таким уж плохим. Вам кажется, что это хорошая музыка. Не правда ли, ради одного пения можно пожелать, чтобы тебя похоронили в Свартшё?

Псалом гласит, что вся жизнь — это путь к смерти, и когда про это поют двое стариков, которые всю жизнь страдали один за другого, то начинаешь с особенной ясностью понимать, как тяжело жить на свете, и совершенно примиряешься со своей смертью.

Но вот песня кончается, пастор кидает на гроб горсть земли и читает молитву. Затем два старых голоса поют последнее напутствие, псалом о вознесении. Новый стих звучит у них не лучше первого. Уставшие голоса слабеют и вот-вот готовы сорваться.

А перед вами открывается огромный, необъятный простор. Ликуя и робея, вы возносите над землей, и все брэнное оставлено позади, оно меркнет и тает.

Но все же последние земные звуки, которые вы услышали, это были слова верности и любви. И душе, с трепетом улетающей в иные пределы, это убогое песнопение поможет припомнить все, что ей было знакомо в брэнной жизни и что даст ей силы подняться в горние выси. И эта память озарит вашу душу сиянием ангельской красоты.

Из цикла «КОРОЛЕВЫ ИЗ КУНГАХЭЛЛЫ»

НА ЗЕМЛЕ ВЕЛИКОЙ КУНГАХЭЛЛЫ

Если бы человек, слышавший о старинном городе Кунгахэлле, пришел к тому месту у реки Нурдре, где город некогда располагался, он был бы наверняка очень удивлен. У него возник бы вопрос: неужели церкви и крепости могли растаять, как снег, или земля могла разверзнуться, чтобы поглотить их? Он — на месте, где в давние времена стоял великий город, и не находит ни единой улицы, ни единой пристани. Он не увидит ни груд руин, ни пепелищ от пожаров, а найдет там лишь господскую усадьбу, утопающую в зелени деревьев, и красные дворовые постройки. Он увидит просторы лугов и полей, по которым из года в год движется плуг, не встречая на своем пути препятствий в виде старых фундаментов или мощеных дворов.

Можно, пожалуй, предположить, что первым делом он спустится к берегу реки. Конечно, он и не ожидал найти там ни одного из тех огромных кораблей, что ходили во все гавани Балтийского моря или в далекую Испанию. Но он все же надеялся увидеть хоть какие-то следы старых корабельных верфей, больших сараев для лодок и пристаней. Он думает, что найдет какую-нибудь из тех больших печей, где варили соль, он захочет увидеть потертые камни ведшей к гавани мощеной улицы. Он спросит о немецкой пристани и шведской пристани, он захочет посмотреть на пристань плакальщиц, где женщины Кунгахэллы прощались со своими мужьями и сыновьями, когда те отправлялись в дальнее плавание. Но когда он спустится на берег реки, то не увидит ничего, кроме ухабистой про-

езжей дороги, ведущей к поселку с паромной переправой, он увидит лишь несколько жалких лодок и маленький плоский паром, перевозящий повозку в Хисинген*. И никаких кораблей, медленно идущих вверх по реке... Он не увидит даже ни единого потемневшего остова, лежащего и гниющего на дне реки.

Когда же он не найдет ничего примечательного и возле гавани, он, вероятно, попытается разыскать легендарный Монастырский холм. Он, возможно, захочет посмотреть на остатки укреплений и валов, окружавших холм в прежние времена. Он, может быть, захочет увидеть высокий замок и низкие монастырские постройки. Он скажет себе, что должны же были остаться по крайней мере хоть обломки великолепной церкви Святого Креста, в которой хранился чудотворный крест, привезенный из Иерусалима. Он подумает о тех памятниках старины, которыми усеяны священные холмы, возвышающиеся над другими древними городами, и его сердце забьется в радостном ожидании. Но когда он подойдет к старому холму, поднимающемуся над полями, то не найдет там ничего, кроме шелестящих деревьев. Он не найдет ни стен, ни башен, ни фронтонов, прорезанных готическими окнами. Он найдет там садовые скамьи и стулья под деревьями, но не увидит ни монастырского двора с колоннами, ни надгробных камней тонкой работы.

Ну, а когда он и здесь ничего не найдет, он, возможно, начнет искать королевскую усадьбу. Он подумает о тех огромных залах, из-за которых город и получил название Кунгахэлла*. Может быть, все же осталось хоть что-нибудь от тех бревен, толщиной в локоть, из которых были сложены стены, или от тех глубоких подвалов под большим залом, где пировали норвежские короли? Он подумает о зеленой глади двора королевской усадьбы, где короли объезжали подкованных серебром жеребцов, а королевы доили золоторогих коров. Он вспомнит о высоком девичьем тереме, о прачечной с большими котлами, об огромной поварне, где в котел разом помещалась половина быка, а свинья жарилась на вертеле целиком. Он подумает о людской,

о соколиной клетке, о жилых постройках, теснящихся вокруг двора, поросших от старости мхом и украшенных головами дракона. От такой массы строений должно же было остаться хоть что-нибудь, думает он.

Но когда он спросит о старой королевской усадьбе, его отведут к господскому дому с застекленной верандой и зимним садом. Скамья для почетных гостей исчезла, как исчезли и украшенные серебром рога для питья, и щиты, обтянутые бычьей кожей. Ему не смогут показать даже равнинную дворовую площадь, сплошь заросшую низкой травой, или узкие тропинки, протоптанные по черной земле. Он увидит земляничные грядки и розарии, увидит веселых детей и молодых девушек, играющих под яблонями и грушами. Но ему не увидеть ни сражающихся рыцарей, ни кавалеров, играющих в волан.

Возможно, он будет искать на площади дуб, под которым короли проводили тинг и где возвышались двенадцать каменных плит для судей. Или ту улицу, которая, как утверждали, была длиной в милю? Или те дворы богатых купцов, отделенные друг от друга мрачными переулками (купцы владели пристанями и сараями для лодок на берегу реки)? Или церковь Девы Марии у площади, куда мореплаватели приносили в жертву небольшие изображения кораблей и скорбные маленькие сердечки из серебра?

Но нет ничего, что бы можно было ему показать. Там, где пролежала та длинная улица, пасутся коровы и овцы. На площади растут рожь и овес, а на том месте, где в прежние времена толпились вокруг манящих торговых рядов люди, возвышаются конюшни и скотные дворы.

Наверняка все это его сильно опечалило.

— Неужели ничего не осталось? — скажет он. — Неужели я совсем ничего не смогу увидеть?

Возможно, он подумает, что его обманули. Он скажет, что невозможно представить себе, что здесь находилась великая Кунгахэлла. Она, должно быть, располагалась в другом месте.

Тогда его поведут на берег реки и покажут ему грубо вырубленную каменную глыбу, с которой соскребут

серебристо-серый лишайник, чтобы он смог увидеть фигуры, высеченные на граните.

Он не сможет понять, что они изображают; они будут для него не яснее пятен на лунной поверхности. Но его заверят, что перед ним изображения корабля и лося, высеченные здесь еще в древние времена в память об основании города.

И если он так ничего и не поймет, ему станут рассказывать о том, что представляют собой наскальные изображения.

Сигрид Стуррода*

Как-то раз выдалась чудесная весна. И именно той весной шведская королева Сигрид Стуррода назначила в Кунгахэлле встречу норвежскому королю Олаву Трюггвасону, чтобы договориться о свадьбе.

Было очень странно, что король Олав хотел взять в жены королеву Сигрид. Конечно, она была богата, прекрасна и великодушна, но она была яркой язычницей, в то время как король Олав был христианином и думал лишь о том, как построить церкви и принудить народ креститься. Возможно, он ждал, что Отец Небесный обратит ее в истинную веру.

Но еще более странным было следующее: как только Стуррода объявила посланцу короля Олава, что поплывет в Кунгахэлле, лишь море освободится ото льда, сразу же началась весна. Холода и снегопады прекратились в то самое время, когда обычно зима бывает в полном разгаре.

Когда Стуррода сообщила о том, что собирается снаряжать свои корабли, на заливах сошел лед, луга зазеленели и, хотя до праздника Благовещения было еще далеко, скот уже можно было отправлять на пастбище.

Когда королева проплывала через Вестъётские шхеры в Балтийское море, кукушки куковали в скалах, хотя было еще так рано, что вряд ли можно было надеяться услышать и жаворонка.

Радость воцарялась на всем пути Стурроды. Все великаны, вынужденные переселиться из Норвегии

во время правления короля Олава, ибо они не выносили звука церковных колоколов, выходили на вершины гор, когда видели, что Стуррода проплывала мимо. Они с корнем вырывали зеленеющие деревья, махали ими королеве, и, входя в свои каменные избы, где их жены сидели в тоске и печали, они смеялись и говорили:

— Эй, женщина, теперь тебе не придется больше горевать. Нынче Стуррода едет к королю Олаву. Скоро мы сможем вернуться в Норвегию.

Когда королева проплывала мимо горы Куллаберг, властелин горы вышел из пещеры. Он повелел черной горе открыться, чтобы королева могла увидеть пронизывающие ее золотые и серебряные жилы и порадоваться его богатству.

Когда Стуррода следовала мимо рек Халланда*, водяной спустился со своих порогов и водопадов, доплыл до самого устья реки и заиграл на арфе так, что корабль заплясал на волнах.

Когда она проплывала через шхеры Нидингарна, там на берегу лежали русалки и дули в раковины так, что вода вздымалась высокими пенистыми столбами.

А когда дул встречный ветер, из глубины появлялись злые тролли и помогали кораблям Стурроды справиться с волнами. Некоторые из них вставали у кормы и подталкивали ее, а другие брали в рот веревки, сплетенные из водорослей, и, словно лошади, впрягались в корабль.

Самые неистовые викинги, которых король Олав не пожелал терпеть в своей стране из-за их свирепости, шли навстречу кораблям королевы на веслах со спущенными парусами, подняв боевые топоры, чтобы начать битву. Но когда они узнали королеву, то позволили ей продолжить путь целой и невредимой и только прокричали ей вслед:

— Мы пьем за твою свадьбу, Стуррода!

Все язычники, жившие вдоль берега, разводили огонь на своих каменных алтарях и приносили овец и коз в жертву древним богам, чтобы они поддержали Стурроду на ее пути к норвежскому королю.

Когда королева проплывала вверх по реке Нурдре, к кораблю подплыла русалка и, протянув из глубины свою белую руку, подала ей большую светлую жемчужину.

— Носи ее, Стуррода, — сказала она, — чтобы король Олав был так поражен твоей красотой, что никогда не смог бы тебя забыть!

Когда королева проплыла еще немного по этой реке, она услышала такой сильный шум и грохот, что подумала, уж не ждет ли ее встреча с водопадом. Чем дальше продвигалась королева, тем мощнее становился грохот, и под конец ей почудилось, что она вот-вот окажется среди великого побоища.

Но как только королева миновала остров Гуллён и свернула в широкую бухту, она увидела, что на берегу реки раскинулась великая Кунгахэлла.

Город был таким большим, что ей даже не видна была та часть реки, где бы двор не следовал за двором. Все дома были солидными, основательно срубленными, с большим числом хозяйственных построек; меж серых бревенчатых стен сбегали к реке узкие переулочки, перед избами открывались просторные дворы, аккуратно протоптанные дорожки вели от каждой усадьбы к ее лодочному сараю и пристани.

Стуррода приказала своим гребцам работать веслами помедленнее. Она стояла высоко на корме корабля и смотрела на берег.

— Никогда я не видела ничего подобного, — сказала она.

Теперь она понимала, что тот сильный грохот, который она слышала, доносился всего лишь от той работы, которая кипела в Кунгахэлле весной, когда корабли готовились к отплытию в дальний путь.

Она слышала, как кузнецы ударяли тяжелыми молотами, скалки стучали в пекарнях, доски с грохотом грузились на тяжелые паромы, молодые парни снимали кору с бревен для мачт и остругивали широкие лопасти весел.

Она видела много зеленеющих дворов, где девушки плели канаты для мореходов, а старики сидели с иглами

в руках и ставили заплаты на серые паруса из грубого холста.

Она видела, как корабельных дел мастера смолили новые лодки. В крепкие дубовые доски забивались гвозди. Из лодочных сараев вытаскивали остовы судов, чтобы законопатить в них все щели. Старые корабли украшали свежепокрашенными изображениями драконов. Товары укладывали в трюмы, люди поспешно прощались и заносили на борт туго набитые корабельные сундуки.

Корабли, которые уже были готовы, отчаливали. Стуррода видела, что корабли, которые шли вверх по реке, везли тяжелый груз сельди и соли, а те, что направлялись на запад, в открытое море, были по самые мачты загружены дорогим дубовым лесом, кожами и шкурами.

Когда королева увидела все это, она радостно улыбнулась. Она сказала, что с удовольствием выйдет замуж за короля Олава, чтобы получить возможность править таким городом.

Стуррода подплыла к королевской пристани. Там стоял король Олав и встречал ее, и, когда она подошла к нему, ему показалось, что она была самой прекрасной из всех, кого он когда-либо видел.

Затем они вместе отправились к королевской усадьбе, и воцарились между ними великое согласие и дружба. И когда пришло время садиться за стол, Стуррода улыбалась и обращалась к королю все время, пока епископ читал застольную молитву, и король тоже улыбался и поддерживал беседу, так как видел, что это было приятно Стурроде.

Когда они закончили трапезу, и все сложили руки, чтобы слушать молитву епископа, Стуррода начала рассказывать королю о своих богатствах и продолжала делать это все время, пока длилась застольная молитва. И король слушал Стурроду, а не епископа.

Король посадил Стурроду на почетное место, а сам сел у ее ног. Стуррода рассказала ему, как повелела сжечь двух князей, посмевших посвататься к ней. И король веселился и думал, что подобная участь и должна

была постигнуть всех князей, осмелившихся посвататься к такой женщине, как Стуррода.

Как только зазвонили к вечерней молитве, король привычно поднялся, чтобы идти молиться в церковь Девы Марии. Но тогда Стуррода позвала своего скальда, и он запел песнь о Брюнхильд*, повелевшей убить Сигурда Победителя Фафнира*. И король Олав не пошел в церковь; вместо этого он сидел и смотрел во властные глаза Стурроды и видел, как тесно сходятся ее черные брови. Тогда он понял, что Стуррода подобна Брюнхильд и что она убьет его, если он предаст ее. Он подумал также, что это женщина, которая способна взойти вместе с ним на костер. Пока священник проповедовал и молился в церкви Девы Марии в Кунгахэлле, король Олав сидел и думал о том, что хотел бы поскакать в Вальхаллу на коне, усадив Стурроду впереди себя.

Ночью у паромщика при Эльвбаккене, перевозившего народ на своем пароме через реку Йёта, было работы больше, чем когда-либо. Раз за разом его звали к другому берегу, но когда он добирался туда, то всякий раз никого там не видел. Однако он слышал вокруг себя шаги, и лодка заполнялась так, что была готова пойти ко дну. Всю ночь он ездил туда и обратно и не знал, что бы это могло означать. Но поутру весь песок на берегу был покрыт следами маленьких ног, и в этих следах паромщик обнаружил увядшие листья, которые, когда он присмотрелся к ним получше, оказались чистым золотом. Тогда он понял, что это были все те гномы и карлики, которые из-за христианства бежали из Норвегии, а теперь возвращались.

А великан, живший в горе Фунтипсбергет на востоке от Кунгахэллы, всю ночь поднимал огромные каменные глыбы и бросал их в сторону колокольни церкви Девы Марии. Если бы великан не был так силен, что все его камни перелетали через реку и падали далеко в стороне на Хисинген, то могло бы произойти великое несчастье.

Король Олав имел обыкновение каждое утро ходить на мессу, но в тот день, когда Стуррода была в Кунгахэлле,

он счел, что у него нет на это времени. Как только он поднялся, ему захотелось пойти в гавань, где на своем корабле жила Стуррода, чтобы спросить ее, не захочет ли она справиться с ним свадьбу еще до вечера.

Епископ повелел звонить в колокола церкви Девы Марии все утро, и когда король вышел с королевского двора и отправился через площадь, двери церкви распахнулись, и оттуда полилось ему навстречу прекрасное пение. Но король проследовал дальше, будто он ничего не слышал. Тогда епископ велел остановить колокола, пение прекратилось, и свечи погасли.

Это произошло так неожиданно, что король остановился на мгновение и оглянулся на церковь. Церковь показалась ему более невзрачной, чем когда-либо прежде. Она была ниже других домов в городе, ее торфяная крыша тяжело опиралась на лишённые окон стены, ворота были низкими и мрачными, а над ними был навес из еловой коры.

Пока король стоял, из мрачных ворот церкви вышла молодая, стройная женщина. Она была одета в красную юбку и синий плащ и несла на руках белокурого младенца. Ее наряд был убогим, но король подумал, что она выглядела, как самая благородная женщина из всех, которых он когда-либо встречал. Она была высокого роста, хорошо сложена, и лицо ее было прелестно.

Король растроганно смотрел, как молодая женщина несла ребенка, прижимая его к себе с такой любовью, будто у нее не было ничего более дорогого и ценного на свете.

Когда женщина вышла на крыльцо, она повернула свое очаровательное лицо и посмотрела назад в эту темную, бедную церковь с глубокой тоской во взоре. И когда она вновь повернулась к площади, на глазах у нее были слезы.

Но как только она собиралась выйти на площадь, силы покинули ее. Она прислонилась к дверному косяку и посмотрела на ребенка с таким ужасом, будто хотела сказать: «Где же, где же теперь в этом огромном мире у нас двоих будет крыша над головой?»

Король по-прежнему стоял неподвижно и разглядывал эту бездомную. Больше всего его тронуло то, что он увидел, как ребенок, совершенно беззаботно сидевший у нее на руках, поднес к ее лицу цветок, чтобы заставить ее улыбнуться. И тогда он увидел, как она постаралась прогнать печаль со своего чела и улыбнулась сыну.

«Кто эта женщина? — подумал король. — Мне кажется, что я видел ее прежде. Без сомнения, она — знатная женщина, попавшая в беду».

Как ни торопился король к Стурроде, он не мог оторвать глаз от женщины. Он старался вспомнить, где он прежде видел такие кроткие глаза и такие прелестные черты лица.

Женщина все стояла в воротах церкви, как будто не могла оторваться от них. Тогда король подошел к ней и спросил:

— Чем ты так опечалена?

— Я изгнана из моего дома, — сказала женщина и указала на маленькую темную церковь.

Король подумал, что она хотела сказать, будто находилась в церкви, потому что у нее не было другого жилья. Он спросил тогда:

— Кто же изгнал тебя?

Она посмотрела на него с невыразимой печалью.

— А ты не знаешь? — спросила она.

Но король отвернулся от нее. У него не было времени, рассудил он, чтобы стоять тут и отгадывать загадки. Казалось, будто женщина хотела сказать, что это он выгнал ее. Он не мог понять, на что она намекала.

Король быстро пошел дальше. Он пришел на королевскую пристань, у которой стоял на причале корабль Стурроды. Близ гавани он встретил слуг королевы; все они были в одежде с золотой каймой, и на головах у них были серебряные шлемы.

Высоко на корабле стояла Стуррода и озираала Кунгахэллу, радуясь ее величию и богатству. Она смотрела вниз на берег так, словно уже считала себя королевой Кунгахэллы.

Но когда король увидел Стурроду, он сразу подумал о той прелестной женщине, бедной и несчастной, что вышла из церкви. «Что это? — подумал он. — Мне кажется, она прекраснее Стурроды».

А когда Стуррода улыбнулась ему, он вспомнил, как слезы блестели в глазах той, другой женщины.

Лицо незнакомки настолько занимало мысли короля Олава, что он стал черточку за черточкой сравнивать его с лицом Стурроды. И при таком сравнении вся красота Стурроды исчезла.

Он увидел, что глаза у Стурроды жестокие, а рот — сладострастный. Во всех чертах ее лица он читал порок.

Он, пожалуй, по-прежнему видел, что она красива, но красота ее не доставляла ему былой радости. Он почувствовал к ней отвращение, как если бы она была сверкающей ядовитой змеей.

Когда королева увидела приближающегося короля, гордая улыбка победительницы появилась у нее на губах.

— Я не ждала тебя так рано, король Олав, — сказала она. — Я думала, что ты будешь на мессе.

У короля возникло желание подразнить Стурроду и делать все против ее желаний.

— Месса еще не началась, — сказал он. — Я пришел, чтобы просить тебя последовать со мной в дом Господень.

Когда король сказал это, он увидел, что глаза Стурроды вспыхнули злостью, но она продолжала улыбаться.

— Иди лучше сюда, на корабль! — сказала она. — Я хочу показать тебе подарки, которые я привезла тебе.

Она подняла золотой меч, как бы желая завлечь его, но королю показалось, что он по-прежнему видел рядом с ней ту, другую женщину. И он подумал, что Стуррода стояла среди своих богатств, как злой дракон.

— Я хочу сперва знать, — сказал король, — пойдешь ли ты со мной в церковь?

— Что мне делать в твоей церкви? — надменно спросила она.

Тут она заметила, что брови короля сдвинулись, и поняла, что он настроен не так, как накануне. Тогда она сразу же изменила тон и стала мягкой и кроткой.

— Ходи в церковь, сколько пожелаешь, — сказала она, — хоть я и не пойду! Из-за этого не следует вражде возникать промеж нас.

Королева спустилась с корабля и подошла к королю. Она держала в руках меч и отороченную мехом мантию, которые она собиралась преподнести ему.

Как раз в это мгновение король посмотрел в сторону гавани. Он увидел, что вдали шла та, другая женщина. Она шла, склонившись, устало передвигая ноги и по-прежнему держа ребенка на руках.

— Что это ты там так старательно разглядываешь, король Олав? — спросила Стуррода.

И тогда та, другая женщина обернулась и посмотрела на короля, и когда она посмотрела на него, ему показалось, что у нее и у ребенка над головами зажглись золотые светящиеся обручи, более прекрасные, чем драгоценности всех королей и королев. Но сразу вслед за тем она вновь свернула к городу, и он больше ее не видел.

— Что это ты там так старательно разглядываешь, король Олав? — снова спросила Стуррода.

Но когда король Олав повернулся к королеве, он увидел ее старой и уродливой, в окружении всего мирского зла и пороков, и ужаснулся тому, что мог бы пасться в ее сети.

Он стоял, сняв перчатку, так как собирался протянуть ей руку. Но теперь он взял перчатку и ударил ее по лицу.

— Что может у меня быть общего с тобой, старая языческая собака? — сказал он.

Стуррода отскочила на три шага назад. Но она быстро опомнилась и ответила:

— Этот удар обернется для тебя смертью, король Олав Трюггвасон.

Она была бледна, как Хель*, когда, отвернувшись от него, всходила на корабль.

Следующей ночью королю Олаву приснился странный сон.

То, что он видел перед собой, было не землей, а морским дном. Это было зеленовато-серое поле, над которым вода стояла на высоте во много сажений. Он видел, как рыбы проплывали в погоне за добычей, как корабли скользили наверху по водной поверхности, словно темные облака, видел, как солнечный диск тускло поблескивал, подобно бледной луне.

Тут на морском дне появилась та женщина, которую он видел в воротах церкви. На ней была все та же изношенная одежда, и она шла, все так же поникнув, как и в тот день, когда он ее встретил, а лицо ее было по-прежнему исполнено печали.

Но там, где она проходила по морскому дну, вода расступалась перед ней. Он видел, как вода, словно движимая бесконечным почтением, вздымалась сводами и сливалась в колонны, так что женщина шла через великолепный зал храма.

Вдруг король увидел, что вода, вздымавшаяся над женщиной, стала менять цвет. Колонны и своды стали сперва розовыми, но быстро начали принимать все более яркую окраску. Все море вокруг было тоже красным, словно превратилось в кровь.

На дне моря, где проходила женщина, король увидел сломанные мечи и стрелы, лопнувшие луки и поломанные копья. Сперва их было немного, но чем глубже она продвигалась в красную воду, тем больше становились их груды.

Король содрогнулся, увидев, как женщина свернула со своего пути, чтобы не наступить на мертвого человека, который, вытянувшись, лежал на зеленом ложе из водорослей. Человек был одет в кольчугу, в руке у него был меч, а на голове виднелась глубокая рана.

Королю показалось, что женщина закрыла глаза, чтобы ничего не видеть. Она двигалась к определенной цели, без сомнения и страхов. Но он, охваченный сном, не мог отвести глаз.

Он видел, что все дно моря густо покрыто обломками. Он видел тяжелые корабельные якоря; толстые канаты извивались там, словно змеи, корабли лежали с

распоротыми бортами, золоченые головы драконов, некогда украшавшие штевни, яростно взирали на него красными глазами.

«Хотел бы я знать, что за люди вели сражение на море и оставили все это в добычу смерти», — подумал спящий.

Повсюду он видел мертвецов: они свисали с корабельных бортов или лежали, погруженные в густые водоросли. Но у него особенно не было времени их рассматривать, потому что ему надо было следить за женщиной, которая все шла и шла вперед.

Наконец король увидел, как она остановилась перед мертвым человеком. На нем был красный камзол, на голове у него был блестящий шлем, на руку надет щит, а кисть сжимала обнаженный меч.

Женщина склонилась над ним и шептала, словно хотела разбудить спящего:

— Король Олав, — шептала она, — король Олав!

И тогда король увидел, что человеком, лежащим на дне, был он сам. Он со всей очевидностью узнал в мертвце себя.

— Король Олав, — снова прошептала женщина, — я — та, кого ты видел перед церковью в Кунгахэлле. Ты не узнаешь меня?

Но мертвец по-прежнему оставался недвижимым, и тогда она встала рядом с ним на колени и зашептала ему в ухо:

— Теперь Стуррода послала против тебя свой флот и отомстила тебе. Раскаиваешься ли ты, король Олав?

И вновь она спросила:

— Ты вкусил горечь смерти, потому что выбрал меня, а не Стурроду. Раскаиваешься ли ты? Раскаиваешься ли?

Тогда мертвец наконец открыл глаза, и женщина помогла ему подняться. Он оперся на ее плечо, и она медленно повела его прочь.

И вновь король Олав увидел, как она идет и идет сквозь ночь и день, по морю и по суше. Наконец ему привиделось, что они ушли дальше облаков и выше звезд.

Они достигли райского сада, где земля светилась белым светом и где цветы были прозрачными, как капли росы.

Король увидел, что как только женщина вступила в райский сад, она подняла голову, и походка ее стала более легкой.

Когда она прошла немного дальше в сад, ее одеяние засияло. Он видел, как на нем сама собой появилась золотая кайма и оно заиграло красками.

Он увидел также, что ореол лучей зажегся вокруг ее головы и озарил ее лицо.

А убитый, опиравшийся на ее плечо, поднял голову и спросил:

— Кто ты?

— А ты не знаешь, король Олав? — спросила она в ответ, и весь ее облик излучал безграничное величие и красоту.

И король преисполнился во сне великой радости, что он избрал служение этой прекрасной королеве небес. Это была радость, какой он никогда не испытывал прежде, и она была столь велика, что пробудила его.

Когда он проснулся, то почувствовал, как слезы текут у него по лицу, и он лежал, сложив руки для молитвы.

ЛЕСНАЯ КОРОЛЕВА

Марк Антоний Поппий был почтенным римским купцом. Он занимался торговлей с дальними странами. Из гавани Остии слал он груженные триремы в Испанию, Британию и даже к северным берегам Германии. Удача сопутствовала ему, и он, скопив несметные богатства, радовался, что сможет оставить их в наследство своему единственному сыну. К несчастью, сын этот не унаследовал деловых качеств своего отца. О, всему миру знакома подобная ситуация! Единственный сын богатого человека! Нужно ли к этому еще что-либо добавлять? Всегда повторяется одна и та же история.

Можно подумать, что боги дают в сыновья богатым людям этих несносных лентяев, этих тупых, бесцвет-

ных, усталых глупцов, чтобы показать человечеству полнейшую бессмысленность накопления богатств. Когда же у людей откроются глаза? Когда начнут они постигать мудрость богов?

Молодой Сильвий Антоний Поппий к двадцати годам сумел уже познать все радости жизни. К тому же он охотно давал понять, что устал от них, но, невзирая на это, незаметно было, чтобы пыл его в погоне за развлечениями ослабевал. Напротив, он пришел в полное отчаяние, когда странная цепь неудач, начав преследовать его, с разрушительным упорством вмешалась в его беззаботную жизнь. Его нумидийские лошади охромели накануне важнейших состязаний года, его недозволенные любовные связи оказались раскрытыми, а его лучший повар умер от болотной лихорадки. Этого было более чем достаточно, чтобы сломить силу духа, не закаленного в трудах и походах. Молодой Поппий чувствовал себя настолько несчастным, что решил лишиться себя жизни. Казалось, он полагал, что не было более действенного способа обмануть этих богов, лишивших его удачи, преследовавших его и превративших его жизнь в сплошную муку.

Можно понять несчастного, совершающего самоубийство, чтобы избежать людских преследований, но только такой глупец, как Сильвий Антоний, мог желать воспользоваться подобным выходом из положения, чтобы сбежать от богов. Это напоминает знаменитую историю о человеке, убежавшем ото льва и угодившем прямо в его раскрытую пасть.

Молодой Поппий был слишком чувствителен, чтобы избрать кровавую смерть. Не устраивала его и мучительная смерть от яда. После долгих размышлений он решил умереть легкой смертью в волнах. Но когда он подошел к Тибру, чтобы утопиться, то не смог заставить себя доверить свое тело грязной, медленно скользящей речной воде. Он долго стоял в нерешительности, уставившись на реку. И тут он попал во власть колдовских чар, витающих над реками. Он испытал великую священную тоску, воодушевляющую беспокойных скитальцев природы, и ему захотелось увидеть море.

— Я хочу умереть в голубом море, до самого дна озаренном солнечным светом, — сказал Сильвий Антоний. — Мое тело будет покоиться на ложе из красных кораллов. Пенящиеся гребни, которые возникнут, когда я буду опускаться в бездну, будут свежими и белоснежными, не похожими на ту покрытую копотью застоявшуюся пену, которая дрожит у речного берега.

Он тут же поспешил домой, велел запречь лошадей и отправился в Остию. Он знал, что в гавани стоит один из кораблей его отца, готовый к отплытию. Молодой Поппий гнал своих лошадей во всю прыть и сумел вскочить на корабль как раз, когда поднимали якорь. Понятно, он полагал, что ему не понадобится какая-либо поклажа или снаряжение. Он даже не беспокоился о том, чтобы спросить капитана, куда он держит курс. Они ведь в любом случае направлялись в море, и этого ему было достаточно.

Прошло не так уж много времени, прежде чем юный самоубийца достиг желаемого. Трирема оставила позади устье Тибра, и перед Сильвием Антонием раскинулось Средиземное море, синее, сверкающее пеной и залитое солнцем. Море было таким, что Сильвию Антонию нетрудно было поверить в утверждение поэтов, будто вздымающаяся волна — лишь тонкий покров, скрывающий прекрасный мир. Он поверил, что тот, кто отважно проникнет сквозь водяной покров, сразу попадет в жемчужный дворец морского бога. Юноша порадовался, что избрал именно такую смерть. Вообще-то, это даже нельзя было назвать смертью; невозможно было подумать, что такая прекрасная вода может убивать. Это всего лишь кратчайший путь в мир, наслаждения которого не будут обманчивы, не будут оставлять лишь чувство усталости и отвращения.

С трудом ему удавалось сдерживать свое рвение. Но вся палуба была заполнена моряками. Даже Сильвий Антоний мог понять, что если бы он сейчас прыгнул в море, то вслед за этим бросился бы в воду один из проворных матросов его отца и просто-напросто выловил бы его.

Между тем все паруса уже были подняты, гребцы набрали настоящий темп, и капитан обратился к нему с величайшей учтивостью:

— Итак, ты собираешься следовать со мной в Германию, мой господин, — сказал он. — Ты оказываешь мне большую честь.

Молодой Поппий тут же вспомнил, что этот человек никогда не возвращался домой из путешествия без того, чтобы привезти ему в подарок какой-нибудь удивительный предмет из варварских стран, в которых ему доводилось бывать. Он дарил ему деревяшки, при помощи которых дикари добывали огонь, огромные рога быков, которые они использовали как сосуды для питья, ожерелье из медвежьих зубов, являвшееся знаком отличия великого хёвдинга.

Этот чудесный человек сиял от удовольствия при мысли о том, что сын господина находится на борту его корабля. Он считал новым доказательством мудрости старого Поппия то, что он отправил сына в дальние страны и не позволил ему больше слоняться среди ленивых молодых римлян и набираться изнеженности.

Молодой Поппий не стал выводить его из заблуждения. Он боялся, что капитан тут же отвезет его домой, если он откроет ему свои намерения.

— По правде говоря, Гален, — сказал он, — я не особенно хотел отправляться в это путешествие, и я боюсь, что вынужден просить высадить меня на берег в Байи. Я принял решение слишком поздно. Ты видишь, у меня нет ни вещей, ни денег.

Но Гален заверил его, что из-за такой легко поправимой беды ему не следует отказываться от путешествия. Разве он не находится на прекрасно оснащем корабле своего отца? Он не ощутит недостатка ни в теплой одежде на меху, если погода будет суровой, ни в легких одеяниях из сирийских тканей, какие обычно носят моряки, когда при хорошей погоде проходят какой-нибудь мирный архипелаг.

Через три месяца после отплытия из Остии трирема Галена шла через скалистые шхеры. Ни капитан, ни

кто-либо из команды не имел четкого представления о том, где именно они находятся, но все были рады хоть на некоторое время оказаться защищенными от штормов, бушующих в открытом море.

Действительно, можно было поверить, что Сильвий Антоний был прав, утверждая, будто какое-то божество преследует его. Никому на корабле не приходилось еще бывать в подобном путешествии. Несчастные моряки говорили между собой о том, что с тех пор, как они покинули Остию, не было и двух дней хорошей погоды. Одна буря следовала за другой. Им приходилось выносить невероятные страдания. Их мучили голод и жажда, притом что они, измотанные и почти больные от недосыпания, вынуждены были день и ночь следить за веслами и парусами.

Мрачное настроение моряков усугублялось еще и тем, что они не могли вести торговлю. Да и как могли они в такую погоду приблизиться к берегу, чтобы разложить там свои товары для обмена? Наоборот, как только берег возникал перед ними из-за сплошной завесы серых дождей, им приходилось направлять корабль в море из страха перед покрытыми пеной береговыми скалами. Однажды ночью, когда они в шхерах налетели на мель, им пришлось выбросить в море половину груза. О второй половине они не смели и думать, ибо опасались, что она тоже была совершенно испорчена захлестывавшими корабль огромными волнами.

Было очевидно, что Сильвий Антоний не был человеком, приносящим счастье на море. Ибо он, Сильвий Антоний, все еще был жив, так до сих пор и не утопившись. Нельзя было объяснить, почему он продолжал свое существование, которое теперь было ничуть не более приятным, чем в тот день, когда он впервые решил прервать его. Возможно, он надеялся, что море само завладеет им, без каких-либо усилий с его стороны. Возможно, ему уже больше не нравилось это злобно ревущее море; возможно, он решил умереть в сверкающей зелены, благоухающей воде своей мраморной ванны.

Если бы Гален и его люди знали, почему юный Поппий попал к ним на корабль, то они наверняка бы горько пожалели о том, что он не выполнил своего намерения, так как все они были уверены, что именно его присутствие повлекло за собой все эти несчастья. Нередко темными ночами Гален боялся, что матросы набросятся на хозяйского сына и вышвырнут его за борт. Уже не один из них рассказывал, как страшной штормовой ночью видел темные руки, тянувшиеся из воды и хватавшиеся за корабль. И, казалось, членам команды не было нужды кидать жребий, чтобы найти того, кого хотят утянуть в бездну эти руки. И капитан, и команда были полностью уверены в том, что именно Сильвию Антонию принадлежала великая честь навлекать на них бушующие в воздухе и волнующие море бури.

Если бы Сильвий Антоний вел себя все это время как мужчина, если бы он принимал участие в общих трудах и заботах, то, возможно, кто-нибудь из его спутников и проникся бы к нему чувством сострадания, как к несчастному, навлекшему на себя гнев богов. Но этот юноша и не помышлял о том, чтобы заслужить их сочувствие. Он не думал ни о чем, кроме того, чтобы держаться с подветренной стороны и выискивать среди груза меха и покрывала для защиты от холода.

Однако теперь все жалобы по поводу его пребывания на борту стихли. Как только шторму удалось загнать трирему в вышеупомянутые шхеры, он перестал свирепствовать. Он вел себя, как овчарка, которая замолкает и успокаивается, когда видит, что стадо находится на правильной дороге — домой к своему хлеву. Тяжелые тучи исчезли с неба. Солнце сияло. Впервые моряки почувствовали, как сладость лета овладевает природой.

На этих измученных штормом людей солнечный свет и тепло оказали почти опьяняющее воздействие. Вместо того чтобы стремиться к отдыху и сну, они чувствовали себя бодрыми и веселыми, как только что проснувшиеся дети. Надежда вновь засветилась в них. Они полагали, что за этой массой скалистых шхер

увидят какой-нибудь крупный материк. Они ожидали, что встретят там людей, и кто-знает? На этом неведомом берегу, который, возможно, не посещал еще ни один римский корабль, уж наверняка их товары будут пользоваться широким спросом. Может быть, им все-таки удастся выгодно обменять эти товары и заполнить трюм огромными шкурами медведей и лосей, а также грудами белого воска и сверкающего золотом янтаря?

Пока трирема продолжала пробираться среди шхер, берега которых становились все более высокими и богатыми сочной зеленью и лесами, моряки поспешили украсить свое судно, чтобы оно привлекло внимание варваров. Корабль, который и без всяких украшений был красивейшим из человеческих творений, вскоре раскачивался на волнах, готовый по богатству своего убранства соперничать с птицей с самым роскошным оперением. Еще недавно разбитый и потрепанный штормами, он нес теперь на мачте золоченый шпиль и великолепные, окантованные пурпуром паруса. На носу его возвышалась сверкающая статуя Нептуна, а на корме — шатер из разноцветных шелковых тканей. И не следует думать, что моряки пренебрегли возможностью развесить по бортам корабля ковры, бахрому которых касалась воды, или обвязать тяжелые весла золотыми лентами.

И корабельный люд не остался в пропитанной солью одежде, которая была на них во время пути и которую шторма и морская вода изо всех сил постаралась превратить в лохмотья. Все облачились в белые одеяния, обвили стан свой пурпурными поясами и надели сверкающие обручи на головы.

Даже Сильвий Антоний очнулся от своей апатии. Казалось, будто он радовался предоставившейся наконец возможности заняться хоть чем-то, в чем он знал толк. Он велел побрить себя, постричь и натереть все свое тело душистыми маслами. Затем он облачился в ниспадавшие до пола одежды, прикрепил к своим плечам мантию, надел на голову золотой обруч и достал из предоставленной ему Галеном большой шкатулки с

драгоценностями кольца, браслеты, шейные цепочки и золотой пояс. Когда он был полностью одет, он поднял полог шелкового шатра и улегся на ложе у входа, чтобы его могли видеть обитатели берегов.

Во время этих приготовлений корабль скользил по все более и более узкому проливу, и наконец моряки заметили, что попали в устье какой-то реки. Теперь они плыли по пресной воде. По обе стороны от корабля лежал материк.

Трирема медленно скользила вперед по мерцающей реке. Погода была наипрекраснейшей, и вся природа излучала покой. И какое великолепие привносил в этот пустынный край роскошный купеческий корабль!

По обоим берегам реки рос высокий и густой первобытный лес. Темные заросли хвойных деревьев доходили до самой воды. Нескончаемое течение вымыло землю из-под их корней, но еще большее почтение, чем при виде этих древних деревьев, наполняло моряков при взгляде на их обнаженные корни, напоминавшие руки и ноги великанов. «Здесь, — подумали они, — никогда не удастся человеку возделывать хлеб, никогда не будет здесь расчищено место для города или даже для усадьбы. На много миль вокруг земля здесь пронизана сетью твердых, как сталь, корней. Одного этого достаточно для того, чтобы сделать господство леса вечным и неколебимым».

Вдоль реки деревья стояли так густо, а их кроны были так переплетены, что они образовывали прочные, непроходимые стены. Эти стены из колючих игл были настолько крепки и высоки, что ни один укрепленный город не мог бы пожелать себе более мощной защиты.

Но все же то здесь, то там в хвойной стене были отверстия. То были тропинки, по которым звери обычно спускались к реке на водопой. Через эти отверстия чужеземцы могли скользнуть взглядом в глубь леса. Никогда прежде они не видели ничего подобного. В полумраке, куда никогда не проникало солнце, росли деревья, стволы которых были толще башен у ворот Рима. Там было множество деревьев, сражавшихся

между собой за свет и воздух. Деревья теснились и боролись, деревья расплющивались и падали под тяжестью других деревьев. Деревья пускали корни сквозь ветви друг друга. Деревья сражались, словно были людьми.

Но народ на палубе думал: если звери и люди перемещались в этом мире деревьев, то, должно быть, они владели иными, неизвестными римлянам способами пробиваться вперед, поскольку весь лес, от земли до самых верхушек, был сплетением негнущихся, лишенных хвои ветвей. С этих ветвей свисали серые лишайники, длиной в локоть, что превращало деревья в колдовские существа с волосами и бородой. А земля под ними была сплошь покрыта гниющими стволами, так что нога утонула бы в этой трухлявой древесине, как в тающем снегу.

От леса исходил запах, который всеми на корабле воспринимался как нечто приятно усыпляющее. Это был аромат живицы и дикого меда, смешивавшийся с пьянящим запахом, шедшим от разложившихся стволов и огромных красных и желтых грибов.

Без сомнения, во всем этом было что-то устрашающее, но встреча с природой во всей ее мощи, до вторжения человека в ее владения, была в то же время и вдохновляющей. Прошло немного времени, и один из матросов начал напевать гимн лесному богу; вся команда невольно подхватила эту песнь. Они больше уже не ожидали обнаружить людей в этом лесном мире. Их сердца исполнились благочестивых помыслов, они думали о лесном боге и его нимфах. Они говорили себе, что Пан, изгнанный из лесов Эллады, бежал на крайний север. С благочестивой песней вступали они в его царство.

При каждой паузе в песне они слышали тихую музыку в лесу. Хвоя на верхушках деревьев, трепетавшая в полуденной жаре, играла и пела. Моряки все чаще прерывали свое пение, чтобы послушать, не раздастся ли звук флейты Пана.

Гребцы продвигали корабль все медленнее. Моряки всматривались в золотисто-зеленую и фиолетово-

черную воду под сенью елей. Они вглядывались в высокий тростник, листья которого дрожали и шелестели от быстрого течения. Ожидание так захватило их, что они вздрагивали при виде кружащейся стрекозы или при виде белых кувшинок, сверкающих в чарующем полумраке среди тростинок.

И вновь звучала песня: «Пан, ты — лесной властелин!»

Они отбросили все мысли о торговле. Они чувствовали, что стоят у порога жилища богов. Все мирские заботы оставили их.

И вдруг у устья одной из этих звериных троп...

Там стоял лось, королевский зверь с широким лбом и остроконечным лесом рогов.

На триреме воцарилось глубокое молчание. Опущенные в воду весла сдерживали ход. Сильвий Антоний поднялся со своего пурпурного ложа.

Все взоры были устремлены к лосю. Казалось, что-то виднелось у него на спине, но лесной полумрак и свисающие ветви не давали различить, что это было.

Огромный лось долго стоял, подняв морду и приняв хиваясь к триреме. Наконец он, казалось, решил, что она не была враждебным предметом. Он сделал шаг в воду. Затем еще один. За его величественными рогами все яснее выступало что-то светлое и розовое. Может быть, лось нес на своей спине целую охапку диких роз?

Моряки сделали несколько осторожных движений веслами. Трирема направилась навстречу зверю. Она передвигалась как бы сама по себе все ближе к тростниковым зарослям.

Лось медленно заходил в воду, осторожно ступая, чтобы не увязнуть в корнях на дне реки. Теперь за его рогами было отчетливо видно лицо девушки, обрамленное светлыми волосами. Лось нес на своей спине одну из тех нимф, которые, как они полагали, непременно должны были существовать в этом первозданном мире.

Людей на триреме охватил священный восторг. Один из них, родом с Сицилии, вспомнил песню, которую пел в юности, играя на богатых цветах равнин возле Сиракуз.

Он начал напевать:

Нимфа по имени Аретуза, нимфа,
рожденная среди цветов,
Ты, что блуждаешь под покровом лесов,
белая, как лунный свет!

И когда закаленные в штормах мужчины уловили эти слова, они попытались приглушить подобный урагану гул своих голосов, чтобы спеть:

Нимфа по имени Аретуза, нимфа,
рожденная среди цветов.

Отталкиваясь шестью, они все больше и больше приближались к тростниковым зарослям. Они будто не хотели замечать, что судно уже несколько раз коснулось дна.

А юная лесная дева играла с ними, прячась за рогами лося. Она то выглядывала, то скрывалась вновь. Она не удерживала лося, а вела его все дальше в воду.

Когда длинноногий зверь продвинулся вперед на несколько саженей, она ласково хлопнула его по спине, чтобы остановить. Она наклонилась и сорвала несколько кувшинок. Мужчины на корабле пристыженно смотрели друг на друга. Нимфа появилась здесь всего лишь для того, чтобы набрать белых кувшинок, качавшихся на речной воде. Она пришла не ради римских моряков.

Тогда Сильвий Антоний снял с пальца кольцо, издал возглас, заставивший нимфу поднять взор, и бросил кольцо ей.

Она протянула руку и поймала его. Ее глаза засияли. Сильвий Антоний бросил еще одно кольцо.

Она тут же кинула кувшинки назад в реку и направила лося дальше в воду. Иногда она его останавливала. Но тогда новое кольцо, брошенное Сильвием Антонием, манило ее вперед.

И вдруг она оставила все сомнения. На ее щеках появился румянец. Она стала приближаться к кораблю

безо всякой приманки. Лось вошел в воду по самый хребет. Она была совсем рядом с бортом.

А там уже свесились через край матросы, чтобы помочь прекрасной нимфе подняться на корабль, если только она пожелает ступить на палубу триремы.

Но она не видела никого, кроме Сильвия Антония, который стоял, украшенный кольцами и жемчугами, великолепный, как восход солнца. И когда юный римлянин заметил, что взор нимфы обращен к нему, то перегнулся еще дальше, чем все остальные. Ему кричали, чтобы он был осторожнее, что так можно потерять равновесие и упасть в воду.

Но это предостережение было тщетным. Неизвестно, нимфа ли сильным рывком притянула к себе Сильвия Антония, или как уж это произошло, но только он оказался за бортом раньше, чем кто-нибудь успел даже подумать о том, чтобы подхватить его.

Однако не было никакой опасности, что Сильвий Антоний утонет. Нимфа протянула свои бело-розовые руки и поймала его. Едва ли он даже коснулся поверхности воды. В тот же миг ее скакун повернул, понесся прочь по воде и скрылся в лесу. И громко звенел смех дикой всадницы, уносившей Сильвия Антония прочь.

Гален и его люди на мгновение застыли от ужаса. Некоторые, как при опасности на море, сбросили одежду, чтобы плыть к берегу. Гален удержал их.

— Без сомнения, это — воля богов, — сказал он. — Ради этого они через тысячи бурь пригнали Сильвия Антония Поппия к этой неведомой земле. Будем же радоваться, что мы стали орудием их воли! И не будем пытаться ей воспрепятствовать!

И моряки послушно взяли за весла и двинулись вниз по реке; под ритмичные удары весел они тихо запели песню о бегстве Аретузы.

Теперь, когда эта история окончена, путешественник, должно быть, понял то древнее наскальное изображение, которое ему показывали на земле великой Кунгахэллы. Он, вероятно, смог различить и лося с ветвистыми рогами, и трирему с длинными веслами.

Не стоит требовать, чтобы он увидел там Сильвия Антония Поппия и прекрасную лесную королеву, ибо для этого нужно смотреть глазами старых сказителей.

Он поймет и то, что изображение создано самим юным римлянином и что так же обстоит дело с этой старинной историей. Сильвий Антоний слово в слово поведал ее своим потомкам. Он знал: им будет приятно узнать, что они произошли от известных всему миру римлян.

Но, конечно, чужестранцу необязательно верить в то, что какая-нибудь из нимф Пана бродила по этому речному берегу. Он может думать, что в первобытном лесу обитало дикое человеческое племя и что наездницей огромного лося была дочь короля, властвовавшего над этими бедными людьми. И что когда девушка увезла Сильвия Антония, она всего лишь хотела похитить его драгоценности. И что она вовсе не думала о самом Сильвии Антонии, она даже вряд ли знала, был ли он таким же человеком, как и она.

И путешественник, конечно, поймет, что имя Сильвия Антония не сохранилось бы до сих пор на этих берегах, если бы он все время оставался таким же глупцом. Путешественник сможет услышать о том, как преобразили юного римлянина несчастье и нужда, и как он из презираемого дикарями раба сделался их королем. Он был тем, кто первым подступил к первобытному лесу с огнем и сталью. Он возвел первый крепко срубленный дом. Он строил корабли и выращивал хлеб. Он положил начало великолепию великой Кунгахэллы.

И когда путешественник услышит об этом, он будет обозревать окрестности еще более радостно, чем прежде. Потому что хотя город и превратился в поля и луга, а на реке не увидишь парусов, эта земля все же дала ему возможность заглянуть в прошлое и глотнуть воздуха мечтаний.

ПРИМЕЧАНИЯ

ПЕРСТЕНЬ ЛЁВЕНШЁЛЬДОВ

С. 35. *Карл XII* (1682–1718) — шведский король (1697–1718). События, о которых упоминается далее, связаны с тем периодом его царствования, когда Швеция вела против Дании, Польши, Саксонии и России Северную войну (1700–1721) за господствующее положение на берегах Балтийского моря. Первый период войны складывался для Швеции удачно, однако военный поход Карла XII в Россию закончился полным разгромом шведской армии под Полтавой (1709). По словам Ф. Энгельса, после поражения в России Швеция утратила свое экономическое и политическое могущество и была низведена на положение второстепенной державы. Возвратившись на родину, Карл XII предпринял военный поход в Норвегию (1716–1718), где и погиб у стен норвежской крепости Фредрикстен.

С. 36. *...он и в риксдаге бы заседал.* — Риксдаг возник в Швеции в 1617 г. и до 1867 г. являлся собранием представителей всех сословий, выполнявшим роль совещательного органа при короле. Риксдаг в современном значении — шведский парламент.

...что под началом короля Карла XII проложили ему путь в Польшу и Россию. — Военный поход Карла XII в Польшу начался в январе 1702 г. Нанеся ряд поражений польским войскам, захватив Краков и Варшаву, Карл XII добился низложения польского короля Августа, выхода Польши из антишведской коалиции и подписания мирного договора в Варшаве (18 ноября 1705 г.). Вторгшись затем в Саксонию и принудив ее к выходу из войны (Альтранштадтский мир 1706 г.), Карл XII предпринял воен-

ный поход в Россию (август 1707 г.). Рассчитывая на помощь своего тайного союзника, украинского гетмана Мазепы, Карл XII повел свою армию через Украину, но здесь встретил решительный отпор со стороны русских войск. Первое поражение шведской армии было нанесено в битве при Лесной (28 сентября 1708 г.), а затем она была полностью разгромлена в Полтавском сражении (27 июня 1709 г.). После бегства Карла XII в Турцию остатки его войска окончательно капитулировали 1 июля 1709 г. Ф. Энгельс отмечал, что своей попыткой завоевания России Карл XII погубил Швецию и показал всем неуязвимость России.

Ведь немало довелось ему выслушать злых наветов на своего повелителя! – После поражения шведской армии в России в разоренной войной Швеции возникла оппозиция, возглавляемая служилым дворянством и поддерживаемая другими сословиями, недовольными все растущим бременем налогов и повинностей, упорным стремлением короля продолжать войну. Его считали виновником всех бед, обрушившихся на Швецию. Вместе с тем среди части шведского населения бытовало идеализированное представление о Карле XII как о великом полководце и герое. Это двойственное отношение к Карлу XII нашло свое отражение и на страницах романа С. Лагерлёф.

С. 37. *...все украшения и сосуды из благородного металла надлежало... сдавать в казну... приходилось бороться с Гёртцовыми далафами и с государственным банкротством...* – Карл XII, возвратившись в Швецию после четырнадцатилетнего отсутствия (1715), застал страну в состоянии полного экономического краха, но, несмотря на это, решил собрать средства для продолжения войны. Натолкнувшись на сопротивление государственного совета и риксдага, он отстранил их от управления государством и передал всю полноту власти в руки гольштейн-готторпского министра Гёртца (1668–1719), который провел ряд экономических мероприятий с целью выколачивания из населения средств для новых военных замыслов короля. В числе этих мероприятий были конфискация ценностей, а также выпуск обесценен-

ных, так называемых фальшивых денег, прозванных в народе «Гёртцовыми далерами». Период владычества ненавистного чужеземного министра считается одним из самых мрачных эпизодов шведской истории и известен под именем «Гёртцова времени».

С. 39. *Шеффель* — старинная шведская мера емкости для твердых и сыпучих тел, равная 20,9 литра.

С. 42. *Лошадь-мертвак*. — В Швеции существует предание о лошади, которая когда-то была погребена на кладбище вместо человека. Согласно поверью, дух ее, на трех ногах и без головы, бродит по ночам на кладбище, предвещая гибель всякому, кто его увидит, так как именно эта лошадь перевозит людей после смерти в царство мертвых.

С. 47. ...*стоило бы подумать о том, как разорена страна, сколько потеряно из завоеванных земель... все королевство окружено врагами*. — В последний период войны страны — участницы Северного союза (Дания, Польша, Россия) усилили военные действия против Швеции. Король Август вернул себе польский престол, и шведские войска были изгнаны из пределов Польши. Датские войска вторглись в Южную Швецию. Россия заняла Финляндию, Эстляндию, Лифляндию, Аландские острова.

Он был солдатским королем и привык к тому, что солдаты охотно шли за него на смерть. — Карл XII был весьма популярен среди солдат своего войска, которым импонировали его личные качества — храбрость, самообладание, сила воли.

С. 49. *Сэттер* — небольшое поселение типа хутора на удаленных от жилья лесных пастбищах, обычно состоящее из нескольких деревянных построек.

Пастор-адъюнкт — второй священник, назначаемый в помощь пастору в некоторых приходах.

С. 58. ...*лишь только мы замирились с русскими*... — 30 августа 1721 г. был заключен мирный договор между Россией и Швецией (Ништадтский мир), согласно которому к России отошли Ингерманландия, Лифляндия, Эстляндия, Выборг и Юго-Западная Карелия.

Ленсман — должностное лицо, представитель королевской власти на местах.

...ревностно участвовал в риксдаговских распрях... как сторонник партии приверженцев мира. – В 1713 г., вопреки запрещению Карла XII, был созван риксдаг, на котором развернулись дебаты по поводу дальнейшего политического курса страны. Большинство членов риксдага решительно потребовали немедленного заключения мира.

С. 59. *Гатенйельм* – Ларс (Лассе) Андерссон Гате (1689–1718), известный шведский моряк. Родился в крестьянской семье, плавал на шведских и иностранных торговых судах. Во время Северной войны снарядил каперскую флотилию (см. ниже). Нажил огромное состояние и частично субсидировал королевскую казну. В 1715 г. был удостоен дворянского титула, после чего стал называться Гатенйельмом. Возвышение его было неодобрительно встречено шведской аристократией, так как его подозревали в связях с пиратами. Погиб в морском сражении при Гётеборге.

Капер – владелец судна или флотилии, занимающийся в период войны морским разбоем в нейтральных водах. В отличие от пиратов, каперы нападали лишь на суда противника с ведома своего правительства, получая на это специальную грамоту. Каперство существовало в Европе до середины XIX в.

С. 60. *...в онсальской церкви...* – Церковь в приходе Онсала, где находилась усадьба Гата, принадлежавшая родителям Гатенйельма.

...в мраморном саркофаге, который он похитил у датского короля. – Неточное изложение исторического факта. В действительности Гатенйельм обнаружил на одном из захваченных им датских судов два мраморных саркофага, предназначавшихся для датского короля Фредерика IV и его супруги. Датчане предложили за них большой выкуп, но Гатенйельм заявил, что намерен оставить их для себя и своей жены. Тогда по приказанию датского правительства были изготовлены два точно таких же саркофага с именем и гербом Гатенйельмов, и шведский капер согласился взять их в обмен на королевские. Эти саркофаги установлены в онсальской церкви, в усыпальнице Гатенйельмов, и в одном из них покоится прах Ларса Гате.

С. 64. ...*есть нечто от сыновей Лодброка*. – Рагнар Лодброк, или Рагнар Кожаные Штаны, – герой известной исландской саги и хроники Саксона Грамматика. Совершив множество подвигов, Лодброк попал в плен к английскому королю Элле, был брошен в змеиную яму и погиб. Его сыновья отомстили за него, вторгшись в Англию и убив короля Эллу. Прототипом Лодброка послужил датский предводитель викингов, живший в середине IX в. У него было пятеро сыновей, которые возглавили поход викингов в Англию.

С. 68. ...*поля его шляпы были загнуты на Каролинский манер*. – Каролинами назывались солдаты армии Карла XII (от лат. Carolus – Карл).

С. 74. *Торпари* – безземельные крестьяне, арендовавшие участок земли (торп), за который были обязаны отрабатывать поденно, а также платить землевладельцу оброк натурой.

С. 77. *Король Фредрик* (1676–1751) – король Швеции (1720–1751). Был женат на Ульрике-Элеоноре, сестре Карла XII, являлся его военным сподвижником и после его смерти добился права на наследование шведского престола.

Тинг – суд в присутствии жителей данной местности.

С. 103: ...*готовы были ехать в дальние финские леса...* – Имеется в виду заброшенный лесной район на севере Вермланда, место поселения финских колонистов, которые жили в большой нужде.

ШАРЛОТТА ЛЁВЕНШЁЛЬД

С. 127. *Фру Леннгрен* – Анна Мария Леннгрен (1755–1817), известная поэтесса, автор сатирических стихов, эпиграмм, шуточных песен. Была одной из самых просвещенных женщин своего времени и пользовалась большой популярностью среди шведских читателей, которые обычно называли ее «фру Леннгрен».

С. 128. *Епископ Тегнер* – Тегнер Эсайас (1782–1846), шведский поэт, уроженец Вермланда. Окончив Лундский университет, сделал блестящую ученую карьеру

и получил звание профессора. В 1812 г. написал поэму «Свеа», принесшую ему первую премию и звание члена Шведской академии. Автор поэмы «Сага о Фритьофе». В 1824 г. был назначен епископом в Векшё.

Кронпринц – кронпринц Оскар (1799–1859), впоследствии король Швеции и Норвегии Оскар I. Сын французского генерала Бернадота, ставшего королем Карлом Юханом XIV. В 1818 г., после вступления отца на престол, был провозглашен наследным принцем. В том же году был избран канцлером Упсальского университета, где посещал публичные лекции Гейера (см. примеч. к с. 118) и других. Близко сошелся с преподавательской и студенческой средой и оказывал значительное влияние на культурную жизнь университета.

Генерал фон Эссен – граф Ханс Хенрик фон Эссен (1755–1824), отпрыск старинного аристократического рода. Государственный деятель и военачальник.

Густав III (1746–1792) – король Швеции (1771–1792). Получил гуманитарное образование, что обусловило в дальнейшем его интерес к литературе, искусству и театру. Двор Густава III был центром культурной жизни Швеции того времени.

С. 130. *Гейер* Эрик Густав (1783–1847) – историк, поэт, философ, музыкант. Уроженец Вермланда. Профессор истории в Упсальском университете, автор трудов, снискавших ему славу лучшего историка Швеции. Член Шведской академии. Гейер был центральной фигурой в культурных и литературных кругах Упсалы. В доме его обычно собирались наиболее просвещенные представители упсальского общества, в том числе и упоминаемые в романе полковница Сильверстольпе и поэт Атербум.

Упсальский университет. – В описываемое в романе время Упсала была крупным университетским и научным центром Швеции.

Губернатор Йерта – Ханс Йерта (1774–1847), политический деятель и литератор. Был государственным секретарем и губернатором. Директор государственного архива, член Шведской академии. Издавал литературно-критический журнал.

Полковница Сильверстольпе Магдалена (Малла) (1782–1861) – жена полковника Давида Сильверстольпе, одна из наиболее просвещенных женщин своего времени, хозяйка широко известного в Упсале литературного салона. Опубликовала мемуары, в которых описала многих выдающихся представителей шведской культуры.

С. 131. ...на лекции знаменитого поэта-романтика *Аттербума*... – Пер Даниэль Амадеус Аттербум (1790–1855) – поэт, профессор философии и эстетики в Упсальском университете, член Шведской академии. Автор монографического исследования по истории шведской поэзии. Основатель романтической школы в шведской поэзии.

Карл Линней (1707–1778) – выдающийся ученый, естествоиспытатель и натуралист, профессор медицины и естественной истории в Упсальском университете. Один из основателей шведской Академии наук и первый ее президент (1739). Создатель системы классификации растений и животного мира, автор всемирно известного труда «Системы природы», а также других выдающихся работ в области ботаники, зоологии и медицины.

С. 134. *Шведская академия*. – Основана королем Густавом III по образцу Французской академии с целью совершенствования отечественной словесности. Восемнадцать членов академии избирались из числа выдающихся деятелей шведской культуры – писателей, поэтов, ученых. Раз в год, 20 декабря, происходила торжественная церемония избрания новых членов и вручения ежегодных премий, присуждаемых за выдающиеся работы в области искусства и науки. В период царствования Густава III академия пользовалась большим почетом, но с возникновением романтической школы стала предметом нападков и обвинений в консерватизме со стороны романтиков.

Губернатор фон Кремер – Роберт фон Кремер (1791–1880), губернатор Упсалы. В 1866 г. опубликовал свои мемуары.

С. 137. ...в *Кавлосе у Гюлленхоллов*... – Гюлленхоллы – шведское аристократическое семейство. Вероятно, имеется в виду Леонард Гюлленхолл (1759–1840), крупный

ученый-энтомолог, ученик Линнея, член шведской Академии наук. Кавлос — поместье, принадлежавшее графам фон Эссен.

С. 139. *Пиетизм* — религиозное течение внутри лютеранской церкви, возникшее в XVII в. в Голландии и окончательно оформившееся в Германии. Пиетизм проник также в другие страны, и в частности в Швецию (конец XVII в.). Теоретики пиетизма выступали против ортодоксальной церкви и, проповедуя идею «нравственного самоусовершенствования», ратовали за аскетизм в быту и отказ от всех мирских удовольствий — танцев, театра, курения, употребления спиртных напитков и чтения светских книг.

С. 141. *Фру Торслов* — Сара Торслов (1795–1858), выдающаяся шведская трагедийная актриса, игравшая в труппе своего мужа, известного актера Улофа Ульрика Торслова.

С. 147. *Англез* — общее название для ряда танцев английского происхождения, модных в XVII–XIX вв.

С. 179. *Далекарлия*, или Даларна, — область в Центральной Швеции, граничащая на юго-западе с Верmlandом. Горная, малонаселенная местность с разбросанными в горах деревнями. Во многих деревнях Далекарлии жители долго сохраняли старинные обычаи и одежду.

С. 185. *Альмквист* Карл Юнас (1793–1866) — крупнейший шведский писатель, философ и педагог. Хотя Альмквист и не примыкал к романтическому направлению, творчество его было близко романтикам по духу и пользовалось большой популярностью в упсальских литературных салонах Маллы Сильверстолепе и Густава Гейера. Наиболее известным и значительным в его творчестве является цикл повестей, поэм и романов, объединенных под общим названием «Книга шиповника» (1832–1851). Примечателен один из эпизодов биографии Альмквиста. В 1824 г. он под влиянием руссоистских идей уехал в деревню и женился на крестьянской девушке Анне Лундстрём. Однако брак оказался неудачным, и вскоре Альмквист, оставив жену, возвратился в Стокгольм. Не исключено, что этот факт, который был известен Сельме Лагерлёф, послужил поводом для написания истории Анны Сверд.

Стагнелиус Эрик Юхан (1793–1823) – выдающийся шведский поэт-романтик, автор ряда сборников стихов и драматических произведений. Поэзии Стагнелиуса были присущи богатая фантазия и необычайная мелодичность стиха.

С. 192. *Тебя пошлют на север в нищие финские приходы.* – См. примеч. к с. 103.

С. 211. *Фидеикомис* – семейное имущество, передаваемое последовательно ряду представителей одного рода или семьи, вступающих в наследство один после другого.

С. 237. *Коронный фогт*, или фогт, – должностное лицо, исполнявшее в приходе функции полицейского.

С. 256. *...они получили от нее столько-то цветков в котильоне...* – Приглашение на танец в котильоне (старинный бальный танец типа кадрили) обычно сопровождалось вручением цветка или какого-либо другого знака отличия (например, звезды, вырезанной из бумаги).

С. 257. *...сын президента...* – Президентом в Швеции XIX в. назывался человек, занимавший высшие судебные должности.

С. 264. *Масонский приют, вдовья кассы* – благотворительные организации. Масонский приют находился в Кристинеберге и существовал за счет шведского масонского ордена. Помощь нуждающимся детям была основной стороной благотворительной деятельности шведских масонов.

С. 325. *Риксдалеры* – серебряные монеты или бумажные банкноты, бывшие в ходу в Швеции в XVIII–XIX вв.

С. 333. *...сочиняла стихи к рождественской каше... обряжала рождественского козла?* – Речь идет о рождественских обрядах, принятых в Скандинавии. Первый заключался в том, что сидящие за праздничным ужином сочиняли шуточные рифмованные двустишия в честь рождественской каши. Рождественский козел – одна из главных фигур-масок рождественских представлений, маскарадов, игр. Среди ходивших по дворам ряженых непременно был кто-нибудь, изображавший козла. Он

обычно нес корзину с рождественскими подарками. Эта маска восходит к языческим временам празднования Рождества, когда козел символизировал плодородие и достаток.

С. 342. *Она была истинная Кайса Варг*. – Кристина (Кайса) Варг (1703–1769) – составительница широко известной поваренной книги «В помощь молодой хозяйке» (1755).

С. 362. *Лагман* – до 1849 г. административная должность в областях Швеции. Обычно лагманы назначались из числа самых знатных и родовитых семейств.

АННА СВЕРД

С. 400. *Шиллинг* – мелкая медная монета, бывшая в ходу в Швеции с 1776 по 1855 г.

С. 411. *...где стояли шкафы, часы из Муры...* – Жители Далекарлии издавна были известны как искусные мастера-умельцы. Изготовленные ими мебель, предметы домашнего обихода, утварь, ткани, а также их резьба по дереву и настенная роспись славились по всей Швеции. Часы из Муры – стоячие часы с расписным деревянным футляром, изготовлявшиеся в приходе Мура.

С. 469. *Троль* – согласно народному поверью, сверхъестественное существо, враждебное людям и обитающее вдали от человеческого жилья, например в горах.

С. 475. *Пивная похлебка* – старинное шведское блюдо: молочный суп из пшеничной муки, в который добавляют пиво или квас.

С. 491. *Левиафан* – мифическое морское чудовище, согласно библейским преданиям, существовавшее в доисторические времена.

С. 524. *Вестерйётландцы* – жители Вестерйётланда, одной из самых густонаселенных областей Южной Швеции.

Бердники – мастера, изготавливающие берда, то есть гребни для ткацкого станка.

С. 529. *Консистофия* – церковный орган, ведавший делами церковной епархии.

С. 541. ...он... был похож на современного Пера Свинопаса, переодетого принца. – Речь идет о герое известной скандинавской сказки, который, переодевшись свинопасом, сумел жениться на своенравной принцессе.

С. 552. ...сам Польхем, великий изобретатель. – Имеется в виду Кристоффер Польхем (1661–1751), выдающийся шведский инженер-механик.

С. 585. *Озеро Лёвен*. – Под этим названием здесь, а также в романе «Сага о Йёсте Берлинге» С. Лагерлёф описывает озеро Фрикен, находящееся в центральной части Вермланда.

...рассказы о гордых подвигах «кавалеров»... – Кавалеры – персонажи из романа «Сага о Йёсте Берлинге».

С. 585–586. *Заводчики Синклеры, майоры и полковники из дома Хеденфельтов, немецкий органист Фабер, рыцарь Солнечный Свет, который некогда женился на легендарной красавице Марианне Синклер*, – персонажи из романа «Сага о Йёсте Берлинге».

С. 613. *Экебю и Бьёрне* – названия усадеб, в которых жили герои «Саги о Йёсте Берлинге». Под названием Экебю изображена усадьба Ротнерус.

Ф. Золотаревская

ДЕНЬГИ ГОСПОДИНА АРНЕ

С. 659. ...когда Данией правил Фредерик Второй, а провинция Бохуслен была еще под датской короной... – Фредерик II (1534–1588) – король Норвегии и Дании; Бохуслен – провинция на западе Швеции.

Марстранд – шведский город на острове Марстрандён в провинции Бохуслен.

С. 662. *Виттенберг* – город в Германии на Эльбе, один из центров Реформации в XVI в.

С. 671. ...у шведского короля Юхана. – Имеется в виду Юхан III, король Швеции (1568–1587), один из сыновей Густава Васы.

С. 678. *Ленсхерре* – королевский чиновник, представитель власти в средневековой Швеции.

НОВЕЛЛЫ

С. 769. ...*конунг по имени Атли...* – один из героев древнескандинавского эпоса – «Старшей Эдды», вождь союза гуннских племен Аттила (ум. 453).

С. 773. *В те времена, когда еще не перевелось рабство...* – Рабство в Швеции и в других скандинавских странах в период раннефеодального общества (до XII в.) носило патриархальный характер, рабы использовались для черной работы в домашнем хозяйстве своих господ.

С. 825. *Кунгахалла* (Конунгахэлла) – древнескандинавский город на берегу реки Нурдре, воспетый в скандинавских сагах и легендах. Разрушен в 1125 г. морскими пиратами.

Хисинген – один из крупнейших островов Бохусленского архипелага при впадении рек Гётаэльв и Нурдре в Северное море.

С. 827. *Сигрид Стуррода* (Повелительница) – персонаж древнескандинавских легенд. По преданию, Сигрид Стуррода, дочь крестьянина, вышла замуж за короля свеев Эрика Сегерселля (ум. ок. 995) и родила сына Улофа, будущего шведского короля Улофа Шётконунга. После смерти второго мужа, датского короля Эрика Твешегга, к ней посватался норвежский король Олав Трюггвасон (969–1000). Получив ее согласие, он внезапно отказался на ней жениться, после чего она в гневе воскликнула: «Я отучу этих мелких королей ко мне свататься», за что и получила прозвище Стуррода – Повелительница.

С. 828. *Халланд* – лен в юго-западной Швеции.

С. 831. *Брюнхильд* – героиня древнескандинавского эпоса.

...*повелевшей убить Сигурда Победителя Фафнира.* – Сигурд и волк Фафнир – персонажи «Старшей Эдды».

С. 835. *Хель* – в древнескандинавском эпосе богиня смерти, повелительница царства теней.

Н. Белякова

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

СЕЛЬМА ЛАГЕРЛЁФ

Перстень Лёвеншёльдов

Ответственный редактор Н. Любимова

Художественный редактор М. Суворова

Компьютерная верстка В. Пягай

Корректор Н. Стронина

ООО «Издательство «Эксмо»

127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18/5.

Интернет/Home page: www.eksmo.ru

Электронная почта – info@eksmo.ru

Подписано в печать 28.12.2007. Формат 84x108¹/₃₂.
Печать офсетная. Бумага офсетная. Усл. печ. л. 45,36.
Тираж 5000 экз. Заказ 7031.

ISBN 978-5-699-25791-1



9 785699 257911 >

Отпечатано с электронных носителей издательства.

ОАО «Тверской полиграфический комбинат». 170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5.

Телефон: (4822) 44-52-03, 44-50-34. Телефон/факс (4822)44-42-15

Home page · www.tverpk.ru Электронная почта (E-mail) · sales@tverpk.ru



Оптовая торговля книгами «Эксмо»:
ООО «ТД «Эксмо». 142702, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное,
Белокаменное ш., д. 1, многоканальный тел. 411-50-74.
E-mail: reception@eksmo-sale.ru

**По вопросам приобретения книг «Эксмо»
зарубежными оптовыми покупателями
обращаться в ООО «Дип покет»
E-mail: foreignseller@eksmo-sale.ru**

**International Sales: International wholesale customers should contact
«Deep Pocket» Pvt. Ltd. for their orders. foreignseller@eksmo-sale.ru**

**По вопросам заказа книг корпоративным клиентам,
в том числе в специальном оформлении,
обращаться в ООО «Форум»: тел. 411-73-58 доб. 2598.
E-mail: vlpzakaz@eksmo.ru**

**Оптовая торговля бумажно-беловыми
и канцелярскими товарами для школы и офиса «Канц-Эксмо»:**
Компания «Канц-Эксмо»: 142700, Московская обл., Ленинский р-н,
г. Видное-2, Белокаменное ш., д. 1, а/я 5.
Тел./факс +7 (495) 745-28-87 (многоканальный).
e-mail: kanc@eksmo-sale.ru, сайт: www.kanc-eksmo.ru

Полный ассортимент книг издательства «Эксмо» для оптовых покупателей:

В Санкт-Петербурге: ООО СЗКО, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е.
Тел. (812) 365-46-03/04.

В Нижнем Новгороде: ООО ТД «Эксмо НН», ул. Маршала Воронова, д. 3.
Тел. (8312) 72-36-70.

В Казани: ООО «НКП Казань», ул. Фрезерная, д. 5. Тел. (843) 570-40-45/46.

В Самаре: ООО «РДЦ-Самара», пр-т Кирова, д. 75/1, литера «Е».
Тел. (846) 269-66-70.

В Ростове-на-Дону: ООО «РДЦ-Ростов», пр. Стачки, 243А.
Тел. (863) 268-83-59/60.

В Екатеринбурге: ООО «РДЦ-Екатеринбург», ул. Прибалтийская, д. 24а.
Тел. (343) 378-49-45.

В Киеве: ООО ДЦ «Эксмо-Украина», ул. Луговая, д. 9.
Тел./факс: (044) 501-91-19.

Во Львове: ТП ООО ДЦ «Эксмо-Украина», ул. Бузкова, д. 2.
Тел./факс: (032) 245-00-19.

В Симферополе: ООО «Эксмо-Крым» ул. Киевская, д. 153.
Тел./факс (0652) 22-90-03, 54-32-99.

Мелкооптовая торговля книгами «Эксмо» и канцтоварами «Канц-Эксмо»:

117192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 12/1. Тел./факс: (495) 411-50-76.
127254, Москва, ул. Добролюбова, д. 2. Тел.: (495) 780-58-34.

Полный ассортимент продукции издательства «Эксмо»:

В Москве в сети магазинов «Новый книжный»:
Центральный магазин — Москва, Сухареvская пл., 12.
Тел.: 937-85-81, 780-58-81.

Волгоградский пр-т, д. 78, тел. 177-22-11; ул. Братиславская, д. 12.
Тел. 346-99-95.

В Санкт-Петербурге в сети магазинов «Буквоед»:
«Магазин на Невском», д. 13. Тел. (812) 310-22-44.

Библиотека Всемирной Литературы



ISBN 978-5-699-25791-1

